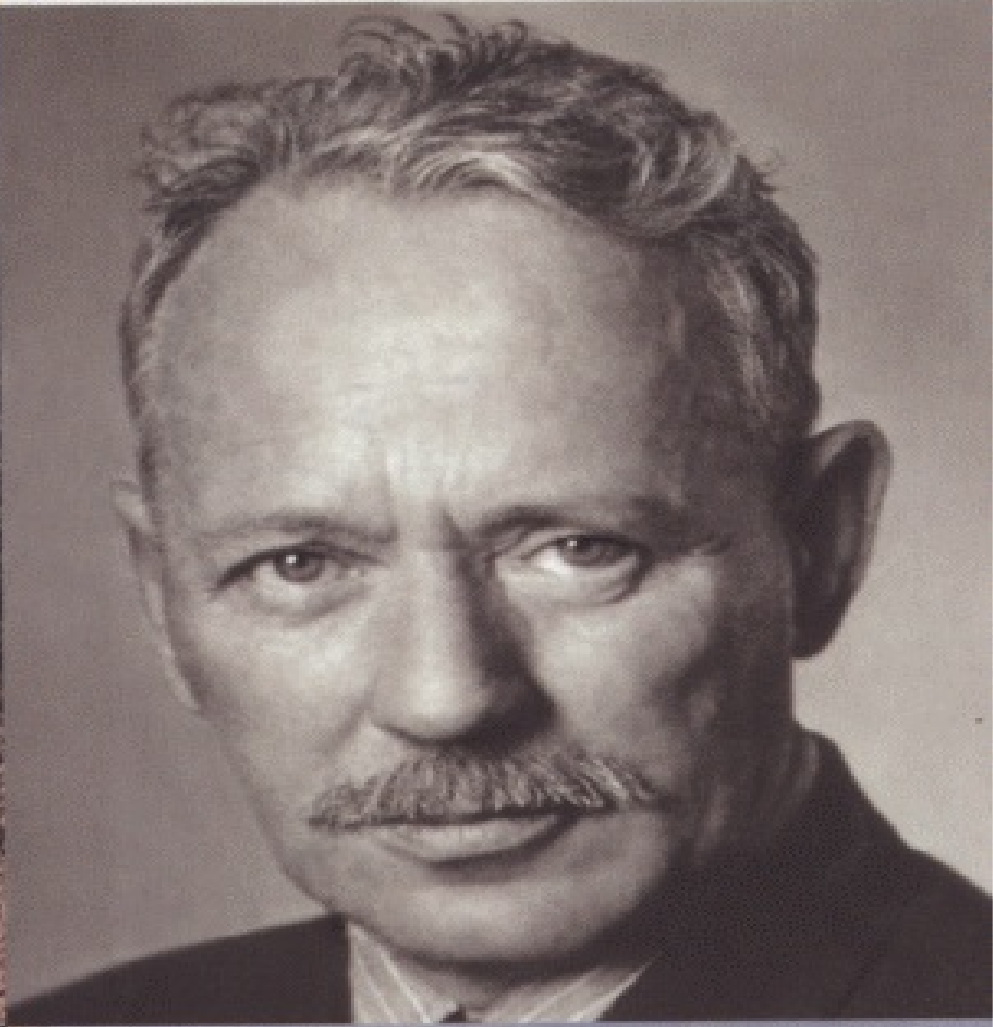


ШОЛОХОВ



Валентин
Осипов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) стоит в ряду таких величайших мировых писателей, как Гомер, Сервантес, Лев Толстой. Его великая эпопея «Тихий Дон» — о трагедии казачества в Гражданской войне — останется памятником русского XX века на все времена. Жизнь самого Шолохова не менее драматична, нежели его знаменитого героя Григория Мелехова. Однако долгое время она находилась в тени его официального статуса — главного советского писателя, члена ЦК партии и депутата Верховного Совета. Автор книги В. О. Осипов, лауреат Всероссийской Шолоховской премии, был знаком с писателем более двадцати лет, не раз бывал у него в Вёшенской. На основе многолетних изысканий, архивных документов, до недавних пор хранившихся под грифом «Секретно», а также личных впечатлений автор попытался воссоздать жизнь великого писателя в хронологической последовательности и освободить его облик от налета привычного официоза и клеветы. Как любая первая попытка биографии для массового читателя, книга — полемична. В год 100-летия Шолохова издательство начинает свою шолоховиану и в дальнейшем надеется публиковать наиболее интересные работы о жизни и творчестве писателя.

- [Валентин Осипов](#)
 -
 - [НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ОТ АВТОРА](#)
 - [ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Свидетельство о таинстве под номером 31](#)
 - [Москва — Богучары: гимназист](#)
 - [Пока свидетель](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Мыканья](#)
 - [Суд](#)
 - [Глава третья](#)
 -

- [Пособие по безработице](#)
- [Первый фельетон](#)
- [Тесть с норовом](#)
- [Четырнадцать рассказов](#)
- [«Звери» или «Продкомиссар»?](#)
- [«Никогда не забуду...»](#)
- [«ТИХИЙ ДОН»: КАК НАЧИНАЛСЯ...](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Четыре письма особой значимости](#)
 - [Обращение к мэтру](#)
 - [Вхождение в должность](#)
 - [Первая строка](#)
 - [Первая книга](#)
 - [Первые враги](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Державный читатель](#)
 - [Приговор: плагиат](#)
 - [Удары от РАППа](#)
 - [Быть взрыву через 20 лет](#)
 - [Максим Горький](#)
 - [Глава третья](#)
 -
 - [Враги Шолохова и враги Сталина](#)
 - [Фадеев — Шолохов](#)
 - [Свидетельства очевидца](#)
 - [Дорога в Европу](#)
 - [«Не обессудьте за „нытье“»](#)
 - [Шолохов и «оппортунист» Фрумкин](#)
 - [Глава четвертая](#)
 -
 - [Безответное письмо Сталину](#)
 - [Как Горький откликнулся](#)
 - [Уха для мэтра](#)
 - [Глава пятая](#)
 -
 - [Как не хотели поднимать «Поднятую целину»](#)

- [О кремлевском «ареопаге» из Вёшек](#)
 - [Блуканья Шолохова](#)
 - [Политические игры](#)
 - [Исчезновение охотничьих рассказов](#)
- [Глава шестая](#)
 -
 - [Партвласть: пощечина и тост](#)
 - [Квачи и кадилыницы](#)
- [ГОЛОДОМОР](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Речи Сталина и письма Шолохова](#)
 - [Пятнадцать страниц для Кремля](#)
 - [Двенадцать слов из Кремля](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Предупреждение газеты](#)
 - [Москва: «Правительственная»](#)
 - [Трагикомедия в драматургии](#)
- [ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Позиция районных газетчиков](#)
 - [«Групповые зазывалы»](#)
 - [Заседание Политбюро](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Причуды «Правды»](#)
 - [Интерес к USA](#)
 - [Глава третья](#)
 -
 - [«Обмолвки» Панферова](#)
 - [Дочь, цветы и «секреты» мастерства](#)
 - [Дар от Марии Петровны](#)
 - [Глава четвертая](#)
 -
 - [«Правда»: всё Шолохов](#)

- [Компромат](#)
 - [Во спасение Дона](#)
- [Глава пятая](#)
 -
 - [Донос в ЦК](#)
 - [«Вырвать ложные показания...»](#)
 - [«О мыслях про самоубийство»](#)
- [Глава шестая](#)
 -
 - [Сто абзацев обличений](#)
 - [Письмо об отставке](#)
 - [О «тов. Шолохове»: поражение](#)
 - [Конструктор «катюши» и нарком Берия](#)
 - [Казнь ожиданием](#)
 - [Рюмка водки и кабинет Сталина](#)
 - [С кем быть Мелехову...](#)
- [Глава седьмая](#)
 -
 - [Реплика в «Известиях»](#)
 - [Речь без оваций](#)
 - [Коньяк, роман и «статейка»](#)
 - [«Оценивать... не злоупотребляя»](#)
 - [Последняя глава](#)
- [Глава восьмая](#)
 -
 - [Сталин, Ахматова, Платонов](#)
 - [«В срочном порядке...»](#)
 - [В преддверии премии](#)
 - [Коалиция против романа](#)
 - [Предвоенные месяцы](#)
- [ВОЙНА: ПОБЕДЫ И БЕДЫ ПОЛКОВНИКА ШОЛОХОВА](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Встречные телеграммы](#)
 - [Первый приказ](#)
 - [Свидетельства друга Лугового](#)
 - [Глава вторая](#)
 -

- [Сталин — летчик — Шолохов](#)
 - [Гибель матери](#)
 - [Судьба генерала](#)
- [Глава третья](#)
 -
 - [Визит к Берии](#)
 - [Просьба американцев](#)
- [Глава четвертая](#)
 -
 - [Война: новые приметы](#)
 - [Отказ от «Нового мира»](#)
- [Глава пятая](#)
 -
 - [Вёшки — Киев — Кенигсберг](#)
 - [Победа: три отклика](#)
 - [Букет от маршала Рокоссовского](#)
- [ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Подхалимские придумки критика](#)
 - [ТАСС о Нобелевской премии](#)
 - [«От т. Шолохова»...](#)
 - [Диктат школьного учебника](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Дед Трифон: «...к чертям собачьим!»](#)
 - [Сталин: 20 лет спустя](#)
 - [Покушение на Джека Лондона](#)
 - [Глава третья](#)
 -
 - [МВТУ: «Скоро робют — слепых родят»](#)
 - [«Партком считает...»](#)
 - [Суслов — Сталин — Сулов](#)
 - [«Ареопаг» ведет следствие](#)
 - [Смерть вождя](#)
- [ПРИСТРАСТИЯ](#)
 -
 - [Глава первая](#)

-
- [Сенсации: Сергеев-Ценский и Казанова](#)
- [Приговор для Бери](#)
- [Суслов — Хрущев — Суслов](#)
- [Поражение](#)
- [Глава вторая](#)
 -
 - [Инсульт](#)
 - [Юбилей](#)
- [Глава третья](#)
 -
 - [Признания в Киеве](#)
 - [Продолжение последовало](#)
 - [Самоубийство Фадеева и Шолохов](#)
 - [«Судьба человека»](#)
 - [Судьба рассказа](#)
- [Глава четвертая](#)
 -
 - [Вести из Швеции](#)
 - [Фильм Герасимова — оценки Бондарчука](#)
 - [Интервью в Париже — отклики в Кремле](#)
- [Глава пятая](#)
 -
 - [Не вышло даже с абзацем](#)
 - [«Не слишком ли мы терпимы?..»](#)
 - [Бои за Давыдова](#)
 - [Освобождение Мелехова](#)
 - [«Не тронь живых...»](#)
 - [Расстрел в Новочеркасске](#)
 - [Из Англии с наковальней](#)
- [НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Будни](#)
 - [Первые зарницы из Швеции](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Дорога к премии](#)

- [«Казачи не кланяюцца дажэ перад царямі»](#)
- [СКЛОНЫ ЛЕТ — ВЕРШІНЫ ІСКАНІЙ](#)
 -
 - [Глава першая](#)
 -
 - [Запоздалыя падаркі ад Брэжнева](#)
 - [Непрошаная рэч](#)
 - [Глава другая](#)
 -
 - [Прызнання Аляксандра Твардовскага](#)
 - [Прызнання Аляксандра Солжэніцына](#)
 - [Обманы пад літарой «Д*»](#)
 - [Глава трэця](#)
 -
 - [Іздевательства](#)
 - [Возвращение к Сталину](#)
 - [Писатель, историк, политик](#)
 - [Глава четвёртая](#)
 -
 - [Герой труда](#)
 - [Снова молодые: о Стейнбеке](#)
 - [Глава пятая](#)
 -
 - [Отважное интервью](#)
 - [Совет Брежнева и исповедь Шукшина](#)
 - [О врагах — речь к юбилею](#)
 - [Письмо в защиту верующих](#)
 - [«Найдите других...»](#)
 - [Больница](#)
 - [Письмо из «Особой папки»](#)
 - [Беседы в больнице](#)
 - [«С уважением к Вам, осужденный...»](#)
- [В ПЛЕНУ ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЗНЕЙ](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 -
 - [Полынь к пьедесталу](#)
 - [Последнее лето](#)
 - [«Они сражались...» и Брежнев](#)

- [Диктовки сыну](#)
 - [Сказы сыну про колодцы](#)
 - [Последняя больница](#)
 - [Последний договор](#)
 - [Глава вторая](#)
 -
 - [Последние требования и желания](#)
 - [Холмик у Дона](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. А. ШОЛОХОВА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
-

Валентин Осипов
ШОЛОХОВ

ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1139

(939)

НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ОТ АВТОРА

Побег от ареста, тюрьма для родичей и друзей, доносы и интриги, свирепая партийная цензура, обвинения «Тихого Дона» в антисоветчине, а еще отношения со Сталиным, не укладывающиеся ни в какую привычную по тем временам логику, многолетняя травля за то, что пошел якобы на плагиат...

Это и многое другое вполне могло бы считаться числителем жизни писателя. Вот какая доля выпала тому, чье творчество еще при жизни было признано классикой и увенчано любовью народа и высокими премиями, Нобелевской тоже.

Но есть и знаменатель его отношения к жизни и к литературе. Это вера в возможность всеобщего счастья, истовое стремление писать для народа, что часто противостояло власти, мужество отдавать свой авторитет на защиту гонимых тогда, когда и думать об этом было запрещено...

Как же писать столь сложную биографию? Либо избрать такую манеру повествования, когда документы растворяются в беллетристике (блестящие образцы этого легкого для чтения приема дали французы), либо оснащать книгу прямыми вставками из воспоминаний, писем и архивных материалов для большей убедительности. Избрал второй вариант. Подумал: когда биография писателя то и дело искажается лукавыми вымыслами, только такой прием обеспечит доверие.

Эта книга писалась мной в память о том, кто вошел в вечность, видимо, потому, что исповедовал, как сам он признался, завет из Евангелия, что дню нашему довлеет злоба его.

Не случайно биография Шолохова выходит в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». С ним писателя связывали долгие творческие и дружеские отношения, о чем не раз будет говориться в книге.

ТЕЛЕГРАММА		
1930 118708+	ПРЕДАЧА: ГО ЧАС УПОЛ. № 3838 Порядок	Адрес: МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ МЕЛЕНТЬЕВУ ОСИПОВУ КОВАЛЕВУ
ВЕШЕНСКОЙ РОСТ 147 69 15		
0045		
<p>ГЛУБОКО СОЖАЛЕЮ ЧТО РАБОТА ПРЕПЯТСТВУЕТ МНЕ БЫТЬ НА ВАШЕМ СЛАВНОМ ПРАЗДНИКЕ ТЧК ВЫ ТВОРИТЕ ОГРОМНОЙ ВАЖНОСТИ ДЕЛО ПОВЫШЕНИЯ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ И ЗА ЭТО МЫ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИШУЩИХ И ЧИТАЮЩИХ ВАС КРЕПКО ЛЮБИМ ВЫСОКО ЦЕНИМ ГЛУБОКО УВАЖАЕМ ТЧК ПРИНИТЕ И ОТ МЕНЯ ЛИЧНО КАЖДОМУ И КАЖДОЙ ИЗ ВАС ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ УСПЕХА В РАБОТЕ ВАШ ТУГО СТАРЕШИЙ МОЛОДОГВАРДЕЕЦ МИХАИЛ ШОЛОХОВ</p>		

Родился Шолохов в особом году — в 1905-м. В России взорвалось недовольство страждущих, желавших иной доли рабочих и крестьян.

Ушел в мир иной в муках жуткой болезни — рак — в 1984 году. Он так и не дождался от своей партии обещанного к этому времени коммунизма. Всего-то год с небольшим оставался до провозглашения перестройки с ее отказом от посулов светлого будущего.

Сам Шолохов не заботился запечатлеть свою жизнь. Дневников не вел, биографических записок или воспоминаний не оставил да и редко когда жаловал журналистов интервью-беседами. Даже родословная его стала тайной, ибо для рабоче-крестьянского государства купеческое сословие прадеда, деда и отца не выглядело украшением.

Итак, нет пока для массового читателя полной его биографии. Из книг о нем последнего времени одни — научные монографии и потому мало кому доступны, другие не успели вобрать весь наконец-то разысканный огромный жизнеописательный материал.

Когда начинал книгу, — перечитывал сочинения великого вёшенца и вспоминал свои общения с ним, которые длились более двадцати лет (и начинались именно в «Молодой гвардии»), отчего-то выплеснулись на бумагу как бы эпиграфом к его биографии две строки. Одна из «Тихого Дона»: «То ли крестов на нем больше, то ли рубцов».

Всегда с радостью бываю у молодых
малозащитников! Даже вразе
и сам молодец...

М. Шолохов

6.3.65.

Вторая из любимой Шолоховым книги пословиц русского народа, собранных Владимиром Далем: «Мельница не по ветру, а против ветра мелет».

Предвижу вопрос: все ли факты удалось собрать для книги? Предполагаю, что нет. Значит, биография писателя еще будет уточняться и доосмысливаться.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Нахаленок. Родовые корни. Необычные учителя. Москва: лечение и учение. Гражданская война — зарубки на память. Продинспектор — опасная работа. Маруся-Марусенок, атаманова дочь. «Присочинитель»

Глава первая

1905–1919: ВХОЖДЕНИЕ В МИР

Михаил Шолохов родился в тот день, когда по православному календарю славят и поминают создателей славянской азбуки святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Случилось это в 1905 году, 11 мая, по новому стилю — 24-го, в области Войска Донского неподалеку от станицы Вёшенской.

Свидетельство о таинстве под номером 31

...Пришла немужняя жена купца Шолохова к Агафье Назаровой и говорит:

— Бабуня, чтой-то животик болит...

Та в ответ:

— Ложись, я погляжу... Роды начинаются!

— Он у тебя, бабуня, помрет, неживой будет, — всполошилась.

— Не помрет.

Когда роды приняла, проговорила:

— Он у тебя еще большим начальником будет!

Итак, появился на свет божий от чистой любви своих родителей и вошел в грешный мир мальчишка — как и все по земному шару — под шлепок по попке, под истошный долгий крик. Мать в изнеможении — и в радости. Отец в беспокойстве — и в радости.

Ему пришлось начинать свою жизнь на никому не известном — в огромной России — хуторе с легким поименованием Кружилин, в ничем по внешнему виду не выделяющемся казачьем курене.

Жили хуторяне до поры до времени, до наступления XX века, несуетно, ибо понимали, что весну не отложить, осень не отсрочить.

Так и Дон-батюшка течет себе и течет, синеватым серебром отсвечивая. Тихо и привольно. Насмотрелся на натруженные черные пашни и белые куреня, на прибрежный плакучий тальник и по-над яром на прижаренные степи. Наслушался песен и походных, и девичьих, и озорных, и набрякших горькою слезой, а еще зычных команд на майданах при учениях, а еще жеребцового ржания на лихих джигитовках, а еще волчьего воя, лисьего бреха и порскающих стрепетов. Надышался вдоволь кислым

мужским потом, дурнопряною полынью, конской мочой — когда водопой, дымками от рыбацких костров и ветром-астраханцем, паляще-знойным для тех, кто в поле...

В новом столетии Дон все чаще стал отсвечивать тусклым свинцом. Может, потому, что стал вбирать в свою глубокую и незамутненную по стрежню память не только радости, но и то, чего стало поболее, чем прежде, — невзгоды-огорчения своего прибрежного населения. Подслушал, как деды стали жаловаться, что ломаются устои прежней твердой жизни и что казаки приходят с царской службы иными...

Родился бы только тот, кто найдет в себе возможность почерпнуть из полноводных чувств и настроений своих земляков и радости-утехи, и печали-горести, и молитвы во спасение, и греховные проклятия, и шепот любви, и затмевающую разум ярость, и светлые мечтания, и черные намерения...

Совсем не случайно в «Тихом Доне» так много отзвуков песен про Дон, который одновременно и тихий, и бурный.

...Мише из самого раннего мальчишества, когда память прозревает, могла запомниться в их курене небольшая светлая и чистая комната, кровать с узорчатыми спинками из волнисто согнутых прутьев, герань на окнах, в красном углу икона в рушнике, массивное в деревянной раме зеркало на стене, простенькие стулья и стол со скатертью ручной вязки — почти что кружева...

Могли запомниться во дворе сердитые на неосторожного маленького человека гуси и индюшки, как и то, что ленивые свиньи отзывчивы на его доброту: хворостинкой пузы им почешут — и сколько блаженного хрюканья.

Могли еще запомниться хождения с мамой в отцову лавку: пряники, конфеты, сахар огромными головами и кусками, песком тоже, запахи селедки, керосина, кожаных сапог, казачьих папах, заманивающая взгляд пестрота шалей и ковровых платков, самых разных тканей...

Свою настоящую фамилию будущий автор «Тихого Дона» обрел только спустя восемь лет после рождения, в 1913-м, в июле, когда родители пошли под венец, что надлежаще было удостоверено в метрической книге Покровской церкви хутора Каргин под номером 31 при заключительной записи — «Совершил таинство священник Емельян Борисов и псаломщик Яков Проторчин»:

«Мещанин Рязанской губернии города Зарайска Александр Михайлович Шолохов, православного вероисповедания, первым браком. 48 лет.

Еланской станицы (хутора Каргина) вдова казака Анастасия Даниловна Кузнецова, православного вероисповедания. Вторым браком. 42 лет...»

Встали под венец, и в этой благости надо было забыть, что родители Александра Михайловича поначалу противились браку с Анастасией. Не лучший выбор для купца — брать в дом беглую от казака жену.

Отважна Анастасия Даниловна: с одним узелком ушла — в те-то времена! — от первого мужа. Пил, избивал, и, кажется, было в ее приниженной жизни, а затем во внезапном распрямлении нечто для судьбы будущей Аксины. Сошлась Анастасия с отцом своего Минюшки, но о разводе с мужем по церковным законам и думать было нельзя. Свободной от прежнего брака стала только по смерти постылого.

После венчания родителей сразу прекратились сплетни, которые язвили их сыну детскую память. Не зря те обиды излил он в рассказе 1925 года «Нахаленок»:

«Для отца он — Минька. Для матери — Минюшка. Для деда — в ласковую минуту — постреленыш... А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всех в станице — Мишка и „нахаленок“».

Нахаленок — это по-казацки очень обидное слово: пригульный ребенок, байстрюк, внебрачно рожденный.

...Шолоховы — заезжий род для Дона. Фамильные их корни из небольшого города Зарайска, который в разное время причислялся то к Московской, то к Рязанской губернии. С 1715 года в этом городе обозначены — письменно — Шолоховы.

Дед отца, купец третьей гильдии, имел большую семью с ребятней общим числом восемь. Это он надумал идти на Верхнюю Донщину за своим купеческим счастьем в середине 70-х годов XIX века. Приобрел дом с подворьем и объявил свое дело: скупка зерна. Подивил при новоселье гостей — замечено было, что привез даже книги с богатым выбором.

Второго сына — Александра, будущего отца писателя, — к своему делу приставил после того, как тот отучился в приходском училище.

Купеческий отпрыск слыл не просто грамотным, но начитанным, к тому же обходительным, а еще — и это не очень-то привычно для казаков — франтоватым. Выходил в хуторское «общество» по праздникам совсем как барин-горожанин — в мягкой светлой шляпе, костюме-тройке и галстук на светлой сорочке. Кому-то из хуторских запомнилось: «Ить не казак, а до чего ж вумный, и говорит шутейно: все с присказками».

Видимо, по таким своим достоинствам и был принят на службу к помещику Евграфу Попову, чье имение находилось в двенадцати верстах.

На хуторе заметили, что оставался он своим человеком в господской семье даже после кончины барина. Притягивал этот дом по сердечным обстоятельствам. Прельстила его прислуга Анастасия Даниловна Черникова. Уж как привлекательна: статная, чернокошая и черноглазая, к тому же певунья. Ну и увез. Для начала объявил экономкой в своем доме.

От матушки особое «наследие» для будущего творца: украинская кровушка. На Дону появилась она с семьей переселенцев с Черниговщины. Вот почему в этом доме так дивно спивали на украинской мове.

Казаки поддразнивали таких переселенцев: «Хохол мазница, давай дражниться: этот — турок, тот — поляк, ты — хохол, а я казак!»

Сын высоко ценил мать за душевные свойства: «Крепкая, стойкая, большой нравственной силы». Говорили, что ее облик и некоторые черты характера — сильного и заботливого — угадываются кое-где и в рассказах, и в «Тихом Доне» в женских образах.

Кружилин... Невелик хутор — всего-то 84 двора, без особой истории. Другим брал он впечатлительную детскую душу — своеобразной красотой и саманных куреней под камышом-чаканом, и речушки Черной, и оживленного по воскресеньям майдана у церкви, и степи... «Широка степь и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков...» Эта заманивающая к чтению фраза появилась в одном из самых ранних рассказов Шолохова «Пастух».

И еще о степи в его рассказах.

Вот она, ранневесенняя, запечатлена в рассказе «Обида»: «Степь, выложенная серебряным лунным набором, курилась туманной марью. В прошлогоднем бурьяне истомно верещала необгулянная зайчиха, с шелестом прямилась трава-старюка, распираемая ростками молодняка...»

Вот летняя в рассказе «Алешкино сердце»: «Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерастить».

Вот зимняя в рассказе «Смертный враг»: «Оранжевое, негреющее солнце еще не скрылось за резко очерченной линией горизонта, а месяц, отливающий золотом в густой синеве закатного неба, уже уверенно полз с восхода и красил свежий снег сумеречной голубизной... И едва село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах».

Это только для зачерствелой души степь пуста и уныла.

Творческий человек понимает, как детство может обогатить душу на всю жизнь. Знаменитый тогда писатель Александр Серафимович — земляк! — это запечатлел, когда крепко влюбился в еще ранние сочинения вёшенца и стал набрасывать строки для своей повести «Шолохов», увы, незавершенной: «И покосы в займище, и тяжелые степные работы пахоты, сева, уборки пшеницы — все клало черту за чертой на облик мальчика...»

«Я жила в хуторе Кружилине, когда он родился. Рос, как и все детишки. Обыкновенный мальчуган... Шустрый... Очень самолюбивый. Боже сохрани, чтоб его кто-нибудь из чужих приласкал. Отойдет, нахмурится. Сладостями его не приманишь...» — таково свидетельство двоюродной сестры писателя Марии Бабанской.

«Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезает через каменную огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит; тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке: „Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..“» — это появилось в рассказе «Нахаленок».

«В калитке свинья застряла... Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит...» — и это в том же рассказе.

Но и Мишка запомнился кое-кому. Один рассказ такой. Однажды мальчишки ему — условие: принеси лампасеи, то есть ледянки, из магазина отца, а то играть не примем. Так они называли леденцы с шикарным названием «Монпансье». Принес. Его спросили: «Украл, поди?» — «Нет, я маме рассказал, и она сама насыпала в карман».

Пять лет минуло. Жили неважно. Отец справедливо рассудил — маленький хутор не для купеческих желаний размахнуться на большее дело. Надоело, как говаривали казаки про такую жизнь, плести плетень без колышков. Без купеческих этих самых колышков и Мишу-то держали так, что ходил, к примеру, зимами в зипуне на вырост: неудобный, ниже колен, под кушак, но теплый, даже жаркий в беготне и играх.

Переселились на соседний хутор Каргин, который позже стали называть Каргинским. Здесь жила старшая сестра отца, и ее супругу, купцу, потребовался управляющий в собственный торговый дом «Левочкин и К°».

Через много лет лягут на страницы «Тихого Дона» несколько сочных мазков: «Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в

верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым; на площади чернели толпы народа; звонили к вечерне. За каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ним, за полынной сизью оснеженного горизонта искрился и багряно сиял дымный распластавшийся в полнеба закат».

С особой статью хутор, ибо — ярмарочный. Купечество невольно поспособствовало, чтобы со временем быть ему станицей.

А какой здесь народ! Чинно выходят хуторяне по воскресеньям на майдан, чтобы и перед вхождением в храм, и после богослужения себя показать и на других посмотреть. Идут в пронафталиненных чекменах старики-герои, кое-кто при медалях — живы-здоровы, слава Богу! Идут с принаряженными супружницами казаки молодых и средних лет — все честь по чести: чубы, фуражки набекрень! Шествуют учитель и купец — штаны утюжены, черные сюртуки с жилетами и цепочками от часов из кармашка. Жалмерки-солдатки в цветастых платьях с длинными подолами — никак не для хуторской пыли. Невесты, девчушки-хохотушки, как бабочки узористые в своих нарядах, млеют под взглядами тех, кто недавно приписан к воинской службе. Беднякам нечем выделяться — все давно ношеное-переношеное, но тоже празднично приготовленное.

Каргинский народ с запросами. Три школы. Кирпичная церковь с караулкой. Услужливые кустари. Свой фельдшерский пункт и конно-почтовая станция Ковалева. Пять магазинов и аптека. Три ветряка и водяная мельница. Есть еще и паровая мельница Тимофея Каргина.

Но особо загордились здесь, когда владелец паровой мельницы Николай Васильевич Попов в один прекрасный день 1909 года приказал мальчишкам вывесить афишу: «Французский электробиограф „Идеал“ демонстрирует кинокартину „Ермак — покоритель Сибири“. Дирекция. Н. Попов». «Синема» на хуторе! Не пожалел купец от своих прибылей выделить кое-что для покупки стрекочущего аппарата. Почтенная публика на столичную новинку задорожилась даже из Вёшенской. Тапера, правда, для полного удовольствия, не нашлось.

Шолоховы крепко подивили каргинцев. Своего шестилетнего мальчика отдали в учение — на дому — хуторскому учителю Тимофею Тимофеевичу Мрыхину. Впервые произносили здесь городское поименование: домашний учитель. Он очень талантлив был на просветительство. Этому своему призванию с полным смирением отдал всю свою жизнь. Летели годы, он облысел и обзавелся очками, чем, как ни странно, нравился каргинцам — похож на ученого. При советской власти его тоже привечали и отмечали —

был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Это высокая награда, но для него, хуторского учителя, она оказалась не самой высшей. Высшая — та, что приучил чтить грамоту будущего великого творца. Не так уж много на земле учителей, у которых ученики стали нобелевскими лауреатами. Со скромностью о себе и без лести Шолохову получились его воспоминания: «Мальчик был живой, быстро схватывал, хорошо усваивал... Ему трудно давалось письмо, так как слабые детские пальцы с трудом справлялись с написанием букв и цифр... Был он тогда хрупкий, слабенький... Работа с Мишей доставляла мне полное удовлетворение, так как я видел, что мой труд щедро вознаграждался прекрасными успехами моего прилежного ученика».

Впрочем, не будем забывать, что Мише всего-то шесть лет. Стало быть, речь идет не столько о познаниях, сколько об усердии. Как раз таким и вышел он из-под крыла своего первого наставника — ему и запомнилось: «Писал четко и опрятно». Первый урок: «Аз-Буки-Веди». Между прочим, сие может означать и такое: «Я буквы знаю». Через день новая диктовка от учителя: «Глагол-Добро-Есть». Школяр познал дословный смысл: «Слово добром является». На новом уроке: «Рцы-Слово-Твердо». Это означало: «Будь крепок в слове».

Учителю запомнилось: «Страстно увлекался рыбной ловлей. Отец беспокоился: „Чем отучить Мишу от удочки? Целый день пропадает — не сыщешь его...“ Часто говорили о том, кем быть мальчику в будущем. Сам Миша стоял упорно на одном: „Буду офицером“. Я был настроен против военщины — достаточно наблюдал быт офицеров: карты, кутежи, дуэли. В меру сил разубеждал Мишу: расписывал ему жизнь ученого, говорил ему о великом подвиге людей науки, о их услугах человечеству. Он подумал-подумал и сказал: „Значит, я буду студентом...“»

Шолохов и сам кое-что о себе, мальце, повспоминал на склоне своих долгих лет: «Ходили мы на Рождество по дворам, христославили. Мне семь лет было. Заглянули к богатому купцу. Гляжу, на комодке лягушонок резиновый... Мои приятели, мальцы, как и я, поют. Я тоже рот раскрываю, а от лягушонка не могу отвести глаз. Блестящий, зеленый, с желтым пузиком... До чего же очаровал! Хозяева заметили мой восторг, подарили. Выходим из хаты, прячу игрушку под шубейку, прижимаю к сердчишку...» А дальше в рассказе явно нечто от будущих конфузов бедолаги Щукаря: «И так мне было хорошо, что не заметил хозяйского козла. Тот подобрался сзади и — рогами меня. Я бежать, лягушонка еще крепче прижимаю... Козел проклятый бодает в спину. Отстал он только за воротами. А мне радостно — лягушонок вот здесь...»

В свои семь лет Миша становится заправским школьником. Его отдают сразу во второй класс мужского приходского училища. Новый учитель тоже запомнился школяру. В «Тихом Доне» оказался прописанным и, выделю, под своей фамилией — сотник Копылов: «Когда-то учительствовал... Веселый, общительный...»

Мальчуган выделялся одной странностью — любил после уроков присоединиться к старикам-ветеранам и все слушал да слушал про казацкие подвиги.

Прошло два года. Он заприметился книголюбием. И отец тому зачинатель, и умный учитель, и батюшка Виссарион со своей, даже большей, чем у Шолоховых, библиотекой. Миша особо влюбился в Гоголя. Несколько раз перечитывал «Вечера на хуторе близ Диканьки», потом проглотил «Тараса Бульбу».

***Дополнение.** Вот три свидетельства о том времени, когда родился будущий писатель: обвинение суда одному вёшенцу, статья Ленина о казачестве и грамота царя, пожалованная донскому казачеству.*

«Казак Вёшенской станицы Донецкого округа Области Войска Донского Иван Платонов Лосев на народных собраниях публично произносил речи, возбуждающие к бунтовщическим деяниям и неповиновению законам и законным властям...» — таково обвинение Новочеркасского суда. Заметим: осужденный впоследствии станет химиком, доктором наук и профессором, председателем Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева.

«Пролетариат дал нам в декабрьские дни великолепные уроки идейной „обработки“ войска, — напр., 8-го декабря на Страстной площади, когда толпа окружила казаков, смешавшись с ними, браталась с ними и побудила уехать назад. Или 10-го на Пресне, когда две девушки-работницы, несшие красные знамена в 10 000-ной толпе, бросились навстречу казакам с криками: „Убейте нас! Живыми мы знамя не отдадим!“ И казаки смутились и усаkali при криках толпы: „Да здравствуют казаки!“» (В. И. Ленин «Уроки московского восстания»).

«Божиею милостию Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч., и проч., и проч.

Нашему вернoлюбeзному и доблестному войску Донскому.

С первых же времен своего существования, свыше трех сот лет тому назад, славное войско Донское начало верное свое служение Царям и Отечеству. Неустанно преследуя святую цель развития зарождавшегося

тогда грозного могущества Государства Российского, оно с тех пор неизменно беззаветною самоотверженностью своей и беспредельной преданностью всех своих сыновей Престолу и России, став оплотом на рубежах Государства, богатырской грудью охраняло и содействовало развитию его пределов.

В години тяжелых испытаний, неисповедимыми судьбами Промысла Всевышнего Царству Русскому ниспосланных, все Донские казаки всегда с одинаковой любовью и храбростью, становясь в ряды защитников чести и достоинства Российской Державы, стяжали себе, постоянно присущим им духом воинской доблести и многочисленными подвигами, бессмертную славу и благодарность Отечества.

И в ныне минувшую войну с Японией, а особливо в наступившие тяжкие дни смуты, Донские казаки, свято исполняя заветы своих предков — верою и правдою служить Царю и России, явили пример всем верным сынам Отечества.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляем, близкому сердцу Нашему, доблестному войску Донскому особое Монаршее Наше благоволение и подтверждаем все права и преимущества, дарованные ему в Бозе почившими Высокими Предками Нашими, утверждая Императорским словом Нашим как ненарушимость настоящего образа его служения, стяжавшего войску Донскому историческую славу, так и неприкосновенность всех его угодий и владений, приобретенных трудами, заслугами и кровью предков и утвержденных за войском Монаршими грамотами.

Мы твердо уверены, что любезные и верные Нам сыны Дона, следуя и впредь славному преданию отцов, всегда сохраняют за собою высокое звание преданных слуг и охранителей Престола и Отечества.

В сей уверенности, пребывая к войску Донскому Императорскою милостию Нашей неизменно благосклонны, благоволили Мы сию грамоту Собственною Нашею рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели. Дана в Царском Селе, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот шестое, Царствования же Нашего в двенадцатое.

На подлинной написано: „Николай“».

Москва — Богучары: гимназист

Давно сказано: нет худа без добра. Из-за болезни глаз мальчишке-

хуторянину при родителях совсем не великого достатка случилась истинно сказочная поездка из глуши в Белокаменную, в Первопрестольную — в Москву.

Каковы родители — лечить не в окружной станице, в Вёшенской, не в Ростове или в недалеком Воронеже.

Своего сына укладывают они в больницу доктора Снегирева; она в несуетном и малоэтажном Колпачном переулке, но почти что в центре. Из детской памяти перекачуют в «Тихий Дон» красивый, с подстриженной бородкой, хозяин, трехэтажный дом, нарядная с золочеными перилами лестница, привратница — женщина в белом халате, длинный неширокий коридор, служитель в белом, ванная, матовые стекла окон, большое стенное зеркало, маленький садик (неуютный), церковные звоны богомольной Москвы, шестая палата, третья дверь направо, как в ненастье («а в этом году оно преобладало», — писал романист) слонялись из палаты в палату... (Кн. 1, ч. 3, гл. XXI).

Недолго оставалась тихой эта больница. Началась война с германцем — Первая мировая. Везли и везли из окопов искалеченных. Спустя годы в знаменитом романе появилось: «Раненые помещались в одной палате... усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался... подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец... после обеда больные расходились голодными... вечером пили чай, для разнообразия запивая его холодной водой...» (Кн. 1, ч. 3, гл. XXIII).

Суровая после фронта братия пригрела «вьюношу» с Дона. С этим пацаном у соскучившихся по домам-семьям раненых на душе теплело. Потому то, что окопники пережили в боях, становилось достоянием юного солазаретника при неспешных по вечерам беседах. Наслушался без всяких утаек, каково там, где смерть и увечья. В романе отзвуки: «Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что: война одним на пользу, другим в разор...»

Излечили Мишу быстро. Отец решил — к чему туда-сюда ездить: будем учить наследника в Москве. Мать в слезы. Но догадлива оказалась — невиданное счастье учиться-то в Москве!

Москва... Долгий переулочек — гимназия имени Григория Шелапутина. Заметим: Миша Шолохов что-то сочинял в свободное время. Приметим: совсем неподалеку именно в это время снял себе квартиру Иван Бунин, в будущем первый от России писатель — лауреат Нобелевской премии. Шолохову быть в этом ряду третьим.

Год минул. В 1915-м новая дорога к знаниям: гимназия в городке

Богучары Воронежской губернии. Отца можно понять — Москва и недешева, и далека. Богучары поближе к дому — всего 120 верст вверх по Дону.

На постой десятилетнего Мишу взял священник отец Дмитрий Тишанский, он же учитель Закона Божьего. Пришлось привыкать жить в большой семье — у хозяина своих чад пятеро. Необычен был батюшка, тем более для малого городка, — завел дома регулярные вечера для местной интеллигенции. Старшая ребятня не удалялась из гостиной, было бы желание присутствовать. Много чего узнал юный постоялец из разговоров про знаменитых тогда Горького и Бунина, Куприна и Короленко. К тому же всегда кто-то музицировал.

Семье траты. Сыну куплены шинелька при голубых петлицах, гимнастерка, китель с тремя поблескивающими пуговками, брюки при поясе с отчеканенными на бляхе, как и на кокарде, буквами — БМГ, что внушало неопишемую гордость: Богучарская мужская гимназия. Впрочем, не все проявляли почтение. Местные остряки поддразнивали гимназистов — новопринятого тоже — мукомолами, и всего-то из-за светло-серого сукна на шинели.

Отец был скуповат на письма, а сын скучал по дому. Однажды поразился — от мамы письмо: ведь знал, что она не владеет грамотой. Даже муж растрогался — догадался, что это тоска по любимому отпрыску заставила супружницу сесть заучивать буквы и приучаться к перу.

Четыре года однообразной жизни... Михаил любил после уроков бегать на речной берег. Завораживает Дон... Он заставляет вспоминать рассказы учителя об истории казачества.

Как-то и выплеснулось у мальчишки в тетрадку некое сочиненьице про жизнь Петра Великого.

Батюшка прочитал и поразился. Свои чада так не писали. Воскликнул в поощрение постояльцу и своим в назидание: «Удивительный мальчик!»

Четыре года при хорошем пригляде... Мише дали прочитать рассказы про оборону Севастополя в Крымскую войну, кои сочинил человек с поразившими воображение именем и фамилией — Лев Толстой. Был изображен он на литографии с суровыми бровями и мудрой бородой. И Миша тут же взялся за перо, чтобы сочинить свои рассказы. Учительница Ольга Павловна Страхова прочитала и — при всех — доброе слово сказала юному сочинителю.

Пока Миша учится, в семье перемены — перебираются в хутор Плешаков. Отец приглашен управляющим паровой мельницы купца Симонова. Поманили возможности: вдруг прежних накоплений и новых

заработков достанет, чтобы выкупить и мельницу, и просорушку, и кузню. К зиме так и случилось. Даже дом начали строить.

Михаилу шел тринадцатый год. Война с германцем... Она уже и мальчишками воспринималась не только по растиражированному всеми газетами героизму — на лихом коне с шашкой наголо и пикой наперевес — казака-земляка Кузьмы Крючкова, первого в ту войну полного георгиевского кавалера. Столько воинов повозвращалось, от кого немного слышали про героизм, но много про изнанку войны. Возможно, крупницы этих рассказов собрались в «Тихом Доне» для такого — не для слабых — свидетельства о войне: «Он полз, вобрав голову в плечи, кричал, будто не разжимая трупно почерневших губ: „А-и-и-и-и! А-и-и-и! А-и-и-и!“ За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине поперек волочилась оторванная у бедра нога, второй не было... Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, загаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил...» (Кн. 1, ч. 3, гл. XX).

Пока свидетель

Едва ли нужно пересказывать после «Донских рассказов» и «Тихого Дона», как приняло казачество Октябрьскую революцию.

...Шолохов еще отрок, но как не уразуметь ему, что пришло время раскола в умах, раздвоя в чувствах и противоборства с оружием в руках. И эти — в погонах — прельщают, и этим — с красными звездами — хочется довериться! Каледин, Корнилов, Деникин... С другой стороны, героический земляк, хоть и иногородний, полный георгиевский кавалер в Первую мировую, теперь командарм Первой конной Буденный, Ворошилов и Щаденко, а еще упрямый правдолюб Филипп Миронов, которому выпадет участь быть убитым в красной тюрьме, — не успел получить от Ленина депеши с оправданием... Сталин, ни разу не упомянутый в «Тихом Доне»; странно это — ведь был прямо причастен к братоубийственной войне на Дону. Он входил в Военный совет Северо-Кавказского военного округа, затем здесь же стал членом Реввоенсовета Южного фронта и был награжден при обороне Царицына — за личное мужество — орденом Красного Знамени по документу с подписью самого Ленина. Прославленный Кузьма Крючков погибнет за дело белых, а его родственник, доброволец Вёшенского революционного полка, Кривошлыков — за красных, его же сосед по школьной парте Дудаков

пойдет в белые. Генерал Алферов возглавит Донскую советскую республику, а приписанный к вёшенским казакам генерал Петр Краснов будет избран атаманом Всевеликого Войска Донского...

И красные казаки, и белые могли бы седлать боевых коней для походов друг против друга под одну старинную казачью песню:

Прощай, станица дорогая.
Прощай, Гремячий хуторок.
Прощай, девчонка молодая,
Прощай, лазоревый цвяток...

Но в строю, под присмотром начальников, противники подбадривали себя иными песнями. Одни: «Выступим, ребята, в поле, полно вам в квартирах жить...»; другие: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»

...1918-й. Немцы нагрянули на Дон и палящим июнем подошли к Богучарам. Шолоховы тут же в бега — спасаться на Плешаковском хуторе.

Осень — сына везут в Вёшенскую: здесь гимназия. Вскоре ее тоже ввергло в страсти новой жизни. В ноябре директор получает телеграмму: «Согласно приказа Всевеликому Войску Донскому от 5 сентября с. г. за № 898 уведомляю, что во всех документах вверенная Вам гимназия впредь должна именоваться „Вёшенская гимназия имени павших борцов за освобождение Родного Края“».

Попал Миша из огня да в полымя. Появился приказ генерала Краснова покарать вёшенцев за переход на сторону советской власти: «Вёшенская станица и ее мятежники на этих днях будут сметены с лица земли». Сгорает дом со всеми пожитками у дяди Шолохова.

Краснов вписался в биографию Шолохова не только этим приказом, но и тем, что станет персонажем «Тихого Дона» без всяких искажений, и тем, что без всяких предубеждений внимательнейше прочитает роман да похвалит вдобавок.

...1919-й. Для юнца новые впечатления от взрослой — кровопролитной — жизни. Начиналось рассказывание. Оргбюро ЦК РКП (б) одобрило секретный циркуляр на эту жестокую операцию. Пункт первый обнародовал директиву: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью...» Это

касалось и бывших атаманов, и офицеров. Отменили даже казачью форму, а кому понравится! Мало показалось. Красная власть в Вёшенской получает телеграмму от комиссара Сырцова: «За каждого убитого красноармейца расстреливайте сотню казаков. Приготовьте пункты для отправки на принудительные работы в Воронежскую губернию, Павловск и другие места всего мужского населения в возрасте от 18 лет и до 55 включительно...» И этот деятель тоже будет прописан в «Тихом Доне» со своим сатрапом по фамилии Малкин. Прочитав роман, оба примутся критиковать автора — за правду, которую расценили как клевету.

В марте от этого самого рассказывания взрыв: Вёшенское восстание! Сколько же станиц и хуторов втянуты — громаден округ. Уже в первые дни восстания на глазах Михаила проливается кровь. Гибнет командир плешаковско-кривской сотни повстанцев и вскорости — ответная расправа. Затем ответная на ответную... Аукнулись эти события через несколько лет в рассказе Шолохова «Бахчевник»: «Вечером в станицу пригнали толпу пленных красноармейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных... Последнего, низкорослого, шатающегося, „конвоир“ ударил ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утопанную ногами землю... Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натываясь на людей, побежал...»

Отрок Шолохов появился в Вёшках и попросился к дальним родичам — к купцу Мохову. Но и здесь война. Вдруг команда с оповещением: рыть окопы для обороны, ибо Кубанская красная дивизия идет. Слух не остался пустым. С высот у хутора Базки пошли бить по станице пушки. Шолохов с двоюродным братом пережили истинно смертное испытание — попали под обстрел.

Не выдержали красные ударов повстанцев и напора кавалерии белого генерала А. С. Секретева. Генералу для постоя выбрали дом Мохова. Купцову семью и всех его постояльцев выгнали в стряпку...

Кто знает почему, но в один из этих дней Миша на попутной подводе уезжает к родителям, никого не спрашивая.

Шолоховых тоже коснулась своими черными крылами беда — бандиты из отряда Курочкина зарубили сына одного из братьев отца. Не эта ли ужасная картина отражена в рассказе «Нахаленок»: «Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами:

видны были оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха». Повторил через страницу, чтобы читатель получше запомнил, какова эта война: «Остекленевший кровавый глаз и большая зеленая муха на нем».

Иногородные вызывали недоверие у белых: как бы не «покраснели». Шолохов и в старости не забыл этого: «Когда мне было четырнадцать лет, в нашу станицу ворвались белые казаки. Они искали меня... „Я не знаю, где мой сын“, — твердила мать. Тогда казак, привстав на стремянах, с силой ударил ее плетью по спине. Она застонала, но все повторяла, падая: „Ничего не знаю, сыночек, ничего не знаю...“»

Случались происшествия и с красными. Комендантский час, ночное патрулирование, а молодых казачек потянуло на игрища-развлечения и за ними увязался Шолохов. На главной улице их задержал патруль, привел в пустой дом и запер — арест! Вооруженному казаку велели не спускать с них глаз. Всю ночь девки не спали — то Михаил на ходу выдумывал и рассказывал такие истории, что от хохота никто не мог заснуть.

С августа 1919-го появилась возможность примирения новой власти с казачеством. Ленин отменил рассказывание в специальном обращении к донскому казачеству: «Рабоче-крестьянское правительство не собирается никого рассказывать насильно, оно не идет против казачьего быта, оставляя трудовым казакам их станицы и хутора, их земли, право носить, какую хотят, форму (например, лампасы)...»

В начале 1920-го Шолоховы переезжают в станицу Каргинскую. Отцу пришлось бросить все нажитое и недостроенный дом. Работу ему найти удалось не сразу. Сын оставался предоставлен самому себе.

Глава вторая

1920–1922: ЖИЗНЬ В «ПЕРЕПЛЕТАХ»

Шолохов обозначит в автобиографии: «С 1920 года служил и мыкался по Донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло, как положено. Приходилось бывать в разных переплетях, но за нынешними днями все это забывается».

Мыканья

Пришли новые страдания. Наступил страшный голод 1921 года с десятками тысяч жертв только в Ростовской области. Многочисленные банды, стрельба, кровь.

Но, удивительное дело, находятся мечтатели, которые берутся за ликвидацию неграмотности. Новое для страны слово «ликбез» приживалось и на Дону.

Шолохов оказался прямо сопричастен этому доброму делу, став на несколько месяцев учителем «по ликвидации неграмотности среди взрослого населения», как это числится в формулярах. Власть тогда такими кадрами, как он, не разбрасывалась, хотя возраст у него совсем не учительский. Дан приказ ему перебираться на хутор Латышев. Родителей не очень тревожит этот отъезд, ибо жить будет сын совсем недалеко от Каргинской.

Странно, что он никогда не вспоминал о своем учительстве в автобиографиях. Однако через пять лет написал рассказ «Двухмужняя» с довольно выразительными картинками: «В комнате жарко... На стекле бьется и жужжит цветастая муха. Тишина. Дед Артем мусолит огрызок карандаша, пишет, криво раззявив рот. Стиснули Анну, толкают в бок. Рядом с Анной — Марфа... Пот ядреными горошинами капает у нее с носа на верхнюю губу; рукавом смахнет, иногда языком слижет и снова шевелит губами, отмахиваясь от вьедливых мух. Чаше выстукивает сердце у Анны, нынче первый раз читает она по целому слову. Сложит одну букву, другую, третью, и из непонятных прежде загогулин образуется слово. Толкнула в бок соседку:

— Гляди, получается „хле-бо-роб“.

Учитель стукнул по доске мелом:

— Тише! Про себя читайте! А ну-ка, дедушка Артем, прочитай нам сегодняшний урок!

Дед ладонями крепко прижал к столу букварь, откашлялся:

— На-ша... Ка-ша...

Марфа не утерпела, фыркнула в кулак...

Что бы ни говорили, а революция пробуждала жажду мечтаний о лучшей жизни. Не потому ли хуторяне принимают постановление с тремя пунктами. Первый: «Приветствие нашим передовым вождям в лице Ленина, Троцкого и Калинина...» Второй: «Ввиду тяжелых обстоятельств нашей страны мы постановили, что рабочий день должен проходить не по часам, а сколько хватит наших физических сил... Дисциплина должна быть товарищеская и вполне сознательная». И напоследок: «Да здравствует борьба с советским бюрократизмом!»

Кружилинцы создали коммунию. Об этом — о рождении сельскохозяйственной артели — заговорили по всему округу. Появилась даже заметка в местной газете.

Однако до конца испытаний еще далеко. Сама жизнь подталкивает в конце 1920-го провести собрание партийного актива Верхне-Донского округа на очень важные темы: «Обсуждались вопросы: о народном образовании (докладчик завокроно Ушаков), о борьбе с бандитизмом (докладчик начальник окрмилиции Воронин), о продразверстке (докладчик окрпродкомиссар Мурзов)». Интересно, как воссоединилось — научиться читать-писать и вообще как выжить.

Шолохов на собрании не был, но директивы этого собрания его не минуют.

Объявлен «Месячник революционного труда» с призывом: «Все на продразверстку!» Понадобилось разверстывать задание по сбору хлеба для голодающей страны от общей нормы на каждый двор. И не думай протестовать. Революция требует жертв!

И снова нетерпеливая поступь времени. Именно в эти дни, когда Шолохов отработал свое на мирном фронте ликбеза, его заприметили в Каргине — он несколько раз появлялся в заготконторе. В рассказе 1925 года «Алешкино сердце» эта контора видится будто в документальном фильме из времен Гражданской войны: «Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров — шаги и нечищенные жала штыков, охрана... Вторая дверь по коридору направо с надписью: „Помещается политком

Синицын!“... Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано — раскумекал Алешка: „Клуб РКСМ“. Чудно и непонятно».

По хутору пополз слух: этот юнец Шолохов, купцов сын, будет начальником. Начальничество началось с того, что он собственноручно отобразил на бумаге: «Прошу зачислить меня на какую-либо вакантную должность; по канцелярской отрасли при вверенной вам заготконторе. М. Шолохов.

1921 20 декабря, ст. Каргинская». И стал... помощником бухгалтера. Радости-то дома: платили хотя и революционно небольшие деньги, но добавляли ценной пайкой — в месяц полфунта табаку, пять коробков спичек и полкуска мыла.

Совслужащий! Пока еще опаснейшее звание. По Дону то и дело расправы с красными — то ночные выстрелы в окно, то подстерегут на дороге. Осмелели бандиты — у них поддержка: недовольных много. Банды разгромили на Дону половину сельских Советов и убили больше ста советских работников.

С одним главарем банды — Фоминым (фигурирует в «Тихом Доне») — Шолохов довольно близко познакомился, когда тот был еще краскомом отряда на хуторе Базки. Теперь, пожалуй, только случай спас его от встречи с крутым на расправу былым собеседником. Об этом вспоминал один хуторянин: «Я с двумя друзьями-комсомольцами сидел в маленькой комнатухе сельсовета, когда на бугре запылили всадники. Бандиты. Мы вскочили в седла и левадами ускакали... А тут с другой стороны откуда ни возьмись Михаил Шолохов на двуколке. Акулина не растерялась, успела дать знак. И обмерла, видя, как Михаил крутанул двуколку и погнал галопом. Это было равносильно гибели: под окнами у бандитов проскакать что есть мочи в степь. В сорочке он родился, никто не заметил беглеца».

Махно нагрязнул в эти места в 1921 году. Позже в повести «Путь-дороженька» сложится сюжет о том, что довелось пережить Петьке Кремневу, главному персонажу, в плену у батьки-анархиста. Написано такими достоверными красками, что невольно думается: не мог писатель все это просто так сочинить:

«Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал:

— Чудак народ... Валандаются с парнишкой, его мучают, сами мучаются. — Хмуря рыжие брови, еще раз взглянул на Петьку, выругался матерно, крикнул: — Иди, вахлак, к сараю!.. Ну!.. Иди, говорят тебе, и становься к стене мордой!..»

Так все и было: Шолохов как совслужащий предстал перед взбалмошным атаманом и услышал приказ: «В расход!» От казни спасла

одна смелая казачка, в курене которой был допрос, — она упростила пожалеть юнца. Смилоствовался Нестор Иванович, но пригрозил: коли снова попадется, так по второму разу не пожалеет.

И в старости не забылось то жуткое происшествие. Как-то в беседе с одним своим знакомцем-земляком, будущим его биографом В. А. Вороновым, Шолохов припомнил:

— Допрашивал меня...

— Какое впечатление он произвел?

— Невзрачная внешне личность...

Казаки заскучали по мирной жизни. Видно, потому появился для каргинцев в их Народном доме театр — драматический! И зал был всегда полон. Спасибо учителю Мрыхину, что сагитировал группу своих бывших учеников создать драмкружок. Сохранилось воспоминание: «Начинали с чеховских водевилей. Шолохов особенно любил комические роли и обязательно по ходу действия присочинял что-нибудь».

Все было бы хорошо, да все чаще приходили огорчения, что иссякал репертуар. Что делать-то? Одному станичнику запомнилось: «Как-то к режиссеру явился Шолохов и, подавая рукопись, сказал: „Вот, пьесу нашел“».

Прочитали ее. Понравилось. Потом он не раз поставлял новые пьесы. Ребята ломали головы: где он их берет? Поинтересовались, но получили спокойный ответ:

— Знакомые из Вёшек присылают.

— Ой, Мишка, да ты сам их, небось, сочиняешь?

— Что вы? Куда мне!

Разговор на этом прерывался. Но как-то прибежал взволнованный. Прижимая к груди исписанные листки, выпалил:

— Тема замечательная... Два действия написал, а вот третье не получилось. — И вдруг осел, притих, чувствуя, что сказал лишнее.

Артистам оказали высокое внимание — председатель окружного ревкома попросил их отправиться на гастроли по соседним хуторам. То-то вселенская слава!

В Каргинской Шолоховым жилось бедно. Будто про них старая казацкая поговорка: «Тары-бары — худые амбары». Даже своего куреня-жилища не приобрели. Мишка, ломая подростковый гонор, носил совсем уж простенькую одежду: латаная-перелатаная гимнастерка под ремень с медной бляхой, штаны, кои уж и утюг не брал, стоптанная обувка.

В шестнадцать лет пришла любовь. Паренька невысокого росточка стали замечать среди молодежи на вечерних посиделках-игрищах. И сам по

себе красив, и культурен — артист-писатель — и при советской должности! Тут и вошла в сердечные вздохи-переживания одна казачка-краса: скромница, тихая, замкнутая. Но прознал отец, казак-атаманец, и на дыбы: не быть в его зятях этому Шолохову!

Дополнение. Начало творчества, пусть пока подражательское, неумелое, можно отнести к 1920 году. Шолохову 15 лет. Он написал то, что назвал «пьесой-шуткой» — «Необыкновенный день», в одном действии. Правда, пьеска осталась только в записи суфлера. Действующие лица обозначены так: «Марфа Сидоровна — купчиха, 47 лет, солидная вдова; Петрушка — сын Марфы, придурковатый парень, лет 19, неряха; Пуд Пудович — солидный вдовец, носит очки; Наташа — дочь купца, очень кокетлива; Сваха Митревна — 45 лет, разговорчива, болтлива». Не случайна купеческая тема, ведь детство и отрочество автора прошли в купеческой семье. Сюжет развивается двойной тягой: попытка поженить юных героев привела к сватовству их родителей.

Суд

1922 год. Шолохов перестал быть незаметным служащим среди счетов и grossбухов. Одна серьезная бумага окружного начальства обозначила его «незаменимым работником». Каково! И как следствие, Доноблпродком его рекомендует на Ростовские курсы продработников. На казачестве непомерное ярмо налогов, что от местных, что от центральных властей. Ретивые начальники давят, чтобы перевыполнить планы по налогам. Нужна кадровая подмога.

Два месяца напитывали курсантов наставлениями не только спецы, но и руководящие партийцы. Продработники в пору страшной нехватки хлеба и голода становятся особыми фигурами в государстве. Ответственность! То-то к тем из них, у кого совесть нечиста, — с подобострастием!! То-то пущали страх!

Позади учеба — выпускникам вручают дипломы с грозным текстом: «Налоговый инспектор». Для Дона это настолько значимое событие, что о нем решили широко оповестить, потому на выпускной акт пожаловал корреспондент газеты «Трудовой Дон» некий Николай Погодин. Вот уж причуды истории. Не догадывались курсанты, что тот, кто что-то строчит в блокноте на коленях, станет видным драматургом и прославится пьесами «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», а после войны «Кубанскими

казаками» — фильмом по его сценарию. Газетчик не углядел приметно-лобастого парня по фамилии Шолохов. Разве что через годы, когда увидит в газетах фото с подписью «Молодой писатель М. Шолохов», вспомнит. Итак, на Дону прочитали газетное сообщение: «Это негромкое, будто неважное событие имеет колоссальное значение в хозяйственной жизни Дона. От этих выпущенных на работу ста двадцати работников зависит „завтра“ Донской области. Им вручается, как непосредственным работникам на местах, хозяйство каждого отдельного сельского хозяина — им вручается сельское хозяйство Дона».

Таково открытое предупреждение станичникам и хуторянам. Таково напутствие налоговикам.

Шолохову мандат выписан в родной Верхне-Донской округ. И через четыре дня — в день рождения — он отправляется в путь, в станицу Букановскую. Ему 17 лет.

В Вёшенской — центр округа — ту группу, в которой числится Шолохов, по чрезвычайной важности подкрепления принял окружной продкомиссар и объявил, выказывая значимость события, что сам становится командиром группы.

То, что Шолохов стал подработником под началом этого революционно непреклонного продкомиссара, запечатлелось в его литературной памяти и отразилось в рассказе «Продкомиссар»:

«В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначаю на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру во как...

Кадык и зубы стиснул жестко».

Шолохову боязно ехать по месту назначения — станица велика и много здесь по отношению к советской власти строптивцев.

Как же нужны ему — особенно по первым шагам — верные соратники. Одним из них, по своим прямым обязанностям, стал работник станичного земотдела Петр Яковлевич Громославский.

Весна... Посевная страда для казаков — страда для инспектора. Шолохов засвидетельствовал свою деятельность — направил начальству «Доклад о ходе работы по ст. Букановская с 17-го мая с. г. по 17-е июня». Много, оказывается, довелось пережить за месяц всего-то! Уже в первых строках обозначилась напористость его характера: «С приездом своим к

месту службы, мною был немедленно в 2-х дневный срок созван съезд хут. советов совместно с мобилизованными к тому времени статистиками. На следующий же день по всем хуторам ст. Букановская уже шла работа по проведению объектов налогообложения. С самого начала работы, твердо помня то, что все действия хут. советов и статистиков должны проходить под неусыпным наблюдением и контролем инспектора, я немедленно отправился по своему району, собирая собрания граждан по хуторам...»

Добавил, явно не без разочарования и самокритики: «Несмотря на ранее принятые меры, граждане чуть ли не все поголовно скрыли посев; работа, уже оконченная, шла насмарку... 27 мая я с остальными членами комиссии вновь выехал по всем хуторам...»

Рассказал, чем брал в этом рейде: «Путем агитации в одном случае, путем обмера — в другом...»

И тут-то приметное признание — уже улавливал жизнь не по политшаблонам о классовой борьбе: «При даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской пролетариат сопротивляется...»

Еще бы не сопротивляться! И не только по вековечному хлебоборбскому чувству: каждая жменя зерна — моя, в ней мой пот, мои надежды на то, что будет кусок хлеба на зиму и весну.

Беда на Донщине — вползала засуха! У налогового инспектора Шолохова раздрай в чувствах: Россия без хлеба, но и Дон без хлеба. Через три года он опишет в рассказах то, что довелось ему самолично видеть — по-шолоховски и просто-скупо, и впечатляюще-правдиво.

«Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода — шестнадцать суток дул горячий ветер. Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квело поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбившийся по-стариковски...» — это в рассказе «Пастух».

«Следом шагал голод... У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью. Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду. Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло

тискали судороги» — это в рассказе «Алешкино сердце».

Позже, через 20 лет, кое-что запечатлеет в четвертой книге «Тихого Дона», даже то, как ненавидели продотрядовцев. Одно из признаний вложил в уста Фомину при беседе с Мелеховым после расправы бандитов над красноармейцем: «Это же, чудак, из продотрядников. Им и разным комиссарам спуска не даем...» (Кн. 4, ч. 8, гл. XI).

Однако вернемся к докладу Шолохова для начальства, который получился как вопль душевный:

«Семена на посев никем не получались, а прошлогодний урожай, как Вам известно, дал выжженные, песчаные степи. В настоящее время смертность, на почве голода по станицам и хуторам, особенно пораженным прошлогодним недородом, доходит до колоссальных размеров». Вынес отдельным абзацем: «Ежедневно умирают десятки людей. Съедены все корни и единственным предметом питания является трава и древесная кора...»

Доклад прочитан начальством. Кинется ли оно предотвращать голод? На докладе появляется резолюция — равнодушная к погибельной жизни казачества, но одобряющая деятельность Шолохова: «Считать работу удовлетворительной».

После такого отношения к своему сигналу о беде у Шолохова в работе появилось то, что было категорически запрещено, — хитрить при исчислении налогов с бедствующих.

Громославский... Одновременно от него и неприятность, и радость. Если начать со второго, то Шолохов приметил одну из четырех его дочерей — смуглянку, учительницу местной школы. О ее познаниях ходила хорошая слава. Еще бы: закончила епархиальное училище в самой Усть-Медведицкой. Это почти что город (и станет таковым через недолгое время с поименованием в честь писателя Серафимовича, будущего наставника и даже друга Шолохова). А как же красива учительница! Он примерил для нее имя от себя: Маруся-Марусенок. Ей, когда сдружились, понравилось.

Но вот с ее отцом не совсем ладно — под подозрением у окружного начальства, которое выловило в одном из отчетов Шолохова ошибку в подсчетах посевной площади в пользу обреченных на голод. И последовало жесткое предупреждение: «Громославскому доверяй, но проверяй!»

Такое недоверие не случайно. За Громославским тянулось недоверие «по политике» со времен Гражданской войны, о чем будет рассказано ниже.

Стремительно пролетал первый месяц службы. Летом — передышка... Жить теперь можно с оглядкой по сторонам. Зачастил он к Громославским. Смородинные чаи гоняли со стариком и его сыном при пригляде дочерей.

Что скрывать, разве гостю возможно быть равнодушным в девичьем обществе.

Его поразило истовое служение этой семьи православной вере. Отец, несмотря на революционное безбожие по всей стране, пошел в псаломщики — характер! Сын еще до революции посвятил себя таковому призванию. То-то и Мария заканчивала епархиальное училище.

Старики стали догадываться, что начальник зачастил к ним не только для служебных разговоров или скучая по домашнему уюту. И Мария, только гость на порог, меняется в лице и поведении. Кто-то пошутил: уж не женишок ли? Вспыхнули оба и этим все ответствовали. Но будущий тесть не одобрил выбора дочери. Кто этот Шолохов для станицы? Ни кола, ни двора. Впрочем, начитанности своего начальника и, похоже, скорого зятя Громославский был рад — сам слыл среди казаков знатным грамотеем.

Осень — время хлеб убирать. Каким же быть налогу в окончательном начислении на каждую душу?

В эти дни произошло непостижимое. И непоправимое. Один горячий казачок попался на шибко большом обмане — занизил вдвое свой показатель для начисления налога. Шолохов за тетрадку с ведомостью — исправлять. Казак в гневе за железный крюк — заехал за борозду, как говорят в таких случаях на Дону. Шолохов навстречь: челюсть у того в хруст. Казак с жалобой к судье — он дело в ревтрибунал. Двое суток сидел Шолохов в «темной». Нечто подобное появится в «Поднятой целине», когда Давыдову достанется шкворнем в столкновении с одним негодующим казаком.

Говорили, что отец Шолохова пошел на хитрость — уменьшил на год дату рождения сына: несовершеннолетний приговору не подлежит!

Но с карьерой красного налогового пришлось попрощаться. Сохранился документ: «Шолохов Михаил Александрович — станичный налоговый инспектор, отстранен от занимаемой должности. Приказ № 45 от 31 августа 1922 года. Причина — нахождение под следствием за преступление по должности».

Он никогда в речах или статьях не вспоминал этого инородного для своей анкеты факта. Лишь один раз прорвалось в автобиографии: «В 1922 году был осужден, будучи продкомиссаром, за превышение власти: 1 год условно».

Теперь — свободен. Теперь можно домой, в Каргинскую, к родителям.

Маруся-Марусенок предчувствовала, что прощались не навсегда. Понимала и то, что ее суженый втайне от всех уезжает на свой хутор не

хозяйство заводить для будущей землеробской жизни. Уж больно часто в последнее время в их разговорах говорилось про писательство. Изящная словесность среди казаков?! Кому другому даже намеки на такое занятие показались бы блажью — это-то на хуторе и у того, кому едва за семнадцать перевалило.

***Дополнение.** Петр Яковлевич Громославский, будущий шолоховский тесть, до революции был станичным атаманом. Значительный чин и многохлопотные заботы-обязанности! Дважды от его атаманства случалась беда для него самого и для семьи. В 1919-м белые приговорили его к каторге — восемь лет! — за то, что со старшим сыном вступил в красную дружину. Спасение пришло от красных — вызволили из застенков. Однако же совсем скоро прикомандированный к станице красный комиссар Малкин внес его в список для расстрела — атаман-де. Это московская директива о рассказывании приказывала атаманов первыми пускать «в расход». Случайность спасла. Малкин, который определился на постой к Громославским, не сразу разобрался в смертном списке, хотя фамилия хозяина стояла первой. Когда же разобрался и отдал приказ схватить, станичные коммунисты заступились. Шолохов спустя годы выпишет этого изверга в «Тихом Доне» и даже познакомится с ним.*

Глава третья

1923–1925: СТОЛИЦА ИЛИ СТАНИЦА?

Не с гордо поднятой головой покидал недавний грозный налоговый начальник Букановскую. Судим! Клеймо! Опозорен! Хоть не выходи на улицу.

Еще хуже было осознавать, что теперь он никому не нужен. Как жить в свои неукротимые восемнадцать без какой бы то ни было востребованности?

Пособие по безработице

У родителей радость — вернулся!

Всяко сыну на домашних хлебах. Но не гостует, не белоручка: помогает по хозяйству. Правда, оно не так уж и велико. Потому частенько после домашней работы прямиком на реку с диковинным именем Чир. Заманивает под звеньканье комаров и шорох камышей эта несуетная с удочкой рыбалка к размышлениям, размышлениям, размышлениям.

Подступала зима — свободного времени в долгие сумерки и бесконечные ночи еще больше.

Комната у него небольшая: стол меж двух окон с занавесками, на нем керосиновая лампа-семилинейка, стеклянная чернильница, деревянная школьная ручка, окантованная жестяным ободочком, чтобы перо держалось, стопочка книг...

Заскучал по перу и бумаге. Пьески писать? Но теперь-то для кого?.. Тут-то, может, он и задумался: много ли на Дону описывателей донской жизни, если не говорить о тех, кто, как генерал Краснов, писал исторические романы и повести? Еще со старых времен славен был Александр Серафимович Попов — он печатался под псевдонимом Серафимович — подлинный казак из Усть-Медведицкой. До революции охотно читались рассказы Федора Крюкова — он еще был депутатом Думы, затем — редактором белой газеты и сочинял-печатал — несть числа — листовки и прокламации против советской власти. Ныне, понятное дело, забыт он, сгинул в тифе, когда бежал от красных (советская власть его вычеркивала из памяти вплоть до середины 1980-х годов; Шолохов не дождался ни выхода его книг, ни появления его имени в открытом

поминании). Еще до революции были в ходу книга очерков «Тихий Дон» и романы полковника Войска Донского Ивана Родионова (позже, в берлинской эмиграции прослыл он черносотенцем и антисемитом).

Неужто не о чем ему будет рассказать-написать?

Понял: надо учиться, нужна творческая среда, а значит — в Москву! Там комсомольские газеты и журналы привлекают начинающих писателей. Там земляк Серафимович окружил себя молодыми питомцами.

1922 год. Октябрь. В середине второй недели отпыхтел паровоз на московском вокзале, который был знаком ему еще по первой ездке с отцом в Белокаменную, и на московскую землю ступил еще один юный покоритель столицы, переполненный надежд на взятие литературного Олимпа.

Шумные приметы нэпа — новой экономической политики, недавно объявленной властью как переход от политики «военного коммунизма» к построению социализма — ошеломили уже на привокзальной площади. Будто и нет для полстраны голода. Крики лотошников и газетчиков. Не только увечные нищие и ребятня-попрошайки. Дворники-чистоплюи с метлами. Милиционеры. Барышни в мехах. Мужчины в кепи или шляпах, с портфелями. Лихачи на прытких лошадях и авто с клаксонами. На каждом шагу лавки и магазины — государственные, кооперативные, артельные, частные — разинули для денежных людей свои богатые товарами окна-витрины. Из ресторанов просачиваются звуки скрипок и гитар. Кафе на каждом шагу...

Быстро охолонул: где и на что жить?

Первым днем решил узнать, как поступить на рабфак университета. Эти подготовительные курсы предназначались прежде всего для молодежи пролетарского происхождения с малой школьной подготовкой. Ему было отказано. Неодолимым препятствием для зачисления стало то, что у него не имелось комсомольской путевки, поскольку комсомольцем он не был.

Упрямец и гордец отринул мысль возвращаться домой как бы в поражении-отступлении. Нашел себе пристанище на Плющихе. (Через три года в рассказе «Илюха» аукнется: «Ночью, припозднившись, шел с работы по Плющихе, под безмолвной шеренгой желтоглазых фонарей...»)

Потом явился на биржу труда. Спросили: «Профессия?» Ответствовал: «Продработник». Ему запомнился этот разговор, и через 12 лет в «Правде» не без юмора рассказал: «В Москве я очутился в положении одного из героев Артема Веселого, который после окончания Гражданской войны регистрировался на бирже труда. „Какая у вас профессия?“ — спросили его. „Пулеметчик“, — ответил он».

Дома осталась поговорка: «Поел казак да и на бок, оттого казак и гладок». Здесь иным живут: «Наживать, так рано вставать».

Совсем не гостеприимной оказалась столица для ищущего место под ее солнцем провинциала. Попробовал работать грузчиком на Ярославском вокзале. Затем пошел мостить дороги. Наступившей зимою — в морозы и оттепели деревянной колотушкой вбивал — один к одному — тяжкие, до судорог в пальцах, гранитные бруски. Артель, которая приняла его, взяла подряд замостить площадь у храма Христа Спасителя и проулки рядом. Но что-то заставило его распрощаться и с этим, чем обрек себя существовать на пособие — скуднейшее — по безработице. Шолохов, припоминая эти мытарства, добавил: «Все время усердно занимался самообразованием».

Приближался новый год — потянуло домой.

1923-й. Дому отдал зиму и весну. При материнских заботах подхарчился и побывал в беззаботности. Но мысль входить в литературу только в Москве — упряма. Родителям никак от нее не отвадить.

Май — снова в путь. И снова мучительный с полуголодухи вопрос: на что жить в Москве?

Нашел работу почти знакомую — счетоводом. Биржа труда направила его в одно жилищное управление на Красной Пресне.

Днем бумажки-цифирьки... Свобода приходила по вечерам, и тогда роились сюжеты и темы, и все чаще перо тянулось к бумаге, спать ложился лишь за полночь, а то и под утро.

Он стал думать о возможности найти себе какой-нибудь литературный причал. Пришло в ум зрелое решение: начинать не с богемы — не бегать по литературным кафе-кабаре и клубам, но искать тех, кто поддержал бы его стремление стать писателем.

К каким же литературным берегам причалить? В те времена не счесть было литературных сообществ, групп, объединений и кружков.

Одно из таких писательских сообществ — Ассоциация пролетарских писателей. Она влиятельна. Сам Сталин выкажет ей поддержку. Правда, через три-четыре года она, под названием РАПП, набьет ему оскомину — политическую — крикливо-настойчивыми потугами считаться единственной в создании новой культуры, а всех иных при каждом подвернувшемся случае поучать-критиковать. Есть объединение «Кузница» — оно собирает тех, кто ранее состоял в Пролеткульте. Этот «культ» Ленин громил еще в 1920-м в письме «О пролеткультах», опубликованном в «Правде», за то, что они требовали ультимативно: должна быть только одна новая — пролетарская — культура при полном отрицании прошлых культурных традиций. «Кузнецы» обзавелись своим журналом «Кузница»

(1920–1922; в 1924–1925 — «Рабочий журнал») и своими вождями — писателями Федором Гладковым, Николаем Ляшко и Владимиром Бахметьевым. (Это они первыми объявят Шолохова врагом за его непролетарское творчество.)

Шолохов решил войти в группу молодых писателей, которые объединились вокруг учрежденного в апреле 1922 года комсомольского журнала «Молодая гвардия».

У него уже были на бумаге два-три рассказа. Вдруг здесь прочтут и скажут правду — стоит ли заниматься литературой? И он напросился на творческое заседание этого объединения. Когда пришел, поздоровался, не ручкаясь, и подивил всех казачьим обличем — был в «кубанке» и в гимнастерке с узорчатым пояском. Ему сказали: читайте, пожалуйста, вслух для всех. Честь оказана! Но все равно поджилки трясутся, хотя обычно непужлив. Как происходило это прилюдное — первое — свидание с литературой, запомнил секретарь молодогвардейского объединения Марк Колосов. Он работал в этом журнале и прославился тем, что вместе со своим главным редактором Анной Караваевой в 1932–1934 годах поспособствовал публикации романа «Как закалялась сталь» Николая Островского. Колосов сохранил для истории тонко подмеченные черты донского литновобранца: «Был Шолохов крайне застенчив, читал невыразительно, однотонно, неясно выговаривая слова... Отдавал дань тогдашней манере письма: короткая фраза, густая образность, подчеркивание колорита... Вместе с тем его рассказы не были похожи на те, какие писали тогда пролетарские писатели...»

Итак, прочитал свой опус — он шумно обсужден. После этого выслушал доброе предложение: стать членом содружества молодых писателей.

Случилось и еще одно событие — очень важное! — для его творческого становления. Постучался в двери редакции «Юношеской правды», тоже детище комсомола. По счастью, двери приоткрылись — он принят внештатным сотрудником: пиши, мол, на темы, нужные комсомолу!

Какое же, однако, перо первым выведет к читателям — журналистское или писательское?

Первый фельетон

Литературное объединение. Это возможность пройти школу первой степени профессионализма. Шолохову было прелюбопытно посещать его.

В этих молодогвардейских стенах начинающие литераторы охотно читают произведения друг друга, чтобы потом взыскать требовательные оценки. О, какие же здесь баталии — это когда со взрывчатым комсомольским пылом-жаром добывают истину: о чем писать, как писать, для кого писать. Каждый, понятно, гений, пусть пока еще никем, кроме себя, неопознанный.

Он понимал, что литобъединение ничуть не теплица для лавровых венков. Но и то успел узнать: в истории редчайший случай, когда талант входил в литературу вне литературного окружения. Тому пример Пушкин — лицей стал для великого поэта колыбелью. Здесь начинал творить под приглядом лицеистов и профессоров. Здесь великий старец Державин — кумир России — заметил и благословил. В мундирчике опять же лицеиста обратился в редакцию чтимого российской публикой журнала «Вестник Европы», где и появились его первые стихи.

Вот и ему, Шолохову, выпала судьба заполучить и своего Державина — Серафимовича, и войти в окружение тех, кого бы надо величать наставниками. То Виктор Шкловский, шумно-модный, эпатажный тогда критик и литературовед, уже тем поражающий при знакомстве, что его невеликое тело вызывающе увенчивал огромный квадратно-лысый череп. И премного начитанный Осип Брик, интереса к которому добавляло то, что содруг самого Маяковского, для которого он просто Ося. Уж так непредсказуемо-неожиданно воссоединились в этом объединении Серафимович, исповедующий традиции классики и идею ответственности писателя перед народом, и эти литучителя с назойливыми поучениями особого отношения к классикам: революция-де старое разрушает. Едва ли воспринимал станичник такие изыски Шкловского: «Прозаический образ есть средство отвлечения: арбузик вместо круглого абажура или арбузик вместо головы есть только отвлечение от предмета одного из их качеств и ничем не отличается от определения голова = шару, арбуз = шару...» Казаки могли бы сказать о такой науке просто, но с изыском язвительной мудрости: «Показал черт моду — да в воду!» И бриковы — технологические — изобретения не для станичного парня; выразительна сценка от очевидца: «Темными вечерами нас сзывал Брик. Кружок беллетристов плескался в произведениях: своих, горячих, и чужих... Разбор... Расчленение... Собираение... Сюжет... Прием письма... Уздечка на читателя...» Шолохов позже так откликнулся: «Мне лекции Брика, на коих я присутствовал три или четыре раза, дали столько же, сколько чтение поваренной книги, скажем, архитектору».

Или такая от него ехидненькая оценка: «На Воздвиженке, в Пролеткульте на литературном вечере МАППа, можно совершенно

неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а „седой ковыль“) имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы. Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах — непременно „братишки“, о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория — преимущественно милые девушки из школ второй ступени — щедро вознаграждали читающих восторженными аплодисментами. На самом деле — ковыль поганая белобрысая трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от ковыльных остьев...»

Напомню: ему всего девятнадцать лет, а он уже проникся неприятием того, что внедрялось влиятельными пролеткультовцами и деятелями ассоциаций пролетарских писателей.

...Журналистика. Все-таки она первой присваталась к нему, пока он еще только подумывал в своем литобъединении о женитьбе на изящной словесности. И мир изменить к лучшему хочется немедленным вторжением в жизнь. И перо просится на скорое свидание с читателем. И о гонорах мечталось — жить-то надо.

19 сентября 1923 года. Газета «Юношеская правда» — боевой рупор ЦК и Московского городского комитета комсомола. Здесь появился фельетон «Испытание» с подзаголовком «Случай из жизни одного уезда в Двинской области», под которым стояла подпись: «М. Шолох».

Двинская область. Сведущему читателю эта маскировка не мешает понять, что речь идет о Донской области. По стилю и сюжету здесь явно кое-что от Чехова: дорожные приключения попутчиков на совместной деревенской подводе. Один из них — секретарь комсомольской ячейки, второй — торговец-нэпман.

Фельетон никакими особыми изысками не блещет и до ехидных баек деда Щукаря ему еще ой как далеко.

Этот свой первый опус Шолохов никогда в будущем не вспоминал. Может, зря, иначе критики-литературоведы, возможно, и разглядели бы в этом фельетончике те две колючки, что явно со временем не затупились:

неприятие грязных приемов при проверке на чистоту политических взглядов. Комсомольский начальник — секретарь уездного комитета — дал задание торговцу во что бы то ни стало спровоцировать юного попутчика на откровения: «Узнайте его взгляды на комсомол, его коммунистические убеждения. Постарайтесь вызвать его на искренность и со станции сообщите мне»;

возмущенный отклик на богемную жизнь, когда страна еще не

оправилась от недавнего смертного голода. В фельетоне есть диалог: «На выставку?..» — «Да». Затем грубо, жестко, но понять такие чувства можно: «Людям жрать нечего, а они — на выставку».

Наградой стали живейший интерес читателей и 13 рублей гонорара.

Прошло две недели — появился второй фельетон под названием «Три». Новая тема для автора и материал на злобу дня для редакции — издевка над теми, кто по доброволию изменяет революционным убеждениям. Примечателен эпиграф: «Рабфаку имени Покровского посвящаю». Возможно, это некое эхо неудавшейся попытки стать рабфаковцем.

Потом в сотрудничестве с газетой — перерыв, который растянулся на полгода.

В декабре Шолохов покинул Москву.

Зачем и почему так внезапно?

***Дополнение.** Кое-что еще о литературном окружении Шолохова.*

Александр Серафимович. Его, донского казака из станицы Усть-Медведицкая, первое сочинение — рассказ «На льдине» — Россия узнала в 1889-м. И сразу он получил благословение от кумиров прозябающей в нужде интеллигенции Глеба Успенского и Владимира Короленко. Высок полет во славе — Лев Толстой ему ставит «пятерку с плюсом» за рассказ «Пески». Особая строка в биографии — личное знакомство с Лениным, и даже такое стало известно: сын писателя гибнет в Гражданскую и отец получает от главы советской власти трогательно-сочувственное письмо. Серафимович в возрасте, однако же находится на творческом подъеме — пишет повесть «Железный поток». Небольшая по объему, эта повесть явилась подлинной эпопеей народной революционной стихии. Она вызвала шквалы споров, но уже тогда стало очевидным: эта повесть — событие для новой культуры.

Серафимович в литературной жизни словно соревнуется с Максимом Горьким, читая вороха сочинений литературного молодняка и тонким чутьем выделяя — кому стоит помогать, а кому — графоманам — отказать.

Ко времени знакомства с Шолоховым он — председатель Московской ассоциации пролетарских писателей, а в журнале «Октябрь» — главный редактор.

Будущее принесет учителю и ученику в их взаимоотношениях не только приятные моменты.

Виктор Шкловский. В его книге «Повести в прозе. Размышления и

разборы» есть раздел «Несколько слов об искусстве Советского Союза и об искусстве Запада тридцатых годов» с тремя главами: «О казачестве и о крестьянстве», «История, документ и биография» и «Григорий Мелехов и Аксинья». Все три в основном о «Тихом Доне». Пусть и спорно, но с почтением!

Осип Брик. Его жена и Шолохов «столкнулись» в 1967-м в заметках видного американского публициста Г. Солсбери: «Он казак, резко сказала Лиля Брик, целиком сочувствуя молодым. — Мы совершили революцию против таких людей, как он». Это она явно припомнила рассказывание. Журналист запечатлел далее, с кем же эта литдама содружничала и кого ненавидела. «Он не мог написать этого, — сказал один молодой писатель (имея в виду „Тихий Дон“. — В. О.). — Он не способен на это. Он просто нашел дневник одного белого русского офицера, переписал его и выдал за собственный труд». (Вот вам и высоты «профессионализма»! Можно ли переписать дневник в населенный почти тысячью персонажей роман-эпопею?!) Американец ухватился за возможность «раскрыть плагиат» — в унижение советской литературы. Но при этом сопровождал историко-филологические изыскания явно не случайной ремаркой: «Госпожа Брик только что вернулась из Парижа, щеголяя высокими белыми сапожками... Разговаривая, она играла длинной золотой цепью...»

Тесть с норовом

1924-й. Шолохов вернулся на Дон и тут же — каково родителям! — засобирался в Букановскую, к Громославским. Свадьба состоялась 11 января.

С того дня вошла в его жизнь — до самой кончины — навсегда растворившаяся в гении своего суженого статная красавица-смуглянка, атаманова дочь.

А ведь могло и не случиться шестидесяти лет совместной жизни при четырех веточках: дочь, сын, дочь, сын.

Это о том, что было от чего поволноваться влюбленным. Отец Марии Петровны воспротивился. Строжился — дочери надо продолжать учиться: «Бросить все, чтобы замуж?!»

Но смирили-уломали непреклонного. Однако и смягчившись, выдвинул твердое условие — при женитьбе следовать старинным донским обычаям. Жених этого не струсил, хотя такое могло пойти кругами у комсомолии в осуд-пересуд... Мария Петровна даже в старости не забыла:

«Свататься Миша с отцом и матерью приехал чин по чину».

Впрочем, окончательный сговор произошел при участии свата, соседа Шолоховых, без старинных церемоний:

— Здорово дневали, Петр Яковлевич?

— Слава Богу, Максим Спиридонович.

— Видать по всему, пора нам к свадьбе готовиться?

— Пора...

Но отец невесты снова в норов — объявил: венчаться в церкви. Невесте новая тревога — как жених, комсомольский газетчик, воспримет тестев указ? Шолохов знал, как крепко воздвигнуты казачьи обычаи, — не ему ломать. Даже кошевые проявляли покорность и шли к священнику — Дон есть Дон.

Пришлось идти под венец и Шолохову, вопреки всем комсомольским запретам.

...С молитвою о ныне обручающихся рабе Божьем Михаиле и рабе Божьей Марии пошли: «О еже ниспослатися им любви, совершенней, мирней и помощи, Господи помолимся... О ежи податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о ежи возвеселитися им видением сынов и дочерей...»

С «Исаие ликуй» и обхождением вокруг аналая...

С тихим под конец голосом священника: «Поцелуйте жену свою, и вы поцелуйте мужа своего...»

И сколько было еще до храма каждому пожеланий с хитрецей: кто вступит первым на ковер у аналая, тот и будет в семье главным...

Хорошо, что никто из братвы-комсы не заглянул в храм.

Когда совершали еще и государственную регистрацию, то вышла наружу одна хитрость. Как-то, еще в предсвадебное время, невеста спросила у жениха: «Ты с какого года?» Он успокоил: «Одногодки!» Но расписываются и выясняется — годков себе прибавил. Она обиделась: «Что же ты обманул?» Он обезоружил какой-то шуткой, зато не упустил суженую.

Жить стали отдельно от стариков. Медовый месяц начали в доме у кузнеца — квартирантами в пристройке. Тесть одарил кулем муки.

Молодой поражал жену: ночами все сидел и сидел за столом: сочинитель! Молодая позже вспоминала: «Ляжешь уснуть — работает, работает. Проснешься — все сидит. Лампа керосиновая, абажур из газеты — весь обуглится кругом, не успевала менять. Спрошу: „Будешь ложиться?“ — „Подожди, еще немножко“. И это „немножко“ у него было — пока свет за окнами не появится».

Юная супруга стала писательской женой: «Только заикнулась я об учебе или работе какой-нибудь, он прямо и сказал: „Знаешь что, я тебя заранее предупреждаю — работать будешь только у меня“. Я не поняла: „Что значит — у тебя?“ — „А вот узнаешь“».

Узнала не сразу.

...Ноябрь. За день до праздника Октябрьской революции Шолохов собрался в дорогу — в Москву. Для начала один. Но не выходит из сердца Маруся-Марусенок. Уже с дороги он пишет ей письмо — начал в слободке Ольховый Рог, заканчивал на станции Миллерово:

«С утра 7-го жарил отчаянный мороз, а после полудня отпустило, дорога размякла, пошла метель, вымочило нас самым основательным образом и до слободы Новопавловки мы едва-едва дотянули... Переночевали. Чулки, перчатки, башлык я высушил, а шинель осталась мокрой. На утро — мороз. Поехали, и мне да и всем то и дело приходилось вскакивать, бежать и греться. Полы шинели сделались как деревянные, и еще одно ужасно неприятное ощущение — рукава были мокрыми и вот нудно, понимаешь ли, с влажными рукавами... Утром поднялось что-то неопишное. Можешь себе представить: несет, бьет, воет... буря...»

Ничего не скрыл от жены: «Часа полтора назад приехали в Миллерово. Сошли на постоялом, и я прямо пыхнул в окр. ком. РЛКСМ. Тут сюрприз — оказывается, меня вышибли из Союза». Увы, теперь не узнать, за что «вышибли» его из комсомола — то ли за венчание с дочерью атамана, то ли за то, что взносы несколько месяцев не платил из-за прошлого отъезда в Москву. Письмо подтвердило — с характером ее Миша: «Извещение (между прочим) не произвело на меня никакого впечатления». И добавил: «Ну, да черт с ними, с сволочами!»

В Москве тоже первым делом принимается за письмо жене, почти в стихах:

«Москва.

16 ноября 24 г.

Ночь.

Родная мне безмерно!

Десятый день не вижу тебя, не ощущаю около себя твоей близости, а кажется, что долгие-долгие дни, как стеной, отгородили нас, и недавнее прошлое встает перед моими глазами, подпернутое дымкой тумана. Скажи, ведь недавно ходили мы с тобой за Чиром, ломали пушистый камыш и воздух возле воды был свеж и морозен и на щеках твоих дрожал бледный румянец...»

Но дальше никакой лирики: «Хлынула в душу мутная волна

равнодушной тоски...» Пояснил: «Надоело быть не только участником, но даже и зрителем того, как люди гонятся за краюхой хлеба». Закончил письмо, однако, просто — прозой жизни: «Как заработаю деньги, приеду. Жди и не скучай. Привезу тебе кое-что. Беспокоит вопрос о квартире».

Четырнадцать рассказов

Жизнь в Москве оказалась многообразнее, чем предполагал в письмах.

Вскоре тоска отошла: и в редакциях к нему относятся с интересом, и юная жена — приехала — поддерживает, и читатели хорошо принимают своих — советских — писателей.

Все это, конечно, вдохновляло. Пошли рассказы. В этом, 1925 году, когда особенно увлекся ими, было написано их четырнадцать!

Разумеется, в них еще много ученичества, и тема Гражданской войны пока неизменна, хотя жизнь подсказывала уже и другие сюжеты. Однако в лучшем из того, что он тогда написал, уже обнаруживается его шолоховская особица — без политагиток, без пустой риторической романтики, без казенных восторгов, без призывов к мировой революции, главное — глубина душевных переживаний тех, кто только что прошел через революцию в своей ищущей счастья стране.

Рассказ «Семейный человек»: отцу приказано конвоировать сына, красного бойца, попавшего в плен к белым. Жуткое выплескивается не только через сюжет, но и через слово:

«Тут Иван обернулся ко мне и говорит жалостливо так:

— Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь! Неужто совесть твоя доселе спит?

— Нет, — говорю, — Ваня, не спит совесть!

— А не жалко тебе меня?

— Жалко, сынок, сердце тоскует смертно...

— А коли жалко — пусти меня... Не нажился я на белом свете!

Упал посередь дороги и в землю мне поклонился до трех раз. Я и говорю на это:

— Дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раза два...»

Иному писателю и этого хватило бы, чтобы запечатлеть страшную правду Гражданской войны. Шолохову такой правды показалось мало — и перо выводит смерть сыну от отца, но не трафаретно — то, мол, Гражданская война с ее зверствами от белых:

«Прими ты, Ванюша, за меня мученический венец. У тебя — жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил тебя — меня б убили казаки, дети по миру пошли бы христарадничать...»

Какой же душевный опыт надо было иметь девятнадцатилетнему писателю, чтобы так отобразить междоусобную трагедию, которая и Шекспиру едва ли оказалась бы по силам!

Через год появился рассказ «Лазоревая степь». И вновь непостижимое — где почерпнул он для своей сюжетной палитры такие краски, чтобы описать смятение чувств коммунара, оставшегося безногим после Гражданской войны: «Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, видит, людей вблизи нету, так припал к земле, глыбу, лемехами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...»

Еще один рассказ: «Ветер». И снова про изуродованную жертву Гражданской войны. Сюжет таков: инвалид-обрубок насиловал свою сестру. Рассказ настолько страшен, что Шолохов его никогда более не печатал. Он был найден в старой газетной подшивке только в 1986-м.

Необычен писатель. Потому получал не только похвалы от проницательных читателей, но и тумаки от критиков пролеткультовского, а чуть позже рапповского направления: «мелкобуржуазный гуманист!», «натурализм!», «схематизм!», «биологизм!»...

Свидетель тому Дмитрий Фурманов, авторитетный деятель новой литературы. Прославлен литературным итогом своего комиссарства у истинно народного полководца Чапаева — романом «Чапаев». Он записал в своем дневнике: «Слабый рассказ Минаева был принят из целей тактических... Хороший рассказ Шолохова из гражданской был отвергнут („Нам этот материал надоел“).

Шолохов интересовывал читателей не только острыми сюжетами, но и художественным разнообразием приемов, хотя не всегда доставало тщательной огранки. Вот в рассказе «Двухмужняя» можно прочесть: «Сады обневестились, зацвели цветом молочно-розовым, пьяным...» Вот после такой пастельной краски он взял для одной из картин в рассказе «Жеребенок» совсем иную: «Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножками выбрался он из маминой утробы и прямо над собой увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного взрыва... Ужас был первым чувством...»

А сколько в рассказах того, что разовьется в будущих романах. В

«Кривой стежке» — прямая дорожка к будущей Аксинье и Григорию: «На водопое, разнуздывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу... Стояли перед глазами Нюркины руки, уверенно и мягко обнимающие цветастое коромысло и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам». В «Обиде» — зачатки некоторых сцен из «Поднятой целины»: «Перед Покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок, запряг их в плуг, в муке скаля зубы, кусая синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги».

К осени жене надо было возвращаться домой, к матери мужа, в Каргинскую. Не прожить вдвоем в столице на шолоховские заработки.

Любимой нет рядом: она осталась в сердце и в письмах, которые позволяют узнать, как ему жилось тогда: «Настроение у меня, моя родная Марусенок, все то же. Думал, город встряхнет, а оказывается, иначе. В Каргине я чувствовал себя бодрее...

Встосковался по тебе. До того взяло за печенки, хоть беги...

Скучаю по тебе, роднушок, страшно. И эта скука усугубляется тем, что знаю, что ты еще больше скучаешь там, в Каргине...»

Далее о своем житье-бытье: «Я знаю, что тебя особенно интересует, как и где я помещаюсь, что ем, где сплю...

В нашей комнате живут четыре рабочих...

Эти два дня я пытался при помощи дворничих стряпаться, и представь такие результаты: вчера утром пошел купить у „сыроваров“ мяса 1 ф. на щи и котлеты, 1 ф. картошки, 1 луковицу, 2 ф. пшена, 2 ф. сахару-песка.

В своей банке сварил чудного супа, сжарил 2 котлеты... Словом, за рубль в сутки можно, Маруся, есть по горло!...»

Не обошлось и без отчета о литературных заботах — помянул два рассказа, которые передал в популярные тогда журналы «Красная нива» и «Прожектор». Но и следующее отписал: «Не робей, моя милая! Как-нибудь проживем. Гляди, еще не лучше и не хуже других. Зарабатывать в среднем буду руб. 80 в м-ц, да тебя устрою. А проедать будем 35–49 руб. Это самое большое...» Старательно обозначил и самое, видимо, насущное — кто бы мог подумать, что он горазд на такое «домоводство»: «Туфли великолепные стоят 25 р. Простые, очень хорошие — 15–20 р. Платье шерстяное — 15–19 р. и т. д. Костюм мужской 30–40 р. хороший, ботинки 15–20 р.».

Поделился «утехами» своих рыбацких страстей: «На днях был в ГУМе, купил 20 крючков английских. Чудные крючки, хоть сома в 20 п. удержат, а между тем размер маленький. Пробовал плесть лески ночью вчера, но без тебя дело не выходит».

В конце этого послания ударился в подбадривающий юмор: «Вот бы

ты посмеялась. Она, т. е. койка проклятая, разлезлась еще хуже. Вчера за ночь раз пять, к моему ужасу, падал! Сплю — и вдруг грохот, спинка ударяет меня по затылку, а сам я стремительно лечу вниз».

В письме есть одна загадка — она пока еще не обращала на себя внимания биографов: «Был в академии. После чистки выбыло 1280 человек. Всем, не бывшим на чистке, вменено в обязанность сдать минимум к 1 февраля, т. е. через два м-ца». Что за академия и отчего к ней интерес? Неужто все еще подумывает о студенческой скамье?

«Звери» или «Продкомиссар»?

Итак, он вошел в журналистику с обличительными — в помощь Российскому Коммунистическому Союзу Молодежи — темами. Но не покидает мысль учиться изящной словесности. Упрям и настойчив, таким и запомнился — в отличие от немалого числа «податливых» юных гениев (лишь бы напечатали!). Один былой по тем временам соратник вспоминал: «У Михаила Шолохова была одна особенность... Он не соглашался ни на какие поправки, пока его не убеждали в их необходимости. Он настаивал на каждом слове, на каждой запятой. Мы знали об этом».

Сдал первый в своей жизни рассказ «Звери» в редакцию альманаха «Молодогвардеец», его выпускало литобъединение. Ждет приговора. Проявил характер — сел за письмо ответсекретарю объединения: «Ты не понял сущности рассказа... Я горячо протестую против выражения „ни нашим, ни вашим“. Рассказ определенно стреляет в цель». Молодой писатель протестовал против примитивных классовых установок, которые исповедовались в редакции по наущению идеологов Ассоциации пролетарских писателей. Он не защитник врагов советской власти. Она для него родная. Художническое чутье подсказывало ему, что всеобщие для человечества идеи справедливости надо познавать через судьбы людей, часто не укладывающиеся в политические догмы.

Он пишет письмо с надеждой на коллективный разум в оценках рассказа: «Прочти его целиком редколлегии...» и вместе с тем отстаивает право на свои писательские принципы: «Все же прижаливая мое авторское „я“».

Приоткрылось в письме и положение писателя, когда высказывал просьбу о гонораре: «Денег у меня — черт ма!»

Трудно входить в литературу таким неуживчиво принципиальным. Однако прибыла и моральная поддержка, как говорится — жена

примчалась к мужу.

Мария Петровна и в старости вспоминала те времена: «Сняли мы комнатку в Георгиевском переулке, отгороженную тесовой перегородкой. За стенкой стучат молотками мастерские (сапожники. — В. О.). А мы радовались, как дети. Жили скудно, иногда и кусочка хлеба не было. Получит Миша гонорар — несколько рублей, купим селедки, картошки, и у нас праздник. Писал Миша по-прежнему по ночам, днем бегал по редакциям». Приходилось подрабатывать: «В Москве первый год после свадьбы Михаил Александрович за любую работу брался...» Припомнила одну из них: «Сапожничал».

Первым же московским утром он напомнил ей о давнем своем условии: «Работать будешь только у меня». Попросил, чтобы она стала переписчицей его рукописей. Рассказывала: «Он ночью пишет, а я днем переписываю...» Через года два ее «работодатель» подкопил гонорары и купил пишущую машинку. (Остался тому след в одном письме: «Избавляю тебя от переписки. Купил тебе машинку за 60 рублей». Супруга уточняла: «По тем временам цена не малая. Мы ее быстро освоили самоучкой — я и он».)

Московские воспоминания Марии Петровны своеобразны — без всяких умилительных или пафосных красок «про жизнь рядом с гением»: «Одежда у нас — никакая, стыдно по улице пройти. Через две недели потащил меня в Большой театр: „Обязательно надо посмотреть...“ Все красиво, все блестит, люди так хорошо одеты, а мне стыдно. Миша мне говорит: „А что ж ты хочешь? Первое время так и будет“. Дома сидела, в нашей клетушке...» Выходит, от столичной жизни доставалось ей совсем немного впечатлений.

Весной пришло решение снова ехать домой — в Каргинскую. Отпраздновали день рождения Шолохова и на следующий день — в поезд.

Дом родной... Заботлива матушка. Есть теперь возможность напрямую отдаться творчеству, распрощавшись с газетчиной, и не думать, что не на что купить хлебушка.

В декабре страна узнала о рождении писателя Михаила Шолохова. В газете «Молодой ленинец» появился рассказ «Родинка» о страшной правде Гражданской войны — отец убивает сына: «К груди прижимая, поцеловал атаман стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...»

1925-й. Одна у него забота — писать, писать, писать да ждать весточек из Москвы — напечатают ли? Написано за это время немало новых рассказов. Рискнул даже взяться за повесть — «Путь-дороженька».

Ожидания оказались не напрасными. Тот подозрительный для редакции рассказ «Звери» все-таки появился в газете «Молодой ленинец» в середине февраля. Это третий опубликованный рассказ. Теперь у него новое название — «Продкомиссар». Не прошло открытое поименование — «Звери», а как хотелось уже с названия обозначить суровый замысел — показать жестокость «военного коммунизма» и деяний продкомиссаров.

«Телеграфные столбы, воробыным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка. По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухивали ямищи, пшеницу ядреную позарыли...»

В финале — выворачивающая душу картина казненных продотрядчиков: «Лежали трое суток. Тесленко, в немывтых бязевых подштанниках, небу показывая пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бадягина по голой груди прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин, не торопясь, повывлеывали черноусый ячмень».

Вот какой появился писатель: из новых, но не поэтизирует насилие, даже если оно совершается в интересах революции и для спасения народа от голода — уроненной слезы не поднять.

Написано уже немало — на сборник набиралось, но все, как считал, надо выверять на читателе, надо пропустить рассказы через газеты и журналы. Выбрал не только комсомольские — «Журнал крестьянской молодежи», где работал друг-приятель Василий Кудашев, «Смену», «Комсомолию» и «Молодой ленинец». Решился завоевывать «взрослые» издания — журналы «Огонек» и «Прожектор».

У жены теперь свои надежды — может, станут получше жить. Надоело считать скудные грошки в тощих карманах. Такая жизнь аукнулась даже в письме одному редакционному работнику: «На тебя, Марк, я крепко надеюсь и этим письмом хочу повторить просьбу о том, чтобы ты устроил рассказ и скорее прислал мне часть денег... Подумываю о том, чтобы махнуть в Москву, но это „маханье“ стоит в прямой зависимости от денег...» Концовка письма с отчаянием: «Пиши скорее, есть надежда или нет? И ждать ли мне денег? С нетерпением жду ответа».

Не то беда, коль на двор вошла, а то беда, что нейдет со двора.

Впрочем, на Дону говорят: «Бог не без милости, казак не без счастья».

Приходит весточка из газетного «цеха». «Юношеская правда», после кончины Ленина сменившая название на «Молодой ленинец», напечата

фельетон. Третий в жизни писателя, и последний. Назван «Ревизор» с подзаголовком «Истинное происшествие». Он о том, как направленного на помощь батракам комсомольца чинуши приняли за тайного проверяющего из Рабоче-крестьянской инспекции: «Перед ним явно трепетали. В нем заискивали. Ему засматривали в глаза, предупреждали каждое движение; а он, глядя на ковры, мебель, только недоумевал...» Комсомольский Гоголь, да и только! Фельетон для знающих с особой приметинкой — Букановская поминается уже в первой строчке: «Хлопнув дверью, позеленевший кассир Букановского кредитного товарищества предстал перед председателем правления:

— Ревизор из РКИ ночует на постоялом!..»

Прочитал ли кто в станице такой привет из столицы?

Дополнение. В ранних рассказах Шолохова немало персонажей наделены такими именами и фамилиями, которые, твердо прописавшись в творческой памяти автора, перекочуют в его романы. Например: Кошевой, Акси́нья, Степан, Прохор, Аникушка... Те, кто талдычит про плагиат, эту зримую преемственность утаивают.

«Никогда не забуду...»

Скопилось восемь готовых рассказов — уже книга. Сдал рукопись в издательство «Новая Москва». И вот она даже набрана, но вползли переживания: рассказы газетные, а покажутся ли они в сборнике именно литературой, не спешит ли он с первой книгой на свидание с читателем? Он еще не осознал, что первые рассказы имеют полное право на долгую жизнь. Включил в книгу и «Родинку», и «Пастуха», и «Продкомиссара», и «Шибалкино семя», и «Алешкино сердце»...

Решил посоветоваться с тем, кому доверял: с Серафимовичем. Ему была передана верстка книги. Известно, как перегружен старик такого рода просьбами. Но вдруг весточка — мэтр сел за предисловие к его сборнику. Значит, не считает его щелкопером-графоманом.

В дневнике Серафимовича осталась запись от тех дней: «Черт знает, как талантлив!»

У Шолохова с тех пор появился литературный крестный, можно на радостях пошутить по-казачьи: кум. Он приглашен для беседы — оказано доверие! Услышал лестное для себя: «Невелика ваша книга — восемь рассказов, а событий на целый роман...» Но вдруг прозвучало и такое —

неожиданное: «Писателю очень важно найти себя, пока молод... Дерзнуть на большое полотно...» И еще: «Нюхом чувствую — пороху у вас хватит!»

Мэтр явно подталкивал к повести или роману.

Первый сборник молодого писателя «Донские рассказы» со вступительным словом Серафимовича выйдет в 1926 году, и автор прочитает о себе: «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшее».

Будет в предисловии и такой совет — чтобы не закружилась от похвал голова: «Все данные за то, что т. Шолохов разворачивается в ценного писателя, только учиться, только работать над каждой вещью, не торопиться».

И спустя многие годы, на 75-летнем юбилее своего наставника, Шолохов не скроет своей горячей благодарности: «Никогда не забуду 1925 года, когда Серафимович, ознакомившись с первым сборником моих рассказов, не только написал к нему теплое предисловие, но и захотел повидаться со мною... Наша первая встреча состоялась в Первом Доме Советов». Это гостиница с нынешним названием «Националь». Здесь жил кум-наставник.

Серафимович тоже оставил след от той встречи не только добрым отзывом и строчками в дневнике. Набросал для задуманной повести о Шолохове портрет героя. Линии легки, но рисунок осязаем, впечатляющ и при всей эскизности полон не только точности, но и восхищения, и даже удивления:

«Шолохов. Невысокий, по-мальчишески тонкий, подобранный, узкий, глаза смотрели чуть усмешливо, с задорцем: „Хе-хе!.. Дескать, вижу...“

Громадный выпуклый лоб, пузом вылезший из-под далеко отодвинувшихся назад светло-курчавых, молодых, крепких волос. Странно было на мальчишеском челе — этот свесившийся пузом лоб...

Небольшой, стройный, узко перехваченный ремнем с серебряным набором.

Голова стройно на стройной шее, и улыбка играет легонькой, насмешливой, хитровой казацкой...

Резко, точно очерченные, по-азиатски удлиненные, иссиня-серые глаза смотрели прямо, чуть усмехаясь, из-под тонко, по-девичьи приподнятых бровей.

И глаза, когда говорил, и губы чуть усмехались: „Дескать, знаю, знаю, брат, вижу тебя насквозь...“»

У станичника Шолохова в этом, 1925 году случилось несколько наездов в столицу с хождениями по редакциям. Знакомил издателей с новыми сочинениями, рассказывал о задуманном. В одной спросил: нет ли возможности добыть запретные заграничные издания белых эмигрантов, чтобы почитать, как они складывают свою историю революции и Гражданской войны на Дону? Для чего? Выяснится позже, когда узнают, что он принялся за роман о судьбах казачества в революции.

Что ни поход по редакциям, то преинтереснейшие знакомства. Одно чего стоит — Андрей Платонов! Подвернулись и чудаковатые комсомолята-художники из знаменитого тогда ВХУТЕМАСа — будущие карикатуристы, известные по коллективному псевдониму Кукрыниксы. И появился шарж. Знать, по-художнически углядливо выявила эта остроумная троица в провинциале особые приметы значимости.

Работники журнала «Комсомолия» приваживают своего автора к семинарам в Литературно-художественном институте, который помещался в роскошном старинном особняке на Поварской. Сходил несколько раз.

Увы, денег по-прежнему не хватало на столичное житье — гонорары невелики. Шолохову и в этом году порой приходилось — тайком от всех — по ночам разгружать вагоны.

Чем больше знакомился с литературным миром, тем чаще появлялись совсем не комсомольские искушения-соблазны. «Если появлялись гонорары, то ходили в рестораны... Шолохов очень любил слушать, как поют цыгане...» — свидетельствует поэт Иван Молчанов, он тоже работал в журнале.

И все-таки не втянулся. Работники «Журнала крестьянской молодежи» потом отобразили в своей книге «Друзья-писатели»: «Литературная богема, среди которой волей-неволей ему приходилось вращаться, не привлекала его. Упорный и настойчивый, он стремился работать, вечеринки и пирушки только мешали ему, на московских мостовых он всерьез тосковал по донским степям».

Хорошо же, что степная тоска взяла верх над столичными развлечениями.

Средь степей и на берегах Дона — дома! — он задумал писать роман о казачестве.

Замысел становился романом не сразу: «В 1925 году стал было писать „Тихий Дон“, но, после того, как написал 3–4 печатных листа, бросил... Показалось — не под силу... Начал первоначально с 1917 года, с похода на

Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова...»

1925 год шел к концу. У Шолохова в сердце и мыслях будущий роман. И нечаянная радость — его заметили за границей: в Польше перевели и издали отдельной книжицей рассказ «Алешкино сердце».

С этого начиналось знакомство планеты с будущим нобелевским лауреатом.

***Дополнение.** Еще одно славное имя в биографии начинающего писателя — Василий Кудашев. Тоже провинциал и тоже молод, но уже успел приобщиться к столичной литературной жизни понадежнее, чем Шолохов, став заведующим литературным отделом «Журнала крестьянской молодежи». Это позволило ему напечатать несколько рассказов Шолохова. Потом был редактором шолоховских книг «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (вышла в том же 1926 году).*

Потянулись друг к другу не по случаю, а благодаря общности биографий. Кудашев хоть и липецкий, но перед тем, как стать москвичом, пожил на Дону. Шолохов учился в Богучарах в гимназии, Кудашев как раз в это время — ученик городского училища. Шолохов — профработник, Кудашев неподалеку, в Каланчевском районе — комсомольский работник. И далее судьба не расторгнет этот дружеский союз — и в радостях, и в горестях. В 1999 году наследники Кудашева передадут государству многие десятилетия тайком хранимую рукопись «Тихого Дона». И это станет решающим доводом в посрамлении тех, кто нахраписто внушал миру, что Шолохов-де плагиатор.

«ТИХИЙ ДОН»: КАК НАЧИНАЛСЯ...

Историческое свидетельство жене. Откуда главные герои романа? Номенклатура двух ЦК. Надолго ли? Приказ старого писателя. Сталин и роман. Кто автор слухов о плагиате? «USA» в планах. Письма кинозвезде Эмме Цесарской

Иногда биографу везет по-крупному — он может обозначить точную дату рождения той мечты своего героя, которая станет стержнем и даже сутью его биографии.

Глава первая

1926–1928: ПОДСТУПЫ К ЭПОПЕЕ

Шолохов одарил человечество таким произведением, которое отличается от всех иных замечательных произведений, коих много и в нашей, и в мировой культуре. Он оставил читателю нестареющий в художественных образах завет-поучение, что человек не из власти и не из верхов может искать правду для себя и своего народа.

Как же приближался к этой истине автор всего-то двух небольших книжек рассказов?

Четыре письма особой значимости

Новый год... 1926-й. Что пожелали близкие главе семейства и что сам себе пожелал он? Не трудно догадаться — он пожелал себе начинать роман. Ему пожелали спокойного творчества и свершений. Сбудется ли?

Январь. Вышла — вышла! — самая первая в жизни Шолохова книга, если точнее сказать, по своему невеликому объему — книжица. Но радость такова, что не до уточнения количества страниц. Все равно отныне на книжных полках появилось новое имя — Шолохов!

Прошло совсем немного времени, и сразу несколько журналов заметили ее появление. И такой значительный, как «Новый мир», и такой политизированный, как рапповский «На литературном посту», и свой боевой, комсомольский — «Комсомолия».

Первая слава! Докатилась она и до Дона, до Каргинской. Мария Петровна засвидетельствовала: «Книжку читали нарасхват. Миша смущенно помалкивал. Ему страшно любопытно было, что скажет отец, Александр Михайлович. Отец был растроган до слез. Обнял Мишу и сказал: „Сам Серафимович благословил! Теперь я могу умереть спокойно, вижу, что ты нашел свое дело...“»

Увы, отец оказался провидцем своей судьбы — через месяц его схоронили.

По счастью, судьба оказалась благосклонной к роду Шолоховых: за потерей — обретение. Первенцем на свет появилась дочура Светлана. Имя-то какое!

Но нет мира-покоя. Один критик заточил свое критическое перо для

политического доноса, учуяв в шолоховских рассказах сентиментальщину. Нет, ей не место в революционной стране, которая нацелена сражаться за свои идеалы со всевозможными — внутренними и внешними — врагами.

...В Вёшенской стали жить. Через два года о ней узнает вся страна, читая «Тихий Дон»:

«На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вёшенская, старейшая из верховых станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чигонацкой станицы, переименованной в Вёшенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Против станицы выгибается Дон кабаржиной татарского сагайдака...

Вёшенская вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади — старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона... На маленькой площади заросшая иглисто-золотой колючкой, — вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша, — под цвет зеленим разросшихся по ту сторону озера тополей...»

Образ жизни у молодого писателя прежний. Писал много и упорно, в основном ночами.

Днем же, как правило, иным занят. Не до литературы, таков характер — прежде всего жить жизнью своих земляков. Один старожил запомнил: «Я тогда работал в советских учреждениях в Вёшенской. Михаил часто заходил в райисполком, к председателю РИКа Корнееву, в школу, в земельный отдел. Часто выезжал вместе с районными руководителями в станицы и хутора... Разговорчивый, веселый был парень. Шутку любил. Как сейчас помню: в белой сатиновой косоворотке, подпоясанный тонким ремешком и всегда с трубкой — посвистывает тихонько и дымит».

Шолохову идет всего двадцать второй год от рождения, а он на равных и с высоким начальством, и с теми, кто у земли. Из молодых, да ранних. Стремительно созрел, ибо многое повидал. Вот это-то и забывают те, кто уже столько десятилетий талдычит одно: не мог-де Шолохов начать свою эпопею в такие юные годы.

Март. Дела зовут в Москву. Прожил там почти два месяца. От того времени остались четыре письма, в которых содержатся особые свидетельства и для биографии писателя, и для литературы.

Первое письмо жене: «Знаешь, дорогая, рассказы — это лишь разбег, проба сил... А хочется мне написать большую вещь — роман. Хочу показать казачество в революции».

Казалось бы, по силам ли тема для такого юного писателя? В письме, однако, есть четкая фраза: «План уже продуман». И приказ самому себе:

«Надо приступать к работе». Жену просил, чтобы согласилась жить не в столице, а в станице: «Там легче будет дышать и писать».

Второе письмо тоже жене. Так заскучал, что взялся набросать весточку, когда коротал время, ожидая беседы, в лучшем московском издательстве: «Родная моя, пишу из Госиздата...» Пришел договариваться о второй книге рассказов «Лазоревая степь». Сообщил также, что готовится и его третий сборник рассказов «О Колчаке, крапиве и прочем». Заметил, однако, с огорчением: «Тянут...» Написал и о том, не без гордости, что один из рассказов прочитал и похвалил сам Александр Константинович Воронский, в то время очень авторитетный партиец, основатель первого советского «толстого» литературного и научно-публицистического журнала «Красная новь», близкий Ленину и Сталину критик и публицист, ставший в будущем «врагом народа».

Отразились в письме и семейные заботы: «Жди посылку, дня через четыре вышлю. Маме скажи, что деньги (50 р.) вышлю, как только получу...» С трудом наскреб денежки — не оправдались ожидания на гонорар: «Оказывается, бухгалтерия напутала...»

И, как всегда, тоска по дому: «Я уже очень соскучился по тебе и по Светланке. Нынче видел вас обеих во сне».

В третьем письме жене о литературе сказано немного, к тому же в самом конце, но это немногословное сообщение так важно, что вынесем его в начало: «С приездом сейчас же сажусь за роман... Мне необходимо писать то, что называется полотном, а в Москве прощайся с этим». Речь идет о «Тихом Доне»!

А в остальном письмо обычное:

«Родная моя и милая! Знаю, что теперь ты каждый раз ходишь на почту и ждешь от меня вести... Я убийственно „скупился“ по тебе и дочке. Как она? С величайшей радостью подержал бы ее сейчас в руках, а тебя обнял бы...

Хотел Светланке купить „экипаж“, но стоит он 30–40 р.

Во вторник я получаю с „Комсомолии“ 65 р. за „Смертный враг“. Из них 50 отдай маме...

Твой заказ надеюсь выполнить... Посылку пошлю во вторник...» Он и в других письмах щедр на приятные посулы: «Я так рассчитываю: получу 900–1000 р., куплю тебе пальто, зимнюю шляпу, материала платья на четыре, на белье, потом ф. 20 конфет, чаю, кофе, какао, мясорубку, керосинку и пр. и пр.». Или продолжает столь же трогательно: «Пришел соблазн купить тебе пальто... Есть, моя милая женка, чудесные пальто, но не на меху, а на ватине и вате (на меху вообще нет пальто. Есть шубы

дамские... Теперь слово за тобой, говори, какого цвета покупать)».

Четвертое письмо свидетельствует, что Шолохов и в самом деле приступил к роману. Из Москвы он отправляет письмо на Дон — Харлампию Ермакову:

«Уважаемый тов. Ермаков! Мне необходимо получить от Вас дополнительные сведения относительно эпохи 1919 г. Надеюсь, что Вы не откажете мне в любезности сообщить эти сведения с приездом моим из Москвы. Полагаю быть у Вас в мае-июне...»

Странное письмо — сухое и холодное, хотя по слову «дополнительно» видно, что они уже встречались. Может быть, не хотел, чтобы их сотрудничество кем-то бралось «на карандаш»? Возможно, догадывался, что не только у него, писателя, есть интерес к тому, кто был активнейшим участником Вёшенского контрреволюционного восстания 1919 года, вспыхнувшего в тылу Красной Армии.

(Забегая вперед, скажу, что летом 1927-го писатель узнал скорбную весть: Харламбий Ермаков был расстрелян по приговору коллегии ОГПУ, подписанному самим наркомом Генрихом Ягодой. Что ж, державное решение, словно по Пугачеву и Разину. Боялись в верхах таких, как Ермаков и Миронов.)

Харламбий Ермаков становился для романиста не только поставщиком «сведений». По интересности своей биографии и своеобразности характера он начинает «подпитывать» главное действующее лицо в «Тихом Доне» — Григория Мелехова.

И все-таки Ермаков не единственный прототип. Шолохов не фотограф, он художник. Как-то рассказывал: «Жил на Дону такой казак... Но, подчеркиваю, мною взята только его военная биография: „служивский“ период — война германская, война гражданская».

Мелехов — это собирательный образ русского человека, истово и саможертвенно искавшего Правду и Истину для себя и своего много настрадавшегося народа. Романист настаивал на этом. Однажды у него спросили: «Как был найден образ Григория?» Ответил: «В народе. Григорий — это художественный вымысел...»

***Дополнение.** О прототипах «Тихого Дона» остались и другие свидетельства автора.*

«Образы Григория, Петра и Дарьи Мелеховых в самом начале я писал с семьи казаков Дроздовых. Мои родители, живя в хуторе Плешаков, снимали у Дроздовых половину куреня... И я для изображения портрета Григория кое-что взял у Алексея, для Петра — внешний вид и его смерть

от Павла, а для Дарьи многое позаимствовал от Марии, жены Павла, в том числе и факт ее расправы со своим кумом... Братья Дроздовы были простые труженики, ставшие на фронте офицерами, а тут грянула революция и гражданская война, и Павла убивают. В Глубоком Яру их зажали и потребовали: „Сдавайтесь миром! А иначе — перебьем!“ Они сдались, и Павла как офицера, вопреки обещанию, тут же и убили... А потом его тело привезли домой... Я катался на коньках, прибегаю в дом — тишина... И вижу: лежит Павел на соломе возле пылающей печи, плечами подперев стену, согнув в колене ногу. А брат его, Алексей, поникий сидит напротив... До сих пор помню это... Вот я в „Тихом Доне“ и изобразил».

«В разработке сюжета стало ясно, что в подоснову образа Григория характер Алексея Дроздова не годится. И тут я увидел, что Ермаков более подходит... Его предки — бабка-турчанка, четыре Георгиевских креста, служба в Красной гвардии, участие в восстании, затем сдача красным в плен и поход на польский фронт — все это меня очень увлекло...»

Дополним. Харлампий Ермаков родился в 1891-м на хуторе Антиповский Вёшенской станицы. Прошел войну с немцами, Гражданскую и польский фронт. Только в 1923 году окончательно вернулся домой. В феврале вернулся — в апреле был арестован. Правда, через два месяца после разбирательства отпустили. Четыре года хуторяне доверяли ему посты заместителя председателя сельсовета и председателя Крестьянского общества взаимопомощи.

В 1989 году Х. В. Ермаков был посмертно реабилитирован.

Обращение к мэтру

Не удастся отдаться только роману. Прощание с рассказами произошло не сразу, и интересно, что не забылся первый учитель-благословитель. Написал ему в декабре 1926-го:

«Уважаемый и дорогой т. Серафимович! Посылаю Вам книгу моих рассказов „Лазоревая степь“. Примите эту памятку от земляка и от одного из глубоко и искренне любящих Ваше творчество.

В сборник вошли ранние рассказы (1923–24 гг.), они прихрамывают. Не судите строго. Рассказ „Чужая кровь“ посвящен Вам. Примите.

Попрошу Вас, если сможете, напишите мне Ваше мнение о последних моих рассказах: „Чужая кровь“, „Семейный человек“ и „Лазоревая степь“.

Ваше мнение для меня особенно дорого и полноценно.

Черкните хоть две строчки».

Но ответа от Серафимовича не было — неделя, другая, третья... Как расценивать такое молчание гордому человеку? Вновь берется за письмо: «Дорогой т. Серафимович! Месяца два назад я послал Вам книгу „Лазоревая степь“. Если найдете время, очень прошу Вас, черкните мнение о недостатках и изъянах. А то ведь мне тут в станице не от кого услышать слово обличения, а Ваше слово мне особенно ценно. Не откажите».

Уже второй раз набивается на критику!

А посвященный наставнику рассказ настоящая жемчужина. Как начинается-то:

«В филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробом заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог... В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся...»

Удивляет он широтой повествования — на малом плацдарме одной казачьей семьи показаны судьбы и стариков, и молодых, которые находятся под прицелом и белых, и красных, и продотрядчиков, и махновцев, и просто бандитов. Поражает главной мыслью: посулы счастья не могут быть праведными, если человека в это счастье загоняют прикладами.

Отважен в этом рассказе автор, будто не знает, что есть цензура в четырех видах: самоцензура, редакционная бдительность, собственно государственная цензура и еще агитпроп ЦК.

Вот старик снаряжает единственного сына — любимого — против красных. Продал быков, купил коня и провожает его с напутствием (по воле небоязливого Шолохова): «Служи, как отец твой служил, войско казачье и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должен и ты».

Вот выведено, как в протест против рассказывания этот старик «носил шаровары с лампасами... Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон... Вешал на грудь медали и кресты... Шел по воскресеньям в церковь...».

Или: одна фраза — и три в однораз обличения: «Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю за один огляд купили махновцы...» Шолохов подытожил горько: «Прахом дымилось все нажитое десятками лет».

Или то, как продотрядники нагрянули и «уговаривают» старика:

«— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?»

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем...

— Давитесь чужим добром!»

Тут же — смертная кара продотрядникам, когда налетел бандитский отряд: освободители. Их главарь предстает читателям в выразительном шолоховском портретировании: «Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?.. Оглох ты, черт?! Овес есть?»

Продолжение этой истории истинно шолоховское. Трудно было предугадать, что старики начнут выхаживать чудом не испустившего дух командира продотрядников. Все отдадут ему — не только оставшуюся одежду сына, но и его имя. Для осиротелых деда Гаврилы и его супружницы он — враг! — становится названным сыном.

Но мало сконструировать необычный сюжет. Автор оснащает его такими, к примеру, репликами персонажей, что каждая могла бы стать у иного писателя драматическою сценою на многие страницы.

«— Не держу. Поезжай!.. — бодрясь, ответил Гаврила. — Старуху обмани... Скажи, что возвернешься. Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас...» — говорит дед, узнав, что пришел названому сыну вызов на родину, на Урал, — восстанавливать завод.

«— Ворочайся!.. — цепляясь за арбу, кричал Гаврила. — Не вернется!..

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступала его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль».

На этом писатель ставит точку. Каков ветер-то!

Рассказы рассказами, но все чаще заботит роман. Начать-то его начал, да компас свой писательский на историю участия казачества в революции не отладил: «За два или полтора года я написал шесть — восемь печатных листов. Потом почувствовал: что-то у меня не получается. Читатель, даже русский читатель, по сути дела не знал, кто такие донские казаки... Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе...»

Здесь необходимо добавить, что в начале роман замысливался как история Корниловского мятежа и участия казаков в походе на Петроград. Теперь понял, что начинать надо с дореволюционного времени.

Вхождение в должность

Август 1927-го. Шолохов едет в Москву — вызвали читать верстку уже второго сборника рассказов. И пошли искусы стать москвичом.

Отчет о том, что происходит, — в нескольких письмах жене. В его судьбе начинает прописываться «Журнал крестьянской молодежи». Хорош журнал; «комса» его любовно называет «ЖэКаМэ». Он двухнедельный, создан всего два года назад, в 1925-м, а уже идет о нем добрая слава. И хотя журнал общественно-политический, но печатает художественную литературу и широк в выборе авторов — среди них и Андрей Платонов, и Михаил Шолохов.

В редакции пригляделись поближе к писателю из Вёшек, и друг Василий Кудашев, и руководитель журнала Николай Тришин заприглашали на работу. Из многих претендентов глаз пал на него, а что не комсомолец, не партиец — ну так что?! Приглянулся иными, литературными качествами. Шолохов сообщает жене, что встречался с главным редактором: «Предлагает должность пом. зав. литер. худож. отделом...» Через полстраницы как бы ненароком: «С квартирой есть кое-какие надежды...»

Но через день в письме иные настроения: «Я колеблюсь и не знаю, что мне делать, оставаться ли в Москве служить, или ехать в Букановскую, чтобы перезимовать там. Ты, наверное, удивлена: как Москву менять на Буканов?...»

Впрочем, сам же и нашел ответ: «Живя в Москве или около Москвы, я безусловно не смогу написать не только роман, но даже пару приличных рассказов. Суди сама: от 10 до 5 я на службе, к 7 ч. вечера только дома, до 9 ч. обед и прочее, а после обеда я физически не в состоянии работать... И так изо дня в день. Тогда надо проститься с писательством вообще и с романом в частности. А это для меня неприемлемо». Добавил: «Прочитал в „Новом мире“ рецензию на „Донские рассказы“. Хвалят. Ждут от Шолохова многого...»

Заключил: «Пусть подождут: не к спеху, скоро только блох ловят».

Полетели дни и недели, за душным столичным летом пришла набрякшая сыростью осень.

И все же 22-летний парень не устоял перед напором Тришина и Кудашева. В один из этих дней состоялся решающий разговор — идет он работать в журнал или не идет?

Что ответил? Об этом снова пишет своей Марусе-Марусенку глубокой ночью, в два часа, 13 октября, как это обозначил в уголке: «Решаю поставить тебя в известность о делах не малых...» Этим — интригующим — начал.

И в самом деле сообщал о превеликих изменениях в своей жизни: «Сегодня я утвержден отделом печати ЦК ВКП(б) на должность зав. лит. — худож. отделом ЖКМ». Выходит, его подняли на ступень выше — не помощник заведующего, а заведующий! «Хлопотать я не хлопотал, пришли и предложили, я взял и согласился. Тришин сам ходил туда (в ЦК. — В. О.) ... Против моей кандидатуры не только не возражали, но приняли весьма благосклонно». Добавил не без удовольствия: «Оказывается, знают нас там...»

...Вышел на работу 20 октября. Он столько раз бывал в этом кабинете — автором и гостем, а только сейчас стал догадываться, как ему, неприрученному никакими хомутами дончаку, доведется тянуть лямки редакционной жизни в узде номенклатуры двух ЦК (партийного и комсомольского) и лишь лелеять в душе надежды свободно продолжать роман.

Шею намутузил уже к концу второго рабочего дня, о чем и сообщил любимой жене. Сперва, правда, отписал, что познакомился с решением партийного ЦК партии. Даже процитировал: «Слушали: Предложение т. Стальского о назначении т. Шолохова зав. лит. — худ. отд. ЖКМ. Постановили: Назначить т. Шолохова зав. лит. — худ. отд. и предложить редколлегии Кресть(янской) газеты зачислить в штат постоянных сотрудников».

Но дальше пишет о том, какова она, редакционная лямка, когда в стране всеобщая установка растить рабоче-крестьянскую литературу. Ему норма — прочитать 20 рассказов в день и каждому автору ответить. В тот день никаких талантов не выудил, сплошь графомания, потому заметил: «опупеваю». Отсюда и разочарование — нечем пополнять редакционный портфель: «Ни таланта, ни грамотности, ни элементарного понятия о литературном творчестве, а один только „писательский зуд“. Изволь им разжевывать, что у них плохо и почему плохо... Стихи из Семипалатинска, парня-ученика педтехникума; делал очень просто, взял Есенина, умело заменил слова и послал. За такие штуки за уши драть надо... Один из Ростова с медфака прислал стихи, но уж я его отшлепал...» Так что никаких скидок на землячество.

Тут же признание — не то от первой растерянности, не то — напротив — от силы собранного характера: «Сразу подумал и, ей-богу, чуть не отказался». Но охолонул и уточнил, что надо хотя бы зиму поработать.

И вновь в письме о романе: «Бешено работаю».

Была и такая приписка: «Москвы не вижу. Нигде, не то что в кино или театре, даже на собрании ни на одном не был».

На сколько же Шолохову хватило сил быть захомутованным? Судя по всему, проработал он всего несколько дней.

...Вскоре от Серафимовича получает отзыв на книгу рассказов. «Лазоревая степь». Не отписка, не казенный, не торопливо сочиненный.

Старик окрылял — никакой творческой ревности: «Молод и крепок Шолохов. Здоровое нутро. Острый, все подмечающий глаз. У меня крепкое впечатление — оплодотворенно развернет молодой писатель все заложенные в нем силы. Пролетарская литература приумножится». Впрочем, наставник верен себе — не преминул высказать предостережение: «И все же его всерьез подкарауливает опасность: он может не развернуться во всю ширь своего таланта».

С легкой руки проницательного Серафимовича у молодого писателя в эти месяцы вышли в разных издательствах одна за другой семь книжечек, правда, тонюсеньких. Зато одна из них предстала в почетной серии «Библиотека батрака».

***Дополнение.** Рождение «Журнала крестьянской молодежи» было определено решением ЦК партии в феврале 1925-го. В этом документе журнал был назван «центральным» для крестьянской молодежи. Уже в августе появилось новое постановление «О работе комсомола в области печати», где говорилось: «Необходимо обратить внимание на объединение вокруг журналов („Смена“, „ЖКМ“, „Мол. гвардия“) молодых поэтов и писателей». Через три года, в 1928-м, вышло новое постановление «О мероприятиях по улучшению юношеской и детской печати» с критикой: «Крайне недостаточно печать продвигается в деревню... Художественная литература для молодежи все еще невысока по качеству (в ней зачастую имеются элементы нездорового приключенчества и неумелость освещения социальных тем)».*

Николай Тришин, главный редактор «ЖКМ», сохранил добрые чувства к строптивцу Шолохову. Литературовед, член-корреспондент РАН Наталья Корниенко разыскала в одном рассказе Тришина любопытный эпизод. Главный герой спрашивает лучшую трактористку, читала ли она Бальзака, в ответ услышал: «Нет». Тогда он задал другой вопрос: «Ты помнишь Аксинью из „Тихого Дона“? — „Нет, я не читала“, — все более смущаясь, тихо ответила Поля. „Ты мало читаешь“, — сказал он с явным сожалением».

С 1935 года «Журнал крестьянской молодежи» стал называться «Молодой колхозник», затем с 1962 года — «Сельская молодежь». В 1956–1960 годы журнал предпринял самое первое семитомное собрание

сочинений Шолохова, одного из своих первых авторов.

Первая строка

Известно свидетельство о времени рождения «Тихого Дона» от самого Шолохова: «Первая книга была готова к сентябрю 1927 года. А вторая — к марту 1928 года».

На самой первой странице черновика запись: «„Тихий Дон“. Роман. Часть 1. Вёшенская 6 ноября 1926 года». Какова же сила творческого порыва — для всех праздничное застолье, а у него рабочий стол.

Одному газетчику тогда очень повезло — побывал в Вёшках и запечатлел в своих заметках:

«Закрывался в комнате и писал. Он выходил с красными воспаленными глазами, словно пьяный.

— Что ты пишешь? — спрашивали у него.

— Роман!

— Роман?! Так-таки целый роман? — шутили над ним. — Как же этот роман будет называться?

— „Тихий Дон“.

— Что же это за название такое? Роман — и вдруг река.

— Это прекрасное название! — отвечал он убежденно. — И это будет настоящий роман».

У Шолохова пытались вызнать: «Были ли трудности, когда начинал роман?» Ответил — простодушно: «Их не перечесать!» Стал исчислять: «Не было денег и порой даже на табак. Бумаги недоставало. Писал с обеих сторон листа».

Однажды у него спросили: «Много ли было вариантов начала романа?» Не был приучен к привычному для многих кокетству — мол, поисков не перечесать. Ответил: «Да так сразу и начал, как есть в книге...» Добавил преинтереснейшее: «С Фадеевым однажды в начале 1926 года беседовали, как начинать роман. Он был сторонником классического начала, вроде: „Утром 14 августа 1877 года трехмачтовый парусник отбыл в море...“ А я ему ответил: „Очень старо! Если писать роман, то писать его надо по-своему, по-новому“».

Как это по-новому? Роман потянулся за настолько простой, без всяких вычурностей первой строкой, что просто втягивает-заманивает в чтение: «Мелеховский двор — на самом краю хутора».

Так напечатано. Но в одном из вариантов рукописи тире не было и

вместо хутора стояло — «станица».

Далее вывел: «Воротца со скотиньего двора ведут к Дону. Крутой восьмисаженный спуск и вот вода: над берегом бледно-голубые (неразборчиво) прозеленью глыбы мела...» Не понравилось: после слов «спуск и» появляется тире, а вместо слова «вот» «— вода». В следующую фразу вписал иное: «Над берегом замшелые с прозеленью глыбы мела...» В книге же третий вариант: «Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых меловых глыб и вот берег...»

В другой фразе, неподалеку, поначалу начертал: «Облупленная часовенка». Не понравилось — вычеркнул «облупленная». Вот сколько трудов при поиске начала.

Шолохов вообще-то писал быстро, но, к счастью для читателей, — неторопливо. Иногда — всего несколько строк за день, иногда — две-три страницы, но чаще всего сил хватало на десять, а то и поболее страниц.

Однажды пооткровенничал: «Случалось, что легко выписывающиеся страницы исправлялись и перерабатывались, а главы, которые писались медленно, трудно, оставались уже навсегда законченными... Роман я правил много раз».

Истинно так. Едва ли не каждая страница запечатлела требовательное отношение к своему писательскому труду — искать и искать в переработках и переписываниях лучшее и более точное. Сплошь зачеркивания, перечеркивания, вписки, варианты и изменения, линеечки на полях и в междустрочиях — то извилистые, то прямые, то сдвоенные, а то «галки» или напоминание себе — «переделать». Или вдруг: «Вст. п. 2» — это обозначение места для вставки, значит, родился новый текст. Удалял отбракованные строчки и даже абзацы явно без колебаний — размашистыми вычерками.

Иногда написанного, видимо, казалось мало. На одном рукописном листе пять рисунков тонким пером; это напоминает пушкинские черновики. Рисунки покрывают собой текст. Писал и рисовал, и возникло это веление явно по скрытым даже от него самого побуждениям. Очень выразительны два наброска. Казак с недоуменным лицом в казачьей фуражке. И наброски к другому портрету — выразительные глаза и губы с подбородком; глаза грустные, а губы и подбородок — упрямые.

Мучителен и ответствен труд собирать исторический материал для огромной саги о казачестве. И ведь как втягивает возможностью открытий за открытиями. И тогда творческая жадность обрекает на отчаянную — не считаясь со временем, с усталостью — работу. Когда приехал по первому разу в Новочеркасский музей, так даже на коленях ползал по полу перед

штабелями старых газет и журналов. В особенности привлекала газета «Донская волна». Несколько дней не вылезал из библиотеки музея.

Он не часто допускал посторонних к таинству — как собирал огромный материал для огромного сочинения. Отделялся общими словами — живу, мол, в народе. Как-то прорвало на пространный монолог:

«Люди все рядом: ходи да распоряжайся. Тут уж от твоего умения успех зависит. Все под рукой — и материал, и природа. „Живой материал“ ходит около меня, пьет чай за моим столом, ездит со мной на рыбалку — и все рассказывает, рассказывает, только запоминай... Но пришлось в архивах посидеть, особенно в Новочеркасске и Ростове, по картам изучать движения полков и дивизий. Рассказы, факты, детали от живых участников гражданской и империалистической войны, беседы, расспросы... Начинаешь изучать специальную военную литературу, разбираешь военные операции по многочисленным мемуарам наших и белогвардейских генералов... Очень помогли зарубежные источники...»

Однако не каждый «живой материал» — с чаем или с добрым пособничеством.

Как-то Шолохов заявился в окружное управление ГПУ, в Миллерово. Главный здесь чекист выслушал его просьбу: мол, прошу свидания с находящимся в тюрьме есаулом Сениным: необходимо переговорить с целью сбора материала для романа. Подивился, поди, начальник при синих петлицах такому непотребному желанию встречи с тем, кто был схвачен за подготовку восстания. Не сразу разрешил. Шолохов же словно забыл, где находился, — все настаивал: беседа просто необходима.

Вернулся домой подавленный: «Только что я был в тюремной камере и разговаривал с Сениным. Говорил с ним, смотрел на него и думал: скоро не будет этого человека. И Сенин отлично знает, что в ближайшие дни его ожидает расстрел». В этот вечер Шолохова не узнавали. Был пугающе молчалив. Не осталось без следа свидание: Сенин прописан и в «Тихом Доне» и будет отчасти узнаваем в образе Половцева из «Поднятой целины».

...Писатель всегда у всех на виду: куда собрался и кто к нему пожаловал, что высказал и что не высказал, что у него делается по праздникам, а что по будням, с чего живет и что наживает своими, по оценкам одних, бумагомарательными затеями, других — работой для народа.

Он всяким представал перед земляками. И не всегда только «с жалью» к их бедам. Как-то сход сельских активистов выслушал от него, всего-то 25-летнего земляка, довольно обидные вещи, но, видимо, проняло: уж больно

непривычно отчитывал он за ту бесхозяйственность, которая незаметно-незаметно да прижилась в станице:

— Раньше в больницах не истории болезней велись, а «скорбные листки», куда записывали температуру и симптомы заболевания... Вот и я пришел сюда со «скорбным листком» незавидных дел, которые надо немедленно изжить...

Одна москвичка, погостевав у него в семье, оставила своеобразные заметки: «Он живет какой-то своей особой жизнью, иногда обращая внимание на мелочи, окружающие его (выбросил все цветы из комнат: „Без них лучше“), иногда не замечая или делая вид, что не замечает...» Еще: «Охота, которой он увлекается, рыбная ловля и прочее нужны ему не сами по себе... Ему нужна поездка в степь, ночевка на берегу Дона, возня с сетями для того, чтобы получить эмоциональную разрядку...» Заприметила и характерную манеру общения: «Заставить других говорить, раскрыть свое сокровенное... Отсюда его постоянное поддразнивание людей, иногда неожиданное и провокационное, собеседник от неожиданности не успеет спрятаться за слова, а он все подмечает. О себе говорит очень скупое, изредка и всегда неожиданно. Так, одно-два слова, и всегда надо быть начеку, поймать это неожиданно вырвавшееся слово, сопоставить, понять, уяснить этот сложный образ...»

Вырывалось — неожиданно — порой уж совсем рискованное. Как-то в Ростове Шолохов с друзьями пожаловал в ресторан. Отужинали, вышли, остановили пролетку и погнали под внезапный шолоховский тенор: запел то, что много уже лет — упаси боже от ГПУ — не пелось после бегства белых: «Всколыхнулся, взволновался, православный тихий Дон...» То был казачий гимн.

***Дополнение.** Кое-что об историко-научной подготовке Шолохова к работе над романом. Многие им было прочитано из дореволюционных изданий: «История Донского Войска» Н. Броневского, «Трехсотлетие Войска Донского» А. Савельева, «Крестьянский вопрос на Дону в связи с казачьим» Е. Савельева, «Донские казачьи песни» А. Пивоварова... Из советских изданий он изучил следующие: «Мировая война 1914–1918 гг.» А. Зайончковского, «Материалы комиссии по исследованию опыта мировой и гражданской войны», «Как сражалась революция» Н. Какурина, «Гражданская война на Северном Кавказе» Н. Янчевского, сборники «Орлы революции» из серии «Русская Вандея» и «Пролетарская революция на Дону», листовки Донбюро РКП(б)... Добыл для изучения и зарубежные эмигрантские издания: берлинскую серию «Архив русской эмиграции»,*

венский журнал «Донская летопись», мемуары А. И. Деникина, А. С. Лукомского, П. Н. Краснова...

Но обязан высказать — категорически нельзя считать «Тихий Дон» историческим романом. Как и «Войну и мир». Эти произведения, сочиненные по законам художественного творчества, ничуть не исследования ученых.

Первая книга

И вот окончена первая книга «Тихого Дона».

Шолохов без всяких колебаний доверил рукопись главному редактору журнала «Октябрь» Серафимовичу. Она легла на его письменный стол среди десятков других — и от молодняка, и от давнишних собратьев по перу. Популярен журнал, и тянутся к нему всякие авторы — даровитые и графоманы. Трудна работа для человека преклонных лет: читать, читать, читать, чтобы отобрать что-то значимое.

У этой рукописи на заглавной странице стоит знакомая фамилия — крестник Шолохов, но вместо привычного «рассказы» обозначено: «роман», с неброским, но притягивающим поименованием «Тихий Дон». Раскрыл папку и в уныние: пишущая машинка нагромодила текст совсем без интервалов, строчка лепилась к строчке — сплошное месиво букв. Но уже после первой загадочно-прекрасной фразы про двор Мелеховых стал читать дальше:

«И вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона...» (Кн. 1, ч. 1, гл. I).

Истинно стихотворение в прозе!

Вот и конец рукописи. Последние строки... Как же это молодой писатель нашел такую как будто бы простую возможность войти в мир сложных родительских чувствований — сложится или нет любовь и согласие у молодоженов Григория Мелехова и нелюбимой им Натальи:

«Ночью Пантелей Прокофьевич, толкая в бок Ильиничну, шептал:

— Глянь потихоньку: вместе легли али нет?

— Я постелила им на кровати.

— А ты глянь, глянь!

Ильинична глянула сквозь дверную щель в горницу, вернулась.

— Вместе.

— Ну, слава богу! Слава богу! — закрестился старик, приподнимаясь

на локте, всхлипывая» (Кн. 1, ч. 3, гл. XXIII).

Новелла для сборника миниатюр из казачьей жизни!

Если бы только так же безмятежно входил «Тихий Дон» в бурную реку тогдашней литературной жизни.

Не только главный редактор прочитывает рукопись. И тут словно по старой приговорке: «У наших судей много затей». Одних пугает объем — и в самом деле, только в первой части 20 печатных листов. Других — а сие пострашнее всего — настораживает острая, «внепартийная» правдивость отображения народной жизни, взбудораженной революцией. Это не переложение агитпроповских установок, по которым история революции упрощена, а стало быть: укрощена! В ней все просто, будто для атаки: вот цари и буржуи — вот рабочий класс и большевики, вот белые — вот красные, кто не с нами — тот против нас. Доктринерам-рапповцам претит все, что написал Шолохов: не оппортунист ли он, уж не льет ли воду на мельницу врагов большевистских идей?

Серафимович слушал-слушал и вспылil: «Печатать без всяких сокращений!»

Весной 1927-го, подбодренный поддержкой журнала, Шолохов подумал о книге — написал предполагаемым издателям в «Московский рабочий»: «„Тихий Дон“. Размер 40 (приблизительно) печ. листов. Частей 9. Эпоха 1912–1922 гг. Эпиграф не интересуется?» Добавил — куда деться от прозы жизни: «Небезынтересно было бы знать размеры оплаты за печ. лист, тираж и пр. договорные условия». Тем самым выказывал, что уже имеет опыт отношений меж издателем и писателем.

И вот пришло обусловленное время знакомить издателей со своим творением. Дело застопорилось, однако. Оправдывается: «Запаздываю, потому что держит проклятая машинистка. Есть в нашей станице такой „орган“, который печатает РИКу разные исходящие. Вот этот печатный станок (я крепко верю, что это не пишущая машинка, а ее прадед — печ. станок времен Иоанна) печатает мой роман... Дама, которая управляет сией машиной, работает очень медленно, и я, по всей вероятности, пока она кончит печатать роман, успею написать другой».

Беда не ходит одна. Шолохов не знал, что о рукописи узнала верхушка РАППа и, истребовав ее из редакции, принялась изучать. С недоверием к автору и с опаской. Хорошо, что Серафимович настоял на своем.

1928-й — январь. Особый месяц особого года для Шолохова и — осознает ли он?! — для всей мировой литературы. «Тихий Дон» первыми главами первой его книги предстает на суд читателей в первом номере «Октября».

Теперь поокрепли надежды Шолохова увидеть роман отдельной книгой. Рукопись наконец доставлена в издательство. Да только знакомство с ней притормаживается, потому что издательство «Московский рабочий» вошло в реорганизацию. Шолохов — в нетерпении — отдает роман по совету друга Кудашева в Гослитиздат. Здесь не промедлили с чтением. Прошел всего месяц, и он узнает решение — отрицательное! Видимо, ожидал чего-то в этом роде, поскольку рассказывал про казнь над собой и своим детищем не без ехидного юмора: «Замахали руками, как черти на ладан: „Восхваление казачества! Идеализация казачьего быта!“ И все в этом роде». Чувств обиды или негодования не выдавал, похохатывал даже. Уже начинал привыкать, что его роман вызывает у литначальства страхи: политические!

Тут в его судьбе появляется Евгения Григорьевна Левицкая. Уже немолодая женщина — ей в том году было 48. Партийка. Ее дядя, А. Н. Бах, в студенческие годы видный народоволец, побывавший в ссылке, после революции стал основателем советской школы биохимии. Муж из революционеров, хотя и дворянин. Принимал участие в подготовке восстания на броненосце «Потемкин». Погиб в революционном 1919-м. Стоит заметить, что в его биографии — Нежинская гимназия и Дерптский университет. Сама Левицкая после революции удостоилась доверия и чести работать в ЦК, затем в партийном издательстве; здесь ей поручили просматривать поступающие по почте рукописи.

Рукопись из Вёшек некоего Шолохова... Хорошо, что Левицкая не знала о приговоре Гослитиздата. Прочитала и поняла: великая вещь! Тот, кто помнит рассказ «Судьба человека», помнит, наверное, и посвящение: «Евгении Григорьевне Левицкой, члену КПСС с 1903 года». Два, выходит, литературных крестника у «Тихого Дона»: Серафимович и Левицкая. С той поры их связывала дружба всю жизнь. Он ее подчас в письмах величал мамой.

Летом 1928-го — с первым письмом к Левицкой. Чувства через край, но обращение сдержанное. Явно думал по своей деликатности не переступать порог первого знакомства: «Очень я рад Вашему письму, т. Левицкая! Рад не только потому, что „Тихий Дон“ получил в Главполитпросвете две звездочки, но потому, что письмо Ваше насыщено теплотой и приветливостью. Признаюсь, я не особенно верил Вашему обещанию написать мне. И знаете почему? Не балуют меня московские знакомые письмами. Как говорится — „С глаз долой — из сердца вон“».

Но рано радостью мостить книге путь к печатным машинам. В конце сентября в письме к руководителям издательства истинно вопль душевный:

«Хочется мне поторопить вас со 2-й кн. Выпускайте поскорее. Когда это дело будет?..»

Наконец прояснилась судьба «Тихого Дона» и в журнале, и в издательстве. С мая начинается публикация в «Октябре» второй части романа. В октябре 1928-го завершается. И в издательстве две первые книги тоже спешат к читателю.

Летом 1928-го Шолохову выпал экзамен на творческую независимость. Выдержал. Сохранил лицо. Отказался от коллективного — гуртом, как говорят на Дону, — наезда писателей в создаваемые тогда колхозы. Придумали такую «смычку с жизнью» Федерация объединений советских писателей и «Комсомольская правда». Уговаривали-агитировали творцов пафосно: «Повестей, песен, плакатов, зовущих к борьбе за коллективизацию, за перепашку межей, ждем мы от писателей и художников, едущих в колхозы». Газета добавляла: «Революция требует отбиться от нищеты и чересполосицы, прорваться сквозь частоколы бескультурья и кулацкого своекорыстия к общему труду на общей земле, к строю цивилизованных кооператоров».

В своих Вёшках он думал-думал и отказался от такой обязаловки. Хитро отказался. Сочинил письмо в эту федерацию, в коем стал «обмениваться мнениями» с литначальниками:

«Я от вас отрезан расстоянием в 1200 километров. Почту получаю на 6-й день. Знаю из газет, что было такое совещание по распределению мест, куда поедут мои собратья по перу...

Единственно, что я не знаю, — это когда и куда я поеду.

Волен ли я в выборе? И что мне выбирать?

Согласитесь, что довольно трудно ориентироваться, живя в ст. Вёшенской...

Вы мне должны помочь, не так ли?..»

Далее, что называется, припер к стене: «Где-либо я буду „гостем“, — иной народ, иной язык и пр. Хотелось бы попасть в колхоз, находящийся в пределах б. Донской области».

Но продолжал не без лукавинки — мол, потемкинских деревень не гарантирую: «У меня под рукой нет таких колхозов, в которых житуха хоть малость бы отстоялась. Этого, пожалуй, и в путеводителе для туристов не найдешь».

Осень... Настроение никудышнее. Заболел надолго и всерьез — назвал свой недуг «лихоманкой». Мария Петровна в ужасе — похудел до невозможности. В одном из писем издательскому редактору пошутил — горько: «Скоро ветер будет с ног валить... Чем черт не шутит — издохну

помаленечку и осиротеет „Тихий Дон“. Ты уж тогда чувствительный некролог напиши, что так, мол, и так, надежды подавал, сулил быть „маститым“».

Пишет с надеждами на лучшую жизнь, и вытащил из «Войны и мира» одно емко-замечательное слово, чтобы примерить на себя: «Ну, да все это „образуется“ (дань толстовскому юбилею), выхожусь». Это он вспомнил, что приближается столетие Толстого.

***Дополнение.** Едва ли возможно разгадать тайны шолоховского таланта, когда он брался писать характеры. Аксинья. Что в глазах Мелехова, что на иллюстрациях к книге, что в кино — красавица. Да еще с жертвенным сердцем. Вошло в обычай ею восхищаться. Несомненно, любил ее Шолохов: сколько страсти отдал этой своей героине! А читал ли? Мне кажется, что разум не велит писателю преклоняться перед Аксиньей. Читаем в сцене, когда Наталья приходит к роковой соседке: «Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась. Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она — законная брошенная жена — стоит перед ней униженная, раздавленная; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровавую боль, и в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот она ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой оставленной любовницей».*

Писатель, как мне кажется, мечтал создать иной образец красоты и нравственности: Наталья! Верна мужу — верна семье — верна женскому долгу! И греховна-то в одном только: когда обратилась с мольбой о каре греховному мужу.

Так вот и разошлись, по моему разумению, у писателя чувства и заданность, как два лезвия ножниц, когда они — острые — в работе.

Первые враги

Шолохов ждет: кто первым в печати выскажет суждение о его романе.

Серафимович оказался первым. Едва только появился в апреле 1928-го номер журнала, завершающий публикацию первой книги романа, он посчитал нужным представить автора «Тихого Дона» стране и миру в газете «Правда», самой главной в СССР. Старик в своих заметках не поспешил на изысканную красочность образов и метафор:

«...На кургане чернел молодой орелик. Был он небольшой,

взглядывал, поворачивая голову и желтеющий клюв.

...Вдруг расширились крылья — ахнул я. Расширились громадные крылья. Орелик отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синее-далекое, когда прочитал „Тихий Дон“ Михаила Шолохова. Молодой орелик, а крылья распахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном просторе...»

Но вдруг Шолохов споткнулся в чтении — в статье на всю страну прозвучал вопрос: «Ну а дальше?»

Риторический вопрос, возможно, подумал он, сейчас пойдут пожелания, как писать продолжение.

Ошибся. На четкий вопрос Серафимович дал такой же четкий ответ: «Дон исчерпан. Исчерпано крестьянство в своеобразной военной общине...»

Это ошеломило. То был истинно рапповский совет отвернуться от драматической эпопеи о казачестве с его многострадальной судьбой. Серафимович нашел даже заботливые обоснования: «Если писатель не перейдет в самую гущу пролетариата, если он не сумеет так же удивительно вписать в себя лицо рабочего класса, его движение, его волю, его борьбу, — если он не сумеет этого сделать, погиб народившийся писатель...»

Шолохов в смятении чувств: это не забота — это эпитафия, его хотят лишить родной почвы, его отлучают от казачества!

Хорошо, что мэтр скоро забыл о своем — к счастью, мимолетном — политиканстве. Сохранились воспоминания: «Однажды, когда мы пришли к Серафимовичу, на лице у него было выражение радостное, праздничное. Молодые искры сверкали в глазах. Он ходил по комнате и говорил возбужденно:

— Вот это силища! Вот это реализм! Представьте, молодой казачок из Вёшенской создал такую эпопею народной жизни, достиг такой глубины в изображении характеров, показал такую глубочайшую трагедию, что, ей-богу, всех нас опередил! Пока это только первая часть, но размах уже виден». Провидец!

Вскороности у Серафимовича дома случилась дружеская вечеринка. Тут и свои, и иностранцы. Собрались отметить десятую годовщину революции. И вдруг хозяин церемонно знакомит именитых гостей с неким молодым человеком, кого почти никто не знает, даже москвичи:

— Рядом сидит большой писатель. Он мой земляк. Он тоже с Дона. Он моложе меня больше чем на сорок лет, но я должен признаться, во сто крат

талантливее меня... Имя его еще многим неизвестно. Но через год его узнает весь Советский Союз, а через два-три года — и весь мир... И тогда вы попомните мое слово.

Как откликнулись другие литераторы на появление романа? Непредвзятые — восхищенно, поощряюще и благодарно. Едва ли не первый — нарком просвещения Анатолий Луначарский, он высказался кратко и красиво: «Бриллиант!» Максим Горький — по своему авторитету истинный нарком литературы — прочитал роман в далеком итальянском Сорренто (где был не то на лечении, не то в почетной ссылке) и выразил свои чувства и восторженно, и масштабно, с гордостью за свою страну: «Шолохов, — судя по первому тому, талантлив. Каждый год выдвигает все более талантливых людей. Вот это радость. Очень, анафемски талантлива Русь».

У простых читателей первая книга романа имела ошеломляющий успех. Пришел в Вёшки журнал «На литературном посту» — и в нем: «В издательстве „Московский рабочий“ имеются десятки тысяч голосов, поданных за „Тихий Дон“».

Шолохову вспомнилось, как это издательство рискнуло на необычный эксперимент: пригласили молодых рабкоров и давай им читать главы из романа. Просидели до трех ночи, а мать одного из них все просила не прерывать чтения.

Рапповцы, однако, брали реванш не умением, но числом. Начинали изничтожать Шолохова с рассказов. 1927 год — Владимир Ермилов, один из столпов рапповской критики, припечатал рассказы ну прямо политштемпелем: «Отклонение от стиля пролетарской литературы...» О нем вспоминают так: маленький, желчный и жутко пронизательный в злобном поиске врагов.

Даже рапповцы на Дону — удружили земляки! — вооружились боронами для проработки. В ростовском журнале «На подъеме» о «Тихом Доне» напечатали: «Не ясно проглядывает пролетарская литература...» Потом в местной комсомольской газете «Большевистская смена» появилась статья о романе под заголовком «За гранью искусства». Но это только задаток. Шолохов читает и читает: «Однобокая картина... Кривое зеркало... „Тихий Дон“ — это голая схема... Кругозор его героев крайне сужен... Упрощенная композиция...» Ему политику «шьют»: он не видит-де «социального расслоения казачества».

Вот и на пленуме РАППа глава рапповцев Авербах в своем докладе умудрился не произнести ни слова о романе члена РАППа Шолохова. Зато подручные Авербаха выступили с шумной бранью: Шолохов-де

«казакоман» и «любуется кулацкой сытостью».

Так Шолохов познавал, какова она, эта литературная жизнь. Жизнь жить — битую быть!

Он-то надеется, что очевиден его замысел написать о народе и для народа. У рапповцев же — политлабиринты, а точнее — политтупики.

Жена как увидит его особенно мрачным, подойдет, проведет ласковой рукою по шевелюре. Он в ответ горстью по усам шутливым командирским жестом — дескать, в седле я, в седле, не выбьют!

Но кто разорвет тенета наговоров и откроет читателям глаза на правду романа?

Поклон Серафимовичу — не стал больше блудить с рапповскими пожеланиями и, используя свой авторитет, подсказал редакции «Роман-газеты» откликнуться на запросы истинных книголюбителей. Редакция откликнулась — издала роман в этом же 1928-м с предисловием Серафимовича. 250 тысяч экземпляров! Между прочим, нелегко было пробиться в это издание, столь заманчивое для всякого пишущего, как и читающего, именно по своей доступности народу.

Каков же от 1928 года этот новый узелок в сюжете взаимоотношений Шолохова и Серафимовича? Ему, этому не всегда ладному сюжету, предстоит еще многие десятилетия развиваться, и с невероятными поворотами. Так, ни Серафимович, ни Шолохов не могли, конечно, предугадать, как нежданно-негаданно сдетонирует на весь мир эта самая «Роман-газета» через 37 лет. В 1965 году в Комитет по Нобелевским премиям будет направлена рекомендация к награждению Шолохова от того, кто прочитал «Тихий Дон» как раз в этом давнем издании. Направил ее почтенный по возрасту и почитаемый по своему вкладу еще в дореволюционную литературу Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Получил же он роман-газетовский «Тихий Дон» с советом прочитать от Горького. Исполнил совет и воскликнул: «Талантище!»

Причудливы, однако, житейские линии на самые невероятные пересечения при имени Горького. Его в 1928-м выдвинули на Нобелевскую премию. Верховные жрецы Нобелевского комитета обсудили и отказали: «Активный сторонник коммунизма». Вот тебе и пресловутая аполитичность!

...Шолохов и зарубежье. Со времени публикации первой и второй книг «Тихого Дона» до Шолохова стали доходить и мнения русской эмиграции. Он узнает, что и там политика застит глаза.

«Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекшись картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках» — так

высказался в прессе Владимир Набоков — пренебрежительно, с тщательно выутюженным желанием отвадить русскую эмиграцию от нового писателя в бывшей их стране.

«Несчастливая страна... Не сумевшая выделить если не Толстых и Тургеневых, то хотя бы честных людей, смевших иметь свое собственное суждение. Даже их великий Шолохов отказывается его иметь...» — так Екатерина Кускова выставила Шолохова на всеобщий правед. Ненависть размахиста: не упомянула она ни Сергея Есенина, ни, к примеру, вошедших в известность Андрея Платонова и Михаила Булгакова.

Но были и такие проницательные отзывы в заграничной печати, что уж лучше бы они не появлялись, а то ведь как еще ОГПУ и рапповцы их расценят. Владислав Ходасевич и Нина Берберова напечатали: «Изображение „белой“ казачьей среды ставит под вопрос политическую благонадежность Шолохова... Сов. критике остается только жаловаться, только скорбеть об этом факте...»

Шолохову хочется узнать — а признают ли его там, на Западе, не только как писателя с острой политической фактурой, а как художника, то есть отмечают ли сугубо литературные достоинства романа?

Пока появился один такой отклик некоего С. Балыкова — в Праге, в журнале «Вольное казачество»: «По художественному достоинству, по интересу для казаков этот историко-бытовой роман далеко превосходит все беллетристические вещи из жизни казаков, до сего времени появляющиеся. В романе хорошо выдержан казачий язык...»

...Шолохов с августа этого года каждую неделю то в седле, то в бричке-повозке — общается с казаками по разным хуторам. Начинается уборка. Весной и летом старики пророчили отличный урожай. Сейчас настроение хуже некуда — потянулись ранние дожди, косят влажный хлебушек, копнят, а копны от дождей еще больше сыреют. Сердце кровью обливается — пшеница стала прорастать прямо в этих копнах. Еще одна напасть: казаки почувствовали, что зимой скотину нечем кормить будет. К тому же пошел слух: в колхозы загонять будут с насильным обобществлением скотины... И потянулись на ярмарки с быками — сбыть бы поскорее. Шолохов встревожен — на чем пахать-то землю под новый урожай?!

Ему всего 23 года, а уже давно вызрели душа и сердце, не дающие быть равнодушным к жизни земляков. Потому и взялся в одну темную беспокойную осеннюю ночь за письмо — в Москву, Левицкой. Вдруг она обеспокоится грозящим Дону неурожаем и предупредит ЦК.

А по Шолохову из Москвы новый выстрел. Журнал «Молодой

большевик» — теоретический орган комсомола — не только похвалил «Тихий Дон», но выявил вредный при классовых отношениях гуманизм.

Писатель же настороженно удивлен — что-то ЦК партии никак не проявляется в оценках романа.

...Год заканчивал в Ростове. Его пригласили выступить перед рабочими на заводах, в библиотеках и для журналистов в Доме печати. Несколько дней по несколько выступлений в день — читал отрывки, рассказывал о своем творчестве и отвечал на сотни вопросов. Жене признался, каково довелось: «Я попал в какой-то дьявольский водоворот, у меня нет свободного часа...»

Для общений с читателями к нему присоединили двух московских гостей: знаменитых тогда поэта Михаила Светлова (жили даже в одном гостиничном номере) и прозаика Николая Ляшко, но им не позавидуешь — все внимание доставалось автору «Тихого Дона».

Дон благодаря Шолохову становился магнитом. Вдруг — звонок из Москвы: Фадеев, Авербах, Киришон, Джек Алтаузен, Марк Колосов, Кудашев и венгр-эмигрант Мате Залка набиваются в гости. Целый рапповский табор. Что ответил, неизвестно, но гостевание не состоялось.

Мария Петровна дивилась мужу. Как-то вернулся из Москвы и говорит ей:

— Ты будешь ругать меня, но хочу купить себе ружье.

Выждал и продолжил:

— Вру, Маруська! Купил уже! Хотел сбредить, но не вышло. Да, милота моя, купил себе чудеснейшую двухстволку, бельгийскую, системы «пипер», бескурковку за 175 рублей. У тебя, небось, волосы дыбом?..

Или снарядил подводу в Миллерово — подарок пришел жене. То из Москвы была доставлена закупленная им дюжина стульев.

***Дополнение.** Шолохов узнал секретное: Харлампий Ермаков расстрелян. Мог бы по известным причинам помалкивать про былое знакомство, но не предал памяти о нем — познакомился с его сыном. Исследователь жизни и творчества Шолохова Николай Федь рассказал следующее: «Сын Харлампия Ермакова Иосиф — человек с неукротимым характером, яркая свободолюбивая личность — очень привязался к Шолохову. Михаил Александрович не раз выручал его из неприятных историй, журил, но и восхищался его независимой натурой. Обычно Иосиф обращался к нему за помощью в крайних случаях. „Отец (так называл он писателя), помоги, выручи за-ради Бога!“ И тот выручал, помогал, утрясывал на работу...» Попал под следствие. Шолохов не отвернулся. «...*

хлопочет о смягчении наказания, и через год Иосиф уезжает в Ростов к женщине-учительнице, которая полюбила его. Но затосковал и вскоре умер. Шолохов жалел о нем, как о сыне родном», — пишет Н. Федь.

Глава вторая

1929: СТАЛИН

В биографии Шолохова появляется новое действующее лицо — Иосиф Виссарионович Сталин. Появился надолго и весьма ярко проявился!

Державный читатель

1929 год стал для молодого писателя похожим на трудный и неизведанный подъем на крутую вершину. Вслед за первой и второй книгами «Тихого Дона» начал писать третью, политически очень смелую и этим опасную.

Самые последние строчки предыдущей книги заканчивались знаменательной картиной — старик-хуторянин в головах могилы расстрелянного красноармейца воздвиг часовенку с вязью славянского письма на карнизе:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Новая, третья, книга начиналась словами старинной казачьей песни — в ней тоже напоминание о бедах, обрушившихся на Дон:

...А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков...»

А дальше Шолохов писал о расколе казачества: «В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики... пошли с Мироновым и отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили...» (Кн. 3, ч. 6, гл. I).

Если закончит и эту книгу романа на той же пронизывающе правдивой

ноте, что и предыдущие, то две возможности сулит ему судьба как советскому писателю: взойти выше всех или быть сброшенным.

Казаки говорят: надейся добра, а жди худа!

Едва ли не всё в судьбе Шолохова сейчас зависит от Кремля. Когда же Сталин станет читателем романа?

Кто был Сталин к этому времени? Генеральный секретарь ЦК партии, всевластный правитель страны. В конце года, 21 декабря, ему исполнится 50 лет. Но до пышного юбилея еще далеко, и Сталин для многих писателей пока еще не стал центральным героем. Но эти литературные упущения начинают вызывать сожаления. В какой-то рапповской поэме появилось воззвание: «Художники, певцы, поэты, *Заказ эпохи налицо*: Еще не зарисован Сталин, / Калинин песней обойден...»

Шолохов все еще член РАППа, но никакой цеховой дисциплины не придерживается. Переиздает свои рассказы о Гражданской войне, не расщедривается даже на небольшой сюжет с именем Сталина. Пишет «Тихий Дон» — и тоже без Сталина. Странно это. Ведь Сталин как посланец ЦК был членом Реввоенсовета Южного фронта, и Вёшенское восстание, о котором речь в третьей книге, вспыхнуло на его фланге. Может, Шолохов просто плохо знает военную биографию вождя? Как бы не так! Он многое знал о Сталине периода обороны Царицына от белых. Даже такое рассказывал своим знакомцам, что иному вполне сгодились бы для романа, — как Сталин спас белого казака от красного самосуда и тот со временем стал видным советским командиром.

И Сталину, и Шолохову этот двенадцатый год советской власти многим запомнился. Страна по-революционному воодушевленно переделывала себя. Она могла бы гордиться тем, как выполнен план первого года первой пятилетки. Добились, выстрадали — пришли первые успехи. Их воспринимали с превеликой значительностью — можем! Но в одноряд проявились первые провалы в планировании, которые замалчивались. Напротив, не замалчивалось, что Сталин начинал громить тех, кто мешал его, сталинскому, курсу.

Как жилось в то время? На энтузиазме и мечтах преодолевались тяготы и беды. Особая беда — после нэпа — пала на крестьянство. Сталин решил, что первоначальное социалистическое накопление пойдет за счет деревни — насильственно изымали хлеб у крестьян и продавали на Запад: так собирались средства на создание советской промышленности. Индустрию создавали крестьяне, а уже потом рабочий класс. Тогда все строилось на жертвенности. Сталин призывал строить социализм героически и сплоченно: «Отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться

битыми. Нет, не хотим!»

В пору перестройки и затем исхода из социализма в капитализм нагрянула особая инфляция: политическая в оценках прошлого. В 1988 году на конференции писателей и историков один профессор, Ю. Афанасьев, обнаружив знакомство с названием повести Андрея Платонова «Караван», заявил: «Роющих котлован называли штурмующими небо». Совки, мол, да и только.

Шолохов высказался о прожитом-пережитом в статье «Слово о Родине» — отмечу, что еще при жизни Сталина, в 1948-м — с наибольшим трагизмом. И при этом не предал чести и достоинства своих сограждан: «Народ ценою долголетних страданий со всей решительностью и мужеством... своей кровью, своим трудом...» строил новую жизнь.

В январе журнал «Октябрь» начал печатать третью книгу «Тихого Дона». Сталин пока не стал читать. Зря. В ней описан незабываемый для него 1919-й — ведь воевал неподалеку, в Царицыне, и вполне мог быть персонажем романа, как и его лютый враг — Лев Троцкий. Троцкий пока в ссылке, но совсем скоро будет изгнан из страны. Эта нервическая личность оставит после себя на политическом стрельбище троцкизм в качестве левого антипартийного уклона.

Февраль. В журнале появляются новые главы. По-прежнему Сталину не до романа. Он проводит пленум ЦК — читает доклад «Группа Бухарина и правый уклон в нашей партии». Бухарин уничтожается за то, что выступает против «военно-феодальной эксплуатации крестьянства». Вот же как неосторожно изволил выразиться этот новоявленный уклонист.

В заключительной книге романа запечатлено немало проявлений такой военно-феодальной эксплуатации. Шолохов описывал, как начальники прикрывали такую эксплуатацию кривдой, но не правдой. Вот сцена — Кошевой держит ответ перед возроптавшими от разрухи казаками:

«— Куда она подевалась, эта соль? — ...спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех единственным глазом. — Раньше, при старой власти, об ней и речей никто не вел, бугры ее лежали везде, а зараз и щепотки не добудешь.

— Наша власть тут ни при чем, — ...сказал Мишка. — Тут одна власть виноватая: бывшая ваша кадетская власть! Это она разруху такую учинила...»

Но этого писателю-правдолюбу показалось мало. Он рискнул на уточнение:

«Мишка долго рассказывал старикам о том, как белые при отступлении уничтожали государственное имущество... кое-что он видел

сам во время войны, кое о чем слышал, остальное же вдохновенно придумал с единственной целью — отвести недовольство от родной советской власти. Чтобы оградить эту власть от упреков, он безобидно врал, ловчился, а про себя думал: „Не дюже большая беда будет, ежели я на сволочей и наговорю немножко. Все одно они сволочи, и им от этого не убудет, а нам явится польза“» (Кн. 4, ч. 8, гл. V).

Для того чтобы обнародовать эти думы — еретические! — писателю надо было набраться политической отваги.

...И все-таки вождь нашел время для литературы. Вместе с Лазарем Кагановичем он встретился с группой украинских писателей. И тут-то завязался преинтереснейший для взаимоотношений Сталина и Шолохова узелок — для Шолохова горестный на долгие десятилетия. Вождь упоминает имя писателя Федора Панферова, а это старый рапповец и новый друг Серафимовича. Вождь хвалит только что появившийся панферовский роман «Бруски» о коллективизации. И другие — последующие — части этого сочинения не оставит без внимания и поддержки. Шолохов не мог не запомнить этого обстоятельства. Панферову уже к тридцати пяти. Партиец с трехлетним стажем. Пишет свои «Бруски» не меньшими размерами, чем «Тихий Дон», тоже в четырех книгах. После ухода Серафимовича и Фадеева из «Октября» он займет кресло главного редактора.

Дополнение. Первое знакомство — заочное — Шолохова и Сталина можно датировать 1919 годом. Апрель — заседание Оргбюро ЦК РКП(б). Сырцов, руководитель подавления восстания на Дону, выступает с докладом «О положении дел на Дону, о казацком восстании в Вёшенской и других округах». Запись в протоколе Оргбюро: «Тов. Сырцов предлагает по отношению к южному контрреволюционному казачеству проводить террор, заселять хутора выходцами из Центральной России». Сталин защищает точку зрения Донбюро.

Еще штрих. Шолохов откликнулся на появление двух, как выразился в это время Сталин, уклонов в партии. В «Поднятой целине» один казак скажет: «Зараз появились у Советской власти два крыла: правая и левая». И тут же, по воле Шолохова, раздражительная, с перчиком крупного помола, реплика: «Когда же она сыметя и полетит от нас к едрене фене?» «Она» — власть!

Приговор: плагиат

Ранней весной 1929-го, в марте, Шолохов собрался в столицу. В Миллерово, перед отъездом, пока обегал приятелей и знакомых, ему рассказали о покушении на его честь: плагиат тебе в Москве «шьют», украл-де ты «Тихий Дон» у кого-то; конечно, напраслина, а все же!

Успокоился было в вагоне — бред какой-то это обвинение. Но однако же и здесь нашелся попутчик с тем же разговором.

Литературный вор! Но как сыскать того или тех, кто запустил чудовищную сплетню в оборот, что аж до Дона донеслась?

Москва добивала. То один с вопросом: «Что, правда, главному прокурору Крыленко передан от какой-то комиссии негативный материал — компромат?» Когда обратились к этому чину, тот в ответ только недоуменно развел руками: «В первый раз слышу!» То другой доброхот с предупреждением: «ЦК завел „дело“». Стал узнавать — снова «утка». Еще сплетня — его-де гонорары арестованы. До Шолохова дошли сведения, что в книжных магазинах задают бесчисленные вопросы по этому поводу. К издателям лучше не заходить — насторожены. В глаза друзьям смотреть не хочется.

Что делать? Скрыться с глаз долой — переждать? Не стреляться же от наглой клеветы! Не глушить же обиды пьянками...

Для начала душу отвел в письме своей Марусе. Решил ничего не скрывать: «Рассказываю по порядку: ты не можешь себе представить, как далеко распространилась эта клевета против меня! Об этом только и разговоров в литературных и читательских кругах...» Далее его перо вывело три особые фамилии: «Позавчера у Авербаха спрашивал об этом т. Сталин... Про это спрашивал Микоян...»

Шолохову рассказали, кто провокаторы-клеветники, и он назвал их жене: «Писатели из „Кузницы“ Березовский, Никифоров, Гладков, Малышкин, Санников и пр. людишки с сволочной душонкой сеют эти слухи и даже имеют наглость выступать публично...» Выделил: «И даже партбилеты не облагородили их мещански-реакционного нутра...»

«Кузнецы»... Жестоки в неистовой ненависти ко всем тем пишущим, кто исповедует не «пролетарское» отношение к культуре.

Шолохов и в самом деле подавлен — ведь за плечами всего-то 24 года жизни. Признался жене: «Я взвинчен до отказа... полная моральная дезорганизация... отсутствие работоспособности, сна...» Но все же воскликнул: «Драться буду до конца!»

Шолохов и заступники за его честь придумали одно, но единственно верное решение: представить черновики романа специально созданной комиссии!

Вёшенец исписанными бумагами утрамбовал целый чемодан. В преклонные годы рассказывал сыну: «Здоровенный такой, фанерный чемоданище...»

Победа в драке за справедливость пришла в конце марта. Шолохов вздохнул с облегчением. 29 апреля 1929 года в «Правде» было опубликовано «Открытое письмо» (на четвертой странице, зато выделено шрифтом); его подписали пятеро членов комиссии: А. Серафимович, А. Фадеев, Вл. Ставский, драматург Вл. Киршон и весьма приближенный к ЦК партии руководитель РАППа Л. Авербах. Они воспользовались центральным органом партии, чтобы заступиться за беспартийного Шолохова:

«В связи с тем заслуженным успехом, который получил роман пролетарского писателя Шолохова „Тихий Дон“, врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом имеются якобы в ЦК ВКП(б) или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов)...

Мелкая клевета эта сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже не искушенный в литературе, читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для всех его ранних произведений и для „Тихого Дона“ стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей...

Пролетарские писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над „Тихим Доном“, материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей».

Один из земляков писателя, ростовчанин Александр Солженицын, будущий нобелевский лауреат, по малым своим летам не читал «Правду», но слухи о плагиате, как сам говорил спустя десятилетия, запомнились, и он их зачем-то использовал против своего собрата по Нобелевской премии, но об этом в соответствующем месте.

«Правду» Шолохов получил в своей Вёшенской — в семье радость, как и в райкоме, и в местной школе среди учителей и старшеклассников, и в библиотеке... И везде одно мнение: а мы и не сомневались — роман-то писался на наших глазах; нас бы спросили.

***Дополнение.** Рукописи, привезенные для комиссии, Шолохов не забрал домой, в Вёшки. Решил хранить их у своего друга Василия Кудашева. Сказал его жене: «...никому не показывать, никому не давать, особенно*

работникам ЦК». Загадочное поручение, породившее еще одну тайну в биографии классика и после кончины Шолохова позволившее какое-то время торжествовать сторонникам «плагиата». Рукопись «Тихого Дона» таинственным образом оказалась утерянной, нашли ее только в 1999 году — спустя более полувека, после того, как она попала в дом Кудашевых.

...«Правда» за январь — март 1929-го могла запомниться Шолохову некоторыми другими материалами в будущей связи с ним самим. Вот в двух, почти подряд, номерах похвальные статьи о юной киноактрисе Эмме Цесарской, которая войдет в жизнь Шолохова. Вот негодующая идейно-политическая проработка писателя С. Н. Сергеева-Ценского. Но вряд ли он мог предугадать, что почтенный романист войдет в его судьбу через три с лишним десятилетия в связи с Нобелевской премией! Вот два подряд сообщения о первом пленуме Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. Шолохов, напомним, член РАППа, но нет его фамилии в списках ораторов или просто участников пленума. Однако по итогам пленума появилась обширная статья «Очередные вопросы художественной литературы», где в перечислении упоминается фамилия Шолохова: «Истекий год дал нам „Преступление Мартына“ Бахметьева, „Тихий Дон“ Шолохова и „Бруски“ Панферова». Эти скупые строки в странном ранжире произведений и их авторов включены в параграф «Пролетарская литература». Не забывайся-де, член РАППа, М. А. Шолохов, в чьей упряжке ходишь! Опять рядом Панферов, запомнил и имя Бахметьева — ярый рапповец и будущий лютый ниспровергатель Шолохова.

«Правда» в создании биографии классика — частое подспорье, она послужит в этой книге и зеркалом отношения Сталина, ЦК к Шолохову. Узнаем без посредников, как главная газета партии оповещала страну и мир о жизни писателя и как учила понимать его творчество. Представим себе главных ее читателей — таких проводников линии партии, как учителя, агитаторы и пропагандисты, политруки в армии, политотдельцы в деревне и на транспорте. И то важно знать: Сталин приучил не одно поколение правдистов к строгому подчинению партийной дисциплине. Ничего и никогда по главным темам и в оценках видных деятелей не печаталось случайно. Редки исключения по оплошности или чьей-то смелой поспешности противоречить Сталину.

Удары от РАППа

Апрель 1929-го. В конце месяца почтальон принес Шолохову

очередной номер «Октября». И вот тебе подарок к приближающемуся дню рождения — нет продолжения романа!

Писатель потрясен, да и читатели удивлены — в предыдущем номере черным по белому стоит: «Продолжение следует». Журнал перенес «продолжение» на 1932-й.

Так вожди РАППа Авербах, Фадеев, Ермилов, Киршон и Лебединский — всевластная когорта! — воспользовались уходом из «Октября» Серафимовича. Ошибка-де у Шолохова с описанием Вёшенского восстания! Оправдывает-де и само Верхне-Донское восстание, и Григория Мелехова, этого врага советской власти!

Шолохов в контратаку. Каков в свои-то 24 года! Не хочет взнуздываться в рапповскую узду. Тут же договорился с журналом «На литературном посту» и, используя его как трибуну, печатает в июльском номере свою отповедь: «Я беру Григория таким, каков он есть, таким, каким он был на самом деле, поэтому он шаток у меня». И добавил наиважнейшее из своих убеждений: «...от исторической правды мне отходить не хочется».

Но он недооценил силу противников. Оказывается, судить роман взялись не только критики-теоретики, но и те, кто руководил рассказыванием и подавлением восстания. Как-то Шолохов стал мне рассказывать — запомнил, выходит, на всю жизнь:

— В этих главах Малкин фигурирует. Я вывел его под настоящей фамилией. Пусть знает народ, как он проводил рассказывание. Но он в это время стал каким-то крупным деятелем в ГПУ... Пронюхал, черт, о романе со своим именем. Правда глаза колет... Он в Гражданскую действовал под командой Сырцова. Этот Сырцов был военкомом в Вёшенской. И в этом случае мне хода нет — Сырцов летом 1929 года избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), станет председателем Совнаркома РСФСР. Наверное, Малкин с ним объединился против романа. Им поперек горла воспоминания об уничтожении Дона под предлогом борьбы с белоказачеством.

Шолохову довелось позже с Малкиным познакомиться. Припомнил: «„Что это ты там про меня наплел?“ — сказал Малкин и снисходительно похлопал по плечу».

Но и без упоминания Малкина хватало в рукописи того, что пугало.

Вот бабка общается с пленным красноармейцем — без всякого «классового чутья» жалеет всех в этой братоубийственной гражданской войне:

«— Ты меня не бойся, я тебе лиха не желаю. У меня двух сынков в

германскую сразили, а меньший в эту войну... Я ить их всех под сердцем выносила... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют...» (Кн. 4, ч. 7, гл. III).

Шолохов — ясное дело — не защитник белых, но оставляет женщине-матери право жалеть всех воюющих.

Он обратился к заступничеству Горького, отослал ему эту крамольную для рапповцев и нового главного редактора «Октября» Федора Панферова рукопись: рассудите. Тот прочитал — и с письмом к Фадееву: «Дорогой т. Фадеев! Третья часть „Тихого Дона“ произведение высокого достоинства...»

Уловил — тонко — необычность романа. И предугадал последствия — уже знал, как в СССР относятся к тем сочинениям, кои не укладывались в привычные партийные схемы. Написал с подковыркою: «Доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов».

Упрям Фадеев и его боевое окружение, обошли советы Горького, хотя и клянутся в любви и почитании.

Но и Горький крепкий орешек. Минет год, и тогда он придумает вовлечь Сталина в эту злополучную историю с задержкой романа.

Сталин не отказал. Он вмешается в эту историю вполне по-сталински.

Но об этом в свое время.

...Рапповцы продолжают казнить роман. Мрачная пора для Шолохова. Но вдруг лучик светлый — по «Тихому Дону» затевается фильм. Каково молодому писателю! Новые знакомства... Режиссеры Иван Правов и Ольга Преображенская. Мелехова сыграет Андрей Абрикосов из Реалистического театра, впоследствии он станет чрезвычайно знаменитым, получит звание народного артиста. Кто Аксинья? Шолохов узнает, что на эту роль пригласили без всяких кинопроб 20-летнюю Эмму Цесарскую. Увиделись — несмотря на царственную фамилию, оказалась широколицей и чуть полноватой, с доверчивыми круглыми глазами, жизнерадостной красавицей невысокого росточка. Уже известна. Два года тому назад сыграла в фильме этих же режиссеров «Бабы рязанские», который получил шумный успех.

Когда же затея станет фильмом? Никогда! О том, как снимался фильм и как снимали его с экрана, — далее, в главе про 1931 год.

Дополнение. Кое-что об Эмме Цесарской. В 1993 году разыскали четыре шолоховских письма тех далеких лет. Обращения, как стрелка барометра: «Дружище», затем «Эммушка» или «Песнь моя», но было и так — «Лихо ты мое...». Лихо и пришло. И с фильмом, и с чувствами, о

чем прочитает в главе о черном 1937 году. Цесарская оставила в воспоминаниях свидетельство о настроении Шолохова в накатное для него время слухов о плагиате: «Никогда в разговорах не касался обстоятельств своей работы над „Тихим Доном“. Порой он казался настороженным, несколько нервным и вдруг погружался в только ему видимый мир. Казалось, его что-то „серьезно тревожит...“»

Горький оказался прав: Шолохова критики уничтожали с особым политическим азартом. Его «делали» и плагиатором, и идейно порочным творцом. «Ходили такие слухи, будто я подьесаул Донской армии, работал в контрразведке и вообще заядлый белогвардеец», — писал Шолохов.

Несколько литературных групп взялись за его проработку. «Художественная удача суждена Шолохову тогда, когда он показывает быт вчерашнего дня, а не текущую действительность сегодняшнего» — это от группы «Перевал» в партийно-директивном журнале «Печать и революция».

«Шестая часть романа „Тихий Дон“ свидетельствует, что разворачивать хотя бы и самую удачную тему в трилогию занятие не всегда для качества вещи безнаказанное: М. Шолохов повторяет себя, разменивается порой на бледные, почти фельетонного характера страницы и, в общем, угрожает тем, что никогда не прощается, — скукой» — это «подарок» от «Журнала для всех», которым руководили Вл. Бахметьев, Ф. Гладков и Н. Ляшко.

«Социальные характеристики героев местами теряют свою отчетливость... Распылился среди вороха газетной хроники...» — это из журнала «Жизнь искусства».

Лефовцы обвинили его в тяготении «к стилистическим образцам дворянской литературы».

Быть взрыву через 20 лет

Надвигалась темной тучей особая — смертная для Дона — беда: неурожай. Шолохов пишет Левицкой: «Мое молчание объясняется тем, что я вот уже две с лишним недели, как мотаюсь в поездках... Все это не по делам литературным, но весьма важным... Сейчас 12. Сижу и перо падает из рук. Ночи короткие, и я недосыпаю...»

Партийцы попросили у Шолохова поехать по нескольким районам и округам и поагитировать за успешные хлебозаготовки. Втянулся. Крайком уж был и не рад, что упросил писателя. Он повел себя так, что даже в

письме раскаленно выплеснулось: «Вот верчусь, помогаю тем, кого несправедливо обижают...»

Выходит, сделан выбор: не изящная словесность на повестке дня, а помощь обездоленным. Скорбью заболела душа, как выразился.

И едва выпадал свободный час, брался за письмо, которое получилось длинным: начал писать 18 июня 1929-го — отправил в Москву 2 июля.

Неделей попозже, 9 июля, Сталин тоже садится за письмо — наконец прочитал «Тихий Дон» и вот делится мнением: уделил Шолохову несколько строчек.

Сталин, однако, писал не Шолохову, как и Шолохов не Сталину.

Сталин прочитал письмо Шолохова в те же летние дни. Шолохов прочтает письмо Сталина через 20 лет.

Письмо Сталина превратилось в мину замедленного действия. Но и Шолохов писал отнюдь не здравицу Сталину.

Вождь не смог простить вторжение писателя в закрытую для кого-либо тему недалекой истории. Писатель не смог смолчать, когда увидел, что же начинает в стране набирать силу при одобрении власти.

Сталин пишет Феликсу Кону (прочтем строчки о Шолохове в извлечении. В полном виде — уж таков сюжет — чуть далее): «Тов. Шолохов допустил в своем „Тихом Доне“ ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова...» Вот и всплыло имя Сырцова.

Шолохов пишет Евгении Левицкой (и его письмо в извлечении, но по другой причине — огромно оно):

«Когда читаешь в газетах короткие и розовые сообщения о том, что беднота и середнячество нажимают на кулака и тот хлеб везет, — невольно приходит на ум не очень лестное сопоставление! Некогда, в годы гражданской войны, белые газеты столь же радостно вещали о „победах“ на всех фронтах, о тесном союзе с „освобожденным казачеством“...

Середняк уже раздавлен. Беднота голодает...

В телеграмме Калинину они прямо сказали: „Нас разорили хуже, чем нас разорили в 1919 году белые“...

Народ звереет, настроение подавленное...

Верно говорит Артем (писатель А. Веселый. — В. О.): „Надо на густые решета взять всех, вплоть до Калинина; всех, кто лицемерно, по-фарисейски вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка“...

Писал краевому прокурору. Молчит, гадюка».

Это письмо содержало и взрывной вывод особой политической мощности: «После этого и давайте говорить о союзе с середняком».

Было в письме и такое: «О себе что же? Не работаю... Подавлен. Все опротивело».

Мудрая партийка посчитала своим долгом передать потрясшее ее шолоховское письмо Сталину. Слегка сократила и передала.

Сколько же всего в одном этом совестливом послании! Разоблачение бездушной системы — она начинала пронизывать все и вся: от Кремля до последнего хутора. Предостережение — что с бездушием к народу нельзя относиться. К тому же выразил — рискованно — свое единомыслие с Артемом Веселым. Едва ли Сталин, читая шолоховское письмо, успел позабыть, что ЦК в этом году принял осудительное постановление о рассказе Веселого «Босая правда» (в 1937-м он будет объявлен «врагом народа»).

Что же ответил вождь, прочитав письмо из Вёшек?

«Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь» — таков ответ. Не напрямую Шолохову, конечно. Писал своему ближайшему сподвижнику Вячеславу Михайловичу Молотову. А это значило указание для всей страны.

Еще один его ответ — на этот раз в ноябрьской речи «Год великого перелома» — для всей страны, стало быть, и для Вёшек: «Небывалый успех в деле колхозного строительства...»

Сталин отнюдь не злодей и не бездарь. Это был гениально изощренный диктатор. Он добивался праведных политических целей — построение коммунизма — одним: принудительно загонял человека и народ в вожделенное царство свободы, равенства, братства. Вот и этот приказ о вывозе хлеба отдан не по равнодушию, а в осознании, что народ все терпит ради социалистической индустриализации. Надо получать кредиты — отсюда приказ вывозить хлеб за границу. Люди же были отданы на жертвенный алтарь, о чем Сталин знал хотя бы от автора письма из Вёшенской. И так все годы его правления: жертвы за жертвами во имя великих целей.

Прочтем же полностью отзыв Сталина о «Тихом Доне»: «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем „Тихом Доне“ ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что „Тихий Дон“ — никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?»

Какое непостижимое воссоединение в одном письме и защиты, и обвинения!

Шолохов узнал о нем спустя 20 лет. О том, как писатель и издатели в 1949-м воспримут это письмо, быть рассказу в соответствующем месте.

...Семья — истинно очаг душевного покоя. Дочери Светлане уже три годика (будущий издательский работник, а после смерти отца — научный сотрудник шолоховского сектора Института мировой литературы, затем переезд в Вёшки — ученый секретарь Шолоховского музея-заповедника). Через год у Шолоховых будет пополнение — сын Александр (станет ученым-биологом, будет работать в Крыму).

Дополнение. Знал ли Сталин, что РАПП то и дело обстреливает Шолохова? И каково отношение Сталина к РАППу? В феврале 1929-го вождь пишет рапповцам: «Общая линия у вас в основном правильная; сил у вас достаточно; ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники — вы безусловно способные и незаурядные люди; желания руководить хоть отбавляй...»

С такой поддержкой хоть против кого, в том числе и против Шолохова.

Вождь поощрял написание такой истории Гражданской войны, чтобы она была одноцветной: красной! Он политик. Творец же берет для «Тихого Дона» многоцветную палитру. Он реалист.

...Тема революции. Шолохов верил, что прощание с прогнившим царизмом и беспощадным к человеку капитализмом приведет к сбывшейся вековой мечте: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем...» Однако предупредил — революция должна совершаться для человека, а не против него, по добровольию, а не насилем. В романе высказался устами персонажа: «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вошь раздавить...» И тут же уточнил — чеканно-афористично: «Подешевел человек за революцию!» Это писалось в пору кровавой ежовщины.

Что о советской власти Шолохов писал своему народу? Веровал, что только эта политическая система обеспечит лучшую долю. Посему отдавал ей всего себя. Биографию, со вступлением в партию. Творчество. Публицистическое слово и талант оратора. Однако же читаем в романах то и дело еретическое, чудом — непостижимым! — миновавшее цензуру. В «Тихом Доне» поручает одному своему герою сказать: «Власть большевиков справедливая, только они трошки неправильно сделали... Потеснили казаков, надурили, а то бы ихней власти и износу не было. Дуростного народу у них много, через это и восстание получилось... Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого... Кому ж антирес своей очереди ждать? Быка ведут резать, он и то головой мотает. И вот какой-нибудь большевичок чужими жизнями как бог

распоряжается... Это ли не смывание над народом?» В «Поднятой целине» продолжение: «— Как ты можешь сомневаться в Советской власти? Не веришь, значит?! — Ну да, не верю. Наслухались мы брехнев от вашего брата!»

Максим Горький

Лето необычного для Шолохова 1929 года идет к концу...

Он в Вёшенской. Сталин в Сочи, отдыхает. Враги Шолохова кто где.

Август. Жена Сталина Надежда Аллилуева пишет мужу в письме: «Слыхала, как будто Горький поехал в Сочи, наверное, побывает у тебя, жаль, что без меня, — его очень приятно слушать». В ответном письме о Горьком ни слова.

Шолохов ничего, естественно, не знает об этой переписке. Но знает, что Горький поспособствует сложить треугольник: Горький — Шолохов — Сталин. И Шолохов сполна почувствует, с какими острыми углами получился этот треугольник.

В этом месяце комсомольский журнал «Молодая гвардия» напечатал: «У нас делаются вредные и ненужные попытки приписать роман Шолохова к пролетарской литературе...» Шолохов с досадой поморщился: на своего нацелились. Забыто, что он начинал в комсомольской печати — с газеты ЦК РКСМ «Юношеская правда», что состоял в литобъединении при этом журнале.

Сентябрь. Правление РАППа собралось обсудить — осудить! — «Тихий Дон». Главный закоперщик в дискуссии Александр Фадеев — он и руководитель ассоциации, и пока еще не назначен Панферов, редактор «Октября»:

— Я сказал Шолохову, что это нужно выкинуть ко всем чертям, у тебя эти места не удались.

Из зала: «Правильно! Правильно!»

Шолохов потрясен воинственностью рапповской цензуры. Фадеев потребовал «выкинуть» из третьей книги «Тихого Дона» 30 глав. А это и рассказ казака-старовера о репрессиях по почину комиссара Малкина, и разоблачительные для партии требования партийца Штокмана ужесточать отношение к казачеству. А еще настаивал на «доработке» образа Мелехова — то подбавить «белой» краски, то «красной».

Рапповцы провокационно крикливы, а всё затем, чтобы заставить Шолохова выхолостить роман: «Шолохов — писатель не пролетарский»;

или: «Идеализация кулачества и белогвардейщины». Было и такое — уж совсем для ГПУ: «„Тихий Дон“ — воспоминания белогвардейца».

Шолохов близок к отчаянию, но понимает — правы ведь: его «Тихий Дон» далек и от красного, и от белого политиканства; и те и другие субъективны, а то и фальшивят в изложении истории революции и Гражданской войны.

Еще один злодейский удар. Кто-то из самых ретивых собратьев по РАППу придумал, как «перевоспитывать» еретика — перерубить Шолохову корневища, которые творчески плодородно связывали его с родной Донщиной: «Записать о необходимости для Шолохова переменить место жительства, переехать в рабочий район...»

К осени совсем стало невмоготу. Однажды ночью стал перебирать все выпады против себя. Почему-то Левицкая стала собеседницей — заочной.

В письме к ней рассказал о многом. Сперва о том, как «один литературный подлец» (написал и горько усмехнулся: «это мягко выражаясь»), но ведь будто «свой» — сотрудник ростовской комсомольской газеты, побыл летом в Вёшках, а уехавши, дал в печать столько разоблачений, да таких сенсационных, что, гляди, жди чекистов! Взял да всунул в статью — и пособник кулакам, и уводит от налогов тестя, а он — напомнил — бывший атаман. Вот кому «пособничаю»!

Потом рассказал Левицкой, как его с несчастным Борисом Пильняком воссоединил этот борзописец. Знал, что Сталин недавно адресовал письмо руководителям РАППа: «Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции... Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о „бережном отношении“?» Но ведь газетчик ничего просто так не придумал. И в самом деле при желании можно проследить его «порочную связь» с Пильняком. Пильняк выразил свое авторитетное несогласие с обвинениями Шолохова в плагиате. Он, член РАППа Шолохов, печатает свой «Тихий Дон» в этом году в берлинском эмигрантском издательстве «Петрополис». Но и Пильняк там же опубликовал повесть «Красное дерево» с героями, разочарованными в революции, за это был подвергнут свирепой экзекуции критиков. Был объявлен троцкистом. Тут же многие сбились в хор хулителей. Шолохов не стал певчим в этом хоре. Догадывался: если политика «шьется» писателю — так это совсем плохо. Не догадывался лишь о том, что это «плохо» в 1938-м кончится для Пильняка расстрелом.

Левицкая узнает из письма своего молодого друга, что газета не хочет давать его опровержений: «У меня так накопело и такие ядреные слова

просят...»

Мрачные мысли не уходят из письма: «Найдутся еще клеветники-провокаторы!.. Столько у меня развелось „доброжелателей“, что не продохнешь».

Поделился и домашними бедами: «У меня еще помимо всех этих неприятностей семейная нерадость — дочь схватила малярию. Сам едва отошел, а вот изнурительная лихоманка на малютку».

Подвел итог своим переживаниям — они уже как хроническая болезнь: «Все как-то не клеится да не варится... Как говорят станичники: „Жизня, жизня, когда ты похужеешь?“»

Но не отчаялся и стал отбиваться от обвинений политдоносчиков и провокаторов. Все-таки добился своего — в ноябрьском номере ростовского журнала «На подъеме» появилось его «Открытое письмо»: «В № 206 „Большевистской смены“ автор статьи „Творцы чистой литературы“ Н. Прокофьев обвиняет меня в пособничестве кулакам и антисоветским лицам... Обвинения эти лживы насквозь... Категорически отмечаю... Я оставляю за собой право вернуться к этому вопросу...» Шолохов, однако, мог бы заметить: газетчик, конечно, и провокатор, и неуклюж в своем доносителе, но ведь во многом прав. Защищал-таки он, Шолохов, обездоленных в любом их социальном звании. Это было во время продналоговой службы, это есть сейчас и быть этому в будущем!

Только и остается сказать: уж сколько идейных экзекуций выпало на его долю в одном только 1929 году! Для впечатлительной писательской души после каждой — надолго — раны. Шрамы же — на всю жизнь.

Что может быть страшнее, когда творец начинает бояться своего же пера, двойт сознание, больше думает о том, как будут вчитываться в его произведение не читатели, а цензоры и иные политконтролеры.

И в Шолохова начали вбивать такую раздвоенность. Этой же злополучной осенью, все в том же октябре, сел за письмо Фадееву и начал изливать обиды — желчно: «Только ты за перо, а нечистый тут как тут: „А ты не белый офицер? А не старуха за тебя писала романишко? А кулаку помогаешь? А в правый уклон веруешь?“» За правду плати и за неправду плати.

В этом письме гулкое эхо таких обвинений, которые годятся для приговора по трем статьям. Плагиат! Пособничество кулаку — главный ныне противник советского строя! Приверженность правому уклону — ведь бухаринцы ныне главный враг сталинской партии!

Можно было бы еще приплюсовать упреки в адрес «Тихого Дона» из письма Сталина. Правда, Шолохов пока еще об этом письме ничего не

знает.

Не доверяет вождь ему. Задумано сверхважное государственное издание: «История гражданской войны». Страна и мир должны получить всем доступное изложение завоеваний революции, потому решено привлечь к созданию «Истории...» не только самых лучших историков, но и самых талантливых писателей.

Горький заботится об этом издании и в ноябре обращается в письме к Сталину — советует использовать Шолохова: ведь романист знаток Гражданской войны.

Сталин Горькому ответил через два месяца. О Шолохове будто и не читал. Написал, что хочет привлечь «А. Толстого и других художников пера». Выходит, что не пожелал включить автора эпопеи о Гражданской войне в свое понятие «художник», а может, и остерегался слишком правдивого пера Шолохова. Писал Горькому, что надо привлечь к книге «политически стойких товарищей». Для убедительности добавил — по своему обычаю кратко и внушительно: «Так будет вернее».

Впрочем, Шолохов об этом ничего не знал. И хорошо, что не добавил себе переживаний.

Он продолжает работать над третьей книгой «Тихого Дона». И творит — сам того не осознавая — в творческом соперничестве с лучшими «военными» писателями Запада. Так, в начале 1929-го появился роман Ремарка «На Западном фронте без перемен». Через полгода появится «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Мир тесен — эти замечательные писатели знали и ценили Шолохова, и Шолохов не остался в стороне от их биографий.

Шолохов не особенно-то любил допускать в свою творческую лабораторию читательскую «массовку», но стал иногда соглашаться читать отрывки из новой книги «Тихого Дона» в рабочих клубах и библиотеках. Появлялся на публике, и та глазам своим не верила: не похож на автора известного романа — слишком молод и совсем не величав. Входил в зал в обычном донском одеянии — в кожаной тужурке и серой смушковой кубанке, а разоблачившись, оказывался в гимнастерке. Он читал несильным, но ясным голосом, и это получалось у него просто — без всяких актерских выкрутасов.

Этот 1929 год с начала и до конца был ознаменован для него двумя особыми событиями.

В январе, как уже говорилось, Серафимович, увы, ушел с поста главного редактора «Октября». Отныне Шолохов лишился поддержки в редакции.

В декабре предстояло празднование 50-летия Сталина. У молодого писателя, казалось бы, появляется неплохая возможность, чтобы проявить свою верноподданность и заручиться могучей поддержкой. Было с кого брать пример. Десятки, а затем сотни и сотни хитроумцев не только из журналистов и писателей стали настраивать свои перья на прославление вождя, чтобы день рождения превратился во всенародный праздник. Газета «Правда», будто та яхта, когда на борту высокая персона, была расцвечена, как флажками, заголовками статей ближайших соратников Сталина. Михаил Калинин, например, назвал свою статью «Рулевой большевизма», Анастас Микоян — «Стальной солдат большевистской партии». И другие не отставали: «Твердокаменный большевик» или «Ленинец, организатор, вождь». В одной из публикаций шло: «Самый выдающийся теоретик ленинизма не только для ВКП(б), но и для всего Коминтерна». Газета узаконила обращения: «Дорогой вождь» или «Вождь партии».

Шолохову, который продолжает свой роман о Гражданской, надо бы «крутить на ус» наставления «красного маршала», наркома обороны Клим Ворошилова в его статье «Сталин и Красная Армия». Крупные заголовки бросаются в глаза. Самый первый: «Царицын». Ворошилов цитирует здесь даже белогвардейский журнал «Донская волна», где упоминался Сталин. Пригодился, чтобы показать его полководческий дар. Учись, автор «Тихого Дона»!

Литературный «цех» не отстал от политического. Горький шлет телеграмму: «Сталину. Кремль. Москва. Поздравляю. Крепко жму руку. Горький». Демьян Бедный — он, бедный, не любим Сталиным! — принуждаем к восхвалительным стихам. Звезда советской публицистики Михаил Кольцов явил себя контратакующим защитником Сталина и в объемном очерке отобразил — эхом — слухи, что начинали бродить по всему свету: «Детскими кажутся догадки, созданные обывателями и буржуазией вокруг Сталина: „Диктатор“».

«Правда» в десяти — двенадцати номерах подряд доставляла в Вёшки наваристую юбилейщину.

***Дополнение.** Запад начал читать «Тихий Дон» в переводах с 1929 года. Первые — немцы: роман сначала публиковался в газетах небольших городов Хемница и Матдобурга, потом Кёльна и Гамбурга. В этом же году роман заметили во Франции и взялись переводить для газеты — коммунистическая «Юманите» печатала его с марта следующего года в девяносто семи номерах. Тогда же с «Тихим Доном» познакомились читатели в Праге, Стокгольме, Мадриде и Амстердаме.*

Некоторые буржуазные издатели пугались беспощадной правдивости в изображении событий и шли на цензурные купюры. Когда Шолохов узнавал об этом, — протестовал.

Появились и первые отклики русской эмиграции, понятное дело, — предвзятые. Всех опередила парижская газета «Последние новости», где в сентябре 1928-го была опубликована статья о первой книге (подписанная псевдонимом «К-гъ Н.»). Вначале выражалось общее недовольство: роман-де «ничем не замечателен». Но далее вырывались и такие признания: «Вся его несомненная ценность — в бытовом элементе... превосходное знание казачества... подлинно живые люди...»

В апреле 1929-го там же, в Париже, в газете «Россия и славянство» богослов игумен Константин печатает статью с весьма пространными оценками уже двух книг. Начал с того, что «книга Шолохова „Тихий Дон“ представляет собой своего рода „сенсацию“». Увидел ее в следующем: «Пред глазами читателей проходит целая галерея главнейших его (Белого движения. — В. О.) деятелей. Портреты эти выписаны без враждебной тенденции, некоторые (например, Алексеев, Корнилов, Каледин) даже с известной симпатией». Уточнил: «С той симпатией, которую способны ощущать победители к честным и достойным, но заблуждающимся побежденным». Были и оценки сугубо литературных достоинств: «Изложение буквально увлекает читателя... У автора несомненно большая и зоркая память и острый и глубокий взгляд... Портреты, живые портреты!» Имелась и критика: «Там, где автор описывает природу, манера письма одновременно и груба и изощрена... Раздражает... Овладевает постепенно скука... Лишь местами вы радостно останавливаетесь на какой-либо жанровой картинке, которая напоминает о прошлом вашем отрадном впечатлении...»

Но были среди эмигрантов и более проницательные читатели. Поразительная история сопровождала выход за рубежом сборника-хрестоматии «Казаки в русской литературе». Редактору пришло письмо: «Составитель сделал большую ошибку: такому крупному писателю, как Шолохову, он уделил только двенадцать отрывков, а стоящему много ниже П. Н. Краснову дал слишком много — целых восемь». Письмо — анонимное. С трудом позже раз узнали, что его написал непреклонный враг всего советского, белый генерал, атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией в Гражданскую войну, весьма своеобразный беллетрист Петр Николаевич Краснов; он нашел эмигрантское прибежище в Берлине, во время Второй мировой даже вошел в доверие к фашистам, возглавив Главное управление казачьих войск в Германии. Кто

бы мог подумать, что он, обиженный Шолоховым, ибо выведен в романе без всяких симпатий, столь непредвзято выскажется в пользу «Тихого Дона». Было и такое в его отзыве: «Это исключительный, огромный по размерам своего таланта писатель... Я столь высоко ценю Михаила Шолохова потому, что он написал правду. Факты верны... А освещение этих фактов? Должно быть, и оно вполне соответствует истине... Ведь у меня тогда не было зеркала!»

Внука расстрелянного по приговору советского суда в 1947 году Краснова — Мигеля — разыскали в Чили русские журналисты. Узнали, что родился он в 1947-м, сын генерала, сам тоже бригадный генерал, сподвижник Пиночета, отсидел за убийство одного профсоюзного лидера в дни пиночетовского путча, единственный в стране имеет медаль «За мужество». У него спросили: читает ли он русскую классику, знает ли Шолохова? Ответил: «Классику читаю в оригинале. О Шолохове не слышал...»

Глава третья

1930: «ДИКИЕ ТЕМЫ»

Новый год позади. Отзвенели празднички-ватажнички. И будто потянуло зимнюю станицу досыпать свое. Только у Шолоховых в одном окошке свет едва не до рассвета.

Враги Шолохова и враги Сталина

В самом первом в этом, 1930 году письме — в Москву — 5 января сообщает Левицкой, что продолжает «Тихий Дон»: «Сижу себе и развиваю „дикие“ темы». Насторожил: «На зло врагам» — так заканчивает он свое послание.

С одним — новым — врагом хочет познакомиться с помощью все той же Левицкой — просит («будьте добреньки») прислать ему журнал «Настоящее» со статьей «Почему Шолохов понравился белогвардейцам?». Эта статья провокационно сталкивала писателя с властью, оповещая о его политической неблагонадежности: «Шолохов объективно выполнял задание кулака... В результате вещь Шолохова стала приемлемой даже для белогвардейцев».

Шолохов видел: в стране, начиная с юбилея Сталина, появилось нечто новое — вождь все чаще берет на себя обязанность единолично наставлять народ и партию. Совсем скоро к этому привыкнут и начнут изрекать: «Сталин думает за всех!»

Писатель в некотором роде уже догадывался, какой быть коллективизации по Сталину. Вождь выступил на конференции аграрников-марксистов, включил даже донской материал. Шолохов эту речь прочитал в «Правде» за 29 декабря, озаглавленную просто, но внушительно: «К вопросам аграрной политики в СССР». В станицу она поспела в новогодье.

Выходило, будто к благостным праздникам приурочены благостные оценки жизни казаков: «Взять, например, колхозы в районе Хопра в бывшей Донской области... Простое сложение крестьянских орудий в недрах колхоза дало такой эффект, о котором и не мечтали наши практики... Крестьяне, будучи бессильны в условиях индивидуального труда, превратились в величайшую силу, сложив свои орудия и объединившись в колхозы... Крестьяне получили возможность

обрабатывать трудно обрабатываемые в условиях индивидуального труда заброшенные земли и целину...»

Идиллия! Вождь сделал вид, что не знаком с тем письмом Шолохова, которое ему передала Левицкая.

Стерпит ли писатель радужные тона речи Сталина? И оставит ли без внимания сталинский наказ: «Вопрос об обработке заброшенных земель и целины имеет громадное значение для нашего сельского хозяйства»?

Целина... Знать бы писателю, когда читал речь Сталина, что в ней неотвратимо заложено название еще и не задуманного им произведения.

Январь 1930 года. Вождь сообщает Горькому: «Наша печать слишком выпячивает наши недостатки... И это, конечно, плохо». Еще установка — Молотову: «Уймите, ради бога, печать с ее мышинным визгом о „сплошных прорывах“, „нескончаемых провалах“, „срывах“ и т. п. брехне. Это — истерический троцкистско-правоуклонистский тон, не оправдываемый данными и не идущий большевикам. Особенно визгливо ведут себя „Эконом. Жизнь“, „Правда“, „За индустр.“, отчасти „Известия“».

Шолохов совсем скоро испытает воздействие этой установки.

Сталин публикует новую статью «К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса». Она звучит как приговор: «Чтобы оттеснить кулачество, как класс, надо сломить в открытом бою сопротивление этого класса и лишить его производственных источников существования и развития (свободное пользование земель, орудия производства, аренда, право найма труда и т. д.)».

Выходит, дан приказ на войну с целым классом врагов! А это сотни и сотни тысяч семей с их малыми и старыми домочадцами!

Сталин не захотел продолжать нэп в деревне. Не решился поладить с кулаками, чтобы совместно преобразовывать сельское хозяйство.

Шолохов на раскулачивание сполна откликнется в «Поднятой целине». Будет ли смягчать, лакировать, оправдывать? Нет!

Весной Шолохов поехал по нескольким только что созданным колхозам. Результат — критическая статья. Местному партийцу Петру Луговому запомнилось: «Он дал суровую оценку руководству Верхне-Донского района, коснулся крайкома, не принявшего мер для ликвидации недостатков, хотя и знавшего о них. Статью эту „Правда“ не поместила. Она ее послала крайкому для принятия мер...»

Значит, в холостой превратили боевой заряд Шолохова — рассказать стране о том, что творится на Дону.

Значит, отрикошетило и на него указание Сталина — не критиковать. «Правда» если и критикует «перегибы», так избирательно. Крайком тоже

не жалуется «писак-критиканов».

И вдруг его имя появляется в «Правде». Это Горький печатает статью «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры». Что скрывать, приятно читать, хотя его фамилия лишь упомянута. Однако Шолохов насторожился — не продолжается ли агитация сделать его певцом рабочего класса?

Сталину нужны союзники, в особенности из тех, кто молод. Потому делится с Горьким в письме опасениями, что не вся молодежь верна партии: «Молодежь у нас разная. Есть нытики, усталые, отчаявшиеся... не у всякого хватает нервов, характера, понимания воспринять картину грандиозной ломки старого и лихорадочной стройки нового как картину должного и, значит, желательного».

Написано будто прямо для Шолохова. Он в это время обдумывает «Поднятую целину», отбивается от редакторов, которые коречат «Тихий Дон», вымарывая сцены рассказывания. В итоге сообщил в редакцию «Октября»: «Очень прошу ничего не выбрасывать, даже по мелочам... Зол я и истерзан душевно».

Фадеев — Шолохов

Апрель. «Тихому Дону» готовится приговор — от рапповцев, от Фадеева, от журнала «Октябрь».

Всего-то год тому назад Шолохову казалось, что завершит роман в 1933-м. Теперь пишет Левицкой: «Получил я письмо от Фадеева по поводу 6 части... Предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы... Говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан». Тут же: «Нехорошо мне и тяжело до края».

Шолохову всего-то 25 лет. Всем кажется, что он еще так молод, что по своей провинциальности не разберется в столичных литературных и политических страстях.

И вот экзамен — неизбежный — на мужество гражданина и творца. Делать Мелехова «своим» значило бы писать агитку с плакатным большевиком, значило бы изменить правде жизни и отказать главному своему герою в праве быть правдоискателем. Это значило бы предать свое писательское предназначение — рассказать своему страдавшемуся народу о неправде и при царе, и при Керенском, и при белых, и при зеленых, и даже при красных.

Итак, он как в бою должен решить: сдаваться или продолжать

сражение.

Знал: правду говорить — себе досадить. Потому и написал Левицкой: «Лавры Кибальчица меня не смущают». В отчаянии ему вспомнился этот революционер-народник, который перед казнью в одиночке разрабатывал проект реактивного летательного аппарата, чтобы облагодетельствовать человечество.

Сделан выбор: «Делать Григория окончательно большевиком я не могу... Об этом я написал Фадееву... Заявляю это категорически. Я предпочту лучше совсем не печатать...»

Негодует и по поводу обозначившихся в письме Фадеева нравов своего рапповского «цеха»: «Тон письма безапелляционен. А я не хочу, чтобы со мной говорили таким тоном, и ежели все они (актив РАППа. — В. О.) будут обсуждать со мной вопросы, связанные с концом книги, то не лучше ли вообще не обсуждать» (было и такое о рапповцах: «проклятые „братья“»).

Признается: «Если я работаю, то основным двигателем служит не хорошее „святое“ желание творить, а голое упрямство — доказать, убедить...» И тем не менее: «А я все ж таки допишу „Тихий Дон“! И допишу так, как я его задумал». В этих словах из шолоховского письма слышится мне выкрик великого средневекового упрямца: «И все-таки она вертится!»

Видимо, потому и находит в себе силы и мужество не впадать в уныние.

Новый удар — вторая волна слухов о том, что Шолохов украл роман. Неугомонные враги выискали кандидата в гении. Эхо этой весенней провокации в первоапрельском письме из Вёшек в Москву — Серафимовичу. В послании боль, но не отчаяние. Шолохов взыскует не сочувствия, а справедливости: «Я получил ряд писем от ребят из Москвы и от читателей, в которых меня запрашивают и ставят в известность, что вновь ходят слухи о том, что я украл „Тихий Дон“ у критика Голоушева — друга Л. Андреева и будто неоспоримые доказательства тому имеются в книге-реквиеме памяти Л. Андреева».

Шолохов уже и сам разобрался что к чему: «На днях получаю книгу эту... Там подлинно есть такое место в письме Андреева С. Голоушеву, где он говорит, что забраковал его „Тихий Дон“. „Тихим Доном“ Голоушев — на мое горе и беду — назвал свои путевые заметки и бытовые очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политич. настроениям донцов в 17-м году. Часто упоминаются имена Корнилова и Каледина... Это-то и дало повод моим многочисленным „друзьям“ поднять против меня новую кампанию клеветы. И они раздуют кадило, я глубоко убежден в этом! Я

прошу Вашего совета: что мне делать? И надо ли доказывать мне, и как доказывать, что мой „Тихий Дон“ — мой».

Он узнал, что Серафимович был близко знаком с этим «претендентом» на автора романа. Старик прочитал письмо и внес в свою записную книжку: «Это врач-гинеколог по профессии, литератор и критик по призванию. Милейший человек, отличный рассказчик в обществе, но, увы, весьма посредственный писатель. Самым крупным трудом его был текст к иллюстрированному изданию „Художественная галерея Третьяковых“. Менее подходящего „претендента“ было трудно придумать».

Таков первый по счету кандидат в авторы. И остальные примерно того же творческого формата. Всего их насчитано, кажется, около пятнадцати. Толкучка к пьедесталу! Антишолоховцы никак не поймут, как унизительно смешны они в этой роли: только назначат одного «гения», как от ретивых соперников новая заявка.

Шолохов страшно огорчился, когда узнал, что даже Горький дрогнул — сказал в Сорренто одному гостю: «Вы слышали, что шолоховский роман — плагиат? Шолохов содрал с какого-то автора...» И подтвердил это любимым у пропагандистов темы литворовства доводом: «Талантливая книга „Тихий Дон“, но непонятно, как это может написать двадцатилетний человек». Впрочем, Горький скоро убедился в необоснованности своих сомнений.

Все это Шолохов рассказал в письме Серафимовичу: «Очень прошу Вас, оторвите для меня кусочек времени и прочтите сами... Страшно рад был бы получить от Вас короткое письмо с изложением Ваших взглядов. Мне не хочется говорить Вам о том значении, какое имеет для меня Ваше слово и как старшего, и как земляка... С великим нетерпением буду ждать...»

И все-таки не одними горестями наполнена душа. Взял да и пригласил своего литературного крестника погостевать: «Выражаю свое глубочайшее возмущение тем, что Вы вздумали хворать накануне лета. А Чечня? А тихий Дон?.. Настоятельно прошу — не хворать больше. Вы же знаете, что не только „муж любит жену здоровую“, но и человеки человеков любят здоровых...»

Странно: ждать ответа пришлось целый год. И это надо было пережить.

Забоят Шолохова и местные дела — пишет знакомому председателю колхоза с укоризной — отчего-де нет рапорта о завершении посевной: «Когда же ты, рыбий глаз, кончишь колосовые! Ведь это позор! 23.5, а ты молчишь. Ну, желаю успешно сеять. Жму руку».

24 мая этого года Шолохову исполнилось двадцать пять лет. И вот подарок ко дню рождения — Фадеев, редактор «Октября», останавливает публикацию очередной части «Тихого Дона».

«Правда» добавляет мрачного настроения. В эти дни — как нарочно — Панферов в центре внимания. В фаворе! В трех номерах «Правды» идут его объемные путевые заметки с Северного Кавказа, а Донская область входит в состав этого края. Определил себе роль наставника: «Надо сейчас же мобилизовать несколько тысяч ответственных работников на помощь двадцатипятидесяти тысячникам», — пишет он в конце. Еще заметка: «Вышла из печати и поступила в продажу — Ф. Панферов „Бруски“, книга вторая».

У Шолохова стоп-сигнал роману, а баловню судьбы — зеленый свет. Сталин очень полюбил Панферова, явно потому, что его главное многотомное сочинение «Бруски» пишется «под знаком колхозного строительства» и направлено против «идиотизма» старого уклада деревенской жизни — в полном соответствии с линией партии.

Панферов, Панферов. Везде Панферов... Как-то у Шолохова с Левицкой завязался ни с того ни с чего, как показалось ей, разговор:

— А что, Евгения Григорьевна, много есть произведений из колхозной жизни?

— Много, но все они никуда не годны с точки зрения художественной, начиная от знаменитых «Брусков»...

— Ну вот, не считайте самомнением, если я скажу, что, если напишу, я напишу лучше других.

Что это — уже решение или только ревностные чувства от осознания, что лучше знаешь жизнь деревни? Об этом чуть далее.

В июле 1930-го состоялся очередной XIV съезд ВКП(б), где Сталин выступил с докладом. В нем директива: «Репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления...»

Шолохов уже знал цену этому самому «элементу наступления». Пишет Левицкой: «ГПУ выдерживает казаков и ссылает пачками. Милостью ее (ГПУ) тишина и благодать».

На съезде прозвучал «Тихий Дон» — в перечне самых значительных произведений. Этот величальный список от имени рапповцев и как заслугу рапповцев провозгласил Виктор Киршон.

Сталин... Съезд вновь избирает его генеральным секретарем. Народ, партийцы, за малым исключением, верят заверениям, что он верный ученик Ленина, что он правильно претворяет ленинские заветы в жизнь.

Шолохов... Добровольно в своем порыве вступить в партию. В этом

году он был принят кандидатом. Отклонил предложение вождя рапповцев Авербаха дать ему рекомендацию, но принял ее от Серафимовича. Остальные две — от вёшенских коммунистов.

Сталин полон энергии перестраивать страну на социалистический лад. Призывает к этому не только партийцев, но и всех сограждан. Письма, речи, статьи, доклады за 1929–1931 годы составили три тома — 11, 12, 13-й — в собрании сочинений вождя. В них много сказано о раскулачивании и коллективизации.

Одно из главных наставлений Сталина — быть политически бдительными. То-то Шолохова, устремившегося в ряды членов партии, рапповские собраты по перу не признали истинным коммунистом. Об этом он узнает из речи Фадеева на комфракции РАППа: «Возьмите Либединского и Шолохова. Можно их объединить? Вы чувствуете у Либединского, даже когда он ошибается, что это ошибки коммуниста, что это писатель-коммунист, что книга, где он не ошибается, ваша, коммунистическая. У Шолохова вы видите, что это элемент переделывающийся, крестьянский или казачий, что идеология его другая, не ваша».

Тяжко так жить. Но, несмотря ни на что, Шолохов, как и все в стране, живет ощущением огромных перемен, которые перепахивают все вокруг. Идет коллективизация. Он чувствует, что, по замыслу Сталина, она будет стремительной и сплошной.

Партагитпроп не зря призывает писателей не остаться в стороне от этой новой революции — аграрной. Шолохов узнал, что многие собраты по перу откликнулись. Не только Парфенов. Прельщал дерзновенный план переделки сельского хозяйства на социалистический лад. Единоличие с сохами, цепами, с малыми наделами и без агрономов — не для огромной страны. Даже поэт Осип Мандельштам — он в ссылке в Воронежской области — вносит в дневник, что хотел бы начать колхозный роман.

Одно любопытное свидетельство для понимания того, как в одно время с Шолоховым жили-творили иные писатели. Вдова Мандельштама запомнила, как высказался один из них, Валентин Катаев: «Сейчас надо писать Вальтер Скотта...» Он очень хотел популярности, но чтобы при этом не перечить власти. И добился своего.

Было отчего дивиться Шолохову в своих Вёшках — в газетах и журналах об издержках и ошибках коллективизации молчок. Он, однако, не примкнул к хору тех, кто восхвалял новую революцию. Еще в 1928-м писал руководителям РАППа: «У меня под рукой нет таких колхозов, в которых живуха хоть малость отстоялась...» Не многое изменилось и в 1930-м.

Узнал от райкомовцев, что ЦК принял решение — ликвидировать кулачество как класс. Писатель в недоумении. Могучая партия расписалась в бессилии. Не хочет найти общий язык с теми, кто растит хлеб и без коллективизации. Торопится партия! Директива пугала своей категоричностью: «Проведение мероприятий по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации должно находиться в органической связи с действительным массовым колхозным движением бедноты и середняка и являться составной частью процесса сплошной коллективизации».

На Дону новая беда-трагедия. Жива память на рассказывание — теперь раскулачивание. Шолохов не принял рассказывания. Как воспримет раскулачивание?

Дополнение. Комиссия председателя Совнаркома А. И. Рыкова в 1925 году произвела подсчет: среди всех крестьянских дворов кулацкие составляли 3,9 процента (всего-то!), бедняцкие — 33,4, остальные — середняки.

В будущем романе «Поднятая целина» Шолохов опишет хуторское собрание по выявлению кандидатов на раскулачивание и предъявит читателям смягчающие обстоятельства.

Фрол Дамасков батраков-то нанимал, но только весной — на пахоту и сев. Не случайно уточнение романиста — кто-то из хуторян выкрикнул: «Я от него много добра видал...»

Тит Бородин сам за себя вступился: «Я сполняю приказ советской власти, увеличиваю посев. А работника имею по закону...» Шолохов дополняет: «В восемнадцатом добровольно ушел в Красную гвардию, бедняк по роду... работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах... нажил грызь от тяжелого подъема разных тяжестей...»

Гаева, как уточняет Шолохов, раскулачивали вообще по ошибке — «по воздействию Нагульнова». Был у него работник, но лишь одну осень — на уборке, когда сына призвали в Красную Армию. Совестьливый Разметнов добавил, что у Гаева «детей одиннадцать штук».

Шолохов не подлаживается под антикулацкую агитацию и пропаганду. Описывает происходящее по правде. Вот и читали в стране и в мире, что ни Дамасков, ни Бородин вовсе не кулаки, а раскулачены. Но есть в романе и настоящий кулак-эксплуататор — Семен Лапишинов: «Знали, что еще до войны у него было немалое состояние, так как старик не брезговал и в долг ссужать под лихой процент, и ворованное потихоньку

скупать... Людей разорял, процент сымал, сам воровал...»

Свидетельства очевидца

Летом 1930 года Левицкая пожаловала в гости в Вёшенскую. Хозяин давно уговаривал.

Гостя, вернувшись в Москву, по горячим следам записала свои впечатления и передала заметки в журнал «Огонек». С ее помощью страна познакомилась с жизнью и бытом писателя. Приведу наиболее интересные отрывки.

«...Трудно узнать обычного, московского Шолохова. Это — почти бритая голова, майка, чирики на босу ногу. Загорелый, крепкий, ну и, конечно, неизменная трубка в зубах.

...Его знаменитый „собственный“ дом, о котором литературная братия распускала сплетни („Шолохов построил себе дом...“), мало чем отличается от обычных домов Вёшенской станицы. Три комнаты, по московскому масштабу очень низких, передняя с лежанкой, застекленная галерея — вот и все великолепие шолоховских хором. Кухня с русской печью. В маленькой столовой — большой четырехламповый радиоприемник и патефон.

...Кабинет... Маленькая комнатка: кровать, над которой на ковре развешано огромное количество самого разнообразного оружия. Несколько ружей, казачья шашка в серебряных ножнах, нагайка с рукоятью из козьей ножки, ножи, револьверы, — в углу этажерка с пластинками для патефона, письменный стол и шкаф с книгами в хороших переплетах. Книги почти все дореволюционного издания. Классики, критики: Толстой, Тургенев, Герцен, Белинский, Бунин, Андреев, Блок, а за ними у стены шкафа ютятся современные книжки — их совсем немного.

...На письменном столе — нет привычных, обычных нашему глазу, вещей: письменного прибора и пр. Стоит чернильница и лежит ручка. Да останавливает внимание желтый портфель, туго набитый, очевидно, бумагами, который хотя бы косвенно намекает на „профессию“ хозяина комнаты.

...Мария Петровна рассказывает мне: „Работает М. А. по ночам, иногда вечером поспит и всю ночь работает. А то запряжет серого и уедет по хуторам. И снова за работу... А какая у него была уверенность в своих силах! Он говорит мне: увидишь, меня будут переводить на иностранные языки...“

...Говорить с М. А. очень трудно. Замкнутый... Говорила я и о необходимости переезда в Москву, хотя бы на два-три зимних месяца. „Зачем я поеду? — живо ответил он. — Ведь здесь кругом сколько хочешь материала для работы...“

...Заходит человек: „Михаил Александрович, дай табачку, сил нет, курить хочется“. — „А рюмку выпьешь?“ Ясно, отказа нет.

...Распорядок дня был таков: вставала я рано — в пять-шесть часов... По двору уже давно хозяйничала бабушка (мать Шолохова. — В. О.); корова подоена и отогнана в стадо; Николай, добродушный парень, ведет серого коня поить к Дону; бабушка кормит кур; у корыта хрюкают поросята (М. А. обещает зимой привезти колбасу...). Собаки — четыре! — разного возраста (охотничьи). Мария Петровна, сдав своего двухлетнего Шурика матери, „собирала на стол“. Начинается завтрак и чаепитие...

...История с „Яркой“ (овцой)... Отец начинает подразнивать ее (дочь Светлану. — В. О.): „Светланка, а ведь Ярку-то зарезали“. — „Нет, ее отогнали в стадо!“ — кричит девочка. „Это они тебя обманывают. Пойдем к деду, там и шкура висит!“ Я возмущаюсь: „Зачем вы мучаете ребенка?“ — „А зачем ей говорить неправду? — возражает он. — Зарезали и зарезали“.

...Вечером сборы на рыбную ловлю. Вытаскиваются из амбара сети, приводятся в порядок соответствующие костюмы, шубы и прочее. Ночью над рекой сильно свежо. Берется фонарь и старые потрепанные карты. От скуки публика режется в дурака. Поставили сети, и, когда поднялась луна, М. А. приехал за мной. По тихому зеркалу реки бесшумно скользила лодка. М. А. стоял на носу, вытаскивая сети и смотрел, не попалась ли рыба...»

Было в заметках Левицкой и такое свидетельство: «Мне Мария Петровна говорила, что он связан с одним колхозом, дал им денег на трактор. Бывает там... Для повести...»

«Для повести»... Накапливаются впечатления не для повести — для огромного романа о коллективизации.

Новорожденные колхозы... Догадывался ли Шолохов, что далеко не в каждом из них сможет воплотиться вековая мечта человека о коллективном труде. Чтобы были и радость от такого труда, и достаток по справедливости.

Шолохов садится за партийные труды, хочет понять — по Ленину и Сталину — какой должна быть коллективизация.

Ленин в докладе на X съезде РКП в 1921 году говорил: «Если кто-то из коммунистов мечтал, что в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер...

Переход к общественной обработке земли, переход к крупному общему хозяйству. Но никаких принуждений...»

Сталин в только что обнародованном докладе на XVI съезде ВКП(б) сообщал: «Мы уже перевыполнили пятилетнюю программу колхозного строительства за два года более чем в 1,5 раза. (Аплодисменты.) Пусть болтают теперь оппортунистические кумушки... Нажать вовсю на развитие крупных хозяйств типа колхозов и совхозов... во что бы то ни стало».

Шолохов узнал, что сам Молотов — второе лицо в государстве и партии — в Ростове на заседании бюро крайкома продекларировал веско и жестко: «Наша установка в том, чтобы сманеврировать и, добившись известной организованности НЕ СОВСЕМ ДОБРОВОЛЬНО, во время весеннего сева закрепить колхозы...» (выделено мной. — В. О.).

Вот в такой политической атмосфере жил Шолохов в канун зарождения замысла романа о коллективизации. «Не совсем добровольно» — эта мысль станет в нем главной. Для того и приезжали на Дон коммунисты Давыдовы, призванные ЦК для проведения коллективизации.

Сталин ценит Давыдовых, назвал двадцатипяти тысячников «передовыми рабочими». В статье вождя «Головокружение от успехов» критиковались многие перегибы коллективизации, однако в адрес посланцев ЦК — ни слова. Странно, но факт.

Зато Шолохов в будущем романе начнет с того, что поручит секретарю райкома высказаться о Давыдове укоризненно: «Вот такие приезжают, без знания местных условий». Может, Шолохов знал, что на X партсъезде говорил Ленин: «Практика, разумеется, показала, какую огромнейшую роль могут играть всевозможные опыты и начинания в области коллективного ведения земледельческого хозяйства. Но практика показала, что эти опыты, как таковые, сыграли и отрицательную роль, когда люди, полные самых добрых намерений, шли в деревню устраивать коммуны, коллективы, не умея хозяйничать... Опыт этих коллективных хозяйств только показывает пример, как не надо хозяйничать: окрестные крестьяне смеются или злобствуют».

Вот и появится в романе сцена — правдивая, — когда Давыдов на собрании агитирует за колхоз, а ему из зала в ответ:

«— Я середняк-хлебороб, и я так скажу, граждане, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее колхоз, но тут надо дюже подумать! Так нельзя, что тяп-ляп, и вот тебе кляп, на — ешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает».

Писатель за коллективизацию. Но он не пойдет в предстоящем произведении на апологетику того, как она осуществлялась на деле.

Дорога в Европу

Вождь все держит под контролем. Вот Горький обращается к Сталину с письмом, чтобы поспособствовал приезду к нему в Италию столь нужных ему гостей: «Если писатели Артем Веселый и Шолохов будут ходатайствовать о поездке за границу — разрешите им это...»

Сталин разрешил.

Группа пополнилась Василием Кудашевым и зимой 1930-го отправилась в путь. Но не было удачи, доехали только до Берлина. Дальше путь закрыт — итальянцы не дают визу. Писатели ждут.

Впервые станичник оказался в Европе. С недавних пор поездки за границу для советского человека стали редкостью, а для пишущей братии — тем более. Того и гляди, наберутся чужеземной политической ереси.

Декабрь. Здесь, в Германии, Шолохов уже начинал познавать мировую известность. Когда посетил с Веселым советское посольство, там ему рассказали, что, оказывается, несколько газет печатают его «Тихий Дон» с продолжением. И статьи начали появляться с броскими заголовками, в которых фигурируют его имя и роман. Ему пересказывают то, что о нем напечатала буржуазная «Берлинер тагеблатт»: «О русском народе и его судьбах „Тихий Дон“ сообщает больше, чем многие ученые трактаты». Газета коммунистов Магдебурга тоже пишет об этом: «„Тихий Дон“ так захватывающе повествует про раскрепощение русского крестьянства в ходе революции, что неожиданно становится учебником и учителем...» Подивился: газета немецких писателей перепечатала в переводе статью Серафимовича о романе. И тут же помещен его снимок. Еще статья: «Величием своего замысла, многогранностью жизни, проникновенностью воплощения этот роман напоминает „Войну и мир“ Льва Толстого». Шолохов узнал и такое мнение (похожее на то, которое он уже выслушивал от своих, от рапповцев): «Отсутствие ненависти к тем, кто находится по ту сторону баррикад (к белым)...»

Гостю рассказали и о том, что готовятся к выпуску его книги в переводе на немецкий в двух коммунистических издательствах — в Берлине и Вене. В одной из аннотаций автора представляли читателю так: «Три года назад впервые в русской литературе прозвучало имя этого молодого казака, который теперь считается одним из талантливейших

писателей... Живописует нам казаков Дона — потомков Степана Разина, Булавина, Пугачева...»

Шолохову прочитали в только-только вышедшем журнале «Ди литературы»: «Тираж „Тихого Дона“ превысил тираж „На Западном фронте без перемен“ Ремарка». Это не могло не пощекотать профессионального честолюбия.

Повезло — здесь, в Берлине, находились дочь и зять Левицкой. Зять, Иван Клейменов, выдающийся конструктор-оборонщик. Ему поручено поработать в торговом представительстве СССР, что давало возможность приобщаться к западной технической культуре.

Иван Клейменов улучил мгновение и сфотографировал станичника. Истинно благополучный европейский буржуа: мягкая — модная тогда — шляпа, красивое пальто, белая рубашка, трубка...

Тогда трудно было представить, что в 1938-м Клейменова ожидает арест и тут же неправый суд.

Супруги Клейменовы уж как были рады угодить лучшему другу семьи. Маргарите Константиновне, жене Клейменова, запомнилось:

«Мы проводили много времени вместе: гуляли по Берлину, ходили в кино. Германия переживала трагические дни. К власти рвались фашисты. В кинотеатре, где показывали фильм по антивоенному роману Ремарка „На Западном фронте без перемен“, мы стали свидетелями бесчинства фашистов. Они пытались сорвать сеанс: пускали под ноги мышей, устроили побоище. Кинотеатр оцепили полицейские. Нас оттеснили от входа...»

Фашистское «оттеснение» Шолохова от немецкого народа придет через два года, в 1933-м: канцлер Гитлер подмял президента Гинденбурга, и оба подписали Закон «Об охране немецкой расы». К нему приложение — в «Разделе 4» было объявлено: «Подлежат запрещению и сожжению книги знаменитых русских авторов...» Четвертым после Ленина, Сталина и Горького значился в списке на казнь огнем Шолохов.

Пока ждали визы, делегацию «покатили» по стране. Впечатлений было хоть отбавляй, кое-что из них Шолохов изложил в письме Эмме Цесарской, как помним, Аксиные из давнего уже фильма:

«Много тут всего, страшное изобилие, задыхаются в перепроизводстве, а... скучно. И хочется домой. Работать хочу, Эмма. Девушки тут красивые. Большинство молодежи — чудесный народ! Здоровый, сильный, складный! Эти дни мы мотались как черти. Много видели. Неизмеримо больше не видели. Пока еще нет итальянских виз, поедем по Германии. В Гамбург, Лейпциг, в Рурскую область и, видимо, на

несколько дней в деревню. Берлин... половодье огней, шум, в глазах пестрядь от движенья...» Добавил очень по-советски: «Убивают нас предрождественские приготовления, все эти елочки, пакетики, все то, что для нас утратило всякий смысл довольно-таки давно».

В одном городке Шолохов был приглашен в Фестзал — попросили рассказать о себе и не только, он давай импровизировать — получилась лекция «Об организации пролетарского книжного дела в России».

Успел отправить Цесарской еще одно письмо. В нем выделялось совсем нетуристское желание: «Мне особенно хочется посмотреть немецких „единоличников“».

Трудно понять мир писательских чувствований, которые у Шолохова всегда в неких, до поры до времени необъяснимых, связках. Так, 12 декабря 1930 года впервые появилось в немецкой прессе заявление — займусь, дескать, новым романом, в котором расскажу о «русских единоличниках». Правда, название своего будущего сочинения не огласил и не стал, по обыкновению своих братьев по перу, обозначать тему и сюжет.

Видимо, не случаен был его внезапный порыв — домой, домой. Не до продолжения вояжа. Это кажется странным для человека — молодого, — у которого появилась редчайшая возможность побыть за границей. Обозначил это свое будоражащее желание в письме той же Цесарской: «Бывает, что не хотят ехать в Союз, а тут вдруг хотят, и очень. Словом, „совсем наоборот“. Я упорно стою на своем. Завтра дело выяснится с обратными польскими визами».

В делегации произошел раскол. Шолохов, как его ни уговаривали Клейменовы, настаивал: возвращаться! Верный друг Кудашев примкнул к нему, а Артем Веселый — за продолжение поездки. С тем и расстались.

Что же тянет домой? Ответ в письме Цесарской: «В Москве задержусь. А потом в район сплошной коллективизации. Страшно хочется посмотреть, как там и что. Дико и немыслимо жить здесь после того, как половину сознательной жизни прожил в условиях Дона советского. Так крепка эта пуповина, соединяющая меня с ним, что оборвать ее — не оборвешь».

Через два дня из-под пера Шолохова появляется еще весточка Цесарской: «Вернулся из Гамбурга. Сырым утром вошли в порт. В „Свободной гавани“ серая туча мачт парусников, огромные пароходы, туман и соленый запах моря. На борту ближнего заокеанского парохода стоит негр-матрос, смотрит на пристань, на город в мутной мгле. Откуда-нибудь из-под тропиков приплыл он с бананами и каучуком... Не хочу больше ездить по Европам — остобрыдло».

Ему тяжело держать в памяти то, что происходит на Дону, а в письме

такое признание: «Сегодня получил твое письмо, какие-нибудь пять часов назад, и вот сейчас оно так выглядит, будто я его через фронты пронес... От твоего письма, знаешь ли, будто на меня милым ветром обдонским пахнуло. А знаешь ты, как пахнет ветер в степи в июле? Чуть, чуть слышен горьковатый и сладостный привкус сухой полыни в мощном запахе разнотравья. Хорошо и тягостно вспоминать в прокуренной комнате о тебе, и о степном ветре, и о дорогах, исхоженных и изъезженных за мою недолгую жизнь...»

Сообщает исполнительнице роли Аксиньи: «Да, в шведском переводе „Дона“ издатель даже перевернул обложку, так ты ему полюбила. С первой страницы ты смотришь на мир, положив на коромысло руки, а парень с гармошкой — сзади на развороте». Речь об очередном заграничном издании, где по замыслу художника книги на обложке кадр из фильма «Тихий Дон».

Только-только вернулся в Вёшки — в самом конце декабря, а тут в ростовской прессе вместо интервью по случаю возвращения писателя из дальних стран раздался боевой клич с объявлением войны. Некто Янчевский, историк, разразился в журнале «На подъеме» статьей, от которой все опешили — даже партию не пожалел: «Роман Шолохова числится в списке произведений пролетарской литературы, который зачитан XVI съезду партии. И тем не менее я пришел к заключению, что „Тихий Дон“ — произведение чуждое и враждебное пролетариату...»

***Дополнение.** Еще год назад, в 1929-м, и РАПП, и «Правда» дружно выступили против обвинений писателя в плагиате. Горький в Сорренто это заметил: «Читал в „Красной газете“ опровержение слухов о Шолохове». Потом Горький почувствовал, что пресса почему-то остыла к защите писательской чести Шолохова.*

Слухи же — обжигающие — продолжались. Был даже такой: якобы ходит по редакциям какая-то старушка и заявляет об авторстве своего сына. Миф не подтвердился — старушка так нигде и не появилась. После этого подыскивали нового кандидата в авторы. Писатель Анатолий Каменский, когда выехал в Берлин, посвятил тамошнюю эмигрантскую общину в «шолоховские» сюжеты: «Москва была потрясена историей, связанной с „Тихим Доном“, романом молодого Шолохова. В литературных кругах внезапно „обнаружили“, что автором этого сенсационного романа был неизвестный белый офицер с Кавказа, расстрелянный Чрезвычайной комиссией (ЧК). Говорили, что Шолохов, служивший в ЧК, случайно завладел бумагами убитого, среди которых была и рукопись романа.

Государственное издательство якобы получило письмо от пожилой женщины из провинции, в котором она заявляла, что роман принадлежит ее сыну, которого она не видела уже много лет и считала погибшим. Государственное издательство, желая порадовать писателя, попросило женщину приехать в Москву и устроило ей встречу с Шолоховым, которая, впрочем, кончилась ничем, так как старушка не признала в Шолохове своего сына...» К концу своей речи подытожил: «Творческая энергия писателей, лишенных возможности писать и печататься, часто находит выход в создании самых невероятных историй и распространении диких и нездоровых слухов в связи с любым сколь-либо значительным событием в литературе».

Новая версия: будто бы рукопись умирающего от тифа при отступлении белых писателя Федора Крюкова прибрал к рукам будущий тесть Шолохова и одарил ею зятя. И еще вереница всяких нелепиц бродила по свету: от какой-то женщины пошла весть, что это ее брат автор романа, дескать, писал в Гражданскую, рукопись при аресте оказалась у следователя ГПУ. Назывались также в качестве автора «Тихого Дона» есаул Иван Родионов, штабс-капитан Иванов из Вёшек, какой-то есаул Кухтин, донской литератор Р. П. Кумов, некий Арсеньев, что был расстрелян красными, тесть Шолохова — Громославский и даже Мария Петровна...

«Не обессудьте за „нытье“»

Сталин нашел время и возможности стать единовластным вершителем судеб молодой советской литературы.

«Не обессудьте за „нытье“» — такую фразу вывел Шолохов в одном из писем, где описывал свои мытарства с «Тихим Доном».

Выделил слово «нытье» — взнуздал его в кавычки, будто намекал, что это слово становится для всех пишущих «профессиональным». Так, Сталин в этом же году сообщал Горькому о своем желании «...сократить количество ноющих, хныкающих, сомневающих и т. п. путем организованного идейного (и всякого) воздействия».

Отныне и надолго утвердилось «воздействие» на тех, кто не согласен с политикой, которую ведет Сталин. Заставили замолчать, хотя и по-разному, Бориса Пильняка, Евгения Замятина, Анну Ахматову, многих других. Лишился поста нарком просвещения Луначарский, а ведь это он дал в числе самых первых высокую оценку «Тихому Дону». Навис карающий

меч над крестьянскими поэтами есенинского гнездовья — Н. Клюевым, П. Орешиним, С. Клычковым, П. Васильевым, В. Наседкиным. Им всем выпадет судьба погибнуть... Шолохов не мог всего этого не замечать.

Тяжелое настроение писателя усугублялось и тем, что семья осталась совсем без денег. Издательство не спешило исполнять свои обязательства — высылать гонорар. Влез в долги. Надо бы съездить в Москву, да не на что. Занудливый фининспектор то и дело с напоминаниями.

И все-таки паника не для Шолохова. Живет так, как привык жить. Пишет летом 1930-го Цесарской: «Все эти дни мотался чертовски. Сейчас еду опять в ряд районов...» Правда, добавил: «Какая уж там лирика, ежели так погано живется!»

Возможно, Сталин полагал, что по праву руководит литературой. В молодости он сам писал стихи и даже печатал их в газете грузинского классика Чавчавадзе. Умен. Отлично понимает, что в борьбе с инакомыслящими самые верные помощники — это рапповцы. Они неистово непримиримы к любым идейным колебаниям. Не случайно вождь в этом году признается: «Что касается моих отношений к РАППу, они остаются такими же близкими и дружескими, какими были до сего времени».

Политика кнута и пряника — так можно определить отношение Сталина к писателям до 1937 года. Дальше быть другому.

Шолохов как только встретился воочию с вождем, так сразу разглядел: «Ходит, улыбается, а глаз, как у тигра». Я это от писателя лично слышал.

«Приходилось бывать в разных переплетах, но за нынешними днями это забывается» — так писал Шолохов в автобиографии. Для истории хорошо, что давний друг писателя Петр Луговой не забыл одного его «переплета». В своих воспоминаниях ему запомнилось, как Шолохов проходил процедуру приема в кандидаты компартии. Один районный начальник обвинял его в том, что пишет он про казаков-контрреволюционеров, и советовал ехать в промышленные районы изучать жизнь рабочих и писать о них. Аукнулись пожелания Серафимовича.

Шолохов однако же и без понуканий жадно впитывает все, что касается коллективизации и индустриализации. Читает и решения последнего XVI партийного съезда. В них обещано крестьянству всего-то за два года 25 тысяч тракторов и другой техники, потому строятся гиганты сельскохозяйственного машиностроения в Харькове, Челябинске, Запорожье, Саратове... При этом на съезде не забыли и о писателях, покритиковав и «правых уклонистов», и «левых загибщиков».

Припугнул Сталин и старого партийца Демьяна Бедного — написал

ему: «Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК...»

Пришел черед и Шолохова: одернули — остановили очередную часть «Тихого Дона». Жесток удар. Быть или не быть роману? У кого искать защиту? У Горького. Но Горький — вспомним — уже предупрежден письмом Сталина, как надо относиться к тем, кто мыслит не по-сталински.

Шолохов, разумеется, читал «свой» рапповский журнал «На литературном посту». В январском номере была опубликована редакционная статья с указаниями для тех, кто пишет о коллективизации: «Крестьянский писатель периода социалистического наступления должен удовлетворять неизмеримо более высоким политическим и идеологическим требованиям, чем это было ранее. Крестьянский писатель должен отражать в художественных образах процессы перестройки бедняцко-середняцких масс...»

«Писатель должен отражать...» В 1930-м Сталин создал при ЦК «постоянное совещание» по работе в деревне. В его состав вошли Калинин, Крупская, Шверник, еще восемь деятелей партии. В будущей «Поднятой целине» ни слова не будет сказано ни об этом штабе коллективизации, ни о деятельности Сталина в этом штабе, ни о его членах. Вот какой заточки шолоховское перо — буквально обходительное.

Для романа иное накапливается. Шолохов не будет живописать вождя ни в качестве лучшего друга советских писателей, ни даже — организатора «сталинской коллективизации». О Сталине будет говориться в романе на немногих страницах, не более чем на девяти-десяти, и никогда развернуто: ни в сценах, ни в портрете, к тому же и без цитат — если не считать, что казаки обсуждают сталинскую статью «Головокружение от успехов», и то весьма немногословно.

Не будет восхвалений вождя — один раз только прозвучат они в устах прокуроровых, когда станут исключать из партии Нагульнова, единственного в романе героя, безоговорочно преданного идеям Сталина. Осудительную речь произнесет не секретарь райкома, а прокурор. И Шолохов впишет в его речь то, что никто другой никогда не осмелится: «И каковы корни этих поступков? Тут надо прямо сказать, что это — не головокружение от успехов, как гениально выразился наш вождь, товарищ Сталин. Нагульнов же пытался, по словам некоторых колхозников, установить такую дисциплину, какой не было даже при Николае Кровавом!» Ну прокурор, ну Шолохов!

Так и пойдет к читателю роман с этой мыслью, что истоки драмы коллективизации не в «головокружении», как писал Сталин, а в сравнении колхозных порядков с прежними.

Особо отмечу, что прокуророва речь будет единственным местом в романе, где Сталина повеличали вождем и гением.

Сталин появится в «Поднятой целине» уже во второй главе. Шолохов задумал сцену особого звучания — как камертон для дальнейшего повествования: встреча местного секретаря райкома и посланного к ним партией «двадцатипятидесятника» Давыдова. Как же обозначат свое отношение к коллективизации эти два персонажа: партиец из казаков и матрос-балтиец, потом рабочий-путиловец, твердокаменный сталинист?

Давыдов выслушивает инструкцию секретаря: «Езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз... Действуй там осторожно. Середняка ни-ни!.. Секретарь ячейки и председатель сельсовета политически малограмотны, могут иметь промахи».

Но посланец ЦК не хочет принимать такой установки: «Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как понимать?»

Секретарь райкома урезонивает его: «Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: „Вот она, какая, Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит“. Ленин нас учил серьезно учитывать настроение крестьянства, а ты говоришь...»

Писатель рискнул выстроить довольно наглядное для читателя противостояние: Давыдов и Сталин, с одной стороны, секретарь райкома и Ленин — с другой.

«Давыдов побагровел:

— Сталин, как видно, ошибся, по-твоему, а?»

Секретарю бы поостеречься с ответом, однако, по воле Шолохова, ответил прямо: «При чем тут Сталин?» Не убоаялся. И дальше произносит явно антисталинское: «А ты предлагаешь? Административную меру для каждого кулака без разбора... На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий».

Давыдов тогда спрашивает о кулаках: «Почему нельзя совсем его — к ногтю?» Будто про вошь, когда ее прищелкивают по-солдатски на ногте. Секретарь снова произносит отважные слова: «Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя. Но за район отвечают бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию...»

Давыдов продолжает «давить». Его завершающий довод категоричен: «Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!»

Секретарь райкома отстаивает свою позицию прямо, хотя и крамольно:

«Я отвечаю за свою. А это „по-рабочему“ — старо, как...» Вот так — последнее слово осталось за ним, и с многозначительным многоточием. А ведь могли автору «пришить» игнорирование постановления Политбюро ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» за подписью Сталина! Но Шолохов постановление не упоминает. Не взялся тиражировать его ни для просвещения своих читателей, ни в качестве пособия для Давыдовых-Нагульновых, ни для устрашения секретарей райкомов и Разметновых.

Глава IV — Шолохов поручает Давыдову обнародовать приговор: «Товарищ Сталин сказал: „Уволить кулака из жизни! Отдать его имущество колхозам...“»

Глава XXX — Давыдов уговаривает колхозников не выходить из колхоза. Выходцы требуют своего — вернуть землю и скотину. У председателя колхоза, понятно, своя забота — он не может на это согласиться. Они ему угрожают: «Ходатаев отправим в самую Москву, к Сталину!» Или прямо спрашивают: «Что же вы нас жизни решаете?»

Эх, Давыдов, Давыдов... Не брать бы ему по «наказу» Шолохова ответственность за установки Сталина. Но автор заставляет его ответить. Как? Отказом! «А вы хотите, чтобы вам лучшую землю отдали? Не будет этого, факт!» Продолжил с еще большей определенностью: «Советская власть все преимущества оказывает колхозам, а не тому, кто идет против колхоза». Закончил так: «Катитесь отсюда к чертовой матери!» Жаль выходцев. Давыдов отрубил надежду на справедливость: теперь только одно — катиться...

Каково Сталину будет читать эту сцену, ведь правителю всегда хочется слыть благодетелем? Шолохов почему-то не пожелал использовать в романе такой вполне романский факт — в 1930 году Сталин отправил на Дон, как выразился в своем письме, «в распоряжение колхоза „Пламя революции“ на 300 рублей облигаций». Уж так и просится под перо эта история, будь оно подхалимское: ведь толчеи без пены не бывает. А разве не могло перекочевать в толщу романа все то, чем газеты каждый день «кадили» во славу вождя?

Груб Давыдов с выходцами. Но не больше, чем Сталин. Сталин же сказал: «Уходят из колхозов прежде всего элементы чуждые, прямо враждебные нашему делу. Ясно, что чем скорее будут вышиблены такие элементы, тем лучше...»

Один — «катитесь». Другой — «вышиблены»...

Глава XXVIII. Партсобрание обсуждает статью «Головокружение от успехов» — Нагульнов отбивается от обвинений в этих самых

«головокружениях»: «А вот, кабы товарищ Сталин приехал в Гремячий Лог, я бы ему так и сказал: „Дорогой наш Осип Виссарионович, ты, значится, супротив того, чтобы нашим середнякам острастку задавать? Ты их прижеливаешь и норовишь с нежностями уговаривать?“»

Партийцы к этой речи с именем вождя отнеслись без всякого почтения, непугливо перо Шолохова: «Кончай, Макар... Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, тогда ты будешь опрометь головы в атаку кидаться, а зараз — ты рядовой». Как звучит — «опрометь головы»!

Нагульнов исповедовал троцкистские взгляды. На собрании отмежевался: «От Троцкого я отпихиваюсь! Мне с ним зараз зазорно на одном уровне стоять!» Так троцкист Нагульнов встал в ряды сталинцев. Что-то не припомню, чтобы кто-то — кроме Шолохова — осмелился при жизни Сталина на такую палитру политических красок.

Выделю главу XIII. Цензоры вычеркнули из нее Сталина после 1956 года, когда компасом политической жизни стал антисталинский доклад нового верховного партначальника — Хрущева. Это имя всюду вымарывали — где надо и не надо, начиная с государственного гимна.

В сцене же — немногословной — рассказывается, как хуторяне на общем собрании ищут для своего колхоза достойное название. И называли-таки именем Сталина.

В сцене нет нажима-пережима, то есть из-под шолоховского пера не вышло «стенограммы» единодушных народных восторгов по этому поводу. Не случайна помета: «в долгом споре». По замыслу писателя, не все, выходит, согласны были называться сталинцами.

Вот секретарь райкома, еще знакомясь с Давыдовым, предлагает назвать колхоз «Краснопутиловский», с ним не согласны. На собрании кто-то выкрикивает: «Красный казак!» Разметнов уговаривает назваться именем Сталина. Но Давыдов против. Боится опозорить великое имя. И ведь прав: колхоз хозяйствует не лучшим образом — то срывы на пахоте и сенокосе, то он едва не рассыпается, то бабий бунт, то перегибы...

Еще штрихи. Разметнов предложил встать в честь Сталина и снять шапки. Шолохов живописен в проявлении сарказма: «Засветлели обнаженные лысины, обнажились спутанные разномастные головы». Или другая сцена: председатель сельсовета так увлекся агитацией за название, что нарвался на укорот Давыдова, да еще и без всякого к вождю почтения: «Ты по существу, Разметнов». Тот смущенно: «Не по существу? Тогда я, конечно, извиняюсь...» Но снова его повело. И опять Давыдов — «досадливо»: «Вот ты опять в воспоминания ударяешься...» Разметнов, чтобы оправдать себя, произнес: «Как вспомнишь войну — сердце

засвербит чесоткой...» Каков Шолохов: «чесоткой...» — никакого пафоса. Кто из зала поддержал предложение Разметнова? Дед Щукарь. Впрочем, голосование прошло единодушно.

***Дополнение.** В «Поднятой целине» Шолохов пренебрег поводами лишний раз помянуть Сталина.*

Глава V. Здесь идет рассказ о Разметнове в Гражданскую войну: «С одной из ворошиловских частей он двинул на Морозовскую — Царицын...» Однако уже три года с легкой руки наркома Клим Ворошилова любое упоминание обороны Царицына не обходилось без имени вождя: И. В. Сталин — главный герой обороны. Но Ворошилов в романе есть — Сталина нет!

Глава XIX. Майданников вспоминает, как был делегатом Всероссийского съезда Советов. Что же ему запомнилось? Мавзолей Ленина... Сдернул он тогда с головы буденновку. Вдохновенен ночной монолог. Но ни слова о Сталине. Однако же Сталин руководил тогда работой съезда. Не соблазнился на хвалу вождю ни казак, ни писатель.

Глава XXII. В ней снова упомянута оборона Царицына. И здесь говорится о Ворошилове и ни слова не сказано о члене Реввоенсовета Сталине.

Шолохов и «оппортунист» Фрумкин

Как же нелегко пишется новый роман о коллективизации. Если не создавать идеологическую агитку, то, казалось бы, вся политическая атмосфера способна лишить творческого кислорода сам замысел правдивого произведения.

Вот втайне от народа в Кремле идут споры — обеспечит ли колхозная система свободный труд свободных людей. Эти споры развязал Моисей Фрумкин, старый партиец (когда-то ему писал даже Ленин), ныне — заместитель наркома финансов. Он направил Сталину письмо под грифом «Секретно», пытаясь открыть глаза на действительность партийному «ареопагу»: «В деревне стоит подавленность, которая не может не отразиться на развитии хозяйства...» Советовал «крестьянина втягивать в действительное (а не лже) общественное хозяйство...». Предупреждал: следует «установить революционную законность. Объявление кулака вне закона привело к беззаконию отношений ко всему крестьянству...». Досталось в письме и Молотову за указание: «Надо ударить по кулаку так,

чтобы перед нами вытянулся середняк!» Осмелился утверждать, что аграрная политика партии — это «деградация сельского хозяйства». Рискнул даже написать: «...такую власть следовало бы прогнать...»

Шолохов узнал не только о беспокойстве Фрумкина, но и о том, как ответно возмутился Сталин. Тут же припомнил свое письмо с обличением преступлений на Дону в разгар коллективизации (то письмо, которое Левицкая передала Сталину). Сопоставил и затревожился, что и высказал в очередном послании Левицкой: «...с письмом примерно такого же содержания обратился в ЦК известный в то время в партии человек. Оппортунист Фрумкин. Сталин ответил на это письмо... где... признал факты нарушения законности в деревне. Перечитал я несколько раз этот ответ и подумал: „Вот, кажется, влип я тоже в историю“».

Чем кончилась для Фрумкина эта история? Сталин хотя и «признал факты», но пригрозил ему и его сторонникам исключением из партии и арестом. (Фрумкин погибнет в лагере в 1938-м.)

Чем кончилась она для Шолохова? Тем, что не убоился «влипнуть в историю» и отобразил в «Поднятой целине» подлинное отношение крестьян к скоропалительно-принудительному созданию колхозов. Писатель проникательно разглядел, что не было у колхозника особого интереса работать; «отсутствие хозяйственного стимула», как выразился Фрумкин. И пойдут в романе горькие признания. Майданников обескуражен: «Видал вон: трое работают, а десять под плетнем на прищипках сидят, сигарки крутят...» Об этом же говорит Ахваткин: «Не хотят работать, злодырничают. Никакой управы на них не найду. Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их». Не случайны ответные — «репрессивные» — заявления Давыдова: «Все в наших руках, все обтяпаем, факт! Введем систему штрафов, обяжем бригадиров следить под личную ответственность...»

Шолохов и на большее рискнул — предупредил, что если колхозы будут создавать по принуждению, то может произойти самое страшное — крестьянский бунт. В романе появится сцена: враг советской власти Половцев беседует с хуторянином, который собирается вступать в колхоз. «Крепостным возле земли будешь», — предостерегает Половцев. По всем законам партагитпропа автор должен был дать этим словам отпор. Но ни он, ни тот, кто, по его замыслу, слушает врага, не осуждает реплику Половцева. Вместо осуждения — уточнение:

«— А ежели я так не желаю?

— У тебя и спрашивать не будут.

— Это как же так?

— Да все так же.

— Ловко!

— Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно так жить?

— Некуда дальше...» (Кн. 1, гл. III).

Роман писался тогда, когда уже появилась сталинская статья «Головокружение от успехов». Она была задумана, чтобы остудить горячие головы тех партийцев, которые допускали перегибы под влиянием директив из Центра. Сталин предчувствовал взрыв крестьянского возмущения и, возможно, хотел явить себя благодетелем, который восстанавливает справедливость. По крайней мере, многие постарались утвердить его в такой роли.

Шолохов не станет этого делать в романе, он найдет иные краски: «После появления в районной газете статьи Сталина райком прислал гремячинской ячейке обширную директиву, невнятно и невразумительно толковавшую о ликвидации последствий перегибов. По всему чувствовалось, что в районе господствовала полная растерянность, никто из районного начальства в колхозах не показывался, на запросы с мест ни райком партии, ни райполеводсоюз не отвечали».

«Невнятно... невразумительно... растерянность...» Но Шолохов не остановится на этом. С неменьшей политической отвагой выпишет в «Поднятой целине» то, как поведет себя Давыдов — самоуправно! — и после статьи Сталина. Казаки довольны защитой вождя — надеются, что никаких перегибов больше не будет. Те из них, кто собрался выходить из колхоза, потребовали вернуть свою скотину. Но последовал запрет. И тут даже Нагульников возмутился: «Почему выходцам не приказано было возвращать скот? Это же есть принудительная коллективизация! Она самая! Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают. Ясное дело: жить ему не при чем, деваться некуда, он опять и лезет в колхоз. Пищит, а лезет» (Кн. 1, гл. XXXVII).

Выходит, за Шолоховым начало обличения той партийно-государственной системы, которую спустя полвека, в перестройку, — осмелев! — начали именовать командно-бюрократической.

Глава четвертая

1931: ДВА НАЗВАНИЯ ОДНОГО РОМАНА

У верховной власти сейчас главное — революция в народном хозяйстве: коллективизация! Сталин произносит речь на совещании хозяйственников оптимистическую: «Мы организовали колхозы и дали крестьянам возможность жить по-человечески».

Примет ли Шолохов это утверждение на веру?

Безответное письмо Сталину

Не принял Шолохов безудержного оптимизма. Он за коллективизацию, но видит, что бездушные исполнители директив из Центра губят Дон.

Он разглядел первые черные сполохи голода-голодомора и хочет предотвратить эту беду. Насмотрелся ужасов, когда в декабре и начале января — какие там праздники! — поездил по колхозным хуторам своей Верхнедонщины.

Разор полный! Злая зима добавляла беды: бураны, морозы, у многих вымороженные куреня, даже оконные стекла в наледях, а по углам припорошь инея... Когда заглядывал в куреня, хозяева даже и угостить ничем не могли. Печи стылые, подполы пустые. Казаки были озлоблены: чертякались и матерились. Казачки плакали, а детишки поднимали на Шолохова тусклые от голодухи глазенки. Люди начинали пухнуть.

И впереди — никакого просвета. О севе можно и не мечтать — нет семян. И не заготовили на зиму сена и иного корма для быков и лошадей. Гибнет тяговая сила для весенней пахоты. Значит, не быть никакому урожаю и на следующий год.

Шолохов приехал в колхоз «Красный маяк». Ему в райцентре сказали — колхоз «примерный». Вышел из конюшни подавленным, конюхи признались, что из 63 лошадей пало 12. Прошелся по стойлам — только четыре лошади смогли бы быть запряженными, остальные — с выпирающими ребрами — уже и стоять не могли. Жутко смотреть на лошадь, которая обречена. Не для Дона это.

Такое наблюдал везде, где бы ни побывал.

Проезжая мимо «Райзаготскота» в Миллерово — сюда из колхозов и от единоличников сгоняли живность по налогам и для продажи в

государственную собственность, — увидел то, что могло причудиться только в самом жутком сне. Гнали в гуртах и быков, и коров, стельных тоже — по обочинам валялись «скинутые» подохшие телята и коровы с распоротыми бычьими рогами боками. Скот брел давно некормленным и не поеным.

Кто поможет избавиться от страшной беды? Начальство в Ростове? Решился писать Сталину. Письмо ушло в столицу 16 января 1931-го.

Начинал смело — набатно, без всякой дипломатии: «Тов. Сталин! В колхозах целого ряда районов Северо-Кавказского края создается столь угрожающее положение, что я считаю необходимым обратиться прямо к Вам...» Далее четыре страницы густо написанного текста, взыскующего изменить отношение к крестьянам: «Так хозяйствовать нельзя! Районная печать скромно безмолвствует, парторганизации не принимают никаких мер к улучшению дела... Это явление не единичное и им поражено подавляющее большинство колхозов. Колхозники морально подавлены... Говоришь с колхозником и не видишь глаз его, опущенных в землю...»

Выделил в особый абзац: «Таким „хозяйствованием“ единоличнику не докажешь преимущества колхозов...»

Не мог остановить возмущений: «Телят растят вместе с детишками в хате, от детишек отрывают молоко теленку, и наоборот... По слободам ходят чудовищно разжиревшие собаки, по шляхам валяются трупы лошадей. А ведь зима не дошла и до половины. Вам понятно, конечно, какое воздействие на психику колхозника производит виддохнувшего по дорогам скота...»

Есть и такое обращение: «Горько, т. Сталин! Сердце кровью обливается, когда видишь все это своими глазами...»

Закончил письмо и требовательно, и с полной ответственностью за свою роль заступника: «Пошлите комиссию в б. Донецкий округ и Вы убедитесь в достоверности того, что я Вам сообщаю».

Ответа не последовало. Шолохов переживает, но не сдается. Осталось одно — расчехлить журналистское перо. Он берется за очерк «По правобережью Дона» для «Правды».

Очерк пишется не просто от переполнявших душу огорчений. Это попытка отменить то, что нагрянуло на колхозников от власти. Для 26-летнего Шолохова этот очерк — итог общений с Горьким и влиятельным сотрудником «Правды» Карлом Радеком.

Для начала он сообщил в июне Горькому о своей стычке с этим самым Радеком, который облучает читателей оптимистичными утверждениями о замечательной колхозной жизни. Шолохову важно отстоять правду. Горяч

— пишет Горькому: «Я представлю доказательства — в публицистике!» Уточнил: «Сейчас езжу по Севкавказкраю (это результат спора с Радеком)». С Радеком нет никакого мира, как и ничего общего: «Радек обвинял меня в политической неграмотности, в незнании русского мужика и вообще деревни».

Ну и нрав у Шолохова. Схлестнулся с тем, кто нынче влиятелен в партийных верхах. Начинал Радек свою деятельность как представитель международного социал-демократического движения в Германии — готовил там революцию. Эмигрировал в СССР, где ему доверили пост заведующего отделом ЦК — стал одним из тех, кто формировал тактику и стратегию международного коммунистического движения. Но в 1927 году он был уличен в троцкизме, исключен из партии и отправлен в ссылку. Однако год назад, в 1930-м, покался: признал вину и отрекся от Троцкого. Окончательно «врагом народа» — расстрельным — станет через несколько лет.

Очерк Шолохова по всем пунктам — критический. Конечно, ни редакция, ни сам автор не могли себе позволить таких несдержанных обобщений, которые Шолохов допустил в письме Сталину, здесь они поубавлены и приглушены. И все-таки — обличения. У проницательного читателя могли возникнуть подозрения — уж не полемика ли это с вождем?

Вождь провозглашает: «Жить по-человечески». Творец же вносит в очерк протестующий монолог казака-колхозника: «Как казак — так либо бригадир, либо десятник. Они, кобели, воткнул за уши карандаши и ходят начальниками, а бабы и плугари, и погоньчи, и кашевары! Не желаем таких порядков! Советская власть не так диктует!»

Шолохов выстреливает одно обвинение за другим: «Неумение организовать труд по-настоящему... Какое уж там соревнование! Половина скотины лежит... Задание — и то не выполняем... Непредусмотрительность... Люди оглушенные и издерганные». Вот тебе и «жить по-человечески!». И еще, еще, еще. Вот реплика из сценки, когда колхозницы встречают заезжего партначальника: «У нас казаков нет! С нами спать некому, а ты приехал нас уговаривать сеять...» Это они говорят о том, что у них на хуторе мужиков почти не осталось после германской и Гражданской. Вот отрывок — ну, прямо для рассказов деда Щукаря: «Уполномоченный райкома из городских. Проезжает он поля, колхозники волочат. Он увидел, что бык на ходу мочится, и бежит по пахоте, шумит погоньчу: „Стой, такой-сякой вредитель! Арестую! Ты зачем быка гоняешь, ежели он мочится?“»

Для Шолохова этот очерк значим. Не случайно просит в письме

Левицкую: «Напишите мне про очерк, завтра Вы его в „Правде“ будете читать». Тревожится: как оценят его очерк, что скажут в Вёшках, как откликнутся в крайкоме партии, как прочтут в Кремле?..

День, когда он писал письмо Левицкой, был особым, 24 мая писателю исполнилось 26 лет.

Сталин... Он, разумеется, прочитал шолоховский очерк. Автора, понятное дело, оповещать об этом не стал. Оповестил других, сразу многих. Летом появилась его статья «О некоторых вопросах истории большевизма» — главным в ней было предупреждение: «Попытки некоторых „литераторов“ и „историков“ протащить в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать со стороны большевиков решительный отпор». Но в жизни поди пойми — где троцкизм, а где сталинские перегибы.

Шолохов... Он выразил свое отношение к политике в деревне не только в двух письмах, которые попали к вождю, но и в очерке. Взялся за новое письмо — выделю — Горькому: «Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции». Уточнил: «Прошлогодняя история с коллективизацией и перегибами в какой-то мере подтверждает это».

Каким образом в «Поднятой целине» описано раскулачивание — как происходило в реальности или в угоду Сталину?

Интересное получается чтение, если положить рядом с романом статьи и речи Ленина и Сталина.

Ленин в 1921-м на X съезде РКП(б): «Не надо закрывать глаза на то, что замена разверстки налогом означает, что кулачество из данного строя будет вырастать еще больше, чем до сих пор. Оно будет вырастать там, где оно раньше вырастать не могло». Тут же наиважнейшее: «Но не запретительными мерами нужно с этим бороться».

Сталин в 1929-м на пленуме ЦК: «Абсолютный рост капиталистических элементов все же происходит, и это дает им известную возможность накапливать силы для того, чтобы сопротивляться росту социализма». Еще, очень важное: «От политики ограничения мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса».

Шолохов — чьих же установок он придерживается: Ленина («не запретительными мерами») или Сталина (от «ограничения» к «ликвидации» и даже «к увольнению из жизни»)?

В задуманном романе «Поднятая целина» появится несколько глав, где даны сцены раскулачивания.

Глава VII. Давыдов и соратники принялись за ликвидацию кулака как класса. Разметнову выпадает семья Фрола Дамаскова. Председатель сельсовета объявляет им приговор: «Беднота постановила».

«— Таких законов нету! — резко крикнул Тимофей. — Вы грабировку устраиваете! Папаня, я зараз в РИК...»

И ведь прав Тимофей — нет таких законов. Так не опасен ли роман тем, что возбуждает желание искать защиту у закона или будит недоумение, а то и ненависть, как у Тимофея, что действуют не по закону? С этого начинается картина раскулачивания. Какими красками она завершена? Вызывающими брезгливость: «В горнице Андрей (Разметнов. — В. О.) увидел сидевшего на корточках Молчуна. На нем были новые, подшитые кожей Фроловы валенки. Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли...»

Правдолюб Шолохов... В единстве чувств создает — противопоставно — и такую картину в доме у раскулачиваемого: «Жененка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилиу отпихнули... Как же можно было не обмереть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивала сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбчонке; зимою же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить...

— Родимые! Родименькие!.. Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку... Сменяю... Мне, может, детишкам бы чего... Мишатке, Дунюшке... — исступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука...»

Глава VIII. Раскулачивание Титка. «Контра», как называет его Нагульнов. Шолохов не прокурор, он отстранился от соцреализмовского канона собственноручно выносить писательский приговор схватке Титка с Давыдовым, когда в кровь бьют председателя. К кому колыхнется симпатия читателя? Может, читатель все-таки разглядит, что удар Титка спровоцирован поначалу поведением Нагульнова, затем Давыдова?

Глава IX. Раскулачивание Гаева. Шолохов не щадит читательских чувств — у этого «вражины» едва не дюжина детей. Отказывается Разметнов идти в этот курень по заданию хуторской власти, не хочет быть катом — вот же какое слово нашел Шолохов: палач!

Растерялся Давыдов. А что Нагульнов? Писатель обрекает его

выкрикнуть — и это неизбежно для задуманного образа — страшные слова:

«— Гад! — выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. — Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу! — вдруг дико закричал Нагульников, и в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах рта вскипела пена».

Бешенство! Вот какое слово вырвалось у Шолохова — найди точнее для такого монолога!

Глава XIII. Разметнов говорит Нагульникову и Давыдову: «Нельзя же всякое дело на кулаков валить, не чудите, братцы!» Это еще один укор той политике, что идет от неправды и ведет к неправде.

Глава XX. Секретарь райкома все пытается воспитывать Давыдова: «Беда с тобой... Ведь я же русским языком говорил, предупреждал: „С этим не спеши, коль нет у нас прямых директив“. И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создав колхоза, начинать раскулачивание, ты бы лучше сплошную кончал» (речь о «сплошной коллективизации»).

Глава XXII. Руководитель районной бригады говорит своему собригаднику:

«— Шо це ты надив на себя поверх жакетки наган? Зараз же скынь!

— Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество... классовая борьба...

— Та шо ты мени кажешь? Кулачество, ну так шо, як кулачество. Ты приихав агитировать...»

Нет, никак не найти в романе примет того, что писатель задумывал его, чтобы поощрять курс Сталина на нещадное раскулачивание. Совесть большого художника не позволила подчиниться тогдашней обязанности писателя-партийца превращать свое перо в политический флюгер.

Вскоре даже вождю пришлось дать отбой заданию уничтожать кулаков и тех, кого выдавали за кулаков. В директиве за подписями Сталина и Молотова значилось: «В результате наших успехов в деревне наступил момент, когда мы не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и часть колхозников».

Роман описывает деревню с января 1930-го. Печататься он начал с января 1932 года в журнале «Новый мир». Отбой «массовым репрессиям» прозвучал в 1933-м. Думается, не без влияния романа. Критики в буржуазных газетах уловили антисталинский настрой Шолохова. А Сталин?

Шолохов рассказывал мне, что Сталин за две ночи одолел рукопись

«Поднятой целины». Залпом, выходит, читал. И неужто, когда читал, не припомнил свои беспощадные слова в наиважной для страны речи «О правом уклоне в ВКП(б)»: «...Принятие чрезвычайных мер против кулачества, что вызывает комические вопли у Бухарина и Рыкова. А что в этом плохого?»

В «Поднятой целине» появится дед Щукарь. Уж как привыкли почитать его за «комический образ». Но разве он пустобай?

Нелегко искать краски для такого персонажа. Как надо вводить в действо Щукаря — так, по словам писателя, истинные муки творчества. Попробуй-ка изобразить на полотне одновременно и смешное, и огорчительное или, как говорится, юмор и сатиру. Помнил из любимого сборника пословиц и поговорок Владимира Даля: «Иной смех плачем отзывается».

И все-таки ожил под его пером этот дед-крестьянин, приговоренный к пожизненному осознанию бедолажности своего бытия и вместе с тем желанию обрести хотя бы малое подобие счастья. И достоинства... Брехун? Никогда. Балагурство на пустой воде? Едва ли оно обнаруживается. Придуривание? Будет точнее сказать, что это маскировка под придуривание, когда речь идет об опасном.

Он пересмешник!

Разве не насмешничает — уязвляюще — над теми, кто рядом, и над тем, что вокруг?

Шолохов умело прячется за спиной Щукаря: что, мол, с хуторского шута-малоумки взять. И вот дед «по подсказке» автора осмелился толковать посулы счастливой колхозной жизни: «Все идет по-новому да все с какой-то непонятиной, с вывертами...» (Кн. 1, гл. VI). Или его едко-ухмылистые покушения на всеобщее начальство: «Дураки при Советской власти перевелись!.. Старые перевелись, а сколько новых народилось — не счесть! Их и при Советской власти не сеют, не жнут, а они сами, как жито-падалица, родятся... никакого удержу на этот урожай нету!» (Там же). Вот Щукарь и Шолохов — оба — к концу романа так осмелели, что крепенько поизмывались над самым святым: как в партию вступают. Щукарю в шутку советуют: «Ну а ты чего в партию не подаешь? Ты уже в активе состоишь — подавай! Дадут тебе должность, купишь кожаную портфелью, возьмешь ее под мышку и будешь ходить». Щукарь тогда Нагульнову говорит — серьезно: «Мне, брат, всю жизнь при жеребцах не крутиться...» Продолжает: «Сказано русским языком: хочу поступить в партию... Какая мне будет должность, ну и прочее...» Нагульнов: «Ты думаешь, что в партию ради должности вступают?» Щукарь: «У нас все партийные на

должностях» (Кн. 1, гл. XXXVII).

И в самом деле, рискованную должность придумал писатель Щукарю: независимый шут при власти. Шутам при дворе еще с Шекспировых времен многое было дозволено — в открытую, лишь бы с усмешкой.

Как Горький откликнулся

В июне 1931-го Шолохов снова взялся за письмо Горькому. Не сдержался и с щемящей от душевной боли откровенностью изложил: «Изболелся я за эти полтора года за свою работу и рад буду крайне всякому Вашему слову...»

Далее — о деле (а оно, напомним, заключалось в том, что еще в 1929 году была остановлена публикация третьей книги «Тихого Дона»): «Некоторые „ортодоксальные“ „водители“ РАППа, читавшие 6-ю ч., обвиняли меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию... Желание уничтожить не классы, а казачество...»

Уточняет: «Я же должен был, Алексей Максимович, показать отрицательные стороны политики рассказывания и ущемления казаков-середняков, т. к. не давши этого, нельзя вскрыть причин восстания. А так, ни с того ни с сего не только не восстанут, но и блоха не кусает».

Он понимает, почему уничтожается роман: «У некоторых братьев моих, читавших 6-ю часть и не знающих того, что описываемое мною — исторически правдиво, сложилось заведомое предубеждение...»

Возмущен цензурными придирками: «Они протестуют против „художественного вымысла“, некогда уже претворенного в жизнь... Непременным условием испытания мне ставят изъятие ряда мест, наиболее дорогих мне... Занятно то, что десять человек предлагают выбросить десять разных мест. И если всех слушать, то 3/4 нужно выбросить...» Привел Горькому пример: «У меня есть такая фраза: „Всадники (красноармейцы), безобразно подпрыгивая, затряслись на драгунских седлах“. Против этой фразы стоит черта, которая так и вопит: „Кто?! Красноармейцы безобразно подпрыгивали? Да разве можно так о красноармейцах?! Да ведь это же контрреволюция!..“»

В письме есть и суждения о Малкине: «В 6-й ч. я ввел „щелкоперов“ от совет. власти (парень из округа, приехавший забирать конфискованную одежду, отчасти обиженный белыми луганец, комиссар 9-й армии Малкин

— подлинно существовавший и проделывавший то, о чем я рассказал устами подводчика...). Эти самые „загибщики“ искажали идею советской власти».

Так быть или не быть гениальной эпопее?

Творец, измученный недоброжелательством, нуждается в скорой помощи и потому вновь берется за письмо Горькому, где болью пронизано каждое слово: «У меня убийственное настроение, не было более худшего настроения никогда. Я серьезно боюсь за свою дальнейшую литературную участь. Если за время опубликов. „Тих. Дона“ против меня сумели создать три крупных дела („старушка“, „кулацкий защитник“, Голоушев) и все время вокруг моего имени плелись грязные и гнусные слухи, то у меня возникает законное опасение: „а что же дальше?“ Если я и допишу „Тих. Дон“, то не при поддержке проклятых „братьев“ — писателей и литерат. общественности, а вопреки их стараниям всячески повредить мне... Ну, черт с ними!» Добавил с упрямством праведника: «А я все же таки допишу „Тихий Дон“! И допишу так, как я его задумал...»

Горький прочитал присланную рукопись и кинулся защищать автора.

Для начала напишет тому, кто напуган «Тихим Доном», — Фадееву: «Я, разумеется, за то, чтоб напечатать...» Только не вышло толку от этого обращения.

Тогда он обращается к самому Сталину. Горький стал осознавать, что сам он уже не в силах помогать тем, кто в опале, потому передает рукопись вождю. Вождь прочитал и дает согласие на встречу с Шолоховым. Он любит встречаться с писателями в присутствии Горького.

Июль: подмосковное Красково — дача Горького. Меньше месяца прошло, как Шолохов изливал душу мэтру. Совпадение: в июле же, но двумя годами раньше, как мы уже знаем, Сталин писал о «грубейших» ошибках «знаменитого» писателя. Письмо хранится в архиве. Вспомнит ли вождь о нем, когда усядется за стол против Шолохова? Трубкой попыхивает, улыбается, а взгляд-то какой! Через многие годы Шолохов припомнит: «Всегда несколько отстраненный...»

Встреча Шолохову запомнилась:

«Сидели за столом. Горький все больше молчал, курил да жег спички над пепельницей. Кучу целую за разговор нажег.

Сталин задал вопрос: „Почему вы так смягченно описываете генерала Корнилова? Надо его образ ужесточить“.

Я ответил: „Поступки Корнилова вывел без смягчения. Но действительно некоторые манеры и рассуждения изобразил в соответствии с пониманием облика этого воспитанного на офицерском кодексе чести и

храброго на германской войне человека, который субъективно любил Россию. Он даже из германского плена бежал“.

Сталин воскликнул: „Как это — честен?! Он же против народа пошел! Лес виселиц и моря крови!“

Должен сказать, что эта обнаженная правда убедила меня. Я потом отредактировал рукопись».

Шолохов взялся за очередную сигарету и продолжил:

«— Сталин новый вопрос задал: „Где взял факты о перегибах Донбюро РКП(б) и Реввоенсовета Южфронта по отношению к казаку-середняку?“»

Слушал я писателя и представлял, что после этого вопроса он не мог не насторожиться. Видимо, в тот миг и ухватил тигриный взгляд всевластного собеседника. Сталин — проницательный читатель. Не остыла его память на политику рассказывания в Гражданскую, то есть на истребление казаков-середняков под предлогом борьбы с богатеями и белоказачеством.

Что же ответил Шолохов? «Я ответил, что роман описывает произвол строго документально — по материалам архивов. Но историки, — сказал, — эти материалы обходят и гражданскую войну показывают не по правде жизни. Они скрывают произвол...»

Как же отважен этот 27-летний собеседник державного вождя. Он обвинил власть, а не народ, победителей, а не побежденных!

Шолохов продолжал:

«— В конце встречи Сталин произнес: „Некоторым кажется, что третий том романа доставит много удовольствия тем нашим врагам, белогвардейщине, которая эмигрировала“. И он спросил меня и Горького: „Что вы об этом скажете?“ Горький сказал: „Они даже самое хорошее, положительное могут извращать, чтобы повернуть против советской власти“. Я тоже ответил: „Для белогвардейцев хорошего в романе мало. Я ведь показываю полный их разгром на Дону и Кубани...“ Сталин тогда проговорил: „Да, согласен. Изображение хода событий в третьей книге „Тихого Дона“ работает на нас, на революцию“».

Закончена встреча — опустели стаканы с чаем... Вождь встает с улыбкой на прощание.

Радует Шолохов. Удовлетворен Горький. Победа!

Но — коварен Сталин. Он, как теперь знаем, дважды — и в 1929-м, и в 1931-м — обнаружил в «Тихом Доне» политические ошибки. Но разрешал печатать. Однако же не ставил точку в этой истории. Предпочел многоточие. Не разминировал мину, механизм которой приведет в действие

своим письмом 1929-го Ф. Кону с критикой романа. Не дано только знать, что неминуем взрыв. Когда? Этого, может быть, и сам Сталин пока еще не знал. Тати не жнут, а погоды ждут.

Самая первая непогода нагрянула уже в декабре 1931-го. Нашлись дисциплинированные партийцы-смельчаки, чтобы перечить самому Сталину. Знать, верили, что не осудит их за сверхбдительность. Шолохов отразил в письме Левицкой эту убийственную для романа сводку политической погоды: «Получил от Панферова письмо. 6 часть (исправ.) не удовлетворила некоторых членов редколлегии „Октября“, те решительно запротестовали против напечатания». Мало того — он добавил, что Панферов отправил рукопись в «культпроп ЦК». Подытожил так: «Час от часу не легче, и таким образом 3 года. Даже грустно становится...»

Дополнение. Сталин и писатели... О необычной манере Сталина читать художественную литературу Горький рассказывал Ромену Роллану, и тот внес эти откровения в свой московский дневник: «Среди много читающих руководителей он (Горький. — В. О.) называет, в частности, Рыкова и Сталина. Последний, читая книгу, обычно ищет в ней спорную тему. И потом говорит об этом в течение многих часов. У него поразительная память. Прочитав страницу, он повторяет ее наизусть почти без ошибок. Иногда он заранее предупреждает Горького о своем визите и спрашивает у него: „Можно пригласить такого-то и такого-то?“»

Сталин как раз в это время, в 1929-м, поддержал избиение рапповцами Андрея Платонова. И «спорную тему» в его творчестве преобразовал в политическую ошибку. Фадеев напечатал в своем «Октябре» платоновский рассказ «Усомнившийся Макар» о коллективизации. «Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы дерьмо. Мы умеем предписывать, а не умеем исполнять... Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновными бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь повесят».

Через два года Платонова за повесть «Впрок» критиковали еще более сурово.

Каково было узнавать об этом Шолохову? Ведь с Платоновым у них складывались приятельские отношения. Их объединяло то, что оба были обеспокоены перегибами коллективизации.

Уха для мэтра

Шолохов в 1931-м... Писатель споро ведет к концу свой роман о раскулачивании и коллективизации. Придумал ему название — жесткое и правдивое: «С потом и кровью». Никто еще так не характеризовал это генеральное деяние партии. Даже верный друг писателя, главный в Вёшенском районе партиец, Петр Луговой отказался поддержать замысел. Написал в воспоминаниях: «Придя как-то в райком, Шолохов сообщил, что написал несколько глав новой книги о колхозной жизни и отослал их в Москву печатать. Название этой книги, сказал он, будет „С потом и кровью“. Я несколько удивился такому названию и сказал об этом. Он смущенно улыбнулся, но не изменил своего намерения».

В марте секретариат РАППа утверждает Шолохова членом редколлегии «Октября». Знать, уже понимали, как велик его литературный авторитет. Интересно, что до этого за все годы членства в РАППе он не имел никаких, как тогда выражались, «общественных нагрузок». В его анкете значилось: «Какую общественную работу (кроме рапповской) несете? — Никакой»; «Какую работу выполняете в организациях ВАППа? — Никакой». Как проявит себя в звании члена редколлегии? Шолохов отчитается об этой своей деятельности в 1938 году — отчет поразительный, но о нем прочитаем в соответствующем месте.

До Вёшек донеслась весть, что кинофильм «Тихий Дон» не пустили к зрителю. Начальственный приговор никакому обжалованию не подлежал, ибо был не творческим, а политическим: «...казачий адюльтер... любованье бытом казачества». И еще, еще в таком же духе. Внеклассовость и отсутствие поддержки революции — вот в чем криминал! Его создателей — режиссеров — исключили из профессионального киносоюза. Шолохова замарали нехорошим слухом, будто он явился пособником расправы. Писатель оскорбился подлой напраслиной, о чем написал Эмме Цесарской: «Что касается „Тихого Дона“ и того, что я будто бы способствовал или радовался его запрещению, — чушь! До таких вершин „дипломатии“ я еще не дошел. Разумеется, приеду и, разумеется, буду делать все от меня зависящее и возможное, чтобы „Дон“ пошел по экрану. Но, знаешь ли, мне не верится во все эти слухи, по-моему, это очередная инсинуация московских сукиных сынов и дочерей. Ну, да черт с ними!»

...Все-таки уговорил Серафимовича приехать погостить. Тот пожаловал с сыном.

Хозяева все внимание дорогим гостевальщикам. Даже такое устроили

— двинулись верст на десять от Вёшенской на лодке по дивному Дону на рыбалку.

Отменна шолоховская уха — стерлядка! — с притягивающим пряным дымком от вечернего кострища... И разговоры, разговоры. Стерпелись даже с донским комарьем едва ли не стрекозиных размеров (Шолохов этих остервенело вызванивающих и лютых летунов как-то при мне назвал двухтурбинными).

Сын Серафимовича внес в дневник: «Чувствовалось, что Шолохов был рад этому посещению. Ему многое хотелось рассказать отцу, чем не с кем было поделиться в станице... Отец возвращался от Шолохова бодрым и преисполненным сил».

Для каждого это свидание отозвалось по-своему. Серафимович наслушался рассказов Шолохова про «Поднятую целину» и сам стал подумывать о романе с этой же темой. Но — старость, старость — сил достало только на очерк «По донским степям». Шолохов же не только получил поддержку идее своего нового романа, но и просто по-человечески был рад общению с издавна и навсегда милым ему стариком. Надо же — через год в письме Серафимовичу ожили воспоминания: «Недавно узнал, что тот самый белоусый казачек с х. Ольшанский, который в Кукуе ловил с нами стерлядь, изумительный песенник. Я слышал его „дишкант“... Непревзойденно! Очень жалею, что поздно узнал о его таланте, надо бы Вам тогда послушать!»

Серафимович много чего наслушался от земляков Шолохова о Шолохове. Одна из историй легла в дневник:

«Едет Шолохов верхом домой... Под станицей между садами вьется узкая, сдавленная высокими плетнями дорога. Из-за поворота вылетает на большом ходу машина. Лошадь — на дыбы, еще секунда, она валится вместе с седоком на груды щебня у плетня. Машину затормозили, выскочили седоки, охают, извиняются, просят сесть в машину, довезут домой, а вскочившую лошадь доведут.

— Ладно... ничего... — говорит Шолохов и садится в седло: унизительно верховому ехать в машине, а лошадь вести в поводу.

Въезжает в станицу, глядь, а морда у лошади в крови. Э-э, стой! разве можно в таком виде явиться в станицу? Поворачивает к Дону, слезает на берегу, заводит лошадь в воду и начинает тщательно отмывать лошадиную морду от крови. Потом отмыл пузо и ноги от грязи, — заляпалась...

Вымыл с величайшим трудом, усилиями и болью: нога как свинцовая, взобрался в седло и въехал в станицу на вымытой, чистой лошади.

Дома уже не мог сам слезть — сняли. Внесли в комнату. Сапог нечего

было и думать снять — нога раздулась, как бревно, пришлось сапог разрезать».

В сентябре состоялся расширенный пленум РАППа. Фадеев выступил с огромным докладом «За большую литературу пролетариата». В нем с похвалами перечислялись Панферов, Исбах, Киршон, Безыменский, Либединский, Ильенков... Шолохова — не было.

Шолохов догадывался, что он — инакомыслящий! — выпал из доклада не по внезапному провалу памяти. Как раз в эти дни Фадеев напишет секретарю Горького, Крючкову: «Слышно ли что-нибудь о Мише Шолохове?»

Фадееву могли доложить, что, в отличие от него, белая эмиграция щедра на высокие оценки «Тихого Дона». Пражская газета «Вольное казачество» отозвалась внушительной статьей с предлинным заголовком «„Большая человеческая правда“ и „казачий национализм“ (по роману М. Шолохова „Тихий Дон“»)». В ней — безоговорочное признание художественных достоинств романа: «Необыкновенная наблюдательность и знание автором казачьей жизни; удивительная правдивость и точность схваченных картинок из казачьего быта; родственная казачьему разговору образность слога — все это так красочно, чутко и умело...»

В ноябре из Вёшек редактору «Нового мира» пришло письмо с заявкой на роман «С потом и кровью»: «Уважаемый т. Полонский! Сообщите, пожалуйста, не будет ли в „Нов. мире“ места для моего романа. Размер — 23–25 п. л. Написано 16. Окончу, приблизительно, в апреле с. г. Первую часть (5 п. л.) могу выслать к 1 декабря. Мне бы очень хотелось начать печатание с января, разумеется, если будете печатать и если не поздно. Тема романа — коллективизация в одном из северных районов Северного Кавказа (1930–1931 гг.). Адрес мой — ст. Вёшенская Севкавказкрая. С приветом М. Шолохов».

Пишет явно приободренный рождением новых веяний на Донщине. Узнал, что в одном колхозе появились тракторы. И сразу на коня, в дорогу — самому посмотреть. Сутки провел с трактористами: днем в грохочущем тракторе — ночью у тихого костра...

В декабре отправил сразу два письма Левицкой. В первом взялся как бы подводить итоги года. Счел нужным сообщить: «Что касается „Т. Д.“, то его я за малостью не кончил и... глубоко несчастен». Сообщал и о своей творческой жизни: «Пишу новый роман о том, как вёшенские, к примеру, казаки входили в сплошную коллективизацию...» Здесь же дерзко обыграл название статьи Сталина «Головокружение от успехов»: «Вы и скажете, что я „заголовокружился“ от „успехов“ и потерял самокритическое чутье. Но в

декабре привезу я этот самый роман (1/2 его), и вы... будете первыми читателями и сможете тогда сказать, ошибся я в самооценке или нет».

Не скрыл в письме и неприятностей — кто бы мог подумать, что есть у известного писателя и такие: «ГИХЛ не платит мне денег, влез я в долги, заимодавцы мои (в том числе фининспектор) меня люто терзают. А я настолько беден, что не имею денег даже на поездку в Москву... Ну, словом — кругом шестнадцать. Все же я стоически переношу этот удар, нанесенный мне осколками мирового кризиса».

Вдруг — снова будто бы шутливо — о душевных переживаниях иного толка: о неугомонных сплетнях. Выразился так: «почетное звание плагиатора».

Второе шолоховское письмо интересно просьбой прислать ему две новинки: «Саранчуки» Леонида Леонова и «Разбег» старого своего знакомого, бывшего руководителя краевой писательской организации, а ныне москвича, Владимира Ставского. Оба эти сочинения рассказывали о коллективизации, так что не случаен к ним интерес писателя — хотя бы для сопоставления взглядов.

В этом, 1931 году была закончена первая книга романа о раскулачивании и коллективизации, печатать ее собирались в журнале «Октябрь» и газете «Правда». Но с чего бы это в письме Шолохова редактору «Октября» появились настороженные слова: «Если будете печатать...»?

«Миша, а ты все же контрик. Твой „Тихий Дон“ ближе белым, чем нам», — в том же году сказал ему Генрих Ягода.

Когда я слышал эти слова грозного руководителя ОГПУ в пересказе Шолохова, то не удержался — вздрогнул, хотя писатель произносил их спокойно. Ягода — отдадим ему должное — вполне профессионально уловил в романе крамолу. И забыл ли главный чекист о связи писателя с «врагом народа» Харлампием Ермаковым, расстрелянным по личному приказу начальника ОГПУ, а в «Деле» компромат — письмо Шолохова с просьбой встретиться?

***Дополнение.** Писательская память Шолохова и спустя десятилетия прочно удерживала произошедшее в 1931-м.*

Колхозник в упомянутом шолоховском очерке «По правобережью Дона» протестующе воскликнул: «Советская власть не так диктует!..» И во второй книге «Поднятой целины», завершенной в 1960-м, есть схожие слова: «А Советская власть так диктует? Она диктует, что не должно быть разных различиев между трудящим народом, а вы искажаете

законы, норовите в свою шкуру их поворотить...»

В беседе Шолохова со Сталиным, как помним, возник спор о Корнилове. И в послевоенном романе «Они сражались за родину» это имя появится в монологе Александра Михайловича, кадрового командира: «Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове: „Он был субъективно честный человек“. У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: „Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?“ Вот тут — весь Сталин, истина — в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним».

Вдруг ожила — и когда, в 1993 году! — критика Шолохова за образ Мелехова. Ему, как прежде от рапповцев, досталось за то, что создал драматическую фигуру, а не агитобраз, простой, как плакат, в статье А. и С. Макаровых (Новый мир. № 11): «Вместо сознательного и бесстрашного защитника родины (в мировой войне. — В. О.) — вояка-садист (в Гражданскую. — В. О.), которому будто бы все равно, когда, где и кого рубить... Метания и поведение Григория Мелехова, потеря им твердости духа и нравственной опоры... В его сознании мы встречаем набор идеологических и пропагандистских большевистских штампов... Шолоховская характеристика: „от белых отбился, к красным не пристал“ вполне точно передает важнейшую черту, привнесенную автором в его характер: аморфность». О муках душевных Григория в статье нет ни слова.

Не хотят понять критики, что образ Мелехова потому и значителен, что он искренен в своих блужданиях, и это явление трагизма, порожденного революцией и Гражданской войной.

Напомню: Мелехова не приняли своим классовым нутром ни рапповцы, ни Ягода. И в будущие времена партагитпроп не примет правдоискателя за положительного героя.

Глава пятая

1932: «НЕ РОВЕН ЧАС — ПРИШЬЮТ МНЕ...»

В первую неделю января советские люди начали читать новый роман Шолохова. «Правда» напечатала отрывок.

Был у него газетный заголовок, простой, но загадочный: «Путь туда — единственный...». Редакция в сноске поясняла: «Отрывок из нового романа. Действие происходит в одной из станиц Северного Кавказа в начале коллективизации».

Как не хотели поднимать «Поднятую целину»

Подписчики газеты знакомились с романом со сцены собрания, которое оповещало о создании колхоза. Автор был поименован скромно: «М. Шолохов» — без полного имени.

...Шолохов в 1932 году. Ему ли не осознавать с каждым новым годом, что писателю с независимыми взглядами и жить не просто, и творить все сложнее. Он уже начинал убеждаться во все более крепнущей силе власти, полагающей, что деятели литературы и искусства обязаны подчиняться любым ее повелениям. Даже конъюнктурным. Ведь ты обязан верить в высокие идеалы коммунизма, тем более если вступил в ряды правящей партии, а Шолохов в этом году стал членом ВКП(б). Может ли быть найден компромисс, если люди искусства стремятся к свободе творчества, а правители государства устремлены внедрять общественное единодушие?

Итак, роман Шолохова появился на свет, но при хирургических вмешательствах.

Все в жизни Шолохова начиналось сызнова. Роман о революции и Гражданской войне корежат, новый роман о коллективизации тоже корежат. Журнал «Октябрь», получив рукопись «Поднятой целины», насторожился и потребовал исправлений. Отказал. Подумал, что лучше передать роман в редакцию «Нового мира», но и здесь препятствия.

Позже рассказывал: «Потребовали от меня изъятия глав о раскулачивании. Все мои доводы решительно отклонялись».

Кто же помог усовестить «решительных»?

«— Пришлось обратиться за помощью к Сталину, — вспоминал в разговоре со мной Шолохов. — Прочитав в рукописи „Поднятую целину“,

Сталин сказал: „Что там у нас за путаники сидят?.. Роман надо печатать. — И добавил то, что врезалось в шолоховскую память на всю жизнь: — Мы не побоялись кулаков раскулачивать — чего же теперь бояться писать об этом“».

Откровенен вождь! Но разве одновременно это не является высокой оценкой смелости романиста? Шолохов и в этом году не уходит из сталинского внимания. Горький 22 января вдруг обратился с объемистым посланием в Кремль, где заметил: «Слышу много отрадного о произведениях...» Невелик приведенный им список писателей, а первый в нем — Шолохов.

После вмешательства вождя редколлегия журнала «Новый мир» — редактор Гронский и два писателя Малышкин и Соловьев — заметно смягчилась, и дело пошло быстрее, дошло и до типографии. Взялись наборщики за дело. Потом пошел мерный шлеп от печатного стана... Наконец вышел первый номер журнала — с первыми главами романа. С названием «Поднятая целина».

Почему же было отвергнуто «С потом и кровью»? Это редакция приняла к исполнению речь Сталина на конференции аграрников-марксистов. В ней он отметил «громадное значение обработки целины». Речь «Правда» напечатала ввиду важности для страны. «С потом и кровью»? Мрачное — для драмы! — название. Решили подладиться под бодрые установки вождя. Разве в его статье «Головокружение от успехов» не сказано: «Успехи вселяют дух бодрости и веры в наши силы. Они вооружают...»

Не принял автор нового поименования. Сообщил Левицкой в письме: «На название до сих пор смотрю враждебно. Ну что за ужасное название! Ажник самого иногда мутит. Досадно».

Писателю, разумеется, интересно, с какими соседями поселили его в этом журнале. Федор Гладков — роман «Энергия», ярый недруг из былой «Кузницы». Соколов-Микитов — записки «Путешествие на „Малыгине“». Бруно Ясенский, прозаик из польских эмигрантов-революционеров, но здесь появился вдруг с поэмой. Поэты Владимир Луговской и Николай Ушаков. Статья знаменитого на весь мир француза Ромена Роллана... Время дышит всеми порами журнала. Даже на последней стороне обложки призывная реклама: «Долг каждого трудящегося Страны Советов принять активное участие в реализации 6-й Всесоюзной лотереи ОСОАВИАХИМа. — Дадим 50 000 000 рублей на оборону СССР!»

Каково Шолохову — едино сердце, а биение-пульс сразу от двух романов: возобновляется публикация третьей книги «Тихого Дона» и

начинается печатание первой книги «Поднятой целины». Нелегко! Весной прорвалось в письме Левицкой признание: «Заработался я... и еле по свету хожу... Вокруг меня одни и те же... По „Тихому Дону“ вперемежку из этой раззлосчастной „Целины“...» Казалось бы, набивается на сочувствие, но далее сообщает: «Нет, ей-богу, отрадно!»

Публикующийся из номера в номер новый роман Шолохова удивлял тех, кто начинал привыкать, что советские писатели могут откликнуться на жизнь в стране только в рамках жестких политических схем. Слово Шолохова-художника убеждало, что его роман подсказан жизнью. Автор знал и Давыдова, и секретаря райкома, и доверчивого Майданникова, и Нагульнова, возвращенного идеями Троцкого, и страдальцев раскулачивания, и врагов новой жизни, и Щукаря, приговоренного горькой судьбой к лукавству и шуточкам-издевочкам — вдруг жить слаще станет, и даже автора статьи «Головокружение...». И каждому дал право высказаться. Не явил себя цензором. Запечатлевал раскулачивание и коллективизацию со всеми ее тогдашними бедами и победами, при этом мечтал, предупреждал, гневался, любил, воспитывал, смирялся, восставал, сдерживал себя, снова поднимался, воссоединялся с общественным мнением, противился ему. Разве не так?

Наверное, поэтому нельзя равнодушно читать, если сердце не заржавело, о том, как злодеянно раскулачивали, но при этом возникает и радость, что досталось кое-что из кулацкого добра обездоленной жененке Демки Ушакова... И разве не умиляешься стараниям Давыдова на пахоте в самозадании на «десятину с четвертью», но одновременно и понимаешь, что его донская жизнь шла почти что сплошняком под сталинскую диктовку... Сочувствуешь революционным порывам Нагульнова и огорчаешься, когда его исключают из партии... И хочется, чтобы не очень-то усердствовали при подавлении бунта у хлебного амбара, и обидно, что колхоз после статьи Сталина стал разбегаться... И жаль простреленного в спину Дымка, жаль и мечтательного — о светлом будущем — Майданникова. И над Щукарем не хочется надсмехаться.

...Кто бы ни приезжал в Вёшки, сразу понимал — писатель доступен каждому станичнику и хуторянину. Сколько времени уходило вроде бы понапрасну, а может, напротив — обогащало?

Шолохов рассказывал, как заявился к нему однажды рано утром казачок с исцарапанной физиономией:

«— Михаил Александрович, опохмелиться-то найдется, а?

— Что случилось-то?»

И пошел монолог, ну, чуток огранить да прямо в книгу:

«— Как же, Михаил Александрович, дорогой ты мой, казачью честь опозорили, так разве мог я стерпеть?! Повел я вчера на базар телка. Продал, конечно. Магарыч, как заведено, поставили. Потом еще приложился... Домой пришел затемно и сразу на печь полез. Утром слышу, пристаёт моя благоверная с вопросом: „Иде деньги, спрашиваю?!“ — „Иде, иде, — рассердился я. — Может, у меня их нету!“ — „Это как же так — нету?“ Чую, добру не быть. Открываю один глаз, наблюдаю: моя благоверная воинственно наступает на меня с кочергой на изготовку: „Иде деньги, кобель?“ — и сопровождает свой бабский вопрос кочергой по голове. Верите? Вот полюбуйте — весь фасон на лице... Вот я и спрашиваю: что они, бабы, понимают в таком деле, как честь казака?»

***Дополнение.** «Поднятая целина» — еще одна пока неразгаданная загадка отношения власти к Шолохову. Казалось бы, еретический роман, вызвавший партцензурные придирки, однако же он получает одобрение Сталина и даже обретает спустя полтора-два года всеобщее официальное признание.*

То результат внедрения в литературную жизнь изоциренных изобретений партагитпропа. Он дал установку толкователям романа сменить оценки с критических на хвалебные и тем самым снабдить читателя иными ориентирами. К примеру, отныне противопоставление установок Ленина установкам Сталина в романе приказано было воспринимать не более чем некую вольность Давыдова. С одной литературоведческой книги того времени и повелось: «А когда на собрании хуторского актива он (Давыдов. — В. О.) касается указаний Ленина и Сталина о социалистическом переустройстве, то „цитирует их по-своему“». Какова техника безопасности! Потом из-под пера литературоведа вышло утверждение, что секретарь райкома обличен в «путаной политике», а Давыдов расхвален за «живое дело и четкую реализацию указаний товарища Сталина».

О кремлевском «ареопаге» из Вёшек

Сдержит или не сдержит вождь слово, что «Тихий Дон» будут продолжать печатать? Он подал руку, да подставил ножку — благословил «Тихий Дон», но не приказал ускорить напечатание; благословил «Поднятую целину», но не положил конец подозрительному отношению.

Каково писателю! Обиды изливал только близким.

«Свиреп я, как никогда! С 5 № „Октября“ я сызнава и по собственному почину прекращаю печатание „Тих. Дона“. Зарезали они меня...» — так писал Левицкой в апреле этого года. Это он о том, что ретивые октябристы с зацензурированными перьями наперевес нещадно покорежили несколько глав. Сократили, к примеру, сцены расстрела казаков и похорон Петра Мелехова.

«В январе наладил печатание 3 кн. „Тихого Дона“, но это оказалось не особенно прочным, печатать с мая не буду (причины изложу Вам при встрече). Все эти дела (а тут еще возня с новой вещью)...» — это он Серафимовичу о судьбе сразу двух романов в письме, тоже апрельском.

Еще опасливое: «Боюсь, как бы меня и дальше с „Целиной“ не подрезали».

И даже такая обида на «Октябрь» и «Новый мир» — на письма не отвечают и гонорары не пересылают.

Тут еще «Правда» добавляет горечи. Все предвесенние дни — в марте — громит Дон, обвиняя местную власть во всех грехах: «Бег на месте... оппортунизм... очковтирательство... комчванство...» Знай, страна, кто виновник хозяйственных провалов в одной из главных житниц!

Шолохов вмешался, чувствуя несправедливость. Он-то прекрасно знал, что такой критикой делу не помочь. Снова поездил по станицам и хуторам — и не только своего района: что ни колхозная семья — так недоедание. Даже Фадееву еще в январе отписал: «Плохо у нас, Саша, с хлебом. Во всех северных районах очень туго — небывало туго!»

Какое писательское самоотвержение — готов всего себя отдать в эти месяцы заступничеству за Дон. Обращается в «Правду»: примите статью.

22 марта 1932 года на второй странице этой газеты появляется статья под заголовком «Преступная бесхозяйственность (от нашего специального корреспондента)». Подпись: «М. Шолохов. Ст. Вёшенская. Северокавказский край».

«Более гнусного отношения к нуждам дела трудно представить! — пишет он, полный гнева из-за издевательств над народом. — Колхозная общественность возмущена творящимися безобразиями. Необходимо найти прямых и косвенных виновников...»

Виновников он знает: «Необходимо вмешательство наркомата, который до сих пор ничего не сделал для ликвидации этих безобразий». Назвал также «Колхозцентр», «Союзпродкорм», «Скотоводтрест».

В эти дни Сталин тоже имел дело с печатью. В газете была опубликована его беседа с гостем из Германии писателем Эмилем Людвигом, в которой рассказывал стране и миру о том, как под его,

Сталина, руководством действует «ареопаг»: «В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии. Если бы этого не было, мы имели бы в своей работе серьезные ошибки».

Ареопаг! Вождь — об ареопаге, а Шолохов лупцует вовсю за «серьезные ошибки» прежде всего как раз Центр. Отмечу: после этой своей статьи он перестал появляться в «Правде» в качестве «специального корреспондента». Надолго — аж до начала войны.

Номер, кстати, заметный: Шолохов на второй странице, на третьей — Горький на всю полосу со знаменитой статьей «С кем вы, „мастера культуры“?».

Шолоховская публикация никого в верхах не всколыхнула. Выходит, что зря он бился, как засетившаяся рыба! Потому через месяц, 20 апреля, написал Сталину, хотя и помнил: в прошлые разы такие обращения оставались без ответа. Но не мог не бороться за правду. Характер!

Начал жестко: «Тов. Сталин! Постановление ЦК „О принудительном обобществлении скота“ находится в прямом противоречии с планом мясозаготовок на 1932 г.». Речь о том, что ЦК затеял обобществить весь — 100 процентов — рабочий скот и почти всех овец и свиней.

Продолжил вбивать гвозди обличений:

«...План по крупному скоту надо будет выполнять целиком за счет стельных или отелившихся коров.

...С первых же дней по всем колхозам колхозники стали оказывать решительное сопротивление: коров начали запирают в сараи, постоянно держать под замком, а покупающих встречать с колючими проволоками. Продавать последнюю корову (во всем районе на 13 629 хозяйств на 1 февраля было только 18 двухкоровных хозяйств) никто не изъявлял желания, тогда на собраниях сельхозкомиссии стали просто обязывать того или иного колхозника сдать корову. Колхозники отказались от добровольной сдачи, тогда соответственно перестроились и сельсоветские работники: покупка коровы обычно производилась таким порядком: к колхознику приходило человек 7–8–12 „покупателей“, хозяина и хозяйку связывали или держали за руки, тем временем остальные из „покупателей“ сбивали замки и на рысях выводили корову. По хуторам происходила форменная война — сельисполнителей и других, приходивших за коровами, били чем попало, били преимущественно бабы и детишки (подростки).

...Когда до района дошло постановление ЦК от 26 марта, положение усложнилось.

...Противоречие между постановлением ЦК и мясозаготовительным планом столь очевидно, что районная парторганизация чувствует себя

вовсе неуверенно. И если Вёшенский райком ВКП(б) и молчит, то, по моему, только потому, что в прошлом году, когда крайком предложил сдать на мясо 3 тыс. рабочих быков, а райком вздумал ходатайствовать о снижении, то получил от крайкома выговор».

И на этот раз не отвечал Сталин на послание Шолохова.

Апрель. В «Правде» в конце месяца, среди пестрой мешанины рекламы на последней странице, дано броское объявление: «Дешевая библиотека Госиздата». Сначала сообщается о том, что выйдут «Разгром» Фадеева, «Мои университеты» Горького, «Барсуки» Леонова, отмечены «Бруски» Панферова, но и «Тихий Дон» назван: «Печатаются и выйдут в апреле-июне ч. 1, 60 коп., в июле — декабре ч. II». Пospешила реклама. Напомню: как раз в апреле Шолохов жаловался Левицкой на «свирепство» и «возню» прорапповской редакции «Октября».

В одном из шолоховских писем Фадееву — он по-прежнему один из главных чинов в РАППе и руководит «Октябрем» — тревога: «Отпиши, что ты сделал со вторым куском „Целины“ и как договорился насчет „Тихого Дона“». И в весеннем письме Левицкой чувствуется неутоленная печаль, прикрытая юмором, что не дают целиком отдаться литературе: «В библиотеке тихо, хорошо. Я бы век сидел, не вставая с того кожаного кресла, которое стоит около стола и в которое с удовольствием проваливаешься, когда садишься; век сидел бы, хорошие книжки читал и милостиво писал...»

Блуканья Шолохова

Сталин задумал скрепить писателей и партию более прочными узами. Для этого решил воссоединить многие тогда писательские союзы и союзики в один.

Особо досаждал РАПП. Криклив и суетлив в оценках литературной политики — подменяет ЦК, тщится быть и слыть святее партийного ареопага.

Перестройку Сталин начал с того, что дал указание сформировать организационный комитет. Вскоре на его стол лег список членов этого оргкомитета. Сталин вчитался, увидел: «Шолохов». И вычеркнул! Узнать бы — почему? Взамен вписал: «Березовский». Тот самый Феокист Березовский — старый большевик и автор двух-трех слабеньких сочинений. Зато известен своей активностью — демагогической — в защите партийных принципов. Знал ли всезнающий вождь, что и

Березовский тоже руку приложил к зарождению клеветы о плагиате Шолохова?

Газета «Правда» от 24 апреля 1932 года. Шолохов в своих Вёшках читает постановление ЦК: «Рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества...»

Шолохову бы возликовать, да выиграло ретивое, запомнил даже неисчислимую череду злокозней против его сочинений. Подписал спустя полторы недели письмо с протестом против прикрытия РАППа. И с кем же на одном листе ставит подпись — с начальниками запрещенной ассоциации: Фадеевым, Авербахом, между прочим, родственником почитаемого тогда Якова Свердлова и пугающего всех Ягоды. Годы спустя сподвижник Фадеева по руководству Союзом писателей СССР Владимир Ставский, узнав про арест Авербаха при преемнике Ягоды — Ежове, не промедлил сообщить Сталину: «Авербах по существу заставил группу писателей написать в ЦК ВКП(б) письмо о несогласии с решением о ликвидации РАПП». Перечислил состав этой группы. И Шолохова не забыл.

ЦК встревожился новоявленной оппозицией. Без промедлений была создана комиссия. Не только писатели, но и партийцы-аппаратчики изумились — комиссию возглавил сам Сталин. Вторым в списке шел Лазарь Каганович, человек с нижайшим образованием, но с высокой степенью угодничества перед вождем, член Политбюро, пробивной деятель при любом поручении. Комиссии был дан приказ: «Рассмотреть вопрос, связанный с заявлением, и принять решение от имени Политбюро».

Шолохов быстро одумался. Через день попросил отозвать свою подпись. И остальные обратились с тем же.

В ЦК облегченно вздохнули. Политбюро даже приняло постановление: «Ввиду того, что Фадеев, Киршон, Авербах, Шолохов, Макарьев взяли свои заявления обратно и признали свою ошибку, считать вопрос исчерпанным». Шолохову оставалось только гадать: все ли были искренни в таком отречении от РАППа — Авербах, к примеру.

Итак, укротители добились единодушия в компании рапповцев, но ведь их осталось меньшинство в писательском сообществе. Узнал ли позже Шолохов, какое мнение о решении ЦК сложилось у тонкого и на писательские краски, и на размышления о писательской жизни Михаила Пришвина (он недавно прочитал несколько пришвинских вещей и влюбился в них)? Так, Пришвин записал тогда в дневнике: «Освобождение

писателей от РАППа похоже на освобождение крестьян от крепостной зависимости, и тоже без земли; свобода признана, а пахать негде и ничего не напишешь при этой свободе...»

Шолохов тоже начинал раздумывать о новой несвободной свободе. ЦК дал, к примеру, установку, как писать о Вёшенском восстании — «Правда» напечатала «План издания „Истории гражданской войны“». Директива на всю страну. Газета пришла в Вёшки с этим «планом» в день рождения писателя. Горек такой подарок. Восстание в нем названо «казачьей Вандеей», то есть сравнивается с роялистскими мятежами во время Французской революции. Коварное поименование. Отныне и для историков, и для романистов, и для ведомства Ягоды узаконено — те, кто воевал против советской власти на Дону, должны именоваться только врагами. «План» дышит ненавистью к казачеству, а о том, что спровоцировало восстание — рассказывание! — ни одной строкой.

Возможно, писателю припомнилось, как Горький просил Сталина привлечь его, Шолохова, к работе над «Историей».

На «Тихом Доне», если подчиняться директиве, можно ставить крест. Как же писать очередные главы? Шолохов не подчинился.

В мае произошло три особых события, связанных с именем Шолохова. Два в Москве, одно в Париже.

Редакционная коллегия «Правды» постановила: «Зачислить т. Шолохова постоянным сотрудником „Правды“, одобрив его разъезды по Северному Кавказу». Увы, журналистская любовь не вечна. «Постоянство», на волнах политконъюнктуры, окажется делом весьма непостоянным: здесь вплоть до войны не печаталось ничего серьезного, что могло бы появиться из-под пера «постоянного сотрудника».

Оргкомитет по созданию Союза советских писателей провел первое заседание. При отсутствии Шолохова. Но все-таки без Шолохова нельзя. В ЦК идет просьба утвердить состав редколлегии «Октября». Вёшенец в списке. Вместе с ним — словно издевка — Панферов! Пост главного редактора представители литобщественности решили Панферову больше не доверять — баста, наредактировался.

Минул месяц. ЦК рассмотрел обращение оргкомитета. Шолохов утвержден. Но по Панферову вердикт от партии «поперечный» — быть ему по-прежнему главным редактором.

Кто бы смог заглянуть в совсем недалекое будущее — Шолохов и Панферов станут фигурами окончательно противопоставными.

И третье событие — парижское — вписалось в весеннюю хронику жизни вёшенца. Он был вызван в Ростов и тут же «повержен». Поделится с

одним надежным человеком: «В крайкоме мне сказал один товарищ, что в „Возрождении“ (монархическое эмигрантское издание) была напечатана рецензия на первую книжку „Нового мира“, в которой ругают гладковскую „Энергию“ и... хвалят „Поднятую целину“. Я удивлен, огорчен и даже не то что удивлен. Я повержен...»

Как же враг может нахваливать советского писателя?! По бытующим тогда партийным понятиям настоящий враг может только ругать и злобствовать.

Приглашение Шолохова к бдительным партийцам произошло за два дня до его дня рождения. Такое понаарассказали, что впору было отказаться от мысли о застолье. Договорились, что статью надо прочитать в полном виде. Стал искать газету «Возрождение». Нашел и прочитал. В обзоре «Литературная летопись», подписанном известными в русском зарубежье писателями Владиславом Ходасевичем и Ниной Берберовой, говорилось: «Шолохов принадлежит к тем сов. писателям, которые в противоположность Гладкову и многим другим пишут не благодаря сов. власти, а несмотря на нее. Тема „Поднятой целины“, будь она взята кем-нибудь иным в основу романа, могла бы показаться скучной; у Шолохова она облекается такой плотной плотью, что с первых строк мы уже подкуплены...»

Зря соавторы не использовали для уравнивания такое высказывание мятежных казаков в «Поднятой целине»: «Мы не супротив Советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков...»

Дополнение. В ноябре 1932 года появилась еще одна статья о «Поднятой целине» в газете «Возрождение». Автор ее — Николай Тимашев, социолог, доктор права, в то время помощник главного редактора, — вряд ли понимал, насколько она опасна для Шолохова. Тимашев писал: «При чтении книги невольно возникает вопрос: кто ее автор — подлинный приверженец Сталина и его режима или скрытый враг, только надевший личину друга? Звериный быт, живописуемый в романе, так ужасен, в такой мере возмущает элементарные человеческие чувства (характерно, что по ходу романа подобные ощущения испытывают и некоторые его герои, хотя и играющие роль „строителей новой жизни“), что само собой навязывается решение — автор в душе „белый“, сумевший гениально загримироваться „красным“».

Обобщил впечатления: «Ни в одной книге так, как в романе Шолохова, не раскрыт роковой, подлинно трагедийный характер „социалистического переустройства деревни“ ... И потому этот роман прочтет всякий не

только как занимательное чтение, но и как своего рода откровение, ответ на неразрешимые одним разумом вопросы, ставимые нам происходящим в России».

Политические игры

Осень подступала. «Ареопаг» не оставил без внимания публикацию в «Новом мире» романа о коллективизации.

Сталин в Сочи на отдыхе, откуда написал Кагановичу: «В „Новом мире“ печатается новый роман Шолохова „Поднятая целина“. Интересная штука! Видно, Шолохов изучил колхозное дело на Дону. У Шолохова, по моему, большое художественное дарование. Кроме того, он писатель глубоко добросовестный: пишет о вещах, хорошо известных ему».

Поразительно, что Сталин скрыл эту свою оценку от широкой общественности. И Каганович всю жизнь помалкивал. Почему же сталинский отклик на роман не попал в печать? Уверен, что это никакая не случайность!

В августе, когда жизнь вроде бы совсем успокоилась, Шолохов пишет Левицкой о работе над «Тихим Доном»: «Кончил 3 кн. Повезу ее сдавать». И дальше доброе извещение: «Меня очень прельщает мысль написать еще и 4 книгу (благо из нее у меня имеется много кусков, написанных разновременно, „под настроение“)...» Он переписывает для Левицкой даже «давным-давно выбранный эпиграф» для третьей книги. Скорбно читается:

Как ты, батюшка, славный Тихий Дон,
Ты, кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя летит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек.
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу...

Письмо закончил предупреждением (не забыл, видимо, как Левицкая в 1929 году лично ей адресованное письмо передала Сталину): «Только Вы, пожалуйста, не пишите в ЦК и не высказывайте на мой счет никаких опасений... А то не ровен час — пришьют мне „казачий уклон“».

В сентябре «Поднятая целина» появилась отдельной книгой. На

скромной мягкой обложке шло лесенкой: «Мих. Шолохов. Поднятая целина. Рисунки С. Герасимова». Да как быстро выпустило роман писательское издательство «Федерация»: рукопись сдана в производство 1 сентября, а в печать подписана через 15 дней.

Радек тут как тут. Ненавидит Шолохова, но, прознав про мнение Сталина о «Поднятой целине», состряпал быструю статью. Дал ей такое название, чтобы всяк в стране читающий, пишущий и печатающий узнал от главной партийной газеты идеологический ориентир: «„Поднятая целина“ — образец социалистического реализма».

Сталин в те дни и недели был озабочен предстоящим празднованием 40-летия литературной и революционной деятельности недавно вернувшегося из Италии в СССР Горького. Его по высочайшему повелению из всех сил пытаются сделать ручным — заливают потоками лести в статьях и речах, поименовывают в его честь клубы, театры, улицы, колхозы и даже Нижний Новгород.

Шолохов читает в газете телеграмму Сталина Горькому: «Желаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса».

На радость... на страх...

Кому как, а у Шолохова сполна и радостей, и страха. Известили ли Сталина, что враги-эмигранты хвалят «Поднятую целину»?

Вот радость — он восстановил изуродованный журналом текст «Тихого Дона», сообщает в издательство: «Все три книги претерпели некоторую авторскую переработку...» И сопроводил сообщение ультиматумом: «Никаких исправлений, выкидок и дополнений делать больше не буду... В 3 кн. есть ряд вставок. Все эти куски были выброшены редакцией „Октября“. Я их восстановил и буду настаивать на их сохранении...»

Издательство никаких возражений не высказало. Однако и здесь не обошлось без коварства. Шолохов запомнил его на всю жизнь: «В 1932 году при издании третьего тома „Тихого Дона“ отдельной книгой в ГИХЛе меня заверили, что роман будет издан полным текстом, а по выходе книги оказалось, что эпизод бегства Троцкого с митинга на станции Чертково был кем-то изъят...» Так и зиял роман белым пятном до восьмидесятых годов. Цензура эта лишена всякой, казалось бы, политической логики: в романе автор не нашел для Троцкого никаких добрых слов — рассказчик, и Сталин Троцкого люто ненавидит. Но у цензуры свои резоны.

Еще огорчения. В новом письме издателю ультиматум от автора: «Посылаю 3 книги „Тих. Дона“. Я против того, чтобы ГИХЛ издавал по

юбил. серии одну лишь первую книгу. Если издавать, то все три, а нет — так лучше не надо ни одной...» Юбилейная серия — это престижный набор книг к 15-й годовщине Октябрьской революции. Шолохов догадывался: издательству безопаснее — политически — издать только первую книгу.

Длинными, выходит, оказались руки у авторов «Плана издания „Истории Гражданской войны“».

Газета «Правда» не забывает о Доне. Выявляет врагов коллективизации. Шолохов наткнулся на странную переключку имен в одной статье — некто Мелехов из станицы Тихорецкой сжег хлеб, но не сдал его государству. Неужели эта история по случайному совпадению попала под перо корреспондента? Можно представить, каким «литературоведением» блистал на суде прокурор.

Итак, в сентябре «Поднятая целина» появилась отдельной книгой. На эту же тему — о новой деревне — вышли продолжение панферовских «Брусков», «Станица» Ставского, «Встречный ветер» Никифорова, «Ледолом» Горбунова. Повести пошли — деревенские сочинения Исбаха и Одоева. Твардовский ищет свою страну Муравию. Вдобавок напишет «Песнь урожая» со строками: *«Как вволю попотели мы На общей полосе и Дружными артелями Объединились все»*. *Нелегко этот молодой поэт ищет истину. Шолохов прочитал в одном из его стихотворений: «Что же ты, брат? Как ты, брат? Где же ты, брат? На каком Беломорском канале?»* Как не раскусить намек — канал строили заключенные. Тема деревни в коллективизации заманчива... Поэт сел и за повесть. Ее в 1987 году обнародовал «Новый мир» под заголовком «Наброски неудавшейся повести (1932–1933)». Некоторые сюжетные узелки «набросков» кое в чем схожи с решениями «Поднятой целины».

«Правда» в эти дни напечатала огромную статью, которая почти вся посвящена восхвалению «Брусков» Панферова: «Социалистический реализм как творческий метод сделал свое...» О «Поднятой целине» не сказано ничего, но — без Шолохова обойтись нельзя — упомянут «Тихий Дон», но как? В перечне с книгами Шухова и Ставского. Три ни в чем не соразмерных писателя упрощенно сбиты в одну колодку: «Деревенские реалисты».

Октябрь. Сталин собирает писателей-партийцев дома у Горького. Вождь обозначает тему встречи: писатели своими произведениями должны помогать строить социализм. Убеждает: правильно прикрыли РАПП. Агитирует: новая писательская организация наведет порядок. Ратует: единство писателей необходимо. И вот воссоединил — с похвалами —

имена тех, кто едва здороваются друг с другом: Панферова и Шолохова; сказал: «Такие произведения, как „Бруски“, „Поднятая целина“, имеют огромное значение — как средство идейно-художественного воздействия на огромное количество людей. Но эти произведения будут прочтены ограниченным числом людей, особенно при наших бумажных ресурсах».

Далее случилось странное: эта важная для страны беседа почему-то не стала достоянием общественности, не попала в газеты. Ее просто не упоминали.

Дополнение. Шолохов убедился — «Правда» в 1932 году постаралась не заметить выхода «Поднятой целины».

Январь. Не последовало ни продолжения публикации «Поднятой целины» в газете, ни откликов. Появились иные сочинения и иные имена: Александр Безыменский — поэма «Большевики Москвы», Григорий Рыклин — очерк «Большевики Трех Гор». В последнем, январском номере обзор «Нового мира» с критикой журнала: «Не вел борьбы за защиту партийной линии в литературе... Он хотел остаться нейтральным... Использован для скрытой борьбы против партийной линии...»

Февраль: статья «За партийность литературной критики» — «Поднятая целина» осталась без внимания.

Март: статья «За ленинизм в литературе» — ничего о «Поднятой целине».

Апрель: обзор высказываний партийных и профсоюзных активистов «Что вы читаете?» — Шолохов в числе читаемых не упомянут. Статья «За ленинскую литературную критику», с осуждением рапповских вульгаризаторов. О том, как они уничтожали «Тихий Дон» и «Поднятую целину», ни слова.

Июнь: вышло два номера журнала «Новый мир» с «Поднятой целиной» — ни слова в «Правде».

Июль и далее — все номера без Шолохова, но со статьями о новых романах Новикова-Прибоя, Петра Павленко и творческом пути Леонида Леонова. Еще идут стихи Безыменского и в нескольких номерах очерки Ставского «Письма из станицы». Журнал полностью заканчивает публикацию «Поднятой целины», вышла книга, но никакого отклика: ни рецензий, ни писем, по обычаю, с отзывами читателей.

16 ноября в «Правде» на последней странице в косяке мелкострочных новостей мелким шрифтом напечатано: «Новые книги выпускает в ближайшее время издательство „Федерация“». В большой череде книг наконец-то упомянут роман Шолохова.

Май... Не случайно этот месяц ставлю в конец хроники, тем самым выделяя одно исключение: в «Правде» опубликован отрывок из «Поднятой целины» и прозвучала первая похвала романа в печати — по совпадению — в день рождения Шолохова.

На это отважился Михаил Иванович Калинин, председатель Центрального исполнительного комитета СССР. Его любили величать «всесоюзным старостой». Он рискнул не дожидаться, когда публично выскажется генеральный секретарь ЦК. Как член Политбюро ЦК, он принимал начинающих писателей и произнес речь, которая была опубликована в газете: «Смотрите, Шолохов! Ведь „Тихий Дон“ и „Поднятая целина“ — лучшие наши произведения. А писал человек в глухой провинции, в маленькой станице, и никакие журналы для начинающих ему не помогали. Работал много — вот и вырос».

Итак, «Правда» не усердствует в откликах на «Поднятую целину».

В ОГПУ и Кремле узнали, что американский журнал «Ньюсуик» пишет об авторе «Поднятой целины»: «Мистер Шолохов сумел преодолеть полицейские кордоны, окружающие русскую литературу, и показывает западным читателям яркие, интересные характеры, возбуждая симпатии к героям, плохим, так же как и к хорошим. Удивительно, что он остается еще на свободе...»

Исчезновение охотничьих рассказов

После всех сражений за публикацию «Тихого Дона» и «Поднятой целины» писатель не позволил себе отдохновения.

«Написал несколько охотничьих рассказов» — такую строчку вывел он в автобиографии под датой «1932 г.». Такое заманчивое извещение для всей страны стало загадкой — где же рассказы? В печати их никто не видел. Если уничтожены, то зачем и почему? Сколько же тайн порождено необычным шолоховским характером.

Меж тем предуготованы ему в этом году не только шквал тревог, но и преинтереснейший калейдоскоп повседневья. Вот просьба к москвичам-друзьям: «Кончилась у меня, братцы, бумага. Писать не на чем. Все черновики исписаны... Пришлите...» Или такое письмо: «Мучают меня всяческие поездки, не дают работать...» Или — письмо своему редактору: «Хреново вы поддерживаете связь со мной, я — в обиде...» Вот Левицкой о ее сыне: «Для Игоря и о Игоре: я ведь давно замечал, что он собирается жениться. Замечал еще с той поры, когда он отрастил себе позорные

донжуановские усики и некое подобие эспаньолки, но я молчал. Думал, что у него „проснется совесть“ и он скажет: „женюсь я, братушка, а посему приезжай на свадьбу“. Но этого не случилось, к моему сожалению... Однако из этого не следует, что я задним числом не выпью за продолжение рода Левицких». Или вдруг снабжает одного своего приятеля по охоте и рыбалке тремя книгами: романом Петера Фрейхена «Великий ловец» из быта эскимосов, «Декамероном» Боккаччо и «Книгой назиданий» Усамы Мункыза, древнего арабского писателя и полководца. Или такая деталь в одном из писем: «Где обещанная мне кривая трубка? Кстати: не подумайте, что я хочу копировать хозяина, упаси бог! Ходишь с ружьем, и кривая трубка не отягощает зубы, касаясь подбородка, а прямую надо держать, стиснув зубы, в руку же взять нельзя, руки заняты ружьем. Понимаете?» Кто же этот хозяин, от которого он отмежевался в своем увлечении курительной трубкой? Нетрудно угадать — Сталин!

В октябре было письмо и самому Сталину — с рацпредложением, как надо усовершенствовать такую-то деталь сеялки: «Поможет сохранить большое количество зерна». Вот как хотел быть полезным стране.

Неисповедим внутренний мир всего-то 27-летнего писателя. Он и сам себя не всегда узнает. Этим летом совсем уже неожиданное чувство встрепенулось в душе этого заядлого охотника. Неужто рикошет от охотничьих рассказов? Пишет Левицкой: «На той стороне Дона, в степи, верстах в 80 от Вёшек увидел волка. Поднялся он из травы... я стукнул его из винтовки... Он еще был жив, когда я подошел к нему... Он повернулся ко мне головой (какого же труда стоило ему занести задок!), прижал уши, клацнул два раза зубами. И вот не забуду его глаз. Такая в них была нестынувшая ненависть, что как будто даже зрачки у него дымились... Мне после этого стало как-то не по себе».

Еще поделился, как vyhаживал раненую стрепетку, да не без юмора: «На дню по три раза хожу за станицу ловить ей кузнецов (кузнечиков. — В. О.), к вящему удивлению баб, которые зело недоумевали, видя меня (женатого-то человека) за столь детским занятием. Стрепетка вначале не принимала пищи, кормил я ее насильственно, а потом приобвыкла и стала пить из ложки и десятками пожирать кузнецов... Крыло у нее так и не срослось... Было такое ощущение, что я потерял родного, близкого сердцу человека... Непременно из меня какой-нибудь непротивленушко формируется...»

Глава шестая

«СТАЛИН ЧАСТО ИСКАЛ ГЛАЗАМИ...»

В октябре — выделяю этот месяц в особую главу — два события вошли в жизнь Шолохова. И каждое с далеко идущими последствиями.

Он вступил в партию и был в ней до последнего дня жизни.

От самого Сталина выслушал оценку Мелехова, и она явилась установочно-официальной на долгое время, даже после смерти вождя.

Партвласть: пощечина и тост

Как мы уже знаем, еретик во многих своих оценках того, что происходит в стране, Шолохов становится членом Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Его никто к этому не принуждал. Писательский люд редко когда заставляли вступать в партию. Доброволец! Он полностью разделял то, что записано и в программе, и в уставе. Из них воодушевляюще явствовало, что в интересах всех угнетенных и обездоленных надо быть активным в строительстве социализма и коммунизма и активно же бороться с тем, что мешает этому строительству. Надо быть активным для народного счастья... Чего-чего, этого Шолохову не занимать.

Он еретик — но не противник. Знает трудную судьбу своей страны и хочет видеть ее сильной и красивой. Познал беды-тяготы своего настрадавшегося народа с детства — хочет ему благополучия и покоя.

Шолохов догадывался, отчего он, как член партии, нужен райкомовцам. Не для почетного пребывания в их рядах. Им сейчас очень нужен такой комиссар-атаман, который помог бы сопротивляться смертному несчастью. Становилось ясно — нагрянул голодомор. Не голод, ибо это не только результат засухи, но в главном это итог преступной политики бездумного выкачивания зерна.

Догадывался он и о том, что партийцы в крайкое и выше такое его новое качество не очень-то будут приветствовать. И без того мешал строптивец!

Из-за положения на Дону нервы у Шолохова были натянуты до предела: не быть бы взрыву. Так и случилось — в Москве.

Это произошло дома у редактора «Нового мира» Ильи Гронского во

время вечернего застолья. Хозяин взялся познакомить Шолохова с крупным в партийной иерархии чином — Алексеем Ивановичем Стецким, заведующим Отделом пропаганды ЦК.

Шолохов подошел к нему, напевая «Стецкие — Марецкие...». А Марецкий-то, знакомец Стецкого, был с клеймом: бухаринец, как это определил самолично товарищ Сталин. Тут Стецкий, чтобы решительнейшим образом отмежеваться от врага партии, вскочил и ударил Шолохова, однако получил сдачи. Гронский в ужасе сгреб вёшенца и оттащил в другую комнату. Еле-еле помирил. До Сталина докатилась эта история. Как-то стал расспрашивать о ней Шолохова, но разговор, по счастью, остался без последствий.

...Вождь и три влиятельных члена Политбюро — Молотов, Ворошилов и Каганович — без всякого чванства пожаловали в особняк Максима Горького на Малой Никитской, чтобы побеседовать с писателями. Здесь решили собрать тех, кто мог бы поддержать идею создания Союза писателей. Пригласили почти 50 творцов. Тут и Фадеев, и Катаев, и Леонов, и Сейфуллина, и Михаил Кольцов, и Багрицкий, и Маршак, и Панферов.

Красив причудливый по архитектуре и убранству дом Горького. Он ему подарен после возвращения из Италии. До революции этот особняк принадлежал знаменитому богачу-меценату Рябушинскому. Взошли верховные партийцы со Сталиным во главе по изящно украшенной и ласково изогнутой лестнице на второй этаж. Хорошо в гостиной — и просторна, и уютна: стены в деревянной облицовке, картины, скульптуры. Двери широко распахнуты. Не все вместились, а слышать-видеть хотелось. Писатели расположились всюду: и в кабинете, и в проходах, и в библиотеке...

Сталин всех покори́л, ибо не был равнодушен. Один из присутствующих, критик и литературовед Корнелий Зелинский, догадался вести записи, и одной из первых стала такая: «Товарищ Сталин быстро и внимательно оглядывает присутствующих...»

Горький и Сталин пригласили писателей выступать.

Выступал писательский люд по-разному. Кое-кто с ярким и образным подхалимажем — это еще не для всех привычное состояние, но привыкали. Кое-кто проявлял независимость — пока еще дозволялось, но через три-четыре года убедятся: пора срочно отвыкать.

Сталин и Шолохов... Каждый из них воспринимал выступления по-своему, у каждого — ясное дело — свои душевные переживания или строгий расчет, когда слушают.

Владимир Зазубрин, как пишет Зелинский, «пошел сравнивать

Сталина и Муссолини в предостережение тем, кто хочет рисовать вождей, как членов царской фамилии». Что Сталин? Зелинский отметил: «Сталин сидит насупившись». Что Шолохов? Напомню: ему не нужны ничьи предостережения — из-под его пера имя Сталина не появилось в «Тихом Доне». Шолохов узнает в 1938-м, что Зазубрин будет объявлен «врагом народа».

Лидия Сейфуллина. «С неожиданной для многих резкостью выступила она против предложения Горького о введении некоторых бывших рапповских руководителей в Оргкомитет». Шолохов давно уже терзаем этой крикливой братией. Что Сталин? Обратимся к записям Зелинского: «Раздался шум, протестующие голоса. Но товарищ Сталин поддерживает Сейфуллину: — Ничего, пусть говорит...»

Потом Сталин стал говорить сам, и его речь не могла не зачаровать большинство, а бывших неистовых рапповцев — ввергнуть в уныние:

«— „Пущать страх“, отбрасывать людей легко, а привлекать их на свою сторону трудно. За что мы ликвидировали РАПП? Именно за то, что РАПП оторвался от беспартийных, что перестал делать дело в литературе. Они только „страх пущали“. А „страх пущать“ — это мало. Надо „доверие пущать“».

Кто-то, подбодренный добротой вождя, рискнул на остроту: «Если ЦК нас не выдаст, Авербах нас не съест».

Вождю в эти минуты верили. Верил ли он сам в то, что говорил? Вряд ли. Не прошло и нескольких недель, как изумленные писатели прочитали в «Правде»: в оргкомитет для подготовки нового Союза писателей введены и неистовый рапповец Макарьев, и даже Авербах.

Критик Иван Макарьев был близок Шолохову: оба родом с Дона. «Сталин во время выступления Макарьева встает и выходит покурить», — записывает Зелинский. Трагична судьба критика — в конце 1930-х он будет посажен. Что Шолохов? Он не поверит в праведность ареста.

Писателям с вождем интересно. Зелинский увековечил это: «Спрашивают о встречах товарища Сталина с Эмилем Людвигом, с Бернардом Шоу...»

Вождь же Шолохова выделяет: «Беседуют о „Тихом Доне“». Зелинский уточнил: «Сталин разбирает образ Григория Мелехова».

Горький приглашает всех перекусить — огромная столовая, длинен и широк гостеприимный стол. Но вёшенец и в застолье не выходит из общего внимания. Зелинский внес в свои записки: «Вспоминают, что еще не говорил Шолохов». К нему обращаются все взоры, но он отказывается, и это-то в присутствии вождя.

Не с чем выступить? Выражает отказом несогласие с тем, что навязано на встрече к обсуждению? Застенчив? Гордец? Летописец ушел от опасной задачи записать, отчего же это отмолчался такой во всем непохожий на собравшуюся здесь писательскую братию этот уже прославленный на весь мир провинциал. Зелинский о поведении Шолохова выразился уклончиво: «Обстановка в самом деле уже иная... Идет ужин». Но даже в этой заметке виден не холуйский, гордый шолоховский характер. Ни тебе тоста за вождя, ни предложений, как помочь ЦК провести предстоящий писательский съезд достойно.

Зелинский обрисовал облик Сталина: «В лице появляется нечто хитрое. Пожалуй, тигриное». И Шолохов отметит это в романе «Они сражались за родину»: «У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком...»

Шолохов продолжает быть в центре внимания: «Писатели собираются петь. Фадеев уговаривает Шолохова спеть с ним вдвоем. Шолохов смущен. Рядом с высоким Фадеевым Шолохов кажется маленьким. Он стоит в тесной шерстяной рубаше, с голой, стриженной, большой головой и неловко улыбается. Он ищет, как избежать общественного внимания. Фадеев запеваает один. „Выпьем за самого скромного из писателей, за Мишу Шолохова!“ — кричит Фадеев, который уже сам изрядно выпил».

Что Сталин? Поразительный порыв, правда, тут же перешедший в хладнокровное желание дать урок политграмоты: «Сталин снова встает с бокалом в руке: „За Шолохова! Да, я забыл еще сказать вам. Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. Вы инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей и за самого скромного из них, за товарища Шолохова!“»

Каково станичнику — тост за него! И каково остальным писателям? Кто-то порадовался за Шолохова. Кто-то люто приревновал.

Он не оставлен без внимания и после тоста: «Сталин часто искал глазами Шолохова, и когда пил за его здоровье, и раньше, когда беседовал об образе Григория Мелехова».

Вот каков вождь — приказал видеть в Мелехове не правдоискателя, а «отщепенца», как это записал Зелинский: «Мелехова нельзя считать типичным представителем крестьянства. Белые генералы не могли назначить командовать дивизией крестьянина без офицерского чина. А у казаков это могло быть. Спросим про казаков у Шолохова...»

Где же автор? Невероятное запомнил Зелинский: «Шолохова рядом не оказалось».

Поразительный поступок. Не пожелал — и все тут тебе! — вписать себя в историю ни придворным пением, ни желанием низкопоклонно выслушивать приговор любимому герою. И даже не воспользовался милостью подольше посидеть рядом с вождем.

Но вернемся к началу застолья, когда Шолохов еще не ушел. Сталин в тот вечер был горазд на удивляющие откровения:

— Стихи хорошо. Романы еще лучше. Но пьесы нам сейчас нужнее всего. Пьеса доходчивее... Пьесу рабочий просмотрит. Через пьесу легко сделать наши идеи народными, пустить их в народ.

Шолохов тянулся к этому жанру. С юности. И сейчас не потерял интереса. В 1936-м он создаст в Вёшках театр колхозной казачьей молодежи. Однако не ринулся — стремглав — исполнять наказ вождя, хотя все-таки попробует себя в драматургии.

— Некоторые выступают против старого, — переменял тему вождь. — Почему? Почему все старое плохо? Кто это сказал? Вы думаете, что все до сих пор было плохо, все старое надо уничтожать. А новое строить только из нового. Кто это вам сказал? Ильич всегда говорил, что мы берем старое и строим из него новое. Очищаем старое и берем для нового, используем его для себя. Мы иногда прикрываемся шелухой старого, чтобы нам теплее было. Будьте смелее и не спешите все сразу уничтожать.

Шолохов мог примерить этот монолог на себя. Нет, даже в своей писательской юности он не соблазнился модой и не порвал с классическими традициями — с реализмом.

— Он (писатель) должен знать теорию Маркса и Ленина, — продолжил Сталин, — но должен знать и жизнь. Художник прежде всего должен правдиво показывать жизнь. А если он правдиво будет показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистическим искусством. Это и будет социалистическим реализмом.

Вот какое — стратегическое на многие десятилетия — наставление.

Шолохов порой в речах и статьях на злобу дня употреблял это трудно произносимое словосочетание «социалистический реализм». Однако проницательные читатели и не думали числить «Тихий Дон» по разряду этого самого «соцреализма». Знали: роман — великолепный образец истинного реализма без всяких толкований.

Шолохов, вероятно, удивился: «Поднятая целина» никак не прозвучала на этой встрече. Ни Сталин, ни Горький, ни остальные — что друзья, что враги — не сказали о романе ни слова. Странно.

Совсем уже опустил вечер... Покидали дом Горького гости. Сначала

вождь и окружение. Потом, неохотно, братья-писатели: не утихли всплески от услышанного и посуленного, да и не все было выпито... Шолохов исчез, как мы уже знаем, раньше всех.

...«Страхопущание» приближалось от Сталина неукротимо и вошло в жизнь страны прочно с середины этого десятилетия. Обрушилось оно и на участников встречи — почти каждый четвертый ее участник погиб в лагере или был расстрелян.

Была и еще одна жертва той встречи: после сталинского суждения о Мелехове этот персонаж по воле критиков чаще всего проходил только по одной статье: враг! Для творческой логики романа такая трактовка притушевывала правду революции. Двойственным было и восприятие у читателей: одно входило в души со страниц романа — иное вдалбливали учителя, журналисты, пропагандисты и ретивая рать конъюнктурщиков в звании шолоховедов.

«Правда» и все другие газеты и журналы ничего не сообщили о встрече. Уже вторая такая встреча прошла как бы засекреченной.

И еще одна загадка: отчего Шолохов нигде не описал эту свою встречу со Сталиным?

Горький продолжал собирать у себя дома зачинателей нового Союза писателей. И по-прежнему привечал Шолохова. Леонид Леонов впечатляюще рассказывал: «Длинный стол. Накурено. Дым стоял слоями, стол кажется поэтому еще длиннее. На том конце Горький с Шолоховым...»

...Заканчивался 1932 год. Шолохову было что вспоминать, то радуясь, то огорчаясь.

Случился повод рассказать ему о своем житье-бытье Викентию Викентьевичу Вересаеву, почтеннейшему старцу, начавшему писать задолго до революции. Шолохов прослышал о его мнении: «„Поднятая целина“ — это полуправда». И решил с ним познакомиться, узнать из первых уст, чем вызвана такая оценка, может, и поспорить.

От той встречи — состоялась-таки — в дневнике Вересаева осталось огромной ценности свидетельство. Пусть и кратко, но записан шолоховский рассказ о том, как ему довелось рассказать Сталину об ужасах коллективизации: Сталин слушал молча, а потом неожиданно, не сказав в ответ и слова, встал и вышел.

К концу года Шолохову становится не до литературы. Беда все стремительнее надвигалась на Дон. Голодомор! Вёшенец предчувствовал беду. Год назад в статье «За перестройку» он предупреждал и о засухе, и о том, что «часть колхозов грешила против качества», и даже о том, что донской колхозник не заинтересован в труде, ибо плохо — несправедливо

— он оплачивается. А затем обратился, напомним, с письмом к Сталину.

Каково же мнение вождя о результативности колхозов? Шолохов мог бы получить в январе следующего года ответ на свою критику — своеобразный — в докладе Сталина «Итоги первой пятилетки»: «Я, к сожалению, не могу сейчас остановиться на недостатках и ошибках, так как эти рамки порученного мне итогового доклада не дают для этого простора». Странно, что по обыкновению не «остановился» на недостатках. Но это факт. И это, догадываюсь, не случайность, не «рамки». Сталин редко просчитывался. Он сознательно умалчивал о недостатках и ошибках.

Что думал Шолохов о результативности колхозов? В конце его статьи дан вывод: только что созданная колхозная система нуждается — уже! — в перестройке. Вот как это изложено: «Нужно крепко драться за перестройку колхозного хозяйства. Нужно так хозяйствовать, чтобы давать стране в достаточном количестве не только хлеб, но и мясо, и шерсть, и даже строевую донскую лошадь, и тем самым увеличить благосостояние колхозов. Данные для этого есть, надо их только осуществить».

...К концу год. Зима пришла на Дон и смерть за собой пригласила. Как ни читай газеты, как ни вникай в речи Сталина — о голоде-голодоморе ни слова.

Партия сообщала о победах и свершениях. И они были — одновременно с тем, что несколько миллионов человек обречены на вымирание.

Шолохов свидетель и достижений, и горя. Может быть, поэтому ни одно его произведение не одномерно. Газеты сообщают в ноябре-декабре 1932 года:

Харьковский тракторный завод к 7 ноября выпустил не 1690 машин, а 1820...

Киев рапортует о первом в СССР сварочном котле («лучший в мире») ...

Построены тепловоз «Иосиф Сталин», первый советский электровоз и первый советский локомотив в 500 лошадиных сил...

Появились первые образцы советского телевизора и легковой автомашины...

***Дополнение.** Шолохов уловил противоречия в сталинских установках для писателей. В канун той встречи в доме Горького вождь провел еще одну встречу с писателями-коммунистами. Там порой высказывал то, что можно расценить как партийную ересь:*

«Монополия в литературе одной группы ничего хорошего не принесет...»;

«Цель у нас одна: строительство социализма. Конечно, этим не снимается и не уничтожается все многообразие форм и оттенков литературного творчества. Только при социализме, только у нас могут и должны расти и расширяться самые разнообразные формы искусства; вся полнота и многогранность форм; все многообразие оттенков всякого рода творчества...»;

«Почему вы требуете от беспартийного писателя обязательного знания законов диалектики?.. Толстой, Сервантес, Шекспир не были диалектиками, но это не помешало быть им большими художниками...»;

«Литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова...»

Одно воздя «оправдывает» — эти его антисоциалистические откровения в жизни не проявлялись.

Квачи и кадильницы

У Шолохова радость. Из Москвы сообщили, что ГИХЛ вызвалось на следующий год переиздать «Поднятую целину» в сериях «Книгу социалистической деревне» и «Дешевая библиотека ОГИЗа». Редактором стал Юрий Лукин (с того времени у них сложилась дружба на всю жизнь).

В типографии книга пребывала всего 16 дней. Может быть, сказалось то, что тираж был мал — всего 50 тысяч. Истинно мал, ибо в стране к этому времени насчитывалось более 200 тысяч колхозов и около пяти тысяч совхозов. Странно — такой тираж не очень-то соответствовал той бравурно-восторженной оценке книги, которую она получила от правдиста Карла Радека.

Не стала «Поднятая целина» настольной книгой советского крестьянства и партактива в деревне. Шолохов мог узнать: брошюра Радека о Сталине издана тиражом 225 тысяч экземпляров.

Третье издание «Поднятой целины» выделялось не только впервые помещенной на обложке картинкой — трактор-фордзон в борозде и молодой тракторист с поднятой в приветствии рукой (соблазны для покупателя). В книге появилось обращение: «Издательство и автор обращаются ко всем читателям с просьбой о присылке отзывов на эту книгу. Если производится коллективное обсуждение — желательно получить протоколы, резолюции и т. д.».

И в самом деле пошли отзывы. Только — вот удивление — не было никакого единодушия.

Писатель догадывался, что роман заталкивают в прокрустово ложе политических пристрастий. В январе 1933 года высказался «Бюллетень ГИХЛ», который снабжает советами-рекомендациями библиотекарей, книготорговцев, учителей и преподавателей, партработников, агитаторов и пропагандистов, журналистов, то есть профессионалов чтения. Явно по лекалу Радека сконструирована бюллетенем инструкция, как читать роман: «Автор „Тихого Дона“ выступает с первым звеном новой эпопеи о героической борьбе за колхозы в станицах Северного Кавказа».

Шолохов стал убеждаться: не всем по нраву такая установка. Ему тоже. Но критики-то — из тех, у кого оттопырены бдительные уши, — иное выискивали. Они кинулись извлекать из романа на всеобщий обзор политкриминал. Первым выискал ошибки журнал «Знамя». Он откликнулся сразу на выход и «Поднятой целины», и очередной книги «Тихого Дона». Пальнул, как из двухстволки: «Объективизм... <Автор> как бы всматривается в борющиеся стороны, примеряет свое отношение к ним. Стали в непримиримой борьбе друг против друга две системы, два мира, а Шолохов как бы хочет взвесить на весах гуманизма — какая из них больше крови в борьбе пролила, на чьей стороне больше жертв, на чьей больше жестокости».

В 1934-м литературные конъюнктурщики стали стрелять чаще: «Объективно это — затушевывание контрреволюционной инициативы кулачества» (журнал «Молодая гвардия»); «Отсутствие глубокого анализа отмирания религии в сознании людей» (журнал «Антирелигиозник»).

Шолохов узнал, что его новый роман быстро заприметили на Западе. У рецензентов, независимых от ВКП(б) и Коминтерна, потом от ЦК КПСС и Союза писателей, — свои оценки, окрашенные антисоветчиной. Например, такие, какие позволил себе американский журнал «Тайм»: «„Поднятая целина“ открыто критична к советской власти и воспеваает явную несовместимость с марксистской философией. В романе ярко и громко звучит шолоховский немарксистский тезис: „Человек является творением своей эпохи, и к нему следует относиться с величайшей заботой“». Было и такое: «Индивидуализм против партийной линии. Сверхъестественно для России».

На Западе нашлись и более проникательные читатели. Они увидели в романе не только политическую отвагу.

«Михаил Шолохов, как никто другой, достоин Нобелевской премии», — писала шведская газета «Ню дат» по выходе «Поднятой целины» на

шведском языке в 1935 году.

«„Поднятая целина“ во всех отношениях — огромный шаг вперед по сравнению с „Тихим Доном“... Великое свидетельство о силе и богатстве его (Шолохова. — В. О.) реалистического дарования...» — утверждал французский классик Ромен Роллан.

И вдруг в СССР вспомнили об оценках Радека и, не упоминая этого «троцкистского имени», пошли исполнять команду: «Правое плечо вперед!» Пришлось критикам менять квачи на кадильницы. Это произошло примерно через два года после выхода «Поднятой целины». Власть и присные убедились: цели глумлением не добились — роман читают, а писатель не кинулся его переделывать, к тому же не кается в объективизме и других прегрешениях. И тогда на волне общественного энтузиазма в стране — какое раздолье официозным нахвальщикам — стали превращать роман в агитку. Вот что значат сноровистая агитация и напористая пропаганда в умелых руках партии. «Книга поднимает дух... Хочется больше и лучше в колхозе работать...» (из журнала «Новый мир» за 1935 год); «В руководстве колхозом подражаю шолоховскому Давыдову» (из журнала «Селькор» за 1936 год).

Правда, нашелся один критик, посмеивший защищать роман и от тех, что усердно злобны, и от тех, что ретивы подслащивать, — В. Гоффеншефер. В 1936 году в своей книге «Михаил Шолохов» в главе о «Поднятой целине» с безбоязненной ехидцей высказался: «Социалистический реализм — это не образец новой выкройки из журнала мод на 1932 год». (Писал и такое: «Политическая острота романа могла породить желание, чтобы этот роман был признан слабым».)

Один в поле не воин. Не сразу приходила мысль, что «Поднятая целина» никакая не агитка. Эту мысль стали исповедовать истинно авторитетные писатели: Александр Твардовский утверждал, что «Поднятая целина» в литературе — подлинное открытие деревни, охваченной классовой борьбой. Илья Эренбург писал, что роман стал для него знаком подлинного взлета советского искусства.

Да только не остановить обрушивающуюся на читателей лавину других оценок — плакатных, примитивно-однозначных, грубо-вульгарных, политизированных. Они приучали читателей верить, что роман-де пришелся ко двору, ко времени.

Сталин по-прежнему молчал. Ни единого слова о «Поднятой целине» он не скажет в печати за всю свою долгую жизнь. Как по выходе романа не стал взнуздывать злобную критику, так затем не стал противиться безудержному захваливанию.

Дополнение. Спал пыл первых впечатлений от романа, а его всё обязывают воспринимать по политическому барометру.

1948 год. Школьный учебник литературы: «Читатель понимает, что герои романа одушевлены идеями, которые всегда будут требовать от них того, чтобы они шли в передовых рядах, которые всегда будут звать...»

1970 год. Учебник литературы жестче прежнего политизирует роман: «В центре произведения стоят люди двух резко противоположных друг другу лагерей — лагеря социализма и лагеря помещичье-буржуазной, кулацкой контрреволюции».

1982 год. Новый учебник литературы, словно учебник политэкономики, внушает: «Писатель не ограничился социально-экономическим обоснованием целесообразности коллективизации...»

В годы перестройки произошла и перестройка в оценках романа. В 1988-м одна критикесса объявила роману — без всяких фактов и аргументов! — приговор в газете «Книжное обозрение»: «Исключить „Поднятую целину“ из школьных программ. Во имя наших детей!»

Как Шолохов относился к оценкам своих произведений? Редко когда вступал в открытый спор с критиками. Возможно, считал, что в драке нет умолоту. Зато вел открытую полемику с теми, с кем почему-то в нашей стране и до сих пор не принято спорить. В 1960 году при вручении Ленинской премии за «Поднятую целину» сказал зло: «Постоянная связь с читателями... Но с некоторыми из них я нахожусь в отношениях не то что неприязненных, но в отношениях — как бы это одним словом охарактеризовать — в отношениях с холодком. Требования к писателю предъявляются часто непомерные. Так, например, один читатель после выхода книги упрекает меня в том, что в „Юрии Милославском“ автор сохранил героев, а Шолохов убил Нагульнова и Давыдова. „Что здесь общего с социалистическим реализмом?“ — спрашивает он. Но слушаться таких советов нельзя».

ГОЛОДОМОР

Заступник за Дон. Арест прототипа Давыдова. Л. М. Каганович. Москва, Кремль, И. В. Сталину. Политическая близорукость. Вождь на Дону. Святотатство в 1993-м

Глава первая

1933: «...ВСЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМСЯ КОНТРАМИ»

Небо над Доном будто застеклили — уже сколько недель оно, до боли в глазах ослепительное, без облачка, давит своей раскаленной неподвижностью...

Поля лишились жизни. Опростал их злой ветер-астраханец. Не родят они хлебоборам никакого хлебушка.

Речи Сталина и письма Шолохова

В 1933 году погибала Донщина. Рядом вымирали Кубань и южные земли Украины, а в противоположном направлении — Казахстан.

Голодомор... Так прозвали в народе это лютое нашествие смерти, и, как уже говорилось, не только по причине засухи, но и насильственного изъятия хлеба-хлебушка.

И поныне не сосчитаны кресты на погостах. В 1988 году в «Правде» было сообщено так: «Зимой 1932/33 года число жертв голода составило 3–4 миллиона человек». Щедрый политики: разброс в счете — один миллион умерших!

С 1985 года, с начала перестройки, стало ничуть не опасным ниспровергать Сталина с незыблемого 30 лет пьедестала и уличать в ошибках и преступлениях.

Но Шолохов жил в сталинском времени.

Статьи, речи, доклады Сталина... В них наказ идти к светлому будущему. В газетах, в песнях, в кино начинается возбуждение всенародного энтузиазма. И в сочинениях почти всех писателей содержится полная поддержка такого курса.

Большинство верит Сталину, что нельзя и думать жить иначе, нежели так, как им указано. Строят социализм и идут ради него на героическое самопожертвование то добровольно, то по внушению, то по принуждению.

Начинается стремительная индустриализация, в фундамент которой брошена насильственная коллективизация. Многие эту жертву оправдывают. Еще живы в памяти жизнь беднейших народных слоев при царе и разруха после мировой и Гражданской войн. Такая память легко воспринимала

призывы идти на самоограничения. А разве капиталистический Запад не хотел уничтожения единственной в мире социалистической страны? Боялись — панически! — иного выбора в развитии человечества. Это тоже воздействовало на чувства и настроения.

И тут голод-голодомор. Что Сталин думает о нем? Что — Шолохов?

Писатель, наверное, поразился — вождь как раз в январе 1933 года использовал пленум ЦК, чтобы заявить в своем докладе на весь мир: «В чем состоят основные результаты наших успехов? В охвате колхозным строительством и в уничтожении в связи с этим обнищания и пауперизма в деревне...»

Шолохов-то знал, какая жуткая нуждища уже успела воцариться по донским колхозам. Далеко, ах, как еще далеко до первой лебеды или щавеля. Он, ясное дело, внимательно читал Сталина. Стало быть, писательски тонко заметил то, что далеко не все замечали, ибо были заморожены откровениями про всеобщие трудности: отсталая экономика, «отсталых бьют» и прочая, прочая. Вождь умалчивал о том, как и чем человек живет: чем тревожится, чем заботится, в чем бедует, будто тем самым учил не обращать внимания на беды.

Кто же заявил — вслух и для всех! — о голодоморе? Шолохов в «Поднятой целине». Здесь обозначил первую чернилку антонова огня. Интересный прием — сообщить о надвигающейся беде Шолохов поручил Половцеву: «Нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод».

Сталин через три-четыре месяца начнет пресекать — решительнейше! — расползание сведений о голоде. За слово о голоде надлежит приговор — «контрреволюционная агитация». В романе меж тем говорится: «По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет».

Так что, увы, писатель ничего не преувеличил, не придумал. В те два голодных года за границу было продано 28 миллионов центнеров хлеба. На одну чашу весов брошена смертная судьба миллионов сограждан, на другую — добывание валюты для индустриализации страны.

Шолохов мог бы удовлетвориться тем, что роман чаянно или нечаянно, но предупреждал о трагедии. Надо привыкать: политические споры с властью с каждым годом все опаснее.

Сталин, припомнив именно казачество, предопределил его судьбу в своем докладе «Итоги первой пятилетки»: «Известно, что одна часть

контрреволюционеров старается создавать нечто вроде колхозов, используя их как легальное прикрытие для своих подпольных организаций».

Шолохов был свидетелем того, что случилось дальше: устроена чистка — из партрядов исключено 26 тысяч коммунистов. Десятки из них — вёшенских страдалцев — он знал в лицо и по фамилиям.

В январе 1933 года еще одно выступление Сталина: «О работе в деревне»: «В 1932 году хлеба у нас в стране больше, чем в 1931 году». Шолохову воспрянуть бы духом: может, после таких заверений последует указание передать излишки голодающим? Однако пошли иные предписания: «Первая заповедь — выполнение плана хлебозаготовок, вторая заповедь — засыпка семян, и только после выполнения этих условий можете начать и разворачивать колхозную торговлю хлебом». И никаких исключений!

Читает Шолохов сталинский доклад, а не велит ему сердце оставаться лишь читателем, бьется оно в негодовании.

Из Вёшек уходит письмо другу еще по продналоговой юности, Анатолию Солдатову: «События хлебозаготовительного порядка... Район один из самых отстающих по хлебу. Обстановка необычайно напряженная... С севом будут огромные трудности, с харчевкой еще большие». С харчевкой! Предвидит писатель — не даст уборка урожая ничего. Знает об этом не понаслышке — «с мандатом райкома много ездил по району», о чем вдруг сообщила в марте «Вечерняя Москва».

Еще один конверт отправился в путь — заметка в «Правду». Она была напечатана. Невелика — всего 20 строчек, зато с взрывным названием: «Результат непродуманной работы». Шолохов тревожится, что власть срывает подготовку к севу в его родном районе: «Крайисполком обязал Вёшенский район перебросить в колхозы Миллеровского района 1000 тонн семян...» Это начальные строки. В конце предостережение: «Создавшееся положение вносит непосредственную угрозу севу правобережных колхозов Вёшенского района».

Сталин заметку будто и не видел, хотя известно, что читает «Правду» наивнимательнейше. Шолохов окончательно убедился: у вождя задача добывать и добывать хлеб — во что бы то ни стало. Ради в лоб штурмуемой цели — индустриализации — он готов на все. Уже несколько месяцев как действует собственноручно им, Сталиным, написанный «Закон об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», который Шолохов прочитал в «Правде».

Жесток закон, направленный прежде всего против тех, кому для

спасения недостает куска хлеба, потому и прозван в народе — с горечью — «законом о пяти колосках».

Результат карательного закона не замедлил сказаться: в стране осуждено почти 55 тысяч человек. Были для острастки и приговоры — страшно сказать — к расстрелу общим счетом 2110. Надолго запомнился этот закон писателю.

Предприняты были и другие бесчеловечные меры. Отныне человеку из голодающей деревни по собственной воле — никуда. И не только потому, что по границам вымирающих районов появились кордоны, дабы никто никуда не сбегал. Введен для горожан паспортный режим, но у колхозников паспортов не будет еще долгие десятилетия.

Он чуть было не дрогнул в раздумьях, каково будет его большой семье с дочерью, сыном и стариками в станице, которой угрожает голодомор, — написал Солдатову: «Я подумываю о том, как бы заблаговременно „эвакуироваться“».

Статья в «Правде» ничего не изменила.

В феврале 1933 года открылся первый съезд колхозников-ударников. Сталин на трибуне, славит труд лучших, призывает к еще более ударному труду и воодушевляет страну: «Главные трудности уже пройдены, а те трудности, которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы серьезно разговаривать о них». Каково читать это Шолохову?

В самом конце месяца он ненадолго прибыл в Москву — позвали на встречу с писателями. Им интересно общение с донским талантом. Неизбежны вопросы: когда появится продолжение «Тихого Дона»? Сказал: «В четвертой книге я, вероятно, таких дров наломаю, что вы ахнете и откажетесь от лестных отзывов».

Провидец! И в самом деле, литвожди в 1940-м отрекутся от «Тихого Дона».

Весной Шолохова, однако, менее всего заботят литературные дела. Он, как потом написал в одном письме, «изъездил и исходил много полей и не только колхозов Вёшенского района». Насмотрелся... И уходит из Вёшек огромное письмо другу и соратнику, секретарю райкома Луговому. Писал 13 февраля. В народе это число считают несчастливым, но и писал о несчастье, которое обрушилось на Дон (привожу письмо в извлечениях):

«...События в Вёшенской приняли чудовищный характер. Петра Краснова, Корешкова и Плоткина (прототип Давыдова. — В. О.) исключили из партии, прямо на бюро обезоружили и посадили. Ребятам обещают высшую меру.

...Обвиняют, что мы потакали расхищению хлеба, способствовали

гибели скота. Обвиняют во всех смертных грехах...

Дело столь серьезно, что, видимо (если возьмут широко), привлекут и тебя. Короче, все мы оказываемся контрами.

...Арестовано около 3000 колхозников.

...На правой стороне (Дона. — В. О.) не осталось ни одного старого секретаря ячейки. Все сидят. Многих уже шлепнули.

...Ты-то согласен, что мы вели контрреволюционную работу? Ах... их мать!»

Взругаешься, когда приклеивают звание «контра».

Но главное впереди: «Нужно со всей лютостью и со всей беспощадностью бороться за то, чтобы снять с себя это незаслуженное пятно. Об этом буду говорить в Москве — ты знаешь с кем».

Шолохов отсылает еще одно письмо. На этот раз окружному прокурору: «Прошу твоего прокурорского вмешательства в следующее дело: у Якушенковых (братьев) в 1930 или 32 гг. С/Совет (Букановский) изъят дом... Они не лишенцы: оба работают в колхозе. Третий работает в Москве, демобилизовавшись из Красной Армии. Рассмотрите это дело, пожалуйста, и восстановите революционную законность». Приписка знаменательна — письмо пишет не для того, чтобы отправить и забыть: «Было бы неплохо, если бы ты об этом деле черкнул письмишко. Буду признателен».

Будто в ответ на все тревоги писателя 11 марта в «Правде» появилась редакционная статья, стало быть, директивная, установочная. Посвящена Дону: «Разгром кулацких, вредительских и белогвардейских элементов и организованного ими саботажа — не доведен до конца, потому что недостатки, вскрытые ЦК и тов. Сталиным в руководстве колхозным строительством, не учтены полностью как районными партийными организациями, так и отчасти краевым руководством». Назван и Вёшенский район.

Можно представить чувства Шолохова, когда он наткнулся на слово «отчасти» в оценке преступных деяний ростовского начальства.

Пятнадцать страниц для Кремля

Шолохов сдержал свое обещание обратиться к Сталину. Характер! На четвертый день апреля ушло в Москву письмо на пятнадцати страницах. Это новая попытка раскрыть глаза на то ужасное положение, что переживает Донщина. Письмо прямое, откровенное, настойчивое, без

политеса, будто сошедший со страниц романа Мелехов руку приложил.

«Т. Сталин! Вёшенский район наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями».

Письмо с прямым прицелом, чтобы выявить виновников: «Вёшенский район не выполнил плана хлебозаготовок не потому, что одолел кулацкий саботаж и парторганизация не сумела с ним справиться, а потому что плохо руководит краевое руководство». Но если бы был назван только крайком. Шолохов вывел фамилию второго деятеля в ЦК: «На совещании с секретарями крайкомов Молотов заявил: „Мы не дадим в обиду тех, которых обвиняют в перегибах...“»

Вот тут вождь и узнает, как эта директива была подхвачена крайкомовскими сатрапами: «Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку: „Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!“ Установка „Дров наломать, но хлеб взять!“ подхватывается районной газетой... В одном из номеров газета дает „шапку“: „Любой ценой, любыми средствами выполнить план хлебозаготовок и засыпать семена!“ И начали по району с великим усердием „ломать дрова“ и брать хлеб „любой ценой“».

Он обрек Сталина на длительную пытку читать и читать, как приговаривали к голодомору:

«...В Вацзаемском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: „Скажешь, где яма?“ (с утаенным зерном. — В. О.).

...Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь-февраль.

...В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

...В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывали крыши домов, разваливали печи, понуждали женщин к сожительству.

...В Солонцевском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.

...Массовое избиение колхозников и единоличников».

Шолохов нашел даже статистику: «Выселено из домов — 1090 семей». Письмо раскрыло и последствия этой кары: «Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего соседа погреться... И выселенцы стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы их самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась...»

Могильным холодом веет и от другой цифры: «Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов. Это на три месяца». И такое обвинение в письме: «Никто не интересуется количеством умерших от голода».

Вывел в письме — «Плоткин». Нелегко Шолохову писать о том, что когда этого деятеля перевели на одну из районных должностей, он стал бездумно ретиво исполнять самые свирепые указания сверху.

И без всяких околичностей сообщил о том, что вело к беде: «Вместо намечавшихся по балансу 22 000 тонн хлебозаготовок он (секретарь крайкома. — В. О.) предложил сдать 53 000».

По-писательски образно обрисовал Шолохов то, как определялась урожайность одним из краевых начальников Федоровым вопреки мнению местной власти:

«Отъехали километров 10 от Вёшенской. Федоров, указывая на полянку пшеницы, спрашивает у Корешкова:

— По-твоему, сколько даст гектар этой пшеницы?

Корешков. — Не больше трех центнеров.

Федоров. — А по-моему, — не меньше десяти...

Корешков. — Откуда тут десять центнеров?! Ты посмотри: хлеб поздний, забит осотом и овсюгом, колос редкий...»

Федоров, распалившись, приказывает: «Нагнись да посмотри...» И далее описана такая сцена вождю, что, как говорят в народе, хоть стой, хоть падай — однако же убедительно: «Корешков — человек грубоватый от природы, вежливому обращению необученный, да вдобавок еще страдающий нервными припадками (последствия контузии) — взбешенный советом, ответил:

— Я вот сыму штаны, да стану раком, а ты нагнись и погляди...»

Шолохов подытожил: «Все это, дорогой т. Сталин, было бы смешно,

если б, разумеется, не было так грустно».

Рискнул на такой отсыл в историю, что только бесчувственному не вздрогнуть: «Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко „В успокоенной деревне“? Так вот этакое „исчезание“ было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью»... «Исчезание...» Не случайно Шолохов подхватил это слово из арсенала Короленко: власть избавлялась от непокорных крестьян любыми средствами.

Отчаянные строки множатся и множатся в письме: «Пухлые и умирающие есть... Некоторые семьи живут без хлеба на водяных орехах. Теперь же по Правобережью Дона появились суслики и многие решительно „ожили“: едят сусликов вареных и жареных, на скотомогильники за падалью не ходят, а не так давно пожирали не только свежую падаль, но и пристреленных лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль... Сейчас на полевых работах колхозник, вырабатывающий норму, получает 400 гр. хлеба в сутки. И вот этаким ударник (выделил не зря, видимо, напомнил Сталину о встрече с ударниками-колхозниками. — В. О.) половину хлеба отдает детишкам, а сам тощает, тощает. Слабеет изо дня в день, перестает выполнять норму, получает уже 200 гр.».

Письмо шло к концу — каждая строка рубила, как острая казацкая шашка: «Если все, описанное мною, заслуживает внимания ЦК, — пошлите в Вёшенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые бы по-настоящему расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные „методы“ пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это».

Есть в письме фраза — да с каким поворотом, с какой ехидцей: «Слов нет, не все перемерут даже в том случае, если государство вообще ничего не даст».

Закончил с явным намеком: «Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу „Поднятой целины“».

«— Семь бед — один ответ! Что нам, не сеявши, к осени с голоду пухнуть, что зараз отвечать, — все едино!» — так Шолохов уже в первой книге «Поднятой целины» выразил предостережение в сцене бабьего бунта.

Прошлые послания вёшенца оставались безответными. Что же будет

на этот раз?

Двенадцать слов из Кремля

Письмо пришло в Кремль. Знать бы станичнику, что поначалу с его посланием поработали опытные аппаратчики, в секретариате Сталина расцвели «входящий документ»: «От Шолохова», «Когда получено?», «Получено 15 апреля».

Затем положили на стол Сталину — с подчеркиванием помощника, который выделил самые колючие строки. То ли для того, чтобы удобнее было увидеть главное, то ли показать, на что горазд этот смельчак. Вернулось письмо к помощнику с двумя пометками-резолюциями: «т. Молотову. Ст.» и «Мой архив. Ст.».

Ответ Сталина был скор и краток — двенадцать существенных слов: «Молния. Станица Вёшенская Вёшенского района Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову. Письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Назовите цифру. 16.IV.33 г. Сталин».

Странно, что вождь просит расчеты на выделение зерна у писателя, а не у местных властей!

Для Шолохова головоломка — как понимать посул: «Сделаем все». И почему нет ответа на просьбу прислать «доподлинных» коммунистов? Неужто Сталин доволен комиссией ЦК во главе с Лазарем Кагановичем, которая побывала на Дону еще в ноябре? Шолохов, как видим, не причислил ее к «доподлинным». Еще бы, ведь он читал в своей областной газете «Молот» навязанное проверяющей комиссией постановление: «Ввиду особо позорного провала хлебозаготовок поставить перед партийными организациями задачу сломить саботаж хлебозаготовок, организованный кулацкими контрреволюционными элементами, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимые со званием члена партии пассивность и примиренчество с саботажниками...»

И все-таки он не понапрасну писал — помощь обещана. Шолохов и секретари двух райкомов без всякого промедления всё, что попросил вождь, рассчитали и подсчитали. Шолохов подписал письмо, начатое просто: «16 апреля. Станица Вёшенская. Дорогой т. Сталин!..»

Сталин опять без проволочек направляет это послание Молотову: «Вячеслав! Думаю, что надо удовлетворить просьбу целиком... Кроме того, нужно послать туда кого-либо (скажем, Шкирятова), выяснить дело и

привлечь к ответу Овчинникова и всех других, натворивших безобразия». Озабоченный, чтобы его поручение исполнили срочно, добавил: «Завтра!»

Потом Дон и Шолохов будут благодарить Сталина — еще бы, такая забота. Знали бы они, что резолюция вождя не отклик сострадания или отречение от пагубной политики на селе. На письме Сталин сделал пометку для Молотова: «Дело это приняло, как видно, „общенародную“ огласку, и мы после всех допущенных там безобразий — можем только выиграть политически. Лишних 40–50 тысяч пудов для нас значения не имеют...»

Сталин в этой своей игре правильно решил не тянуть с ответом — народ тут же должен был узнать о заботе Кремля. Но вопреки расчетам Шолохова зерна почему-то было обещано в три раза меньше запрошенного, всего 40 тысяч пудов. Вёшенцам и соседям нетрудно было сосчитать, что значила эта цифра для 100-тысячного населения. Потому Шолохов опять за письмо: «Дорогой т. Сталин! Т-му Вашу получил сегодня. Потребности в продовольственной помощи для двух р-нов (Вёшенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92 000 населения, исчисляются минимально в 160 000 пудов...»

Тревожно на душе писателя — весна: каждый день дорог, в мае надо заканчивать сев... Пишет Солдатову в последний день апреля: «Положение у нас остается хреновым. Это по всему СКК (Северо-Кавказскому краю. — В. О.). С севом провалились, с харчами... лучше уже не говорить. А можно коротенько и сказать: не только пухнет люд, но и помирает. Во всяком случае, сейчас несравненно тяжелее, нежели в 1921–1922 гг.». Припомнился первый после окончания Гражданской войны голод 1921 года.

Как жить в такой жизни? Может быть, радоваться, что переписывается с самим вождем, что тот посулил помощь благодаря его, Шолохова, вмешательству, что идут в Вёшки на его имя телеграммы от вождя, вызывая почтение у одних, ненависть у других? А может, сделав дело, уехать, уехать — «эвакуироваться», как писал в отчаянии? Писатель остается в Вёшках. Невероятное самообладание!

Он делится своими переживаниями с Левицкой, отвечая на ее письмо: «Дорогая мамаша! У вас нет причин для того, чтобы быть мною недовольной. Ничего не стряслось. И я все такой же, только чуть-чуть погнутый. Сотнями мрут от голода люди, а тысячи и десятки тысяч ползают опухшие и потерявшие облик человеческий... Опухший колхозник, получающий 400 гр. хлеба пополам с мякиной, выполняет дневную норму...» Не обошелся без язвинки: «В интересное время мы живем! До чего богатейшая эпоха! А вы говорите, что я Вам „не нравлюсь“».

Я сам себе не нравлюсь, не глядя на то, что завтра 1 мая».

Сообщил и о том, что два послания Сталину — «единственный продукт „творчества“ за полгода». Каково это для писателя с двумя незаконченными романами.

Дополнение. «Закон о пяти колосках» отозвался в военном романе «Они сражались за родину». Шолохов дал в нем слово старику-овчару: «Мою сноху в тридцать третьем году присудили на десять лет. Отсидела семь, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в этот голодный год на току четыре кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми подышать? Вот за эти десять фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала семь лет».

Не преувеличил писатель. В законе так и было: «В качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет...»

...Молотов не забыл, как Шолохов обличал его в письме Сталину. На старости лет принялся защищаться (когда надиктовал биографу свои воспоминания): «Читаю критиков о Шолохове... Восхваляют: такой он был честный, гуманный, такой добрый, хороший! В Вёшенском районе арестовали несколько человек, так он каждого защищал. Поставил перед ЦК вопрос помочь хлебом... Но так тогда надо всем районам помогать, а за счет чего? За счет рабочих, что ли? Только колоссальное доверие к партии и, в частности, к Сталину помогало держать крестьян и рабочих, чтобы они терпели и шли на новые жертвы... Мы все-таки выстояли перед мировым империализмом». Понять его чувства можно, но и то явствует, что он догматик в оценках этой жуткой страницы прошлого.

Глава вторая

ПРАВДА ЧЬЯ?

Сталин продолжает держать свой народ в неведении, что голод, что мор лютуют. Страна велика, глядишь, не все и прознают.

Предупреждение газеты

Вёшенец не убоился, что за защиту земляков ему «пришьют казачий уклон».

Он берется за новое письмо в Кремль. Упрям — коли решил, то напишет и отошлет.

Мария Петровна одобрила затею — что ей оставалось: мужа не переупрямить. Но у самой, когда шла на почту отправлять письмо, сердце в перестук: казалось ей, что у мужа опасное намерение... Сколько же можно досаждать просьбами Сталину? Говорят, крут, не любит поперечников. К тому же как-никак помог... Конечно, ой, как скудна помощь...

И вот Сталин получает новое письмо. В нем Шолохов пытается открыть ему глаза на ростовскую партвласть: «Вы пишете, т. Сталин, „сделаете все, что потребуется“. А я боюсь одного: поручит крайком тому же Фролову (член бюро крайкома. — В. О.) расследовать вёшенские дела (ему однажды поручали такое), он и начнет расследовать. И получится так, что к ответственности будут привлечены только низовые работники, а руководящие ими останутся безнаказанными».

Сообщает вождю и о продолжающихся репрессиях на Дону: «По колхозам свирепствует произвол. Исключали только потому, что необобществленный дом колхозников приглянулся правлению колхоза.

Исключали, а потом начинали „раскулачивать“... около 2000 семейств. При таком положении все эти семьи обречены на голодную смерть.

Нарсуды присуждали на 10 лет не только тех, кто воровал... Судьи присуждали, боясь, как бы им не пришили „потворство классовому врагу“.

...РО ОГПУ спешно разыскивало контрреволюционеров для того, чтобы стимулировать ход хлебозаготовок».

Закончил так, будто оборвал себя на полуслове: «Ну, пожалуй, хватит утруждать Ваше внимание районными делами, да и всего не перескажешь».

Во имя спасения Дона Шолохов жертвовал своим творчеством. В

послании Сталину было признание: «Письмо к Вам единственное, что написал с ноября пр. года. Для творческой работы последние полтора года были вычеркнуты».

Бедственное время. Устами Кондрата Майданникова в «Поднятой целине» Шолохов откровенно выразил чувства тех лет: «Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем».

Люди жили надеждами. Одни верили, что обещания Сталина свято выполнить заветы Ленина сбудутся скоро-скоро. Другие верили, что не может быть плохо бесконечно. Верили и сплачивались. Или сплачивались, чтобы верить. Росла партия. Рос комсомол. Создавались ударные рабочие бригады. Обнародованы итоги первой пятилетки, и разве не порадовался Шолохов, что построены Сталинградский тракторный, Харьковский тракторный заводы, Ростсельмаш в Ростове, «Коммунар» в Запорожье, «Серп и молот» в Харькове. И все это для сельского хозяйства.

У Шолохова после писем на сердце разное: и тревога — как воспримет Сталин правду, и удовлетворение — он осознает чрезвычайную важность своего поступка.

В стране приказано молчать о бедствии, поэтому писателю надо дважды преодолевать себя — рисковать писать правду и рисковать не верить газетам, которые грубо обманывают.

Таким, как Шолохов, «Правда» дает грозный укорот в редакционной статье: «Заявление о голодной смерти миллионов советских граждан на Волге, Украине и Северном Кавказе является вульгарной клеветой, грязным наветом».

Потом и такое напечатает, будто именно для Шолохова — знай, за кого заступаешься: «Ряд колхозов Вёшенского района проявляют прямой саботаж...»

Нелегко бороться за правду. Среди казаков говаривают: либо полковник — либо покойник. Всяко могло быть под горячую сталинскую руку.

Москва: «Правительственная»

На станичной почте переполох — от Сталина телеграмма!

«23.04 — 7 ч. 57 м. из Москвы номер 101–59. Передано 23.4 в 0–40 м. Правительственная. Станица Вёшенская Вёшенского района Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову тчк Ваше второе письмо только что получил тчк Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи

отпускаем дополнительно для вёшенцев восемьдесят тысяч пудов тчк Верхне-Донскому району отпускаем сорок тысяч пудов тчк Надо было прислать ответ не письмом зпт а телеграммой тчк Получилась потеря времени тчк Сталин тчк».

Телеграмма от вождя с оповещением о помощи шла в открытую. Сколько же людей узнают и в Москве, и на Дону о сталинской заботе!

Не знала Вёшенская, что вослед молниеносной телеграмме Сталин отправил Шолохову письмо, где сообщил о своем отношении к положению дел на Дону. Телеграмма Сталина — для всех, письмо — одному.

Шесть небольших по размеру листков. Написано не на бланке и собственноручно. Почерк разборчивый. Видно, что Сталин торопился — строчки то и дело сползают.

«Т. Шолохову. Лично от И. Сталина.

Дорогой тов. Шолохов!

Оба Ваши письма получены, как Вам известно.

Помощь, какую требовали, оказана уже.

Для разбора дела прибудет к Вам, в Вёшенский район, т. Шкирятов, которому, — очень прошу Вас, — окажите помощь.

Это так. Но это не все, т. Шолохов».

На этом приятное чтение заканчивалось. Далее вождь взял другой тон:

«Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.

Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-совет. работы; вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма.

Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а типичная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили „итальянку“ (саботаж) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути вели „тихую войну“ с Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов.

Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должные наказания. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не

такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали».

Здесь Шолохов не мог не приостановиться — это ему, вёшенцу, «могло показаться издали»?!

Прощальные слова все-таки, кажется, были написаны доброжелательно: «Ну, всего хорошего и жму Вашу руку. Ваш И. Сталин. 6/V-33 г.».

Письмо из Вёшек и Сталин... Не стал отрицать «садизм», правда, для него он — «иногда» и «нечаянно». Но и не дал Шолохову переиграть себя. Пообещал разбирательство, однако заранее оговорил, что Дон виновен в саботаже, а защитник Дона — в политической неразборчивости.

Шолохов должен был уразуметь свое писательское место в общем строю. Ему, неискушенному в высшей политике, преподан вполне земной урок: политика не его дело, не должно защищать тех, кто ведет «войну» с советской властью.

Он начал просматривать «Правду» с особым усердием — вдруг появится отклик на его общение с Кремлем. Его не было. Печаталось то, что углубляло подозрительное отношение к Дону. И тут-то Вёшенский район прогремел на всю страну: «На Северном Кавказе районы, расположенные рядом и находящиеся в одинаковых условиях, дают совершенно различные показатели сева! Например, Верхнедонской, Вёшенский, Константиновский засеяли на несколько десятков тысяч га (гектаров. — В. О.) меньше...» Через несколько номеров снова критика Вёшенского района.

Бросаются в глаза крупные заголовки: «Разоблачить вредительскую теорию», «За глубокую проверку и чистку рядов партии», «Северный Кавказ снизил темпы сева». Все это будто и впрямь для Шолохова: не защищай врагов-саботажников.

В Вёшки прибыл секретарь партколлегии Центральной контрольной комиссии Матвей Федорович Шкирятов. Строг, неподступен и себя не жалеет. Десять дней опрашивал-допрашивал народ — 35 фамилий осело только в его блокноте. Мотался весенними раскисшими дорогами по сельсоветам, заглядывал в бригады, несколько раз брал с собой писателя... Комиссия рассмотрела более четырех тысяч заявлений.

Провожали его с вопросом в глазах: чью сторону возьмет?

Через несколько дней Сталин читал докладную записку от Шкирятова. В ней было и о «незаконных репрессиях», и о «перегибах массового характера», и даже требование «исключить из партии...» виновных. В записке отмечено имя возмутителя спокойствия: «т. Шолохов, как хорошо знающий район, помог мне...» Вывод: «Результаты расследования

перегибов в Вёшенском районе полностью подтвердили правильность письма тов. Шолохова».

Что дальше? Писателя вызывают в Москву. Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович встретились со Шкирятовым и Шолоховым, а также с несколькими ростовчанами. На следующий день продолжился разбор результатов проверки. Присутствовал Микоян, хорошо знавший порядки на Дону. Приглашен был и нарком земледелия, потом двери открылись для ростовского партначальства и для Плоткина.

Итогом разбора стало постановление Политбюро «О Вёшенском районе». Главный пункт: «ЦК считает, что совершенно правильная и абсолютно необходимая политика нажима на саботирующих хлебозаготовки колхозников была искривлена и скомпрометирована в Вёшенском районе, благодаря отсутствию достаточного контроля со стороны крайкома».

После заседания Шолохова стали поздравлять с победой: крайком все-таки осадил. Постановление отметило: «Указать крайкому на недостаточный контроль за действием своих представителей и уполномоченных».

Сталин, однако, победил.

Шолохов на примере своего района говорил о бедах всего Дона и шире — страны.

Сталин останавливался только на одном районе.

Шолохов выявил ту многолетнюю практику издевательств над колхозниками, которая привела к голоду.

Сталин говорил только об «искривлениях».

Шолохов вскрыл жуткую систему произвола.

Сталин свел конфискацию хлеба и репрессии к обычной для осени сельхозкампании с неизбежными-де ошибками.

Шолохов потребовал изменить отношение к колхознику.

Сталин благословил продолжение партийной линии — только бы не случалось перегибов.

Шолохов взыскует ответственности для тех, кто виновен в десятках тысяч смертей и массовых репрессиях.

Сталин свел меру ответственности крайкома только до низшего в партсистеме наказания — «Указать на недостаточный контроль над действиями своих представителей и уполномоченных». Правда, двух крайкомовцев лишили постов, зато отыгрались на районщиках. Поначалу одному из них пригрозили расстрелом, но в конечном счете объявили только «строгий выговор», как и Плоткину, даже из партии не выгнали.

Шолохов прямо подсказал — при упоминании Молотова — откуда бесчеловечная политика.

Сталин ни слова не сказал об ответственности ЦК.

Всем урок от Сталина: и народу, и парторганам, и ОГПУ, и Шолохову-заступнику, и Шкирятову-проверяльщику. Замечу, что через пять лет быть продолжению линии в защите Дона — с теми же именами: Шолохов — Сталин — Шкирятов.

Осознавал ли Шолохов, что даже поражение его и друзей-единомышленников по райкому — для истории победа? Они явили себя истинными коммунистами, и их совесть перед поколениями — чиста.

Шолохов подивился и тому, что постановление Политбюро «О Вёшенском районе» в главной газете партии «Правда» не появилось. Напротив, новые статьи стали еще более политически острыми: «Ряд колхозов Вёшенского района проявляют прямой саботаж выполнения своих хлебных обязательств»... «Правые оппортунисты орудуют безнаказанно. Смычка с кулаком»... «В плену кулацких настроений. Выше классовую бдительность».

Бросаются в глаза в этих же номерах заголовки: «Голодная Англия», «Голодные бунты в Румынии», «Надвигается 4-я голодная зима — письмо из Нью-Йорка». Шолохов чувствовал, как старается агитпроп отвлекать внимание страны от «своего» голода.

В августе 1933-го Сталин пожаловал в Ростовскую область. С какими же целями? Может быть, проверить, как исполняется постановление, и повстречаться с отважным писателем? Шолохов узнал, что вождь вместе с Ворошиловым и Буденным посетили конный завод имени С. М. Буденного. Поинтересовались скакунами.

Об этом «Правда» рассказала. А расскажет ли о том, как ее «постоянный корреспондент» борется за справедливость? Увы, оставит эту его роль без внимания. Главная газета страны и о его творчестве молчит. Вот, к примеру, публикуется информация «Заседание Оргкомитета...», рассказывается, что Горький хвалит организационный дар Панферова (но, замечу, умолчал о гражданском подвиге заступника за Дон Шолохова). Вот статья «О новаторстве, современной теме и читателе», она посвящена литературе о деревне. В ней упомянуты имена Золя, Горького и — Сталина. Не нашлось, однако, места в этой обширной писанине ни для «Тихого Дона», ни для «Поднятой целины».

На последних нервах держится писатель в этом году.

Тут еще крайком не утверждает прием в партию — придрался, что неправильно исчислен кандидатский стаж. Да и дома не всё в порядке.

Сообщает в одном письме: «Этот год не везет мне. Вот уже полтора м-ца, как Сашка заболел коклюшем. Болезнь эта осложнилась простудой, хрипит он и кашляет каждый час. Какая же тут работа? Мария Петровна и мамаша над всей оравой точно клуши». Еще о верной жене: «Моя извелась безо сна...»

...Два года ушло в Вёшенском районе на залечивание ран после неурожая и голодомора. А сколько осталось холмиков с крестами или звездами!

История благодарно сохраняет на скрижалях памяти строки о заступничестве писателей за страждущих и за тех невинных, которые попали под тяжкую длань власти. Лев Толстой в голод начала 90-х годов открыл бесплатную столовую и возвысил свой голос в помощь голодающим с помощью газет, поднялся с протестом против смертных приговоров в первую революцию 1905 года. Владимир Короленко спас отданных под несправедливый суд мултанских вотяков, обвиненных в ритуальном убийстве, и в числе прочих статей в защиту правды написал очерк «В успокоенной деревне» (о котором Шолохов упоминал в письме Сталину). Чехов славен и поездкой на Сахалин для изучения быта каторжников, и участием в спасении голодающих...

Но еще не воздано должное Михаилу Шолохову за гражданский порыв, значимость которого невозможно преувеличить — он заступился за 100 тысяч несчастных! Он защищал крестьянина от жестокой власти! Жаль, что ни политики, ни историки, ни писательская и журналистская общественность все никак не догадаются — с поклонной благодарностью — включить это немеркнувшее деяние своего соотечественника в свод самых великих событий отечественной истории.

Дополнение. Вопросы для будущих исследователей. Отчего Сталин свои послания Шолохову скрыл: не опубликовал в тогдашней «Правде», не включил позднее в свои сочинения? Напечатал ведь письма того года к другим писателям — к Безыменскому, Биль-Белоцерковскому, Микулиной — и немало пустых поздравительных телеграмм. Почему же отказался лишний раз предстать перед народом благодетелем, а перед творческим цехом — политнаставником?

Почему Шолохов скрывал свою борьбу со Сталиным при жизни Сталина, догадаться нетрудно. Но почему не включил свои письма в собрание сочинений в хрущевские времена, когда разоблачения Сталина приветствовались?

Трагикомедия в драматургии

Тяжко жить. Шолохову всего 28 лет, и по природе своей душа писателя утонченна и впечатлительна. Одно дает покой — забота семьи и внимание истинных друзей, и, увы, совсем редкие занятия литературой, и совсем нечастая сейчас возможность отвести душу на охоте и рыбалке.

Фадеев поинтересовался в письме: «Как идет работа над второй книгой „Поднятой целины“ и пишешь ли дальше „Тихий Дон“? Подай весточку о себе...» Не стал отвечать. Да и что отвечать. Ни творческого настроения, ни просто времени не остается даже на саморедактуру третьей книги «Тихого Дона». Признается с горечью в мартовском письме Левицкой: «Тут книжку никак не отделаю, чтобы дюжее блистала...»

Правда, взялся подредактировать очередное — в 1933-м — переиздание «Тихого Дона». При этом не только совершенствовал сам по себе стиль. Едва ли он был верующим, но точно не хотел прослыть богоборцем. В издании 1931-го все читали: «Старик Гришатка... мусолил глазами Евангелие». Отныне появилась иная редакция: «Дед Гришатка... читал Евангелие». Одно слово поменял, но воистину времени вопреки! Еретик для партии атеистов.

Шолохов пытается следить за литературной жизнью в столице, в чем «Правда» помогает. В апреле опубликована огромная и погромная статья — «О социалистическом реализме». Крепко побиты Сергеев-Ценский и Андрей Платонов. Досталось Артему Веселому: «Искажение смысла действительности. Реакционное и враждебное изображение действительности...» Шолохов знаком с каждым из них, потому равнодушно читать не мог.

В другом номере информация о том, что Фадеев, Всеволод Иванов и Паустовский объединились с комсомольскими писателями Безыменским и Львом Кассилем. Напечатали обращение: «Ко всем писателям. Создадим художественные рассказы для детей». С истинно комсомольским призывом: «Вызываем: Н. Тихонова, Алексея Толстого, М. Светлова...» В этом же списке названы Серафимович и Панферов. Но — странно! — в шеренге «вызываемых» отсутствуют Горький, Михаил Булгаков, Пастернак и он, грешный. Может, стали сомневаться в его возможностях или побаиваются, что напугает пионерию правдой?

В мае, в день рождения писателя, в газете появились два сообщения. Встреча авторов «Октября» с читателями... Открытие заседания редколлегии «Октября»...

О нем, авторе журнала и члене редколлегии, — ничего. Явно пожинал то, что сам высевает второй год. Главный редактор журнала ему в высшей степени несимпатичен. Да и вообще он держится в стороне от внутриредакционных игр.

У Шолохова свои тихие радости — все-таки отходит душа от весенних сражений. Выкроил несколько дней для гостевания у Серафимовича, в станице Усть-Медведицкой, а нынче по решению ЦК уже город Серафимович. Наговорились досыта... Другая радость. В августе собрался наконец-то приехать к Шолохову зять Левицкой Клейменов. Лето помогло преодолеть последствия голода, потому столь безмятежно письмо Левицкой, которое гость увез с собой. В нем все дышит покоем, есть даже такие строки: «Пару куропаток — в вещественное подтверждение наших охотничьих успехов — посылаем Вам... На будущий год ждем Вас... До свиданья! В сентябре, в конце месяца, буду в Москве. С радостью увижу Вас. Мар. Петр. и бабушка шлют привет. Ваш М. Шолохов».

...Та отредактированная Шолоховым книга «Тихого Дона» вышла со словариком казачьих слов и оборотов. Значит, нашел время поучаствовать в его составлении.

...Пришел черед исполнять наказ Сталина о необходимости новых пьес. То Фадеев проявился с письмом: «Дорогой Миша! Сейчас по почину нашему и киноработников совместная работа писателя с режиссером входит в моду... К этому делу мы хотим привлечь и тебя».

В мае началось «привлечение» по чистой вроде бы случайности. Известному тогда кинорежиссеру из Тбилиси Николаю Шенгелая на вокзале в газетном киоске подвернулась книга с диковинным для грузина названием «Поднятая целина». Взял, прочитал, понравилась. Предложил автору сделать фильм. Писатель подготовился к встрече — посмотрел кое-что из лучших его картин: впечатлило. К концу июля сговорились вместе сочинить сценарий. Деловит Шолохов — пишет режиссеру: «Кто будет играть?.. Помнится, Вы обещали оставить в Москве фотографии... Мне очень хочется, чтобы картина была хорошей. Удачный подбор людей решает, Вы это знаете лучше меня». Уточнил: «Не думаете ли Вы, что роль Лушки подошла бы Вашей жене, талант которой я очень высоко расцениваю...» Речь шла о Нате Вачнадзе, которую он назвал «грузинской Верой Холодной». И этим выказал хорошее знание киногоеничной женской красоты.

Киношные дела переползли на следующий год. Тогда, 15 января, и написал Левицкой, причем, кажется, больше с сожалением, чем с гордостью: «Целый месяц просидел со своим кинорежиссером над

сценарием по „Целине“». Быть ли фильму? Пока никто еще ничего толком не знал.

«Целину» собрались поднимать и на сцене. Шолохов узнает, что о пьесе по этому роману мечтают многие театры. Кто возьмется переделывать роман в пьесу? Сам он не выказал желания. Нашлись два смельчака. Тут-то был затеян с шумом на весь литературный мир спектакль — скандальный и интриганский, куда ввергли и Шолохова. И грех и смех ему от этой своей «главной роли». Оба драматурга по вполне понятным причинам обратились к нему со своими пьесами за одобрением.

Первый — Николай Крашенинников — в октябре 1933-го получает шолоховскую телеграмму. Уже первая фраза, как разрывная пуля: «Впечатление от пьесы убийственное...» Тот в ответ в полной растерянности — отстреливается тоже телеграммой: «Пьеса литирована высшей литерой... Идет ряде городов...» Он твердо помнил, что еще в июле получил из Вёшек уведомление: «Доверяю т. Крашенинникову инсценировать мой роман „Поднятая целина“. Передаю ему исключительное право постановки пьесы в Москве и Ленинграде... Доверяю вести переговоры прежде всего с Театром им. Вахтангова...»

Второй акт этой драматической истории навязывает новый сюжет. Ленинградский профсоюзный театр потребовал отменить монопольное для Крашенинникова право: «Необходимо творческое соревнование...» И на авансцену выдвинуто новое действующее лицо — второй драматург: Иосиф Винер.

Шолохов на распутье. Думал, думал и обнародовал, как показалось ему, всех устраивающее решение: Ленинградскому театру разрешил ставить пьесу по Винеру («За вычетом ряда мелочных недостатков и несколько неудобного конца»); Крашенинникову позволил постановку в Вахтанговском театре («Вечерняя Москва» сообщила: «Шолохов высказал после просмотра ряд замечаний...»).

Прошло два года. Третий акт. Шолохов опустил занавес: отказался от прежнего мнения. На этот раз его оценки пьес были бесповоротно отрицательны.

Совпадение — как раз с этого времени к Шолохову потянулся литературный молодняк. Ему всего-то 28 лет, но для многих он уже мэтр. Летом 1933-го ему в Вёшки пришла бандероль с только что вышедшей книгой и письмом: прочтите, пожалуйста, жду отзыва. Ну, совсем, как он сам некогда писал Серафимовичу. В ноябре — ответное послание: «Товарищ Штительман! Примите 100 моих извинений. Только недавно прочитал. Книга теплая, и я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень.

Когда холодно, теплое согревает. Привет! Мих. Шолохов». С этим писателем доброе знакомство он свел надолго.

Не всех привечал. Настырная бездарь получала отпор. Один такой понадеялся на благодушие — вдруг поддержит, а читал в ответ ядовитое: «Прежде чем чеботарь чирики шьет, он учится щетину в дратву всучивать...» И была эта метафора убедительна: не познав азов своей профессии, не стать писателем.

В конце года Шолохов вдруг вспомнил о Плоткине. Тот был как бы в бегах после решения ЦК о лишении права работать в Вёшках — уехал в Киев. Ему от Шолохова письмо, с лукавинкой: «Ты снова на заводе... Плохо только то, что получил повышение в чинах и бросил слесарное дело. Ну какой из тебя снабженец? Где это видано, чтобы евреи торговали или снабжали?» Потом о серьезном: «Сяду дописывать „Тих. Дон“». И такое философствование — чего не было раньше, не будет и в будущем: «Жду весны. Всю жизнь все мы чего-то ждем, да так и умираем, не дождавшись самого главного. А может, умирание и есть „самое главное“?»

Дополнение. Храню в своем домашнем архиве выпущенный тиражом в полтора миллиона календарь-картонку на 1933 год. Он держит в себе дух времени, ибо снабжен девятью лозунгами-призывами. Они помогают понять мир чувств — наисложнейший — Шолохова. Он жил в том времени, которое Сталин хотел видеть стремительным и победным, но — выделю — одномерным, потому что идеологическая стратегия оставила без внимания тонкие движения человеческих душ.

«Со знаменем Ленина добились мы решающих успехов в борьбе за победу социалистического строительства» (Сталин).

«Судьбу сельского хозяйства и его основных проблем будут отныне определять не индивидуальные крестьянские хозяйства, а колхозы и совхозы» (Сталин).

«За ленинскую национальную политику, за единство и братство трудящихся всех национальностей СССР».

«За единство ВКП(б), за ударничество, социалистические темпы строительства, за соцсоревнование — против оппортунистов всех мастей, прогульчиков и вредителей!»

«В стране, вступившей в период социализма, не должно быть неграмотных. Превратим СССР в страну сплошной грамотности!»

«Больше угля, стали, меди, нефти и машин!»

«Техника в период реконструкции решает все!» (Сталин).

«Ни пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка

своей земли не отдадим никому!» (Сталин).

*«МОПР — школа интернациональной и пролетарской солидарности».
(Это о Международной организации помощи революционерам. — В. О.)*

И вся эта торжественная симфония во славу усилий идти в новое общество, выходит, сливалась с настроем Шолохова писать горькую правду о том, что творилось в обществе. Сталин узнал из писем Шолохова ужасающую картину того, во что превратился Вёшенский район к 1933 году:

«1. Хозяйств — 13 813; 2. Всего населения — 52 069; 3. Число содержащихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр. — 3128; 4. Из них приговорено к расстрелу — 52; 5. Осуждено по приговорам Нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ — 2300; 6. Исключено из колхоза хозяйств — 1947; 7. Оштрафовано (изъяты продовольствие и скот) — 3350 хозяйств...»

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

Письмо из «одиночки». Съезд без Шолохова. Сталин и опера «Тихий Дон». Была ли вторая книга «Поднятой целины»? Подчеркивания Ежова и Поскребышева. Шкирятов в роли проверьщика. Статья к 60-летию вождя. Анна Ахматова, Андрей Платонов. Нобелевские лауреаты

Глава первая

1934: «...НАШЕЛ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ ПИСАТЕЛЯ»

Есть две надежно выверенные временем поговорки: «Правду говорить — себе досадить» и «Все минется, одна правда останется».

Как жилось, думалось и писалось Шолохову после того, как получил письмо Сталина, где тот отчитывал его за односторонность взглядов на положение крестьянства?

Позиция районных газетчиков

Шолохов даже за новогодним столом не мог не вспомнить о том, что через полмесяца предстоит особое событие — собрание в редакции районной газеты, где стоит на учете кандидат в члены ВКП(б) М. А. Шолохов. Здесь и будет решаться его партийная судьба — сколько еще пребывать ему в звании кандидата.

Быстро менялась страна. Вождь в 1934 году на очередном партсъезде с немалыми основаниями заявит: «Страна переведена в сравнительно короткий срок на рельсы индустриализации и коллективизации. С успехом осуществлена первая пятилетка. Это рождает чувство гордости и укрепляет веру в свои силы у наших работников».

Сталин призывал развивать экономику, но скрыл, что народ, ввергнутый в ужасы голода в 1932–1933 годах, понес большие жертвы. Напротив, он щедро величал народ «строителем нового общества», а лучших людей — ударниками, стахановцами, передовиками, героями.

В этом году Шолохов пишет по какому-то обыденному поводу по обычаю скупую «на чувства» автобиографию, но вдруг взял и обогатил ее признанием: «И теперь, пожалуй, окончательно „нашел себя“ в профессии писателя, в этом тяжелом и радостном труде».

Как же тесно сходятся события в жизни Шолохова. Почти одновременно с партсобранием в станице готовится XVII партийный съезд в столице.

Уже вечером, 15 января, сразу после собрания, явно взбудораженный, он взялся за письмо Левицкой: «Чистки у нас еще не было, но в члены меня перевели (вопреки постановлению ЦК) и ходатайствует (райком) об

утверждении этого решения. А Вы говорите — „сочувствующий“. Я свое уже отсочувствовал и все время пребываю „активным кандидатишкой“».

«Вопреки постановлению ЦК»... Это крайкомом разыграна такая карта в игре на дискредитацию писателя и райкома. Секретарь крайкома без всякого предупреждения пожаловал в станицу и явился на собрание. Когда выступал против Шолохова, прикрыл свой черный замысел документом из ЦК «О проведении чистки членов и кандидатов партии в 1933 году». В нем говорилось не только о том, что кампания проходит с целью «улучшить качественный состав», но содержалось и то, что было использовано против Шолохова: «Прекращается со дня опубликования настоящего постановления перевод в члены партии, как в городе, так и в деревне». Теперь ясно: секретарь райкома Луговой разрешил Шолохову перевод, об этом узнали в Ростове и решили помешать. Формальное обоснование есть. Об «улучшении качественного состава» при имени творца не подумали.

Газетчики, известно, народ не очень-то боязливый и скор на сопротивление, к тому же успели посоветоваться с Луговым. Выслушали высокопоставленного гостя и в отпор: «Знаем, знаем Шолохова, он наш земляк, на наших глазах вырос».

В конце января открылся партсъезд. Шолохов потом узнал, что каждого делегата одарили весомым картонным пакетом с надписью: «Делегату XVII съезда партии», где были аж четыре романа Панферова, первый — «Бруски».

Хорошее настроение у делегатов. По предложению Сталина съезд назвали съездом победителей — считали, что страна добилась триумфа в строительстве социализма. Шолохов в эти дни старался выуживать из «Правды» самое главное. Речи, речи, речи... Цвет партии дает свои оценки прошедшему и сообща намечает преобразования на будущее. У одних речи чисты, как и совесть, — многим из них быть в последний раз делегатом. У других — унижения: каялись в антисталинских уклонах. Третьи пытались сохранить себя подхалимством, хотя еще вчера слыли настоящими революционерами. Согнул их вождь: одних страхом репрессий (кличка «оппозиционер» — это строка для «дела» в ГПУ), других заставил предать свои убеждения под страхом раскола партии — необходимо-де единство.

Шолохов читает то, что говорится о деревне, о крестьянстве. Но никто — никто! — не сказал ни слова о недавнем голоде с его миллионными жертвами. Будто и не было. Зато лавина славословий вождю.

Еще и десяти месяцев не минуло, как он обращался к Сталину вот так запросто: «Дорогой т. Сталин! Т-му Вашу получил...» А тут выступает

земляк — секретарь крайкома: «Мы знаем, что наша партия выдвинула вождя, который обеспечивает нам правильную партийную линию...» Нарком Микоян, он же и кандидат в члены Политбюро, — будто напрочь застило память на голодомор, говорит: «Гениальное руководство товарища Сталина партией за пять лет борьбы привело нас к тому, что в 1933 году одни только колхозы дали больше хлеба, чем все помещики и кулаки, вместе взятые, в 1913 году». Зиновьев и Каменев выступают, чтобы покаяться, и тоже славят вождя. Первый о докладе Сталина: «В своем докладе-шедевре...» Второй: «Да здравствует наш, наш вождь и командир товарищ Сталин!» Поднимающийся в гору Берия тоже не отстает: «Да здравствует великий Сталин!»

Шолохов узнал, что на съезде дважды было помянуто его имя. Юдин, партиец, который по заданию ЦК помогает создавать Союз писателей, процитировал слова одного книгочея из батраков: «Из новых книг прочитал почти всего Новикова-Прибоя, Серафимовича, Горького, Шолохова, Панферова».

Панферову оказана честь: ему, не делегату съезда, предоставлена трибуна для речи. Единственному от писателей! И как начал-то свое обращение к залу: «Товарищи, вы разрешите мне как автору романа „Бруски“ говорить языком „Брусков“». Невзрачной оказалась его речь уже с первых похвальных фраз, где перечислил в «положительном плане», но не в несоразмерной упряжке — имена: Горький, Серафимович, Фурманов, Неверов, Фадеев, Шолохов, Шухов, Безыменский, Бела Иллеш, Гидаш, Киришон, Ставский, Вс. Иванов. Шолохов, небось, ухмыльнулся: в одном казане и сазаны, и шустрые ершики.

Никто не назвал на съезде «Поднятой целины». Ни Сталин в докладе, ни тогдашние идеологи, ни собраты по литературе, ни делегаты колхозных партийцев. Однако же всякий делегат от колхозников захлеб говорил про коллективизацию. Подрагивающая в магнитных напряжениях стрелка съездовского компаса указывает не на «Целину», а на «Бруски». В этом многотомном романе в активных героях — Сталин. Оделили похвалами еще несколько сочинений — «Я люблю» Авдеенко, «Большой конвейер» Ильина, «Капитальный ремонт» Соболева...

Прогибающиеся критики быстрехонько смекнули, в какое противостояние попали «Бруски» и «Поднятая целина». Соперники! Но чему отдать предпочтение? Один сподобился о Панферове сказать уже так: «Бальзак наших дней».

Максима Горького шумиха вокруг Панферова стала раздражать еще до съезда. Видимо, потому, как раз в эти дни, он решил напечатать в

«Литературной газете» статью «По поводу одной полемики» с критикой «Брусков». Но не успокоился. Через полмесяца опубликовал открытое письмо одному из главных восхвалителей новоявленного Бальзака — Александру Серафимовичу. Ну и положеньице сложилось у почтенного старца: дружит с Шолоховым — объединился с Панферовым. И вот — укоризны от Горького: «Вы канонизируете Панферова...»; «Критика не удосужилась сопоставить „Бруски“ с „Поднятой целиной“...»; «Вы утверждаете: „По произведениям Панферова учатся сейчас и в будущем будут изучать нашу эпоху“. Мне кажется, что хотя мы и протопопы, но нам следует воздерживаться от пророчества...»

Сталин хвалит Панферова. Горький его изничтожает. Рискованная затея. Адресность критики легко вычислялась. Еще бы: на съезде названы главные «литературоведы» страны. Один из ораторов произнес: «Товарищи Сталин и Каганович уделяли и уделяют огромное внимание литературному фронту... Они не раз вызывали нас, не раз беседовали с нами, давая нам свои указания».

Указания от вождя... Шолохов мог бы вспомнить свои общения со Сталиным: встреча, похожая на допрос, но увенчанная разрешением печатать «Тихий Дон» (догадывался ли, сколько в будущем выпадет роману цензурных экзекуций); тост за Шолохова (но и приговор Мелехову); разрешение печатать «Поднятую целину» (при последующих придирах редакторов); в голод не отвернулся (но попрекнул за политическую неразборчивость)... При имени Кагановича мог бы вспомнить, как после его поездки на Дон ему, Шолохову, припаяли обвинение в контре.

Однажды мне такое рассказал: «Этот деятель любил учить нашего брата. Как-то даже осторожный Фадеев не стерпел и прямо при Сталине брякнул: „Лазарь Моисеевич, — сказал, — вы в литературе ничего не понимаете, а лезете со своим мнением!“ Сталин засмеялся, а Каганович сидел красный как рак».

...В феврале 1934-го в журнале «Кино» появилась сенсация — Шолохов и Шенгелая известили, что пришли к общему мнению, каким быть сценарию фильма по «Поднятой целине». Можно представить, как пылкий грузин и упрямый, а при случае и взрывоопасный казак приходили к этому мнению в спорах, в застольях тоже! Шолохов обнадеежил читателей журнала: «Шенгелая понимает меня и одинаково со мной думает о героях „Поднятой целины“». Писатель спокойно-деловит: «Перед пуском в производство мне хотелось бы напутствовать Шенгелая единственным пожеланием... Мне хочется, чтобы максимум внимания и чуткости было проявлено в подборе актеров...»

Увы, соавторы в своем оптимизме не предусмотрели главного — всех сложностей киномира. Некто из влиятельных тогда литдеятелей — из партийных ортодоксов — дал бой сценарию. И получил поддержку Госкинопрома. Сопротивлялись только двое — Шенгелая и Шолохов. Счет не в их пользу. Поражение!

«Групповые зазывалы»

После партийного съезда Сталин и ЦК взялись за подготовку писательского. Все чаще в газетах и журналах появлялись статьи о проекте Устава Союза писателей и о том, какой быть советской литературе при едином писательском союзе. Вряд ли кто был против такого союза. Писателям до чертиков обрыдло агрессивное властолюбие ортодоксов-рапповцев; их с иронией называли «рапсодами». Эти самые «рапсоды» все еще бились за свое место под сталинским солнцем — не хотели съезжать с литолимпа. Обвиняли в нереволуционности всех и вся. А ведь слышали, что прозвучало на партсъезде о вожде: «Товарищ Сталин, между прочим, учил нас относиться к писателю бережно, ибо, говорил он, литература — дело тонкое!» Но то была ложная тревога.

И в канун, и после съезда полно забот и у идеологической obsługi, и у работников ОГПУ-НКВД, и у свирепо услужливых критиков. Арестованы «крестьянский поэт» Николай Клюев и ничем с ним не схожий Осип Мандельштам. Почти десять лет не выходят книги Ахматовой. Травят Сергея Клычкова, Александра Ширяевца, Петра Орешина... Среди гонимых Михаил Булгаков, Бабель... Мучаются творческой неволей Пришвин (все его главные раздумья скрыты от постороннего взгляда в обширных дневниках), Платонов и Сергеев-Ценский. Шолохов к этим трем писателям относится с пиететом. Он видел, сколько услужливых перед властью литераторов осчастливлено изданиями и переизданиями, гонорарами, достатком, славой, вниманием, а ведь книги-то их бабочки-однодневки.

Ему тоже предстояло быть отмеченным перед съездом, только наособицу. Фадеев печатает в «Литературной газете» с самыми благородными намерениями директивную статью «За хорошее качество, за мастерство!». Не обошел и вёшенца, сначала профессиональной похвалой: «Идет к обобщению и типизации, опираясь на бытовую, „натуралистическую“ деталь», а напоследок — критикой: «Иногда за этими деталями не видно целого». Догадывайся, мол, читатель, — какого же

такого «целого» не углядел Шолохов в своих романах о революции и Гражданской войне, о коллективизации и раскулачивании?

Критика не случайна. Те, кто ведет подготовку писательского съезда, не очень-то жалуют Шолохова. Один из них — недавний партбонза Сольц — делает доклад в Оргкомитете. Ему вопрос: как он относится к современной литературе? Ответ с издевкой: «Память у меня стала плохая. Что ни прочту, забываю. Вот Шолохова прочитал „Поднятую целину“ — и сейчас же забыл». Корней Чуковский шел домой после этого заседания вместе с Лидией Сейфуллиной и услышал от нее об этом Сольце брезгливое: «Надоели либеральные сановники».

Шолохов в это предсъездовское время написал статью (полтора месяца работал) и теперь в открытую высказал свои профессиональные взгляды и убеждения. Не скрыл, с кем он и против кого. Написал Горькому: «Дорогой Алексей Максимович! Посылаю статью Вам на просмотр. Если сочтете нужным исправить, исправьте. Но только, пожалуйста, не давайте резать ее оргкомитетчикам. Они так искромсают, что от статьи останутся „рожки да ножки“».

По счастью, статья миновала цензуру «кромсальщиков» в «Литгазете». Наверняка Горький воспользовался своим авторитетом и властью председателя Оргкомитета.

18 марта 1934 года статья увидела свет. У нее вызывающий заголовок: «За честную работу писателя и критика». Она совсем не в духе времени. Автор не наставляет братьев по перу указаниями из разряда идейно-политических, не употребляет расхожих выражений о роли литературы и литераторов в сталинской пятилетке, не откликается на недавнюю программную статью «Литературки» с таким директивным наставлением: «У нас есть величайшие люди эпохи, — у нас был Ленин, у нас есть Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов. А в художественной литературе у нас нет еще показа людей такого великого ума и революционного размаха, как наши вожди. Дать образ этих людей в литературе надо обязательно. Во главе Коммунистической партии стоит величайший, гениальнейший из людей современности — т. Сталин».

Вскоре появляется еще одна статья, написанная в Вешках, — «Английским читателям», по случаю подготовки к выходу «Тихого Дона» в Англии. И в ней тоже нет никаких агитлозунгов.

С чем же Шолохов выступил в статьях? Не только поддержал Горького в борьбе против пренебрежения классическими традициями языка и внедрения псевдонародных и иных жаргонов, а это тогда стало модным поветрием.

Он выступил против тех, кто «загромождает» литературу «антихудожественными, литературно-безграмотными и бесталанными произведениями», то есть против политиканствующих скорописцев. Предупредил об опасности зарождающегося «литвождизма» и осудил порядки, когда «ничтоже сумняшеся» объявляют романы «лит. вождей» «монументальными памятниками нашей великой революционной эпохи». Не иначе как камень в панферовский огород. Озабоченно отметил «отсутствие добросовестной, серьезной, отвечающей за свое слово критики».

Потребовал от «групповых зазывал» прекратить «расхваливать» «своих» писателей и порочить «инаковерующих». Высказался о литполитприспособленцах: «Плох был бы тот писатель, который приукрашивал бы действительность в прямой ущерб правде...»

И наконец, предупредил, чтобы никто не ждал от него сладеньких сочинений: «Книга моя не принадлежит к тому разряду книг, которые читают после обеда, единственная задача которых состоит в способствовании мирному пищеварению».

Только захлебнулась его атака против спекулятивной литературы и нечестивых литераторов. Сильные мира сего — опытные тактики. У них своя контратака: замалчивание! Даже на писательском съезде об этой программной статье — ни слова: не заметили, и всё тут.

Заметил однако же узник суздальского политизолятора Мартемьян Рютин. Этот недюжинной отваги партиец-антисталинец был осужден на долгие годы одиночки (закончившиеся расстрелом). Он не просто заметил статью, она стала событием в его безрадостном тюремном прозябании, чем поделился в письме сыну... «Враг народа» выделил и одобрил и в самом деле главную мысль — неприятие приспособленческой литературы. Ему явно было по душе, что раскритикован колхозный роман Панферова. Приметил и то, что Горький и Шолохов в этом едины, о чем написал: «Поделом на него обрушились Горький и Шолохов». Было в письме обреченного человека и такое: «Слежу внимательно за подготовкой к съезду писателей...»

На первой неделе апреля Шолохов отправил Левицкой из Вёшек очередное письмо. В нем сообщил, что закончил еще одну главу из четвертой книги «Тихого Дона»: «Главу эту писал долго, и вышла она у меня так, что после того, как перечитал, — у самого в горле задрожало». Добавил: «И все боюсь, что не закончу или плохо напишу, не так, как надо бы» (одного не предугадал — не дадут ему завершить роман ни в этом году, ни еще пять долгих лет).

Помянул Панферова: «Ведь окончательно испохабился человек и не брезгует никакими способами в своем продвижении вверх по литературно-иерархической лестнице».

Тревожится, что пришла «плохая» весна: «Третью неделю дует суховей, снег потаял, но земля сухая. Работа идет туго... И уже давно, с января примерно, пухнут люди. Не все... но многие». Добавил: «Мужество надо иметь, чтобы писать сейчас о любви, хотя бы и горькой». Обозначил, что как раз сочиняется, «как милая, несчастливая Аксинья долюбливала Григория».

Дополнение. Из высказываний Шолохова о предшественниках: «Толстой непостижим... Чехов... Не научились мы еще писать, как старики писали. Это отнюдь не самоуничтожение. Мы работаем не на полную мощь... Чехов никогда не выпускал „полуфабрикатов“. И брака у него не найдешь...»

Заседание Политбюро

Май. В последний день этого хорошего на Дону месяца — сев закончен, рыбалям раздолье, а Шолохов азартный рыбак, — в Москве вёшенца вспомнил Сталин.

Горький задумал выпуск сборника «Люди первой и второй пятилетки», для чего решил создать редколлегию. Вождь с пристрастием изучил список членов редколлегии и остался недоволен. Он уже вывел формулу, надолго ставшую крылатым выражением: «Кадры решают все!» И вычеркнул Бухарина, хотя тот был кандидатом в члены ЦК, но вписал имена Радека, Киршона и Шолохова. Однако никому из них не довелось поработать членом редколлегии. Первым двум через некоторое время будет не до книг о героях пятилеток — попадут в списки «врагов народа», а Шолохов не проявит усердия в исполнении поручения вождя, не станет отвлекаться на сборник. У него появятся иные заботы.

Все-таки сказались последствия постановления Политбюро — снова угрожает голодомор, ибо не отменено насильственное изъятие зерна. Кому же Дон на этот раз выручать?

14 июня 1934 года. Шолохов посетил Сталина. Час с лишком убеждал вождя и его ближайшее окружение, что надо срочно предотвращать повторную беду. Сталин и на этот раз был скор в решениях. Создал комиссию из десяти влиятельных деятелей партии и народного хозяйства,

куда включил даже Жданова и Микояна. Список — по алфавиту — завершался Шолоховым. И через неделю с небольшим Политбюро утвердило постановление ЦК и Совнаркома о помощи Дону.

В том же протоколе Политбюро был еще один пункт: «О поездке т. Шолохова за границу». В тексте: «Разрешить т. Шолохову поездку в Данию и Англию на 1 месяц с выдачей валюты». Под протоколом подпись: «И. Сталин».

Чем же было обеспокоено Политбюро в этот день помимо забот Шолохова? В протоколе едва ли не двести пунктов. Что-то обсуждалось на самом деле, что-то лишь обозначалось как проекты с предварительно собранными подписями. Тут вопросы и о снижении цен на рыбу и масло, и о награждении героев-челюскинцев, и об организации «Общества культурных связей СССР и Китая», и о создании учебника древних времен для школьников, и о строительстве писательского дачного поселка в подмосковном Переделкине...

Качнулся политический маятник по велению Сталина в сторону писателя. Не часто в те времена разрешали выезд за границу. И еще одно чудо — Шолохов попал в комиссию государственного ранга.

Вскоре писатель обнаружил на второй странице «Правды» крупный заголовок: «На партийной проверке — писатель Шолохов». В заметке (доброжелательной) говорилось, что он прошел партчистку. Но почему об этом сообщили спустя полгода? Может, газета ждала некоего сигнала сверху? Было в ней и такое, чему Шолохов мог бы подивиться: «По сигналу Михаила Шолохова не раз принимались меры по исправлению перегибов, имевших место в Вёшенском районе...» В первый и последний раз было сказано в открытую, для всех, пусть и туманно, что смелый писатель схватывался с виновниками голодомора.

29 июня 1934 года — сенсация от «Комсомольской правды». В ней опубликована беседа с Шолоховым о ближайших творческих планах. Уже заголовок поразил — «Пьеса о колхозе»: автор отказался от переделки «Целины» в пьесу — «решил создать оригинальное драматургическое произведение, тоже на колхозном материале». Он сообщал даже некоторые подробности: «Сугубо реалистическая! О старых и новых крестьянах или — точнее — об „отцах и детях“ крестьянского происхождения». Уточнил: «Такую пьесу я даже начал, написал почти половину...», однако же дальше шло: «Временно отложил, чтобы закончить свои романы».

Не обнародовал Шолохов никаких пьес, даже когда закончил романы, как не вышли, помним, и охотничьи рассказы, хотя 17 августа «Комсомольская правда» сообщала: «Шолохов начал писать рассказы».

Чем же еще сопровождалось предсъездовское время? Объяснениями Панферова с Горьким. Панферов не снизошел до Шолохова. Поклонился Горькому — в письме, через пять дней после статьи Шолохова. Писал, сломив гордыню: «За эти дни я немало передумал и хотел бы с Вами побеседовать по душам, открыто, чтобы раз и навсегда устранить те недоразумения, которые мешают мне, несмотря на все мои искренние стремления, работать с Вами и под Вашим руководством».

Горький ему не поверил. Но знал, кто защитник Панферова. Направил Сталину послание — разоблачительное: «Я не верю в искренность коммуниста Панферова, тоже малограмотного мужика, тоже хитрого, болезненно честолюбивого, но парня большой воли. Он очень деятельно борется против критического отношения к „Брускам“, привлек в качестве своего защитника Варейкиса, какой-то Гречишников выпустил о нем хвалебную книжку, в которой утверждается, что „познавательное значение „Брусков“, без всякого преувеличения, огромно“, и повторена фраза из статьи Васильковского: „Брусков“ не заменяют и не могут заменить никакие, даже специальные, исследования о коллективизации».

Далее пишет: «Разумеется, в книжке этой нет ни слова о „Поднятой целине“ Шолохова и о „Ненависти“ Шухова. Вполне естественно, что на этих авторов неумеренное восхваление Панферова действует болезненно и вредно».

Мало кто знает, как нужны Горькому союзники — он готовит съезд по некоторым позициям в тайном противодействии Сталину и его комиссарам в Оргкомитете. Увы, не все удалось. К тому же в мае переживает смерть сына. Но болезненный человек очень преклонных лет все-таки собрал силы. Выступил против тех, кто был прислан в Оргкомитет из ЦК.

И все же победа будет за Сталиным. Совсем немного удалось Горькому. Ему разрешили, к примеру, пополнить список членов правления будущего Союза писателей из ста персон лишь семью «его» кандидатурами.

Итак, Шолохов все эти предсъездовские месяцы вместе с Горьким, а значит, против проявлений той тотальной политизации литературы, которая навязывалась Кремлем. Отмечу тех, кто в дискуссии поддержал Горького заодно с Шолоховым — Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Лидия Сейфуллина и Леонид Леонов.

Леонов потом вспоминал, как однажды Ягода, нарком-палач, пьяный спросил: «„Скажите, Леонов, зачем вам нужна гегемония в литературе?“ И я понял: конец. И тогда я сам притворился пьяным, взъерошил волосы и ответил: „Что вы, Генрих Григорьевич! Какая гегемония? Мне нужно, чтобы

на голову не срали. А то сползает на глаза, я бумаги не вижу...” В ответ: „Ха-ха-ха...” Смеется. Значит, на этот раз пронесло».

Максима Горького с конца 80-х годов XX века начали ниспровергать. Был апостолом, но превращен во множество статей и речей в антихриста-сатану. За что проклинаят? Будто бы за пособничество «репрессивной сталинщине». Как и Шолохова. Оба сводятся до одномерной схемы. Подлинная же их судьба и подлинное отношение Горького и Шолохова к жизни не втискиваются ни в какие примитивные схемы.

Дополнение. Отношение Горького к творчеству Шолохова проявлялось не только по досадным поводам: выяснять, был ли плагиат, или защищать от оголтелых критиков. В противопоставление поверхностным оценкам, — чаще всего замешанным на политике, — он подметил очень важное (в разговоре с ростовским писателем Львом Пасынковым): «На Западе наиболее умные читатели признали то, что, например, развитие сюжета шолоховских книг — не дело авторского произвола, а серьезное отражение подлинной жизни, с которой считаются и в Риме, и в Париже. Вот почему с книжками Шолохова толковые люди Европы считаются, как с самой действительностью».

Глава вторая

СЪЕЗД: ИСЧЕЗНУВШИЙ ШОЛОХОВ

Парадокс: политиканы в партии и в литературе стали замалчивать того, кого признали миллионы читателей. И это при том, что Сталин и его партагитпроп понимали — писательский авторитет Шолохова очень нужен для авторитета партии и всего рабоче-крестьянского государства.

Причуды «Правды»

«Правда» в предсъездовские дни насыщена материалами о литературе. Косяком идут статьи с пространными размышлениями — это для пишущих, и стаи заметок с информацией попроще — для читающих. В тех и других о том, чем жива советская литература, как партия и народ обязаны к ней относиться и какой ей надлежит быть дальше.

Команду на равнение подали передовицы — директивный жанр: если кого с добром упомянут, так это ордер на славу. В них ни разу не назван Шолохов. Огромная публикация «Открытое письмо рабочих» на тему «Что мы читаем». Читают Фадеева, Радека, Леонова... Нет в перечне книг «Тихого Дона» и лишь упомянута «Поднятая целина». Еще одна статья-обзор — что читают крестьяне. Неравнозначный отбор имен: «В Ивановке нет хорошей библиотеки! Нельзя найти „Брусков“ Панферова, „Поднятой целины“ Шолохова». И в последующих номерах Шолохова нет. От мелькания иных имен, ныне прочно забытых, утомляются глаза... «Правда» обходится без его имени даже там, где это, казалось бы, невозможно. В июле появляется заметка об опере «Тихий Дон». Сообщается: опера удостоилась «особого постановления» Всесоюзного конкурса. Но странная причуда — в похвальной заметке нет имени Шолохова.

И вдруг газета «исправилась». За четыре дня до открытия съезда появилось извещение: «12 августа вечером закончилась первая азово-черноморская краевая конференция советских писателей. На Всесоюзный съезд конференция избрала своими делегатами Мих. Шолохова...» — и еще перечислено восемь фамилий. Но в новых номерах Шолохов опять исчезает со страниц газеты, хотя представлен букет других имен: Вс. Иванов, Инбер, Безыменский, Зощенко, Чуковский, Авербах, Ильф и

Петров, Валентин Катаев...

Шолохов, конечно, и без газет знал, как широко он популярен в стране. Пришла даже такая приятная весть: герои-челюскинцы успели снять с тонущего корабля в числе самого необходимого четыре книги — «Тихий Дон», томик поэм Пушкина, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло и роман «Пан» Гамсуна.

17 августа 1934 года открылся I Всесоюзный съезд писателей СССР. Газеты в этот день пестрели вдохновляющими заголовками: «Наступление социалистической культуры», «Лирический порох держать сухим!», «Партийность и искусство», «Показать новые социалистические качества человека!», «Литература счастья...». В «Правде» доклады и речи, речи...

Центральный съездовский доклад Горького «Советская литература» был огромен, но без имени Шолохова. 22 августа Горький выступил еще раз, хвалил, к примеру, Леонида Соболева, однако не вспомнил Шолохова. Мэтр Алексей Толстой не удостоил упоминанием. Запомнил своего подопечного в выступлении и бывлой наставник, а теперь противник в дискуссии Серафимович. Александр Фадеев — смолчал. Побывали на трибуне критики Ермилов, Лежнев и недруг по рапповским временам Гладков, другие ораторы. Звучали похвалы роману «Петр I» Алексея Толстого, «Большому конвейеру» Ильина, книгам Панферова... От ЦК партии сначала выступил Жданов, затем заведующий Отделом культуры и пропаганды. Никто из них о Шолохове не вспомнил. Упомянула его Мариэтта Шагинян, но ее речь, опубликованная в «Правде», отличается от той, что помещена в стенографическом отчете съезда... «Правда» речь Шагинян с именем Шолохова сократила.

В таком странном «забвении» одного из лучших писателей страны не видится никакой логики. К этому времени партагитпроп из всех сил создавал из Шолохова образец: и стал писателем в советское время благодаря комсомольской печати, и член партии, и автор романа о сталинской коллективизации...

Конечно, на самом съезде имя Шолохова звучало, пусть и удивляюще редко. Но «Правда» и это скрыла. Оно осталось только в изданной впоследствии стенограмме — не для многих читателей. Только из нее можно было узнать, что ленинградский прозаик Михаил Чумандрин прорвался сквозь паутину умолчаний с одной фразой: «Нет активного колхозника, не читавшего „Поднятую целину“» (он один из немногих сторонников Горького и Шолохова в предсъездовской дискуссии). Да почетная гостья съезда из какого-то колхоза потребовала переписать образ непутевой Лушки в «передовую колхозницу».

Но ведь сам Шолохов тоже почему-то предпочел отмолчаться — не записался в выступающие.

Загадочно это. Неужто сказать было не о чем? Шолоховская статья «За честную работу писателя и критика» убедительно показала гражданскую масштабность его мышления.

Где найти ответ? Может быть, в том письме Сталину, которое Горький адресовал в ЦК, не покинув еще председательского кресла на съезде? В нем обличительные признания: «...Партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность». Дальше называл своих противников — Панферова, Ермилова и Фадеева: «Привыкли играть роль администраторов и стремятся укрепить за собой командующие посты». О партийце Павле Юдине сказал прямо: «Мне противна его мужицкая хитрость, беспринципность, его двоедушие и трусость человека, который, сознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людьми еще более ничтожными и спрятаться в их среде». (Замечу, что Шолохов никогда не дружил с Юдиным.) Не забыл и «пристяжного» Льва Мехлиса: «Юдин и Мехлис — люди одной линии. Группа эта — имея „волю к власти“ и опираясь на центральный орган партии, конечно, способна командовать, но, по моему мнению, не имеет права на действительное и необходимое идеологическое руководство литературой, не имеет вследствие слабой интеллектуальной силы этой группы, а также вследствие ее крайней малограмотности в отношении к прошлому и настоящему литературы». Горький тут же критикует Федора Гладкова (кто тиражировал клевету о плагиате Шолохова). Узнает Сталин о нелюбви Горького к Бахметьеву (и он приложил руку к шельмованию «Тихого Дона»). Зато Горький по-доброму отзовется о Иване Макарьеве: написал, как этот критик обратился с критическим письмом о положении в литературе к вождю, а Макарьев — каково совпадение — земляк Шолохова.

Наверное, Шолохов узнал о письме Горького. Оно близко его настроениям. Потому и не пожелал напрасно толочь воду в парадной съездовской ступе-говорильне. Не многие ораторы говорили о самых насущных профессиональных делах.

Литературное начальство все-таки почтило Шолохова вниманием — в последний день он зачитал с трибуны по поручению президиума проект резолюции съезда.

Потом формировали состав правления Союза писателей и не обошлись без него. Сталин разрешил. Из состава Оргкомитета по подготовке съезда вычеркнул, а в эти дни понял, что сейчас без Шолохова нельзя. Вместе с

Шолоховым в правление вошли среди прочих Фадеев, А. Толстой, Эренбург, Леонов, Зощенко, старики Вересаев и Демьян Бедный, Панферов, Гладков и комиссар ЦК А. С. Щербаков. Пройдет немного времени и состав правления поубавится с помощью НКВД на Ивана Катаева, Бруно Ясенского, Льва Каменева...

Странно для большинства делегатов вел себя Шолохов — вдруг надолго исчез из зала заседаний. С чего это вдруг? Он напросился на прием к влиятельному наркому Серго Орджоникидзе, бывшему земляку — в 20-е годы был у них секретарем крайкома. Пришел убеждать, чтобы помог Вёшенской строительством учреждений культуры. Тот не отказал. И дал команду строить... водопровод. Но и за это были очень благодарны станичники и ему, и Шолохову.

Завершился съезд. Отныне писатели сорганизованы.

Дополнение. В этой книге явственна линия Шолохов — Панферов. Этим и ограничивается появление последнего. Федор Иванович Панферов (1896–1960) прожил большую и насыщенную жизнь в литературе. Одно сказать: руководил журналом «Октябрь» почти 30 лет. Нетрудно догадаться, сколько писателей нашли там возможность познакомить читающую страну со своими произведениями. Сам он создал, кроме многотомного романа «Бруски», трилогии «Борьба за мир» и «Волга — матушка река», несколько повестей, пьес, рассказы, писал публицистические статьи. Был награжден Сталинской премией.

Интерес к USA

Шолохов и после съезда в отношениях с властью оставался прежним: строптив и не перевоспитуем.

Приехал из Москвы — и тут же встреча с ростовскими рабочими. Сказал: «После Всесоюзного съезда писателей перед каждым из нас, пишущих, вплотную встал вопрос: как писать дальше?»

И в самом деле — как? Отвечал прямо, отстреливаясь и от давних, и от недавних своих обвинителей, в том числе от ораторши-колхозницы. Говорил то, что никто другой не смел в те времена сказать вслух:

— У нас с некоторых пор существует такое читательское убеждение, которое, по существу, является неверным и неправильно ориентирует писателей. Если это о колхозной деревне, то даже говорят, что хорошо, мол, показал ячейку, деятельность комсомола, рост женщины, но как мог

упустить кооперацию? Надо все-таки иметь в виду, что существует такая хорошая поговорка: самая красивая девушка не может дать больше того, что имеет, и есть другая поговорка: нельзя объять необъятное. А зачастую к писателям подходят с несоразмерными требованиями.

Позже Шолохов узнал, что под напором «несоразмерных требований» дрогнули Пастернак, затем Мандельштам. Написали стихи о Сталине. В 1937-м Алексей Толстой сочинил повесть «Хлеб» об обороне Царицына в Гражданскую под руководством Сталина и Ворошилова. В 1939-м Булгаков по заказу МХАТа написал пьесу о юности Сталина «Батум» к 60-летию вождя (была запрещена к постановке). Шолохов не написал ни отклика на писательский съезд, ни воспоминаний. Будто вычеркнул из памяти (на всю жизнь!). Зато в это время открыл для себя — не без совета Горького — Михаила Пришвина и влюбился в его творчество так, что в письме писательнице Гриневой даже поступился своим писательским самолюбием: «Меня вы перехвалили. Хотя поощрение столь же необходимо писателю, как канифоль смычку виртуоза, но вы меня, ей-богу, „переканифолили“, а вот про такого чудеснейшего писателя, как Пришвин, забыли. Читали вы его „Корень жизни“? Если нет — очень советую: прочтите, непременно прочтите! Такая светлая, мудрая, старческая прозрачность, как вода в роднике. Я недавно прочитал и до нынешнего дня тепло на сердце. Хорошему слову радуешься ведь, как хорошему человеку».

К концу года путь лежал за границу. На 59 дней! С Марией Петровной! Стокгольм — Копенгаген — Лондон — Париж!

Встречи, встречи... Шолохову лестно, что к каждому его высказыванию относились с повышенным вниманием. Но какова ответственность, когда в зале интеллектуалы, с пристрастием воспринимающие каждое его слово, а оно и впрямь не воробей... Париж поразил. Познакомиться с советским писателем пожаловали властители тогдашних общественных настроений — цвет творческой элиты: писатели Анре Мальро (будущий министр культуры), Жан Ришар Блок, Шарль Вильдрак, художник Поль Синьяк...

К гостю присматривались — хотели понять: откуда такой могучий талант у этого казака?

Перевели ли ему в Дании изумленную заметку одного газетчика: «Всемирно известный писатель, автор современной „Войны и мира“ разъезжает по деревням, залезает в свинарники и на скотные дворы»? Русский вояжер и не скрывал своих намерений, пояснив журналисту: «Хотел ознакомиться с многолетней культурой сельского хозяйства».

Встречали с любопытством — провожали чаще всего с почтением.

«Чарующий шолоховский роман. Мощный и животрепещущий...» — писала солидная тогда лондонская газета «Сэнди график энд сэнди ньюс» о «Тихом Доне»... «Шолохов — это великий русский писатель, новый Толстой, вышедший из окопов... Величествен в изображении водоворота человеческих судеб и гениален своим искусством повествования...» — утверждала датская газета «Лоланс-Фальстер Венстреблад». «„Тихий Дон“ и „Поднятая целина“ доказывают, что Шолохов — художник, равный Тургеневу и Толстому», — сообщал парижский журнал «Кри Дю Жур». Кстати, «Целина» поразила даже высокого государственного деятеля и искушенного политика Эдуарда Эррио. Он высказался, опровергая, как могло казаться, всех сразу советских догматиков: «Это не социальное учение, не пропагандистский роман. Это — произведение большого художника, написанное с необычайной творческой силой».

Русская эмиграция — из тех, кто помудрее, — тоже интересовалась писателем. Парижская «Станица» дала его портрет с вопросами к читателям — дескать, общими усилиями воссоздадим биографию: «Казак? Какой станицы? Иногородний? Участвовал ли в Великой войне? В какой части? В каких рядах провел Гражданскую войну?..»

Тяжко, однако, на душе даже в путешествии. Для четы Шолоховых устраиваются едва ли не каждый вечер изысканные застолья, их поселяют в лучших отелях, знакомят с достопримечательностями. А какие здесь ухоженные, до каждого клочка, земли, какой тучный скот... А дороги меж большими и малыми поселениями, а деревенские строения, а сельская техника... Тяжко потому, что невольно вспоминается разоренный голодомором Дон.

У Марии Петровны, что скрывать, свои удивления: в магазинах одежда и обувь на все вкусы — как не подумать об обновлениях для всей своей юной оравы, стариков и о подарках друзьям-соседям в Вёшках.

В советских посольствах, когда накидывался на московские газеты, он удивлялся — заголовки-то какие! «Доклад Шолохова в Копенгагене», «Прием в честь т. Шолохова в Лондоне», «Встреча французских писателей с Михаилом Шолоховым», «59 дней за границей. Беседа с Михаилом Шолоховым»...

Будет ли Шолохов сам писать о заграничных впечатлениях? По обычаю тех лет, советский писатель в путевых заметках обязан был рассказывать о тяготах безработных, о мужестве коммунистов и страстно обличать «загнивающий капитализм». Шолохов вообще ничего не написал. Но однажды все-таки высказался — вынудила настойчивая ленинградская журналистка с удостоверением «Комсомольской правды» Вера Кетлинская,

будущая известная писательница. Она узнала, что он не остыл еще от бесед с датскими крестьянами и специалистами-агряриями. Рисковый главный редактор напечатал откровения вёшенца. Такого в печати никогда больше — до прихода Хрущева к власти — не появлялось: «Я расскажу нашим колхозникам, как там налажено дело, нам есть чему у них поучиться, у них переизбыток товаров, они не знают, куда их девать, а у нас нехватка товаров... Я хотел изучить все те полезные и ценные достижения науки и культуры, которые могут и должны быть использованы в нашем расцветающем социалистическом хозяйстве...»

С той поры у него еще больше возгорелся интерес к зарубежному аграрничеству. Поделился в одном из писем: «Есть такая думка — побывать еще, да не в Европе, а дальше, в знаменитейшей USA. Сильно занимают меня, помимо всего прочего, вопросы с.-х. (сельскохозяйственные. — В. О.). Вот и хочу поехать, поглазеть и ума-разума набраться».

Вождь уже несколько лет кряду расхваливает успехи колхозной жизни — Шолохов не очень-то поддается такому энтузиазму. Пишет в этом году Плоткину, с которым не прервал знакомства: «Все идет, как в сказке про белого бычка... В том числе и в твоей вотчине дела не нарядны. Зажиточная жизнь не удалась в этом году. Я, признаюсь, сомневаюсь, что она придет в следующем...»

У Марии Петровны, помимо общих с мужем впечатлений от поездки, есть и свои. О чем написала жене дипломата Георгия Астахова (с которым познакомились в Германии и сошлись, узнав, что он к тому же земляк-донец): «Дорогая Наташа! Шлю привет — лучшие пожелания. Жду тебя летом обязательно к нам в Вёшенскую. Хотя и хорошо доехали домой, но я очень похудала за поездку, так, что сын мой меня не узнал, говорит: „Ты, мама, не такая стала“, и вот с этого момента, можно сказать, симпатии от меня перешли на сторону отца. Теперь хотя и чувствую себя лучше, но все же еще не так хорошо, все что-то не так, как было до поездки. Море без отвращения вспоминать не могу! Так что если когда-либо придется еще поехать куда-либо, только не морем. Привет мужу. Мария Шолохова. Пиши».

Когда Шолоховы путешествовали, на родине случилось трагическое событие. Посол сообщил с тревожной растерянностью: 1 декабря убит глава ленинградского обкома и секретарь ЦК Сергей Миронович Киров. В шифровке из Москвы уточнение — теракт!

Сталин провозгласил ответную меру — начался повсеместный арест «врагов народа».

Когда Шолоховы вернулись домой, вскорости убедились: отныне каждого советского человека могут подозревать в антисоветчине, тем более если человек публичный, например писатель. Правда, народ пишущий был разным... «Литературная газета» в эти декабрьские дни опубликовала решение общего собрания московских писателей. В нем наказ: «Писатели поручают Московскому Совету добиться того, чтобы все органы пролетарской диктатуры, призванные охранять и оберегать государственную безопасность, с большевистской страстностью и энергией, с неусыпной революционной бдительностью вели беспощадную борьбу с классовым врагом...» Ежовая голица учить мастерица.

Советские люди самозабвенно верили в достижимость светлого будущего. Днепрогэс, Магнитка, Турксиб стали возможны только потому, что по всей стране люди следовали призывам партии строить новую жизнь во что бы то ни стало. Строились и лагеря. Не только пионерские.

Глава третья

1935: «ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ...»

С этого года в стране стал приживаться лозунг, ставший афоризмом: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Что вбирал в свою жизнь Шолохов от подлинной — не лозунговой — жизни в стране? И что вносил в нее?

«Обмолвки» Панферова

Писатель, недавно избранный членом крайисполкома, был приглашен — пусть и по гостевому билету — поучаствовать с 28 января в работе Всесоюзного съезда Советов.

С кем бы он ни знакомился, все дивились: не похож на знаменитость. Никакой значительности, молод, румяное лицо, кудрявые волосы, с усмешкою глаза, загорелая шея — степной загар, не курортный. Ну, вылитый колхозный агроном, так и кажется, что весь пропах степью, рекою, донским небом. Неужели это он — автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины»?

Когда звонок всех пригласил в зал, Шолохов увидел в президиуме Горького. На месте распахнул купленную в фойе «Правду» — и едва не ахнул: за подписью Панферова опубликовано «Открытое письмо А. М. Горькому». Атакующий, не без развязности, тон и его, Шолохова, фамилия.

О чем же пишет тот, кто перед писательским съездом столь униженно напрашивался к Горькому на сотрудничество? Выходит, пригрелся в похвалах свыше, раз позволил себе отбиваться от той критики, на которую летом прошлого года пошли Горький, а вслед ему Шолохов и еще несколько принципиальных писателей. Полон демагогии. Обвиняет Горького в «проработке» литмолодняка («проработка» — модное тогда выраженье из партлексикона). Взял на себя роль защитника молодых писателей. Политиканствует — нос по ветру, — уличает Горького в поругании по тем временам истинно святая святых: «Вот вы пишете в своей последней статье: „У нас развелись матерые литераторы солидного возраста... Они числятся коммунистами, пребывая по уши в тине мещанского индивидуализма“. Это большое и серьезное обвинение вы бросаете коммунистам».

И тут же мощный залп по Горькому, который и впрямь не вступал в партию: «Кто же это такие — „матерые, солидные“? Вот они: Шолохов, Фадеев, Безыменский, Киршон, Афиногенов, Бела Иллеш, Гидаш, Бруно Ясенский, Гладков, Бахметьев, Серафимович, Биль-Белоцерковский, Ставский, ну пусть и Панферов и ряд подобных имен. Если вы об этих коммунистах-писателях говорите, что они пребывают „по уши в тине мещанского индивидуализма“, не хотят учиться, ничем не интересуются, кроме собственного пупа, то ведь этому никто не поверит».

Шолохова без всяких на то оснований впихнули в этот список, хотя он-то среди перечисленных правоверных рапповцев — белая ворона, разве что исключая Серафимовича.

Ответит ли Горький? Шолохов позже узнал, что беспартийный писатель не испугался демагогии и направил сердитое ответное письмо: «Вы человек болезненно самолюбивый, как все наши литераторы, испорченные ранней славой...» Но редактор «Правды» Лев Захарович Мехлис отказался обнародовать ответ.

Февраль. Шолохов сдержал слово — выступил на пленуме своего райкома — и отчитался о своей заграничной поездке. Рассказал, какое там, при капитализме, сельское хозяйство. Рискнул даже на прямые сопоставления: «У нас варварски гибнет и совершенно не используется ценное удобрение. Мы можем перекрыть урожайность Швеции...» Как ни сопротивлялись майданниковы, разметновы и Давыдовы — мол, не быть у нас такому никогда, Луговой настоял: принять постановление в поддержку шолоховского предложения. Хоть что-то посильное перенять бы.

Район готовится к севу. У Шолохова же свои заботы. В одном из писем отзвуки: «Не дают работать наши газеты! Только проводил одну девицу из „Комс. правды“, как приехали из радиоцентра и „Известий“. Проканителится с ними пять дней. Свету не рад!»

Журналисты действительно стали активно «пропагандировать» Шолохова... «Известия» опубликовали отрывок из «Тихого Дона», после чего пришло письмо из журнала «Знамя» (забавно читать, как заманивают писателя в журнал): «Дорогой товарищ Шолохов! Мы прочитали в „Известиях“, что Вы 4-ю книгу „Тихого Дона“ не хотите печатать... в журналах. Приветствуем Ваше заявление»... «Приветствуют» и соблазняют достоинствами своего авторского коллектива: «Может быть, на этот раз (после давних попыток редакции привлечь Вас к сотрудничеству в „Знамени“) мы с Вами можем договориться... В этом году, например, в № 1 напечатана целиком повесть Слонимского, в № 2 печатаем целиком роман Кс. Аракеляна „Краснознаменцы“, в № 3 целиком в одном номере роман И.

Эренбурга „Не переводя дыхания“». Шолохов отказал.

В марте 1935-го Шолохов поделился с читателями «Известий» своим замыслом написать вторую книгу «Поднятой целины»: «Вместить такое обилие материала в одной книге трудновато... Были мысли увеличить роман еще на одну книгу...»

Однако все уже написанное для второй книги пришлось отложить в долгий ящик и тем самым — каков жуткий рок! — обречь на гибель от фашистской бомбы в войну (о чем речь дальше).

Отчего же он прекратил работать над романом? Остались два свидетельства. Соратника по райкому и друга Петра Лугового: «Тут путь преградили известные перегибы» (кратко, но многозначительно — политика!). И самого Шолохова: «Дописал до конца книгу и стал перед проблемой: в настоящий момент уже не это является основным, не это волнует читателя... Ты пишешь, как создаются колхозы, а встает вопрос о трудодне, а после трудодней встает вопрос уже о саботаже...»

Саботаж! Как тут не припомнить письмо Сталина, где сопротивляющиеся голодомору казаки были обозваны саботажниками, а писателю сделан выговор за их защиту. Как тут не вспомнить шолоховское письмо Сталину в 1933-м — с протестом и против перегибов, и против огульных обвинений в саботаже: «Лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу „Поднятой целины“».

Бессонные ночи в раздумьях — писать или не писать продолжение, поспешать или не поспешать «за моментом», скрывать или нет от читателей, что все-таки не быть в эти годы роману... Не в эти ли ночи рождалась статья со строками: «Плох был бы тот писатель, который приукрашивал бы действительность в прямой ущерб правде»?

Шолохов в жерновах славы и ненависти. Партработник, ставший секретарем Союза писателей, Александр Щербаков, день за днем вел дневник. Остались записи о том, кто что просил или о чем сообщал. За Шолохова, судя по ним, никто не просил, но заспинные мнения, например, о «Поднятой целине», высказывал. «Наиболее яркое халтурное произведение. Взята политическая схема, и вокруг нее нанизан художественный материал. Раскрашенная схема. Шолохов — ведомственный, наркомземовский писатель» — это слова Владимира Ставского — влиятельного начальника Союза писателей, на людях искусно изображавшего дружбу с Шолоховым. Шолохову такая «дружба» крепко припомнится — в 1938 году.

Все ждут вторую книгу «Целины». Литначальству очень хочется ускорить ее появление в надежде, что она станет гимном сталинской

коллективизации. Сразу же после Первомайского праздника президиум Правления Союза писателей заслушивает доклад редактора «Нового мира». Застенографировано: «На днях я получил письмо от Шолохова. После всех выступлений о том, что Шолохов не будет печатать „Поднятую целину“ в „Новом мире“, он пишет, что никогда не заявлял, что не будет ее печатать в журнале и что наше соглашение остается в силе. Он пишет, что в конце сентября или в начале октября пришлет рукопись для печатания в журнале. Таким образом, 2-я часть „Поднятой целины“ появится в нашем журнале в этом году». Узнал ли Шолохов, что эта стенограмма оказалась в ЦК?

Не появилась полная «Поднятая целина» при Сталине. Разве со второй половины 30-х годов могло бы появиться произведение без восхваления политики вождя?

Разве уцелела бы, к примеру, огромной взрывчатой силы «дорожная» сцена из второй книги? В подводе впереди, как полагается, — возница, рядовой колхозник, позади, как полагается, ездок — Давыдов, председатель колхоза. Едут, не молчат. Начальник начал упрекать возницу за непоспешание. Наверняка думает, что нашел доходчивый пример: «— Ну а если, скажем, пожар на хуторе случится, ты и с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами?

— На пожар таких, как я, с бочками не посылают...

— А каких же посылают, по-твоему?

— Таких, как ты да Макар Нагульнов».

И пошли «уточнения»: «Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотьями летело, а тушить будем мы, колхозники, — кто с ведром, кто с багром, кто с топором...» (Кн. 2, гл. V).

И Шолохов устами своего героя выразил то, что, пожалуй, и сегодня не каждый уразумел — какая же власть необходима народу после огневых революций, Гражданской войны, раскулачивания, коллективизации и дальнейших «ожогов» в каждом десятилетии: «Мы, народ то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем, нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать...» (Там же).

Сутолока. Еще один поистине народный писатель — поэт Александр Твардовский — впишет в свою довоенную «Страну Муравью»: «Товарищ Сталин! Дай ответ, *Чтоб люди зря не спорили*: Конец предвидится ай нет / Всей этой суетории?»

Нет, Шолохов не мог бы сочинять многокнижие «Брусков».

Может, и в самом деле отделаться пьесой? Ее очень ждали после неудач с двумя драмоизлагателями. Моднo — и похвально — писать пьесы

после призыва Сталина. Тем более что в прошлом году посулил в «Комсомолке» — на свою голову — представить на суд зрителей пьесу.

В те времена даже НКВД ничего не мог поделать с политическими анекдотами. И сажать уже принялись за эдакое остроумие, а они все равно лезли, как грибы. Ходили анекдоты и про Шолохова и Сталина. Один из них как раз о пьесе:

«— Товарищ Шолохов, вы написали роман о коллективизации. Нужный роман. А не могли бы вы пьесу написать?

— Нет, товарищ Сталин. Я не драматург. Это Корнейчука, украинского пьесосочинителя, надо просить.

— Корнейчук уже написал. Про степи Украины. А вы — про донские степи напишите... Думаю, у вас получится. Почему может не получиться? Вон некоторые — на все руки!.. И романы, и пьесы, и сценарии, и стихи...

— Нет, товарищ Сталин, я так не могу. Я вот романы, и те никак не допишу...

— А вы попробуйте. Поезжайте отсюда прямо в Сочи. Отдыхайте. Купайтесь... Глядишь, получится.

— Тогда я заеду в Вёшки, товарищ Сталин.

— Зачем?

— За сухарями. Чувствую, не выйдет у меня пьеса...

— Вы на что намекаете, товарищ Шолохов? — Выждав с минуту, Сталин заключил: — Ну, хорошо. Пишите свои романы. Бог с вами. И ешьте свежий хлеб... Пока».

Шолохов стал подумывать о книге про своих товарищей — о жизни и думах районной власти. Да где там браться за такое произведение, когда каждый из районщиков сегодня денно и нощно в делах, а завтра того и гляди окажется в «Деле» у энкавэдистов.

Он отодвинул тему коллективизации и принялся поднимать другую целину в родной станице. Вослед строительству водопровода добился, чтобы открыли педучилище, организовал театр.

Газетчики даже такое подметили: «Ведет большую работу с молодыми писателями, шефствует над пятью начинающими писателями и правит их рукописи, помогает своим опытом и знаниями». И это в свои тридцать лет от роду.

***Дополнение.** И все-таки — успел ли завершить Шолохов «Поднятую целину» в 1930-е годы? Много лет существовало мнение, что роман был готов перед самой войной, но рукопись погибла при бомбежке в 1942 году. Однако же в этой теме факты противоречат друг другу: Шолохов и*

Луговой свидетельствовали, что работа над романом прекратилась; Союз писателей за подписью организационного секретаря Щербакова направил Сталину докладную записку: «В ближайшие месяцы появятся новые книги Шолохова, Малышкина, А. Толстого, Панферова и др.»; «Мама подтверждает, что отец не собирался передавать давно готовую рукопись для издания...» — сообщает дочь писателя Светлана Михайловна.

Дочь, цветы и «секреты» мастерства

В марте из Вёшек пришло Левицкой такое письмо, что все московские друзья ахнули: «Мария Петровна моя ходит толстая-претолстая...» Это о том, что ждет прибавления семейства.

Продолжил от имени женской половины: «Есть у них к Вам и общая просьба: купите, пожалуйста, возможно больше цветочных семян...» Объяснил и причину: «Перебрались в новый дом».

Наконец-то у семьи всемирно известного творца есть возможность не тесниться: «То-то мне сейчас привольно! Сажу в своей мансарде, ребят не слышно, работать удобно». Одно огорчение: «Двор у нас пустой...» Щепетилен: «Деньги на покупку и пересылку посылаем». И «пощупарил» насчет своей персоны: «Старею. Скоро, наверное, брошу охотиться, вот тогда буду ходить с лейкой, поливать и холить всякую пахучую растительность».

Апрель... «Литературная газета» начала свою весеннюю посевную: агитировала сажать. Опубликованная 20 апреля статья «О бдительности» предупреждала: «Классовый враг стремится проникнуть и в советскую литературу...» Через 20 дней снова о врагах. На этот раз газета причислила к ним Сергеева-Ценского — назвала его контрреволюционером за рассказ «Поезд с юга». Но, как бы его ни порочили, Шолохов от него не отрекался.

Меж тем вёшенец пожинает плоды своей мировой известности. Сталин подписал постановление Политбюро «О международном съезде писателей в Париже». Утверждена представительная делегация: Горький, Алексей Толстой, Эренбург, Михаил Кольцов... И Шолохов. Всего 15 творцов и партиец Щербаков.

Еще один апрельский штрих из жизни писателя в этом году. Послал своим издателям письмо с просьбой перечислить гонорар за предстоящее переиздание «Тихого Дона». В издательстве, наверное, еще никогда не сталкивались с таким «обоснованием» срочной надобности денег: «...В

уплату за грузовую машину, отпущенную Еланской средней школе Вёшенского района». Пояснил: «Дело, видите ли, такое: школа — одна из 10 лучших в Союзе, отпустили им машину, отгрузили ее, а у школы не оказалось презренного металла... Машину того и гляди продадут в другие руки. Вот я и выручаю школьников...»

Еще событие. В Вёшенскую пришел добрый сигнал от Серафимовича, явно желает примирения. По его просьбе к Шолохову в гости приехал молодой ростовский писатель и ученый-пушкинист Виталий Закруткин. Сей чрезвычайный и полномочный посол едва ли не с порога передал слова мэтра: «Я сам должен был ехать к Шолохову, он меня ждет. А тут, как на грех, чертовщина со мной приключилась. Окаянная температура лезет вверх, и лекари наши под страхом смертной казни запретили мне выходить из хаты... Обнимите так его по-казацки и скажите, что старый станичник посылает ему низкий поклон и желает здоровья...» Гостевание у Шолохова запало в душу молодого писателя, и он опишет его в своей книге «Цвет лазоревый»; она появится после войны.

Шолохов, судя по всему, был рад примирению. Не случайно принимал парламентария с щедрой душевностью. Мария Петровна угощала стерлядкой, Михаил Александрович — рассказами о донской рыбалке и охоте. Закруткин потом назвал то, что услышал, — «короткими рассказами об охоте» (это еще одно упоминание о все никак не осуществляющемся писательском замысле!).

И конечно же шли разговоры о литературе, даже о Пушкине. Но хозяин не прост, поразил нежеланием обсуждать, как пишется четвертая книга «Тихого Дона»; он тут же перевел разговор на зарубежные впечатления.

Почему же не впустил в свою творческую лабораторию? Может, и потому, что отдавался работе без всякого остатка для других. Ведь как раз в это время сообщал в свое издательство: «Начал заново переделывать...»

Неудовлетворенность творца... Сохранились рукописные страницы, они позволяют заглянуть в «кухню творчества», — например, как преобразовывалась в романе глава V из восьмой части четвертой книги.

Шолохов вписывает в уже готовый текст — не боится, что пришьют очернительство: «А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная. Казаки усердно поругивали Советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать...» Далее добавил целую страницу о том, как оскудела жизнь без привычных раньше товаров. Вставка заканчивалась сценкой в сельсовете, куда старики пришли к Кошевому:

«— Соли нету, господин председатель, — сказал один из них.

— Господ нету зараз, — поправил Мишка.

— Без господ жить можно, а без соли нельзя».

Однако в окончательном виде заключительная фраза казака была изменена: «Извиняй, пожалуйста, это все по старой привычке... без господ-то жить можно, а без соли нельзя».

На этой же странице остались следы редактирования, в котором и эхо политики, и забота о стиле. Поначалу написал: «И не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, слышал, как курцы, собравшись на проулке в кружок и дружно выбивая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривали после: „Ленин, Троцкий, дай огня!“» В книге же читалось: «Не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь на проулке в кружок и, дружно высекая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривая: „Власть Советская, дай огня!“»

Еще событие в писательской жизни Шолохова: напечатал в «Комсомольской правде» 21 июля небольшую статью «Героическая Подкущевка»; то результат его поездки на Кубань.

***Дополнение.** Написать статью Шолохова заставило письмо с Кубани. Два тамошних казака прочитали в «Известиях» отрывок из «Тихого Дона» и откликнулись просьбой: вставить в роман то, что в Гражданскую происходило у них на хуторе. Он выделил письмо и принялся за ответ. В нем, как в зеркале, отразилось отношение писателя к литературе и его читателям:*

«С глубоким волнением и интересом прочитал я ваше письмо. Описанное вами, по сути, с лихвой дает материал на большое художественное произведение... Подкущевку и героическую борьбу ее населяющих нельзя включать в какую-либо книгу... Нельзя потому, что, как я уже сказал, там слишком много самостоятельного материала... Такой богатейший кусок жизни в „Тихий Дон“ не всунешь... Независимо от этого мне очень хочется повидать вас обоих и ваших соратников и замечательную Подкущевку... Тема гражданской войны не исчерпана. Мы — писатели — написали о гражданской войне много книг, но большинство этих книг уже забыто... Остались единичные произведения, которые наши читатели любят и помнят. Этих книг мало. Они не дают полной картины величия гражданской войны и наших побед и страданий».

Отметил: «О 1918–1920 гг. надо еще писать и писать лучше. Вот об этом мы при встрече и поговорим и что-нибудь придумаем...»

Придумал, когда неожиданно для авторов письма приехал к ним в

Подкущевку и уговорил ветеранов начать работать над книгой воспоминаний, сам же пообещал написать вступительную статью.

Увы, книга не вышла. Через два года Шолохов узнал — одного из авторов письма арестовали: «враг народа». Пришлось биться за его освобождение. И добился своего.

Поездка на Кубань обогатила впечатлениями. Незаметно-незаметно, а художественная палитра пополнялась при встречах-беседах новыми красками. Они легли на полотно седьмой части «Тихого Дона». Здесь, к примеру, появился лукавый рассказ о том, как Прохор искал на Кубани — при отступлении — лекарство для своей благоприобретенной хворости: «Какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок». С той поры Прохор, въезжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водят?» И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета, — Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут: чисто нелюди! Вы небось и утиного кряку сроду не слышали! Пеньки степовые!»

Появились и приметы Новороссийска при описании последних дней разгромленных белогвардейцев: «Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер — все было чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняками, приморском городе...»

Дар от Марии Петровны

Какая радость: ко дню рождения Шолохова родился сын! Назвали Михаилом. С утра потянувшиеся с поздравлениями соседи отмечали: три мужчины в этой семье — майские. После доброго стакана с хмельным гости сыпали присказками: «Дай Бог вспоить, вскормить, на коня посадить!»

Вскоре отцу припомнилась, видимо, и другая: «У кого детки, у того и бедки». Он даже Левицкую известил: «Мишка мой тягчайше заболел воспалением кишечника. Докторов в Вёшках нет (детских тем паче), и моя Мария Петровна жестоко перетрусила и перестрадала. Сейчас только что поправилась и снова схватила простуду. Не спит, просыпается каждые полчаса...»

Из Москвы — одно за другим — пришли два извещения: прибыть к Сталину и обеспечить Гослитиздату выход иллюстрированного «Тихого

Дона».

...Знакомый кремлевский кабинет. С его первого посещения вёшенец начинает создавать еще одну свою книгу — о спасении Дона. Теперь Сталин согласился разобраться с предложениями, как увеличить урожайность. Шолохов и соратники по райкому убедили его, что голодные годы — один за другим — прижились на Дону. В кабинете, кроме Сталина, Молотов, Каганович, Орджоникидзе и нарком земледелия. Этот мощный синклит благословил проект постановления «О мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР».

...Издательство готово свалить на Шолохова ответственность за то, что художник срывает подготовку престижного иллюстрированного издания второй книги «Тихого Дона». Шолохов действительно сам привлек в качестве иллюстратора ростовского скульптора и художника Сергея Королькова. Он обратил на него внимание, когда узнал, что художник, давно влюбившийся в роман, создал к нему множество эскизов. Они покорили придирчивого писателя тончайшим знанием всего казачьего быта: седло — так казачье, шашка — казачья, курень — так донской.

Шолохов шлет ему письмо: «Дорогой Королек! Не подводи, пожалуйста. Крайне необходимо дать рисунки ко 2-ой кн. в ближайшее же время, т. к. 1-ая книга выходит в июле и нежелательно, чтобы в выходе книг был разрыв...»

В жизни Шолохова столь значимые события, однако же вдруг опасно вторгается суетная политика.

Отсчет этой неприятной истории начался с заметки в окружной газете. Какой-то молодой да ретивый журналист сочинил лихую статью, что-де Вёшенский райком не организовал обсуждение проекта Конституции. Тяжкое обвинение! В ЦК партии пришел донос: «Во время обсуждения проекта Конституции в окружной газете „Большевистский путь“ была помещена заметка об извращениях в обсуждении Конституции в Вёшенском районе. В ответ на эту заметку Луговой дал возмутительную телеграмму, направленную против личности автора. В таком же духе было принято решение бюро, отредактированное т. Шолоховым». Газетчик, мастер интриг, сообщал: «Окружком ВКП(б) отменил это решение и указал на грубую ошибку РК ВКП(б)». И далее взялся «разоблачать» писателя: «Шолохов выехал в Миллерово и добился другого решения...»

Шолохов явно узнал об этом доносе и решил защититься в письме Сталину своих райкомовцев: «Повод для этого страшного обвинения? В двух тракторных бригадах за полторы недели после опубликования проекта Конституции не успели проработать проект». Но не пройдет защита даром

— аукнется! Враги писателя и вёшенских райкомовцев неугомонно продолжают накапливать «компромат».

Он, ясное дело, писал вождю с большой надеждой. Понимал, что народ следует за его призывами не только по принуждению. Сталин звал в счастливое будущее и доходчиво объяснял, что достичь его можно только в труде и единстве, а отщепенцев — прочь! В этом году газеты публикуют гордую статистику: Ленинский план ГОЭЛРО выполнен, и предвоенный 1913 год оставлен позади по всем основным показателям. И уже даже достаток, пусть и скромный, начинает входить в жизнь простых людей.

9 декабря 1935 года «Литературная газета» опубликовала беседу с писателем под заголовком — «„Тихий Дон“ будет закончен в феврале». Шолохов и в самом деле не забросил роман. И обозначил очень важную мысль: белые напрасно клялись, что бились за народ, — они не уразумели, что противопоставили себя народу. Мелехов это произнес: «Господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново родился. А они все старым аршином меряют. А аршин того и гляди сломается...» Шолохов не приостановил эти размышления блукающего в поисках правды своего любимого героя. Далее шел укор не только тем правителям, кто остался в прошлом: «Туговаты они на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было» (Кн. 4, ч. 7, гл. X). Этот попрек и тем, кто и ныне горазд заботиться о народе только лозунгами.

Десятый год живет Шолохов романом, а творческое дыхание не сбивается. Как искусно, к примеру, живописал он пейзаж. Он становится для читателя путеводителем, барометром при вхождении в разгорающуюся Гражданскую войну: «Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чабреца, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана...» (Кн. 4, ч. 7, гл. VIII). Такие пастельные краски убедительны в ощущении многослойного драматизма измученного войнами человека.

Другими красками описана побывка Григория дома. Сначала будто акварель: «Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его, — как крохотные степные птицы...» И тут же, без всякого перехода, вместо тонкой кисточки взят резец для гравировки: «Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего

же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции...» (Там же).

...Как-то напросились в гости ленинградский композитор Иван Дзержинский и его брат либреттист. Оба молоды и дерзновенны. Показали почти что законченный клавир оперы «Тихий Дон» и готовое либретто — просим прочитать.

Пожал плечами: рад бы душой, да хлеб чужой. Но, заинтригованный, все же взялся за блажную работу. Читает: «Первая картина. Свадьба Григория Мелехова с Натальей Коршуновой в родном доме жениха. При открытии занавеса звучит свадебная хоровая песня: „Ох, матушка, тошно мне“. Песня сменяется лихой пляской. Но Григорий и Наталья не разделяют веселья. Григорий вспоминает Аксинью. Звучат грустные нотки...» Начало даже дочитывать не стал — перекинулся к последней странице. Здесь красные поют и «одинокый Сашка посылает им напутственные слова: „Хорошие ребята! Жизнь по-своему переделают, людьми станут, настоящими людьми. Не то что мы — барские холуи“».

Позже Иван Дзержинский вспоминал:

— Я сыграл и спел всю оперу, пользуясь довольно-таки плохеньким пианино... Наступила обычная в таких случаях томительная пауза...

Когда хозяин прервал паузу, пригласив к столу, и началась трапеза, композитор спросил:

— Вы не очень сердиты на меня и либреттиста за наши изменения в романе?

Ответ поразил:

— А мне какое дело? Мой роман — это мой роман. А твоя опера — это твоя опера... Это твое хозяйство. Ты и в ответе за него перед народом.

Не отказал, но и не дал согласия:

— Может быть, твоя опера и понравится в больших городах, а у нас на Дону ее музыка будет чужда и непонятна.

Гость в спор:

— Музыка оперы основана на интонациях русской народной песни. Донские песни сродни русским...

— Нет, нет! Неверно говоришь! Раз ты пишешь оперу о донских казаках, как же ты можешь игнорировать их песни...

Возможно, в эту минуту и родилась у Шолохова идея подсобить поставленному в столице оперному спектаклю станичной самодеятельностью.

Дзержинский заметил: «Спор продолжался... Каждый из нас остался при своем мнении...» Шолохов в ответ попросил в одном колхозе прямо на полянке устроить казачий концерт с песнями и плясками. В воспоминаниях композитора запечатлелось: «Михаил Александрович наравне с другими... Увлечение, с каким он отдавался песне, скрашивало недостатки его исполнения».

Братьев поразило, что, как только писатель появлялся на людях, его тут же окружали. Признался: «Многим даже заявление пишу, знают, что мне в районе не откажут, если просьба справедливая... Порой приезжают из соседних хуторов и станиц. Распрягут своих коней и сидят дожидаются, пока я выйду во двор... Когда слушаешься жалоб, когда увидишь, сколько слез и несправедливости в нашем мире, то просто и работать не хочется».

Уезжали братья воодушевленными: не стал Шолохов ни цензором, ни запретителем.

***Дополнение.** Младший сын писателя Михаил с юношеских лет будет удивительно походить по внешности на отца, но не станет «папенькиным сыном». Сам торил свою жизненную дорогу. Получил биологическое образование и даже поработал в комиссии по охране природы при Президиуме Академии наук СССР, но втянулся в философию. Все остальные трудовые годы преподавал и заведовал кафедрой общественных дисциплин в Ростовском юридическом институте. После смерти отца стал главным консультантом Шолоховского музея-заповедника в Вёшенской и обогатил шолоховедение публикацией записей, писем отца и своих с ним бесед. Написал ценнейшие воспоминания — книгу «Об отце». Эта его деятельность была удостоена Международной премии имени Шолохова. Своего сына Александра сподвигнул служить памяти великого деда. Внук стал, после двух предшественников, директором музея-заповедника, и выпала ему многотрудная забота достойно подготовить Вёшенский район к 100-летию классика. За год до юбилея научный коллектив музея тоже был награжден Шолоховской премией.*

Глава четвертая

1936: «ЛЮДИ С ЗАДАНИЕМ»

Шолохов знал — Сталин вовсе не профан в искусстве. Цепок вождь на понимание, что полезно для партии, что категорически нет, а что можно — после критики (на всякий случай) — допускать.

С 1936 года Сталин сдвинул стрелку на государственных рельсах искусства. Резко и решительно. Без каких-либо особых на первый взгляд поводов и без традиционного предупредительного сигнала в виде постановления, доклада или выступления. Наступил новый многолетний этап партийного руководства культурой. Столь же всеобщий, но более жесткий, чем до этого. И тут едва ли не самыми первыми под тяжелые колеса этой политики попадают и «Тихий Дон», и «Поднятая целина».

«Правда»: всё Шолохов

9 января в «Правде» появляется заметка о том, что в Ленинграде состоялась премьера оперы «Тихий Дон»: «Успех „Тихого Дона“ является успехом советского оперного искусства». Дирижировал знаменитый тогда Самуил Самосуд, чему поспособствовал молодой, но уже именитый Дмитрий Шостакович.

11 января в «Правде» публикуется еще одна приятная заметочка — о том, что роман о коллективизации полюбился читателям-колхозникам и они рассчитывают на скорое продолжение. «Мы ждем, — пишут колхозники, — что в следующей книге „Поднятой целины“ М. А. Шолохов покажет нам борьбу за осуществление сталинских лозунгов на берегах Дона. Мы надеемся, что писатель покажет в книге обновленный Гремячий Лог».

Вот как отразились в зеркале «Правды» и опера «Тихий Дон», и роман «Поднятая целина». Что же дальше?

Ленинградцы привозят оперу в Москву и показывают на сцене Большого театра: аплодисменты, цветы, восторги, все, как и полагается на премьере. Шолохов специально приехал из Вёшенской и смотрел ее вместе с композитором из директорской ложи. Снова высказал ему давнее неудовольствие — в опере нет ни одной настоящей казачьей песни. Дзержинский не соглашался с доводами: народное творчество можно передавать и без прямого заимствования (замечу, что Шолохов еще долгие

годы часто слушал по радио две песни из оперы: «Полюшко-поле» и «Походную», которые полюбились не только профессионалам исполнителям, но и в художественной самодеятельности). Через три года он с удивлением узнает, что опера запомнилась даже такому эстету, как Лион Фейхтвангер. Он напишет о ней несколько добрых слов в своей книге «Москва 1937».

20 января. На первой странице «Правды» бросался в глаза заголовок: «Беседа товарищей Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля „Тихий Дон“». В конце заметки газетчик писал: «В заключение беседы тт. Сталин и Молотов высказали ряд замечаний о необходимости устранить отдельные недочеты в оформлении». Художник спектакля выслушал от Сталина непререкаемое: «Формализм чужд народу». Впервые в партийном лексиконе появилось это грозное обвинение. Характерно, что Сталин никогда не употреблял это понятие как-либо предметно. Всегда общо. Удобно без лишних пояснений бороться за угодное и удобное для партии единообразие искусства.

Шолохов в это время озабочен совсем другим. Пишет Левицкой: «Сижу, доканчиваю „Тихий Дон“. Что-то все не так получается, как хотелось бы...» Мария Петровна, поутру, когда ее Миша падал в изнеможении на диван после еще одной бессонной ночи, опрастывая пепельницу, находила на столе новые странички, и от множества вписок, дописок, зачеркиваний, перечеркиваний они виделись будто перепаханное старательным земледельцем поле. Да и могла ли в однораз, вдруг появиться хотя бы такая впечатляющая картина при описании боя: «Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза... Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы: дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина...» (Кн. 4, ч. 7, гл. II).

...Непросто жить. Только и покоя, что от семьи, от земли да от Дона. Видимо, потому так безмятежно его послание Георгию Астахову, дипломату: «Дорогой станичник! Что-то ты молчишь? Когда твой отпуск? Когда приедете с Наташей в Вёшенскую? Мы все ждем и будем искренне рады вашему приезду. И рыба ловится, и птицы много в степи и на озерах. А тут еще арбузы и дыни спели. Не житье, а сплошная масленица. Мария Петровна кланяется, я крепко жму руку. Ждем письма. М. Шолохов» (Астахов будет арестован в 1941 году и сгинет на следующий). В письме Шолохов упоминает, что адресовал какое-то послание «т. Майскому».

Советский посол в Англии — что же связывает?

Как хорошо писать такие домашние письма! Но «сплошной масленицы» не бывает. В одном из писем Шолохова в журнал «Новый мир» есть о романе фраза особой значимости: «Кончу его в конце года, если добрые люди не будут мешать». Если не будут мешать!

...Николай Островский и Михаил Шолохов. В 1936-м Шолохов посылает ему три письма. Первое: «Дорогой Николай Островский! Книгу получил. Спасибо. Прости за долгое молчание. Я думал побывать в Сочи, увидеть тебя, поговорить, но так и не пришлось. Пользуясь „оказией“ — посылаю тебе 1-ю книгу „Тихого Дона“. Как только выйдет из печати последняя — тотчас пошлю. Прими мой дружеский привет. Крепко жму руку. Желаю тебе бодрости, здоровья, успехов в работе. М. Шолохов. 8 июля 1936 г.».

Суховато. Вскоре снова берется за письмо. На этот раз нашел такую струну, чтобы адресат не расценил его как послание к инвалиду: «Спасибо за письмо, за доброе отношение ко мне. В Сочи непременно приеду, как только разделаюсь с окаянной книгой. Сейчас, не глядя на жару, начал работать. Сiju, обливаясь горьким потом, и с вожделением поглядываю на Дон. По совести говоря, — работать в такую дикую погоду нет ни малейшего желания, хотел улизнуть куда-нибудь на простор, чтобы ветром обдувало, но побаиваюсь, как бы жена не стала привязывать за ногу к письменному столу. История знает такие примеры гнусной эксплуатации нашего брата». Продолжил с тем же юмором: «Свояченица Лидия со свойственным ей легкомыслием — целыми днями трещит о тебе, рассказывает без конца и края. Приходит и вместо „здравствуй“ начинает: „А вот Николай Алексеевич“ и т. д. Ужас, что творится в нашем тихом доме! Должен вам сказать, тов. бригадный комиссар, что вы и лежа в постели разите беззащитных девушек...» Закончил тепло и непринужденно: «Крепко обнимаю тебя, дорогой Николай, и желаю всего доброго. До скорого, надеюсь, свиданья. Мой сердечный привет твоей маме и всем твоим близким. М. Шолохов. 14.8.36 г. Вёшенская».

Третье письмо шлет в октябре, тоже из Вёшенской. В нем та же чуткая поддержка: «Дорогой Островский! Спасибо за дружеское внимание, за письмо. С негодованием отмечаю, как говорится, разговоры о твоей недолговечности и всем сердцем желаю тебе жить до старости, не старея...» Далее вполне профессиональное общение двух писателей: «За этот месяц надо поработать до горького пота. Если не закончу „Тихий Дон“ — брехуном прослышу на весь белый свет, а перспектива эта мне не улыбается. Ездил в Москву, слезно просил освободить меня от поездки на

антивоенный конгресс (в Париж. — В. О.). И вот я снова за столом, допоздна „перекрываю нормы“, а наутро прочитываю и за голову хватаюсь. Сии писательские чувства тебе самому известны, а потому и расписывать их нечего...»

Случилась и встреча попозже, в ноябре этого года, на московской квартире Островского. То-то радость была для прикованного к постели человека и его стойкой жены. Слепому писателю хватило чутья выявить творческую особину Шолохова — независимость: «Знаешь, Миша, ищу честного человека, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучились говорить по душам, а друзья боятся обидеть... Вот, Миша, ты и возьми рукопись в переплет...». Это он пишет в Вёшки о своем романе «Рожденные бурей».

Однако особой близости не получилось. Шолохов читал его роман «Как закалялась сталь», но едва ли ему могла понравиться «агитация» Островского, когда прочитал его обращение к себе, опубликованное в «Литературной газете»: «Пусть вырастут и завладеют нашими сердцами казаки-большевики. Развенчайте, лишите романтики тех своих героев, кто залил кровью рабочих степи тихого Дона».

***Дополнение.** «Литературная газета» в середине ноября предоставила трибуну Илье Эренбургу, чтобы заклеить Бунина: «Есть воздух, в котором дохнут птицы, вянут цветы. Это воздух зарубежных стран. По-прежнему кликушествует там Бунин...»*

Шолохов и Бунин. Два лауреата Нобелевской премии. Шолохов ценил Бунина, не только его прозу, но и поэзию. И при этом к некоторым его вещам относился критически. В моем блокноте сохранилось интересное его высказывание на встрече с молодыми писателями: «У Бунина есть рассказ „Красный генерал“. Содержание его не сложное. Растут два мальчика. Один — сын помещика, другой — сын сапожника. Растут вместе и даже дружат. В первую империалистическую оба на фронте. Встречаются потом в разгар гражданской. Один — агент Деникина, другой — солдат революции. И вот тут-то сын сапожника командует: „К стенке, ваше благородие!“ Художественных достоинств в рассказе нет, а вот презрения к простому народу хоть отбавляй. Неприкрытая злоба! Великолепный лирик в прозе, здесь Бунин потерпел поражение как художник. А вы говорите, талант. А талантливые по-разному могут писать...»

Высказал мнение о бунинском рассказе «Господин из Сан-Франциско»: «Великий рассказ, но в нем видно высокомерие. „Смерть Ивана Ильича“ у

Толстого сильнее — проще». Высоко оценил рассказ Бунина «Захар Воробьев».

Однако выразительна и такая деталь. Одна из участниц встречи, поэт Лариса Васильева, сказала ему: какое, дескать, счастье иметь писателю свою Вёшенскую; если бы Бунин жил в «своих» Вешках или, как Толстой, в Ясной Поляне, то иначе развивался бы. Шолохов поморщился и ответил, что Бунин нашел «свои» Вёшки в Европе, и его раздражает, когда он видит под рассказом Бунина мелко набранное «Приморские Альпы».

О том, как Бунин оценивал Шолохова, речь впереди.

Компромат

«Известия» 1 января напечатали статью Бухарина, где он объявил 1936 год началом «расцвета социалистического гуманизма».

Некоторым выпала доля своеобразно приветствовать отца этого соцгуманизма. Шолохов позже, в 1938-м, писал Сталину: «Красюков рассказывал, что в дни 1 мая в Ростовской тюрьме стон стоял от криков. Из одиночек кричали: „Да здравствует коммунистическая партия!“, „Да здравствует товарищ Сталин!“»

Март. Вёшенская. Энкавэдисты начинают охоту на Шолохова. Поручили собрать на него «компромат». По счастью, нашелся один отважный колхозник, Василий Александрович Благородов, — фамилия-то какова! — разоблачил провокатора. Написал в райком: «Он говорил в присутствии меня, Калинина М. Е., Мазанова Т. А., Бондаревой К. А., что Шолохов, когда набирал песенников в Москву, нанимал одного из песельников вложить в баян наган и убить тов. Сталина, после этого предлагал мне подписать материал, написанный им тов. Ежову, за это нам будет большая награда».

Смел казак, даже такое в заявлении написал: приехал начальник районного управления НКВД и одобрил затею с провокацией.

Об этой злобной чуши конечно же ни театр не знал, ни «Правда» ничего не печатала.

Провокация имела подоплеку. Шолохов помогал ставить оперу; об этом сообщалось и в программке. Он посоветовал театру привлечь вёшенских певунов и танцоров, чтобы Большой ощутил подлинный дух Дона. Необычная затея обернулась успехом. Дирижер Николай Голованов не зря высказывал благодарность писателю.

«Правда» другое сообщала: — на премьеру оперы «Тихий Дон» были приглашены 85 донских казаков-колхозников в качестве почетных зрителей. Вообще в эти дни центральная газета уделяла немало внимания Дону. 3 марта была помещена фотография конно-казацкого пробега по боевым дорогам отряда Подтелкова-Кривошлыкова, через два дня — фотография гостей с Дона в Большом театре с подписью, что среди них несколько казаков и казачек из Вёшенского района.

В середине марта оперная эпопея завершилась. В «Правде» появилось большое «Письмо колхозников — донских казаков и казачек — товарищу Сталину». Казаки и казачки благодарили вождя за возможность приехать в столицу, чтобы прослушать оперу, но главное — за счастливую колхозную жизнь, да все в таких вот псевдоказацких выражениях: «Мы дюже и накрепко любим эту жизнь. Наша она, и лучшее ее не придумаешь...»

Каково было Шолохову читать это фальшь-письмо? Минуло всего три года после голода, еще не заросли могилы и не просохли горячие слезы...

Идут в Вёшенскую один за другим мартовские номера «Правды». Опубликован отчет о собрании писателей — в основном критика. Одни писатели осуждаются за формализм, другие — за «влияние формализма». Кто же эти формалисты? Они названы: Леонид Леонов, Константин Федин, Иван Катаев, Илья Эренбург, Борис Пильняк, Владимир Киршон, Корнелий Зелинский. Кстати, в эти же дни появилась заметочка, что создана опера «Поднятая целина»...

Шолохов не нашел себя в правдинских списках «прокаженных», но узнал из оперного буклетика, что им тоже недовольны: «Некоторые критики обвиняют писателя в том, что он слишком много внимания уделил старому казацкому быту и даже этот быт идеализировал». Тут же вспомнил, что именно по этой причине запрещали фильм «Тихий Дон».

Тревожно. Хорошо, что райком в Вёшенской не изменяет. Петр Луговой писателя любит и бережет.

26 апреля 1936 года районная газета «Большевистский Дон» сообщила о том, что в станице Вёшенской начался обмен партбилетов: «Партбилет № 0981052 получил пролетарский писатель Михаил Шолохов, член первичной парторганизации редакции „Большевистского Дона“. В беседе с Шолоховым перед вручением нового партбилета секретарь РК т. Луговой отметил активную работу Шолохова как члена Вёшенской районной партийной организации, члена бюро райкома ВКП(б) и райисполкома. Приняв партбилет, Шолохов сказал секретарю, что высоко ценит звание члена Коммунистической партии».

Высоко ценит и потому не разменивает правду на конъюнктуру.

Вот появляется под его пером в «Тихом Доне» разговор Михаила Кошевого и Григория Мелехова после его возвращения с польского фронта.

«...Григорий сказал:

— Что-то у нас не так... По тебе вижу, не так! Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?

— Нет, ты угадал, не по душе...

— Враги мы с тобой...

— Были.

— Да, видно, и будем...

— Так ты чего же, Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать?

— Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону.

— Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

— Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все...

Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого, Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать?.. Григорий встал.

— Кончим этот никчемушный разговор!.. Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться!..

Михаил презрительно усмехнулся:

— Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут...» (Кн. 4, ч. 8, гл. VI).

В трагедии Гражданской войны у каждой стороны — своя правда, и эту правду Шолохов не скрыл.

...Шолохову звонок из Москвы — собирайтесь в Париж на антивоенный конгресс. Решением Политбюро писатель включен в состав Национального комитета борцов за мир — всего 21 деятель. Доверие! Неожиданно для всех он отказался. Доложили Сталину. Приказал обсудить на заседании Политбюро. Оно состоялось в мае и вынесло такой вердикт: «Освободить от поездки в Париж... т. Шолохова согласно его просьбе».

Почему же отказался от столь лестного и почетного поручения? В бумагах причина не указана.

Так вот и живется ему — прославленному уже на весь мир писателю, активному члену райкомовского бюро и отцу большого семейства. В этом году у него появилось в печати немного: только несколько отрывков из «Тихого Дона» да телеграммы в связи с кончиной тех, кого близко знал — Горького и Островского. И еще опубликовал приветствие героическим бойцам Испании.

Однако же есть на что откликаться и есть чему радоваться. Стахановское движение на подъеме — оно шумно освящено именем Сталина. Москва разработала первый генеральный план реконструкции: будут строиться метро и канал «Москва — Волга». В стране начинаются все новые и новые стройки, — их называют сталинскими. Намечено проложить канал «Волга — Дон». Новый ростовский комбайн будет называться «Сталинец».

Один из немногих писателей, кто не воспел образ Сталина, — Шолохов.

***Дополнение.** Спустя десятилетия Иван Дзержинский рассказал одну историю Никите Богословскому, и тот использовал ее в своих мемуарных новеллах: «Дзержинский приехал в Москву, чтобы совместно с Большим театром продолжить работу над своей оперой „Поднятая целина“. Театр снял ему комнату, но, к сожалению, без телефона. А его родной брат Леонид, писавший либретто к этой опере, оставался в Ленинграде и посылал Ивану фрагменты текста по почте, а иногда небольшие речитативы персонажей — по телеграфу. Для одной сцены срочно потребовалось изменить в тексте фразу, и Леонид поспешил на телеграф. Телеграфистка прочитала, сказала „одну минутку“, вышла и действительно через минуту появились два молодых человека в штатском и, крепко взяв недоумевающего либреттиста под руки, отвезли его куда следует, где бедняга промаялся двое суток, пока в этом деле разбирались высокое начальство. Текст телеграммы, предназначавшийся в опере для какого-то классового врага, был примерно таков: „Оружие храним надежно тчк готовы начать по приказу тчк уверены в победе тчк с нами бог“».*

Во спасение Дона

Шолохов взял на себя смелость написать Сталину о том, как Дон втащили в новую беду — в репрессии! Луговой оставил о том времени мрачное свидетельство: «Крайкомовцы не забыли обиду на Шолохова и на меня за наши действия через их головы в годы известных перегибов. Они начали подсылать в район людей с заданием...»

Эти деяния «людей с заданием» подтверждены не только Луговым. Вскоре он уже не был главой района. Вместо него прислали некоего Капустина, верного прислужника крайкома.

Пять писем отправил Шолохов Сталину, когда окреп в мысли, что больше некому спасти Дон от репрессий. Эти письма являлись государственной тайной до 1993 года.

Одно из них — особое в биографии творца. Выделяется не только потому, что огромно — даже при книжной перепечатке 22 страницы. В нем нет никаких писательских эмоций — факты и только факты.

На письме дата — 16 февраля 1938 года. Но оно необходимо именно в этой главе, ибо ведет отсчет злодеяний именно с 1936-го, хотя упоминаются и предшествующие годы. Итак, Сталин читает о том, как начиналось преследование лучших партийцев и его, писателя:

«...После того, как в 1934 г. я рассказал Вам, т. Сталин, о положении в колхозах Северного Дона, о нежелании крайкома исправлять последствия допущенных в 1932–33 гг. перегибов, после решения ЦК об оказании помощи колхозам Северо-Донского округа, Меньшиков, Киселев и др. окончательно распоясались. Меньшиков установил систему подслушивания телефонных разговоров, происходивших между мной и Луговым, завел почти неприкрытую слежку за нами; вкупе с Киселевым и др. они стали на бюро РК открыто срывать любое хозяйственное или политическое предложение, исходившее от Лугового или меня. Работать стало невозможно... В крайком, в ЦК посыпались клеветнические заявления на Лугового, меня и других коммунистов, боровшихся с вражеским руководством крайкома. Не было ни одного бюро РК, где бы мы не сталкивались с прямым и скрытым противодействием».

Далее о том, что заставляло их первое время подчиняться: «Знали ли мы об этом? Безусловно знали. Знали и молчали потому, что были убеждены в том, что, если потребовать смены этих людей, пришлют таких же. В этом, после снятия Киселева и Меньшикова, мы имели возможность убедиться...»

Описал и то, как он и Луговой побывали в Ростове у первого партсекретаря, надеясь на сочувствие и помощь. Разговор получился бурный. Шолохов сказал партийному начальнику: «Я не преступник и жить

под гласным надзором не хочу...» Ответ был наглым, оскорбительным: «Вторым секретарем пошлем к вам Цейтлина. Луговому не хватает политической грамотности, а Цейтлин — парень грамотный. И начальника НКВД пошлем стоящего. А все-таки посматривать мы за вами будем...»

В письме Шолохов доказывал, что за три года, прошедшие после вмешательства Сталина и проверки Шкирятова, ничего не изменилось: «С 1936 г. дело пошло быстрее. Подвернулся случай рассчитаться с нами простым и безопасным делом — началось по краю выкорчевывание врагов...» Шолохов перечислил множество фамилий напрасно арестованных вёшенцев, одного из них выделил: «Красюков П. А, член бюро Вёшенского РК, мой товарищ, однажды уже сидевший в тюрьме...»

Сообщил Сталину и о положении своей семьи: «Тройка шеболдаевских (Шеболдаев — глава крайкома. — В. О.) порученцев, ведя беспринципную борьбу с нами, не брезговали ничем. Летом 1936 г. они стали посылать на мое имя и на имя моей жены гнусные анонимки, порочащие меня как коммуниста и человека. Как-то я сказал об этом, и Тимченко (начальник Вёшенского районного отделения НКВД. — В. О.), улыбаясь, предложил свои услуги, чтобы расследовать это дело и найти автора письмишек. Я отказался от его слуг, будучи твердо убежденным, что именно он является автором этих нечистоплотных произведений. Тимченко неоднократно заявлял мне, что на меня казачьи к-р (контрреволюционные. — В. О.) организации готовят покушение... Когда я, желая уточнить тимченковскую информацию, спросил у него, кто выслеживал меня и арестован ли он? — Тимченко, глазом не моргнув, ответил: — „Ничего подобного я вам не говорил. Вы меня не так поняли“. Отношения наши к тому времени настолько определились, что, когда Тимченко попросил сообщать ему, куда я еду, якобы для того, чтобы принимать какие-то меры охраны, я, смеясь, ответил поговоркой: „Избавь боже от таких друзей, а с врагами сам управлюсь“».

Писатель был беспощадно правдив в письме, выбирал факты поистине фугасной мощи. Приведу некоторые из них:

«...Когда ему (Красюкову. — В. О.) говорили, что он издохнет в тюрьме, — он отвечал: „И помирая буду говорить: да здравствует коммунистическая партия и советская власть! А вы, фашисты, смотрите и учитесь, как надо умирать честным коммунистам!“... „Вы хотите, чтобы я лгал?“ — „Давай ложь. От тебя и ложь запишем“»;

«...В тюрьмах Ростовской обл. арестованный не видит никого, кроме своих следователей. Просьбы арестованных разрешить написать заявление прокурору или нач. УНКВД грубо отклоняются. Написанное заявление на

глазах у арестованного уничтожается, и арестованный с каждым днем все больше и больше убежден в том, что произвол следователя безграничен. Отсюда и оговоры других, и признание собственной вины, даже никогда не совершаемой...»

Нелегко дались писателю эти кровоточащие строки для Кремля.

Тут еще до него донеслось, что «врагом народа» объявлен Борис Пильняк. Семь лет назад он не отказался защищать Шолохова от обвинений в плагиате, и в прошлом, 1935 году в своем романе «Созревание плодов» с добром отзывался о Шолохове, наряду с Маяковским, Пастернаком, Алексеем Толстым, Леоновым, Всеволодом Ивановым: «Писатели различных литературных и социальных истоков, делавшие литературу и не походившие друг на друга». Какой урок беспристрастия.

...Шолохов оказался под бдительнейшим «присмотром», как и его роман. Левицкая рассказала ему: «Как-то случайно встретила я с Панферовым. „Вы дружите с Шолоховым — убедите его, чтобы он закончил „Т. Д.“ тем, что Григорий станет большевиком. Иначе „Т. Д.“ не увидит света...“» Она не растерялась: «А если это не соответствует жизненной правде?» — «Все равно — так надо». Шолохов в ответ усмехнулся и сказал со своей упрямой убежденностью: «Вопреки всем проклятым братьям-писателям я кончу „Т.Д.“, как я считаю правильным».

Радоваться бы жизни, казалось. Первого января отменены карточки на хлеб и другие продукты. Детишкам ликование — разрешили праздновать Новый год и можно устраивать елки. Дон узнал, что для казачества объявлены послабки — можно смело произносить слово «казак», можно снова петь своеобразные казачьи песни, можно носить былую форму, фуражку и шаровары с лампасами. Мария Петровна вздохнула с облегчением: отменены ограничения — по причине непролетарско-атаманского происхождения — и для отца.

Жизненные горизонты станичника Шолохова все более расширяются. В одном из писем появилось: «Прошу Вас сообщить в Лондон, что меня очень интересуют отзывы англ. прессы на „Тих. Дон“. Еще прошу Вас срочно переслать мое письмо в Данию переводчице „Тих. Дона“ А. Чемеринской-Коп».

Множество паломников, и не только именитых, потянулись в Вёшки — имя Шолохова притягивало как магнит. Один, например, явился, чтобы Шолохов прочитал его «произведение». Он прочитал и сказал: «Нет таланта, не теряйте зря времени»... «А вы не правы, — ответил тот. — Моя жена — зубной врач, и она тоже кое-что понимает в литературе. Она мне говорила другое...»

Другой посетитель вогнал в великое смущение, о чем он рассказал домашним: «Это, знаете, пришел старик с Украины. Пешком пришел. Говорит, что пришел просто „тильки побачиты“, увидеть, значит. А еще сказал, что уже побывал в Ясной Поляне».

Может быть, именно после этой встречи родилось у Шолохова присловье: не смущайте меня своим смущением.

Глава пятая

1937: «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

На страну опустился 1937 год.

Народная доля — по-прежнему героически трудиться, чтобы страна становилась сильной. И у большинства этот пылкий энтузиазм — сделать страну социалистической державой — был искренним.

У энкавэдистов своя задача — по наказу штаба партии избавлять страну от «врагов народа». Пленум ЦК в октябре прошедшего года провозгласил: «Диктатура пролетариата становится более гибкой, а стало быть, более мощной системой...»

Донос в ЦК

Шолохов новый год начал по доброму обычаю в кругу семьи. Даже маленького Мишку вынесли к елке. Правда, к полночи забежали поднять по бокалу друзья из райкома. Гость к гостю — хорошему хозяину радость.

В заботах начинался год. О некоторых можно узнать из шолоховского письма от 5 января журналисту из былых земляков Г. Е. Борисову. Писатель помянул недобрым словом Гитлера. Рассказал, что перегружен не только своей работой над последней книгой «Тихого Дона», но и просьбами молодых литераторов прочитать и благословить их опусы («пачками шлют расплодившиеся писатели»). Дал приятелю, который хочет стать писателем, несколько профессиональных советов. Один такой: «Я — не против помощи, хотя насчет поддержки ты явно преувеличиваешь... Не так строится литература и создаются писат. имена, как тебе кажется... Если бы я взялся тебя поддерживать такими методами, какими в первые годы братья-писатели поддерживали меня, то ты загнулся бы через неделю».

В Вёшенскую пришел свежий номер «Литературной газеты». Опубликовано коллективное письмо под грозным заголовком «Шпионы и убийцы» — требование с еще большей бдительностью выявлять «врагов народа». Подписи: Фадеев, Алексей Толстой, Маршак, Павленко, Олеша, Бруно Ясенский... Еще номер с громким призывом Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Эта его нашумевшая статья учила защищать социализм от всех его противников, в том числе от тех, кто зачислен во «враги народа».

Справедлива устремленность Горького, но знал ли он, кто из этих врагов — истинный, а кто — по навету НКВД?

Против кого же так негодуют писатели: против действительных врагов-шпионов в своих рядах или тех, кого в НКВД расценят таковыми? Там кандидатов много.

Арестован писатель Исаак Бабель, упомянувший Шолохова при допросе. Следователь записывает в протоколе со слов «изобличаемого»: «Мы замалчивали или пренебрежительно отзывались о выдающихся произведениях советской литературы и превозносили одиночек, не принимавших действительного участия в литературной жизни. Ставили преграды расширению популярности Шолохова и объявили его весьма посредственным писателем». Был ли несчастный узник и в самом деле столь злонамеренным недругом Шолохова или его вынудили на самооговор? Если Шолохова посвятили в признания Бабеля, он с чистым сердцем мог бы сказать себе, что политического малодушия в отношении Бабеля никогда не проявлял. Даже тогда, когда его «Конармия» предавалась всеобщему остракизму, а уж как невзлюбил это сочинение командарм Первой конной Буденный! Однажды Шолохов сказал: «Я не могу назвать себя близким другом Бабеля, но, во всяком случае, мы с ним были в приятельских отношениях».

Мир и в самом деле тесен. В те годы он мог скукожиться до узости тюремной камеры, в одном случае, в другом — до зала заседаний крайкома партии. Для вёшенца это не метафора. Бабель дружил с видным гэпэушником Евдокимовым, а Евдокимов настраивал партийцев против Шолохова.

...Идет в Ростове партийный пленум. Председательствует новый партначальник, этот самый Евдокимов. Шолохов напишет о нем Сталину: «Евдокимов с необъяснимой злобой всенародно обрушился на Лугового и начал орать: „Что ты мне болтаешь о какой-то опале! Вы в Вёшенской богему создали. Шолохов у вас — альфа и омега! Камень себе поставьте и молитесь на него! Пусть Шолохов книжки пишет, а политикой мы будем заниматься без него!“ и пр. в этом же роде».

Тесен мир. В гости к Шолохову пожаловал — как не принять — друг сына Евгении Михайловны Левицкой, студент. Как же он любил беседовать с писателем! Только спустя десятилетия вёшенцы узнали, что гостил у них агент НКВД с поручением раздобыть «компромат». По счастью, совестливым оказался. Перед тем как навсегда исчезнуть из окружения Левицких, позвонил и прокричал в истерике: «Евгения Григорьевна, хочу сказать вам и передайте Михаилу Александровичу, я не виноват, меня

заставили, прощайте, наверное, никогда не увидимся!..»

«Компромат» на Шолохова пытались состряпать и враги из земляков. Шолохов пишет Сталину: «В феврале ко мне пришел директор Грачевской МТС соседнего Базковского р-на Корешков, ранее работавший в Вёшенской на должности зав. райзо. Он рассказал следующее: его вызвал к себе нач. Миллеровского окр. отдела НКВД Сперанский, продержал на допросе 14 часов, а под конец заявил: „Ты служил в белой армии, но скрыл это при вступлении в партию. Будучи в белых, ты расстреливал красноармейцев. У нас на тебя имеется вот какое дело, — и показал огромную папку. — Посадить тебя мы можем в любой момент. Но пока мы этого не думаем делать. Все зависит от тебя. Ты нам нужен. Ты в дружеских отношениях со Слабченко, с Луговым, с Шолоховым...“ То есть предложил на них доносить».

Март. Доклад Сталина «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». Вождь потребовал активизировать эти меры.

15 апреля 1937 года в «Литературной газете» была опубликована речь руководителя Союза писателей СССР Александра Фадеева «Учиться у жизни». Было здесь и о Шолохове: «Возьмите, какой чудовищной жизненной хваткой отличается М. Шолохов. Можно прямо сказать, что, когда его читаешь, испытываешь настоящую творческую зависть. Видишь, что это по-настоящему здорово, неповторимо...» И вдруг без всякого перехода: «И все-таки есть в его книгах недостаток большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли». Впоследствии такой попрек — отсутствие «большой мысли» — огранят в политическое обвинение: «безыдейщина».

В Вёшках Шолохов взялся вызволять из беды одного станичника из Букановской. Написал прокурору письмо с просьбой «принять и помочь».

Но едва его отправил, как на бедовую голову — новая беда. Его, истинно народного писателя, обвиняют в защите «врагов народа». Это все усердствует глава краевой партвласти, Шолохов сообщает Сталину: «В апреле в Вёшенскую приехал Евдокимов. На закрытом бюро РК мы выложили ему наши разногласия с группой Чекалина. Евдокимов обвинил нас в прямой защите врага народа Красюкова...»

Заговор против Шолохова и его сподвижников продолжается. Из станицы в столицу идет донос-анонимка, прямым в ЦК. Огромное письмо, хорошая бумага, отличная машинопись, хлесткая партийная фразеология: «26 апреля 1937 г. С. секретно. Тов. Герцовичу. В районе вокруг Шолохова сплотилась группа ответработников, пользующаяся

абсолютной безнаказанностью...» И далее «факты» с фамилиями «троцкистов»: «Секретарь РК ВКП(б) т. Луговой. Его два раза снимали с работы. Но каждый раз по настоянию Шолохова эти решения отменялись. Луговой взял под защиту члена бюро РК ВКП(б) Уполкомзага Красюкова (ныне разоблаченного и арестованного троцкиста)... Лугового поддержал т. Шолохов. И бюро вынесло решение о реабилитации Красюкова... Агроном Райзо — Мирошниченко... Два раза исключался из партии и два раза восстанавливался с помощью т. Шолохова...»

Родственник Марии Петровны и — вот же совпадение — однофамилец, а еще друг Шолохова — Владимир Шолохов, директор еланской школы, подведен «под подозрение». И его вписали в «сколоченную» писателем «группу».

ЦК принял анонимку к исполнению — переслал в Ростов с поручением: изучите обстановку и доложите. Там — с чего бы это такая недисциплинированность? — медлят с ответом. Видимо, побаиваются и слукавить, и правду написать, а что, если снова нагрянет проверка. ЦК, однако, не терпит в таких делах промедления, потому шлет напоминание: «Секретарю Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) — т. Евдокимову. Просьба ускорить ответ на наше письмо... Приложена записка по Вёшенскому району. Помсекретаря ЦК ВКП(б) Буш».

Евдокимов подключил к рассмотрению дела нового начальника краевого управления НКВД Люшкова. Он стремительно обрел громкую славу на Дону: и комиссар госбезопасности третьего ранга (генеральский чин), и кавалер трех орденов, и член бюро крайкома. У него свои профессиональные пристрастия, о них поведал один из подчиненных: «Основным средством „колоть“ (добывать показания) была „государственная дума“ — камера, где помещалось много заключенных и им не позволяли садиться по нескольку дней, и когда на виду у всех остальных вызывали для дачи показаний, это действовало на остальных, и результаты были разительные: иногда не успевали оформлять... Широко применялись „подвески“, иногда били, в том числе и я...»

В это время в Москве директор МХАТа отчитывается перед Сталиным — как исполняется его указание ставить больше пьес с советской тематикой. Рапортует, что согласились стать драматургами два прозаика — знаменитый Леонид Леонов и вошедший в известность Николай Вирта, а с третьим вышла осечка: «Я пытаюсь уговорить написать М. Шолохова, но пока безуспешно».

Май выдался тревожным для семьи Шолохова. Шла районная партконференция; представитель из Ростова — Люшков. Как вспоминал

Луговой: «Меня, Логачева и Шолохова обвинили в том, что мы защищаем врагов народа». От матери не скрыть охоту на сына, которому в этом месяце исполнится лишь 32 года. Марии Петровне ночами не до сна — что будет дальше? Блаженны в своем неведении только детишки, еще не знающие, каков мир за калиткой.

Отступится ли от райкомовцев Шолохов? Смолчит? Отречется?.. Прочитаем дальше воспоминания: «Выступил М. А. Шолохов. Ему высказываться было трудно, но он выступил, выразил свое несогласие с мнением крайкома, что бюро райкома партии якобы защищало врагов народа. Он сказал, что ему такие враги неизвестны. Шолохов заявил, что бюро райкома проводило правильную политику».

Снова не стал стеречься... Требуемого крайкомом «раскаяния» ни от кого из этих троих так и не прозвучало. Ответный удар — под занавес конференции было объявлено: Луговой и Логачев освобождены от работы — дальнейшая их судьба будет определена в Ростове.

Шолохов ощущал карательную настроенность крайкома, но не отрекся от сподвижников. Луговой запомнил навсегда: «Нас с Логачевым многие стали сторониться... Все ждали нашего ареста... Не откачнулся от нас Михаил Александрович... Звонил... приглашал к себе... бывал у нас... все это время ездили на рыбалку или охоту...» Добавил, как строптив оказался его друг-писатель: «Он отмежевался от нового руководства райкома...»

Май заканчивался для станичника в Ростове. На заседании бюро крайкома Люшков отчитывался о своем наезде в Вёшенскую — враги, враги, враги... Евдокимов воскликнул, бросив гневный взгляд в сторону Лугового и Шолохова: «Вот кого вы защищаете!» Шолохов двумя фразами создал его впечатляющий портрет в письме Сталину: «Он хитер — эта старая хромая лиса! Зубы съел на чекистской работе».

Судьба Логачева и Красюкова была предрешена: их схватили, когда Шолохова и Лугового не было в Вёшках.

Дни тогда летели, как расстрельные пули. Беда не ходит одна — Лугового тоже арестовали.

Но надо было держаться. Может, потому Шолохов собрал нервы в кулак и дал согласие «Правде» написать статью «О советском писателе». Совсем небольшая, она появилась в газете 20 мая, незадолго до его дня рождения. В статье сначала выразил свою солидарность с испанскими бойцами-антифашистами — в Испании шла гражданская война между Народным фронтом республиканцев и фашистской «Испанской фалангой», возглавляемой генералом Франко (на стороне республиканцев сражались более трех тысяч советских граждан и коминтерновские интербригады,

Франко поддерживали Гитлер и Муссолини). За этим первым поединком двух систем следил весь мир.

Вряд ли случайно взялся Шолохов за самую взрывоопасную для того времени тему — она давала возможность прояснить свои взгляды... «Каковы взаимоотношения советского писателя и советской общественности, можно проследить и на моей личной биографии, — писал он. — Я, житель станицы Вёшенской на Верхнем Дону, в годы гражданской войны боролся за победу Советской власти. Меня родила и воспитала Советская власть и партия большевиков. Я — сын советского народа. И заботу советской власти обо мне я не могу назвать иначе, как ласковой материнской заботой о сыне».

Шолохов писал это искренне. Он не был противником советской власти, он боролся лишь против чудовищных «перегибов», совершаемых этой самой властью. И не боялся сообщать — среди очень и очень немногих смельчаков — об этих злодеяниях наверх.

Но одновременно хорошо знал, что уже есть отдача от индустриализации, от коллективизации, что активна роль Страны Советов на международной арене, что появились высокие образцы советского искусства.

Июль. Шолохов избран в бюро Международной ассоциации писателей в защиту культуры. Казалось бы, почет и уважение! Однако в своем отечестве пророков нет. Шолохов побывал в Ростове, заглянул в крайком и набрался таких впечатлений, что вновь решился искать защиты у Сталина.

Окаянная жизнь.

«Вырвать ложные показания...»

Письмо Сталину — безбоязненное! — начал с того, что изложил заявление одного из секретарей крайкома, Шацкого, который недавно побывал в Вёшках:

«„Сидят твои друзья, Шолохов. Показания на них сыпят вовсю! Но по Вёшенской это — только начало. Там будут интересные дела. Вёшенская еще прогремит на всю страну!“

Я ответил ему, что арест Лугового и Логачева ошибка, вернее всего, — действия врагов.

Шацкий, смеясь, спросил: „Это не в мой ли огород камешек? Слушай, не выйдет! Я проверен. Можешь судить уж по одному тому, что меня брал к себе на ответственную работу Н. И. Ежов, и Евдокимов с огромным трудом

выпросил меня у ЦК“».

Шолохов рассказал Сталину и о страшной участи стойкого партийца и своего друга, Петра Лугового: «Среди ночи в камеру приходил следователь Григорьев, вел такой разговор: „Все равно не отмолчишься! Заставим говорить! Ты в наших руках. ЦК дал санкцию на твой арест? Дал. Значит, ЦК знает, что ты враг. А с врагами мы не церемонимся. Не будешь говорить, не выдашь своих соучастников — перебьем руки. Заживут руки — перебьем ноги. Ноги заживут — перебьем ребра. Кровью ссать и срать будешь! В крови будешь ползать у моих ног и, как милости, просить будешь смерти. Вот тогда убьем! Составим акт, что издох, и выкинем в яму“».

Сталин узнал и о мытарствах еще одного районщика: «Логачев испытал то же самое. Издевались, уничтожали человеческое достоинство, надругались, били. На допросе продержали 8 суток, потом посадили на 7 суток в карцер, переполненный крысами. В карцере сидел в одном белье, до этого раздели. Из карцера уже не вели, а несли на носилках. Отнялась левая нога. Допрашивали 4 суток. Пролежал в одиночке 3 часа, и снова понесли на допрос. Допрашивали 5 суток подряд. Не мог сидеть, падал со стула, просил разрешения у следователя Волошина прилечь на постеленную на полу дорожку, но тот не разрешил лечь там. Пролежал на голом полу около часа, и снова подняли. Снова пытали 4 суток...»

Заступился и за других партийцев. Сталину пришлось читать, как из одиннадцати председателей колхозов полетели со своих постов девять. Шолохов привел пример: «Арестовали директора Колундаевской МТС Гребенникова как врага народа. А этот „враг“ — ставропольский крестьянин, бедняк в прошлом, красный партизан, награжденный за боевые отличия серебряным оружием, был и наверняка остался безусловно преданным партии человеком...»

Сообщал, каково приходится казакам-землеробам: «Из уст знакомых колхозников я сам не раз слышал, что живут они в состоянии своеобразной „мобилизационной готовности“; всегда имеют запас сухарей, смену чистого белья на случай ареста...» Без всякого политеса увещевал державного правителя: «Ну, куда же это годится, т. Сталин?»

Сообщил и о сборе компромата на себя: «С января 1937 г. начали допрашивать обо мне, о Луговом, о Логачеве. Через короткие передышки, измерявшиеся часами, снова вызывали на допрос и держали в кабинете следователя по 3–4–5 суток подряд. Короткий разговор: „Молчишь? Не даешь показания, сволочь? Твои друзья сидят. Шолохов сидит. Будешь молчать — сгноим и выбросим на свалку, как падаль!“»

Где взять силы, как выстоять? Стреляться? Стрелять? Запить? Предать? Бежать, припомнив старое казачье присловье, которое выкрикивали при сатанинском наваждении: «Унеси Бог и коня, и меня!»? Он принимает отчаянное решение — срочно едет в Москву и оставляет в приемной ЦК письмо: «Дорогой тов. СТАЛИН! Приехал в Москву на 3–4 дня. Очень хотел бы Вас увидеть, хоть на 5 минут. Если можно, примите. Поскребышев знает мой телефон. М. Шолохов. 19.VI.37 г.».

Вождь не ответил.

Летом сгущаются черные тучи над его головой. Ростовская власть, почувствовав свою безнаказанность, начала облаву на родичей Шолохова. В Вёшенский райком идет предписание из крайкома: «Совершенно секретно. Лично т. Капустину. № 15 308. На заседании РК 5 августа разбиралось дело еланской школы. Несмотря на то, что обличительных материалов было более чем достаточно, вы приняли по отношению Шолохова В. необъяснимо мягкое решение, в то время как его надо было привлечь к строжайшей ответственности. Немедленно дайте объяснение, чем это вызвано? Шацкий».

Михаил Шолохов в подробностях рассказал об этом деле в письме Сталину: «Тимченко заявил мне, что ему придется арестовать Шолохова В. — моего родственника, комсомольца с 1924 г., работавшего директором Еланской средней школы. В качестве доказательств привел следующее: 1) в школе насаждались религиозные настроения среди учащихся, ученики читали библию, 2) Шолохов В. вредительски вырубил на пришкольной усадьбе 10 000 корней плодовых саженцев, 3) Шолохов систематически разваливал учебную работу, 4) будучи учителем истории, Шолохов В. преподавал ее с троцкистских позиций. По решению РК была создана комиссия, в которую Капустин и Тимченко сознательно ввели своих единомышленников, и, несмотря на то что при проверке оказалось: 1) ученики читали не библию, а рассматривали на дому иллюстрированный журнал „Пробуждение“ изд. 1913 г., в котором были фоторепродукции на евангельские темы (картина „Камо грядеши“ и др.), 2) уничтожить 10 000 плодовых саженцев Шолохов никак не мог, т. к. пришкольный сад занимал площадь всего-навсего полгектара и было там плодовых деревьев только 65 корней, которые целы до сих пор, 3) доказать, что Шолохов разваливал учебную работу, ничем было нельзя, потому что это противоречило истине, 4) точно так же не преподавал истории с троцкистских позиций; несмотря на все это комиссия, извратив факты и пойдя на явный подлог, сочла возможным сделать следующие выводы: „Шолохова с работы снять, дело о нем передать следственным органам НКВД“».

Широки сети сыска. Писатель свидетельствует в письме Сталину: «Одновременно начали дело и против другого моего родственника, работавшего в начальной школе х. Черновского зав. школой». Шолохов объясняет это вождю так: «И Шацкому и остальным надо было после ареста Лугового, Логачева и др. арестовать моих родственников, чтобы показать, что мое окружение — политическое и родственное — было вражеское, чтобы насильственно вырвать у арестованных ложные показания на меня, а потом уж, приклеив мне ярлык „врага народа“, отправить и меня в тюрьму».

Какими же словами выразить, что переживали Шолоховы, когда чекистские курки в Вёшках клацали у них на виду.

Мария Петровна догадывалась, что ждет мужа, коли быть аресту, а он приближался.

...Луговому выпал внезапный этап в Москву. Районный партработник заинтересовал высший карательный орган. Допрос за допросом. Он потом рассказывал: «Требовали показаний на Шолохова». Ему припомнилось, как один из арестованных дрогнул под пытками и понес полную несусветицу о писателе. Еще писал, что пошли по тюрьме слухи о готовящемся аресте Шолохова, и даже то, что он уже взят.

Сентябрь. По-прежнему нет ответа от Сталина на просьбу писателя встретиться. День за днем длилась эта долгая пытка ожиданием. Евдокимов нагло ведет свою игру — затягивает ответ на запрос ЦК. Коварен. Идет по выверенному сценарию: завершит расправу и ответит — поставит перед фактом. Так и случилось. Из ЦК — звонок в Ростов. Переговоры запечатлены в отчете: «т. Буш. Говорил сегодня с секретариатом т. Евдокимова. Вопрос закончен, имеется решение крайкома о снятии руководителей Вёшенского района. Решение было принято еще в мае м-це. Они его пришлют...»

То был приговор. Шолохову тоже. Если «враги» его друзья, то «враг» и он сам.

Он улавливает новую тактику своих противников. Ростовская партвласть хорошо усвоила мнение о своем земляке московских критиков или же прослышала о неоднозначном отношении Сталина к «Тихому Дону». Писатель рассказал Сталину в уже упомянутом письме, как попытался сломить ему донской — казачий — хребет предшественник Евдокимова на крайкомовском посту: «Шеболдаев вдруг начал проявлять исключительную заботу о моей писательской будущности. При каждой встрече он осторожно, но настойчиво говорил, что мне необходимо перейти на другую тематику; необходимо влиться в гущу рабочего класса, писать о

нем, т. к. крестьянско-казацья тематика исчерпана и партии нужны произведения, отражающие жизнь и устремления рабочего класса. Он усиленно советовал мне переехать в какой-либо крупный промышленный центр, даже свое содействие и помощь при переезде обещал. Очень тонко намекал на то обстоятельство, что я, в ущерб своей писательской деятельности, занимаюсь не тем, чем мне надлежало бы заниматься, словом, — уговаривал...»

Тут еще снова подло мазанули старым дегтярным квачом по воротам — плагиатор! И потому в письме появилось: «Нач. РО НКВД Меньшиков, используя исключенного из партии в 1929 г. троцкиста Еланкина, завел на меня дело в похищении у Еланкина... „Тихого Дона“. Брали, что называется, и мытьем и катаньем!» Заметил: «Вокруг меня все еще плетут черную паутину...»

Побавилось у него друзей и сочувственников. Одни в тюрьме. О других ко времени старая поговорка: «В радостях сыщут, в горести забудут». Осталась вечная благодарность Луговому: не сломался — не предал и не оговорил.

Шолохов в этом своем письме свидетельствует о том, что нынче из той эпохи обычно замалчивают, — как честные партийцы отказывались становиться винтиками «карательной машины»: «На районном партийном собрании подавляющее большинство коммунистов, знавших Красюкова на протяжении ряда лет совместной работы в р-не, голосовали против исключения, т. к. причины таинственного ареста никому не были известны. РК не мог дать объяснений по этому поводу. (Из 104 членов партии голосовало против исключения 91)...»

Кто знает, может, как раз в эти нервные дни и бессонные ночи рождались у писателя сотканые и из своих переживаний, и из переживаний матери, жены и всей родни драматические строки о Мелехове и его близких, когда власть оплетала его, вернувшегося домой, чрезмерными подозрениями. То-то в разговоре Григория и Кошевого появляется знаменательное не только для 20-х годов, но и для 1937-го: «А ты мне веришь?..» — «Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит». То-то прозвучало от сестры Григория: «Михаил говорит, что его арестуют в станице... Будь она проклята, такая жизнь! И когда все это кончится?..» То-то растерялась Аксинья: «С чего это Дуняшка взяла, что тебя непременно должны заарестовать? Она и меня-то напугала до смерти... Думаешь, тебя все-таки заберут? Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?..» То-то вырвалось бедовое у казака-батареяца: «Я, может, от горя пьяный! Пришел домой, а тут не жизнь, а б... Нету казакам больше жизни...» (Кн. 4, ч. 8, гл.

VI, VIII, IX).

Писатель отверг для себя возможность даже в годы террора писать конец романа как соцреализмовский лубок!

При всем этом в четвертой книге романа он правдиво описал и настоящих коммунистов, отдающих жизнь за свои идеалы: «До красноармейцев оставалось не более полусотни саженой. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением „Интернационала“ пошла в контратаку. На смерть» (Кн. 4, ч. 7, гл. II).

Почему победили красные? В последней книге «Тихого Дона» Шолохов живописует сцену, когда Григорий Мелехов (воевавший в то время на стороне белых) оказался в одном застолье с англичанином Кэмпбеллом и при нем поручиком-переводчиком. Поручик говорит Григорию:

«— Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными.

— Не верит?

— Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалами отзывается о красных.

— Он участвовал в боях?

— Еще бы! Его едва не сцапали красные...

— Чего он лопочет?

— Он видел, как они в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки... Он говорит, что народ нельзя победить. Дурак! Вы ему не верьте.

— Как не верить?..

— Он пьян и болтает ерунду. Что значит — нельзя победить народ? Часть его можно уничтожить, остальных привести в исполнение... Нет, не в исполнение, а в повиновение...» (Кн. 4, ч. 7, гл. XIX).

«О мыслях про самоубийство»

Наконец-то в Союзе писателей вспомнили о Шолохове. Владимир Ставский (после смерти Горького стал генеральным секретарем) примчался в Вёшенскую. До него донеслись слухи о неблагополучии в жизни давно

знакового коллеги. Вернулся в Москву и отправил Сталину большое письмо. В нем — стремление спасти Шолохова. Но не безогляден порыв. Здесь коварная дипломатия, и «сгущение красок», и даже доносы. Так, увы, приспособился жить этот писатель. Не Шолохов!

«В ЦК ВКП(б). Секретно. Тов. СТАЛИНУ И. В.

В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова я побывал у него в станице Вёшенской.

Шолохов не поехал в Испанию на Международный конгресс писателей. Он объясняет это „сложностью своего политического положения в Вёшенском районе“.

М. Шолохов до сих пор не сдал ни 4-й книги „Тихого Дона“, ни 2-й книги „Поднятой целины“. Он говорит, что обстановка и условия его жизни в Вёшенском районе лишили его возможности писать.

Мне пришлось прочитать 300 страниц на машинке рукописи IV книги „Тихого Дона“. Удручающее впечатление производит картина разрушения хутора Татарского, смерть Дарьи и Натальи Мелеховых, общий тон разрушения и какой-то безнадежности, лежащей на всех трехстах страницах; в этом мрачном тоне теряется и вспышка патриотизма (против англичан), и гнева против генералов у Григория Мелехова.

М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.

— Большевиком же его я делать никак не могу.

Какова же Вёшенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован б. секретарь Вёшенского райкома ВКП(б) Луговой — самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района (б. зав. РайЗО Красюков, б. пред. РИКа Логачев и другие) — все они обвиняются в принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации.

М. Шолохов прямо мне заявил:

— Я не верю в виновность Лугового, и если его осудят, значит, и я виноват, и меня осудят. Ведь мы вместе все делали в районе.

Вспоминая о Луговом, он находил в нем только положительные черты; особенно восхвалял ту страсть, с которой Луговой боролся против врагов народа Шеболдаева, Ларина и их приспешников.

С большим раздражением, граничащим со злобой, говорил М. Шолохов:

— Я еще не знаю, как передо мной обернутся нынешние работники края. Приезжал вот 2-й секретарь — Иванов Иван Ульяныч, два дня жил, вместе водку пили, разговаривали;

как он хорошо говорил. Я уже думал, что он крепче Евдокимова, а вот он врагом народа оказался, арестован сейчас! Смотри, что делается! Гнали нас с севом, с уборкой, а сами хлеб в Базках гноят. Десятки тысяч пудов гниют под открытым небом!

На другой день я проверил эти слова Шолохова. Действительно, на берегу Дона в Базках лежит (частью попревшие) около 10 000 тонн пшеницы. Только в последние дни (после дождей) был прислан брезент. Вредители из Союзхлеба арестованы.

Озлобленно говорил М. Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и о его родных.

В порыве откровенности М. Шолохов сказал:

— Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.

Я воспринял это, как признание о мыслях про самоубийство.

Я в лоб спросил его, не думал ли ты, что вокруг тебя орудуют враги в районе и что этим врагам выгодно, чтобы ты не писал? Вот ты не пишешь — враг, значит, в какой-то мере достиг своего! Шолохов побледнел и замялся. Из дальнейшего разговора со всей очевидностью вытекает, что он допустил уже в последнее время грубые политические ошибки.

— 1) Получив в начале августа письмо (на папиросной бумаге) из ссылки от б. зав. РайЗО Красюкова, он никому его не показал, а вытащил впервые только в разговоре со мной. И то — как аргумент за Лугового. В письме Красюков писал, что он невиновен, что следствие было неправильное и преступное, и т. д.

На мой вопрос, снял ли он копию с этого письма? — Шолохов сказал, что снял, но ни т. Евдокимову, ни в Райком не давал.

— 2) Никакой партработы Шолохов, будучи одним из 7-ми членов Райкома — не ведет, в колхозах не бывает, сидит дома или ездит на охоту, да слушает сообщения „своих“ людей.

Колхозники из колхоза им. Шолохова выражали крайнее недовольство тем, что он их забыл, не был уже много месяцев:

— „Чего ему еще не хватает в жизни? Дом — дворец двухэтажный, батрак, батрачка, автомобиль, две лошади, коровы, стая собак, а все ворчит, сидит дома у себя“.

— 3) На краевой конференции Шолохов был выбран в Секретариат и ни разу не зашел туда.

В крае (Ростов-Дон) к Шолохову отношение крайне настороженное.

Тов. Евдокимов сказал:

— Мы не хотим Шолохова отдавать врагам, хотим его оторвать от них

и сделать своим!

Вместе с тем тов. Евдокимов также и добавил:

— Если б это был не Шолохов с его именем — он давно бы у нас был арестован.

Тов. Евдокимов, которому я все рассказал о своей беседе с Шолоховым, сказал, что Луговой до сих пор не сознался, несмотря на явные факты вредительства и многочисленные показания на него. На качество следствия обращено внимание краевого Управления НКВД.

Очевидно, что враги, действовавшие в районе, прятались за спину Шолохова, играли на его самолюбии (бюро райкома не раз заседало дома у Шолохова), пытаются и сейчас использовать его как ходатая и защитника своего.

Лучше всего было бы для Шолохова (на которого и сейчас влияет его жены родня — от нее прямо несет контрреволюцией) уехать из станицы в промышленный центр, но он решительно против этого, и я был бессилен его убедить в этом.

Шолохов решительно, категорически заявил, что никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет, но дело Лугового вызывает у него большие сомнения в действиях местных властей. Жалуясь, что он не может писать, М. Шолохов почему-то нашел нужным упомянуть, что вот он послал за границу куски IV книги, но они были задержаны в Москве (Главлитом), и из заграницы к нему пришли запросы: где рукопись? Не случилось ли чего?

Шолохов признал и обещал исправить свои ошибки и в отношении письма Красюкова, и в отношении общественно-партийной работы. Он сказал, что ему стало легче после беседы.

Мы условились, что он будет чаще писать и приедет в ближайшее время в Москву.

Но основное — его метание, его изолированность (по его вине), его сомнения вызывают серьезные опасения, и об этом я и сообщаю.

С комм. приветом Вл. Ставский. 16.IX.37 г.».

На письме резолюция: «Тов. Ставский! Попробуйте вызвать в Москву т. Шолохова дня на два. Можете сослаться на меня. Я не прочь поговорить с ним. И. Сталин».

Дорога в Москву — что ждет его там? арест? спасение?..

Архив сохранил дату встречи писателя и вождя: «25 сентября 1937 г. с 16.30 до 18 часов». Сталин пригласил Молотова и Ежова. Проговорили полтора часа!

Писатель покидал державный кабинет со сложными чувствами.

Сталин, когда слушал Шолохова, — не перебивал и другим не давал, а когда услышал просьбу помочь страдающему Дону, сказал: разберемся. И ничего более не обещал.

Едва вышли, Шолохов — к Ежову: попросил свидания с Луговым. Нарком внутренних дел держал нос по ветру — он убедился во внимании вождя к писателю и разрешил. Луговой потом вспоминал: «Повели к Ежову. В кабинете наркома сидел Михаил Александрович Шолохов. Я прежде всего посмотрел, есть ли у него пояс... Я понял, что Шолохов не арестован». Убедился, что встреча — не очная ставка.

Прошло десять дней. Наконец Ежов сообщил нечто обнадеживающее. Шолохов тотчас взялся за письмо: «Дорогой т. Сталин! т. Ежов, наверное, сообщил Вам об исходе вёшенского дела. Он говорил вчера, что сегодня будет ставить на ЦК вопрос об освобождении Лугового и Красюкова. То, что я пережил за эти 10 месяцев, дает мне право просить Вас, чтобы Вы разрешили мне видеть Вас на несколько минут после того, как т. Ежов сообщит о вёшенском деле, или в любое другое время, которое Вы сочтете удобным. Имею к Вам лично, к ЦК просьбу. Прошу сообщить через Поскребышева, он знает мой телефон. Москва. Шолохов. 5.10.37».

Однако понадобилось больше месяца, чтобы «Дело», вскрытое Шолоховым, было окончательно «закрыто». Каково ждать, ждать, ждать...

И, наконец, 15 ноября из Ростова пришла телеграмма: «Москва. ЦК ВКП(б) тов. Сталину. Прошу утвердить следующее решение Ростовского обкома ВКП(б) от 14 ноября: Обком постановляет: 1) вернуть т. Лугового на работу в Вёшенский район в качестве первого секретаря райкома партии. 2) Вернуть т. Логачева на работу в Вёшенский район в качестве председателя Рика. 3) Вернуть т. Красюкова на работу в качестве уполномоченного Комзага СНК по Вёшенскому району».

И тут-то все теперь пошло без каких-либо проволочек. Еще бы — сам Сталин вмешался! Уже через два дня Политбюро утверждает полученное из Ростова решение.

Радостно Шолохову и всем честным в станице партийцам, но сколько же возникает неотступных вопросов:

почему в решении обкома ни слова о роли Шолохова в разоблачении «Вёшенского дела» и об издевательствах над ним?;

почему помимо трех районщиков не названы другие страдальцы по этому «Вёшенскому делу»?;

почему обком пощадил злонамеренного секретаря райкома Капустина — сказано лишь: «отозван в распоряжение обкома», и иже с ними энкавэдистов?;

почему ЦК не дал принципиальной оценки Евдокимову и начальнику краевого управления НКВД? Неужто Сталин поверил тому, что подписал Евдокимов — во всем-де виновата, как сообщено в центр, «контрреволюционная правоцентристская и эсерово-белогвардейская организация». Но отчего же ни слова о том, что это за такая внезапно появившаяся в крайкомовском решении странная организация? Явно придумали.

Мария Петровна мне рассказывала: «Михаил Александрович дал телеграмму, что, мол, все в порядке, ждите. Никто, кроме меня, и не знал об этой телеграмме. Но, наверное, на почте порадовались за счастливый исход. Короче, вся станица вышла встречать. Помню, Луговой и Логачев плакали. А казаки подходили к Михаилу Александровичу и благодарили...»

В своем кабинете Луговой прикрепил на видном месте портрет своего спасителя Шолохова кисти местного учителя.

Почти полгода жили писатель и три вёшенца-партийца под топором. То было время, когда людей неволили либо безотрывно смотреть в глаза следователю, либо отводить взгляд от сослуживца, соратника по партии, соседа при первом же павшем на него подозрении. Как-то даже Сталин выразил тому удивление: когда арестовали Мандельштама, а очень близкий поэту человек и к тому же авторитетный член Союза писателей смолчал. Сталин стал выговаривать отступнику: «Если бы мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти».

Знал, кому что говорить. Например, Фадееву заявил иное, когда тот попытался смягчить репрессии в Союзе писателей: «С каких пор советский писатель решил защищать врагов народа? У вас что, есть документы в их защиту? Или вы не доверяете органам?»

Добавил с превеликою заботой: «Врагов не надо защищать. Это безумие».

Шолохов личное предупреждение Сталина — не защищать «врагов народа» — получил, помним, намного раньше: в голодном 1933 году.

И еще два события произошли в конце 1937 года в жизни писателя и страны. Первое — литературное. Второе — сугубо политическое.

В ноябрьском номере «Нового мира» вышла седьмая часть «Тихого Дона», она открывала четвертую книгу романа. Многим помнились заключительные строки из шестой части:

«— Чего это ты тянешь, тетка? — поинтересовался Мишка.

— А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим: несем ей буржуйскую машину (швейную. — В. О.) и муку — бойкой скороговоркой ответил один из красноармейцев.

Мишка зажег подряд семь домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам Мохову и Атепину-Цаце, попу Виссариону, благочинному отцу Панкратию и еще трем зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора».

Новая часть романа начинается с противостояния верхнедонских повстанцев и красных.

Вторая история происходила в Москве. Вечером после заседания Политбюро Шолохова разыскали и попросили от имени ЦК дать согласие... на выдвижение его в депутаты Верховного Совета СССР — впервые, мол, грянет такое историческое событие в жизни страны и народа... доверие лично товарища Сталина...

Согласие дал. И потом, уже дома, исполнил необходимую формальность — отправил телеграмму руководителям избирательного округа в Новочеркасск: «Дорогие товарищи! Выдвижение моей кандидатуры в депутаты Верховного Совета, ваше доверие, оказанное мне, я воспринимаю как высшую награду за мою партийно-общественную деятельность и литературную работу. Излишне говорить о том, что это обязывает меня отдать все творческие возможности, всю жизнь служению партии и народу. С приветом М. Шолохов».

Первого декабря он приехал в Новочеркасск. Парадная встреча кандидата в депутаты, цветы, зал, битком заполненный избирателями, которые радостно встречали его. Он выступил с торжественной речью: «И, будучи патриотом своей великой, могущественной Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного Донского края... История проверяет людей на деле, а не на словах. История проверяет, в какой мере существует у человека любовь к Родине, какая цена этой любви...»

Едва писатель вернулся домой из Москвы, — юбилей Вёшенского театра колхозной молодежи. Праздновали всего-то первую годовщину. Шолохова обязали держать речь. Она была краткой — всего пять фраз: «Если не будет зазнайства, если в театр не проникнет мертвящее самодовольство... Надо еще крепче учиться, еще упорнее овладевать сценическим мастерством...» Театр при таком наставнике был дерзок... Ставит пьесы и старого Александра Островского, и молодого — Николая, по его роману «Как закалялась сталь», гремевшую тогда по всей стране «Любовь Яровую» Константина Тренева, и узнаваемую хуторянами и станичниками инсценировку «Поднятой целины».

Тем временем и выборы прошли. Шолохов узнал, что вместе с ним депутатами Верховного Совета стали его сотоварищи по писательскому цеху Алексей Толстой, А. Корнейчук, В. Ставский и еще несколько.

Приструнил Сталин крайком и энкавэдистов и позволил избрать Шолохова депутатом. Неужто отныне он недосягаем для врагов-недрузгов и иных провокаторов? Неужто с новым годом начнется новая жизнь — спокойная для творчества и настрадавшейся семьи?

Поддержал и старик Серафимович. Напечатал в «Литературной газете» душевный очерк «Михаил Шолохов». Не обошлось, правда, без назидания: «Писатель должен шагать вровень с эпохой».

А он, возможно, в это самое время выводил своим четким почерком для «Тихого Дона» то, что было вровень с его азартной натурой рыбака: «Увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плавающих так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты... Они иногда скрывались под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие, мокрые листочки вербы...» И далее, после живописной сценки охоты на рыбин, появилось истинно от шолоховского характера: «Это была как-никак удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется!» И уточнение: «Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли» (Кн. 4, ч. 7, гл. XXIV).

...В самом конце декабря Шолохов огорчил свое литературное начальство — отказался ехать в Тбилиси, на заседание V пленума Союза писателей в честь 750-летия поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». И не только потому, что еще не отошел от политических баталий. Не любил таких празднеств, которые затевались парада ради.

Глава шестая

1938: ШАГИ НА ГОЛГОФУ...

33 года исполняется Шолохову в 1938 году. Возраст Христа. Быть ли Голгофе? Однако уместен ли такой вопрос по отношению к депутату Верховного Совета СССР, с согласия самого Сталина избранному делегатом XVIII партийного съезда, и члену президиума Союза советских писателей?

Сто абзацев обличений

Январь. Новый год, кажется, ничего плохого не сулит ни самому Шолохову, ни его народу. Напротив, он начался добрыми предзнаменованиями. В январе случились два больших события!

Дочура — Машенька — родилась! Третьим январским днем. Радости-то на весь свет! Возликовал даже в письме, причем не самому близкому человеку: «Родилась у нас дочь, назвали Машей. В доме стало еще веселей, как на детской площадке...»

Через неделю состоялся пленум ЦК партии. Сталин стал инициатором постановления «Об ошибках парторганизаций при исключении из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Появилась надежда, что репрессии перестанут быть кампаниями, прекратятся ночные кошмары с арестами, тюрьмами, допросами, «тройками», особыми совещаниями. Возможно, Сталин убедился, что перегнул, и нужна смена курса. Ясно, что здесь не обошлось без влияния негодующего шолоховского стука в цековские двери. Настойчив был — четыре года единоборства с властью!

Да вот только осталось недоумение. В последние годы из партии исключили более миллиона коммунистов, а речь в постановлении только об «ошибках» и «недостатках». В Москве запускали кровавую мельницу, а раскритикованы только местные работники. Дон, правда, выделен особым образом: «Пользуясь политической близорукостью руководителей Ростовского обкома ВКП(б), исключили из партии честных коммунистов, выносили заведомо неправильные взыскания работникам, всячески озлобляли коммунистов...» Почти цитата из шолоховского письма. Но Сталин оставался Сталиным — заканчивалась она угрожающе: «...делая в

то же время все возможное, чтобы сохранить в партии свои контрреволюционные кадры». Для Шолохова вопрос: кого теперь зачислят в эти самые «кадры» — главного ростовского энкавэдиста Люшкова или его?

Увы, недолго держали тормоза после пленума.

Кажется, первым почувствовал это на себе именно Шолохов. И снова в бой!

Февраль. Началась первая сессия Верховного Совета. Торжественное открытие, ощущение сопричастности к жизни всей страны, новые знакомства... Депутат Шолохов передал письмо Сталину о том, что на Дону ничего не изменилось.

Начиналась третья глава бесстрашной шолоховской Книги борьбы с той бесчеловечной политикой, которая продолжает подрывать веру в саму идею социализма.

Шолохов разглядел в постановлении ЦК возможность для ретивых обкомовцев продолжать искоренение «контрреволюционных кадров». «Пока положение остается прежним: невинные сидят, виновные здравствуют и никто не думает привлекать их к ответственности», — писал он Сталину.

Уточнил: «Луговой и остальные вёшенцы благодаря Вашему вмешательству освобождены, а сотни других коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьме и ссылке...»

Обобщал: «Надо покончить с постыдной системой пыток... Такой метод позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину».

Рассказал кое-что и о себе, чтобы в Кремле не было никаких иллюзий: «Вокруг меня все еще плетут черную паутину...»

Письмо огромно. В нем более ста абзацев. В них полусотня фамилий тех, кого несправедливо зачислили во «враги народа», а также сообщение о десятках и десятках безымянных жертв из восьми районов, многих колхозов и МТС. Сатрапы в голубых петлицах тоже поименованы.

Сталин написал на письме: «Травля Шолохова» и свел всю державную тревогу вёшенца лишь к одной его личности. По этой резолюции письмо было направлено помощнику Поскребышеву и наркому внутренних дел Ежову. Когда они закончили читать, на полях появилось десять замет: «Невозможно проверить» и «Проверить». В этих пометах — директива: что надо проверять, что не надо. Назначили главного проверяющего — Шкирятова. Его предложил в письме сам Шолохов: «Пришлите по делам арестованных коммунистов М. Ф. Шкирятова. Он знает очень многих

людей здесь по 1933 г., ему будет легче ориентироваться».

Шкирятов готовится в дорогу, перечитывает письмо с руководящими пометками на полях — для него это и впрямь план проверки. Замета «Невозможно проверить» стоит возле таких, к примеру, утверждений Шолохова: «Надо тщательно перепроверить дела осужденных по Ростовской области в прошлом и нынешнем году, т. к. многие из них сидят напрасно...; О допросах с пристрастием пишу мне и другие арестованные, которые сейчас находятся в ссылке. Пишут и просят довести до Вашего сведения о том, как их допрашивали, как из них сделали врагов».

Шкирятов не глупый человек — он видит, что указания «проверить» начертаны далеко не всему письму, их вовсе нет там, где Шолохов делает обобщения. Значит, таков совет — не прикасаться к темам общеполитического характера. Он, видимо, дивился тому, как писатель осмеливался так обращаться к вождю: «Пора распутать этот клубок окончательно, т. Сталин!.. Да разве можно было годы жить под таким чертовым прессом? Страшный тюремный режим и инквизиторские методы следствия... Т. Сталин! Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен... Всего не перескажешь, т. Сталин, хватит и этого».

Шкирятову не могла не запасть в память истинно мольба из последних душевных сил: «Дорогой т. Сталин! Прошу Вас лично — Вы всегда были внимательным к нам, — прошу ЦК, разберитесь с нашими делами окончательно!..»

Окончательно?! Проверяльщик мог недоуменно пожать плечами при этой просьбе — несбыточна. Сам же Шолохов написал то, что столь точно характеризует систему репрессий: «Я уже говорил Евдокимову: „Почему обком не предпринимает никаких мер, чтобы освободить из тюрем тех, кто сидит за связь с Луговым, кто посажен врагами?“ Он ответил: „Ты говорил об этом Ежову? Ну и хватит. А что я могу сделать?“»

Вот с каким багажом собирался Шкирятов на Дон в мае.

И у Шолохова немалый груз дел и забот. В одном из мартовских писем он их запечатлел: «Можно сказать, погряз я в делах, залез в них по ноздри, а может, и по уши...» Это о том, что появились в его жизни совсем новые обязанности и обязательства: «Навалились депутатские обязанности — хоть криком кричи! Наверху завел у себя канцелярию (штатный — один я). Строчу ответы на жалобы избирателей. В промежутках правлю рукопись...»

Дополнение. Младшая дочь Шолохова окончила школу в родной

станции, по замужеству переехала в Москву и работала в издательстве «Современник». Отец не раз поручал Марии Михайловне составление его сборников и даже собраний сочинений. Вместе с мужем, военным инженером, они воспитали сына, ставшего дипломатом, и красавицу дочь, которая закончила Институт международной торговли и права.

Письмо об отставке

В конце февраля 1938-го Шолохов отправил письмо в Москву — Ставскому: «Дорогой Володя! У меня к тебе вот какое дело: пожалуйста, выведите меня из редколлегии „Октября“». Генеральный секретарь Союза писателей понял — такое письмо нельзя утаить от остальных литначальников. Он собрал секретариат. И его члены поразились необычному по тем временам заявлению — Шолохов отмежевался от политики Панферова: «Отвечать за линию журнала не могу... Не хочу быть для вывески. Избавь от этого».

Из письма явствовало, что и Панферов не терпел Шолохова: «К характеристике моих взаимоотношений с редколлекцией и, в частности, с Панферовым: я года три не получаю журнала от них. Ни единого письма не прислали...» Еще абзац — оценка без дипломатии: «Просту хамство».

Шолохов рвал с теми, кого открыто поддерживал сам Сталин. Да к тому же в самую острую пору политической борьбы в стране, когда с протестами было лучше помалкивать. После пленума ЦК исключен из партии Демьян Бедный. Арестован Артем Веселый и сгинул навсегда. Шолохов ценил его роман «Россия, кровью умытая». В Вёшки приходят и другие скорбные сообщения: умер в заключении Мандельштам, брошен в застенки Михаил Кольцов, схвачен «за антисоветскую пропаганду» Николай Заболоцкий... Не союзники, но сотоварищи по Союзу писателей.

И в Вёшках все лютуют. И вот — ночной стук, лай и брань у куреня брата Марии Петровны. На него давно «точат зуб». В его «Деле» значится: «Громославский является сыном станичного атамана, до и после революции был служителем религиозного культа; в 1916 г. был псаломщиком, а с 1920 по 1929 год — дьяконом. В 1930 г. был осужден по ст. 59, п. Ю УК, но в 1932 году освобожден по кассации...». Теперь и он «враг народа». Каково было утром узнать о нагрянувшей беде.

Однако какое самообладание у Шолохова. Сел за письмо в Лондон — старому приятелю, партийцу с дореволюционным стажем, теперь представителю советского торгового флота в Англии Николаю Петровичу

Романову. Отгоняя мрачные думы, а может, подбадривая себя, пишет: «На минуту представил, как ты ловил бы на комара... Хотя для тебя размеры рыбы, идущей на комара и личинку, не новость: когда-то ухитрялись же вы весь улов помещать в бутылке от рябиновки...» Приглашая его на рыбалку и охоту, припомнил строку из Пушкина: «Запивать стерлядь и куропаток будем не каким-либо презренным джином или виски, а тем самым „соком кипучим, искрометным“, который некогда воспел дегустатор Александр Сергеевич». И вдруг посерьезнел: «Некогда писать за общественными нагрузками». Знал бы приятель, какие политические сражения замаскированы словами об «общественных нагрузках».

Шолохов доверял свою боль только самым близким. Даже в письме Левицкой 15 ноября тщательно маскирует свои переживания: «Молчание мое, и то, что я не зашел, когда был в Москве, и то, что не пишу „Тих. Дон“ вот уже 8 месяцев, — все это объясняется другим. Но об этом „другом“ писать долго и скучно. Об этом надо говорить... Писательское ремесло очень жестоко оборачивается против меня...»

И вдруг неожиданное продолжение: «...Пишут со всех концов страны и, знаете, дорогая Евгения Григорьевна, так много человеческого горя на меня ввалили, что я начал гнутья. Слишком много на одного человека. Если к этому добавить всякие личные и пр. горести, то и вовсе невтерпеж. Черт его знает, старею, видно... А не хотелось бы!»

Мрачный тон, мрачные намеки. Впрочем, нетрудно догадаться о причинах: горе, с которым люди обращаются к писателю, — это черные зарницы от продолжающегося истребления тех, кого именовали «врагами народа».

Знали бы те, кто слал письма в Вёшенскую, что Шолохову самому нужна была помощь — не зря написал: «Начал гнутья». Напряженная работа над финалом «Тихого Дона», мятущийся Мелехов — ни за что не быть ему большевиком! Теперь же новые страдания идут к нему со всех концов страны, а Сталин не торопится отвечать на его последнее письмо о продолжающихся репрессиях... Голгофа!

Ждет, ждет Шолохов ответ Сталина. Недоброе молчание в ЦК сопровождается недобрым замалчиванием имени и творчества Шолохова в «Правде».

Апрель. Здесь идет статья Лежнева «На новом этапе» — к пятой годовщине постановления ЦК о перестройке литературно-художественных организаций. Надо же: шолоховед «позабыл» хотя бы упомянуть Шолохова.

Май. Иван Дзержинский со статьей о своей работе над оперой «Тихий Дон» — и ничего о Шолохове. В этой же газете печатаются приветствия

писателей по случаю дня печати — Ал. Толстой, Стальский, Юдин, Ставский, Лахути, Стецкий... Шолохов, давний автор и даже бывшей спецкорреспондент, не приглашен.

Накануне дня рождения Шолохов читает целый подвал с заголовком «Троцкистская агентура в литературе». Редактор «Литературной газеты» здесь обвиняется в том, что «систематически травил Панферова...». Не припомнят ли и ему, Шолохову, схватки с автором «Брусков»? Еще строки о «врагах», будто в назидание и ему, автору «Тихого Дона»: «Интерпретировали историю гражданской войны. Ухитрялись ни слова не сказать о роли Сталина...» Но ведь и в его романе своя «интерпретация» и ни строки «о роли Сталина». Шолохов продолжает читать — авербаховцы названы «контрреволюционной группой», упомянут и Макарьев. Авербах когда-то пытался ему дать рекомендацию в партию, Макарьев — его земляк и давний знакомец (это ныне можно именовать как «преступную связь»).

Все это, разумеется, читает и Шкирятов.

Что же Шолохов? Снова идет наперекор. Вступается за роман Василия Кудашева. Роман был отвергнут журналом «Октябрь»: «Искажает эпоху». Шолохова эта оценка не смутила. Он просит заступничества у Ставского. Победа! Не в журнале, но роман друга все-таки появился отдельным изданием.

Дополнение. Пушкин в письме... Шолохов ценил поэзию, и не только Пушкина и Лермонтова. Вставил, к примеру, в «Тихий Дон» строки Александра Блока, в военный роман — строфу из Пушкина и строку из Маяковского. Декламировал при случае Дениса Давыдова, Есенина, Тютчева, Фета, Бунина, любил грузина Бараташвили. С удовольствием познакомился с необычной поэзией белоэмигранта Дон Аминадо (настоящее имя А. П. Шполянский). Привечал некоторых своих современников. Владимира Фирсова осчастливил даже вступительным словом к сборнику. И свободно плавал в океане народной поэзии — сколько ее, песенной, в «Тихом Доне»!

У Пушкина особо выделял стихотворение «Поэт» («Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...»). У Фета — «Сонет» («Когда во хмелю преступлений Толпа развратная буйна...»). У Дон Аминадо — «Послесловие» с такими строками: «Жили. Были. Ели. Пили. Воду в ступе толкли. Вкруг да около ходили, Мимо главного прошли».

В 1938-м нашел время и послал в Алма-Ату поздравительную телеграмму знаменитому тогда акыну-сказителю Джамбулу. Видимо, оплатил вниманием за две строки из одной его акынской песни-кюе:

«Тихого Дона родные сыны, вы и Джамбулу родные сыны...»

О «тов. Шолохове»: поражение

Вёшенская оказалась едва не на особом положении: Матвей Федорович Шкирятов, — товарищ из Москвы — приехал разбирать жалобу Шолохова. Вместе с ним явился Цесарский в чине начальника IV Главного управления НКВД СССР, но с актрисой Цесарской, как узнал Шолохов, не имеет никакого родства. У районных энкавэдистов переполох. В райкоме суетня. Надо откладывать все дела и работать на проверяльщиков: беседы, справки, сопровождение. Гости не вельможны: съездили в Ростов, посетили тюрьму, устроили очные ставки...

Шолохов надеется на справедливость. Быть ли ей? Он верит Шкирятову.

Закончена командировка. Проверятьщики уехали. Через несколько дней был готов отчет — ответственный документ: «Товарищу Сталину, товарищу Ежову. О результатах проверки письма тов. Шолохова на имя товарища Сталина». Как бросается в глаза: «тов. Шолохов» — «товарищ Сталин». Еще одна любопытная примета: Шкирятов и Цесарский поставили свои подписи 23 мая — в канун дня рождения писателя.

Авторы отчета, аккуратисты-педанты, письмо Шолохова и свое отношение к нему разложили по пунктам. Дважды они крупно посвоевольничали — из огромнейшего письма и даже из тех восьми пунктов, «подсказанных» Поскребышевым и Ежовым, избрали для проверки всего три; обошли шолоховские обличения Ростовского обкома, да и вообще не «заметили» никаких обобщений.

Шкирятов и Цесарский убеждают Сталина, что при проверке тщательно блюли справедливость: производили очные ставки — и даже приглашали Шолохова. Но утаили то, как проходили эти самые ставки. Подконвойному «врагу народа» приказывали садиться за один стол с тем, кто вел следствие и уже выбил из него «нужные» показания, а тут: «Говорите правду!» Но кто в тюрьме и в присутствии своих палачей отважится на правду? Начальственные гости завтра уедут в Москву, а эти-то останутся. Не потому ли случилось даже такое: один из тех, кто на первой встрече с москвичами подтвердил свои прежние правдивые показания, а на второй очной ставке — отказался. Есть в отчете и признание, что не со всеми поговорили: «Нижеперечисленных лиц, указанных т. Шолоховым, нам опросить не удалось. Часть из них осуждена

по первой категории (расстрел. — В. О.) или находятся в лагерях...»

Шкирятов и Цесарский не рискнули поддержать Шолохова. Он писал Сталину о 185 земляках: «невинные сидят». Проверяльщики убеждают Сталина не верить Шолохову: «Большинство из них кулаки, участники вёшенского контрреволюционного восстания в 1919 г. и реэмигранты (из них 18 чел. арестованы как участники право-троцкистской организации)». Еще несогласие с писателем: «Для проверки той части заявления т. Шолохова, где говорится, что органы НКВД Ростовской области применяют к арестованным физические меры воздействия, мы специально допросили арестованных Лимарева, Тюткина, Дударева, Кузнецова, Мельникова, Точилкина, Гребенникова и Громославского. Ни один из допрошенных нами не показал, чтобы над ними в какой-либо форме применялось физическое насилие...» Поскребышев при чтении отчета аккуратно подчеркнул эти строчки.

И дальше снова коварный прием: фамилию Громославского использовали, а о его родстве с Шолоховым ни слова. Зато какой сгусток выписок из следственного дела: «Обвиняется в том, что вел среди рабочих совхоза „Красный колос“ антисоветскую агитацию, распространял клевету на партию и ее руководителей. Громославский виновным себя не признает, но уличается 6-ю свидетельскими показаниями и 4-мя очными ставками... Свидетель Букарев показывает, что в его присутствии Громославский по поводу приговора над участниками право-троцкистского блока говорил, что сейчас гибнет много ни в чем не повинных людей. Свидетель Сердюков приводит факт, когда Громославский выступал с открытой враждебной клеветой на т. Сталина...»

Уверяют Сталина, что вокруг Шолохова не «плетется» никакой «черной паутины»: «Не подтверждается и заявление т. Шолохова о том, что со стороны районного отделения НКВД против него была создана травля...» И все-таки что-то признают: «Тюткин (бывший работник РОНКВД. — В. О.) нам заявил, что он действительно говорил, что на т. Шолохова подбирается в райотделении НКВД материал... При очной ставке т. Тимченко (нач. РОНКВД. — В. О.) все это отрицал...» И вывод: «Кто из них прав — бывший начальник райотделения НКВД т. Тимченко или арестованный Тюткин — сказать трудно!» Вот как — даже восклицательный для Сталина знак.

Итак, Шкирятов и Цесарский не поддержали обличений Шолохова.

Итак, Сталин узнал, что «имели место» не более чем «отдельные ошибки». Но разве он, вождь, отменил свое изречение: «Лес рубят — щепки летят!»?

В итоге перед вождем выбор: Шолохов требовал наказать палачей, потому и писал: «Почему не привлекают к ответственности тех, кто упрямал в тюрьму Лугового, Логачева, Красюкова, и тех, кто вымогал у них показания в своих вражеских целях? Неужто все это так и останется и врагам будет дана возможность и дальше так же орудовать?» Проверяльщики убеждают вождя в другом: «Мы считаем, что делать это нецелесообразно».

Какое же решение принято? Если письменное решение и было, то оно не обнаружено. Ясно одно, коли не случилось ареста Шолохова, значит, Сталин его простил: спишем, мол, послание на впечатлительность писательской души.

Узнал ли Шолохов о том, что Шкирятов обвинил его в обмане? Лучше бы не узнавал. Если бы узнал, то каждая ночь вылеживалась бы в ознобе.

Узнали ли ростовские и вёшенские власти об отчете проверяющих? Неизвестно. Но думаю, так или иначе узнали и, наверное, порадовались, что никаких особых мер не последовало.

...Не из этих ли дней отзвук в военном романе «Они сражались за родину»: «Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем?»

***Дополнение.** Шолохов не зря упомянул в письме Сталину о том, что продолжают его обвинения в плагиате — на этот раз от энкавэдистов. Тот в ответ промолчал. И общественность помалкивала.*

Зато на Западе публично опровергали наговоры. Шолохову осторожно рассказали, что в Париже за него заступился один земляк, ныне белый эмигрант некто Дмитрий Воротынский. В эмигрантской газете «Станица» он напечатал: «Мне бы хотелось разъяснить „мнимую легенду“... Во время нашего великого исхода из России на Дону было два крупных казачьих писателя: Ф. Д. Крюков и Р. П. Кумов... С Ф. Д. Крюковым я был связан многолетней дружбой, я был посвящен в планы его замыслов, и если некоторые приписывают ему „потерю“ начала „Тихого Дона“, то я достоверно знаю, что такого романа он никогда и не мыслил... Что касается Р. П. Кумова, которого тоже впутывают в эту легенду, то и Кумов такого романа писать не собирался».

Конструктор «катюши» и нарком Берия

Шолохов узнал, что арестован зять Евгении Григорьевны — Иван

Терентьевич Клейменов. Славная биография: коммунист с 1919 года, участник Гражданской войны, один из самых первых в стране организаторов работ по ракетной технике, начальник секретного Реактивного института. Замечу, что его заместителем был гений русской космонавтики Сергей Павлович Королев (он тоже будет арестован). Вокруг шпиономания, а в анкете Клейменова — «нехорошая» строка: два года работал в торгпредстве в Германии. При обыске у него нашли подарок от Шолохова — охотничью винтовку с оптическим прицелом. Не смалодушничал Клейменов — на допросах ничего про писателя не сказал, будто не было частых встреч, охоты, застолий или того, что, пребывая в Германии, Шолохов остановился не в отеле, а у Клейменовых.

В письме со списком подозреваемых, которое Ежов передал Сталину, значилось пока еще не самое страшное: «Всех этих лиц проверяем для ареста». Вождь начертал: «Не проверять, а арестовывать нужно».

Время такое, что утром не знаешь, кто постучит в дверь ночью. Клейменов совсем незадолго до росчерка сталинского пера сам писал Сталину: «Рапорт № 1. Успешно закончены полигонные (государственные) испытания разработанных НИИ-3 ракетно-осколочных 82-мм снарядов и оружейной установки...» Это будущие «катюши».

Никто — ни сослуживцы, ни руководители наркомата — не решился заступиться за Клейменова. Шолохов решился. В какой уже раз он пренебрегает уроком от Сталина: не заступаться за врагов. В архиве хранится шолоховское письмо в Комитет партийного контроля: «В 1938 году я ходил к Берия по делу Клейменова. Будучи твердо уверенным, что арест Клейменова — ошибка, я просил Берия о тщательном и беспристрастном разборе дела моего арестованного друга...»

Лаврентий Берия еще не нарком — пока только заместитель, да рукастый: вся власть в НКВД быстро оказалась у него в руках, не обойти. Общаться с ним опасно — недолго и на себя накликать пагубу. Его пенсне злое выскрывает при каждом кивке и повороте лобастой головы.

В ту пору особенно-то не рисковали не только защищать арестованных, но и просто поддерживать знакомство с их семьями. О чужой голове биться — свою на кон ставить.

Левицкая осталась в одиночестве, всеми забытая и брошенная. Вспомнилось ли ей совсем недавнее письмо из Вёшенской о том горе, что шло к Шолохову в посланиях со всех концов страны? Теперь ей тоже пришлось писать ему о своих невзгодах: зять арестован, дочь Маргарита арестована. Шолохов ответил, хотя не мог не знать, что письма в семьи арестованных просматриваются: «Дорогая Евгения Григорьевна! Письмо

Ваше — большая радость и для нас с М. П. Теперь остается узнать про Ивана Терентьевича, да чтобы и он был жив и здоров, тогда совсем будет здорово. Очень хорошо и отрадно, что Маргарита держится молодцом...»

Напрасны надежды. Скор суд и жесток приговор Клейменовым: ему — расстрел, жене — лагерь. На Левицкой отныне всех пугающее пятно. Только Шолоховых оно не отпугнуло — написали ей 23 ноября: «Ни о какой перемене в отношениях не может быть и речи. Все мы по-прежнему Вас любим...»

Сколько же выпало Шолохову горестных забот весной и летом 1938-го! Но всем, кроме Марии Петровны и еще, пожалуй, Левицкой и Лугового, кажется, что живет этот необычный вёшенец как ни в чем не бывало. Вот пишет — как раз-то в ожидании ответа от Сталина — приятелю, работнику торгпредства в Лондоне: «Спасибо за табак. Выкурил его за 2 недели, а потом снова перешел на махорку „головтютюна“. Привези табак и трубку кривую, охотничью (с кривой удобнее ходить)». Дружба дружбой, а табачок врозь — щепетилен: «...если в апреле сумею перевести тебе англ. деньги».

В это же время дает согласие на встречу с одним переводчиком. Это Петр Охрименко, нынче мало кому известный знакомец Льва Толстого, Ленина и даже американца Эдисона; он мечтает перевести шолоховские сочинения на английский.

И еще принимает участие в подготовке тематического — о казачестве — выпуска популярного журнала «СССР на стройке». И стойко сносит злоумышленные слухи и сплетни о себе, что стал любовником жены самого Ежова — Евгении Соломоновны Хаютиной. И наставляет начинающего прозаика: «В „Новом мире“ за этот год найдите рассказы Диковского. Присмотритесь, как он строит сюжет и дает описание. Надо бы Вам почитать кое-кого из западных писателей, например Хемингуэя, О. Генри. Все они превосходные мастера рассказа, и очень невредно поучиться у них». И пишет актрисе Цесарской: «Читала ли Эриха Ремарка „На западном фронте без перемен“? Видел картину по этому роману. Сильней ее еще не создано в кинематографии». И в одной из статей признается: «Полюбил книги Лагерлеф, Стриндберга, Гамсуна, а посредством их — и Скандинавию». Одновременно перечитывает Чехова.

Казнь ожиданием

В начале года Шолохов писал с отчаянием, что почти начал гнуться. И все же, как видим, держался. К концу лета враги писателя

активизировались, решив свести затянувшиеся счета (кроили, кроили — шить начали); явно воспользовались выводами Шкирятова и Цесарского в отчете.

В своих воспоминаниях Луговой рассказал о пришедшем к нему осенью 1938-го письме: «Я, гр. хутора Колундаевка Вёшенского района, арестован органами РОНКВД. При допросе на меня наставляли наган и требовали подписать показания о контрреволюционной деятельности писателя Шолохова...»

Пришлось ему выслушать и Ивана Семеновича Погорелова, он недавно появился в районе. Инженер из Новочеркасска, участник Гражданской войны, орденоносец. Изливал душу он с полной откровенностью: «Мне предложили поехать в Вёшенскую, устроиться на работу, войти в доверие к Шолохову, стараться быть у него на квартире, на вечерах, а затем дать показания, что Шолохов — руководитель повстанческих групп на Дону. Что Шолохов, дескать, и меня, обиженного партией и советской властью, завербовал в свою организацию. Что Шолохов, организуя вечеринки, собирает на них руководителей повстанцев и проводит с ними контрреволюционные совещания... Я все обдумал и решил твердо: что бы со мной ни было, я на такой путь не пойду. Поэтому и пришел к тебе».

Что дальше? Как-то Шолохов взялся мне рассказывать:

«Предупредили меня, что ночью приедут арестовывать, из Ростова уже выехала бригада. Наши станичные чекисты, как сказали мне, тоже предупреждены — их у окон и у ворот поставят. Этот смелый человек (Погорелов. — В. О.), партиец с двадцать шестого года, рассказал Луговому, что начальник НКВД вызвал его и сказал: „Получено указание арестовать Шолохова. Вопрос, мол, согласован с обкомом“. Луговой ко мне поспешил. Решили мы с ним — что делать? Бежать! В Москву. Куда же еще? Только Сталин и мог спасти. Или, кто знает, что там со мной задумали... И бежал. На полуторке. Но поехал не в Миллерово, а к ближайшей станции в другой области...

— Не знаю, что стало бы с Михаилом Александровичем, — добавила Мария Петровна, — если бы он поехал тогда в Москву через Миллерово. Там его поджидали... Это я ему посоветовала запутать следы. И ехать через Михайловку. Они спохватились, да поздно».

Нелегко было слушать продолжение. В столице Шолохов повстречался с Фадеевым. Он занимал высокий пост в Союзе писателей, Сталин к нему прислушивался. Может, заступится? Не заступился. Пришлось писать письмо: «Дорогой т. Сталин! Приехал к Вам с большой нуждой. Примите

меня на несколько минут. Очень прошу. М. Шолохов. 16.X.38 г.». Сталин принял не сразу.

Истинно Голгофа: каждый день, словно шаг в неизвестное с крестом тяжкой судьбы на плечах. И так день за днем. Казнь ожиданием!

Узнал: в Ростове, в пединституте, проявилось подлое предательство по трусости. Исчез его портрет со стены в том зале, где он соседствовал с портретами великих творцов.

Рюмка водки и кабинет Сталина

Шолохов 23 октября сорвался — вспомнил для меня: «Со злости выпил рюмку водки...»

Прошло больше недели, а отклика на просьбу о встрече с вождем — нет. Уже и Погорелов добрался в Москву.

Далее рассказ Шолохова я записал таким:

«— Выпил, а тут звонок: вызов! Помощник Сталина Поскребышев говорит мне: „Будете вы, Луговой и кое-кто еще“».

До Кремля рукой подать — жил в гостинице «Националь». Шагают они с Погореловым по Красной площади и вдруг Шолохов тихохонько запел донскую, казачью песню: «Ой вы, морозы... Сморозили сера волка...» Прервался и мрачно проговорил: «Вот вернемся, тогда уж запоем во весь голос... Или попадем за решетку...» И он сложил крест на крест четыре пальца двух рук: тюремное окно. Он эту песню так любил, что она появилась в последней книге «Тихого Дона», там, где описывается бедовая жизнь Григория в банде Фомина.

«— Пришли, — продолжил Шолохов. — Смотрю, в приемной Луговой, а в сторонке от него две кучки: ростовский начальник НКВД и еще один в форме, тоже наш, ростовский Каган, а чуть поодаль наши партийные начальники. Нас позвали, всех. Мы вошли в кабинет Сталина. Смотрю — Сталин, а рядом с ним Молотов и Ежов. Сталин повернулся ко мне: „Прошу вас рассказать по существу дела“. Я ему в ответ — а что я мог в волнении еще сказать: „Товарищ Сталин, мне нечего добавить к тому, что я написал на ваше имя. Если вы мне не верите — пусть Погорелов засвидетельствует...“

Сталин выслушал и кивнул, — как продолжал рассказывать мне Шолохов, — пусть, мол, говорит. Смотрю, Погорелов волнуется, но твердо докладывает, как его вызвали и как дали задание. А эти-то стали отрицать. Но Погорелов едва не криком: „Провокаторы они, товарищ Сталин!“

Сталин подошел к Погорелову и посмотрел ему в глаза пристальным своим взглядом. Погорелов выдержал и говорит: „Товарищ Сталин! Я говорю правду. Это они говорят неправду“. И достает из кармана бумагу, листик. „Это, — говорит, — собственноручный почерк Кагана“. Тут Каган во всем сознался...»

Шолохов не раз брал в рассказе передых. Воспоминания давались с трудом:

«Сталин смотрит на меня и говорит: „Дорогой товарищ Шолохов, напрасно вы подумали, что мы поверили бы этим клеветникам“. И ткнул взглядом на энкавэдистов. Те ни живы ни мертвы. Я, конечно, радуюсь, что отвел от себя беду, и не сдержался — говорю: „Товарищ Сталин, вы, конечно, правы в пожелании, чтобы я был спокоен, но вот есть такой анекдот. Бежит заяц, а навстречу волк. Говорит волк: „Ты, заяц, чего бежишь?“ Заяц в ответ: „Как что бегу — там вон ловят и подковывают“. Волк говорит: „Так подковывают верблюдов, а не зайцев“. Заяц ему отвечает: „А когда поймают и подкуют, так пойдя докажи, что ты — не верблюд!“»

Помню, даже Ежов засмеялся, — заметил Шолохов, — а Сталин — так, не очень. И пристально на меня: „Говорят, вы, товарищ Шолохов, много пьете?“ Я ответил: „От такой жизни, товарищ Сталин, запьешь!“»

Шолохов к концу встречи Сталину — анекдот и горькую шутку. Сталин с шутки встречу начал, когда обратился к Ежову: «Ну, что, Николай Иванович, будем снимать с него его кавказский ремешок?», видимо, помянул правило отбирать у арестованных ремни.

Шолохова тогда поразило поведение их районного чекиста. Сталин у него что-то там спросил, тот вскочил со стула, руки по швам, и оцепенел: ни да ни нет. Каков солдат партии!

Вот какими оказались для Шолохова весна, лето и осень 1938 года. У Твардовского есть строки о тех временах: «Быть под рукой всегда — на случай нехватки классовых врагов...»

С кем быть Мелехову...

После того как Шкирятов и Цесарский в своем отчете выставили Шолохова едва ли не обманщиком, ему бы затаиться в станице. Подальше от державного внимания, переждать бы черную пору. Нет, не сложил оружия. Поехал в Москву исполнить поручение тоже несломленного Лугового. Пробился с письмом райкома о необходимости упреждающих

мер в засушливых районах Донщины к заместителю председателя Совета Народных Комиссаров (так тогда именовалось правительство), Анастасу Ивановичу Микояну.

Микояну достало понимания, кто перед ним с ходатайством и о чем оно. Письмо переслал Сталину с припиской: «Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину. В связи с постановкой на Политбюро ЦК ВКП(б) вопроса о мерах борьбы с засухой в степных районах, направляю Вам письмо секретаря Вёшенского райкома ВКП(б) тов. Лугового, переданное мне тов. Шолоховым...»

И вот результат. В октябре 1938-го в «Правде» было напечатано постановление ЦК и СНК «О мерах борьбы с засухой в степных районах». Это еще одна глава из Книги шолоховских забот о Доне!

Не предает Шолохов и московских друзей. Шлет письмо Левицкой: «Будете писать Маргарите — передайте привет от нас и всякие добрые пожелания...» Это он о дочери Левицкой, которая брошена в лагерь. Интересно, сообщило ли лагерное начальство по инстанции, когда вскрыло письмо, о таком внимании писателя к жене «врага народа»?

Пишет Левицкой и о другом: «Полтора месяца не брался за перо... За „Т.Д.“ что-то боюсь братья...»

Что же у него под пером? В «Правде» появились всего три небольшие заметки Шолохова: приветствия по случаю 75-летия Серафимовича, беспосадочного перелета Москва — Дальний Восток летчиц-героинь Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой и 20-летия ВЛКСМ.

Длинным-предлинным становится 1938 год для писателя.

Неожиданно отношение к нему изменилось. Кончился ледниковый период, началось внезапное потепление. На «Мосфильме» разрешили Сергею Ермолинскому (другу Михаила Булгакова) писать сценарий для фильма «Поднятая целина». «Роман-газета» издает седьмую часть «Тихого Дона». Ученый совет Института мировой литературы выдвигает Шолохова кандидатом в академики. Из Ростова приехал молодой поэт и журналист Анатолий Софронов с просьбой от областной студии кинохроники — снять фильм о писателе-станичнике. Подумал, подумал и не отказал. Правда, когда начались съемки, рьяно мешал восхвалению своей персоны. (С Софроновым сдружился. Особенно частыми были встречи и обмен письмами с 60-х годов, когда земляк стал главным редактором журнала «Огонек». Здесь Шолохов печатал отрывки из второй книги «Поднятой целины» и дважды выпускались его собрания сочинений.)

Шолохову невдомек: с чего бы это? Знает, что просто так кулеш не

варят. Шел слух, будто бы Сталин дал указание: «Великому русскому писателю Шолохову должны быть созданы хорошие условия для его работы».

Если это так, то, видимо, Сталин понимал, как можно с помощью романов помогать социалистическому воспитанию трудящихся. Отныне творчество Шолохова начинают приспосабливать для обслуживания курса партии. Один тогдашний критик сочинил, к примеру, о Давыдове: «Он прекрасно усвоил и продумал то, что сказал Сталин о новой политике в деревне... Прочитанное им в речи Сталина представляется ему тем, о чем он сам думает, он защищает это как свое собственное, выношенное, продуманное».

За границей заметили новое отношение к этому современному Толстому с берегов Дона: то угроза ареста, то возвеличивание со всем казенным пылом. И взялись пережевывать эту новость. До писателя дошли сведения, что уже известная ему итальянская газета «Джермо» напечатала без особых раздумий: «Шолохов, предупрежденный одним из своих друзей, сумел, спрятавшись, избежать гнева диктатора. Гнева, который вскоре погас, так как Шолохов вошел в состав Верховного Совета СССР и с гордостью принял титул „лучшего советского писателя“ и „классика социалистического реализма“».

За границей не учитывали одного: Шолохов никогда не отвергал саму идею социализма, он боролся лишь с ее извращениями и издержками. Потому попытки представить его купленным славой и почестями — нелепы.

Не гнев погас. Сталин предусмотрителен: первая социалистическая держава после недавней смерти великого Горького не должна оставаться без писателей, которыми можно было бы гордиться на весь мир. Вождь пощадил не только Шолохова. Не были брошены в застенки ненавистные власти Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Сергеев-Ценский... Михаила Пришвина не посадили, хотя и превратили в детского писателя-натуралиста, печатая лишь безобидное. Дано согласие на возвращение из эмиграции Марины Цветаевой. Уже год, как поезд привез из эмиграции старика Куприна...

Однако неприкосновенных не было. Вождь прочитал памфлет Демьяна Бедного под названием «Ад» и приказал: «Передайте этому новоявленному „Данте“, что он может перестать писать».

Шолохову тоже достается. Все пытаются навязать могучему реалисту догмы соцреализма. Вскоре он прочтет в одной книге: «Так, можно отметить у Шолохова следы ложно понятого „народного образа“, который

усиленно культивируют так называемые „крестьянские писатели“ и интеллигентские любители „локальности“ описаний».

Не сдается романист. Оповестил в одной из газет: «Сейчас я работаю над восьмой, заключительной частью романа „Тихий Дон“. Наполовину работа уже закончена».

Кто станет воодушевляющим образом для миллионов строителей социализма — блукающий в поисках правды Григорий Мелехов или твердокаменный коммунист Михаил Кошевой? Три года тому назад автор «Тихого Дона» пообещал: «Из большевиков в четвертой книге выделится Михаил Кошевой. Я выдвину его с заднего плана и сосредоточу на нем большое внимание».

Не исполнил своих «соцобязательств». В седьмой части этот персонаж вовсе не появился, а в восьмой — лишь в нескольких главах. Теперь Кошевой в новой роли — при должности предревкома. И Шолохов ищет новые краски для его портрета. То: «Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть!» То: «Злой донельзя на себя и на все окружающее». То уничижительное: «Твое дело телячье: поел, да в закут». То — Мелехову: «Отправляйся завтра же, а ежели добром не пойдешь — погоню под конвоем». Такое наблюдение: по хутору он стал ходить «медленно и важно» (Кн. 4, ч. 8, гл. V).

Упрям Шолохов и тогда, когда от главы к главе описывает судьбу Мелехова тоже по правде жизни. Не исполняет указаний-советов: дескать, позволил этому «отщепенцу» в предшествующих томах пометаться-поблукать, изволь теперь дать ему возможность прозреть. От члена партии Шолохова требовали как бы дать рекомендацию в партию Мелехову.

Дополнение. Давно начались попытки навязать Шолохову иного Мелехова. Еще в 1928-м Ермилов, главный рапповский критик, требовал от автора пустить мятущегося героя по единственно правильному, по его разумению, большаку: «Постепенно идущий к большевизму». Еще один «правильный картограф» Машбиц-Ветров убеждал читателя: «Автор ведет его к коммунизму». Шолохов же уже двумя своими романами сказал совсем о другом — власть обязана быть такой, чтобы люди шли под эту власть добровольно.

Уже и РАПП прикрыли, а официозные критики не стали пацифистами. Отныне были приняты истинно энкавэдэшные оценки. «Воинствующий идеолог сословного казачества», — писал, к примеру, о Мелехове Лежнев.

Что читатели? Одни были облучены всепроникающей радиацией

классовой ненависти к Мелехову. Другие имели смелость читать роман без идейных предрассудков. Кто-то из тех, кто умел думать самостоятельно, пробился на страницы «Литературной газеты»: «„Тихий Дон“ — исключительное произведение. Оно доходит глубоко до сердца, так же как и „Война и мир“. Как там, так и здесь у меня чувство тоски и неудовлетворенности за героев романа. Но что делать, ведь это жизнь...»

Еще несколько писем от простых читателей — их разыскала литературовед Н. Корниенко (к слову сказать, она многое открыла в теме «Шолохов и Платонов»): «Не читав произведения Шолохова, я был непримиримо настроен к сословию и знати, особенно казачеству. После прочтения у меня вместо прежней ненависти внушилось сочувствие к казачеству, ихнему героизму, стойкости за свои интересы, и даже зародилась некоторая любовь к Григорию как мужественному борцу за честь потомства». Подпись: Гунченко К. Т. забойщик, 35 лет, Донбасс. Или: «Я ученик 3-го класса. Я прочел сочиненную вами книгу „Тихий Дон“. Книга „Тихий Дон“ мне очень понравилась. Я обязуюсь так же бороться за Советскую власть, как боролся Григорий за царя». Подпись: Буров Миша, Западно-Сибирский край, село Кузеденево.

Глава седьмая

1939: ПАРТСЪЕЗД — ТВОРЕЦ ПРОТИВ ВОЖДЯ

Не было еще такого при Сталине (и не будет впредь): делегат на партийном съезде посмел опровергнуть Генерального секретаря ЦК ВКП(б), а затем обнародовал то, что по указанию ЦК скрывалось от народа; Сталин «не заметил» этого противопоставничества себе и партии.

Этом делегатом был Михаил Александрович Шолохов.

Реплика в «Известиях»

Новый год начался для писателя с общения со всей страной.

В «Правде» 1 января появилось обещание Шолохова в журналистской заметке, что «Поднятая целина» будет завершена именно в этом году. Уже сколько лет ждут от него второй книги.

В «Известиях» первого же числа был опубликован отрывок из «Тихого Дона» (с примечанием: «Предлагаемая вниманию читателей глава из 4-й книги „Тихий Дон“ закончена на днях Михаилом Шолоховым и передана из станицы Вёшенской по телеграфу специальным корреспондентом „Известий“»).

Ровно через месяц ростовская газета «Молот» тиражирует новое заявление — долгожданное! — Шолохова: «Остались последние главы „Тихого Дона“: в феврале закончу обязательно».

Но страна не все узнает. Например, что Сергею Герасимову не разрешат ставить фильм по «Тихому Дону»: «Мне было сказано, что едва ли имеет смысл экранизировать роман, который при всех своих достоинствах выводит на первый план судьбу Григория Мелехова, человека без дороги, по сути, обреченного историей...» И ведь — надо признать — отказали вполне справедливо с точки зрения политической безопасности. И не какому-нибудь начинающему или подозреваемому в политкрамоле режиссеру, а уже прославленному своими фильмами Герасимову.

Впрочем, стране было не до этого. ЦК объявил о подготовке к очередному XVIII съезду ВКП(б), где будет утверждена социальная и экономическая программа развития страны.

Январь. ЦК готовится к съезду, но академические и писательские дела не оставляет без присмотра, и Шолохова — отметим — не забывает.

25 января Политбюро утвердило состав президиума правления Союза писателей СССР из пятнадцати человек — и Шолохов среди них. Александр Фадеев — секретарь президиума.

28 января Шолохов избран действительным членом Академии наук СССР. Академик в 34 года! Получил поддержку даже от Алексея Толстого: «Он большой художник-реалист... Я уверен, что избрание Шолохова в члены Академии СССР будет горячо встречено всем советским народом».

31 января Шолохов удостоен высшей в стране награды — ордена Ленина: «За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы». Всего наградили 172 писателя, но только 20 творцов удостоены той награды, что и Шолохов.

Конечно же все это приятно и почетно, но Шолохов не мог не понимать, что за всеми этими почестями не только признание, но и попытка приручения.

В эти дни произошло, пожалуй, первое его приобщение к делам Академии — писатель получил письмо председателя комиссии Совнаркома СССР по разработке единой орфографии и пунктуации. Оказалось, что он утвержден членом этой комиссии.

В февральском, 34-м номере «Известий» были напечатаны размышления Шолохова о писательской чести (своего рода вызов власти, дозирующей правду): «Когда писатель грешит против истины даже в малом, он вызывает у читателей недоверие: „Значит, — думает читатель, — он может соврать и в большом“».

Март. Партия завершала выборы делегатов на свой съезд. В «Правде» появилось оповещение: «Делегаты Ростовской области» — в перечне «писатель-орденоносец академик Шолохов». Следующая фамилия: «Начальник ОУНКВД Абакумов».

Известно, что делегаты избирались только с позволения ЦК. Как, наверное, дивились доверию, оказанному писателю, и в Ростове, и в Вёшках, и в доме Шолоховых.

Открытие съезда. В «Правде» опубликованы поздравительные стихи Джамбула, Николая Асеева, целую страницу занимают приветствия узбекских поэтов. Рядом — с приветственными словами Константин Паустовский, Всеволод Вишневский... Нет вёшенца!

Шолохов на съезде. Слышит, как с трибуны вождь провозглашает: «Осуществлена, в основном, первая фаза коммунизма, социализм». Писатель вместе со всеми голосует за утверждение нового пятилетнего плана; он конечно же воодушевляет. К 1942 году намечено построить «второе Баку», чтобы давать стране больше нефти, Дальневосточную

металлургическую базу, автомобильный завод малолитражек, возвести Усть-Каменогорскую и Куйбышевскую ГЭС... Еще строки из плана, которые не могли не волновать Шолохова: «Добиться урожая в 13 центнеров»; «В достаточном количестве производить картофель, овощи, молочные и мясные продукты»; «Подготовить мероприятия по поддержанию уровня Каспийского моря»; «Организовать массовое производство ветродвигателей»...

И ведь так или иначе сбылись бы грандиозные мечтания. Народу это было по силам. Но разве кто-то из делегатов мог тогда предположить, что в 1942-м уже целый год как будет идти разрушительная война.

***Дополнение.** Писатель доживет до тех времен, когда на рубеже 1960-х новый глава партии и государства Н. С. Хрущев пообещает построить коммунизм через 20 лет — в 1980 году. Затем его преемник Л. И. Брежнев будет утверждать, что СССР — страна «развитого социализма».*

Речь без оваций

Шолохов записался для выступления. Шел к трибуне со строгим лицом, стройно-подтянутый, с командирским ремнем на гимнастерке, в ладных сапогах с высокими голенищами (в те годы он чаще всего «выходил в свет» в такой военной форме, только без петлиц; это отвечало суровому духу времени и, кроме того, подчеркивало его донское происхождение).

Перед ним ораторствовал писатель — тогда очень знаменитый. Его обрekli на участь говорить от имени деятелей культуры Украины. Почти вся его речь была посвящена Сталину, лишь один абзац — Хрущеву, в то время первому секретарю ЦК партии Украины. Эффект от его речи можно узнать из стенографического отчета: «Аплодисменты. Все встают. Возгласы: „Ура! Великому Сталину ура!“, „Хай живе творець нашого щастя, прапор нашого могутнього братства народів, сила и мудрость нашей победоносной батківщини — хай живе великий Сталін!“ Товарищ Сталин, поднимая руки, тепло приветствует делегацию».

Когда Шолохов закончил свое выступление, в зале не раздалось ни аплодисментов, ни здравиц, ни криков «ура!», хотя и в его речи имя Сталина звучало не раз. Такого в этом зале еще не было.

Каково же Сталину слушать, что Шолохов не согласен с его историческим обоснованием в докладе надобности политики репрессий?

Что же говорил вождь и что писатель?

Сталин: «Интеллигенция в целом кормилась у имущих классов и обслуживала их. Понятно поэтому то недоверие, переходящее нередко в ненависть, которое питали к ней революционные элементы нашей страны, и прежде всего рабочие...» Кормилась. Недоверие. Ненависть...

Шолохов: «Есть еще одна категория писателей, которых „награждали“ в далеком прошлом. Их „награждали“ ссылками в Сибирь и изгнанием, их привязывали к позорным столбам, их отдавали в солдаты, на них давили своей тупой мощью государства, наконец, попросту их убивали руками хлыщей-офицеров... А у нас этих писателей-классиков чтут и любят всем сердцем...» Чтут и любят всем сердцем...

Но в его речи было еще и то, что тоже вызывало недоумение: взялся дополнять Сталина.

Сталин о литературе — ни слова.

Шолохов воспротивился тому, что печать перед съездом множила списки «шедевров», и прежде всего тех, что славят Сталина. Шолохов кинул камень в рясочку всеобщего довольства: «Как обстоит дело с художественной литературой? Я думаю, товарищи, что не стоит говорить о нашей продукции — о книгах, вышедших за истекшее пятилетие. Не стоит потому, что хорошие книги вы все читали и помните их, а о плохих нет надобности вспоминать. (Смех.) Пишем мы пока мало. Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что книжные съездовские киоски по разделу художественной литературы поражают прискорбной бедностью. Не знаю, что испытывают остальные братья писатели, являющиеся делегатами съезда, но я, проходя мимо такого киоска, стараюсь околесить его подальше (смех) и убыстряю шаг, так как того и гляди кто-нибудь из делегатов возьмет за рукав и спросит: что это за бедность вас так одолела, почему книг нет? (Смех.)»

Сталин совсем немного внимания уделил в своем докладе проблемам культуры. Иное дело промышленность, сельское хозяйство и усиление единства партии во избежание уклонистских взглядов и мнений.

Шолохов с критикой: «Одно время, когда Гослитиздат за неимением новинок занимался только переизданием старых книг, писатели иронически окрестили его „Госпереиздат“. Боюсь, что, если так и дальше будет с бумагой, Гослитиздат получит имя — „Гослитнеиздат“. Но все же писатели питают крепкую надежду, что вопрос об увеличении отпуска бумаги на художественную литературу будет решен положительно...»

Сталин своим докладом дал понять — каждый оратор обязан заявить о своем отношении к «врагам народа». Поэтому всяк спешил благодарить

Сталина за то, что избавил страну от троцкистов-бухаринцев, от шпионов-вредителей.

Шолохов тоже не обошелся в речи без слов «враг народа», только говорил об этом кратко, общо, невыразительно, а главное, не назвал ни одной фамилии в осуждение.

...Шолохов и партия. Он не был к ней в оппозиции. Иные чувства им руководили — чистое, романтическое отношение к долгу коммуниста. Выступил против Сталина в оценках старой интеллигенции, но поддержал его доклад в разделах экономики. Приехал после съезда в Вёшенскую и на митинге заявил: «Если бы мы не создали за две пятилетки мощную тяжелую промышленность, если бы мы не укрепили обороноспособность нашей страны, то, несомненно, мы уже были бы втянуты в войну и уж во всяком случае с нами не считались бы так, как считаются сейчас».

Дополнение. Делегаты съезда никак не откликнулись на речь Шолохова. Даже секретарь Ростовского обкома в своем выступлении не упомянул писателя-земляка.

Отклик последовал из-за границы. Нью-йоркский журнал «Социалистический вестник» писал, пожалуй, с растерянным удивлением: «Выделил речь Шолохова из потока скучного официального красноречия на съезде — это, вероятно, даже вопреки намерениям Шолохова — какой-то оттенок искренней элегичности, грусти по поводу увядания литературы на каменистой почве сталинского произвола». Было и такое, что лучше бы не читать ни Сталину, ни Шолохову: «Как ни пытается Шолохов удержаться в казенном русле, большой художник оказывается в нем сильнее маленького и запуганного партийца».

Коньяк, роман и «статейка»

Страна начинала готовиться к 60-летию Сталина. Оно будет праздноваться 21 декабря. Шолохова уже не удивляли окончательно закрепившиеся выражения: «Гениальный, великий вождь»; «Гениальный стратег социалистической революции»; «Вдохновитель и организатор побед социализма»; «Великий гений человечества»; «Гениальный теоретик и организатор»; «Ближайший и лучший соратник и друг Ленина»; «Гениальный вождь трудящихся всего мира»... Обычным делом стало писать и произносить: «Дело Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина». Горельеф с их профилями тиражировался в газетах, журналах, книгах.

Впишет ли себя Шолохов в предъюбилейную обязательку? У него совсем иные заботы.

Защита земляков! Обращается в Москву, в НКВД, чтобы освободили одного несправедливо арестованного земляка-казака, И. И. Попова.

Забота, чтобы лучше жил район! Пишет знакомому прокурору, которого многожды обременял просьбами защитить земляков: «Живу в делах погрязши по уши, разъезжаю и почти не занимаюсь тем, что является моей профессией...» Речь идет о том, что он то и дело объезжает в своем районе хутора и станицы по обязанности члена бюро райкома.

Литературные дела! Вот советует главному редактору «Нового мира» в своем письме избавиться от «посредственной», как выразился, статьи и тут же ратует за публикацию о Кондратии Булавине. Вот прочитал рассказ одного молодого писателя и после тщательного разбора отписал всю правду-матку: «Все это говорит о бедности Ваших изобразительных средств, о неумении нарисовать внешний и внутренний облик человека, о примитивизме, у которого Вы (выражаясь Вашим стилем) находитесь в плену».

Многое привносится в его жизнь. Но хватает юмора в оценках. Пишет Левицкой о том, как жена стала усиленно заботиться о нем после того, что с ним происходило в начале года — орден, академик и прочие почести: «Мне уж М. П. говорит, что я теперь ничего не напишу, т. к. „тронутые“ не пишут, а если пишут, то плохо». Слово-то какое многозначное обыграл: «тронутый».

...Пожаловал к нему кинорежиссер Леон Мазрухо. Хотел уговорить на совместный документальный фильм о Донщине. И ведь — как ни странно — уговорил. Помогло то, что Шолохов прочитал африканскую прозу Хемингуэя, а еще вспомнил, как за границей на него произвел впечатление натурный фильм о джунглях: «Наш бы Дон с экрана так умело показать...»

И стал рассуждать о том, каким хотел бы увидеть свой Дон на экране: «Половодье, разлив, белая одинокая березка в воде, а над нею пчелы... Стрепет охраняет гнездо... В степи меж бугорками крадется к суслику голодная лиса...»

Война помешала замыслу. Сохранились лишь две разрозненные странички — из начала и конца — совместно написанного сценария:

«Степь... Заросшая молодой травой летняя дорога. Она извилисто уходит вдаль, туда, где под каемкой горизонта возникает точка и чуть доносится мотив протяжной песни. Песня становится слышнее. Подвода приближается. Быки лениво помахивают хвостами, везут арбу. На арбе двое — казак и казачка. Они поют в два голоса. Песня такая же просторная, как

эта степь; звучит она протяжно и немного грустно, но и грустная песня помогает им коротать длинную дорогу...»

«...Дон вышел из берегов и затопил луговую пойму. Стремительно идет полая вода, оmyвая белые стволы тополей, раскачивая верхушки камыша на залитых озерах. Утки на лимане. По Дону идет пароход. Гудок его, повторенный эхом, вспугивает птиц в затопленном водой лесу. Гулко шлепают колеса парохода. Рулевой повернул штурвал, и перед глазами пассажиров возникают чудесные пейзажи затопленного полый водой леса. Медленно проплывают таловые кусты. Их тонкие, торчащие из воды ветви покрыты едва распустившимися почками...»

Увы, затерялся не только сценарий, но и несколько тысяч метров уже отснятой пленки.

Весной чета Шолоховых приехала в Москву. 24 мая с самого утра начались хлопоты — как отпраздновать день рождения Михаила Александровича.

«— Готовимся встречать гостей, — рассказывал он мне. — Вдруг звонок. Сталин! И как это узнал, что я обитаю в гостинице „Националь“? Говорит мне: „Михаил Александрович, не можете ли приехать ко мне?“ Я от неожиданности, с испугу даже, про все забыл: про приглашенных гостей, про Марию Петровну... „Да, — говорю, — согласен“. — Тут же пояснил: — „А как иначе было ответить?“»

Продолжил: «Сталин выслушал и говорит: „В таком случае за вами заедет машина“. Я опять ему: „А какой номер у машины и где мне ее искать?“ Сталин — строго: „Не беспокойтесь, Михаил Александрович, вас найдут. Обязательно найдут“».

Большое доверие оказал вождь писателю. Избранным из избраннейших такая честь. Да и интересно было провести у него в гостях почти всю ночь.

Мария Петровна стала дополнять: «Ах, как же я тревожилась. Увезли ведь». Она по-житейски приметлива в воспоминаниях:

«— Развернула свертки (от Сталина. — В. О.), а там в одном конфетки, а в другом — сладкая вода в бутылочках, фруктовая для детей. Редкость до войны. И еще какие-то гостинцы».

Как Шолохов готовился к юбилею Сталина? Направил ему 11 декабря статью — своеобразную! — в сопровождении своеобразного письма.

В письме напомнил о былом подарке — бутылке коньяка. И сопровождал воспоминания живописными подробностями: «...Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: „Это память, и пить нельзя!“ Я потратил на уговоры уйму времени и красноречия. Я говорил, что бутылку

могут случайно разбить, что содержимое со временем прокиснет, чего только не говорил! С отвратительным упрямством, присущим, вероятно, всем женщинам, она твердила: „Нет! Нет и нет!“ В конце концов я ее, жену, все же уломал: договорились распить эту бутылку, когда кончу „Тихий Дон“.

На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни (а их, как и у каждого человека, было немало), я не раз покушался на целостность Вашего подарка. Но мои попытки жена отбивала яростно и методично. На днях, после тринадцатилетней работы, я кончаю „Тихий Дон“. А так как это совпадает с днем Вашего рождения, то я подожду до 21-го, и тогда, перед тем как выпить, пожелаю того, что желает старик из приложенной к письму статейки. Посылаю ее Вам, потому что не знаю, напечатает ли ее „Правда“.

Ваш М. Шолохов. Вёшенская. 11.XII.39».

Сталин отменный читатель — проницательный. Усмехнулся, видать, по-щучарски забавным излияниям. Но отметил, что наконец-то появится долгожданное завершение романа. Каким, однако, предстанет там Мелехов? Уже 10 лет как отлеживаются в архиве его, вождя, высказывания о «ряде ошибок» в «Тихом Доне». Еще в шолоховском письме речь о каком-то старике — явно пожелания по случаю юбилея. Но почему так уничижительно — «статейка»? И почему опасения, что «Правда» не напечатает? И Сталин с большим любопытством взялся читать эту самую статейку.

Шолохов думает о романе — как к нему отнесутся идеологи: ведь никому не потрафил и в этой четвертой книге. Конечно же судьба написанного в руках Сталина. В одном из писем того времени Евгений Левицкой воскликнул: «Только бы напечатали, а там хоть четвертуют!»

«Правда» меж тем печатает одно за другим сообщения о державном юбиле: 20 декабря Сталину присвоено звание Героя Социалистического Труда, через день — «Почетный академик», еще через три его избирают Почетным членом Всесоюзной сельхозакадемии. 21 декабря напечатано постановление об учреждении «20 премий имени Сталина» для деятелей науки, искусства и литературы, «60 Сталинских премий за лучшие изобретения», «18 за выдающиеся достижения в области военных знаний».

Шолоховской «статейки» все нет.

«Оценивать... не злоупотребляя»

В здании ЦК партии на Старой площади еще весной 1939-го у кого-то

из членов Политбюро родилась мысль подготовить в честь дня рождения вождя книгу. То будет памятник на века и руководителю советского народа, и самому народу. Назвать решили просто, как это любит вождь: «Сталин. К 60-летию со дня рождения».

Кто же достоин стать ее автором? Цековцы несколько недель составляли и пересоставляли список. В него вошли — понятное дело — все члены Политбюро. Не забыты преданные первой Стране Советов глава Коминтерна болгарин Георгий Димитров, глава испанских коммунистов Долорес Ибаррури, еще несколько зарубежных деятелей. Приглашены в авторы герой-полярник Иван Папанин, герой-летчик Николай Каманин, авиаконструктор Сергей Ильюшин, гордость армии композитор и дирижер Александр Александров... Не забыты и писатели, но почему-то малым числом, среди них Алексей Толстой и Михаил Шолохов. (Когда книга выйдет, Шолохов обратит внимание на заголовок толстовской статьи: «За Родину! За Сталина!» В Великую Отечественную войну, наверное, вспомнил, откуда пошел боевой призыв бесстрашных армейских политруков. Опередил Толстой время.)

Шолоховская «статейка» была передана Сталиным не только в «Правду», но и в редколлегия будущей книги. Там и там, как только ее получили, удивились: всего три страницы типографского шрифта, когда у других по 10–15 страниц и более. Как же это так, романист? Можно предположить, что, когда прочитали, первой мыслью стало желание оспорить указание Сталина ее напечатать. Но кто осмелится возразить?

«Правда» все-таки поосторожничала. «Статейка» появилась в газете только после юбилея: 23 декабря, да и то на третьей странице, стиснутая со всех сторон пространными статьями.

Не зря Шолохов высказал Сталину опаску — станут ли печатать? Он многим рисковал, когда взялся укорять подхалимов: «Мне кажется, некоторые из тех, кто привычной рукой пишет резолюции и статьи, иногда забывают, говоря о Сталине, что можно благодарить без многословия, любить без частных упоминаний об этом и оценивать деятельность великого человека, не злоупотребляя эпитетами».

Так своеобразно в те юбилейные дни Шолохов предостерег Сталина и общество от того, что со временем будет названо «культом личности». (После погромного для памяти вождя доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году, где он развенчивал «культ личности» Сталина, Шолохов остроумно заметил: «Конечно, культ был, но была и личность».)

Высокий смысл его намерений углядели тогда, когда сопоставили, что написал он и что иные поздравители. Сборник открывается письмом ЦК с

заголовком «Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину!». Заканчивался такой же фанфарной редакционной статьей «Со Сталиным во главе, вперед к коммунизму!».

И каково же было читать шолоховские урезонивания соавторам по юбилейной книге и газете, гораздым на пышные «эпитеты»? А это Молотов, Ворошилов, Каганович, Берия, Микоян, Калинин, Емельян Ярославский... Каждый из них прошел школу подполья, тюрем, ссылок и революционного братства с культом пролетарской прямоты и откровенности. Но давно с ним распрощались и теперь создают культ своего верховного руководителя. Будущий разоблачитель Сталина Никита Хрущев всем своим соратникам дал фору. Напечатал величальную статью — почти стихи в прозе: «Сталин — друг народа в своей простоте. Сталин — отец народа в своей любви к народу. Сталин — вождь народов в своей мудрости руководителя борьбой народов...»

Мала статья, но велика тем, что рассекретила тщательно скрываемое Сталиным: голод 1932–1933 годов и репрессии...

И еще Шолохов отвел от жертв голода страшное обвинение в «саботаже».

Все это отзвук письма Сталину 1933 года. Тогда Шолохов не ответил. Спустя семь лет ответил.

Уже самая первая фраза его письма разоблачала, что не просто — только из-за природной стихии — нагрянул голод. Его сотворили, и он стал именоваться голодомором. Кто виновен? Назвал для Сталина и для будущих читателей без экивоков: «краевое руководство».

Вторая строка письма Шолохова выявила, как был организован именно голодомор: «Под видом борьбы с саботажем в колхозах — лишили колхозников хлеба. Весь хлеб, в том числе и выданный авансом на трудодни, был изъят... В колхозах начался голод».

Саботаж упомянут. Годы тому назад это слово в письме Сталина стало наказом ужесточить изымание хлеба. Шолохов же сейчас написал четко: «...под видом борьбы с саботажем...».

Новое разоблачение в письме: «Многие коммунисты, указывающие руководителям края на неправильность и недопустимость проводимой ими политической линии, были исключены из партии и арестованы».

Шолохов не забыл, что Сталин помог хлебом. Но написал это так, чтобы страна впервые узнала, в каком состоянии принималась эта помощь казаками: «Некоторые из них пришли на собрание сами, многих привезли на подводах, так как от голода и истощения они уже были не в состоянии ходить».

В конце «статейки» все-таки шли юбилейные благодарствия юбиляру в несколько строк. Но странно выписаны — не от автора. Они отданы безымянному персонажу — старику-казаку. Он под пером Шолохова как бы забывает про всенародные торжества и о необходимости «эпитетов»: «После этого за столом начнется разговор о политике, о хлебе, что причитается на трудодни, о всходах озимой пшеницы и о видах на будущий урожай». Все — точка!

Шолохов напомнил Сталину и его окружению, как не надо с народом и как бы надо.

Человек с характером. И никакой осмотрительности...

Последняя глава

Декабрь. Корреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Калинин напросился в Вёшки. Шолохов весь погружен в роман, но узнал, что журналист земляк-дончак, родом с хутора Пухляковский, потому не только дал согласие на встречу, но и во многом приоткрылся новому знакомцу.

Однако далеко не все появилось после беседы в газете.

...Шла война с Финляндией. Газетчик не случайно внес в блокнот: «С заснеженного лютой зимой Карельского перешейка мой путь военного корреспондента лег в заснеженную не менее лютой, хотя и мирной зимой Вёшенскую. За окном кабинета Шолохова классический мирный пейзаж: подернутый голубоватым ледком Дон, опушенные снегом лес и степь. А как сам Шолохов чувствовал себя в окружении этого идиллического пейзажа? Долетало ли до него дыхание разворачивающихся под Ленинградом кровавых событий?»

Шолохову интересно узнать от военного журналиста — какова она, эта война? Радио и газеты сообщали только одно, что война идет успешно; уже и правительство для будущей социалистической Финляндии сформировано из политэмигрантов. На самом деле на первом этапе она оказалась провальной для Красной Армии, а потому позорной для Кремля.

На гостя обрушилась куча жадных вопросов. Калинин внес в блокнот наиважное: «Ему изменила сдержанность. Помрачнел... заключил: „Да, драка будет большая. Нельзя недооценивать белофиннов“».

Потом газетчик, окончательно войдя в доверие, разузнал, как завершается «Тихий Дон»: «Работал Шолохов тогда особенно упорно. В те дни, когда дописывались последние главы, он получал много писем. Читатели волновались. „Оставьте Григория в живых!“ — настаивал один.

„Григорий должен жить!“ — требовал другой. „Ведь, правда, он будет с красными?“ — спрашивал третий».

Шолохов спросил журналиста: «Всем хочется легкого конца, а что, если он будет пасмурным?» Калинин: «Я не смог удержать вздоха: „А все же?“»

Этот краткий вопрос вызвал целый монолог о праве писателя быть независимым: «Могу только сказать, что конец „Тихого Дона“ вызовет разноречивые суждения... Писатель должен уметь говорить правду, как бы ни была она горька... К оценке литературного произведения в первую очередь нужно подходить с точки зрения правдивости».

В записках корреспондента отразились и взаимоотношения Шолохова с земляками: «На самом раннем рассвете в калитку к Шолохову постучит кнутовищем подводчица с хутора Максаева: „Михаил Александрович, выдь-ка на час, тут мне одну чудную квитанцию принесли на налог...“»

А. В. Калинин в 1950-х годах станет заметным писателем, затем соавтором киносценариев по своим романам. Немало нового и ценного напишет о Шолохове, с кем крепко сдружится.

Вообще Шолохов умел дружить. Сколько, к примеру, скупой по-мужски нежности в письме Астаховым, хотя после знакомства в Германии прошло уже столько времени: «Дорогие Астаховы! Радые были получить от вас весточку. Жалко одно, что редко вы нас вспоминаете. Как говорится, от случая к случаю. Ну, да ничего, при встречах сочтемся! В Москве буду в ноябре. Застану ли вас там в это время? Пожалуйста, напишите, да поскорее. Очень хотел бы вас повидать. Шлем приветы и добрые пожелания. М. Шолохов. 24.10.1939».

В Москве требовали, чтобы он чаще бывал в столице. В августе оргбюро ЦК осудило редакцию панферовского «Октября», а Шолохов здесь все еще член редколлегии. Выдвигались странные для ортодоксального главного редактора обвинения: «Гнилой либерализм... Своеобразная арцыбашевщина... Буржуазные взгляды...» Как бы то ни было, но это и по вёшенцу удар: «Редакционные коллегии не выполняют своих обязанностей и по существу нередко превращаются в пустую вывеску... Тов. Шолохов числится...» Весь этот шум вызвало стихотворение Ильи Сельвинского «Монолог критика — диверсанта ИКС».

Напомню, что Шолохов давно уже требовал своего увольнения из редколлегии этого журнала.

...Лето, осень, зима. Что бы там ни происходило в высших политических сферах, а шолоховский гений, то терзаясь, то ликуя, ведет Григория Мелехова к последней странице романа.

Исповедует: «Не может быть художник холодным, когда он творит! С рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не создашь и никогда не найдешь путей к сердцу читателя. Я за то, чтобы у писателя клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему дорог».

Наконец дописана последняя глава. Точку поставил на рассвете, пожалуй, все-таки ночью. Почему-то бросились в глаза часы — было четыре утра.

Как тихо в доме. Какая тишина за окнами.

Как-то признался, что в ту минуту у него вырвалось: «Что же ты наделал, Миша?!»

Мария Петровна стала свидетелем поистине исторического события — потом рассказывала:

«Я на рассвете проснулась и слышу, что-то в кабинете Михаила Александровича не ладно. Свет горит, а уже светло... Я прошла в кабинет и вижу: он стоит у окна, сильно плачет, вздрагивает... Я подошла к нему, обняла, говорю: „Миша, что ты?.. Успокойся...“ А он отвернулся от окна, показал на письменный стол и, сквозь слезы, сказал: „Я закончил...“

Я подошла к столу и перечитала последнюю страницу:

„Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!..

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром“».

Всего несколько строк, а будто целая новелла: мечтал страстотерпец о немногом, но не сузился мир. Он оставался огромным рядом с сыном, вот только сияющее солнце — холодно.

В тот же день Шолохов попросил жену вызвать машинистку. И потянулась тягостная для нетерпеливого писательского сердца неделя-другая ожидания. Потом последние прикосновения пера к перепечатанной набело рукописи...

Дополнение. Шолохов по-прежнему требователен при саморедактуре. Остались от нее следы в черновиках. Иной раз фразы несколько вариантов, а иной раз — вычеркнет или впишет одно только слово.

В одной из глав отшлифовывал даже в мелочах взрывчатый для

предвоенного времени спор-разговор между сестрою Мелехова и Кошевым, ныне ее мужем, благоверным, ведь даже венчались. И вот раскол — политический.

В черновике шло: «Дуняшка, накрывая на стол, спросила:

— Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и не простится это?

— А ты как думала?

— А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон.

— Ну, это, может, так по Евангелию гласит, — холодно сказал Мишка. — А по-моему, должен человек отвечать за свои дела».

Потом в книге читалось вроде бы лишь чуток иначе, но на самом деле существенно уточняющее смысл, с усилением: «Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила:

— Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?»

Еще пример — на этот раз просто стилового улучшения. В начале последней главы сперва вывел: «Как выжженная степь, черна была жизнь Григория...»

Но вернулся к тексту и получилось так: «Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория...» (Кн. 4, ч. 8, гл. XVIII).

Глава восьмая

1940: ПРЕМИЯ ВОПРОЕКИ МНЕНИЯМ

В 1940-м Шолохову исполнилось тридцать пять лет.

Много это или мало? Справедливо говорят: жизнь измеряется поступками.

Сталин, Ахматова, Платонов

Январь. Могло показаться, что едва ли не все столичные газеты тиражируют слово удачливого на славу станичника. Печатаются отрывки из завершаемого «Тихого Дона» в «Правде», «Комсомолке», «Известиях», в «Красной звезде» и даже дважды в «Литературной газете». К тому же вышла в свет книга со «статейкой» Шолохова в честь Сталина.

В конце месяца Шолохов отправился в Москву, чтобы передать Сталину письмо. Оно оповещало о важном событии:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Привез конец „Тихого Дона“ и очень хотел бы поговорить.

Если сочтете возможным — пожалуйста, примите меня.

С приветом М. Шолохов. 29.1.40».

Неизбежны переживания: что скажет этот первый, еще по рукописи, читатель?

Шолохов помнил 1931 год. Сталин тогда прочитал рукопись как цензор и разрешил печатать «крамольное» сочинение. Может быть, и на этот раз прочитает и предотвратит запреты.

Писатель ожидал неприятностей из-за двух, по меньшей мере, особенностей концовки «Тихого Дона». Мелехов так и не стал большевиком. И не появился образ Сталина, даже просто его имя. Это конечно же выглядело странным, ведь в романе десятки и десятки реальных исторических лиц. Не раз называется Ленин. Выведены Буденный, Нахамкес-Стеклов, Малкин... Упомянуты грузинские имена: герой 1812 года Петр Багратион, участник вёшенских событий в 1919-м Василий Киквидзе... Не обошлось без Григория Распутина, Брусилова, Керенского, Каледина, Краснова, Деникина... Больше ста исторических персонажей!

Рукопись не была прочитана Сталиным и сразу же отдана в «Новый

мир» и издательство «Художественная литература». От издательства пришло доброе сообщение, что она прошла знакомство в начальственных кабинетах и запущена в работу. Для начала ее отдали бдительному редактору, затем — въедливым корректорам, потом — техническому редактору и художественному...

Значит, не выбросили из нее рассказ Аксины Григорию о том, как живет его Мишатка в качестве сына бандита (ведь тогда слово «бандит» соответствовало понятию «враг народа»): «А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. „Ты чего?“ — спрашиваю. Заплакал, да так горько... „Ребята со мной не играют, говорят — твой отец бандит“».

В ответе Аксины Шолохов выразил свой взгляд на Мелехова: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так... несчастный человек» (Кн. 4, ч. 8, гл. XVII).

Хотя бы так удалось охарактеризовать Мелехова. Это только спустя многие годы придет время говорить полную правду об этом персонаже: попавший в жернова классовой борьбы правдоискатель и жертва поиска счастья для себя и своего народа.

Остались и те строки, в которых отзывалась его, шолоховская, молодость: «Появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом кулацкой и зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов...» (Кн. 4, ч. 8, гл. X).

Не тронула цензура и сцену митинга, когда раскололось казачество (тоже впечатления из юности автора).

«— Уберите продотряды!

— Долой продовольственных комиссаров!

В ответ им красноармейцы караульной роты кричали:

— Контры!» (Там же).

Шолохов не жаловал учебники по истории Гражданской войны. Не сверял по ним свое перо. Потому-то и смел осуждать за крайности классового противостояния и белых, и красных, и зеленых. Со всей полнотой показал в своем романе — плохо простым людям, когда оружие имущие ослеплены противоборством.

Когда Мария Петровна узнала, что рукопись пошла к наборщикам, так вместе со свекровью накрыла праздничный стол. Хозяйки знали, чем угодить — все, от мала до Михаила Александровича, любили «талантливые» пирожки с картошкой, с бараньими выжарками, пирожки с мясом и рассыпчатую, «под парами», прямо из чугунка картошку с домашней — аж ложка стоит — сметаной.

Жизнь приукрасилась не только дома. Пошли отклики на отрывки из

романа в газетах.

Роман завершён — жизнь со всеми ее беспокойствами продолжалась. И Шолохов не отстранялся. Он не прекратил своего заступничества за тех, кто нуждался в защите.

У пятидесятилетней Анны Андреевны Ахматовой за двадцать последних лет — непрерывная череда злосчастий. Ее творчество под стойким политическим подозрением. И нет ни своей квартиры, ни заработка, поскольку не печатают. Зато клеймо на всю жизнь: в 1921-м расстрелян муж — поэт Николай Гумилев как участник контрреволюционного заговора. В этом году арестовали сына, Льва Гумилева, в будущем выдающегося ученого-историка и географа.

Кто сможет помочь матери и сыну? Шолохов! Об этом сообщила Ахматова в своих заметках, которые, увы, были напечатаны после ее смерти и смерти Шолохова. Всю жизнь он тщательно скрывал этот свой благородный поступок: Лаврентий Берия уступил просьбе писателя, и сын Ахматовой был выпущен. Увы, пребывал на свободе недолго (в общей сложности он провел в лагерях около двенадцати лет).

Еще одна драма. «С 1925 года меня совершенно перестали печатать и планомерно начали уничтожать в текущей прессе. Можно представить, какую жизнь я вела в это время. Так продолжалось до 1939 года», — записала Анна Андреевна.

Нашелся, однако, смельчак, который рассказал Сталину о положении Ахматовой. Случилось чудо: дано было указание срочно выпустить книгу. В мае 1940-го она вышла под названием «Из шести книг». В нее вошли избранные произведения за 1912–1940 годы.

Еще более невероятное последовало дальше. Шолохов рассчитал, что для опального поэта мало выпустить книгу, тем более, по обыкновению для поэзии, малым тиражом. Нужно возбудить общественное мнение. Что же он предпринял? Ответ в записках Ахматовой: «Шолохов выставил ее на Сталинскую премию (1940)».

Порыв писателя поддержали Фадеев и Алексей Толстой. Вместе с Шолоховым они входили в только что созданный Комитет по Сталинским премиям.

Заступничество даром не прошло. Ахматова вспоминала: «Пошли доносы...» Первый принадлежал управляющему делами ЦК. Он писал секретарю ЦК А. А. Жданову с возмущением, что в книге нет стихотворений «с революционной и советской тематикой, о людях социализма». Жданов откликнулся: «Просто позор, когда появляются в свет, с позволения сказать, сборники. Как этот ахматовский „блуд с

молитвой во славу божью“ мог появиться в свет? Кто его продвинул?» Подключилась «Литературная газета». В ней была напечатана погромная рецензия на книгу Ахматовой. После чего сборник начал изыматься из всех библиотек.

Вот в какой переплет попал — добровольно — Шолохов, когда осмелился рекомендовать «идеологически чуждую» книгу отметить высшей советской премией.

«Ручаюсь головой», — обычно говорил он, когда просил за кого-либо.

Сталин как-то услышал эту фразу и тут же, не промедлив, произнес с опасной укоризной: «Что-то вы свою голову дешево цените».

Ахматова и Шолохов... Литературовед и верная приятельница Ахматовой, уже немолодая женщина Эмма Герштейн в 1993 году запечатлела в своих воспоминаниях: «Читает мне, почти бормочет „Тихо льется тихий Дон“. Мне в голову не приходит, что это будущий „Реквием“. И она не помышляет об этом. Я не задумываюсь над тем, почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон. Только значительно позже, в Москве, спросила Анну Андреевну об этом. Она ответила уклончиво: „Не знаю, может быть, потому, что Лева ездил в экспедицию на Дон?“ Она сказала также, что „Тихий Дон“ Шолохова был любимым произведением Левы. „А вы не знали?“ — удивилась она. Я действительно не знала этого».

Андрей Платонов и Михаил Шолохов. Что может соединять их в эти «заминированные» политикой времена? Разные биографии, во многом разные политические взгляды, разные творческие манеры.

Они познакомились давно, еще в конце 1920-х годов — оба потянулись к молодогвардейскому литобъединению. И всякое дальше случалось. Однажды Платонов с удивлением увидел фамилию Шолохова под осудительным для себя коллективным рапповским письмом. Платонов — чужак для этих неистовых защитников идейных партустоев. Но почему Шолохов подписал письмо — самого ведь клеймят почему зря?! Хватило мудрости не рассориться. Есть свидетельство жены Платонова: «Шолохов навещал... Обсуждал отдельные главы „Тихого Дона“». Вспомнила такую реплику мужа: «Жесток ты, Миша, жесток». Так Платонов выразил свое отношение к редкой по тем временам правдивости в описании Гражданской войны. Еще штрих из его отношения к Шолохову — в оценке «Поднятой целины»: «Единственная честная книга о коллективизации».

В этом году Платонов пишет доброжелательную статью о поэзии Ахматовой. Но из нее вычеркивают строчки, написанные словно в союзнчестве с Шолоховым: «Задерживать или затруднять опубликование

ее творчества нельзя».

Шолохов узнал, что еще в 1938 году был арестован 18-летний сын Платонова и получил 10 лет лагерей как «руководитель антисоветской молодежной и шпионско-вредительской организации». Сохранилось свидетельство этого несчастного юноши: «Я дал ложные фантастические показания под угрозой следователя, который мне заявил, что если я не подпишу показания, то будут арестованы мои родители».

Шолохов догадывался, что сын отдан на закление по нескрываемой ненависти Сталина к отцу-писателю.

Все началось с конца 1920-х, когда критики РАППа принялись громить платоновские произведения: клевета-де на «нового человека», искажение «генеральной линии» партии. Сталин вознегодовал, когда прочитал рассказ «Усомнившийся Макар». Назвал его «идеологически двусмысленным» и «анархическим».

Шолохов все это прекрасно знал. Но не отошел от Платонова.

Платонов чувствовал такое безбоязненное отношение Шолохова к себе, политическому изгоя. Потому-то в отчаянии обратился к нему. Вёшенец не отказал. И снова поход — нелегкий — во власть. Вызволил! Заступничество спасло не только сына Платонова, но и отца. Увы, сын в тюрьме схватил скоротечную чахотку и в 1943-м умер.

На этом злоключения Платонова не закончились. Особо тяжело приходилось после войны. Не печатали, посему — превеликая нужда. Все отвернулись от опального творца. Шолохов поспешил на помощь. Узнал, что Платонов литературно обработал целую книгу народных сказок. Но нет издателя. Так Шолохов «пробил» выпуск сборника. И не убоился публично выказать поддержку — на титульном листе значилось: «Под редакцией М. А. Шолохова».

Из старых анекдотов. «Шолохов пришел к Сталину хлопотать за сына Платонова. Насупившись, Сталин выслушал.

— Вот вы, товарищ Шолохов, пишете, ходите, за всех просите. То за голодающих и казаков. То за вёшенских руководителей. Берия говорил мне, что вы приходили к нему и убеждали в невинности Клейменова. Вы верите, что он не был вредителем?

— Верю, товарищ Сталин, — спокойно ответил Шолохов.

— Вот всем вы верите. За всех просите. А кто при случае за вас попросит? Кто вам поверит?

— Вы, товарищ Сталин.

— Вы так думаете? Мой совет — не ошибитесь, товарищ Шолохов».

Предвоенное время... Не самое лучшее, чтобы заступаться за

опальных собратьев по перу. В конце 1930-х годов сжито со свету больше тысячи писателей.

Шолохов давно не выступает ни с чем новым в публицистике. В собрании сочинений дата «1940» отсутствует. Уже сколько лет схоронена в столе рукопись второй книги «Поднятой целины».

...Сдан заключительный том «Тихого Дона» в типографию. Теперь надо думать о полном издании романа. Автору предстоит огромная работа — объединительное чтение. Перечитывает и одолевает застарелая досада: сколько же шрамов в романе от изъятий-купюр. Как-то молвил в сердцах: во многом моя авторская воля пошла на четвертование.

***Дополнение.** Часть изъятий Шолохов успеет восстановить в последний год жизни. Часть обнаружит уже после его смерти Институт мировой литературы им. Горького.*

Выявление цензурных купюр дополняет представление о Шолохове как обличителе крайностей революции и Гражданской войны. Вот несколько примеров.

«Жухлые надвигались на область дни. Гиблое подходило время». Это вычеркнутые строки о наступлении красных в конце 1918 года.

«Рабочие не имеют отечества, — чеканом рубил Бунчук. — В этих словах Маркса — глубочайшая правда. Нет и не было у нас отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы... бурьяном, полынью росли на пустырях...» И это писательское отношение к интернациональным крайностям «мировой революции» было скрыто цензорами.

«Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию». Здесь сразу вспоминается разговор Шолохова со Сталиным о Корнилове.

Исчез из романа даже целый персонаж, пусть вписанный лишь в одну главу второго тома — это «шмара» одного из руководителей Красного Дона, Подтелкова: «Белесая полногрудая девка, которую вез он с собой под видом милосердной сестры».

Обнаружены и другие насилия над авторской волей — в характеристиках Каледина и Листницкого, в раздумьях Штокмана о том, каким быть члену партии.

«В срочном порядке...»

8 февраля 1940 года. В газете «Известия» появилась заметка: «На днях писатель-орденоносец М. А. Шолохов сдал издательству „Художественная литература“ две последние части (7-ю и 8-ю)... В ближайшие дни четвертая книга сдается в набор... Будет издана в срочном порядке, большим тиражом и выйдет наряду с библиотечной также и в массовой серии. Восьмая часть будет опубликована в одном из выпусков „Роман-газеты“».

Все же не зря издавна сложилась на Руси поговорка: февраль — широкие дороги.

Март. Еще одно доброе событие: «Новый мир» выпускает в свет заключительные части «Тихого Дона».

Нашелся один журналист из «Известий» — поехал в Вешки и задал романисту значительные вопросы, на которые получил преинтереснейшие ответы.

«— План романа, задуманного столько лет назад, менялся?

— Только частности. Приходилось кое в чем себя теснить, убирать из романа лишние эпизодические лица. Побочный эпизод, случайная глава — со всем этим пришлось распрощаться.

— Сколько листов „Тихого Дона“ вы опубликовали из написанного? (Имеется в виду авторский лист.)

— Около 90 листов. Всего же мною написано около 100. Материала было так много, что одно время я подумывал о пятой книге романа.

— Что труднее всего давалось вам?

— Больше всего трудностей и неудач было с историко-описательной стороной. Для меня эта область — хроникально-документальная — чужеродная. Фантазию приходилось взнуздывать.

— Вы родились в девятьсот пятом году. Откуда у вас такие знания старого казачьего быта?

— Может быть, это воспоминания детских лет, может, результат непрерывного общения с казачьей средой. Но главное — вживание в материал».

...Писатель ждет откликов на выход романа. Едва ли существуют в мире творцы, не жаждущие (хотя бы тайно) узнать, как встречено их творение.

Первый отклик появился в «Литературной газете». Он был на удивление благожелателен. Но этим и ограничилось. Расколол читателей прежде всего Мелехов. Над ним тень сталинского приговора — чужд народу!

Тут же подоспел журнал «Литературное обозрение»: «Кончается

повесть о Григории — искателе социальной правды и начинается повесть о Григории — искателе личного покоя».

То была сигнальная ракета. И завязались сражения между критиками и литературоведами. Каждому хочется водрузить над романом знамя своей оценки.

Совсем немногие рискнули поддерживать Шолохова. Один из них, Виктор Перцов, писал: «Ничего другого, кроме того, что там написано, не могло случиться с Григорием Мелеховым. Все в его судьбе неотвратимо, как закон физики... Шолохов не поступился правдой, не пошел против своей совести художника...»

Другие, числом многие, пошли побивать автора партдогмами.

«Не только Григорий, но вся его семья достойны лишь уничтожительного конца. Как всякое отсохшее и никому не нужное растение...» Это критик М. Чарный начинает поносить роман — подал голос в «Литературной газете», закончил в «Октябре», где все еще командует Панферов. «Отщепенец... Трагикомический персонаж», — пишет о Мелехове так и не распрощавшийся с рапповщиной В. Ермилов. «В последнем повороте Григория виноват Кошевой, в этом именно пункте сюжета скрыты идейные недостатки романа», — утверждает П. Громов. «Ландскнехт нашего времени... ратоборец казачьей обособленности», — дуэтом выстреливает И. Лежнев (одну из своих статей назвал в стиле новой партфразеологии — «Мелеховщина»). «Стадное поведение... Тугодум... Мысль для него — непосильное бремя...» — обозвал Мелехова критик В. Кирпотин.

За рубежом вдруг отметили — пусть и с пережимом — крамолу. В одном американском журнале удивлялись: «Фигуры сознательных коммунистов: Штокман, Бунчук, Лагутин, Валет — неубедительные, мертворожденные схемы, а не живые люди. Как только Шолохов прикасается к ним, его начинают преследовать неудачи, деревенеет язык, суха и неповоротлива становится обычно гибкая, как лоза, шолоховская фраза...» И пошли обобщения: «Шолохов-коммунист выбивается из сил, а Шолохов-художник саботирует все намерения партийца»; «Он всем своим крестьянским нутром не очень ценит радикализм и революционность людей деклассированных, которым „нечего терять“».

Писатели решили не отставать от теоретиков литературы. В мае, в канун дня рождения Шолохова, в Союзе писателей прошло обсуждение «Тихого Дона». Спорили до ссор. Александр Бек — с критикой, Александр Фадеев — с критикой. С похвалами — Новиков-Прибой, Валентин Катаев, Вячеслав Шишков, Серафимович. «„Тихий Дон“ занимает в советской

литературе первое место...» — говорил автор самобытной «Угрюм-реки» Шишков. «Шолохов — огромный писатель... Он силен в первую голову как крупнейший художник-реалист, глубоко правдивый, не боящийся самых острых ситуаций, неожиданных столкновений людей и событий... Огромный, правдивый писатель... И черт знает как талантлив...» — горячо выступал Александр Серафимович. Очевидец запомнил: «Последние слова Серафимович произнес с каким-то даже изумлением».

Шолохов удивлен негаданной удачей — заключительные главы «Тихого Дона» зазвучали по радио. Оценщиков сразу прибавилось. И посыпались отклики. Даже в Америке заметили последствия от чтения по радио. В тамошнем «Социалистическом вестнике» появились интересные заметки некоей Веры Александровой: «Огромное количество восторженных писем. Простые трудовые люди — рабочие, сельские учительницы восхищаются романом и Григорием без всякой оглядки. Одна работница с московской фабрики рассказывает, что она урывала время от своего очень короткого сна, но не пропустила ни одной передачи...». В статье, однако, подмечено и такое: «Но чем дальше вверх по социальной лестнице, тем больше оговорок и оглядок...» Далее пояснение: «Не подлежит сомнению, что, если бы Шолохов следовал официальной критике и дал счастливую „советскую развязку“, он покривил бы душой не только как художник, но и как сын большой народной революции». Вывод: «Широкие круги читателей, в противоположность критикам, благодарны ему именно за эту правду...»

В Китае тоже заинтересовались романом. Появилась даже статья с призывом: «Как можно быстрее дать читателю полный текст великого эпоса Шолохова». И ведь это сбылось уже через год.

Шолохов ждет — выразит ли как-нибудь Сталин свое мнение о романе? Промолчал!

Может, в круговерти своих державных дел забыл о книге Шолохова?

Шолохов напомнил. В августе на стол вождю легло второе в этом году письмо из Вёшенской. Важное, безотлагательное — с заступничеством за Дон.

Так появляется еще одна глава из шолоховской Книги заботы о казачестве.

В письме тревога: «Дорогой тов. Сталин! Прошу принять меры по вопросам колхозного хозяйства северных р-нов Дона. В области эти вопросы разрешить нельзя, да и здесь без Вас их едва ли кто-либо решит так, как надо. В Москве я пробуду 3–4 дня. Если Вы не сможете принять меня в эти дни, то очень прошу вызвать меня, когда Вы сочтете это

возможным. С приветом — М. Шолохов».

Тон письма совсем не просителен, скорее требователен.

Последствия не заставили себя ждать. Уже через четыре дня была назначена встреча: в 10 часов 40 минут вечера началась — закончилась в полночь. Сталин пригласил Молотова (не в первый раз он участвует во встречах с Шолоховым). Затем почему-то вызван Берия. Писатель рассказывал им о тяжелейшем положении с заготовками зерна там, где весной прошелся суховей. Они внимали: только в Вёшенском районе остались безродными 8 тысяч гектаров; обком безучастен — план сдачи хлеба оставил без всяких изменений. Для Сталина звучит знакомая фамилия — Луговой. Шолохов свидетельствует: секретарь райкома не нашел понимания в обкоме, потому и попросил искать защиты в Кремле.

Вскоре Политбюро и Совнарком поставили в этом деле точку: списали долги с земляков Шолохова и даже разрешили отсрочку на будущий год по сдаче государству зерна.

В декабре писатель отправляет вождю еще одно письмо из Вёшек. Само письмо пока не разыскано. Однако есть ответ Берии и его заместителя Меркулова Сталину. Из ответа явствует, что Шолохов разыскивает нескольких своих внезапно сгинувших земляков. Сталину докладывают: «Расстрелян... расстреляны...» Берия и его сподручные в ответе Сталину сдержанны, как бы даже обороняются, и даже сообщают, что писатель в некотором роде прав: «В связи с расследованием сообщения тов. Шолохова, нами в ряде органов НКВД специально выделенными бригадами была проведена проверка постановки учета арестованных, осужденных, расстрелянных, проходящих по показаниям и т. д. По материалам обследования нами приняты меры к устранению выявленных недочетов и налаживанию учетно-статистической работы во всех Управлениях, отделах и органах НКВД».

Надо же, как неправдоподобно самокритично и даже угодливо доложили вождю, отбившись от обвинений писателя.

Наверное, не случайно Шолохов поддержит Хрущева в те дни, когда Берия будет арестован. Но об этом далее.

***Дополнение.** Каждому поколению школьников и студентов внушается, что Шолохов великий профессионал. Истинно так — гений слова!*

...Первая часть «Тихого Дона». Совсем молод и не очень-то еще опытен автор. Но уже первый — самый первый! — абзац выявляет талант художника — пейзажиста и мелодиста: «Нацелованная волнами

галька, перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона». Диву даешься: обыкновенные десять красок-звуков, но так их кисть мастера зачерпнула, что стали они живописными и музыкальными.

Или: «Травы безрадостные и никудышные...» Или будто звук от виртуозного скрипача: «Жито четко брызнуло по воде, словно кто-то вполголоса шепнул — „шик!“» Или такая опять же чарующая музыка: «Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце сладостная пустота. Хорошо и бездумно...» Или такое звукописное стаккато вдруг возникает при описании драки у мельницы, вослед протяжным нотам воплей-криков: «А-а-а-а... Гу-у-у-у... А-я-я-я-я... Хряск. Стук. Стон. Гуд».

А сколько местного речевого колорита: «Несет на затоп кизяки...», «Зачужалый голос...», «Лошадей пустили на попас...», «Расхлебенил ворота», «Гриватили волны...», «Хрусткий чок конских копыт...».

Образность... Он находил такие искусные метафоры, которые просто заставляют остановиться. Вот к примеру: «Там, где шли бои, хмурое лицо земли взрыли снаряды: ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови». Или об убитом в бою: «Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимая руками голубую даль...» Или: «Лед, трупно синяя, вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем...»

А как изощрен при вкраплении документалистики! Здесь вживляет листовку от большевиков, там позволяет, минуя спецхран, познакомиться с обращением Корнилова, речью Каледина или посланием Краснова (догадываюсь, как хватались за головы бывшие цензоры).

Заключительная часть романа. Зрелость — творческая — в каждой фразе. Вот музыка, рожденная природой: «Полая вода... успокоенно лепетала...» Вот необычная музыка самого по себе речения: «Да уж дюже ты игреливая...» Вот вгоняющие в ужас слова, подобранные так, чтобы показать читателю жуткую правду войны: «Григорий опустил на колени, чтобы в последний раз внимательно рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения: по серому, восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши. Они покрыли лицо живой, движущейся пеленой, кишки в бороде, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя...».

С марта 1940-го начал работать Комитет по Сталинским премиям в области литературы и искусств. Утвержден председатель с двумя заместителями и 36 «рядовыми» представителями всех ветвей искусств и почти всех союзных республик. Потом в Комитете была создана секция литературы — восемь писателей, в том числе Шолохов, и два литературоведа.

Комитет дал директиву — формировать список претендентов на премию. Союз писателей не промедлил и в конце августа собрал свой президиум. Постановили представить на соискание премии Михаила Шолохова за роман «Тихий Дон»: «Ограничиваясь одной кандидатурой из ряда других, имеющих выдающиеся успехи за текущий год в прозе, поэзии, драматургии и критике, — Президиум ССП подчеркивает этим значение, придаваемое им присуждению премии им. Сталина».

Вскоре прошло заседание Ученого совета академического Института мировой литературы. Он тоже выдвинул «Тихий Дон».

И вдруг Фадеев спустя два месяца предложил президиуму Союза писателей пополнить список соискателей фамилиями еще четырех писателей (возможно, ЦК подсказал не выделять особо автора «Тихого Дона», подвергавшегося критике).

В числе новых кандидатур Сергей Сергеев-Ценский со своим романом «Севастопольская страда». Он живописует оборону Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов.

...Все знали: премия имени Сталина является и премией Сталина. За вождем оставалось последнее слово, кого награждать. Он умел превращать свои политические взгляды в доходчивые директивы для писателей. К тому же слыл усердным читателем, чем отличался от всех остальных, кого призвал в свой «ареопаг». В воспоминаниях Н. С. Хрущева есть признание: «Некогда было читать художественную литературу. Помню, как-то Молотов спросил меня: „Товарищ Хрущев, вам удастся читать?“ Я ответил: „Товарищ Молотов, очень мало“. „У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела...“»

Интересно выглядит личность вождя, если взглянуть одновременно на его отношение к политике и к изящной словесности.

Знал о километрах юбилейных од в свою честь и проглотил колючую «статейку» Шолохова. Испытал позор первых месяцев войны с Финляндией, но ни разу не прищипнул на тех борзописцев, чьи сочинения клубились ура-шапкозакидательством. В экономике не все ладно, но находит время дать приказ готовить постановление ЦК партии «О литературной критике и библиографии». В нем есть строки: «В

большинстве газет и журналов почти исчезли литературно-критические материалы». А после этого запретительное предписание: «Ликвидировать искусственно созданную при СП секцию критики» или «Прекратить издание обособленного от писателей и литераторов журнала „Литературный критик“».

Отставание критики. От Шолохова она не отставала. О нем писали наперегонки. Даже Фадеев вниманием не обошел, упомянув в «Правде» о неожиданных занятиях Шолохова: «Появляется ряд блестящих сценарных работ. Назовем хотя бы написанные за последний год сценарии...» В их числе назвал сценарий «Поднятой целины» М. Шолохова и С. Ермолинского.

Что статьи, вышла отдельная книга В. Гоффеншефера «Михаил Шолохов» с биографией и разбором творчества. Самый последний абзац этого исследования обозначил главное: «В романах Шолохова ощущаешь черты и величие того нового, что будет называться советской классической литературой».

Дополнение. Одна из ярких особенностей таланта Шолохова — образность. Американский шолоховед Г. Ермолаев в своей книге «Михаил Шолохов и его творчество» (СПб., 2000) выявил в «Тихом Доне» 2146 сравнений (образных сопоставлений) только в категориях «человек», «животное», «природа», «предмет», «Бог», «черт» и т. д. К примеру: «Я без оружия, как баба с задратым подолом, — голый». Ученый сопоставил эту творческую статистику с «Войной и миром» Л. Толстого — здесь число сравнений 761, с «Доктором Живаго» Б. Пастернака — 729. Понятно, что эти подсчеты не являются оценками, а лишь сугубо творческими показателями.

Шолохов — великолепный творец метафор. Ермолаев выбрал из романа, например, глаголы, которые употреблены метафорически со словом «тишина». Какое же завидное многообразие: звенеть, расплескаться, застывать, цепенеть, дрожать, лечь, стыть, гудеть, баюкаться, нависать, пастись, покоиться, киснуть, распасться, лопнуть, репаться, трескаться, копиться, полоскаться, зреть, оседать, простереться, захрястнуть, пристыть, во весь рост встать, мертветь, ткаться, прясться.

В «Войне и мире» лишь одна таковая глагольная метафора — «воцарилась тишина».

Еще особенность шолоховского мастерства, по мнению ученого: «Около 60 различных оттенков цвета можно насчитать в его ранних

рассказах и свыше 100 в „Тихом Доне“». Ермолаев даже обнаружил в этой палитре цвет «линялой заячьей шкурки».

Коалиция против романа

Ноябрь. Комитет по Сталинским премиям приступил к рассмотрению кандидатур. Он знакомится с тем списком, который пришел от секции литературы; теперь в нем семь фамилий.

В судьях кто? Последнее слово за Сталиным, а чье предпоследнее? Председатель Комитета — театральный режиссер Владимир Иванович Немирович-Данченко, увенчанный давнишней заслуженной славой. Уже немолод — 72 года, но многоопытен и искушен в литературе — сколько классики выпущено на сцену. Три года назад стал народным артистом СССР. И Сталинская премия не минет его, правда, через два года. Александр Фадеев здесь, пожалуй, главный авторитет — член ЦК и чаще остальных деятелей культуры общается со Сталиным. Алексей Толстой — председатель литсекции. Среди комитетчиков он единственный, кто хранит блестящие традиции серебряного века отечественной словесности. Александр Довженко — кинорежиссер, прославил себя кинофильмом «Щорс»; он тоже в этом году выдвинут на премию. Сталин его любит. Шолохов — один из двух заместителей Немировича-Данченко. Однако же никто его не видел даже на сборах секции.

Но не только они вершат судьбами соискателей. Дальше узнаем о других.

Как же шло обсуждение «Тихого Дона»? При закрытых, как и положено, дверях, но со стенографистками и без автора — таков обычай. Может, это и хорошо. Не для впечатлительной души, когда собратья по цеху препарируют твое детище, и часто не как творцы, а как политики. Не бойся суда — бойся судьи!

Алексей Толстой, вальяжный, по виду вельможный барин, первым заговорил:

— Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги, и огорчения среди читателей... Конец «Тихого Дона» — замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка. Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и к революции. Ошибка в том только случае, если на четвертой книге «Тихий Дон» кончается. Но нам кажется, что эта ошибка будет исправлена волей читательских масс, требующих от автора продолжения жизни Григория Мелехова...

Фадеев взял слово:

— Все мы обижены концом произведения в самых лучших советских чувствах. Потому что четырнадцать лет ждали конца: а Шолохов привел любимого героя к моральному опустошению. Четырнадцать лет писал, как люди друг другу рубили головы, — и ничего не получилось в результате рубки. Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего не родилось. Шолохов поставил читателя в тупик. И вот это ставит нас в затруднительное положение при оценке.

Продолжил, заинтриговывая:

— Шолохов с огромной силой таланта, зная казачью жизнь, быт, показал историю казачьей семьи, «обреченность» контрреволюционного дела...

И тут же — каверзно — уточнил словно опытный прокурор:

— Но ради чего и для чего? Что взамен родилось? Этого в романе нет...

Завершил речь приговором:

— Мое личное мнение, что там не показана победа сталинского дела.

Несчастный Фадеев, хотел быть святее папы римского. Он не догадывался, что над ним начинают сгущаться тучи политического недоверия. В 1948 году его отставят от руководства Союзом писателей.

Кинорежиссер Александр Довженко попросил слова:

— Я прочитал книгу «Тихий Дон» с чувством глубокой внутренней неудовлетворенности. Суммируются впечатления следующим образом: жил веками тихий Дон, жили казаки и казачки, ездили верхом, выпивали, пели, был какой-то сочный, пахучий, устоявшийся, теплый быт. Пришла революция, советская власть, большевики — разорили тихий Дон, разогнали, натравили брата на брата, сына на отца, мужа на жену, довели до оскудения страну, заразили триппером, сифилисом, посеяли грязь, злобу, погнали сильных, с темпераментом людей в бандиты, и на этом дело кончилось. Это огромная ошибка в замысле автора.

Несчастный Довженко, во время войны, в конце 1943-го, Сталину не понравится вначале один его документальный фильм о войне, затем другой — «Национализм!». Надолго с той поры исчезнет его имя с экрана и со страниц газет и журналов.

Литературовед Абрам Гурвич взялся хулить роман:

— Неудовлетворенность происходит оттого, что здесь нет той активной народной силы, которая ведет революцию, которая оправдывает все трагические коллизии и жертвы, которые были принесены...

Несчастный человек. Сразу же после войны заработает звание

«безродного космополита» и уйдет из жизни в таком ореоле. Шолохов обозначится сразу после войны в его посмертной судьбе, но не мезтью, о чем узнаем далее.

Поэт Николай Асеев. Он воскликнул поэтически простодушно: «Порочное, но любимое произведение!.. (В стенограмме помета: „Смех“.) Ну что же делать?» Несчастный поэт. Наивен. Ему кажется, что звание последователя Маяковского, восхваляемого Сталиным, — индальгенция навек. В 1943-м — запретят его книгу. ЦК отметит в ней «ряд политически ошибочных стихотворений».

Кто бы посочувствовал членам Комитета: знают цену роману — знают и цену последствий, если не угодить Сталину. Сидят на фугасах... Перья стенографисток вяжут бикфордов шнур. Не скажешь о политических ошибках Шолохова, глядишь, вспыхнет искра к взрыву.

Что же дальше? Надо ждать, как проявит себя Комитет при окончательном голосовании и как поступит Сталин, когда придет его час ставить подпись под постановлением Комитета: кому быть лауреатом, кого отвергнуть.

Когда узнал Шолохов о всех этих речах-высказываниях? Фадеев потом набрался храбрости и рассказал ему, что голосовал против. В ответ только и услышал: «Почему, не понимаю...»

Дополнение. Писатель, любимый народом, всегда знаток народной песни, так повелось от Пушкина и Тургенева. Вот «Тихий Дон». Елецкий шолоховед Александр Новосельцев выявил, что в роман вжиглено более сорока песен. В их числе такие шедевры, как «Ой, ты наш батюшка тихий Дон», «Во кузнице», «А из-за леса блестят копия печей», «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», «Интернационал», «Тега-тега, гуси серые, домой»... Он же подсчитал, что в первой книге 14 песен, во второй — 12, в третьей — 9 и в четвертой — 6 песен.

Ему же принадлежит важное открытие: «На фоне такого песенного изобилия другой роман тревожно беззвучен». Оказывается, в «Поднятой целине» нет ни единой песни, кроме «Интернационала». Исследователь воскликнул: «Народ безмолвствует!» Он обнаружил глубокое знание Шолоховым тогдашних настроений крестьян: «Свадьба была без песен».

Предвоенные месяцы

Последние месяцы 1940 года. «Правда» вовсю пропагандирует

кандидатов в лауреаты Сталинской премии: статьи, отрывки из произведений, рецензии. Странно: среди них нет Шолохова! Последний номер года — идет новогодняя анкета (это тоже своего рода прославление): Аркадий Гайдар, Джамбул, историк Тарле, дирижер Самосуд, артист Хмелев. Нет Шолохова.

Газета сообщает о том, что Молотов в Берлине. 1 сентября прошлого, 1939 года Германия развязала Вторую мировую войну. Молотову дано было поручение прощупать замыслы Гитлера, чтобы предотвратить нападение на СССР. Увы, Молотов не знал того, что высказал его собеседник четырем месяцами раньше на секретном совещании своей политической и военной верхушки: «С Россией должно быть покончено. Весной 41-го... Одним ударом». Прелюбопытная реплика прозвучала тогда от Гитлера — ироническая: «Смотрел русский победный фильм о русской войне...»

Видимо, речь шла о каком-то модном тогда фильме из разряда быстройспекаемых о том, что не отдадим врагу ни пяди родной земли.

Шолохов огорчился, когда появлялись такие глупые и никому не нужные фильмы или романы и повести. Немец в «Тихом Доне» не трус. И в будущем романе «Они сражались за родину» один из персонажей скажет напрямки, стыдя легкомысленных довоенных юмористов-карикатуристов: «Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами, в мировую войну, и в Испании на них пришлось посмотреть. Армия у них отобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за два года приобрела, да и вообще противник серьезный...»

Он только после войны узнал, как оценивала как раз в эти дни фашистская власть Италии «Тихий Дон». Один издатель вознамерился выпустить роман и получил испуганный ответ министра народной культуры: «Необходимо быть максимально осторожным в распространении книг, которые могут вызвать депрессию морального духа... Считаем необходимым отложить до лучших времен...»

За 12 дней до наступления 1940 года Гитлер в Берлине утвердил план «Барбаросса». В «Директиве 21» сказано: «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе скоротечной кампании...» В разделе «Проведение операций» значился и Дон.

И вот новый год. Едва вёшенец схватил взглядом последнюю страницу первого номера «Правды», как наткнулся на дружеский шарж. Прославленные Кукрыниксы — старые знакомцы — изобразили целую группу счастливых. На рисунке под елкой Шостакович, академик Капица, молодые ученые Флеров и Петржак. И кто-то в кубанке, с книгами в руках. Подпись: «Писатель Михаил Шолохов, закончивший в 1940 году свой

многотомный роман „Тихий Дон“. Ну, подумал, началась пропагандистская подготовка страны к премиальному акту.

На третий день января Комитет по премиям в последний раз берется за список соискателей: кого-то исключает, кого-то включает. В списке появился Панферов со своими «Брусками».

На следующий день счетная комиссия подвела итог голосования. В протоколе значилось, что за Шолохова проголосовали из 32 комитетчиков — 31 человек, за Сергеева-Ценского — 29, за Панферова — 1.

Утром 16 марта Шолохов, как всегда, включил радио и услышал торжественное оповещение о лауреатах. Вслушался: и он, Шолохов, в их числе. Вместе с ним лауреатами первой степени по разделу прозы стали Сергеев-Ценский и грузинский прозаик Лео Киачели. И тут же кто-то уже с поздравительным звонком из Москвы. Один. Второй. Сотый...

Сталин, выходит, не поддержал бдительщиков из его же, имени Сталина, Комитета. Вот и гадай теперь, какие размышления привели его к столь поразительному решению. Забыл о том, что 11 лет тому назад писал о «ряде грубейших ошибок...»? Оценил саму по себе гениальность этой эпопеи, которая останется в вечности? Отмел политиканство, поскольку был много начитан и, в общем, хорошо разбирался в литературе? Или проявил политиканство — унизил комитетчиков, чтобы возвысить себя во мнении отечественной и зарубежной общественности и поклонников смелого произведения?

Почта в Вёшках работает с перегрузкой — телеграммы, телеграммы! Сам лауреат сдержан. Соседи, друзья и райкомовцы в изумлении от такого скупого проявления чувств.

Мария Петровна и ее женская команда все-таки накрыли поздравительный стол.

«Правда» начинает прославлять тех, кто удостоен премии имени вождя — попробуй не прославлять. Появляется статья и о Шолохове. Ее написал редактор романа Юрий Лукин. Глаз схватывает и то, где он писал от чистого сердца, и то, что шло от идеологических установок: «„Тихий Дон“ — это классика...»; «Обреченность оторвавшегося, отставшего от народа... Слеп в поступках...» — о Мелехове.

В эти же дни Гитлер встретился со своим генералитетом. Давал советы, как воевать с нашей страной: «Проблемы русского пространства: необозримые просторы делают необходимым сосредоточение войск в решающих участках...» Добавил: «Русский перед массированным применением танков и авиации не устоит». Вряд ли он предполагал, сколько в советской России тех, кого Шолохов через полтора-два года

начнет увековечивать под фамилиями Лопехина, Звягинцева в романе «Они сражались за родину».

В еще мирном марте 36-летний писатель узнал, что все четыре книги «Тихого Дона», впервые воссоединенные одним переплетом, подписаны в печать. Во вступительной статье Юрия Лукина обращало на себя внимание одно утверждение. Такого до этого ни разу о нем никто не писал: «Шолохов — истинный любимец Сталина». Такими выражениями тогда не разбрасывались. И автор статьи, и издатели явно учли, что роман получил премию в нелегкой борьбе прежде всего благодаря вождю.

И еще раз появилось имя Сталина в этой статье. Оказывается, война приближалась не только к границам, но и к книгам: «Ярко, живым столкновением образов, показана нам обстановка, в которой осуществляется гениальный Сталинский план разгрома на Южном фронте». О какой же это книге? О «Тихом Доне»! Это хитроумная попытка вписать в «Тихий Дон» не выписанный в нем образ Сталина. Глядишь, и читатель внушит себе должное.

Из старых анекдотов. «Шолохов послал в подарок Сталину книгу, написав ее: „Товарищу Сталину — М. Шолохов“. Ему позвонил разгневанный Поскребышев и сказал, что товарищу Сталину книгу с такой надписью не передаст. „А что же я должен написать?! „С кирпичным пролетарским приветом?““ — обиженно ответил Шолохов».

Тень Сталина над всем и над каждым. В партархиве я обнаружил записку секретарю ЦК Щербакову от подчиненного ему Управления пропаганды и агитации о том, что готовится сборник воспоминаний о Горьком. Выделено: «К участию привлечены писатели, лично знавшие...» Ищу Шолохова в списке. Нет вёшенца. Забыто его общение с Горьким и по спасению «Тихого Дона», и по поводу баталлий, которые навязывали перед первым писательским съездом «комиссары» из ЦК и послушные им писательские вожди. Впрочем, список вызвал опаску — работниками ЦК определено: «Засорен именами врагов народа». Посему запретительный вердикт: «Издавать не следует». Дата — 14 июня 1941 года.

Тремя днями раньше Гитлер подписал директиву «Подготовка к периоду после осуществления плана „Барбаросса“». Здесь предписания, как распоряжаться нашей страной и миром после разгрома СССР.

Он не знал того, что знал Шолохов о своем народе и запечатлел в монологе одного своего персонажа из будущего военного романа, Александра Михайловича: «Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества...»

Жена Василия Кудашева вспоминала, каким показался ей Шолохов,

когда вернулся из Кремля, где был на каком-то приеме: «Осталось только ощущение чего-то тревожного. Ощущение это связано с ожиданием войны».

Но жил он привычными мирными заботами. Продолжал бороться за справедливость: обратился в Президиум Верховного Совета страны — верните орден освобожденному из заключения кубанскому казаку. Это был давний знакомец из Подкущевки. Писатель вызволил его из тюрьмы — теперь решил восстановить славную биографию.

Вышел фильм «Поднятая целина», но славы никому не принес, хотя все пропагандистские силы были брошены на то, чтобы бить в литавры. Ростовская газета осмелилась даже постыдить конъюнктурщиков: «Это был запрограммированный, во многом искусственный успех...» И поставила точный диагноз провала: «Слишком уж герои фильма и романа отличаются друг от друга». Киношники не рискнули проникнуть в глубины шолоховского повествования о сложностях коллективизации.

Начинались же издевательства над замыслом фильма с того, что новый начглавкино, недавний чекист из Воронежа Дукельский, вмешался в подбор артистов. Вызвал режиссера Юлия Райзмана и заявил, что артист, избранный на роль Давыдова, невзрачен: «Представитель пролетариата обязан быть красив, силен и на вид внушителен...» Закончилось же тем, что сценарист, уже поминаемый Сергей Ермолинский, оказался в тюрьме, по политической статье. Не помогло даже то, что при допросах защищал себя именем Шолохова, с которым сотрудничал. Ему повезло: каземат скоро заменили ссылкой в Алма-Ату.

Шолохов и после премии оставался скромным в оценках своего творчества. Как раз в это время сообщил одному артисту-чтецу: «Рассказ „Предреввоенсовета“, как и все остальные ранние слабые рассказы, не переиздавались по моему настоянию с 1927 года, и читать их не стоит. Тем более нет нужды инсценировать этот рассказ. Таково мое мнение».

1941-й. Идет отсчет последних месяцев мирной жизни.

...Корней Иванович Чуковский знакомится с Шолоховым. Уж как избалован еще с дореволюционных времен общением с известными и великими: Репин, Горький, Шаляпин, Кони, Блок, Маяковский, Куприн, Бунин, Луначарский, Пастернак...

Запал в душу Шолохов. В дневнике появились записи о нем. Они приоткрывают и новые грани шолоховского характера и подтверждают известные его черты:

«1941. 4 января. Вчера познакомился с Шолоховым. Он живет в санатории Верховного Совета... Вчера Шолохов вышел из своих

апартаментов твердой походкой (Леонида Андреева), перепоясанный кожаным великолепным поясом. Я прочитал ему стихи Семынина, он похвалил. Но больше молчал... Его семья: „Мария Михайловна“ (вчера ей исполнилось 3 года), сын Алик, еще сын, теща и жена — все люди добротные, серьезные, не раздребезженные, органические. Впечатление от них всех обаятельное, и его не отделить от всей семьи. Он с ней — одно, и его можно понять только в семье».

Через неделю новая запись — Шолохов приоткрылся неожиданным: «Принял меня чудесно: говорили о детской л-ре. Оказывается, он читал всё — и „Мурзилку“, и „Чиж“, и „Колхозные ребята“. Очень бранил какую-то сказку о шишке — как она влезла на лампу. „Чепуха“. Согласился написать для наших учебников об охоте и о гражданской войне».

Еще две встречи и новые записи. Важное запечатлел Чуковский! Вот о Фадееве: «Шолохов говорил о „Саше Фадееве“: „Если бы Саша по-настоящему хотел творить, разве стал бы он так трепаться во всех писательских дрызгах. Нет, ему нравится, что его ожидают в приемных, что он член ЦК и т. д. Ну, а если бы он был просто Фадеев, какая была бы ему цена?“ Я стал защищать: Ф. и человек прелестный, и писатель хороший. Он не стал спорить...»

Вот о Союзе писателей: «Провел с Шолоховым весь вечер. Основная тема разговора: что делать с Союзом писателей. У Ш. мысль: „Надо распустить Союз — пусть пишут. Пусть остается только профессиональная организация“».

Чуковский, наверное, вздрогнул — вслух еще никто не позволял себе усомниться в решении Сталина иметь Союз писателей и в нелегких стараниях Горького по его созданию.

...Наркомат обороны и Главное политуправление РККА обратились к армии с призывом: «Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне!» Увы, времени на превращение его в дело не оставалось.

Любимое Шолоховым издательство «Молодая гвардия» начало выпускать «Военную библиотечку комсомольца».

Писателя вызвали в Наркомат обороны и поздравили с присвоением звания полкового комиссара запаса, считай, полковника. В комиссарский зачет пошло многое: слава писателя, талант баталиста, истовый патриотизм, активная партийность.

Однако не спокойна его душа. Он догадывался, что армия войдет в неизбежную войну ослабленной. В будущем романе «Они сражались за родину» прозвучит такая мысль: «Как снег на голову, свалился тридцать

седьмой год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу... Вот что не дает покоя!»

Германия. В эти же месяцы Гитлер изрек для генералитета: «Разгром Советского Союза... Тогда Германия стала бы неуязвимой...» В утвержденном «Графике „Барбаросса“» появилось предостережение: «Оценка русского солдата. Русский будет обороняться там, где он поставлен, до последнего».

На Дону, как и по всей стране, жизнь становилась лучше. Шолохов уже в начале лета любовался неплохо вызревающими хлебами. Видел, что прибавилось на выпасах колхозного стада. Заметно больше становилось в МТС тракторов и комбайнов. В магазинах стало с товаром поразнообразнее. Велосипедисты появились. Часы были не такой уж редкостью у казаков. Казачки по выходным принаряжались в фабричные обновки. В сельмагах не только керосин, но и книги...

В шолоховском доме с конца мая стоит детский галдеж — каникулы у Светланы и Александра, младшие радуются лету; Маше идет четвертый годик, Мише — шестой.

Шолохов, разумеется, ничего не слышал о плане «Барбаросса», а значит, и не знал о такой его директиве: «На юге — своевременно занять...» Это о донских землях. Зато знал тех, кто станет героями его военного романа как раз на этом донском направлении.

ВОЙНА: ПОБЕДЫ И БЕДЫ ПОЛКОВНИКА ШОЛОХОВА

Четыре «шпалы» в петлицах. На передовой. Молитвы для воюющих. Бомбардировка Вёшек. ЧП на аэродроме. Цензура и новый роман. Призыв к союзникам. Забота об опальных. Венгрия вспомнила. Победная расстановка понятий

Еще сумрачным было утро 22 июня 1941 года, когда взрывы, гибель людей разбудили припограничье огромной страны и это донеслось по секретной связи до Генштаба и Кремля. С немецкой педантичностью неотвратимо сработал сигнал германского верховного командования: «Дортмунд». Он возвестил: вперед! И советские границы были нарушены.

Глава первая

1941: ПОЛКОВОЙ КОМИССАР

В ночь на 22 июня верстали совсем мирную «Правду»: статья философа, заметки к юбилею Михаила Лермонтова, о советском циклотроне, о новой пьесе знаменитого тогда украинского писателя А. Корнейчука. Ростов не забыт: сообщается, что здесь проходит шахматный турнир.

Встречные телеграммы

Война конечно же давно уже предчувствовалась. Не зря в последней мирной «Правде» появился обзор печати «Трудовая доблесть и военная храбрость». Да только о фашизме — ни слова.

Шолохов признал, что замысел Сталина заключить с Гитлером договор о ненападении был отличным — удалось отодвинуть начало войны на год-два. И все-таки Гитлер перехитрил Сталина.

Первый день войны — 12 часов дня... Шолохов со всей семьей прильнул к радиоприемнику. Обращение ко всему народу. Но звучит голос не Сталина, а Молотова: «Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска...»

В Вёшках не могли знать, что происходило на самом деле. Начальник германского Генштаба сухопутных войск Франц Гальдер это знал. «Общая картина первого дня наступления такова: противник был захвачен немецким нападением врасплох...» — внес он в свой дневник.

Шолохов поверил Молотову, но уже через пару часов прозвучал отрезвляющий Указ Президиума Верховного Совета «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения». Тут-то и пришла пугающая догадка — из самого текста явствовало, что военное положение вводится не в «отдельных местностях», не только на Западе страны, но и в Москве, и на Дону.

Он воссоединил только что узнанное с тем, что знал по главной фашистской книге Гитлера «Моя борьба» (ему кое-что из нее переводил Клейменов): «Завоевание и колонизация областей на восток от Эльбы...»; «Умственный и моральный уровень широкой массы народа в России был страшно низок...»; «В России достаточно немногого... Только натравить

необразованную, не умеющую ни читать, ни писать массу на верхний слой интеллигенции...»; «Мы объявляем непримиримую войну марксистскому принципу „человек равен человеку“».

Нет, Гитлер напал не для того, чтобы тут же отступить.

Второй день войны. Шолохов с утра на почте — из Вёшенской ушла телеграмма в Москву. Гриф — «срочная». То первый выстрел писателя по врагу: «Наркому обороны Тимошенко. Дорогой товарищ Тимошенко. Прошу зачислить в фонд обороны СССР присужденную мне Сталинскую премию... По Вашему зову в любой момент готов стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину и великое дело Ленина — Сталина». Подпись: «Полковой комиссар запаса РККА, писатель Михаил Шолохов».

Третий день войны. Шолохов в райкоме — здесь его и попросили выступить перед станичниками. Пошел готовиться — знал, что от него ждут слова и писательски правдивого, и депутатски государственного. Он не может себе позволить, как у Молотова, легкомыслия, не для него пустые призывы. К обеду доставили «Правду» — углядел сообщение: «Митинг советских писателей». Выделено, что в столице выступили Фадеев, Павленко, Вишневский и немец-эмигрант Вилли Бредель. Всё без предчувствия правды, что быть войне — кто кого: на уничтожение. На последней странице: «Детская олимпиада художественной самодеятельности».

25 июня. В «Правде» сообщение: «Собрание ростовского партактива» — направили письмо Сталину с заверениями, что агрессор будет разбит.

На следующий день еще одна заметка с берегов Дона — «Митинг в Вёшенской» — сообщила, что станица провожала первых новобранцев. Отметила: «С теплой напутственной речью обратился к казакам депутат Верховного Совета писатель-академик М. Шолохов».

Он произнес: «В этой отечественной войне...», значит, чувствовал то, что пока еще не все поняли: война примет всенародный — отечественный! — характер, и не быть ей легкой и скорой.

Призвал: «Донское казачество всегда было в передовых рядах защитников священных рубежей родной страны. Вы продолжите славные боевые традиции предков и будете бить врага так, как ваши прадеды бивали Наполеона, как отцы громили кайзеровские войска...»

Выходит, догадался, как важно немедля всколыхнуть историческую память, чтобы пробудить патриотические чувства. Сталин тоже напечалит народу о судьбе Наполеона и кайзера, но только через восемь дней.

Когда готовился выступать, взял в руки свой «Тихий Дон» —

перечитал, что писал десять лет тому назад тоже о первом дне войны с германцем в 1914-м:

«Полковник вывернул из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строем...

— Казаки... Германия объявила нам войну!

Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытаясь подпаливать чувство национальной гордости...» (Кн. 1, ч. 3, гл. VII).

По радио звучала новая песня со словами «Пусть ярость благородная Вскипает, как волна. Идет война народная, / Священная война!». Истинный гимн страны, которой надо отрешаться от мирной жизни.

3 июля. Сталин выступил по радио. Шолохова, как и других, его речь поразила — вождь еще никогда не обращался так к народу: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!..» Признал, что быть войне жестокой, тяжелой, закончил духоподъемно и афористично: «Все для фронта! Все для победы! Наше дело правое. Враг будет разбит!»

Но все нет Шолохову ответа из Москвы. Тогда он сам расчехлил свое отныне военное перо. Передал в «Правду» огромный очерк «На Дону». Он появился в газете 4 июля.

В этот день Гитлер заявил — знал, что его войска прут напролом: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл...»

Гитлеру не дано было узнать настроений «противника».

Шолохов знал! В своем очерке запечатлел слова казачки на проводах мужа в армию: «Вот и опять эти немецкие б... лезут на нас. Не дали нам с тобой мирно пожить... Ты же, Федя, гляди там, не давай им спуска!» (После войны текст стал укрощаться — не стало более выразительной «б...»; кто проявлял бдительность — редактор или сам Шолохов, — неизвестно.)

Страна читала здесь же и монолог «немолодого, со впалыми щеками казака». Ему было что сказать — прошел через плен у германца в Первую мировую: «Запрягали нас по восемь человек в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправили на шахты. Норма — восемь тонн угля погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь — бьют. Становят лицом к стене и бьют в затылок так, чтобы лицом стучался об стену. Потом сажали в клетку из колючей проволоки. Клетка низкая, сидеть можно только на корточках. Два часа просидишь, а после этого тебя оттуда кочергой выгребают, сам не выползешь...» У казака самая что ни есть всенародная фамилия — Кузнецов. Доживет ли этот горемыка, чтобы прочитать рассказ «Судьба

человека» о герое-мученике с такой же всеобщей русской фамилией Соколов?

Закончил очерк так, чтобы страна отрешалась от довоенного «пролетарского интернационализма»: «Великое горе будет тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!»

В «Тихом Доне» по-иному запечатлел прощание с домом казаков, которых в 1914-м призвали воевать: «Буднее, кровное, разметавшись кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы... Единственное, что ворвалось в память каждому» (Кн. 1, ч. 3, гл. VII).

Однако отчего же это ему все нет никакой команды из Москвы? Уж мобилизован выпестованный им Колхозный театр казачьей молодежи. Отныне ему задание выступать перед защитниками Дона. Потом, к зиме, мужчин-артистов взяли воевать — кто-то славно погиб, кто-то вернулся в славных наградах.

В Москве нарком телеграмму Шолохова переадресовал начальнику Главного политического управления РККА Мехлису. Тот, прочитав, сказал: «Конечно, послать Шолохова комиссаром полка, дивизии можно было бы. Одно его слово подымало бы людей в бой...» Но главный редактор военной газеты «Красная звезда» Давид Ортенберг затребовал его к себе в редакцию специальным корреспондентом. Он подбирал литотряд большой стратегической мощи. Еще бы: Алексей Толстой, Андрей Платонов, Александр Фадеев, Константин Симонов, Илья Эренбург, Петр Павленко, Евгений Габрилович, Александр Кривицкий...

И тогда в Вёшки от Ортенберга пришла телеграмма: «Явиться к месту назначения». И еще просьба написать что-нибудь о настроениях казаков.

Редактор вспоминал: «Шолохов явился раньше, чем мы ожидали...» Выглядел он бывалым бойцом: в командирской гимнастерке, в бриджах-галифе, сапогах, а на ремне при бляхе с командирской звездой бросался в глаза пистолет в кобуре.

Сдал редактору свой первый боезаряд — очерк «В казачьих колхозах». В конце напомнил далекую историю из жизни своего земляка, который стал героем очерка: «Дед мой с Наполеоном воевал и мне, мальчонке, бывало, рассказывал. Перед тем как войной на нас идтить, собрал Наполеон ясным днем в чистом поле своих мюратов и генералов и говорит: „Думаю Россию покорять. Что вы на это скажете, господа генералы?“ А те в один голос: „Никак невозможно, ваше императорское величество, держава дюже серьезная, не покорим“. Наполеон на небо указывает, спрашивает: „Видите в небе звезду?“ — „Нет, — говорят, — не видим, днем их невозможно

узреть“. „А я, — говорит, — вижу. Она нам победу предсказывает“. И с тем тронул на нас свое войско. В широкие ворота вошел, а выходил через узкие, насилушки проскочил. И провожали его наши до самой парижской столицы. Думаю своим стариковским умом, что такая же глупая звезда и этому германскому начальнику привиделась...»

Но было в очерке и о тех, кому в тылу выпала доля спасти страну: «В поле работают и дети, и старики, работают и те, у кого в прошлом году было минимальное число трудодней, причем все без исключения работают с огромным подъемом, не щадя сил. Бригадир 3-й бригады колхоза „Большевицкий путь“ Целиков Василий, выслушав сдержанную похвалу одного из работников района, ответил: „Не можем мы работать плохо. Я так считаю, что мы пока трудом защищаем Родину, а придет нужда — будем защищать оружием. Да и как мы можем работать плохо, если почти в каждом дворе есть боец Красной Армии?“»

Расквартировали новобранца-газетчика в гостинице «Националь». Ночью стук в дверь — разыскали ростовские поэты Григорий Кац и Михаил Штительман. Старые приятели. Им тоже приказ воевать пером — добирались через Москву в свои военные газеты. Выпили-закусили и потянуло к донским песням почти на всю ночь; запевалой Шолохов.

Еще одна картинка из тех дней запомнилась Ортенбергу: «Мы сидели вчетвером — Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и я в моей комнатке, служившей, как и почти всем сотрудникам редакции, и кабинетом, и спальней. На столе было неплохое по тем временам угощение — чай, немного колбасы и огромное блюдо с винегретом, который даже такой прижимистый начальник АХО, как наш Василий Оденцов, выдавал без ограничений. Мы обсуждали фронтовые новости...»

Шолохову вручили удостоверение с красными, как тогда говорили, корочками. Он их сохранил, правда от 1944 года. На развороте, кроме фотографии и печати, значилось: «Центральный орган Наркомата обороны СССР „Красная звезда“. Удостоверение № 158. Предъявитель сего Полковник Шолохов Михаил Александрович является спец. корреспондентом газеты „Красная звезда“». И подпись главного редактора.

***Дополнение.** В числе своих самых любимых казачьих песен Шолохов выделял «Из-за леса копий и мечей». Эта боевая песня стала семейной для Шолоховых, даже в день золотой свадьбы родителей дети писателя спели ее совсем по-казачьи. Напомню ее первый и заключительный куплеты.*

Ой, из-за леса, леса копий и мечей

Едить сотня, ой, казаков-лихачей,
Е-а-е-я, вот еще раз и скажем два,
Едить сотня, ой, казаков-лихачей.

Ой, да что это за донские казаки,
Рубют, колют, ой, да сажают на штыки,
Е-а-е-я, вот еще раз и скажем два,
Рубют, колют, ой, да сажают на штыки.

Но знал и такую: «Ой, Рассея, мать Рассея, / Ты Рассейская наша земля, е-е-я-я-я, Ой, да е, вот много, много Нужды, горя приняла, е-е-е, Ой, да е, вот много, много Нужды, горя приняла...»

Знал и эту: «Ой, да пролетела пуля свинцовая, Ой, да поразила да сердце, ой, казака. Ой, да разродимая моя, да сто-ро-ной, сторонка, / Ой, да не увижу, да больше тебя я...»

Первый приказ

23 августа. Новоиспеченному военному журналисту был дан приказ отправиться на Западный фронт, в 19-ю армию генерала Ивана Степановича Конева (маршалом станет позже, в победную пору). Встретились не просто писатель и командарм. Земляки! Конев до войны пребывал на командной должности в Северо-Кавказском военном округе и жил в Ростове. Шолохов пробыл в этой армии до октября.

В этот день Гальдер записал в дневнике: «Можно надеяться, что, несмотря на упрямство большевиков, все же в ближайшем будущем будут достигнуты столь решающие успехи, что мы, по крайней мере до начала зимы, осуществим главные цели нашей восточной кампании».

Перед самым отъездом к Шолохову заглянул Исаак Лежнев — сказал остужающее:

— А позволит ли командование фронта находиться в опасных местах? Шолохов отверг такую заботу:

— Бойцы будут воевать, а я лишь издали поглядывать?!

Отступление, отступление, отступление. Каково на сердце? Совсем за короткое время писатель напечатает девять очерков и статей. Это больше, чем за семь довоенных лет.

Но и «Тихий Дон» занял свои позиции — боевые, в том числе,

пожалуй, непредугаданные Шолоховым. Роман стал как бы учебником для начинающих военных писателей. Молодой, но еще с довоенных времен обласканный славой и вниманием Сталина поэт Константин Симонов начал подумывать о серьезной прозе. В его записках появилось признание:

«Мне довелось перечитать „Тихий Дон“ в обстоятельствах, врезавшихся в мою память. Шел август 1941 года.

В тот страшный год две книги больше всего дали моей душе. Первой из них была „Война и мир“.

Второй такой книгой оказался для меня „Тихий Дон“. Соединение трагизма его ситуаций с силой выведенных в нем характеров, по преимуществу народных, делало эту трагическую книгу книгой о силе народа, его двухжильной выносливости, бестрепетности перед лицом бед и смертей. Книга, которая оказывается нужной в такие минуты жизни, как тогда, в 1941 году, остается потом нужной на всю жизнь как часть тебя самого, сегодняшнего и еще более тогдашнего».

На писателей спрос. В эти самые дни Фадеев обращается в ЦК с просьбой содействовать вызову в Москву «наиболее крупных и политически проверенных писателей». Убеждает: «Они могут принести нам большую пользу выступлениями по радио и работой в центральных газетах». Однако писал в ЦК не только Фадеев. Читаю в партархиве: один популярный прозаик просит не реквизировать личный легковой «Форд» — был-де ему подарен властью за заслуги в создании революционно-героических романов для юношества. Приводит доводы: и автомобиль «старенький», и ему, писателю, «трудно добираться в Москву» из дачного писательского поселка Переделкино.

Шолохов на фронте был вместе с Александром Фадеевым и Евгением Петровым, соавтором Ильи Ильфа по знаменитым сатирическим романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» (в 1942-м он погибнет).

Бойцам интересны эти гости с большой довоенной славой. У Шолохова в петличках четыре алых знака различия — «шпалы», так их называли тогда. У Фадеева — один ромбик: комбриг, генерал то есть, и орден Ленина. Шолохов ходил без ордена. Все в гимнастерках, с отложными воротничками, через плечо портупея и широкие лямки от противогазов.

Петрову совсем не близок Шолохов, но после этой поездки подпал под его творческое обаяние: «Это редчайший художник. Подметит деталь, как никто другой, скажет одно только слово — и возникает целая картина». Возможно, такие детали он заметил в шолоховском очерке «По пути к фронту!», который родился в эту самую поездку: «На мрачном фоне

пожарища неправдоподобно, кощунственно красиво выглядит единственный, чудом уцелевший подсолнечник, безмятежно сияющий золотистыми лепестками. Он стоит неподалеку от фундамента сгоревшего дома, среди вытоптанной картофельной ботвы. Листья его слегка опалены пламенем пожара, ствол засыпан обломками кирпичей, но он живет! Он упорно живет среди всеобщего разрушения и смерти, и кажется, что подсолнечник, слегка покачивающийся от ветра, — единственное живое создание природы на этом кладбище».

Генерал Конев хорошо запомнил приезд знаменитых писателей — потом отметил в мемуарах: «Это создавало уверенность, что передовая наша интеллигенция готова разделить нашу участь и, веря в окончательную победу, выдержать страшный натиск немцев...»

И Шолохову запомнилась та поездка. Как-то принялся рассказывать о том, что даже такое пришлось пережить: «Нужно было перебраться на командный пункт полка, а немец вел огонь по площадям, все усиливая его. И место вроде неприметное, но „рама“ надыбала наше движение, огонь стал довольно плотный, а надо идти, взял я красноармейца — пошли, наше движение заметили, накрыли огнем. Залегли, красноармеец грызет краюшку, говорит: „Убьет, товарищ Шолохов. Давайте возвратиться“. Я — молчок, он же ведет, он знает, что делать, а дальше — открытое поле, не пройдем, переждали чуть, вернулись, но идти-то надо, кто начинал, тому и идти, снова пошли. Удачно, встретил нас командир полка, обрадовался...» Интересно, что рассказывал об этом без всякого пафоса.

Напросился побеседовать с пленным. Ему показали полянку за штабом, где сидели три немца и наш капитан с переводчиком. Подошел — все вскочили, кроме одного немца-офицера. Шолохов им: «Сидите, сидите! Продолжай, капитан, не простаивай». И с прищуром посмотрел на того, кто не приподнялся:

— Силен мужик! Небось, «чистая кровь»?

— Так точно. Член национал-социалистической партии с тридцать четвертого года.

— Что рассказывает?

— Молчит. Сегодня отправляем в Москву.

Один из немцев стал персонажем очерка «Пленные».

Познакомился Шолохов с генералом Лукиным — он командовал 16-й армией, но было это знакомство, жаль, мимолетным. Интерес к этому будущему герою романа «Они сражались за родину» придет не сразу. И чуть позднее — после героических боев под Смоленском. И много позже — после войны, когда генерал будет доказывать, что в немецком плену

Родине не изменил.

Однажды писатель нашел время и заглянул в редакцию армейской газеты. Она расположилась неподалеку от какой-то деревушки под Вязьмой в лесном укрытии. Мир тесен: здесь, оказывается, служили писатели-ростовчане, старые добрые знакомцы Александр Бусыгин и Михаил Штительман. То-то радости было от нежданной встречи. Наскоро устроили для гостей военно-полевую пирушку. Прямо на земле раскинули брезент с фронтовыми яствами из командирских пайков. Он жадно слушал, а друзья все рассказывали и рассказывали. О подвиге одного командира, который, будучи окруженным, вызвал на себя огонь своих. О смелом потомке Лермонтова в чине капитана. О приключениях связиста... И он не молчал. Поделится своим творческим замыслом написать о тех немцах, которые попали в плен. Потом Бусыгин запел — выбрал грустную-прегрустную: «Полоса ли ты, моя полоса. Нераспаханная сиротиночка. Отчего ж на тебе, полоса, не колосятся ржи и былиночки? Знать, хозяин-то твой...» Но оборвал себя — увидел, что добавляет гостю горестных чувств.

Шолохов в свою очередь принялся читать чьи-то стихи. Под конец по казачьему обычаю выпили чарку — стремянную — и разошлись по машинам. Шолохову запомнилось: «Мы с Сашой поехали в политотдел дивизии. Немецкие артиллеристы тут же взяли нас в „вилку“. Снаряд разорвался сначала впереди, другой позади... „Врешь, гадюка, не возьмешь!“ Проскочили мы простреливаемое место, укрылись за бугром... Вскоре узнал, погиб Саша Бусыгин. Вырывался из окружения, отстреливался до последнего...»

После войны вёшенец напишет трогательное, полное дружеских чувств предисловие к книге избранных стихотворений Бусыгина. Погибли и Штительман, и Кац.

Поездка на фронт очень обогатила не только Шолохова-газетчика, но и Шолохова-писателя.

Да только не все подвластно в эту до края драматичную пору журналисту в звании полкового комиссара, хотя и при маршальском имени писателя Шолохова. Редактор газеты вспоминал: «Первый очерк Шолохова мы получили по военному проводу. Но к тому времени редакция имела прямое указание Сталина не упоминать ни 19-ю армию, ни имя Конева, пришлось давать очерк под нейтральным заголовком „На Смоленском направлении“. Когда Шолохов вернулся в Москву, он зашел ко мне огорченный с газетой в руке: „А я обещал Коневу, что напишу о его армии...“ Я объяснил. Кстати, об этом обещании Шолохова Конев долго помнил. Спустя много лет после войны он рассказал о нем в своих

мемуарах и высказал сожаление. Во время одной из встреч я объяснил ему, что Шолохов был в том не повинен».

В очерке даже в пейзажной панораме виделась достоверная война — без всяких прикрас: «Вытоптанная, тоскливо оцетинившаяся рожь, дотла сожженные деревни и села, разрушенные немецкими снарядами и бомбами церкви...» Ехал на фронт за очерком, но насмотрелся и наслушался явно про запас. Об этом Ортенберг потом рассказывал: «Шолохов пробыл в войсках Конева несколько дней, он встречался со многими бойцами, с командирами... Ночевал с бойцами под гром тяжелых немецких батарей. Был в наступающих частях 229-й стрелковой дивизии Козлова, пожилого, с седыми висками генерала, участника пяти войн, беседовал с ним, встречался с младшим лейтенантом Наумовым из противотанковой батареи, разведчиком Беловым, шестнадцать раз ходившим в немецкий тыл. Видел людей в бою...»

Накапливались те впечатления и ощущения, что станут зримыми образами и красками в военных рассказах и в романе «Они сражались за родину».

Шолохов на фронте, а нобелевский лауреат Иван Бунин в своей Франции, которая захвачена немцами. Что-то побудило его как раз в это время начать знакомство с «Тихим Доном». В дневнике появились две записи.

«3 августа 1941 г. Читал первую книгу „Тихий Дон“ Шолохова. Талантлив, но нет слова в простоте. И очень груб в реализме. Очень трудно читать от этого с вывертами языка, со множеством местных слов». Напомню: Шолохов и сам ощущал этот перекося; не зря поддержал Горького в дискуссии о языке и резок был в осуждении перебора местными говорами. И не раз проходил пером по роману — избавлял его от этих своих молодых увлечений. (Причудлива вязь обстоятельств в истории — Солженицын, ставший нобелевским лауреатом после Бунина и Шолохова, сурово попеняет Шолохову именно за то, что он редактировал роман.)

Вторая бунинская запись: «30 августа. Кончил вчера вторую книгу „Тихого Дона“. Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму».

Гальдер неделей раньше вписал в свой дневник директиву Гитлера — было в ней и такое: «Вести дальше операцию в направлении Ростов-Харьков...»

Сентябрь. Едва Шолохов появился в редакции, тут же взялся за письмо Сталину: «Дорогой т. Сталин! Сегодня я вернулся с фронта и хотел бы лично Вам сообщить о ряде фактов, имеющих немаловажное значение для

обороны нашей страны. М. Шолохов. 2 сентября 1941 г...» Почему-то не перепечатал это послание на пишущей машинке. Не состоялась встреча. Жаль: осталось неизвестным для истории все то, что собирался писатель рассказать Верховному главнокомандующему.

Как раз в эти дни Фадеев обратился с письмом в ЦК: «Просим разрешить провести интернациональный писательский радиомитинг... От СССР: Шолохов, Толстой, Зощенко, Тычина, Купала...» Далее шли американец Сольцбергер и разбросанные по всему миру именитые эмигранты: немец Иоганнес Бехер, австриец Стефан Цвейг, француз Жан Ришар Блок, поляк Владислав Броневский...

В конце сентября Шолохов узнал от земляка, как каргинцы готовились к встрече с немцами — создали истребительный отряд для борьбы с диверсантами. Шолохов, уже начинавший усваивать опыт войны, в ответ усмехнулся. Былой красный партизан дед Беланов стал командиром с берданкой за плечом. Каждый день его отряд из десяти стариков и допризывников прошаривал бурьяны и камыши.

...Тяжко на подступах к столице. И у Сталина, и у Гитлера все внимание Смоленскому направлению; оно обороняло Москву. Маршал Жуков после войны признавался: «Такая махина двинулась... Там в людях было соотношение (между немцами и нашей армией. — В. О.) 3,3: 1, в танках — 8,5: 1, в орудиях — 7: 1».

И тогда пошли от Шолохова один за другим так нужные фронту и тылу очерки.

Очерк «Гнусность» появился в «Красной звезде» 29 августа и был перепечатан через неделю «Правдой». Он запомнился тем, что рассказал про невероятное коварство врага: «Близ села Ельня разгорелся упорный бой... А когда наша часть перешла в наступление, фашисты выгнали из села женщин и детей и расположили их перед своими окопами...» А далее шло развенчание того, о чем денно и ночью твердило вражеское радио — «мужество и благородство гитлеровской армии».

В очерке «По пути к фронту!» Шолохов снова поражает умением найти необычные краски для рассказа о войне: «Груды кирпича на месте, где недавно были жилища... видим на черной, обгорелой стене желтую кошку... сверкнув, как желтая молния, исчезает в развалинах... Две одичавшие курицы — две вдовы, оставшиеся без своего петуха и подружек...». В очерке описан не только смертельно опасный ратный труд. Автор и самое будничное отобразил в жизни тех, кто вышел из боя, и, кажется, использовал толстовскую манеру из «Войны и мира»: «Около землянки вполголоса наигрывает гармошка, человек двадцать

красноармейцев стоят, собравшись в круг, весело смеются, а посередине круга выхаживает молодой коренастый красноармеец. Он лениво шевелит крутыми плечами, и на лопатках его зеленой гимнастерки отчетливо белеют соляные пятна засохшего пота. Задорно похлопывая по голенищам сапог большими ладонями, он говорит своему товарищу, высокому, нескладному красноармейцу: „Выходи, выходи, чего испугался? Ты Рязанской области, а я — Орловской. Вот и попробуем, кто кого перепляшет!“»

«Первые встречи». Здесь рассказ и о «молодом, жизнерадостном лейтенанте», и о «пожилом, с седыми висками, неторопливом в движениях, генерале, крестьянине в прошлом», и о поваре, который «вынес с поля боя раненого...». Но было — впервые — кое-что о том, как жилось самому Шолохову: «Для ночлега трем моим товарищам и мне отвели небольшую палатку, старательно замаскированную молодыми деревцами осины. Еловые ветви на земле, покрытые плащом, служили нам постелью. Укрывшись шинелями и тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, мы уснули. В одиннадцать часов подо мною дрогнула земля, и сквозь сон я услышал тяжкий гул разрыва...»

«Люди Красной армии». Шолохов начал с рассказа о разведчике с интересным вводом в тему — герой очерка говорит автору очерка: «Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши книги...» От Шолохова шло: «Я с не меньшим интересом смотрю на человека, шестнадцать раз ходившего в тыл к немцам... Он сутуловат и длиннорук. Улыбается редко, но как-то по-детски... Внимание мое привлекают его ладони: они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися ссадинами. Догадываюсь: это оттого, что ему много приходится ползать по земле... Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы...»

Шолохова познакомили с радиоперехватом — в обзоре главной фашистской газеты «Фелькишер Беобахтер» прочитал: «Великий час пробил: исход восточной кампании решен... Военный конец большевизма!»

Страна в эти дни читала шолоховское воодушевляющее слово: «Какие бы тяжкие испытания ни пришлось перенести нашей Родине, она непобедима. Непобедима потому, что на защиту ее встали миллионы простых, скромных и мужественных сынов, не щадящих в борьбе с коричневым врагом ни крови, ни самой жизни».

Он на Западном фронте, но каждое утро вливается в сводки Информбюро, чтобы узнать — как дела на Южном направлении, быть ли

надежной обороне? К концу сентября наши отступали и там тоже — немецкая группа «Юг» уже на подступах к Таганрогу и Ворошиловграду. Донщина рядом. В конце октября 1941-го в Ростове объявили о создании городского комитета обороны.

Стал известен приказ Гитлера: «Создана наконец предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага...»

Шолохов помнил казачье присловье: хочет взять, а не хотят дать. Но и бодрячком не был. В будущем военном романе появится прямое, солдатское: «Вон куда он нас допятил, немец... Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын!»

В редакции ему рассказали, что в Америке один влиятельный журнал провел анкету среди литературных критиков — «Назовите лучшую книгу, изданную в США за июль — сентябрь». Пятнадцать назвали «Тихий Дон». Один критик добавил: «Шолоховский роман показывает, против чего (и кого) пошел Гитлер...»

Дополнение. В ноябре, когда Москва оказалась под угрозой падения, Сталин позвонил по прямому проводу из Кремля Жукову в его фронтовой штаб с неотступным вопросом: «Вы уверены, что мы удержим Москву?! Я спрашиваю вас это с болью в душе. Говорите честно, как коммунист».

Ответить ему мог и Шолохов. Он распознал в своем народе то, что переложил на бумагу столь проникновенно: «Жертвы, принесенные во имя спасения Родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа...»

Как раз в это зимнее время (а установилась уже жестокая зима) в дневнике генерал-фельдмаршала фон Бока появилась запись: «Представление, будто противник перед фронтом группы армий („Центр“. — В. О.) был „разгромлен“, как показывают бои за последние 14 дней, — галлюцинация».

Свидетельства друга Лугового

Октябрь. Редактор Ортенберг подписал приказ с именем военного корреспондента М. А. Шолохова — быть на Южном фронте. И разрешил короткую командировку на Дон — эвакуировать семью.

Шолохов побывал дома двумя наездами. Сначала оповестил семью об отъезде. Потом на машине умчался в Ростов, в штаб фронта. Затем снова в

Вёшки — за семьей.

...Сборы к отъезду. Брат жены отказался уезжать — готовился стать партизаном. Маму уговаривали долго, она все никак не соглашалась: помру на родной земле, не хочу бросать на произвол судьбы ни дом, ни скотину.

Что взять с собой? Главное богатство — рукописи двух романов и переписку — уложили в ящик и закопали в сарае. Еще в одной яме схоронили охотничьи ружья.

О тех днях остались воспоминания райкомовца Петра Лугового. И о том, что Шолохов подарил ему свою фотографию с такой надписью: «За товарищество, за дружбу, которая в огне не горит и в воде не тонет. За нашу встречу и за нашу победу над окаянным фашизмом! Твой Шолохов. 11 октября 1941 г...».

И о том, как чуть не погибли: «Шолохов поехал в штаб Южного фронта, в дорогу он взял меня, мне нужно было в обком, нас обстреливали с воздуха немецкие самолеты, бороздившие небо над Каменском. Уцелели мы каким-то чудом, одна очередь прошла прямо над головой, вторая — слева, разбив боковое стекло, третья — справа, в 20–30 сантиметрах от машины...»

Запомнил Луговой и то, каким был Шолохов в качестве военного корреспондента: «Беседовал с военнопленными немцами, ездил на передовую. В этих поездках Шолохов простыл, заболел и был помещен в госпиталь. Откуда скоро вернулся, заявив, что, когда идет война, ему нужно работать».

Осталась запись и самого Шолохова о встречах с пленными; она интересна как «кухня» журналистской профессии: «Немец. 24 года. Фриц Нуль 274 т 94 тд 26. 12 Урож. Кельна, ефрейтор, в армии с февр. 1940 г., был во Франции 3 м-ца, отец рабочий. Небольш. роста, круглолиц. Черные глаза, полуофицерские брюки, почти красив, узкоплеч. Сапоги, шерстяные носки и бумажные (обычно имеют портянки парусинов., носки), папиросы немецкие по 6 штук».

15 октября Шолохов привез семью в волжскую слободу Николаевскую. Разыскал дорогу в райком — секретарю запомнилось: «Ранним утром ко мне в кабинет зашел невысокого роста военный с четырьмя „шпалами“ в петлицах, в длинной кавалерийской шинели, серой шапке-ушанке. Представился: „Полковой комиссар Шолохов“. В первую очередь конечно же поделился мыслями о положении на фронте. Фашисты рвались к Москве. Михаил Александрович сказал: „Лезут гады, как саранча. Но ничего, остановим. Должны остановить“».

Секретарь райкома уговорил Шолохова выступить перед курсантами

местного военного училища; они уходили на фронт.

Шолохов двадцать лет не знал, что его «Тихий Дон» тоже способствовал победам как раз в это близкое к катастрофе время, да где — за рубежом. В 1961-м ростовский шолоховед Константин Прийма получил письмо из Болгарии, от одного из героев этого романа — командующего повстанческой армией на Дону Павла Кудинова, с 1920-го эмигранта. В нем было такое признание от имени тех, кого фашисты вербовали в спецдивизии: «Те казаки, кто читал роман М. Шолохова, как Откровение Иоанна, кто рыдал над его страницами и рвал свои седые волосы (а таких было тысячи), — эти люди в 1941 году воевать против Советской России не могли...»

Многие мысли романа стали созвучны воюющим в эту лихую для родины годину; они натыкались на такие в нем речения, которые сами в душу просились: «Помните одно: хочешь быть живым, из смертного боя целым выйтить — надо человечью правду блюсть» (Кн. 1, ч. 3, гл. VI) или — «Поднявши меч браный от меча да погибнет. Истинно» (Кн. 3, ч. 6, гл. XLVI).

Было и утешающее для тех, кто в тылу получал скорбные похоронки: «Травой зарастают могилы — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших — время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождетсЯ, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...» (Кн. 2, ч. 5, гл. I).

...Военные будни. Украинский поэт Андрей Малышко запомнил свою встречу с Шолоховым как раз в то время, когда немцы уверовали, что Москве «капут»: «Поздним вечером в номере гостиницы „Москва“, где мы тогда сидели, зазвонил телефон. Звонил Михаил Шолохов, возвратившийся из кавалерийского корпуса Белова. Через полчаса он и сам явился в белом френчевом кофужке и в шапке ушанке, уставший, но очень подвижный, разговорчивый. Когда он здоровался, я увидел его большие синие мудрые глаза, которые, казалось, смотрели прямо в душу. На ужин у нас были холодная картошка в „мундире“, немного хлеба, кусочек сахара и кипяток, который мы именовали чаем. Михаил Александрович сел с нами за стол и вытащил из своей походной сумки еще банку каких-то консервов — так что ужин вышел на славу». Не забыл, что звучала поэзия: «Я читал стихи из книги „Украина моя“, в которой вспоминается и седой Днепр, и вся наша Родина, что страдала и горела тогда в огне».

Шолохов не раз бывал у кавалеристов — тянет к ним. Однажды, а было писателю уже много лет, я поведал ему, что довелось познакомиться с одним видным полководцем — тот попросил напомнить писателю, как во

время войны он и еще несколько командиров-конников вручили ему шашку. Михаил Александрович тут же в отпор: «Нет, шашку не вручали, врет, они мне заменили в петличках эмблему. У меня была эмблема с мишенью и скрещенными винтовками, пехота, а они предложили поменять на кавалерийские. С сабельками. Но это определяется по приказу, а не просто так... Я отказался. Так два здоровых... два дюжих молодца держали меня за руки и свинтили старые. Потом подаренные — кавалерийские — бросили в стакан с водкой и предложили выпить, обмыли, значит... Было это под Москвой, в корпусе генерала Доватора. Правда, его уже убили. Командиром стал другой».

Со Сталиным вдруг случилась встреча — допросная. «Вызывают меня в Москву, — начал он вспоминать для меня, — сказали: „Прими участие во встрече с иностранцами, очень важно рассказать им о том, как у нас...“ Ладно, отвечаю, прибуду. Прибыл. Фронт-то недалеко. В гостинице привел себя в порядок, переоделся и в ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. — В. О.). Поднимаюсь по мраморной лестнице — уже отвык. Взошел в зальчик, смотрю за столиком один мой недруг — писатель. Сидит в коверкотовом костюме... А на столике бутылки с кроушоном и фрукты... Он обо мне слух пустил, будто я оставил семью под немцем и сам к ним собираюсь. Так мне рассказали. Ну, что — я ему все и выложил: „Эх, говорю, ты и...“ По-русски! Напрямую. И ушел — не остался. Вернулся в гостиницу, позвал кое-кого из знакомых писателей — выпили. С обиды...»

Дальше-то в рассказе и возникает Сталин: «Утром стал собираться в редакцию, да телефон позвонил. Поскребышев. Говорит ледяным тоном: „Вас сам ждет. Чтой-то вы там вчера натворили?!“ Иду... Прихожу. Поскребышев сидит в приемной — головы не подымает, глаз не кажет, суров до последнего упора. Ну, думаю... Час на встречу пробил — он мне дверь открыл... Вхожу, вижу Сталина у стола. Стоит. Руки не подает. Глаза безразличные. Молчит. Смотрел, смотрел на меня, потом произносит: „Где ваша семья, товарищ Шолохов?“ Только я стал отвечать — входит генерал и подает ему какой-то листик. Сталин прочитал, листик вернул, генерала отослал — посмотрел на меня и произнес: „Впрочем, теперь мы знаем, где ваша семья, вы правильно сделали, что эвакуировали ее...“ Снова спросил, на этот раз мягко: „В чьем распоряжении вы находитесь?“ Ответил. Он тогда: „Ну, товарищ Шолохов, идите. И берегите себя, вы нужны партии, вы нужны народу!“ Вышел я. Пересекаю приемную. Обернулся к Поскребышеву — кукиш ему свернул: „Накося — выкусил!“ Очень было на душе — всякое...»

В этот день не забыл о своем давнем друге Васе-Ваське, Василии Михайловиче Кудашеве. Знал, что теперь он тоже военный журналист. Навестил его жену. Одарил кое-каким командирским довольствием — консервами. Воспользовался случаем, написал открытку Кудашеву. Строчки торопливы, но емки чувства: «Дорогой друг! Судьба нас с тобой разоздрила, но все-таки когда-нибудь сведет вместе...» Не сбылось, сгинул друг навсегда.

На подмосковном плацдарме стало легче с конца ноября, но тяжелее — на Южном фронте. В дневнике Гальдера появилась запись: «Ростов-на-Дону — в наших руках... Русские отступали по льду».

И все же Шолохову через неделю можно было перевести дух. Нашим войскам удалось отчаянно-дерзким контрнаступлением отбить город. Гальдер записал: «В результате русского наступления превосходящими силами 1-я танковая армия вынуждена перейти к обороне, и осуществить ей эту оборону будет тяжело...»

Надолго ли эта радость?

Контрнаступление... Значит, больше стало пленных немцев. Тут-то в «Правде», в самом начале декабря, появляется шолоховский очерк «Военнопленные». Он не зря взялся за эту тему. Все еще обороняющаяся страна должна знать — врага берут в плен, враг сдается. Очерк правдив рассказом о пленных немцах. Один уверен в победе Германии: «К зиме наша армия разделается с вами...» Другой в панике: «Вы меня хотите расстрелять?» Третий радуется: «Для меня война кончилась...» Четвертый в нелегких размышлениях: «Германии придется нести страшную расплату...»

Шолохов уловил в этом откровении рядового солдата нечто генеральное для своих обобщений. Очерк с пророческими словами, будто это не 1941 год, а 1945-й и наши войска уже под Берлином: «Что же, это хорошее раздумье. И чем скорее сознание тягчайшей ответственности и неизбежной расплаты придет к немецким солдатам, тем ближе будет победа демократии над взбесившимся нацизмом».

В середине декабря Шолохову дано задание перебираться на Юго-Западный фронт. Он соседствовал с Южным — значит, родной Дон неподалеку. Полнятся блокноты — почти два месяца видели здесь посланца «Красной звезды».

Горько в душе: под немцем находилось уже полтора миллиона квадратных километров родной земли, где при мирной жизни проживало почти 75 миллионов сограждан. Шолохову ли не чувствовать жуткую жатву войны, хотя Информбюро и засекретило общие сведения о потерях. Ему,

военному корреспонденту, нетрудно догадаться, что черный счет убитых, раненых и пленных идет на миллионы.

Но не зря он был послан главной военной газетой на этот фронт — 6 декабря прошло контрнаступление. Шолохову дано поручение рассказать, как немцев погнали в обратную сторону — на 100 километров, а это 400 освобожденных городов, городков, сел и деревень. Враг потерял 16 тысяч солдат и офицеров.

***Дополнение.** ЦК в декабре осудил за «грубые политические ошибки» «Новый мир» и «Октябрь». Эти журналы небезразличны Шолохову. Тучи уже сгустились над руководителем Союза писателей Фадеевым. ЦК отметил: «Президиум Союза Советских писателей, органами которого являются литературно-художественные журналы, совершенно не руководит их работой... Несмотря на неоднократные указания ЦК ВКП(б) о необходимости коренного улучшения постановки литературной критики, со стороны Президиума и лично тов. Фадеева не были приняты меры... Литературно-критические выступления тов. Фадеева на совещаниях писателей малосодержательны, абстрактны и нередко ошибочны... Президиум ССП и лично т. Фадеев не сделали для себя необходимых выводов».*

Как ни жаль Фадеева, а Шолохов понял, что журналы и в самом деле еще не перестроились на военный лад.

Глава вторая

1942: «ТАКУЮ КНИЖКУ — НА ЗАКУРКИ?»

Зла и люта жуткими морозами и обжигающее горяча от окровавленных снегов первая военная зима.

Пятое декабря 1941-го страна И мир встретили ликованием — победа под Москвой! Но сердца все еще в тревоге — быть ли окончательному перелому в войне? Германия еще сильна.

Сталин — летчик — Шолохов

Шолохов в январе летел в Куйбышев (ныне Самара) по вызову начальника Совинформбюро, но при посадке самолет внезапно скапотировал, уткнувшись мотором в землю. Все попутчики погибли — живы остались только летчик и корреспондент. Для них теперь — госпиталь. Дочь писателя, Светлана Михайловна, вспомнила для меня диагноз: «У папы произошло смещение всех внутренних органов...»

Шолохов писал жене: «Прошел средний ремонт в кремлевской больнице (она была эвакуирована в Куйбышев. — В. О.) и сейчас уже — почти в рабочей форме, пишу, а было такое время, когда не только ехать куда-либо, но и писать не мог по запрету профессоров. Чуть не попал в инвалиды, но кое-как выхромался, а сейчас уже рою ногой землю...» Как ни отшучивался, а последствия тяжелой контузии сказывались до конца жизни.

Младший сын Михаил тоже кое-что припоминал: «Вскоре он приехал, мне было страшно даже подойти — чудовищно распухшая голова... Долгое время он не мог ничего есть — любая пища вызывала рвоту...»

Писателя отпустили долечиваться в семью; она все еще оставалась в Николаевской слободе. Мария Петровна кормила его с чайной ложечки — только сливки. Где же было достать в войну этот драгоценный продукт? Мир не без добрых людей — председатель соседнего колхоза каждый день взялся присылать баночку.

Но случилась и такая удручающая для семьи нелепица — военному корреспонденту редакция газеты все никак не оформляла денежное довольствие, что тогда именовалось военным аттестатом. Сам он по гордости не заявлял о себе — терпеливо ждал полагающегося. Осталось

все это в одном из шолоховских писем: «Жена с малыми детьми продавала домашние вещи, чтобы прокормиться. Когда пушки утихли, стал искать свои деньги по аттестату. Но мне ответили: „Что с возу упало, то пропало“. Ну и бог с ними. Выжили. Всем было тяжело в войну...»

28 февраля 1942 года в «Правде» появляется очерк «На Юге». Шолохов недолго был на Южном фронте, но родился пространный рассказ об увиденном и услышанном. Тут добрые строчки о шахтерах Донбасса: как трудятся ради победы под землей старики и подростки. Тут и гневное слово об оккупантах — немцах, итальянцах, румынах, венграх и финнах. И вывод автора не скрывает суровой правды: «Враги еще дерутся с ожесточением, поговаривают даже о весеннем наступлении...»

...К Шолохову растет интерес за рубежом. В Аргентине на испанском вышел «Тихий Дон», хотя здесь прогерманский режим и свирепая цензура. В Риме и в оккупированной Югославии такие попытки не удались: объявлен запрет и на ввоз его книг, и на перевод.

Интересно, что диктатор фашистской Италии Муссолини держал в своей библиотеке «Тихий Дон» вместе с несколькими книгами Достоевского и Толстого.

В Англии, которая сражалась с фашизмом, тоже вспомнили Шолохова. Причудливо получилось — неким образом объединили двух будущих нобелевских лауреатов. Некто Шиманский восхвалял в статье Бориса Пастернака за «геройскую борьбу индивидуализма с коллективизмом и искусства с пропагандой». И тут же осуждал Шолохова за то, что «стал фронтовым корреспондентом». Эта статья стала известна Фадееву. Интересно — перерассказал ли ее Шолохову?

Март. Шолохова, все еще не оправившегося от контузии, судьба занесла на четыре дня в Саратов. Там снова почувствовал себя писателем. Это знаменитый тогда артист Борис Ливанов — находился здесь со своим МХАТом в эвакуации — предложил инсценировку по «Тихому Дону».

Переговоры начались необычно, это хорошо запомнилось жене артиста:

— В нашей маленькой, старой гостинице была чугунная лестница. Мы слышали грохот, подобно шагам командора. В дверь постучали, и вошли три человека. Михаил Шолохов был в военной форме, он тогда с усами пшеничного цвета и большим нависшим лбом был похож на художника Федотова... В Саратове строго соблюдалось затемнение, и мы зажгли фитиль, опущенный в масло на блюдечке. Сначала рассказывал о фронте. О молодых женщинах-санитарках, иногда очень маленьких и хрупких, которые находили раненых на поле боя и тащили их на себе, не будучи

даже уверенными, что раненые еще живы... После этих удивительных рассказов Шолохов вдруг запел высоким голосом казачью песню... Сидели до утра.

Дружба дружбой, но характер оставался прежним. Ливанов это сполна ощутил в ту ночь. Новоявленный драматург счастлив, что Шолохов одобрил пьесу, после чего обратился к нему:

— У меня к тебе просьба: у Григория остался сын, теперь он воюет, наверное, по возрасту так. Когда кончится спектакль, пусть сын Григория выйдет за занавес, обратится к зрителям. Напиши ему монолог. У нас есть молодой, хороший артист...

— Нет, нет, нет и нет!

— Пойми, это необходимо, Миша!

— Я написал роман, это законченное произведение. Не буду...

Очерк «На Юге» полюбился читателям. Автора попросили выступить с ним по Всесоюзному радио. Пока ждал своей очереди в студию, к микрофону, заметил худенькую красивую женщину с огорченными глазами. Подошел, познакомился: Ольга Берггольц, ленинградская поэтесса, только что из блокадного города.

Он тут же вспомнил, что это жена расстрелянного «по политике» до войны прекрасного поэта Бориса Корнилова, и сама сидела, но повезло — освободили досрочно.

Она к нему отнеслась — ведь сам Шолохов! — с полным доверием: «Я убедилась, что о Ленинграде ничего не знают... На радио, не успела я раскрыть рта, как мне сказали: „Можно обо всем, но никаких упоминаний о голоде. Ни-ни...“ Мне ведь так и не дали прочесть по радио ни одного из лучших моих ленинградских стихов. Даже „Новогодний тост“ признан „мрачным“, а о стихотворении „Товарищ, нам горькие выпали дни“ сказано, что это „сплошной пессимистический стон“, хотя „стихи отличные“ и т. д. Здесь все чужие и противные люди... О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме... Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио „Февральский дневник“, ни издать книжки стихов...»

Услышал в продолжение, что ее настойчивым просьбам и мольбам только что отказал председатель Всесоюзного радиокомитета. Вечером, в гостинице, она читала Шолохову свои «запретные» стихи.

Через некоторое время узнал, что на каком-то заседании писательского начальства критиковали «Февральский дневник» и еще одну ее книгу — «Мой путь».

Шолохов восстал! Проникся одной за другой бедами опальной, но

честной поэтессы. Ольга Берггольц внесет в свой дневник: «В мае 1942 года в „Комсомольской правде“ по инициативе Шолохова был опубликован „Февральский дневник“ и вскоре после этого „Ленинградский дневник“. Они вызвали горячий отклик у читателей и на всех фронтах...»

Понравилась ему новая знакомица. Встреча с ней и ее рассказы о жизни умирающих, однако несломленных блокадников, вызвали желание обратиться к ним со словом поддержки. Написал «Письмо ленинградцам». Сказал: «Когда возвратишься к себе, прочитай...» Письмо было прочитано по радио: «Родные товарищи ленинградцы! Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале... и боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе...»

Но и на Южном фронте было тяжело. Гитлер 5 апреля отдал приказ: «Необходимо прежде всего сосредоточить для главной операции на Юге все наличные войска с целью уничтожить противника на подступах к Дону...». Шолохов узнал, что 1 мая 11 немецких дивизий прорвали оборону и ринулись вперед, в том числе к его Дону.

Сталин подписал самый жестокий в войну приказ — в нем под угрозой расстрела провозглашено: «Ни шагу назад».

Многого насмотрелся здесь Шолохов. Не все вошло в очерки. В блокноте, к примеру, осталась волнующая запись: «Был тяжело ранен в грудь один черноокий парень. Ох, как не хотелось ему уходить из жизни! Поначалу он еще говорил. Передал своему русскому другу фотографии матери, жены, детей, письма и попросил его отослать все это родным. Когда силы окончательно покинули его, он в беспамятстве заговорил на родном: „Че!.. Че!..“ — напрягаясь, выкрикивал он в предсмертном отчаянии...» Шолохову пояснили: «че» — это по-армянски «нет».

Немцы были остановлены по левому берегу Дона на одном из участков фронта около города Серафимович.

Куйбышевская авиакатастрофа потянула за собой продолжение, испытание Шолохова на порядочность.

В день рождения полкового комиссара Шолохова Верховный главнокомандующий Сталин пригласил его отужинать. Выкроил для писателя время в своей невероятной круговерти вседержавных тревог. Застолье, добрые пожелания-тосты, но велик почет не живет без забот. Сталин узнал о контузии и участливо предложил: поезжайте, Михаил Александрович, долечиваться в Грузию. Потом, обнаруживая знание того, как произошла контузия, сказал: «Говорят, летчик был пьян, его судить собираются». Шолохов ответил: «Ручаюсь, что пьян не был». — «Как

можете ручаться?» — «Я с ним перед взлетом общался, потому и утверждаю». Спас человека — одной жертвой меньше.

Под конец Сталин поднял бокал: «Идет война, тяжелая, тяжелейшая. Кто о ней после победы ярко напишет? Достойно, как в „Тихом Доне“? Храбрые люди изображены — и Мелехов, и Подтелков, и еще многие красные и белые, а таких, как Суворов и Кутузов, нет. Войны же, товарищ писатель, выигрываются именно такими великими полководцами. В день ваших именин мне захотелось пожелать вам крепкого здоровья на многие годы и нового талантливое, всеохватное романа, в котором бы правдиво и ярко, как в „Тихом Доне“, были изображены и герои-солдаты, и гениальные полководцы, участники нынешней страшной войны».

Через месяц в годовщину начала войны, 22 июня, «Правда» напечатала шолоховский рассказ «Наука ненависти».

В то время Шолохов узнал о том, что по отчаянности положения обкомовцы в его Вёшках создали как бы центр для связи с армейскими штабами и для руководства партизанами в северных районах области. Луговой нашел возможность сообщить другу, что немцы стали что-то сооружать на другом берегу Дона — прямо напротив станицы.

Но нет никакого отчаяния. Напротив, написал рассказ с многозначительным названием. В нем — исповедь бежавшего из плена лейтенанта Герасимова. Этот герой — предтеча Соколова из будущего рассказа «Судьба человека».

Вот когда проявился у Шолохова интерес к судьбам тех, кто прошел через плен. И как раз-то в эти дни его фронтовой блокнот пополнился леденящим душу рассказом одного политрука: «Попал я в плен вместе с рядовыми, без знаков различия, и поэтому остался жив. Привели нас вечером в лагерь, а наутро вокруг себя я увидел тысяч 20 людей, которые копошились в грязи и тесноте, оборванные и избитые. Многие, ослабевшие от голода, валялись под ногами... Кормят просом и подсолнухом... Не было бинтов, чтобы перевязать раны. У каждого в ранах копошились черви. Их сами раненые, которые были в состоянии, выкидывали руками. У многих была газовая гангрена...»

Те, кто прочитал «Науку ненависти», нашли здесь еще более жуткую правду: «...около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей...»

И в этом рассказе блески таланта. Вот чеканный афоризм: «Ненависть

всегда мы носим на кончиках штыков!» Вот выразительные краски, чтобы показать душевность русского солдата — боец после ожесточенного, смертного боя увидел березку с молодыми листочками и спросил с искренним и ласковым удивлением: «Как же ты тут уцелела, милая?»

Было в рассказе и то, что проницательный читатель мог бы расценить откликом писателя на приказ Сталина под номером 270 от 16 августа 1941 года. Армия была предупреждена: плен — это измена, пленные — заочно — приговариваются к смертной казни, их семьи — подвергаются репрессиям.

Шолохов не собирался протестовать против этого приказа. Успел понять в пору всеобщего отступления, что в арсенале воюющих должны быть не только политзанятия для воспитания стойкости. Но вот не приняла его душа угрозы в приказе — не особенно-то разбираться с теми, кто, как Герасимов, честно прошел сквозь плен и даже бежал. Вся довоенная жизнь писателя была сопротивлением огульным обвинениям, потому и сейчас не обошел запретную тему. Дал возможность своему герою, бежавшему из плена и попавшему к партизанам, высказать правду — приглушенно, но явственно: «...относились ко мне с некоторым подозрением». Так намечена едва ли не самая для власти и народа взрывная тема: плен и отношение к пленным. Он еще вернется к ней в рассказе «Судьба человека».

...Редактора «Красной звезды» Ортенберга по-доброму поразило заботливое отношение Шолохова к окопникам: «Заметил, как фронтовики сильно переживают из-за того, что письма приходят с большими перебоями, а то и просто пропадают... После разговора с Шолоховым редакция подготовила специальный доклад наркому обороны Сталину. Конечно, меры были приняты решительные».

Дополнение. «Науку ненависти» тут же заметили за рубежом. Рассказ был переведен и напечатан в Америке, Англии и Индии, а в Мексике включен в «Черную книгу фашистских зверств».

Нашел рассказ отклик и в печати русских эмигрантов, правда, уже после войны. В 1956-м антисоветский журнал «Грани» дал статью Николая Оцуна. «Сколько в этом коротком очерке величия и простоты! — писал он, сопоставляя содержание с христианскими представлениями. — Любовь иногда не к месту или, вернее, она иногда имеет право принять форму ненависти. Некоторые католики утверждают, что Бог создал ад из любви к человеку, так как ненависть — подвиг святых... „Наука ненависти“ написана превосходно...»

Гибель матери

Шолохову порой удавалось побывать в Николаевской слободе. И однажды они с Марией Петровной приняли решение возвращаться в Вёшки.

Тут проявился Сталин. «Собираемся в дорогу, — рассказывал мне Михаил Александрович, — смотрю, подъехала эмка, выходит полковник в форме НКВД и говорит мне: „Товарищ полковник, вам посылка и пакет“. Вскрыл я пакет. Там письмо Поскребышева. Читаю: „Товарищ Сталин И. В. просил передать посылку для Вашей семьи...“ Так примерно написано, письмо не сохранилось, а в посылке — колбаса, консервы и... бутылка. Отужинали, конечно...»

Едва перебрались в родную станицу, как тут же пожалели. Враг снова попер. К немцам прибыла подмога — итальянцы. Вёшенская становится прифронтовой станицей. Ее стали бомбить. Сгорели райком и почта, театр молодежи, школа-десятилетка, больница...

Мать писателя — Анастасию Даниловну — убило в тот день, когда собрались эвакуироваться по второму разу, теперь на запад Казахстана. Сохранились свидетельства очевидцев, как нагрянула эта беда.

«Получил задание и выехал через Вёшенскую... Пообедали... Раздался звук моторов... Выглянув в окно, я заметил 4 вражеских самолета, шедших на очень небольшой (или, как Шолохов выразился, на презрительно небольшой) высоте, не успел я что-нибудь подумать, как раздался свинной, воющий визг бомбы и разрыв в 50-ти метрах от дома Шолоховых... „Ну, Федор, не до гостей...“ Торопливые сборы, поцелуй на дорожку, через час еще группа самолетов посетила Вёшенскую...» — записал в дневнике Федор Князев, военный юрист 127-й стрелковой дивизии.

«Стоя в тени сарая, я только успел увидеть, как ниже самолета, летящего крайним слева, возникла стайка мелких черненьких птичек. Тут на нас вихрем налетела мать, подхватила меня под мышку и, раздавая свободной рукой подзатыльники направо и налево, погнала всех перед собой: „В погреб! А ну-ка! Марш в погреб! Живо!“» — это из воспоминаний младшего сына писателя, Михаила Михайловича:

«Фашисты озверели, налет за налетом, — вспоминал один солдат. — „Фокке-вульф“ пролетел, „рама“, раскидал листовки: „Штыки — в землю, русские солдаты сдавайтесь“, а за ними бомбежка! Я уже не помню, кто прибежал от шолоховского дома, но сказали, что мать ихнюю убило в

голову...»

О гибели матери Шолохов сообщил в письме Г. М. Маленкову, влиятельному тогда секретарю ЦК и члену Государственного Комитета Обороны: «6. VII приехал я в свою Вёшенскую, а 8-го утром налетели немцы, первый раз — 4 самолета, второй — 12 и сбросили около 100 фугасных и осколочных бомб, прочесали улицы из всех пулеметов, зажгли станицу и улетели. Во время второго налета... была убита моя мать, бомба попала во двор, разрушила дворовые постройки и страшно изуродовала крупными осколками мать».

Каково сыну писать такое! Войну хорошо слышать, да тяжело видеть.

Вспоминал в письме: «Как она гордилась мною — единственным сыном, и радовалась и плакала, когда я рассказывал ей о последнем пребывании у т. Сталина. Она благословляла т. Сталина и говорила: „Вот теперь ты отдохнешь и поправишься у меня, Миша...“»

Дальше изложил — по-шолоховски — всю правду: плохо, оказывается, обороняли станицу, военные не смогли отбить налеты, не всегда и отстреливались.

В письме и такое: «Обращаюсь к Вам, дорогой т. Маленков, с просьбой... Пришлите, пожалуйста, ППШ с патронами». Это он пишет о пистолете-пулемете, который ныне именуют автоматом; потому и просит, что такое оружие тогда еще было редкостью.

В письме ничего не сказано о гибели дома, огромной библиотеки и ценнейшего архива с рукописями и письмами. Дочь писателя, Светлана Михайловна, пояснила мне, как это произошло:

— Свой архив отец сдал под охрану в РО НКВД, чтобы его вывезли вместе с архивами райкома и самого райотдела. Но в панике бросили архив, и он пропал. Отдельные страницы рукописей подобрали солдаты, из них вертели самокрутки. Некоторые «бумажки» подбирались по дворам. Как их так разметало — никто не знает. История загадочная...

Хорошо, что один командир догадался подобрать с земли 140 листов черновой рукописи третьей и четвертой книг «Тихого Дона» — после войны они были переданы в ленинградский Институт русской литературы, известный как Пушкинский Дом.

На шолоховском письме Маленкову остались следы чтения-изучения. Красным карандашом подчеркнуты строки о бездействии при налете, о просьбе прислать ППШ и о матери. Простым карандашом в верхнем углу письма помечено: «Шолохов»; зеленым: «Сохранить»; синим: «Архив. 8. V. 46».

Сурова война. Только схоронили маму, жене приказ: «Полчаса на

сборы!» Крикнул ее сестре: «Лидия! На одной ноге! Ничего, кроме документов; не вздумай с барахлом возиться...» Поторапливал жену: «Живо, живо, Маруся. Через часок, не позже, они (это он о немецких бомбардировщиках. — В. О.) опять тут будут. Обнюхались. Безнаказанность почуяли. Теперь всерьез возьмутся. Наш дом приметный...»

Она надела на детвору какие-то курточки и кофточки — а жара, подобрала в комнате коробку с лекарствами и пакет, перевязанный розовой ленточкой, — московские мужнины письма. Ее сестра — тоже в великой растерянности — успела прихватить лишь паспорт и зачем-то со столика со швейной машинкой четыре катушки ниток. Семья с четырьмя детишками отправилась в дальнейшие скитания, теперь в поселок Дарьинск на западе Казахстана.

Этот райцентр не просто так появился в судьбе беженцев. Обком при всех тогдашних трудностях с жильем предложил Шолоховым домик в центре Уральска. Писатель ни в какую: «Госпиталям негде размещаться!»

Ему удалось съездить в Дарьинск. Как похоже на Вёшки: рядом барханные пески, неширокие улицы... Нашел время зайти в райком партии. Познакомился, узнал последние сообщения Информбюро, услышал доброжелательное: будем приглядывать за вашими. Его попросили рассказать «про войну». Кто-то задал вопрос: скоро ли откроют на Западе второй фронт? Он тогда волновал всех. Отвечал с раздражением: «На союзничков надеяться нечего. Они мудрят, изворачиваются, особенно эта старая лиса Черчилль... Надо полагаться на свои собственные силы...»

Он любил эти казахстанские раздолья. Народ гостеприимен, степи напоминают донские, река Урал почти что Дон, тишь и малолюдье. И, видать, щедры эти места для охоты и рыбалки. Не случайно после войны станет почти каждый год приезжать сюда.

В конце июня 1942-го его на один день будто бы вернули в мирное время. Вызвали в Москву на сессию Верховного Совета; только в зале почти не было депутатов в штатском костюме; даже тыловики давно переоделись в гимнастерки или кители. Шолохов запомнился москвичам худым и уставшим.

Война тяжело отдается в душе — 11 июля немцы и итальянцы взяли Миллерово, а 24 июля вновь был сдернут красный флаг над обкомом — пал Ростов. Шолохов потом узнал: всего за полгода с небольшим оккупации области, да и то не всей, фашисты замучили, расстреляли и повесили 90 тысяч его земляков. А сколько успели угнать в неметчину! Почему-то добровольно явился к немцам художник Корольков, автор иллюстраций к

«Тихому Дону». Потом ушел с ними в отступление и добрался до Германии. Неужто жена немка уговорила или какие-то обиды на советскую власть оказались повесомее его казацкого родословия?

Судьба генерала

В самом начале октября 1942 года ушла телеграмма главному редактору «Красной звезды»: «Здоров. Прошу санкционировать совместную поездку Карповым Сталинградский фронт. Ответ телеграфьте. Крепко обнимаю, Шолохов».

У него уже богатый военный опыт. Догадался, что быть на Волге главному в этот год сражению. Поэтому и захотел вместе с ответственным секретарем газеты отправиться в Сталинград.

Потрясен был увиденным и услышанным, когда прибыл в штаб фронта. Город разрушен непрерывными бомбежками. Положение обороняющихся хуже некуда: немцы прорвались к Волге. Сталинград могли взять не сегодня-завтра... С его падением немцам открывалась прямая дорога на Кавказ и в Закавказье — к нефтяным сокровищам. А как без них — бензина, мазута, керосина — воевать нашей армии.

Шолохов знал, что обороной города руководит Жуков, заместитель Верховного главнокомандующего. Но, увы, встретиться не удалось. И не настаивал — видел, что Жукову в этом аду не до журналистов. На приобщении к жизни фронта это не сказалось. У Шолохова была удивительная способность — становиться своим среди тех, о ком собирался писать. Сохранилось свидетельство земляка-фронтовика, будущего ростовского писателя Петра Лебеденко:

«Михаила Александровича я разыскал в небольшом окопчике. Чтобы попасть в него, от КП надо было ползти не менее двадцати метров. Именно ползти: немцы рядом, и снайперы их, конечно, не спят.

Шолохов и пожилой солдат сидели на ящике из-под гильз, парень лет двадцати — плечистый, с белесыми бровями, тоже в плащ-накидке — у стены окопа...

Усатый тихо говорил: „Оно как кому повезет, однако... Вот мы с Митькой — сын это мой — уже четыреста шестнадцать ден воюем, и ни царапины. А другой, гляди, только придет в роту и пульнуть-то по фрицам не успел — уже готов. Вот оно как...“

— А ты кто же будешь-то? Партийный инструктор? — неожиданно спросил он у Шолохова.

— Да что-то вроде этого...

— Газетки на пару закуток не найдется?

Газеты у Михаила Александровича не нашлось. Солдат досадливо поморщился, но Митька дал ему небольшую книжонку.

— Ошалел ты, что ль! Такую книжку — на закурки, соображать надо, однако...

Речь шла о „Науке ненависти“. Усач добавил: „Это такая наука, что без нее нашему брату никак нельзя, ну, никак, понимаешь? Писал эту книжку не простой человек... Все знает, однако. Душа у него солдатская, понимаешь? Он по окопам, как ты, запросто. Приходит, садится, говорит: „Покурим, братцы? У кого покрепче?““ Душа...»

Что дальше-то? Неожиданный бой. И Митьку убило. От очевидца осталось свидетельство: «Дымилась земля, снаряды рвали ее в клочья, гарь ползла по окопам, а солдат все стоял на коленях, недвижимый, как памятник сыну. Шолохов склонился над убитым парнем, взял его руку в свои ладони, крепко сжал ее... лицо его вдруг посерело, на висках взбухли бугорки вен, а в глазах была мука... Рота пошла в атаку. Сибиряк наклонился над сыном, губами прижался к его лбу, сказал чуть слышно: „Прощай, Митька. Вернусь — похороню“».

Еще один фронтовик, Василий Грязнов, тоже запечатлел встречу с Шолоховым: «Под Сталинградом это было, тяжелые бои шли... Пришел он к нам в окопы. Идет по ходу сообщения и нет-нет выглядывает, посмотрит в бинокль в сторону фашистов. А кто-то из солдат и говорит: „С биноклем, товарищ полковник, поосторожнее. У немцев снайперы начеку“. Шолохов улыбнулся и в ответ: „Благодарю за упреждение, но снайперов я не боюсь. Заговоренный я, брат, от пули“».

И дальше шло в этом рассказе одно другого интереснее: «Ну, солдаты нашего окопа окружили его, все сразу узнали в полковнике Шолохова. Я и говорю ему: „Может, вы, Михаил Александрович, и молитву какую от пули знаете?“ — „Знаю, — отвечает. — И те молитвы, что имеются в „Тихом Доне“, и новые, но сейчас у меня на уме и в сердце одна, начинается она, други мои, так: „Во имя отца и сына и матери моей — ни шагу назад!““ Помолчал, затянулся дымком махорки и говорит: „А хочется хорошее написать“. — „Что же?“ — „А то, как вы сражаетесь за родину. Вот хожу по окопам, присматриваюсь, учусь у вас, изучаю солдатскую жизнь, бывальщину, а потом напишу, обязательно...“»

Его видели и в Камышине — здесь находился штаб строительства дороги Казань — Сталинград. Немцы бомбили этот городок по три раза на день.

Не только в редакции удивлялись — спецкор не переслал ни одного очерка. Видимо, большое произведение задумал. Да и утратил он лихость в сборе материала для газетных нужд — мучительные боли после контузии давали знать о себе каждый день.

Новый роман о тех, кто отстоял Сталинград, он назовет «Они сражались за родину»; кстати, распорядится поименовывать здесь слово «родина» с маленькой буквы — без излишней пафосности.

Шолохов свидетель, как те, кто сражался за родину, не пропустили немцев за Волгу. В ноябре 1942-го они перешли в контрнаступление.

Особенно врезалось ему в память, как нередко гибли герои по неразумию начальства. С горечью — запинаясь от непроходящей и жалости, и злости — рассказывал друзьям: «Наступление войск 62-й армии... Вижу, как гибнет батальон в 800 человек, осталось шесть воинов, остальные пластом легли у вокзала. Их не немцы выбили, а кто-то из наших вывел из укрытия на отступ. И что же, все попали под фланговый огонь. Полегли... Слезно жаль... А кто виноват — Чуйков или Родимцев? Попробуй разберись, они сейчас будут друг на друга сваливать, а люди пали смертью... Кого винить? Война, да! А мне надо сказать пусть горькую, но правду...»

Пока Шолохов в Сталинграде, в Москве затеяли вокруг «Тихого Дона» подковерные игрища. В октябре заместитель председателя правительства Анастас Микоян направил в ЦК письмо под грифом «Секретно»: «В Англии и ее владениях проявляется значительный интерес к советской политической и художественной литературе...» Приложил список книг, чтобы ЦК разрешил издать на английском. Был там и «Тихий Дон». С письмом «поработали»: роман вычеркнули. Вместо него вписали «Радугу» В. Василевской. Эта писательница — любимица Сталина, а подхалимы тут как тут.

...Германия. В дни, когда армия Паулюса уже осознавала свой конец, Гитлер произнес речь с очень странным признанием: «Меня всегда высмеивали как пророка. Из тех, кто тогда смеялся, бесчисленное множество уже не смеется, а те, кто все еще смеется, скоро, пожалуй, тоже перестанут. Сознание этого распространяется через Европу по всем миру...»

Пройдет всего полгода, выйдут первые главы романа, и мир узнает истинное пророчество — от имени простого русского солдата: «Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами! И горе будет проклятой стране, породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамена нашей

великой армии-освободительницы...»

Дан был приказ чеканить медаль «За оборону Сталинграда». Шолохов будет удостоен этой награды. Она пропишет посланца «Красной звезды» в одном строю с теми, кто был участником одной из самых великих битв в истории человечества.

Дополнение. Хождение по окопам с журналистским блокнотом обогащало писателя. Для будущего военного романа скапливались — строка за строкой — приметы фронтовых буден, которые узнавал не из пересказов или документальных фильмов.

Шолохову явно приходилось брать в руки саперную лопатку — иначе вряд ли появилось бы в романе такое описание: «Высушенная солнцем целинная земля была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевато-блестящий след...»

Только по собственным наблюдениям могли выписаться и такие строки: «Шедший впереди средний танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хвост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет станкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек...»

Общение с теми, ради кого готовился браться за роман «Они сражались за родину», укрепляло в мысли: не цензура, а правда должна командовать писательским пером. Потому-то в романе и появится признание — необычное, как истинное пособие в науке побеждать: «Воевать как следует еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, — тогда и повернется немец задом на восток...»

Глава третья

1943: ЦЕНЗУРА ЦК

В день первый января 1943 года Сталин подписал директиву Ставки Верховного главнокомандования — начинать наступательную операцию с кодовым названием «Дон».

Визит к Бери

Шолохов, ясное дело, ничего не знал о секретной директиве. Но Вёшенская не уходила из памяти. Тут еще от сына одного приятеля весточка — горестная: «Мы по равнине подъехали к Вёшенской... Церковь была развалена, обгоревшие стены обрушившихся зданий, развалины домов, воронки от снарядов и бомб...»

Писателю рассказали, что в «Правду» приходит много писем с вопросами: когда Шолохов предстанет с чем-то значительным о войне? Он в ответ — знаю, мол, читал некоторые такие письма:

— Все, все хотят, чтобы ничто не было забыто. И я этого хочу. Во имя тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом...

У него спросили: о чем будет новый роман? Ответил:

— О русском солдате, о его доблести. О его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. И я хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну.

Он особо отметил, что в романе будет много юмора. Это кое-кому показалось странным, несвоевременным — не рановато ли шутковать: ведь главного перелома в войне еще нет. Шолохов не согласился:

— Что читают на переднем крае, когда есть свободная для этого минутка? Приключенческую, веселую литературу. Чтобы уйти от мясорубки, от страшных размышлений о войне — на фронте ведь мало веселого. И я подчинился этой необходимости...

...В феврале на сборе всех своих сотрудников редактор объявил, что Сталин ввел погоны; их отменили в революцию. Через несколько дней Шолохову вручили полковничьи: с двумя просветами при трех звездах; золотые для парадного мундира и зеленые для повседневья. Офицер! Золотопогонник! Сколько сказано о них в «Тихом Доне» и с уважением, и с

презрением. И все-таки хорошо, что Верховный вспомнил вековые традиции русского офицерства.

Февраль оказался щедрым на добрые новости и для страны, и для Шолохова.

Во второй день этого месяца завершилась ожесточенная битва под Сталинградом, она длилась более полугода. Мир убедился: советский солдат и после обороны Москвы показал, что сильнее фашистского.

Впрочем, Шолохов конечно же осознавал, что победа под Сталинградом еще не разгром Германии. Она все еще могуча.

Москва. «Правда» 4 февраля напечатала небольшую карту больших военных действий. Нетрудно представить, как вглядывался в нее Шолохов: Ростов, Миллерово, города и станицы вокруг и рядом. Ясно, что карта не зря напечатана — значит, там не просто бои, а идет наступление. Так и было. Через 12 дней газеты дали сообщение Совинформбюро: «Войска Южного фронта заняли Ростов-на-Дону». Сколько же крови впитали стылые снега...

Ростов. Военный Совет фронта направил Сталину победную реляцию: «Над цитаделью тихого Дона — Ростовом — взвилось великое и непобедимое Красное знамя Советов...»

Радостные вести с фронта — не очень радостные о том, как живет семья, а тут еще и неуходящие боли от контузии, и заботы о романе... Однако верен давним, с 20-х годов, убеждениям заступаться за опальных.

...Корней Чуковский. Он узнает, что Детгиз получил указание не печатать его сказку «Одолеем Бармалея». Но ведь с ее помощью он хотел научить детишек ненавидеть фашистов. Видимо, не все выписалось так, как хотелось. Однако же вместо подсказки его обвинили в идеологической ошибке. Опасное обвинение по тем временам, не зря он вписал в дневник: «Злые вороны выклевали мне очи...» Ищет заступников, да все отвернулись. Еще бы, говорили что сам Сталин сказкой недоволен. Только два писателя подписали письмо в защиту сказочника: Алексей Толстой и Шолохов.

...Ефим Пермитин. По той причине, что не так «отобразил» коллективизацию в своих повестях «Когти» и «Враг», давно уже пребывает во «врагах народа». Шолохов нашел возможность обратиться к Сталину в его защиту. Тот смилостивился и сказал по телефону Берии: «Надо уважить Шолохова». Дисциплинированный нарком вызвал к себе ходатая:

— О ком просишь?

Шолохов начал с заслуг Пермитина в литературе. Берия перебил:

— Не читал и читать не буду. Ты скажи: наш человек?

— Наш человек!

— Напиши фамилию...

После этого позвонил кому-то:

— Ефим Николаевич Пермитин. Писатель. Освободить, восстановить во всех правах.

Март. Вдруг вспомнили о Шолохове во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. Тогдашняя начальница этого самого ВОКСа придумала выпустить в США несколько фильмов. Написала в ЦК: «Учитывая огромную пропагандистскую силу американского кино (если фильм идет большим экраном, его смотрят 30–40 мил.), созданные фильмы о СССР могли бы стать одним из мощных средств нашей пропаганды...» И предложила собрать тех, кто смог бы написать сценарии. В ее списке 20 писателей, и Шолохова не забыла. Правда, из этой затеи ничего не вышло.

В этом же месяце Шолохов попытался встретиться со Сталиным. Ответ был передан через помощника: «Тов. Поскребышев! Передайте т. Шолохову мои извинения и скажите, что не в состоянии выполнить его просьбу ввиду перегруженности работой».

С чем же собрался в Кремль? Возможно, ответ на этот вопрос подскажет моя находка в главном архиве партии.

В апреле Маленкову передали папку с бумагами — страниц пятьдесят. Отличная машинопись, отличная бумага. На первой странице: «Михаил Шолохов. Они сражались за родину». То новое творение Михаила Шолохова!

Здесь же синим карандашом приписано: «т. Маленкову и (неразборчиво), вещь хорошая, по-моему, ее надо печатать в „Правде“ и в „Красной звезде“». И подпись. (Я не смог разобрать, чья это резолюция, но явно не Сталина.)

Надо читать. Но как Маленкову выкроить время? Ежедневно и еженощно десятки, десятки, десятки писем, телеграмм, записок от наркомов, секретарей обкомов, директоров оборонных заводов...

«Вещь» хвалят, а в тексте сразу бросаются в глаза подчеркивания все тем же жирным синим карандашом. Испещрена едва ли не каждая вторая-третья страница. И явно не в похвалу. Кто же владелец запретительного карандаша — Маленков? Автор резолюции? Догадываюсь: чтец — придира, перестраховщик с литвкусами, которые воспитаны на постановлениях и инструкциях. Забеспокоили этого цензора такие, к примеру, выражения: «Чертов союзник»; «Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть»; «Армию разбили»; «Идем мы пятый день, скоро уж Дон, а потом Сталинград...»; «Разбили наш полк вдребезги, а что

с остальными? С армией?..»; «Похожий на английского министра Идена». И еще, еще, еще.

Дома я стал сравнивать выписанные подчеркивания с последним изданием романа. Почти все эти выражения остались в тексте. Лишь реплика Лопатина «чертов союзник» заменена на «наши союзники». Шолохову было ясно, о чем бдели цензоры: как бы союзники не осерчали, что им напомнили — затягивают открытие второго фронта.

Разыскал того правдиста, который спустя некоторое время стал готовить главы романа к изданию, Юрия Лукина. Спрашиваю: кто же оказался тогда столь смел, чтобы не принять руководящих подчеркиваний? Ответил, что получил рукопись без всяких пометок. Значит, Шолохов сам принял это опасное решение, разминировать свое творение от тех цензурных вмешательств, которые взрывали написанное.

В «Правде» рассказывали: Маленков читал рукопись так неспешно, что главный редактор не выдержал и сказал ему: «Разрешите напечатать под нашу ответственность».

Как рукопись попала в ЦК? Теперь уже не узнать. Я не нашел ни официального сопроводительного письма, если она пришла из газеты, ни письма писателя, если он сам туда обратился.

Май. В газетах появилось Обращение Всеславянского митинга к угнетенным славянам Европы. Оно призвало объединяться против общего врага. Велика колонка подписей. Вместе с Шолоховым Людвиг Свобода, будущий президент Чехословакии, а тогда командир сформированного в СССР чехословацкого корпуса, писатели Алексей Толстой, Леонид Леонов, Александр Фадеев, ученый Петр Капица, певец Иван Козловский, несколько священников...

Как раз в это же время начали печататься отрывки из его нового романа, одновременно, как кто-то предписал в ЦК, и в «Красной звезде», и в «Правде». Залпом! И в самом деле роман стал воюющим. Шолохову довелось познакомиться с заметками одного журналиста: «1943 год. Начало лета... В эти дни на передний край стали поступать номера „Правды“ с главами из нового романа Михаила Шолохова. Все — солдаты и офицеры — жадно набрасывались на эти номера. Зачитывались до дыр, до стертых клочков...»

Еще бы не «набрасываться», когда шла истинно окопная правда, ну, хотя бы в сценке, когда отбивались от наступающих фашистов: «Микола! Умыли мы их, б..! Они с ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!»

Но ведь смог и иную правду рассказать: «Николай, полужасыпанный

землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли... Из носа у него шла кровь. Щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукой по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все: немцы были близко...»

Художник живописал и такую щемящую картину: «Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос... Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он — обезображенный огнем и жалкий — насквозь пропитался острым запахом дыма. Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал:

— Милый ты мой, до чего же ты прокоптился! Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана... Вот что с тобой проклятый немец, окостенелая его душа, сделал!»

Война и смерть... Жесток роман на откровения. «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная...» — говорит Лопахин.

Неожиданный отклик пришел на публикацию романа в «Правде». От Сергея Ермолинского. Это с ним Шолохов создавал за год до войны сценарий к картине «Поднятая целина». Теперь Ермолинский, отсидев в тюрьме, — в ссылке в Алма-Ате. Нелегко дается ему письмо — вдруг и Шолохов тоже не захочет поддерживать отношения с ним, преступником. Уже в первых строчках смятение и тревога: «Дорогой Миша! Пишу Вам очень коротко, потому что не уверен, найдет ли Вас это письмо. Да и как испишешь — тут длиннющий рассказ, если уж пытаться изложить все невеселые мои приключения».

Письмо не просто так — он мечтает о совместной работе. «На днях мне принесли несколько номеров „Правды“ с главами Вашей новой книги. Я, Ваш мужик „оброчный“, готов, если будут у Вас такие намерения, приняться за работу над сценарием...»

В этом весеннем месяце Шолохов был командирован на Западный фронт и добирался со своим сухим пайком до городка Дорогобуж.

Отсюда готовилось наступление на Смоленск. Когда на машине пробирался к штабу, проехал Гжатск — где-то неподалеку находилась деревня Клушино: разоренная, сожженная, где в одной из землянок бедствовала семья Гагариных с девятилетним сыном Юрой. Космонавт Юрий Гагарин и писатель Михаил Шолохов встретятся в середине 1960-х — в Вёшенской, можно сказать, на высокой орбите внимания классика к

молодой литературной поросли.

Уже само по себе имя Шолохова позволило писателю узнать больше других журналистов об обстановке на фронте, да приходилось сожалеть, что эти знания — не для печати. Операция по освобождению Смоленска названа «Суворов». Готовилась она очень скрытно. Никто не знал ни о дате наступления (7 августа), ни о численности подготовленных к сражениям войск (миллион с четвертью).

Операция была крайне тяжелой и растянулась до конца сентября — лишь тогда освободили Смоленск.

Отчего военный корреспондент М. А. Шолохов ничего не послал в печать с этого фронта? Видимо, писал новые главы для своего романа.

Скрыл от всех, что брался в это горячее время и за рассказ. О войне, разумеется. Назвал очень просто «Матвей Калмыков». Очень донские имя и фамилия. Успел заполнить 13 страниц. Но не стал дописывать. Решил растворить этот рассказ в романе. Жаль, что не дописал. Наверное, не один тогдашний читатель воспринял бы «своей» историю казака-колхозника, которому выпала доля стать защитником родины в очень тяжкую пору — отступления в степях между Доном и Волгой. И, наверное, не один новобранец испытал те чувства, что и герой, когда на марше он был сброшен взрывом немецкой бомбы в вонючую лужу:

«В ярости вскочил он на ноги, задрал вверх голову, и, отплевываясь, потрясая кулаками, заорал:

— Силен ты, сукин сын, кидать на безоружных! Попадись мне на фронте, такую твою мамашу! Попадись только, я тебе дырок наверчу!»

Русский характер!

Рассказ получался без прикрас. Отдал право высказать тяжкую военную правду об отступлении молоденькому командиру роты:

«— На рассвете или утром ожидается наступление противника. Наверное, будут танки с его стороны. У нас пока их нет, временно нет. Атаки придется отражать своими силами. Главное — не робеть и ни в коем случае не бегать от танков. Без моей команды не отходить ни на шаг, помните это твердо. Обычай есть у нас такой хороший: трусов, покидающих в бою товарищей, стрелять самим, не дожидаясь, когда убьют их немцы. Ну, занимайте места...»

Шолохов понимал — такой жуткий приказ был единственно возможным по тем жутким временам. И это тоже урок из науки побеждать.

Просьба американцев

Июнь. Вашингтон. Рузвельт читает шифровку от Черчилля, который сообщает с тихо-уютного североафриканского побережья: «Купание приносит мне огромную пользу...»

В это время немцы готовили на Курском направлении к наступлению 50 дивизий. Гитлер надиктовывал приказ (подпишет его в канун операции): «Вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее влияние на исход войны в целом. С вашей победой сильнее, чем прежде, во всем мире укрепится убеждение в тщетности любого сопротивления немецким вооруженным силам...»

Рузвельт в ответе Черчиллю сообщает о телеграмме Сталина — советский лидер разочарован позицией западных союзников и требует открыть второй фронт; Россия изнемогает, сражаясь в одиночку. Премьер, взбодренный пляжами, морем и солнцем, в новом письме президенту согласовывает с ним совместное послание в ответ на «суровое порицание дядюшки Джо» (так называли Сталина. — В. О.). Предлагает сказать Сталину об опасности поражения союзников, «если бы бросили сотни тысяч человек через Канал (Ла-манш. — В. О.) в гибельное наступление... Это могло бы вызвать у нас в стране крайне дурные настроения». Предложил Рузвельту включить в письмо Сталину следующую строчку: «Лучший путь нашей помощи Вам — это мы сделаем в Тунисе...»

В эти дни Шолохов был отозван с фронта — ему сообщили, что надо встретиться с представителями ВОКСа. Эта организация все более набирает авторитет во влиянии на зарубежную общественность.

Был радушен и приветлив на встрече, спокойно попыхивал табачным дымком. Но вдруг взорвался — когда ему передали просьбу Американского общества помощи России написать письмо американцам в связи с приближающейся годовщиной войны. Таким его еще никто не видел:

— Что писать? И для чего? Вчера я встретился с одним американцем и в разговоре он сказал мне, что если в моем романе будут рассуждать о необходимости более активного участия союзников в войне, чем оказание материальной помощи, то это может обидеть американцев...

Не смог утаить чувств:

— Я могу допустить, что американец... живущий несколько в стороне от больших мировых событий, может не понять, что его судьба и судьба Америки зависят прежде всего от разгрома гитлеровской Германии и что эту судьбу русский народ решает пока один... я полностью отдаю себе отчет о значении американской помощи России. Я с благодарностью вспоминаю об этом всякий раз, когда по фронтовым дорогам проезжают «додж» или «форд»; когда беседуешь с летчиком, сошедшим с

американского истребителя, или с больным в госпитале, где благодаря применению американских медикаментов... возвращаются к жизни... раненые советские бойцы... но настоящая боевая дружба между двумя бойцами не может быть основана на том, что один сражается и идет в смертельный бой, а другой, подбрасывая ему патроны, хлопает в ладоши и кричит: «Браво, ты хорошо дерешься!»

Он рассказал, на каких фронтах побывал, вспомнил гибель матери. И снова не удержался от страстного монолога:

— Трудно требовать от человека, у которого враг еще не отнял жизнь его родных, друзей, чтобы он так же яростно ненавидел гитлеровцев, как ненавидим мы их... если я призываю американцев вступить в бой и открыть второй фронт в Европе, то не только ненависть к врагам диктует мне это. Мы, русские, слишком уверены в силах своего народа, чтобы истерически кричать на весь мир: «Бей гитлеровцев!» Мы и так их убьем.

Подытожил уже спокойно и весомо:

— Я убежден, что жизнь миллионов молодых американцев, свобода и независимость каждого из них прежде всего зависят от разгрома гитлеровской Германии, и я призываю американский народ вступить в бой вместе с нами...

И, будто победа уже на пороге, завершил так:

— И на основе этой солдатской дружбы создать прочный и справедливый послевоенный мир.

«Письмо американским друзьям» все-таки появилось. Уговорили. В нем было немало добрых и уважительных слов об Америке, но закончилось оно без обиняков: «Нельзя из этой войны выйти, не запачкав рук. Она требует пота и крови. Иначе она возьмет их втрое больше. Последствия колебаний могут быть непоправимы. Вы еще не видели крови ваших близких на пороге вашего дома. Я видел это, и потому я имею право говорить с вами так прямо».

В эти же дни Шолохов отправил еще одно письмо — на свою Донщину другу-райкомовцу Петру Луговому: «Напиши о соседях, как из неразберихи выбрались базковцы, боковцы? Как выглядят правобережные хутора? Где сейчас Петро Чикидь?..» Одновременно и боль: «Ребята, что осталось и осталось ли? — от моей библиотеки? Нельзя ли собрать хоть что-либо, ведь немцев в Вёшках не было, неужели свои растащили?» И как же замечательно закончил: «Много пришлось повидать мне порушенных мест, но когда — Родина, во сто крат больнее... Ну, да ничего! Были бы живы, а все остальное наладится, трава и на погорелом месте растет!..»

Август. Шолохов вдруг заглянул в Вёшки — возвращался из

Камышина, куда вернул семью из Казахстана. В станице пока негде было жить — дом не восстановлен.

Да что свой дом! Пришел в полное уныние, когда узнал, что к Дону подкрадывается голод. Не быть никакому урожаю, ибо нечем вести сев озимых. Нет семян по недороду, нет и техники из-за разора от войны. Пришла мысль просить о помощи ЦК. И Шолохов от имени всех первых секретарей райкомов Верхнего Дона подписывает письмо секретарю ЦК Андрееву, он же и нарком земледелия.

Из Вёшек поехал в Новочеркасск. Его появление осталось в памяти одного казака-виноградаря: «На виноградниках работали пленные немцы. Работали молча, старательно, как бы заглаживая свою вину. Относились мы к ним неплохо, но, понятно, без особой теплоты. В какой-то день приехал Шолохов. Долго наблюдал за работой немцев. Смотрел, как тщательно перекапывают они сухую, рыжеватую землю, как выступает на их давно не стиранных, слинялых рубашках едкий, соленый пот. Не знаю, о чем подумал Шолохов, но отлично помню, как печальнее и печальнее становились его глаза. Потом решительной походкой направился к нам и попросил винодела Степана Митрофановича угостить пленных вином. Он возвратился из погреба с деревянным ведром-консовкой и поднес стакан немцу. Потом второму, третьему... Немцам назвали фамилию писателя. Были потрясены... „Шлихт, простой...“»

В Новочеркасске пробыл всего один день. Осталась фотография — писатель с несколькими офицерами 31-й армии и командармом. Как не заметить — у тех, кто без шинели, видны награды, а на гимнастерке Шолохова — ни единой, а ведь имел орден Ленина еще с довоенного времени и недавнюю медаль «За оборону Сталинграда».

Сентябрь. Шолохова разыскивают и сообщают — в Москве пройдет Общее собрание Академии наук. Давно не собирались лучшие из лучших. Но нашел ли академик Шолохов время на этот сбор, да и было ли желание? Неизвестно. Он и до войны редкий здесь гость.

...Все чаще приходят добрые вести. В октябре 1943-го — бегством немцев завершилась битва за Кавказ; почти что родные для Шолохова места. В ноябре был освобожден Киев — подала голос украинская кровиночка от матери. 1 декабря завершилась Тегеранская конференция глав трех союзных держав — СССР, США и Великобритании. Союзники наконец-то приняли решение об открытии второго фронта в Европе не позднее 1 мая 1944-го. Американский президент заметил: «Если дела в России пойдут и дальше так, возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится».

Шолохов уже убедился: Сталин — единственная фигура во главе страны, кто способен обеспечить своими невероятнейшими волей и решительностью победу и без всякой жалости обойтись с теми, кто мешает победе.

Дополнение. Война еще сильнее подогрела интерес к Шолохову за рубежом. США и Англия издали «Тихий Дон». Главы из романа «Они сражались за родину» — в нетерпении — передавались в Америку по телеграфу.

В феврале Шолохов прочитал в «Правде» сообщение из Нью-Йорка: «В ближайшее время состоится премьера оперы Дзержинского „Тихий Дон“». В июле появилась еще одна заметка: «Огромными тиражами издаются в Англии, США и других демократических странах книги русских классиков и советских писателей: Горького, Алексея Толстого, Шолохова и других».

В Москве «Тихий Дон» во время войны не выходил.

Глава четвертая

1944: МАЯТНИК

Прошедший 1943 год вслед за Сталиным назвали «переломным». Все чувствовали — Шолохов тем более, — что пришла пора, о которой он с такой убежденной верой писал еще в прифронтовой Москве в 41-м: «Со времени татарского ига русский народ никогда не был побежденным, и в этой Отечественной войне он непременно выйдет победителем...»

Война: новые приметы

Январь подтвердил предсказание: развернулись бои за освобождение Белоруссии; продолжались бои за освобождение Украины; Ленинград окончательно был освобожден от смертной блокадной удавки; союзники начали наступление на Рим.

Потому-то у войны все чаще появляются новые приметы.

5 января в «Правде» опубликована заметка о том, что открыл двери Ростовский театр. В феврале еще одно событие на фронтах культуры и искусства — пленум Союза писателей.

Шолохов пришел на пленум хорошо вооруженным — как раз в этом месяце он продолжил печатать новые главы из военного романа.

В президиуме — Фадеев, Гладков, Панферов, Пастернак, Пришвин, Сейфуллина, Эренбург. От ЦК — Щербаков и Юдин. И Шолохова приглашают за руководящий стол. В зале, увы, много пустых мест — кто-то погиб, кого-то не удалось отозвать с фронта. Взамен приглашены «без права голосования» некоторые из новых, окрепших в войну писателей. Здесь и старый знакомец Шолохова Ермилов, давний хулитель «Тихого Дона».

На пленуме обсуждали доклад «Советская литература в дни Отечественной войны». Вряд ли знал Шолохов то, что тезисы доклада предварительно посылались в ЦК. Шолохов здесь в разделе «Правда о войне». Тезисы обозначали злободневные темы: «Новые черты советского человека. О преодолении чувства страха перед врагом. О рождении ненависти. Рост солдата и офицера Красной Армии». Далее пояснялось для ЦК, чьи произведения будут названы: Симонов, Соболев, Гроссман, Горбатов, Твардовский, Леонов...

Среди них Шолохов; о нем такой текст: «Начал писать роман „Они сражались за родину“. Это только еще куски, и трудно представить себе целое, так как мы не знаем судьбы героев. Но видно, что Шолохов задумал трудное дело. Он и не хотел легкого дела. Это будни войны. Это тягость отступления, когда народ смотрит с презрением и в сердце бойца рождается ярость. Мы знаем, что позже такая ярость приведет к победе... Это правда войны». Упомянут и рассказ «Наука ненависти».

Были перечислены и те, кого будут критиковать: «повесть Зощенко, стихи Сельвинского». Упомянут и Пастернак с очень туманной формулировкой: «Трудность положения Пастернака перед лицом войны».

Шел пленум пять дней, «Правда» ничего о нем не сообщала.

Шолохов не выступал. В прениях о нем говорил только один оратор, некий работник аппарата Союза писателей, зато с сенсацией: «Как ни странно, „Тихий Дон“ вышел в Венгрии. У читателей может возникнуть вопрос. Дело не так сложно. Читаем мы в американском журнале, что в этой книге столько правды интеллектуальной, эмоциональной, исторической оттого, что автор так любит свой народ и обладает таким глубинным пониманием, и далеко не на последнем месте талант автора „Тихого Дона“ помогает нам понять, почему нацисты получили такой отпор на Дону и почему Кавказ представлял такую приманку для Гитлера».

Выступления, выступления: Горбатов, Вишневский, Берггольц, Федин, Сурков, Сейфуллина, Эренбург, Шагинян. Хоть бы раз кто-то вспомнил Шолохова. Критик Ермилов — обошел вниманием, а ведь числился шолоховедом. Он озаботился творчеством других. Без мнения ЦК невозможно. На трибуне начальник Управления пропаганды и агитации с похвалами Василевской, Горбатову, Симонову, с критикой — политизированной — Зощенко, Довженко, Сельвинского, Асеева. Не соблюл партиец партийный протокол — о Шолохове не сказал ничего, но он-то и лауреат Сталинской премии, и депутат; по всем статьям надо хоть что-то отметить «положительное».

Было чему подивиться: нет Шолохову на этом писательском собрании достойного места. Но ведь он уже полюбился военному читателю и очерками, и рассказом, и романными главами. А какие письма продолжали идти ему от фронтовиков — истинных литературоведов, да и какая пустопорожняя лесть или фальшь могли быть у тех, кто ежедневно смотрел смерти в глаза. В феврале, к примеру, ему пришло письмо — прямо подарок к празднику Красной Армии — от старшего лейтенанта Шубина: «В нашей части сейчас оживленно беседуют по вашему роману „Они сражались за родину“. Участники боев от Харькова до Сталинграда, читая

ваш роман, вспоминают тяжелую дорогу своего отступления. Офицеры Фридман, Мочавариани, Бабаев и Иванов говорят, что Михаил Шолохов отлично знает фронт, окопную жизнь солдат, точно воспроизводит картины недавнего сражения...»

В последний день работы пленума президиум послал Сталину приветственное письмо. Среди подписавших имени Шолохова нет. Это потому, что сбежал с пленума.

Дон оказался важнее, чем пленум. Он шлет домой телеграмму: «Вёшенская Ростовской области Луговому. 7 был Андреева тчк Немедленная помощь обещана тчк Привет Шолохов». Это он поминает фамилию секретаря ЦК и наркома земледелия. Телеграмма — итог того, что Шолохов узнал: его письмо из Вёшек о бедственном положении земляков возымело действие. Москва не отказала в помощи. Выделила зерно на семена и продовольствие, а также несколько комбайнов и тракторов, даже строительный лес. Это еще одна глава в Книгу заботы Шолохова о Доне — уже какая по счету!

Земляки оценили его заступничество. Шолохов был и растроган, и до края смущен, когда ему передали «речь» казачки на одном колхозном собрании: «У меня пятеро детей, муж убит на войне. Хату разбило бомбой. Живу в блиндаже. Думала — погибну, и вот радость. Мне дали лес, делают хату, выделили 30 пудов зерна. Теперь я снова живу. Дорогие товарищи, передайте Михаилу Александровичу от всех вдов низкий поклон и пожелания ему здоровья и счастья».

...Шолохов стреножен самыми разными делами-заботами, но все же нашел время для писем. Пишет Ивану Трусову, давнему приятелю, издательскому работнику, а ныне фронтовому журналисту. Даже по этой небольшой эпистоле можно уловить душевное состояние писателя: «Дорогой Ваня! Дойдет к тебе этот голос из страшного „далека“, и ты все вспомнишь, и станет тебе (как и мне сейчас) страшно грустно. Зашел к Моте (жена Кудашева. — В. О.), пришла твоя жена, вспомнили, выпили по стопке сухого вина, — и вот письмо к тебе. Повелось так: бываю в Гослитиздате — спрашиваю о тебе, рад, что ты жив, краем уха слышал о всех твоих передрыгах. Очень хочу увидеться с тобой после войны. Если занесет ветер в твои края (думаю, что подует он южнее), — обязательно найду и воскликну, как смолоду: „Дорогой Ваня, Трусов-Зверев, жив?!“ А Васьки нет... (Кудашева. — В. О.). Я тебя крепко обнимаю и желаю здоровья. Напиши 2 слова мне, шлем через Мотю привет. Михаил Шолохов».

Письмо Луговому начал с забот о районе: «Как ты вылезешь с севом?

Помог ли Андрей Андреевич?..» (Речь об Андрееве. — В. О.) Потом посулил, что летом доставит семью в Вёшки. Тут же высказывает приметную для военного времени просьбу: «...и на нашу долю посадить картошки, чтобы осенью не заниматься заготовками. Как обстоят дела с ремонтом дома? Напиши...» Интересно, что земляки со своими жалобами разыскивают своего заступника даже сейчас: «Пересылаю тебе заявление Сенчуковой. Мне думается, что в отношении ее поступили неправильно и на работе ее надо восстановить». Вспоминает соратников по довоенным батальонам за справедливость — Логачева, Лимарева, Лудищева... И упрек: «У тебя с Лимаревым нелады. Что же это, совсем распалось „товарищество“?» Закончил письмо не только приветом жене секретаря райкома, но и «всем, кто знает и помнит».

...Матильда Кудашева, она же Мотя. Писал ей, уже понимая, что обращается не к жене, но к вдове друга. Окончательно убедился, что Кудашев сгинул где-то в пучинах войны как «пропавший без вести»: «Думы о Васькиной судьбе меня не покидают, недавно прочитал в мартовском номере „Британского союзника“ (журнал, который издается в Москве Британским посольством) вот эту заметку и решил послать тебе. А вдруг — ведь чем черт не шутит, когда Бог спит, — и наш Васька там, на Ближнем Востоке носит наплечную нашивку с буквами СССР и ждет не дождется возвращения домой? Это, конечно, предел мечтаний, но осуществить такое, черт знает, как было бы хорошо! Как ты там живешь? Как Наташка? Наши все здравствуют, одна Мария Петровна у нас словно весенний день — и с тучами, и с солнцем, — то покиснет немного, то снова на ногах, впрочем, она сама о себе напишет, а я шлю привет тебе, Наташке и бабушке и желаю, чтобы Васька поскорее вернулся, согласен на любой вариант: хоть с Ближнего Востока, хоть с Дальнего Запада, лишь бы притопал». Увы, друг с войны так и не вернулся.

В эти дни «Правда» печатает, что в Ростове отметили первую годовщину освобождения от фашистов.

Отказ от «Нового мира»

Апрель. Стране стало немного легче, и она начинает думать о культуре — не только о той, что напрямую связана с войной. Вспоминает о классиках, и даже совсем не по праздничным поводам. Это Политбюро принимает постановление «О сорокалети со дня смерти А. П. Чехова». Был создан Всесоюзный комитет. Шолохова призвали в его ряды. Кто-то не

забыл, что он считал Чехова одним из своих учителей. Когда собрался комитет, на миг отрешились от войны. Какая возможность общения, какие имена! Здесь сама Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, старики Серафимович и Сергеев-Ценский, Качалов и Турчанинова, Леонид Леонов и Алексей Толстой, композитор Глиер, старые знакомцы — трио Кукрыниксов, обнаружился даже старый обидчик Федор Гладков...

...В Совинформбюро Шолохову по секрету сообщили, что в Германии казаки, увы, переметнувшиеся к фашистам, из состава корпуса «Казачий стан», учудили. Сперва в своем журнале «На казачьем посту» напечатали отрывки из «Тихого Дона», потом в газете «Казачья Лава» поместили — на целую страницу — статью «Михаил Шолохов». В ней такой зачин: «Независимо от позиции, занимаемой им (Шолоховым. — В. О.), колоритная фигура талантливого донского казака представляет незаурядный интерес и требует своего освещения...» Был и отклик на публицистику: «Газетные статьи-однодневки М. Шолохова будут забыты, а „Тихий Дон“ — огромное полотно русской и казачьей жизни — останется жить подобно „Войне и миру“». Шолохов поморщился — такие отзывы не для писателя-патриота.

В этом месяце в Вёшки вернулась Мария Петровна со всеми своими чадами. Разместились в полуразбомбленном доме. Но кого просить взяться восстанавливать? Жили, пока лето, а как быть осенью и зимой? Шолохов получил разрешение перевезти семью в Москву. Выделили квартиру в Староконюшенном переулке.

Расходы, расходы... Полковничьего аттестата на большую семью и на ту родню, что осталась в Вёшках, ясное дело, не хватало. Власть тайком начала почему-то ущемлять его. Может, не осознанно, а по незнанию, но все равно обидно. В июне ЦК направил предписание правительству (Совнарком, Микояну) выпустить книги небольшой, но именитой группы писателей. Заботлив ЦК — сам решил определить, кому какой гонорар. Не сразу установил — шла унижительная дележка. Первый вариант: Соболеву за один из его романов, например, «200 тысяч рублей», но Шолохову за весь «Тихий Дон» — «150». Правда, спохватились. Во втором варианте выписали уравнительную ставку: «200». И все-таки в заключительном решении вернулись к скупому-унижительной оценке творчества того, кто признан советским классиком, — «150».

Вскоре маятник качнулся в другую сторону. Запланировали выдвижение писателя! Второй после Сталина идеолог страны А. Жданов получил записку Управления пропаганды — предложено обновить руководящие органы литературных журналов. Читает в Записке: «„Новый

мир“ — Шолохов М. А. (ответственный редактор), В. Катаев, Л. Леонов, К. Федин, В. Щербина».

Шолохов не стал ответственным редактором уже тогда лучшего журнала, хотя и все время критикуемого в ЦК. Но остался членом редколлегии. Его стали загружать журнальными заботами. От некоторых — пусть и суетно-неблагодарных — не отказывался.

Месяц минул — маятник отношения к Шолохову качнулся в противоположном направлении. ЦК проводит встречу с небольшой — десять человек — группой влиятельных писателей: Всеволод Вишневский, Александр Твардовский, Илья Эренбург... Шолохов в списках не значится.

О нем и в печати в тот год было мало упоминаний. Потому подписчикам бросилось в глаза, что опальный «Новый мир» вдруг рассказал о своем несостоявшемся редакторе — в форме статьи напечатал доклад на пленуме, и посему сюда перекочевали строки о романе «Они сражались за родину» и о военном рассказе.

Если этот журнал попал в руки Шолохова, он мог бы заприметить статью «Слово — оружие» очень известного прозаика и публициста, того самого, ссора с которым в осажденной Москве привела к допросу у Сталина в 1941-м. Сталин об этом писателе еще до войны отзывался с превеликой похвалой. Автор статьи не удержался и к нормативному упоминанию «гениального полководца» подбавил «душевности»: «Какое счастье, что на командном пункте державы стоит Сталин! Его зоркость помогает и нам, писателям...»

Шолохов этого писателя очень невзлюбил. Ему от вёшенца и после войны не раз доставалось в речах. Речь об И. Г. Эренбурге. Но отдаю ему должное: благородно поднялся выше личных обид. В своих воспоминаниях нашел место Шолохову: «Очень честный человек, не умевший лгать и не выносивший двойного счета...»

...Доброе событие. Генерал Ортенберг пригласил полковника Шолохова в редакционный конференц-зал, чтобы прилюдно вручить медаль «За оборону Москвы». Ее учредили только в мае 1944 года.

Как раз в это время Гитлер отдал приказ о создании фольксштурма (поголовная мобилизация). Призвал панически к оружию и старых, и молодых — от 16 до 60 лет: «Известному стремлению наших еврейско-интернациональных врагов к нашему тотальному уничтожению мы противопоставим тотальное использование всех германцев».

Декабрь. В Москву с первым визитом прибыл глава движения «Сражающаяся Франция» и Временного правительства генерал Шарль де Голль. Он вызывает искренние симпатии у всех антифашистов тем, что

поднял страну против оккупации и не особенно рассчитывал на западных союзников. Они ему тоже мало доверяли.

В Москве иное: заинтересованные переговоры и доверительные беседы. Сталин устроил будущему президенту Франции даже представительный прием. И Шолохов был приглашен. Здесь он, кстати, познакомился с несколькими храбрыми летчиками-асами из авиаполка «Нормандия — Неман».

...Наши войска в наступлении. В июне освобождены Петрозаводск и Выборг, в июле — Минск, Вильнюс и Львов, вступили в Польшу, в августе освобожден Каунас и пересечена граница Восточной Пруссии. В сентябре советский солдат был у стен Варшавы и перешел границы Болгарии и Югославии. В октябре проведены успешные операции в Риге, Белграде и Закарпатской Украине...

Шолохов просится в те войска, путь которых лежит в Пруссию.

***Дополнение.** Как немцы оценивали роман «Они сражались за родину»? В ФРГ почти 15 лет роман замалчивали. В 1959-м в одном солидном журнале вдруг печатается статья одной эмигрантки с немецким псевдонимом. Увы, не погнушалась клеветать. «Наполнен животной ненавистью не только к врагам, но и к советским солдатам...» — писала она об авторе. Будто в ответ в столице ГДР появится статья с выразительным заголовком: «Они сражались и за нас»: «Советские люди жертвовали в те годы кровью и жизнью за свою Родину и за нас».*

Долгие десятилетия в ФРГ не издавался и рассказ «Наука ненависти».

Глава пятая

1945: ПОБЕДНАЯ ТЕЛЕГРАММА

Казалось бы, конец войны совсем рядом, но победа не приходит без все новых жертв.

Шолохов в Вёшках — работает над продолжением военного романа далеко от Москвы, чтобы ничто не отвлекало.

Вёшки — Киев — Кенигсберг

3 января у младшей — Маши — день рождения. Радость!

Через неделю совсем другое в сердце. Осмотрелся, с райкомовцами пообщался и пришел в ужас. Плохи дела в районе. Поредели ряды райончиков. Лугового, к примеру, перевели с повышением в обком. Плохо то, что во многих колхозах нет хороших руководителей. Шолохов шлет письмо на Украину Плоткину (с верой, что годы образумили бывшего председателя колхоза, как помним, прототипа Давыдова, — уж очень крут был с людьми): «Людей работающих в Вёшках — мало, а дела — до чертовой матери! Не думаешь ли бросить свое директорство и переезжать на Лебяжий? Я лично был бы рад видеть тебя в наших краях, да и колхозники о тебе вспоминают частенько. Собирайся-ка к весне, да махай в родные края, что ты на это скажешь?..» Плоткин в ответ ссылается на свое киевское начальство — мол, не отпускает. Шолохов каким-то образом связался со Сталиным. Из Вёшек уходит телеграмма с пометкой «Молния»: «Товарищ Сталин разрешил тебе работать Вёшенском районе. Немедленно выезжай. Выезд телеграфь. Привет. Шолохов, Луговой». Но вышла осечка — отказался Плоткин снова становиться Давыдовым.

23 февраля 1945 года скончался Алексей Толстой. Шолохов не мог не выразить своих скорбных чувств. Через день в «Правде» появилась его статья «Могучий художник»: «...все в строгих и взыскательных руках Толстого обретало искрящиеся жизнью краски и поражало своей почти осязаемой, скульптурной выпуклостью, могучим мастерством истинного художника...» Выделил военную публицистику: «В тяжелые для Родины дни, когда гитлеровцы рвались к Москве, Толстой, верный сын разгневанной России, исполненный глубокой веры в свой народ, воскрешал перед советскими людьми историческую славу русского прошлого, заветы

наших великих предков... И становится по-человечески грустно, что он не дожид до дня окончательной нашей победы, которая так близка».

В день похорон Шолохов примчался в Москву, чтобы попрощаться с Толстым. Даже выступил с проникновенной речью.

В марте Шолохов получил указание от газеты быть на Третьем Белорусском фронте. Взглянул на карту — она подсказывала, где будут главные бои: Тильзит! Пиллау! Прейсиш-Эйлау! Кенигсберг! Названия, известные еще из истории войны с Наполеоном и той войны, которую он описывал в первой книге своего «Тихого Дона».

Наступление начиналось по ранней весенней распутице на десятый день пребывания военкора на этом фронте... Странные для русского солдата в марте дожди. Каково будет пехоте; непроглядные туманы и низкие тучи... Каково летчикам? Каково танкам преодолевать тягучие прусские при такой погоде зыби-хляби? Кто-то из офицеров признался Шолохову, что ему вспомнился «Тихий Дон» с описанием такой же погоды еще в ту, империалистическую, войну с германцем: «С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные... Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды едва не касались грязи...» (Кн. 2, ч. 4, гл. III).

Сорок дней и ночей длилось это сражение. И все-таки советский солдат сломил оборону врага — она теперь не больше 15–25 километров в глубину. Велики потери врага: 220 тысяч погибших и 60 тысяч плененных. Командующий фронтом маршал Василевский дал приказ атаковать ту группировку, которая с отчаянием обреченных оборонялась к юго-западу от Кенигсберга. Журналисту рассказали, что немецкое командование убеждено: город неприступен. Надежный укрепцентр: четыре дивизии, несколько отдельных полков и батальонов, три оборонительные позиции с заминированными подходами, фортами, могучими крепостными стенами, доты, дзоты, подземные ходы, четыре тысячи орудий, сотня с лишним танков, 170 самолетов... И прославленная немецкая дисциплина, подкрепляемая еще не до конца сломленным чувством, что надо спасать свой фатерлянд от «русских диких орд».

В штабе Шолохов увидел на огромном столе макет города. Командиры теперь наглядно представляли, где будут воевать. Автору романа о защитниках Сталинграда интересно было узнать, что во всех частях идут беседы «Чему учат сталинградские бои».

Шестого апреля, в полдень, штурм начался. На четвертый день комендант крепости отдал приказ о капитуляции. В Москве по приказу Сталина был дан салют в честь победителей.

Но почему же и на этот раз Шолохов не отписался — ни очерками, ни статьями?

...В апреле Юрий Лукин вернулся из журналистской командировки в Венгрию и рассказал Шолохову, что в Будапеште рабочие поставили инсценировку по «Тихому Дону». Избрали сцену ультиматума Подтелкова атаману Каледину и его самоубийства. Шолохов ответил: «Видать, стало созвучным — ведь и фашисты-хортисты (Миклош Хорти — фашистский диктатор Венгрии. — В. О.) дрались до конца».

Лукин привез напечатанную статью венгерского писателя Сабо Пала в жанре публицистического обращения — «Письмо от Тисы к Дону»: «Дорогой Михаил Шолохов! На трагических распутьях и ухабах прошлого я часто мечтал написать тебе. Но написать из хортистской Венгрии ни так, ни этак не удавалось. Теперь, получив свободу, я пишу тебе о том, что выстрадано моим народом. Куда бы я ни шел, куда бы я ни глядел, всюду были муки людские... Далеко на Запад ушли бойцы с Дона, ушли спасать Европу от фашизма. И за все это, Михаил Шолохов, с берегов Тисы, от имени моей земли и народа я благодарю Россию и тебя...».

Победа: три отклика

Май. Победа! Из Москвы, из «Правды», в Вёшки звонок: срочно диктуйте... Продиктовал.

По просьбе газет появилось три отклика Шолохова на окончание войны.

Первое обращение всего в 24 словах: «Гордость за родную Красную Армию, за наш великий народ, любовь, наша глубочайшая признательность великому Сталину — вот чувства, неразделимо владеющие нашими сердцами в День Победы». По-шолоховски немногословно. И сколь бы ни был ликующим порыв, но соблюдена четкая расстановка понятий: сначала армия и народ, только потом Сталин.

Неосторожен — да еще как! — в таком раскладе чувств и понятий. В столичных газетах славословия: «Слава великому вождю народов, гениальному полководцу победоносной Красной Армии, организатору исторической победы над гитлеровской Германией товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину!» Умельцы-рифмоделы тем более брали свое: «Слава Сталину! — запели сосны бора. Белые березы песни завели...»

Такие чувства владели, пожалуй, всеми. Не все только находили мужество потом в них признаваться. Виктор Некрасов — автор повести «В

окопах Сталинграда», которую ценил Сталин (в 1947-м получил Сталинскую премию, в 1974-м вытолкнут в эмиграцию), не скрывал и в старости искренности тех своих чувств: «Мы победили! Фашизм — самое страшное на свете — разгромлен. Муссолини повешен вверх ногами. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Через месяц черно-красные стяги со свастиками падут к ногам победителя — великий Сталин будет улыбаться с Мавзолея. Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно его объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина».

Новая публицистика — «Обращение к советской молодежи». Шолохов писал: «Советская молодежь вынесла на своих плечах значительную долю военных тягот. Она победоносно сражалась в рядах Красной Армии и обессмертила свое поколение множеством подвигов, свершенных во имя свободы, славы и чести Родины, чудесных по красоте и величию духа. Не менее героически она трудилась в тылу, помогая фронту добывать победу. Вам, юношам и девушкам нашей страны, доблестно сражавшимся за Родину, труженикам тыла, работавшим не покладая рук для достижения окончательной победы над врагом, Родина уже воздала высшую похвалу, но и много лет спустя ваши потомки, оглядываясь на прошлое, с гордостью скажут о вас: они были достойными питомцами партии Ленина. Мы обязаны им всем».

В «Правде» 13 мая вышла еще одна статья — «Победа, какой не знала история»:

«Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941–1945 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия.

В Восточной Пруссии после взятия нашими войсками города Эйткунена на стене вокзала рядом с немецкой надписью „До Берлина 741,7 километра“ появилась надпись на русском языке. Размашистым почерком один из бойцов написал: „Все равно дойдем. Черноусов“.

Какая великолепная уверенность в этих простых словах русских

солдат! И они дошли, да еще как дошли, навсегда похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредовые мечтания о мировом господстве.

Пройдут века, но человечество всегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии».

...За плечами Шолохова статьи, очерки, рассказы и главы из романа «Они сражались за родину».

Эти главы подталкивают его не просто продолжить роман — он задумал трилогию.

Может быть, изберет для нее, как некий стержень, настроения своих земляков, что описал в 1941-м в очерке «На Дону»: «Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к Родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов».

Наверное, не минет в работе над романом и тех чувств, что выплеснулись у него в письме 1943-го для американцев: «Я потерял свою семидесятилетнюю мать... Мой дом, библиотека разрушены... Я потерял уже многих друзей — и по профессии, и моих земляков — на фронте. Долгое время я был в разлуке с семьей. Мой сын тяжело заболел за это время, и я не имел возможности помочь семье. Но ведь в конце концов это личные беды... Личное наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа, о которых ни один писатель, ни один художник не сумели еще рассказать миру».

Лучшими книгами о войне считал воспоминания маршала Жукова и дневники немецкого генерала Типпельскирха.

Может, отобразит в своей трилогии то, что спустя пять лет, в период холодной войны, выразит вдохновенно о русском солдате в очерке «Не уйти палачам от суда народов!»:

«Символический русский Иван — это вот что: человек, одетый в серую шинель, который, не задумываясь, отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахара осиротевшему в грозные дни войны ребенку, человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины.

Хорошее имя Иван!»

Чеканные строки стихотворения в прозе.

Чувства военных лет остались навсегда. Уже в пожилом возрасте Шолохов в одном из обращений к Армии написал: «И если отчизна будет в

опасности, мы снова наденем шинели...»

Кое-кто уже после кончины писателя стал утверждать, что, мол, его патриотизм зиждется на чрезмерной героизации Армии. Он по-иному рассуждал: «Допустим, я пишу о нашем солдате, о человеке, бесконечно родном мне и близком. Как же я напишу о нем худо? Он мой, весь мой, от пилотки до портянок, и стараюсь не замечать, допустим, рябинок на его лице или некоторых изъянов в его характере. А если и замечу, то уж постараюсь написать так, чтобы читатель тоже полюбил его вместе и с этими милыми рябинками...»

***Дополнение.** Память о войне не отпускала его до смерти. Я тому свидетель — несколько раз был у него в больнице. Почти в каждом разговоре — а уж как был болен! — он хоть что-то, но вспоминал о войне. Выделю: не о себе в войне, а о тяготах войны и о тех, кто воевал.*

Незадолго до кончины он попросил дочь Светлану напомнить слова из песни военных лет «В лесу прифронтовом». И когда услышал: «И что положено кому, пусть каждый совершит!» — проговорил: «Да, правильно, вот так...»

Букет от маршала Рокоссовского

Хорошо начинать жить в мирном мае — пошла череда беззаботных празднеств: 18 мая сыну Саше — 15 лет, 23 мая младшему Мише — 10 годков. И у главы семьи 24 мая день рождения. Всего 40 лет исполнилось ему в тот победный месяц.

Мария Петровна любовалась мужем. Совсем молодым смотрелся он в офицерской форме. С улыбкой припомнились ей строки из «Тихого Дона», когда Григорий явился в мундире и наградах на груди: «Какой ты пышный!..»

«Правда» на следующий день поместила небольшую заметку «На родине Михаила Шолохова». Она отразила — пусть всего-то в 20 строках — всенародную любовь к юбиляру: «Во всех колхозах и МТС, школах Вёшенского района прошли собрания... Вчера вечером в районном доме культуры состоялось многолюдное собрание... На имя тов. Шолохова поступило много приветственных телеграмм со всех концов страны...» Кто же из Москвы поздравил? Газетчик не назвал.

Пришла телеграмма из Воронежа от одного приятеля военных лет. Тонкая душа, не забыл, каково иногда приходилось Шолохову в войну:

«Помню, Михайло, когда сообщили феврале 1942 года, что убит фронте писатель Кацман, ты очень рыдал...

Помню, ты говорил: Левко, никогда не поверю, что Артем Веселый враг народа...

Помню, прилетела из блокадного Ленинграда Ольга Берггольц и читала свой „Февральский дневник“, ты ребенком рыдал...

Помню, как Петр Андреевич Павленко, узнав, что ты не хочешь идти в бомбоубежище, приказал отнести <тебя>...»

Позади война. К концу июня пришлось вспоминать про свое уже основательно забытое в войну депутатство. Шолохов приглашен на сессию Верховного Совета. Он голосует за тот закон, которого так ждут по всей стране, — о демобилизации, пусть пока еще только для воинов старших возрастов.

По совпадению редактор «Красной звезды» тоже «демобилизовал» Шолохова. Уговорил его писатель подписать приказ об окончании службы в этой славной газете.

Все в те дни праздновали окончание войны. Шолохов с Марией Петровной приглашены на прием в честь Победы. В зале руководители партии и правительства, маршалы, выдающиеся военные конструкторы, члены ЦК, министры, дипломаты, депутаты, знаменитые артисты... Пошли тосты. Они так часты и так гулко торжественны, что казались салютными залпами. За маршалов и генералов! За ученых! За военных конструкторов! Молотов в конце произнес тост за Сталина. Вождь — в ответ: «За людей, которых считают „винтиками“ великого государственного механизма!...»

Странно, что не прозвучала здравица в честь тех, кто тоже ковал победу — художественным творчеством, кто был увенчан всенародным признанием за участие их произведений в войне. Не только Шолохов, но и Твардовский со своим всенародно любимым «Теркиным», только что скончавшийся Алексей Толстой, Шостакович, художник Корин, дирижер и композитор Александров, режиссеры Эйзенштейн и Пырьев, многие авторы замечательных песен...

Едва ли хоть как-то сумели пообщаться на многолюдной встрече Шолохов и Сталин. И с Жуковым не удалось познакомиться.

В дни, когда Сталин стал генералиссимусом, «Правда» помещала поздравления. От писателей тоже — Тихонов, Сурков, Рыльский, Инбер... Шолохова не было.

В июне 1945-го Оргбюро ЦК утверждает тематический план главного в стране литературного издательства — Гослитиздата. Сколько обещано прекрасных изданий! Есенин, Ал. Толстой, Леонов, Пастернак, Ахматова!...

Среди них и «Тихий Дон».

Казалось, великая победа рождает свободу! Спустя два месяца Маленков получает обзор готовящейся к выпуску литературы — с критикой намерений издать Берггольц, Асеева, Довженко, Чуковского... Правда, авторы обзора все-таки рискнули пожаловаться на «притеснения со стороны цензоров и редакторов».

Шолохова торопят с военным романом. Он отбивается, сердится: «Еще много неустоявшегося материала. Все требуют, ждут... Что правильнее: написать хуже того, что было исторически, или не торопиться?» Однажды приоткрыл секрет — творческий: «Роман я начал с середины. Потом буду приживлять к туловищу голову и ноги. Это трудно».

Октябрь. Почему-то только сейчас Шолохова награждают орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».

18 декабря Шолохов был демобилизован из армии. В его военном билете появилась запись — полковник в запасе.

Конец декабря. В Ленинграде вышел «Тихий Дон». Увы, с купюрами. Шолохов возмущен. Надо же: в третьей книге цензоры урезали правду Гражданской войны. Видимо, чтобы доказать, как блюдут честь Красной Армии, выбросили целый монолог: «Богатырев улыбнулся, закрутил головой: „К этому году у нас бабы столько мужиков народют — не сочтешь! Красные зараз голодные на баб. Надясь мы отступали с Белавина, жители тоже с нами ушли, а одна молодая бабенка осталась. Утром, глядим, а она ползет на ракушках. Произвели ее товарищи до того, что на ногах иттить не могла...“»

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ

Прощание со Сталиным. «Тихий Дон» — 20 лет спустя. Кто автор новой главы? Сигналы из Стокгольма. Сцены семейной жизни. Матросский сундучок. Записки бедного студента. Переполюх на партсъезде. ЦК и школьные учебники

Глава первая

1946–1948: НЕИСПОЛНЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Возвращение в Вёшки... Мария Петровна запомнила одну из главных примет тогдашнего житья-бытья: «После войны в станице жилось тяжело, кто только к нам не приходил за помощью! Чаше всего вдовы. Они от зари до зари в поле, а дети разутые, раздетые. Засуха стояла, не приведи господь. Я всегда вещи покупала про запас. И все отдавала, а если могла, то и деньгами помогала...»

Подхалимские придумки критика

Война не уходила из памяти. Первое время у Михаила Александровича нервы были так взвинчены, что часто не спал ночами или во сне вспоминал выстраданное, а однажды вскрикнул: «Вот откуда стреляют, надо снять!..» Как-то увидел фронтовой снимок — на задымленном поле сгорбленная фигурка солдата, что звал в атаку, и тихо сказал: «Вот это настоящая война, так было».

Восемь месяцев мирной жизни. Страна переодевается в рабочие спецовки...

Шолохов понимает, что в глазах своих читателей — а их миллионы — выглядит закоренелым должником: не окончены целых два романа, — «Поднятая целина» и «Они сражались за родину»; неловко даже перед семьей.

Читатели не забывают и власть не забывает. Сталин после войны прежнего отношения к нему не изменил. И ценит талант, и насторожен независимостью. Вдруг поручил Жданову предложить Шолохову пост генерального секретаря Союза советских писателей. Тот его вызвал:

— Михаил Александрович, у нас к вам серьезная просьба. Фадеев пишет роман о Краснодоне. Судя по всему, работает с большим настроением. Так не смогли бы вы, хотя бы ненадолго, возглавить писательский Союз?

— Андрей Александрович, за предложение спасибо. Но дело вот в чем. Через три часа отходит поезд на Ростов, и я уже взял билет...

Вот тебе, мол, хомут да дуга, а я тебе не слуга. И даже не задумался, каково будет Жданову докладывать вождю об отказе.

Отказался от высокого поста, но не отказывается от участия в жизни своих избирателей. Оправдывается в письме Ефиму Пермитину: «Был в Москве и не увиделся с тобой потому, что депутатских дел, хождений по министерским приемным и пр. хватило как раз по завязку...» Однако же в общении с больным земляком легко спускается со столичных высот к хуторскому курению: «По моей просьбе Вёшенский РИК возбудит ходатайство... Путевку достанем. Необходимо Вам поговорить с врачами и выяснить, — куда и в какой санаторий...» Или просит власти позаботиться об одной сельской библиотеке: «Если у Вас есть возможность, убедительно прошу оказать помощь в приобретении книг...» Но никак не хочет писать предисловие к роману одного своего доброго знакомого: «Ради бога уволь. Не мой это „жанр“...»

Февраль. Политбюро ЦК занялось восстановлением Комитета по Сталинским премиям. С одобрения Сталина Фадеев становится председателем. Шолохов включен в список его членов. Спустя время цековцы удивились, как странно он отнесся к доверию вождя. В 1952-м секретарям ЦК передали «Справку Отдела художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б) о работе Комитета по Сталинским премиям в области искусств и литературы». В разделе «Пассивность некоторых членов Комитета» в числе грешников назван Шолохов. Его даже предложили исключить из комитета, да одумались.

Потом объявился Сергей Ермолинский — предложил идею киносценария «Тихого Дона». Все было бы хорошо, если бы давний собрат по искусству не был осужден как «враг народа». Он находился в политссылке: паспорта не было, разрешались только краткие наезды по вызову киностудии. Ответный порыв — помогать изгоя. Приглашает в Вёшки, обещает встречу по приезду в Москву, читает-перечитывает варианты сценария, обогащает творческими советами и, наконец, рекомендует его начальству «Мосфильма» («Вполне доверяю кинематографическому опыту т. Ермолинского...»).

Этого показалось мало. Узнав, что приятелю удалось перебраться в Тбилиси, шлет ему душевное, с лукавинкой, письмо: «Дорогой старик. Я прослезился, узнав из письма, как много ты совмещаешь в одном лице профессий... А вдруг без тебя не сумеют прожить в Тбилисском киномире? Что тогда? Прощай рыжики и маслята (не говоря уже о белых грибах), прощай бережки и языки в реке, и шторы на окнах, и левитановский пейзаж, и позолоченные корешки книг... Привет от Марии Петровны и меня. Обнимаю и надеюсь на встречу. Все желаемое сбывается, так ведь?»

Шолохов решил помочь ему реабилитироваться, что восстановило бы

того в гражданских правах. Обратился к московскому городскому начальству. Но здесь не удостоили ответом. Он тогда — к секретарю Президиума Верховного Совета СССР: «Пересылаю Вам заявление т. Ермолинского на имя тов. Шверника о снятии судимости». Был бы перестраховщиком — так этим бы и ограничился. Но нет, отдает в залог весь свой авторитет: «Со своей стороны заявляю, что знаю Ермолинского как честного советского человека».

Увы, в тот сценарий, который разработал Шолохов, помимо его воли вписывается непредусмотренный персонаж — заместитель министра кинематографии со своим заключением: «Сценарий С. Ермолинского „Тихий Дон“ не сможет быть запущен в производство».

Власть и литература... 13 апреля 1946 года Сталин на Политбюро дает установку на новый курс в литературе и искусстве. Жданов по законам аппаратной жизни созывает работников ЦК. И от имени вождя пошли суровая критика и жесткие указания: «Хороших и крупных произведений у нас, к сожалению, мало... критику мы должны организовать отсюда — из Управления пропаганды... товарищ Сталин назвал как самый худший из толстых журналов „Новый мир“...»

Все это скажется на Шолохове. Не пожалеют переиздаваемый «Тихий Дон», хотя «хороших и крупных произведений мало». И организуют критику. И не станет почетным его пребывание в редколлегии «Нового мира»...

Он не мог не знать о критике журнала. Впору бежать из редколлегии или осуждать. Однако не опустил до этого состояния. Возможно, что с особым пристрастием перелистал апрельский номер журнала — что же вызвало державный гнев? Промашка за промашкой! О вожде только одно сочинение — небольшое стихотворенье. Статья с безоговорочной похвалой нового романа опального Фадеева — вскоре Сталин обрушит на «Молодую гвардию» критику за недооценку партии. Восхваляется Есенин; любовь к нему возродилась в войну — вскоре его поэзия начисто исчезнет с печатных страниц: не учит активно строить социализм. Доброе слово сказано о казахском писателе и ученом Мухтаре Ауэзове — вскоре будет обвинен в национализме. Упомянут поэт Ярослав Смеляков — подписан приговор на тюрьму и ссылку. В числе сомнительных для партии авторов Вс. Иванов, С. Липкин, З. Паперный, Ю. Нагибин. С ними у Шолохова ничего общего — ни любви, ни дружбы, но сосуществуют, пока объединяет общее дело.

Политика и литература... Издаются и переиздаются главы шолоховского военного романа. Но их автор все никак не запечатлевает

«гениального полководца». Тогда почти всяк пишущий запечатлевал. Критики растеряны. Было от чего растеряться. Как же рецензировать роман о войне, пропагандировать его и не находить в нем Сталина?

Может, повторяя идеологические маневры с «Поднятой целиной», может, обеспечивая себе возможность печататься, один критик в том году закончил свои пространные рассуждения о романе литприписками. Разглядел в «Они сражались за родину», что созданы замечательные образы воинов, а дальше пошел прибавлять от себя: «Воин Красной Армии — это внук Суворова, но вместе с тем — сын Ленина, современник Сталина, чьему полководческому таланту мы обязаны победой». Читалось будто цитата из романа. Так и придумают, что на вербе груша. Вот же какой верноподданнический реверанс от «Нового мира».

Кремль не оставляет Шолохова без внимания. Однажды такое произошло, что истинно смех и грех. Шолоховы вернулись с охоты и услышали от «няни», как издавна называли Дарью Александровну Бекетову, — уйму лет прожила в этом доме, — что из Москвы звонили!

Потом тот, кто звонил — помощник Сталина Поскребышев — перерассказал, как «погутарил» со старушкой:

— Алло, — сказал ей, — мне Михаила Александровича...

— А яво нету.

— А с кем я разговариваю?

— А ето его сиклитарь.

— Где же Михаил Александрович?

— Они на охоти. А чаво яму пиридать-то?

— Скажите, нет, лучше запишите, что звонил Поскребышев, помощник Сталина.

— Милок, да как же я запишу, ведь я неграмотная.

...В доме Шолоховых вдруг и радость, и слезы — от обретения и расставания одновременно. Старшая дочь Светлана знакомит родителей со старшиной-моряком — быть свадьбе. Но вместо свадебного путешествия — дальняя дорога на Дальний Восток, на Камчатку. Она там будет работать в областной газете, он — в этом беспокойном районе — служить советскому флоту; дослужится до адмирала.

В апреле следующего, 1947 года Михаилу Александровичу и Марии Петровне Шолоховым присвоят, пожалуй, самое почтенное звание — бабушка и дедушка!

«Очень полезно и своевременно обратиться к опыту Шолохова — писателя, родившегося в том крае старой России, где реакционная традиция укоренилась особенно прочно...» — такой многозначительно-провокационный пассаж появился в одной статье 1946 года.

Что же на деле «укоренялось» в его жизни и душе сразу после того, как отгремели победные фейерверки? Независимость творца и человека и ответное отношение власти с недоверием!

...Светлана Михайловна рассказывала мне:

— Однажды к отцу пришел священник вёшенской церкви с необычной просьбой — «заступиться» за одного из инструкторов райкома. Дело оказалось в том, что, возвращаясь из поездки по колхозам, инструктор увидел бредущего по раскаленной солнцем дороге старика и пригласил в машину. Довез до станицы, а на другой день вызвал его секретарь райкома и учинил разнос: как посмел катать на райкомовской машине попа?! Ну, совестливый батюшка счел долгом походатайствовать за коммуниста.

В середине 1946 года «Литературная газета» поместила небольшую заметочку ТАСС из Швеции: «10 декабря состоится очередное присуждение Нобелевской премии. Среди либеральных кругов шведской интеллигенции, в том числе среди писателей, не раз поднимался вопрос о том, что Нобелевская премия никогда не присуждалась представителям советской науки и литературы. В области литературы за последние годы неоднократно выдвигалась кандидатура М. Шолохова, писателя, которого хорошо знают и любят в Швеции. Выражая мнение радикальных кругов Швеции, известный шведский поэт и публицист Эрих Бломберг в этом году вновь выдвигает кандидатуру М. Шолохова и выступает в „Ню Даг“ с серией статей, посвященных творчеству Шолохова. М. Шолохов, „как никто другой, достоин Нобелевской премии, которая должна присуждаться как за художественные качества, так и за идейность“, — пишет Э. Бломберг».

Сколько, однако, забот приносит эта заметочка. На Западе Шолохова хотят видеть нобелевским лауреатом — как же это понимать?! Подозрительно. В стране и мире 1946 год — первые залпы холодной войны. Курок нажал своим выступлением на американской земле в присутствии американского президента отставной премьер Великобритании Уинстон Черчилль. В речи бывшего союзника по борьбе с фашистским врагом назван новый враг — наша страна. У нас в ответ — залп за залпом из всего своего идеологического оружия в защиту национальной гордости и против «низкопоклонничества» перед Западом. Появилась бранная кличка «космополит». Заметочка могла стать

детонатором для всяких нехороших мнений и выводов.

Август. Публикуется постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Объявлена война «реакционному мракобесию» и отступлениям от соцреализма: «...всякая проповедь безыдейности, аполитичности, „искусства для искусства“ чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах». Анна Ахматова и Михаил Зощенко — авторы этих журналов — стали главными мишенями.

Сентябрь. Сколько же «откликантов» поспешило к трибунам повсеместных собраний, в редакции газет и журналов, в «Литературную газету» прежде всего засвидетельствовать поддержку решения ЦК. И обличают, обличают: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к Родине... Безыдейность, аполитичность...» Парткомы писательских организаций следили, чтобы никто не отказывался критиковать. Ахматова и Зощенко были исключены из Союза писателей.

Шолохов в этом ажиотаже не участвовал. И не ринулся против Ахматовой с разносными заклинаниями, хотя имел «давний грех» — выдвигал ее книгу на соискание Сталинской премии и спасал ее сына.

...Судьбе было угодно воссоединить имена Шолохова и Шостаковича. Тому причина — подготовка к 30-летию юбилею советской власти. Надо исполнять указание Сталина создавать современные оперы на советском материале. К Дмитрию Шостаковичу отправился один из видных тогда партидеологов Дмитрий Шепилов. Просил взяться за «Тихий Дон». Но композитор отказался: «Я начал работать, а сейчас оказался перед тупиком... Ведь Гришка не принял советскую власть. Не принял!» Посланец Сталина вспоминал потом: «Я живо представил, как в юбилей советской власти Шостакович выступает с новой оперой, которая должна сместить оперу Дзержинского, и в этой новой опере главное действующее лицо — враг советской власти...»

...Шолохов — странно — никогда ничего не вспоминал о своей деятельности в качестве действительного члена Академии наук СССР. Будто и не был академиком. Он действительно не любил посещать собрания академии.

Но вот 7 сентября вышло постановление Политбюро ЦК «О состоянии дела с академическим изданием сочинений Л. Н. Толстого». Первый пункт утвердил, как сформулировано, — «Государственную редакционную комиссию по наблюдению за изданием полного собрания сочинений Л. Н. Толстого». Для наблюдения! В этот надзирательный орган включены всего

пять деятелей: представитель ЦК, представитель правительства, историк-академик и два писателя — Шолохов и Фадеев; он снова стал генеральным секретарем Союза писателей. Ни одного толстоведа! Толстоведы включены просто в редколлегию.

Шолохов читает в постановлении тот суровый счет, что предъявлен вышедшим томам: «Серьезные ошибки... Как в вышедших, так и в подготовленных к печати томах отсутствуют вступительные статьи, освещающие мировоззрение Толстого с ленинской точки зрения...» Опять политика, но ничего о науке толстоведения как таковой!

Еще критика: «Включены все его реакционные религиозно-философские произведения, их различные варианты, а также составленные Толстым конспекты религиозных книг...»

И еще критика: «Не соответствует задачам воспитания советской молодежи и наносит ущерб идеологической работе партии...» В концовке приговор тем, кто прежде готовил издание: «Неспособны проводить ленинские взгляды...»

Какую же позицию займет Шолохов под таким напором партдогматизма?

И снова сошлись стежки-дорожки Шолохова и Фадеева. Фадеев стал председателем комиссии. И начал с такого обращения в издательство: «Следовало бы заменить встречающиеся в рукописях Л. Н. Толстого нецензурные слова — многоточием...» Второе его письмо издателям — нескрываясь перестраховочное: «Мы не сделаем ничего... без того, чтобы знать мнение руководящих инстанций... Мы пойдем на это только при условии, если эти инстанции поддержат нашу точку зрения, согласятся с ней». Стал перечислять — и это-де «неприемлемо» для публикации, и это, покусился даже на толстовские дневники, будто бы по поручению «широких масс»: «Можно сказать, читатель протестует против этого». Особо выделил, что не все члены комиссии готовы исполнять требования Политбюро: мол, «не разобрались» в сути тех сочинений, которые «открыто реакционны» и есть «пропаганда религии».

Кто же из пятерки наблюдателей, удостоенных доверия Политбюро, не блюдет идейное единство? Шолохов! Он отправил директору издательства краткую, но четкую и емкую телеграмму: «Мой дорогой друг заседании быть не могу тчк Я за полноценное издание Толстого тчк Передай мой низкий поклон Родионову зпт его супруге тчк Обнимаю Твой Шолохов». (Родионов, по всей вероятности, главный редактор издательства.) Он против выхолощенного издания и союзник тех, за кем надо надзирать!

Не успел академик Шолохов побыть и нескольких дней в членах

Госкомиссии, как его призывают в ряды рассказчиков. Письмо пришло от писателя Пермитина: «Собирается альманах (охотничьих рассказов) под редакцией моего друга, охотника и хорошего человека... Он меня очень просит просить у тебя рассказ... Писатели в сборник намечены серьезные... Не откажи, Михаил Александрович!..» И для заманки такая приписка: «О поездке на весеннюю охоту... Я напишу в дер. Басово, где я охотился на гусей... Живы ли мои гусиные профиля (совершенно необходимые для весенней охоты?)... При встрече у меня за сибирскими пельменями (во что и я верю) подробно информирую тебя об условиях охоты...»

Растревожено сердце вёшенца. Ведь когда-то — до войны — написал несколько таких рассказов.

Дополнение. «Правда» 24 октября предоставила трибуну главному ортодоксу парткритики Ермилову. Он принялся «защищать» Шолохова от просто ортодокса Лежнева в статье «О ложном понимании традиций». Это отклик на доклад Жданова. Нашлось место и для оценок творчества Шолохова: «Лежнев сводит отражение борьбы нового со старым в душе казака-середняка к борьбе двух старинных традиций: „исконный незамутненный источник казачьей нравственности“ — с одной стороны, и сословная традиция — с другой. В этом обеднение и искажение...»

Вёшенец читает эту гневливую статью, и впору воскричать на весь читающий мир: уж лучше бы никто не защищал роман! Не мешали бы — он готовит впервые два подряд переиздания «Тихого Дона». В последнем видна авторская работа по восстановлению некоторых исправлений, которые были навязаны еще до войны.

«От т. Шолохова»...

1947 год. Что-то не балует писатель столицу — редко наезжает. Но он, затворник-станичник, не забыт. В редакции «Нового мира» негодуют — заседания редколлегий не жалует. В Академии наук устали удивляться — никакими приглашениями не заманишь. В Союзе писателей обижаются — не наведывается. Даже Сталин таким шолоховским свойством озаботился.

...Май, Кремль: в главный державный кабинет приглашены три писателя, из начальствующих, и несколько партийных идеологов. Вождю захотелось узнать о настроениях в Союзе писателей. Вдруг возникла тема о творческих командировках. То давняя традиция Союза писателей —

организовывать на свои средства поездки писателей по стране, изучать жизнь. Фадеев признался: творческими командировками пользуются лишь «писатели-середняки».

— А почему не едут крупные писатели? — спросил Сталин. Выслушал ответ и заметил: — А вот Толстой не ездил в командировки.

— Как Шолохов, ездит в командировки? — задал новый вопрос.

— Он все время в командировке, — сказал Фадеев.

— И не хочет оттуда уезжать? — спросил Сталин.

— Нет, — сказал Фадеев, — не хочет переезжать в город.

— Боится города, — сказал Сталин.

Константин Симонов — а это его воспоминания — добавил: «Наступило молчание». И в самом деле загадочно выразился вождь.

Через годы, в 1956-м, Шолохов высказался о «творческих командировках» на партсъезде. Сказал едко: «В писательский обиход вошли довольно странные, на мой взгляд, выражения: например, „творческая командировка“. О какой творческой командировке может идти речь, когда писатель всю жизнь должен находиться в атмосфере творчества».

Сталин вскоре после помянутой встречи получил письмо от Шолохова. Как раз о поездках — писатель просится в Швецию. В письме будто отчет о жизни за целую пятилетку, и в самом деле давно не общались: «За переиздание моих книг в Англии, Америке и Швеции зарубежными издательствами мне переведены во Внешторгбанк некоторые суммы инвалюты.

Чтобы использовать эти деньги, я обратился зимой этого года к т. Жданову за разрешением поехать в Америку или в Англию. Тогда т. Жданов не посоветовал ехать в эти страны, и последующие события подтвердили правильность его совета.

Последний раз, с Вашего разрешения, я был за границей в 1935 г. (если не считать пребывания в Восточной Пруссии на фронте в марте 1945-го). Мои товарищи-писатели — Фадеев, Симонов, Эренбург, Горбатов, Сурков, Кожевников и другие — после войны побывали во многих странах. В прошлые годы мне было не до поездок, так как я много и трудно работал над романом „Они сражались за родину“. Сейчас, накануне завершения работы над книгой, мне хотелось бы, если это можно, поехать с женой в Швецию, на непродолжительный срок, используя для поездки причитающиеся мне за переводы деньги. Прошу Вас разрешить мне эту поездку.

Я не видел Вас пять лет, но не посмел просить Вас принять меня по

такому мелкому вопросу, а потому и обращаюсь с этим письмом.

Сейчас я нахожусь в Москве и ожидаю Вашего решения. Прошу уведомить меня о нем через т. Поскребышева, которому известен мой адрес.

Всегда Ваш. М. Шолохов».

Дата: «29.07.1947 года». Пометы на письме — вверху, синим карандашом, размашисто: «От т. Шолохова», в правом нижнем уголке скромненьким почерком: «Архив. 8.X.47».

Любопытно его стремление в Скандинавию: ездил в 1935-м, собирается сейчас, и после смерти Сталина неоднократно будет лежать туда дорога, в том числе за Нобелевской премией.

Месяц прошел, еще один — Сталин не отвечал.

Хорошо, что в семейном окружении жизнь идет своей несуетной и умиротворенной чередой. Сдюжили даже то, что издательство задерживает выплату гонорара. В одном из писем Шолохов с лукавинкой сообщает о своей станичной жизни: «Мы живем тихо, как пожилые дачники: никого не беспокоим, на балалайках не играем, патефон не заводим, не танцуем...»

Сколько добра идет от Марии Петровны. Уже давно не Маруся-Марусенок, но по-прежнему беззаветно верна писательскому и депутатскому образу жизни мужа и стойко держит дом-семью.

В эту весну многое из своей обычной жизни он отобразил в письмах. Вот о жене с юмором: «Ходячая гордячка и ужасная зазнайка! Ходит и шип свой дерет кверху на 2 ярда, по крайней мере. Видите ли, она поймала 2 сазана, а я — нет...» Вот о том, что они оба не забросили охоту: «На охоте — я голова! Я хожу королем, а мать сзади с сумкой. Я убиваю куропатку и, не оглядываясь на своего Санчо Панса в юбке, властно говорю: „Подбери“. На днях убил 20 куропаток и зайца».

Далекой Светлане новоявленный дед отписал: «Только что принесли телеграмму, в которой сообщается, что сына решили назвать Михаилом. Я польщен и голосую ЗА! Михаилы по большей части народ стоящий. Мать, видимо, будет писать вам подробней... Молодому родителю терпения (мелкие детишки ужасно орут и, как правило, не дают спать по ночам)». Вот и о том, что внук все прочнее входит в жизнь: «Мы рады, что маленький боцман (отец-то моряк. — В. О.) изничтожает кашу... Но если у него аппетит будет возрастать, то вам придется покупать маленький круподерный заводик, чтобы манка была своя». Но и увещевает дочь заняться кандидатской диссертацией.

В одном из писем неожиданно обнаружил свои скрытые пристрастия: «Купил в Столешниковом в комиссионном старинный голландский замок

амстердамского мастера Ван-Голласа. Замок этот морской, с матросского сундучка, старой меди, но главное не в этом, а в том, что отмыкается без ключа. Замыкается простым нажатием, а отмыкается после того, как три раза сильно дунешь в замочную скважину. После первого раза в замке что-то тихо щелкает, после второго — мелодичный звон...»

По магазинам хождений не любил, но иногда, как видим, нечто купецкое пробуждалось. Как-то, когда гостевал с Марией Петровной в Москве, пришел на квартиру, где жили, и заявил: «Сейчас привезут книжный шкаф, сам выбирал...» (Шкаф живет долгой жизнью — сын писателя его «устроил» в музей.)

С лета — иные заботы. Получил письмо от по-прежнему опального Андрея Платонова. Тяжко ему жить — нужда одолела: никто не печатает его произведений. Но загорелся одним великим для духовности своего народа замыслом, да понимает, что в одиночку не справится. И тем более при своей «политической неблагонадежности». Пишет в Вёшки: «Это организация дела издания русского эпоса. Оно имеет общенациональное значение...»

Закончил письмо так: «Без тебя мы этого дела не вытянем, с тобой оно пошло бы легче».

В благодатную борозду попало живое зернышко платоновской идеи. Шолохов как раз с этого времени взялся «пробивать» издание запрещенного при советской власти сборника «Пословицы русского народа», того, что собран истинным подвижником Владимиром Ивановичем Далем, приятелем Пушкина.

Понимал, как нужна эта книга великой стране. В ней и многовековая народная мудрость, и верования, и приметы своеобразного быта, и отзвуки истории...

Шолохов знал, на какое сражение шел. Не просто так эта книга находится под давним запретом от ЦК. Славит православие, есть раздел о царях, много о русском характере и всё «без классовых оценок», к тому же иной раз о других народах пословицы с перчиком, а это «великодержавный шовинизм»...

До вёшенца донеслось, что группа ученых зароптала: пора снять запрет на книгу. Почитаемое им издательство «Художественная литература» тоже полно отважного желания переиздать этот том Даля. Надо убеждать ЦК. Ученые и издатели придумали хитрый ход — пусть предисловие напишет депутат и академик Шолохов. Власть вынуждена будет считаться с таким обстоятельством.

Осуществится ли замысел? Это окажется долгим делом. Сборник

будет издан только в 1957-м. Пока же Шолохов дал согласие писать вступительную статью. Назвал ее «Сокровищница народной мудрости». Страсть и вдохновение чувствуются с первых строк: «Величайшее богатство народа — его язык!.. Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч. Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость...» Назидал: «Никогда не померкнет наша патриотическая гордость, закованная в булат таких пословиц: „Наступил на землю русскую, да оступился“, „С родной земли — умри, не сходи“, „За правое дело стой смело“».

Еще заботы. С июня направил девять писем секретарю райкома партии, соседнего с Вёшенским. Просит оказать помощь своим хуторским и станичным избирателям. К примеру: «Колхозник Косогоров П. И. страдает язвой двенадцатиперстной кишки... Пусть райздрав пошлет его к квалифицированному хирургу...» В новом письме: «Колхозница Яцыненко А. К. осуждена нарсудом за нехватку трудодней на 6 м-цев принудработ... Ходатайствую о пересмотре...» Или: «...Его неправильно исключили из колхоза. Да и политически это выглядит неважно: нельзя обрекать на голод человека, трижды раненного в Отеч. Войне».

Друзьям-партийцам в то лето запомнилось, как писатель встревожился, что Дон теряет рыбу. Причина тому взрывные работы для углубления русла. Они поддержали его порыв обратиться в Правительство РСФСР.

Пришла мысль о публицистике. Готовит статью «Слово о Родине» для новогоднего номера «Правды». Потому избрал проникновенную манеру. Этим отверг набивший оскомину партагитпропов стиль с обилием цитат из классиков марксизма для скучных наставлений. Давно уже так никто не говорил со своим народом, который не только торжествующий победитель, но и много натерпевшийся страдалец.

И начал-то как: «Зима. Ночь...» Этим загадочным отточиением всего-то после двух слов наметил свой широкий замысел: «Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг, закрой глаза, вспомни недавнее прошлое...»

Не к плац-парадным воспоминаниям приглашал — к скорбному: «...от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы, мой друг, ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-Родины могилы... И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна... и величественным реквиемом

завучат в твоей памяти слова: „Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!..“»

Помнил о выживших: «В эту долгую и просторную для горестных воспоминаний зимнюю ночь не одна вдова, потерявшая в войну мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы; не одно детское сердце, на всю жизнь раненное смертью того, кто, верный воинскому долгу и присяге, погиб в бою за социалистическую Родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской. А быть может, будет и так: в маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже годами, подойдет старик к своей седой жене-подруге, без слез оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете, материнское страдание выжало все слезы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: „Ну, полно, мать, не надо... Не у нас одних такое горе...“»

Шолохов в этих размышлениях не обозначил никаких границ между недавним военным тяжким прошлым и уже давним: «В январе 1930 года, когда на Дону проходила сплошная коллективизация...»

Многие заметили, что обошлось без обязательного тогда выражения «сталинская коллективизация». И не последовало никаких выпрененных воспоминаний. Начал с того, как донцы не очень-то спешили в колхозы:

«— А ты-то вступил в колхоз, Прокофьевич? — поинтересовался я.

Прокофьевич степенно разгладил каштановую с рыжеватым подсадом бороду и плутовски сощурил голубые беспокойные глазки.

— Я не спешу...

— Что так?

— Видишь, какое дело, на свадьбе или при какой гулянке я не спешу вперед людей за стол садиться. Когда после других с краю сядешь — при нужде скорее из-за стола вылезаете... — И, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет его иносказания, добавил: — А может, за столом мне не понравится, — так за каким же нечистым духом я в самую серединку, под божницу попрусь?...я самый что ни на есть колеблющий середняк: пара лошадей и немудрящая коровка — все имущество. Но только раз уж я колеблющий, как меня на собраниях обзывают, то я и хочу приглядеться как следует к этому колхозу, а сторчмя головой в него кидаться — все как-то не того... не очень, чтобы...»

И бед послевоенного времени не обошел Шолохов — напомнил о недавней засухе. «Было так больно, что, кажется, слезами своими напоила бы высохшую, потрескавшуюся от зноя землю», — говорит героиня статьи.

Добавил кое-что о необычном русском характере: «Весной как работали! Иного ветром валит, а он в поле идет и работает из последних сил...»

Но Шолохов писал не только о непоказушной доблести своих нестигаемых земляков. Своим «Словом...» он еще и о том сказал, что считал недостойным для своей страны. Доверил обличительное слово — как бы на очной ставке с властью — тому же Прокофьевичу: «Ведь вот кое-кто из служащего народа легко думает об нашей хлеборобской жизни, а понапрасну так думает... Недавно был у нас на хуторе приезжий один, уполномоченный человек из района; как раз пригнал я свою скотину сдавать в колхоз, он и говорит: „Теперь, папаша, воздохнешь ты свободно!“ Легкий человек по-легкому и рассуждает...»

Кое-кто из шолоховского окружения догадывался — он крепнет в мысли начинать восстанавливать вторую книгу своей «Целины». Читатели уже сколько лет ждут исполнения его еще довоенных обещаний.

...Шолоховы тоже не обходились без домашней скотины. Была, понятное дело, корова. Как деткам без нее. Знать бы городским почитателям классика, что и ему приходилось заниматься домашней живностью, а не только главной хранительнице семейного очага. Сохранилось письмо из Вёшек в Каргинскую мужу сестры — шел июль; в разгаре сенокосная пора: «Дорогой Костя! Сена, очевидно, не хватит. Если тебе не очень трудно, — пришли, пожалуйста, еще одну машину с сеном. И еще одно: не отказывайся от денег косарям и тем, кто ухаживает за будущей коровой. В конце концов это мое дело — отблагодарить тех, которые что-то делают для меня...»

Дополнение. Любовь к «Пословицам русского народа» останется у Шолохова на всю жизнь. В мае 1982-го он получит мое письмо из издательства «Художественная литература» (работаю здесь директором): «Разбирая свое издательское, как говорится, хозяйство, вдруг обнаружили, что сборник пословиц и поговорок, собранный Владимиром Далем с Вашим замечательным вступительным словом, не переиздавался почти 30 лет...»

И попросил разрешения, переиздавая книгу, переиздать статью.

Писатель догадается, что эта просьба не просто так. Труд Даля по-прежнему под подозрением за внеклассовость, пропаганду религии и даже разжигание антитатарских настроений (секретарь Татарского обкома партии направил в ЦК письмо-протест против одной пословицы).

И в самом деле, имя Шолохова понадобится как защита против

ожидаемых возражений в ЦК. Он даст согласие. Книга выйдет тиражом в десять раз большим, чем в первый раз. Увы, вёшенец не дождется — она появится через несколько месяцев после его кончины.

Однако 400 тысяч (таков тираж!) читателей прочтут шолоховский завет: «Издание русских пословиц, собранных на протяжении нескольких десятилетий диалектологом и писателем В. И. Далем, послужит великому и благородному изучению неисчерпаемых богатств нашей отечественной культуры, великого и могучего языка нашего».

В конце 1990-х годов прошедшего века наткнулся в книжном магазине на переиздание этого сборника. Все вроде бы хорошо, но одно отвратительно: не было не только статьи Шолохова, но даже упоминания его роли в сохранении замечательного памятника русской культуры.

Диктат школьного учебника

1948 год начался с двух событий, они имели в жизни писателя свои последствия.

«Правда» дала его «Слово о Родине» только 23 января, а не в особом для читателя новогоднем номере. Как Шолохову было не догадаться почему — его публицистика создана не по партийным шаблонам.

Второе событие оказалось с далеко идущими последствиями. Вождь принимал Милослава Джиласа, посланца маршала Броз Тито, главы правительства Югославии и главного ее коммуниста. И надо же, этот визитер в полночном застолье, когда покончили с главными политическими заботами, вспомнил Шолохова: «Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал: „Сейчас есть и лучшие“, — назвал две неизвестные мне фамилии, одну из них женскую».

Сталин напрасно слов на ветер не бросал. И закрутились крылья агитпроповых мельниц.

В этом году вышло очередное издание учебника по литературе для десятого класса. Все знали: если хочешь узнать государственное отношение к тому или иному писателю, не ленись заглянуть в учебник. В нем надежный сертификат на благонадежность, для сельского же учителя и старшеклассника — политический компас. Его стрелка безошибочно указывает отношение Сталина к писателю. Упоминание вождя рядом с творцом — как орден. Если не упомянут, то общественная значимость

такого писателя ставится под сомнение. Вот о повести «Хлеб» Алексея Толстого написано: «Важнейшей чертой повести является изображение в ней вождей революции — Ленина и Сталина. Ночной разговор Ленина и Сталина, деятельность Сталина, организующего победу в Царицыне и отправляющего Москве хлеб, спасающий ее от голодной блокады, — центральные страницы...»

Вёшенские учителя — и ведь по всей стране так — узнают, что два писателя в новом учебнике отлучены от Сталина: Фадеев и Шолохов. В главе о Фадееве есть раздел «Недостатки романа „Молодая гвардия“» с пояснениями: «Не чувствуется партийное влияние на молодых подпольщиков...» Шолохов знал, что эти недостатки выявил сам Сталин и в очень резкой форме обнародовал в «Правде».

Шолохов... Обзор его творчества тоже лишен имени вождя. Странное дело — не упомянута Сталинская премия, что была присуждена писателю. Такого еще не было. Едва ли автор учебника страдал плохой памятью или редактор — по случайности — пропустил. За провалы в памяти при имени Сталина следовало наказание, это все знали. Не потому ли в учебнике такая — политическая! — критика романа: «В „Тихом Доне“ образы коммунистов обрисованы сравнительно бледно». Зубрите же, школяры, наставляйте, учителя!

...31 августа 1948-го скончался Жданов. Этот партийный деятель руководил культурой страны. Шолохов помянул его небольшой политизированной статьей «Скорбь наша мужественна». Однако своими писательскими убеждениями давно уже поставил себя выше идеологических установок ЦК. Вот и в этом году провозгласил — вслух, прилюдно: «...Я отстаиваю свое право на работу более медленную, чем хотелось бы читателям... Можно писать быстро плохие книги, а медленно — хорошие». Сказал все это на своем творческом вечере в сентябре. Союз писателей организовал его, чтобы отметить 25-летие его литературной деятельности.

Можно представить, как восприняли такое демобилизующее откровение те, кто привык от имени партии торопить писателей на быстрые отклики.

Вполне вероятно, что на вечере звучало имя вождя — ораторов много, и не может быть, чтобы кто-то не благодарил его за «отеческую заботу о литературе».

Но при всей своей писательской фантазии разве мог юбиляр представить, что Сталин нанес ему, Шолохову, удар страшной силы. Незадолго до творческого юбилея был сдан в набор очередной — 12-й —

том сочинений вождя. В нем вызволенное из 20-летнего пребывания в запасе приговорное письмо о «Тихом Доне». Лежало, лежало, уже, видимо, и пожелтело, стало хрупким, но ничуть не потеряло своей черной силы: ошибки! Политические! Об этом письме рассказано в главе о 1929 году.

В юбилейной речи Шолохов произносит — и предполагаю, не по ритуалу, а по трагической убежденности — такие слова: «Только в Советском Союзе мы, писатели, имеем все условия для творческой работы».

Но разве могут оставить его равнодушным участвовавшие — одно за другим — грозные критические постановления ЦК: «О кинофильме „Большая жизнь“», «О репертуаре драматических театров», «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели», «О журнале „Крокодил“», «О журнале „Огонек“», «О журнале „Знамя“», «О фактах грубых политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного»... Все начинаются с «О» и складываются для новоявленных изгоев в долгий крик: «О-о-о!..» Сколько же их! Ахматова, Демьян Бедный, Зощенко, Казакевич, Погодин, Тажибаев, Фатьянов, Штейн, Яновский, композиторы Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Богословский, режиссеры кино Козинцев, Пудовкин, Трауберг, Эйзенштейн...

С одними из этих творцов он хорошо знаком. Об Ахматовой мог думать с сочувствием — не забыл своего довоенного заступничества. Взгляды других ему совсем не близки, а некоторых — вовсе чужды.

Шолохов не знает, что и ему самому приходит черед быть загнанным в ряды раскритикованных. То подал голос в своей новой книге Лежнев. Годы не образумили этого литературоведа. И до войны, и после всё талдычит одно: «Мелехов — отщепенец!» Шолохов не любил Лежнева.

Партийный политпресс плющит едва ли не каждого. Не пощадил даже Панферова. Маленков пишет Сталину: «В № 12 журнала „Октябрь“ напечатано окончание романа Ф. Панферова „В стране поверженных“ ...В ряде мест романа...» Дальше критика — не понравились сцены поведения некоторых героинь в оккупации. Вердикт: журнал изъять.

И все-таки велик авторитет Шолохова. Он приглашен на Всемирный конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. И вопреки мнению редактора «Нового мира» Константина Симонова, ЦК распорядился оставить вёшенца в составе редколлегии.

Нечто новое появилось в настроениях писателя. В одном письме признавался — пусть и с юмором: «Что-то мне под старость кажется, что хороших, милых и простых людей мало стало. А потому, считая все же тебя хорошим стариком, я грушу сейчас о том, что ты далеко. Приятно было бы

посидеть вместе, выпить что-нибудь такого (?!), поговорить... Впрочем, может быть, мой пессимизм проистекает от того, что пурпурного вина в Вёшках нет и в помине, а водка у нас разбавленная донской водой и пахнувшая бакинским керосином. Так что я не пью, веду трезвенный образ жизни...»

Возможно, есть некая связь между этим тихим письмом и тем, как он обошелся с одним начальственным земляком. К Шолохову пришла старушка из вёшенских и стала жаловаться, что ее сосед — начальник — отрезал своим новым плетнем часть ее огородика. И никого слушать не желает. Шолохов хорошо знал его: фронтовик, член партии. Зазвал к себе и стал увещевать, тот начал оправдываться: дескать, у жалобщицы частнособственнические замашки. Тут и выслушал в ответ: «Веришь в то, о чем говоришь? Не веришь. Фальшивишь. С врагами ты дрался, а с собой подраться забыл. Живуча, говоришь, частная струнка? А как же ты, коммунист, не вытравишь ее из себя?..»

Писатель в Вёшках и в самом деле свой среди своих. Один из таких своих, с хутора Пустовской, Игнат Семенович Мансков, уж больно убедительно раскрыл характер своего знатного земляка в воспоминаниях: «Моя теща к нему: „А сколь же ты денег зарабатываешь“ Михаил Александрович вроде бы даже запнулся на ее вопросе, потом усмехнулся: „Сколь надо, мать, столько и получаю“. А теща дальше: „Сколько надо — это хорошо...“ Тут уж он вслух засмеялся...»

Такое отметил: «Не любил он выделяться. Одним утречком, до зари еще, приехал он на рыбалку, булгачить никого не стал. Просто взял одну свободную лодку, выгнал ее на яму и сидит, ждет поклевку. А с рассветом с берега: „А, мать-перемать, такой-сякой! Гони сейчас же мою лодку! Я тебе желваки повыдавлю!“ А Михаил Александрович ему: „Сейчас... сейчас... Слова-то какие хорошие“...»

И как интересны такие воспоминания: «Один раз ему с другого берега закричали в несколько глоток: „Лодочник, лодочник!“ Ну, он погреб. Подошла лодка, человек пять ввалилось в нее, командуют: „Греби!“ Ну, лодочник гребет. Его такое дело... Перевез одну партию, пошел за другой. Только уже в третий раз кто-то из казаков, прикуривая, разглядел лицо перевозчика... Конфуз! А он: „Ничего, ничего... Я привычный к веслам“...»

Рыбалка и охота остаются тихим отдохновением души и страстью сердца. Отдавался он этим страстям азартно. В этом году шлет телеграмму в Дели, в советское посольство, приятелю: «Пожалуйста, привези два хороших охотничьих ножа».

Дополнение. Будучи членом редколлегии журнала «Новый мир», Шолохов так или иначе содействовал публикациям писателей разных направлений. В их числе С. Бабаевский, Вс. Иванов, К. Гамсахурдия, С. Гудзенко, В. Катаев, С. Маршак, Ю. Нагибин, З. Паперный, Н. Рыленков, Л. Сейфуллина, Ст. Щипачев... Шолохов мог бы гордиться — классические стихи «Я убит подо Ржевом» будущего главного редактора А. Твардовского здесь увидели свет.

А сколько было — до и после — знакомств: М. Горький, В. Вересаев, И. Бабель, Л. Леонов, Б. Пильняк, А. Серафимович, И. Тихонов, С. Сергеев-Ценский, А. Толстой, К. Федин и более молодые — В. Боков, А. Борщаговский, П. Бровка, А. Платонов, М. Светлов, затем и те, кто годился ему в младшие братья, — И. Абашидзе, М. Алексеев, О. Берггольц, С. Михалков, Ю. Бондарев, Вас. Белов, Л. Васильева, О. Гончар, В. Закруткин, Ан. Иванов, Е. Исаев, А. Калинин, К. Кулиев, И. Мележ, В. Овечкин, Ан. Софронов, Вл. Фирсов, Вас. Федоров, В. Шукшин, А. Проханов, литературоведы Ф. Бирюков, К. Прийма, В. Петелин, композитор Д. Шостакович, скульптор Е. Вучетич, кинорежиссеры С. Герасимов, Юл. Райзман, М. Чиаурели, С. Бондарчук, Э. Быстрицкая, Ю. Никулин, художники Кукрыникисы и О. Верейский, а также иностранные писатели — Вилли Бредель, Анна Зегерс, Чарлз Сноу, Эрвин Штритматтер, Мартти Ларни, Франтишек Кубка, многие другие.

О Шолохове с восхищением отзывались значительные творцы: Р. Роллан, В. Шшков, А. Исаакян, О. Форш, Э. Хемингуэй, Мулк Радж Ананд, Б. Чопич, Памела Джонсон, Жан Катала, Д. Кьюсак, Я. Ивашкевич, Алан Маршалл, Р. Гамзатов, Э. Межслайтис, Дж. Олдридж, С. Причард, Ч. Айтматов, Юр. Мелентьев, еще многие и многие.

Шолохов — академик, почетный доктор трех университетов, оратор на авторитетнейших международных встречах писателей, ученых, студентов, долгие годы секретарь Союза писателей СССР — отвечал за работу с молодыми писателями...

К чему все эти перечисления? В 1991 году поэт, участник съезда народных депутатов Евг. Евтушенко напечатал статью с названием — антисанитарным — «Фехтование с навозной кучей», где о Шолохове сказано так: «Не любил себя отождествлять с интеллигенцией, да и саму интеллигенцию недолюбливал».

Глава вторая

1949–1950: ЦЕНА ОДНОГО ПИСЬМА

Вернемся в 1929-й: Сталин тогда упрятал в архив свое письмо с критикой «Тихого Дона». Превратил его тем самым как бы в заряд-фугас с часовым механизмом.

Прошло 20 лет.

Дед Трифон: «...к чертям собачьим!»

Шолохов все чаще подстегивает себя в думах — надо продолжать военный роман. Последствия контузии? Терпи казак... По весне отправился в Сталинград собирать материалы — нужны архивы боевых лет, нужны встречи с очевидцами сражения.

Его, знатного гостя, везут по городу. Еще не все отстроено, и потому память легко возвращается в прошлое. Тихие руины, а каково же было советскому воину тогда, в оглушающем громе пальбы, в свисте снарядов и бомб, в предсмертных столах, в яростных командах, в ругани-проклятиях и в молитвах шепотом...

И хотя недолюбливал газетные интервью, все же встретился с журналистом из областной газеты. Появилось сенсационное признание: писатель мечтает о военной трилогии!

Но нет необходимого покоя для того, чтобы только творить. Отвлекает от романа то одно, то другое.

...Приглашен на Всесоюзную конференцию сторонников мира в Колонный зал Дома союзов. Явился в гимнастерке, в галифе и сапогах. После войны он несколько лет подряд продолжал чаще всего одеваться именно так. Попросили — ведь авторитетен! — выступить. Согласился, ибо идея конференции отвечала его душевной озабоченности. Понимал, что стране трудно жить двойной тягой: восстанавливать народное хозяйство и тревожиться, что каждый день может начаться новая война. «Лишь бы не было войны!» — такое присловье родилось у терпеливого народа во времена, еще полные после войны лишений — в полуголоде и в обносах, на деревенских пепелищах, в перенаселенных коммуналках...

Он закончил свою речь без партагитпроповых шаблонов — отметил стойкость советского человека: «Тракторист, рядовой человек нашей

страны. Он честно воевал, он окончил войну в Берлине, он был четыре раза ранен во время войны и снова возвращался в строй. Говоря с ним о жизни, о будущем, услышал я такую фразу: „Широкие плечи и у меня, и у Советского Союза. Мы все выдержим!“»

Едва добрался домой, упросили поучаствовать в совещании передовиков сельского хозяйства родного района. Говорил о том, как лучше провести весенний сев, а еще поблагодарил земляков-хлеборобов за то, что выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета.

В начале мая Шолохов узнал об идее Сталина, что вылилась в постановление ЦК и правительства о защите засушливых районов лесополосами вокруг полей. Оно касалось и донских степей и не могло не взволновать: с 20-х годов писатель болен страданиями земляков — то и дело налетают жаровеи. Они сжигают едва проклюнувшиеся посевы и оставляют по себе черную память — засухи и неурожай.

Потому без промедлений взялся за статью. Назвал «Свет и мрак» — это призыв к читателям поддержать то, что задумано Сталиным, а также отклик на политику США — холодная война в разгаре. Огромная статья выйдет в «Правде» в двух номерах — 24 и 31 мая 1949 года.

Она — зеркало и сильных, и слабых граней шолоховской публицистики той поры.

Лесопосадки ему казались фантастикой в еще не восстановленной от военного разора стране: «Если вытянуть будущие лесные полосы в одну непрерывную ленту шириною в 30 метров, она опояшет земной шар по экватору 50 с лишним раз... Угаснут грозные черные бури... климат станет мягче, влажнее...»

По статье чувствуется, что едва на Дону взялись за создание лесозащитных станций и выращивание леса, как автор самолично побывал там: «Зелеными брызгами малахита чудесно расцвели крохотные, прячущиеся между бровками борозд, как бы прилипшие к влажному песку сеянцы сосен... Стань на колени, склонись над малюткой-деревцом, и ноздри уловят молодой и нежный запах сосновой смолы, а глаза увидят на игрушечно тоненьком, шершавом и гибком стволе-стебельке несоразмерно большие по сравнению с ним, величиной с булавочную головку, искрящиеся, как роса, капельки смолы...»

И наряду с этим клеймит правителей США: «Слепнут от бешенства, взирая из-за океана на незыблемую и все растущую мощь нашего государства; они дрожат от ярости, вслушиваясь в победную поступь Народно-освободительной армии Китая; в тупую и бессильную злобу повергают их успехи стран народной демократии, уверенно идущих к

социализму, и черной ненавистью исполнены их сердца ко всему живому, гордому, честному — к свободолюбивым народам Греции, Индонезии, Вьетнама, — к тем, кто истекая кровью, героически сражается за свою независимость...»

Однако же вскоре читать становится скучнее. Так, обычная правдинская агитация и пропаганда. И вдруг прорывы! Вновь чувствуется — шолоховское! — публицистическое перо.

Вот он с вызовом — протестным! — принялся защищать крестьянство. На этот раз от несправедливых налогов. Отдал слова негодования колючему на обличения персонажу — деду Трифону. И в сцене, где, по всем законам советской журналистики, надо поддерживать замыслы верховной власти, все читали: «С одной стороны, указание, чтобы сады разводили, а с другой — плати за каждое дерево... в прошлом году вызывают меня в сельсовет, финотделов агент спрашивает: „Сколько, папаша, деревьев в твоём саду?“ А чума их знает, говорю ему, иди сам считай. Он не погордился, пришли комиссией, пересчитали все деревья, финотделов агент и говорит: „Каждое косточковое дерево, ну, слива там или ещё какая-нибудь вишня, четыре штуки их считаются за одну сотую платёжной земли, а каждое семечковое, яблоня ли, груша — за одно дерево — одна сотая“... Я уже прикидываю: не порубить ли часть деревьев?»

Шолохов усиливает драматизм сцены. И раздаются на всю страну отчаянно поперечные слова этого казака: «Идите вы к чертям собачьим! — окончательно выведенный из терпения, гремит обиженный старик и, за рукав стащив с нар свой зипун, накидывает его внапашку и идет к выходу».

Земляки писателю доверяли. Он с малых лет знал, как обращаться к ним: «Здорово дневали!» или «Здорово ночевали!» — чтобы с ходу признавали своим. Запросто, но со вниманием. Это замечалось, особенно в тяжкие послевоенные времена. Один из таких «своих» Валентин Иванович Ходунов рассказывал (он часто сопровождал Шолохова на рыбалку):

— Собирается и старается захватить побольше хлеба. «Зачем столько-то?» — «На приваду, на приваду...» А он просто знал, что к нему может присоединиться ребятня. Как скворушки залетные... Михаил Александрович не томит их ожиданием: развяжет рюкзак, вытащит буханку и зовет — «Берите, односумы, делите...»

И такое рассказал, что невольно подумалось — уж не высеялось ли именно в тот день то самое первое семя замысла, которое проклюнется много позже в рассказе «Судьба человека»:

«Однажды (было это у Емельяновой ямы) среди такой стаи заметил Михаил Александрович белобрысого, глазастого мальчика в драной-

передраной одежонке. Поманил его к себе:

— Ты откуда будешь, цыганенок?

— Я, дяденька, не цыганенок... Меня Ванюшкой зовут.

— И где же ты живешь, Ванюшка?

— А когда где. Я приبلудный...

Шолохов долго смотрел на пацана, ничего не спрашивая. А потом сказал как будто весело:

— Приبلудными бывают только овцы или куры. А ты — человек. Есть-то хочешь?

Тот кивнул. Шолохов тогда: „Пошли к нашему шалашу...“»

Сталин: 20 лет спустя

В этот год черная тень нависла над всеми шолоховскими произведениями.

В июне 1949-го «Правда» печатала новые главы романа «Они сражались за родину». Шолохов никогда не оставлял равнодушным читателя. И на этот раз пошли отклики. Кое-кто из «откликантов» сочинял для ЦК. То были доносы. Один из них попал к секретарю ЦК ВКП(б) Суслову. Былой земляк, а ныне твердокаменный оплот партийной идеологии станет определять судьбу романа. Перо доносчика профессионально. Оно принадлежало какому-то редактору Военного издательства. Суслову не надо особо напрягать ум и тратить силы на воображение. Он погружается в привычную стихию политфразеологии: «Если „Правда“ напечатала эти главы, значит, редакция одобрила их. А меня эти главы возмутили пошлостью, искажением нашей действительности, клеветой на советских бойцов...» И далее — карточью: «Ужасная клевета... страшный поклеп... грубый цинизм... трудно поверить, что это „творчество“ — дело рук советского писателя... колорит не наш, советский...»

Суслов — опытный аппаратчик — запросил мнение Отдела пропаганды. Здесь быстро собрали все другие доносы — не один в стране бдительщик. Суслов знакомится с мнением отдела. Уже по первым строкам уяснил позицию: «В письме, как и в ряде других писем читателей, полученных Отделом пропаганды, правильно отмечены некоторые недостатки новых глав...»

Все возвращается на круги своя: в 1943-м чей-то синий руководящий карандаш уже корежил самые первые главы. И дальше быть шрамам.

...«Тихий Дон». Сталин 9 сентября подписывает в печать 12-й том своих сочинений. Видит росчерки корректоров, редакторов, издательского начальства и руководства Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Внимательно вчитывается в оглавление: если что не так, еще можно исправить — что-то включить, что-то исключить. Те, кто помогал составлять том из речей, статей и писем, заверили: состав выверен и всесторонне взвешен. В нем ничего лишнего. Здесь и развитие науки марксизма-ленинизма, и вклад в практическое строительство социализма, и актуальные вопросы, и задачи на будущее...

Шолохов сполна испытает на себе его долголетнюю злободневность.

Но еще 32 дня никто не будет знать о желании Сталина обнародовать свои оценки «Тихого Дона».

Шолохов листает «Правду» за 10 октября. Первая страница с приковывающим внимание заголовком из крупных черных букв: «Двенадцатый том Сочинений И. В. Сталина». Сообщается, что в этот том включены письма к Кону, Горькому, Безыменскому... Но разве мог он догадаться, что в послании Кону содержатся строки о «Тихом Доне»?

Минула неделя. «Правда» продолжает пропагандировать новый сталинский том. На целую страницу материалы. И потянуло давним порохом: «Наступление на кулачество... Борьба с уклонистами... Не можем без самокритики...»

Шолохов когда узнает, что это все о нем и для него?

Путь подписного издания из Москвы в Вёшки занимает несколько дней. Зато в Москве, в издательстве «Художественная литература», ощутили последствия письма тотчас же. Мне об этом рассказал Александр Иванович Пузиков, один из старейших издателей, лауреат Государственной премии СССР (он был там главным редактором): «Издательство запланировало очередное переиздание романа? Вдруг звонок из ЦК: „Читайте Сталина. В „Тихом Доне“ грубые ошибки...“»

Вот и пришел час, и сработало с датой «1929» взрывное устройство.

Двадцать лет тому назад о письме узнали совсем немногие. Сейчас оно было тиснуто числом 515 тысяч экземпляров (таков тираж тома). Одни читают и удивляются: стоит ли напоминать партии и народу о впечатлениях 20-летней давности? Другие недоумевают: какие могут быть ошибки, если роман удостоен Сталинской премии? Третьи восторгаются мудростью вождя, для которого при искоренении ошибок не существует никаких авторитетов.

Писателю остается размышлять: оглашение письма — специально задуманное событие или случайное, по той лишь причине, что в том

должно было войти все, что написано вождем? Убедился: остальные его письма и телеграммы в Вёшенскую не включены. Значит, вся эта история — тщательный расчет. Дернул вождь — прилюдно! — удилами-железами: «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем „Тихом Доне“ ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений...»

И пошли рикошеты, мелкие и крупные, от высочайшего неудовольствия Шолоховым. Ноябрь. Выходит очередной номер «Нового мира». В нем статья «Великий путь». Ее политическая значимость подчеркнута рубрикой «К 20-летию массового колхозного строительства». В статье, разумеется, цитаты из Сталина, одна из Ленина, не обошлось без писателей, упомянут даже почему-то Герберт Уэллс, но ни слова о «Поднятой целине».

Интересно, как ощущал себя Шолохов в том жестоком для него 1949-м? Разыскал написанную им автобиографию с пометкой «апрель, 1949». Он вынужден писать: «Партвзысканиям не подвергался, ни в троцкистских, ни в прочих контрреволюционных организациях не состоял, отклонений от линии партии не имел. В плену не был. За границей был дважды. В 1930 и 1935 гг., в связи с изданием моих книг». Так все были обречены писать, чтобы не быть ни в чем заподозренными. Подозревались, критиковались, обвинялись же многие.

И все-таки он не сломлен. По-прежнему шлет письма в защиту обездоленных. По-прежнему заботится о далекой флотской семье старшей дочери. И даже, предав забвению все бывшие обиды, в декабре шлет телеграмму Фадееву — ко дню рождения.

Новогодье. Радостное семейное застолье и сотни писем и открыток с поздравлениями. Но жжет душу критика Сталина... Однажды рассказал мне: «Я написал Сталину письмо, в котором просил его конкретно назвать „ошибки“ и „неверные сведения“. Не ответил он».

Много лет спустя это письмо обнаружили. На нем дата: «3 января 1950 г.». Значит, даже в новогодние дни не утихла обида и он думал-раздумывал, что и как написать вождю.

«Дорогой товарищ Сталин!

В 12-м томе Ваших Сочинений опубликовано Ваше письмо тов. Феликсу Кону. В этом письме указано, что я допустил в романе „Тихий Дон“ ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.

Товарищ Сталин! Вы знаете, что роман читается многими читателями и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных факультетов университетов и педагогических институтов. Естественно, что

после опубликования Вашего письма тов. Ф. Кону у учителей, преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я ошибся и как правильно понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за разъяснениями, но я молчу, ожидая Ваших слов.

Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных мною ошибок.

Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих изданий.

С глубоким уважением к Вам М. Шолохов».

Совсем немногие рисковали пускаться в объяснения со Сталиным. И тон вроде бы почтительный «дорогой... учту... с глубоким уважением...», а взыскующий.

Светлана Михайловна дополнила: «Отец забыл, что спустя время написал еще одно письмо. Вторично просил Сталина принять для разговора или хотя бы письменно объяснить, в чем же „грубейшие ошибки“. Но ни ответа — ни привета». В камень стрелять, стрелы терять.

Сталин. Он не пожелал снизойти до объяснений. Без него нашлись толкователи. Издательскому начальству дали понять, что в романе должен появиться еще один персонаж.

В издательство вызывают внештатного редактора. Этот послушный литератор, работник «Правды», берет в руки подхалимское перо. Роман обретает сцену — Сталин и народные ходоки... Вот же как прицельно отдалось от давнего письма.

Грядет 70-летие И. В. Сталина. Вёшенцу предложено написать для «Правды» статью к 21 декабря, к юбилею. Десять лет назад он сочинил статью — необычную — к 60-летию. Какой быть новой? Всматривается день за днем в «Правду». Каждый день приветственные статьи. Размером со страницу определили соратникам вождя. Писателям отдавали места не меньше, чем на 200–250 строк, чаще на 300–400, кое-кому доставались почетные подвалы — усердствуют собратья по литцеху. Один поэт дважды поспел с поздравлениями: сперва напечатал стихи, через три недели огромную статью. Такая награда в связи с тем, что он один из руководителей Союза писателей. Еще один поэт выступил с гимнотворчеством: «Пусть весны долгой, долгой чередой / Несут над Вашей славной сединой...» Потом он — в безопасные для этого времена — отдаст всего себя развенчанию Сталина. Готовится (правда, почему-то без Шолохова) открытое письмо «Наш вождь, наш учитель, наш великий друг». Под ним собралось несколько десятков подписей: Фадеев,

Панферов, Гладков, Полевой, Горбатов, и еще, еще, втянули даже Сергеева-Ценского.

Избыток предъюбилейных чувств не отменил политической бдительности: 8 декабря Суслову передают документ с критикой «Нового мира». Покинуть бы Шолохову этот неблагонадежный журнал, но нет, не уходит из редколлегии.

ЦК следил, кто как писал о Сталине. Маленков получает донос об одном нерасчетливом писателе-бедолаге: «В романе И. В. Сталину отведено две страницы, бледных и невыразительных, а Гитлеру — десять страниц». Это о Василии Гроссмане и его романе «За правое дело».

Шолохов отправил свое приветствие в Москву. Получилось оно совсем небольшим, чуть больше 60 строк. Когда «Правда» за 20 декабря пришла в Вёшки, свою заметку он не сразу и обнаружил на второй странице; ее втиснули в толпу одических статей. Он явно не погрешил против своих же слов в статье 1939 года: ни «многословием», ни «эпитетами», ни «частыми упоминаниями» не злоупотребил.

По большей части это заметка не о юбиляре, а о его матери: «Маленькая скромная грузинская женщина...» Шолохов не полукавил. Она и на самом деле была такой — скромной.

Таков немногострочный вклад автора трех романов во вседержавный юбилей вождя.

С 1950 года он больше никогда ни с чем не обращался к Сталину.

И второе политическое событие. ЦК дает согласие выдвинуть Шолохова кандидатом в депутаты Верховного Совета. Он был хорошим для Дона депутатом. В том числе и потому, что представлял, напомню, с молодых лет своим среди своих. Сохранился рассказ казака с хутора Остроуховский Павла Васильевича Пономарева:

«Встретился я с Михаил Александровичем в самую что ни на есть горькую для меня пору. Одно время я жил в Донецке, а после войны вернулся на родину. Пошел работать в лесхоз. И тут начались на меня гонения: „Не хочешь быть колхозником? Ну, мы тебе покажем! Мы тебе укорот сделаем...“ Обложили, как волка. Коровенку в хуторское стадо пускать не разрешают... За то, что нарушал запреты, шесть месяцев принудиловки присудили. Пытался жаловаться: и в район, и в область писал, как на дно моря... Хоть бежи с родных мест...

Шел я однажды по Зимовой луке делать санитарную рубку. Осветление называется. А в душе темь кромешная. Гляжу — навстречу какой-то человек, в фуфайке, в сапогах. „Здорово, рыбак“, — говорит. А я ему: „Я — не рыбак, а рубак“. — „А чего, дескать, такой хмурый?“ —

„Жизнь, — отвечаю, — не светит“. — „За что же это она на тебя осерчала?“ — „А ты кто такой веселый?“ — обозлился я. „Шолохов“, — отвечает. Поначалу я малость растерялся, а потом слово за слово и рассказал...»

Шолохов ввязался в это дело. Казак интересно подытожил: «Судимость с меня сняли и корову в ее правах восстановили...»

Покушение на Джека Лондона

Домочадцы заметили: прочно оседлан стул у письменного стола в кабинете на втором этаже. Снова ночные бдения. Он признался — сочиняются новые главы военного романа. Но при этом как было все время, так и остается: не хочет отключаться от жизни.

Идет письмо ученому из Ростова — озабочился: «Опасаясь, что для Вашего словаря не найдете Вы издателя, и по той простой причине, что едва ли в наше время сыщутся „сердобольные“ люди...» Речь шла о попытках издать «Словарь народных говоров». Шолохов через несколько лет с превеликим огорчением убедится, что и столичные издатели пренебрегают такими изданиями, и встанет в строй радетелей этих памятников культуры.

Идет письмо депутата в райком — встревожен: «Прошу оказать возможную помощь... Он тяжело контужен во время войны, страдает припадками эпилепсии, снят с военного учета и к труду неспособен...»

Идет письмо историку в Воронеж — доброжелателен. Тот хотел узнать, откуда писатель брал факты истории для «Тихого Дона». — «Все, что служило мне подсобным материалом в работе над „Тихим Доном“, погибло в 1942 году. Что касается архивных материалов — боюсь, что и в Ростове они не сохранились за годы войны. Впрочем, советую Вам обратиться туда, быть может, кое-что уцелело. Помимо облархивов я воспользовался материалами из библиотеки ЦК ВКП(б)...»

Писал и вспоминал не только проклятую войну и своих тогдашних недругов. Вспомнилось прошлогоднее письмо директора Института марксизма-ленинизма при ЦК партии. Он переслал писателю фотокопию письма Сталина далекого голодоморного года и шолоховский мандат делегата довоенного партийного съезда. И сообщил: эти важные для истории раритеты, как написал, «случайно» были найдены одним полковником «в Вашем доме при отступлении наших войск». Заключил просьбой: «Михаил Александрович! Убедительно прошу подлинник письма тов. Сталина разрешить оставить на хранение в Архиве ИМЭЛ.

Жду ответа...»

Два эти письма высекли обжигающую душу искру обиды. На письме из института появилась скорым шолоховским почерком приписка — важное свидетельство: «Эти документы были найдены не „случайно“, и не в моем доме, а в здании райотдела НКВД, в ящике, который был брошен сотрудниками НКВД при поспешном бегстве из Вёшенской. Ящик этот был передан мною 12.6.42 г. на предмет отправки его в неугрожаемую зону».

Увы, не сбылись мечтания, что власть даст спокойно работать. Законы святы, да законники супостаты. Июль 1950 года. Дважды неприятности с покушением на творчество. Шолохов был вынужден обратиться ко второму лицу партии — Маленкову с жалобой на Генштаб: «Завершая первую книгу романа „Они сражались за родину“, уже приступил к работе над второй, — испытываю острую необходимость ознакомиться с материалами, касающимися обороны Сталинграда...» Он не требовал, как выразился, «материалы секретного характера». Оказывается, ему не доверили, как сообщал в письме, «„живой“ материал, т. е. политдонесения, поступавшие из рот, батальонов, сводки и все остальное, что сможет оказать мне помощь в воссоздании обстановки 1942–43 гг.». Горечь в письме: «Вы понимаете, как губительно отразится на моей работе отсутствие этого материала, а потому и прошу Вашей помощи».

Стоит вспомнить: Лев Толстой для «Войны и мира» перечитал огромное число исторических книг и воспоминаний. Шолохов для «Тихого Дона» тоже переработал громадный материал. Но о войне с фашизмом пока еще нет обобщающих книг и маршальских воспоминаний. Потому-то понадобились архивы, хочет знать больше.

Он повеличал Маленкова: «Дорогой товарищ Маленков». Еще наивнее: «Всегда помня Ваше доброе ко мне отношение...» На письме осталась резолюция — она ни к чему не обязывает: «Прошу ознакомить т. Громова и Егорова».

Ждет-пождет ответа от «дорогого» Маленкова: месяц... второй... восьмой... Не дождался. Вот и пополняется доводами ответ и для тех, кто спрашивает по искреннему любопытству: «Почему Шолохов так мало написал?» — и для тех, кто воинственно-агрессивен в утверждении: «Шолохов так мало написал!»

Вторая неприятность. Покусились на его публицистику. Шолохов передал в «Правду» статью «Не уйти палачам от суда народов» — ее взялись сокращать. Автор подивился: помимо всего прочего почему-то не понравилась цитата из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни». Не согласился. Он в тяжком гриппе, но продиктовал для главного редактора

телеграмму: «Не хотелось, чтобы резали жестоко, если вообще-то статья пригодится вам. Крепко обнимаю и жму руку. Твой Шолохов».

Редактор, однако, закусил удила. Видимо, еще не знал, что Шолохов с самого начала своего творчества выковал в себе упрямую неуступчивость. Из Вёшек новая телеграмма — начало ядовито: «Джек Лондон и я решительно возражаем против сокращения...» Закончил: «Прошу сохранить полностью. Сердечный привет. Шолохов».

Редакция упорствует. Из Вёшек еще одна телеграмма — уже с ультиматумом: «Предложенные сокращения совершенно неприемлемы. Прошу статью вернуть. Привет. Шолохов».

Прелюбопытно, как по убывающей шкале выстраивались ритуально-заключительные в письмах выражения: «Крепко обнимаю», «Сердечный привет» и, наконец, просто «Привет». Кардиограмма!

Отказ из «Правды» не корезить статью вызвал в ответ новую телеграмму, и получилась колючая оценка «отредактированного» текста: «...Смотри нелепицу шестом абзаце... Усечена фраза непоследовательно... Убит небрежностью правки».

Не подействовало. Тогда в сентябре шлет телеграмму в ЦК (характер!): «Срочная. Москва. ЦК ВКП(б). Товарищу Маленкову. Убедительно прошу Вас ознакомиться моей статьей Правде тчк Совершенно неприемлемые сокращения лишают меня возможности опубликования статьи тчк Ваш Шолохов».

Архив сохранил оправдания главного редактора перед ЦК — лукавые: «Никаких сокращений статьи не делалось, а был лишь разговор на предмет исправления».

Едва покончил с этой неопрятной историей, возникла другая — еще более неопрятная. И вновь Маленков... Болезненно тучный от нездорового из-за перегрузок образа жизни, особенно в войну, с оплывшим лицом, он непревзойденно тонок на изощренно-каверзные игрища с «кадрами партии». Еще не остыл от разбирательства первого шолоховского письма, как от своих аппаратчиков поступила «Справка о литературном критике Гоффеншефере В. Ц.»

Неужто нет иных дел в штабе партии? И все-таки Маленков учуял в этом документе большую политику. Потому и разрешил своим подчиненным сложную интригу: напомнить и Шолохову, и складывающемуся шолоховедению, что небезгрешны. Этот Гоффеншефер еще до войны не выявил идейной ущербности ни в «Тихом Доне», ни в «Поднятой целине». Удар по критику — удар по писателю. Маленков попросил дать справку по обоим.

Удар по Гоффеншеферу: «Серьезные ошибки. Так, например, в его книге „Михаил Шолохов“ (Гослитиздат. М., 1940 г.) при характеристике творчества Шолохова он видит недостаток писателя в изображении коммунистов лишь в том, что им мало показываются их психологические переживания».

Удар по Шолохову: «Действительные недостатки произведений известного писателя в описании коммунистов...»

Тема «изображения коммунистов» — что же могло быть по тем временам более подходящим для политической дискредитации?!

Маленков. Он заказал справку отнюдь не для личного самообразования или утоления любопытства. Захотел открыть глаза верхушке партии — Сталину тоже — на Шолохова по связке с «безродным космополитом». Потому начертал резолюцию заведующему Отделом пропаганды и агитации: «т. Кружкову. Доложите об этом деле на секретариате ЦК. 26.VI». Замысел с далеко идущими последствиями: нехорошими.

Шолохов. Совсем зачернило жизнь политическое недоверие. Многие в такую невезучую пору ложились на дно. Вёшенец не из таких. Не прошло и месяца, как отправляет новую депешу: «Москва. ЦК партии. Георгию Максимильяновичу Маленкову». Дата: «2 октября 1950 года». Послана из Миллерово. Шолохов заботится о своих земляках — просит построить водопровод. Через месяц обращается с новым письмом к Маленкову. Своеобычно написано — стоит привести полностью:

«Дорогой товарищ Маленков!

Вёшенская электростанция, построенная по распоряжению покойного Орджоникидзе (Шолохов не добавил, что по его просьбе. — В. О.) 20 лет назад, имеет два дизеля марки „Метеор“, которые пришли в абсолютную негодность в результате отчасти длительной эксплуатации и, в основном, потому, что станция была разрушена немецкой авиабомбой в июле 1942 года (Шолохов не добавил, что это произошло в день гибели матери. — В. О.) и двигатели почти год простояли в развалинах, под открытым небом. Их необходимо менять еще и потому, что дизели типа „Метеор“ устарели, давно не производятся нашей промышленностью и, естественно, ни одной запасной части к ним не найти.

Наши попытки добиться чего-либо конкретного по части приобретения 2 дизелей ни к чему не привели и без Вашего мощного слова поддержки безусловно ни к чему не приведут и в дальнейшем. Только поэтому, поборов стыд, я решил снова побеспокоить Вас и просить помощи.

И последняя просьба — в отношении горючего: нам отпускают нефть со станции Миллерово, и ее приходится возить за 168 километров, а в 3 километрах от Вёшенской, на Базковской нефтебазе 300 тонн солянки, которую для нужд нашей электростанции почему-то не отпускают, ссылаясь на то, что требуется разрешение Москвы.

Очень не хочется сидеть по ночам в потемках. Помогите! Полугодовая потребность горючего составляет 40 тонн. С сердечным приветом. М. Шолохов».

Маленков — отдадим должное — дал ход письму. Через семь дней исполнительные аппаратчики доложили: «Товарищу Маленкову Г. М. По Вашему поручению, в связи с просьбой т. Шолохова...» Далее уточнение: «Тов. Шолохов принимал участие в рассмотрении этого вопроса...»

Вернулся домой из Москвы и заметил — Мария Петровна все чаще пасмурна. Расспросил. Оказалось, не на что жить. Шлет две телеграммы равнодушным издателям: «Срочно прошу телеграфом перевести гонорар зпт Сижу без денег». Месяц минул — новая телеграмма: «Пребываю абсолютно грустном безденежье...»

Будто по заказу совпадение: Фадеев направил в ЦК Маленкову и Суслову справку — кто из писателей получает большие гонорары по причине большого числа переизданий. Фадеев подписал список — сам в нем на первом месте. Шолохов в списке отсутствовал.

Мария Петровна рассказывала:

— После войны в станице жилось худо даже нам, Шолоховым... И ему было обидно, что многие считали его богачом. Вот расскажу: в письмах однажды попало такое — мол, «я построил дом, теперь нужна машина, так, Михаил Александрович, помог бы, что стоит-де миллионеру». Шолохов ответил: «Я такой же миллионер, как ты римский папа!»

Конечно, гонорары, депутатское и академическое вознаграждения обеспечивали нормальное существование. Но сколько родни и близких! И сколько поездок по стране «за свой счет»! Одни наезды в столицу чего стоили... В итоге в эти годы всяко приходилось. Младшая дочь, Мария Михайловна, об этом же: «Мы были одеты, как и все дети в станице. Платья после мамы донашивала моя старшая сестра, а потом за ней я. Так все передавалось от старших младшим».

От Шолохова я никогда не слышал жалоб-сетований на послевоенную неустроенность жителя-бытия. Ему тяжело от другого — от непонимания власти.

Что же может отвлекать от издевательств, унижений, злодейской критики? Дом в Вёшках с верной семьей да письменный стол — вот

крепость, за стенами которой забывается все на свете, кроме взыскующей труда бумаги и пера. Что еще? Азартная охота? Утишивающая рыбалка? Застолья с немногими истинно верными друзьями?..

Глава третья

1951–1953: ЧП НА ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ

«К т. Шолохову необходимо применить меры...» — такое угрожающее требование выдвинули партаппаратчики Г. М. Маленкову; случилось это в особые дни 1953 года, когда работал XIX партсъезд.

За что же такая немилость? Шолохов знал — это никогда и не прекращалось в режиме вечного партдвигателя «удил-желез»: то дернут — то ослабят, то наградят — то унизят.

МВТУ: «Скоро робют — слепых родят»

1951-й. Шолохов открыл этот новый год обращением к стране — поздравил сограждан в «Правде». И еще напечатал в течение года два небольших обращения — к строителям Волго-Донского канала и юным книголюбам. Не густо в публицистике. Иные заботы. О военном романе, пожалуй, главная.

И вдруг в марте, на следующий день после закрытия сессии Верховного Совета, Шолохова пригласили на встречу со студентами знаменитого Московского высшего технического училища. К «технарям»...

Конференц-зал. Взошел в своей неизменной гимнастерке на сцену за стол под аплодисменты. Его представили, а он заявил: к никакому-де отчету не готовился, доклада не ждите и попросил задавать вопросы. Но не нашлось отважных с вопросами. По рядам лишь заробевшие шушуканья-переглядки. Конфуз. Тогда он встал и с лукавинкой обратился к залу: «Вы давайте-ка за что-либо меня похвалите, я, конечно, стану скромничать-отбиваться, ну и пойдут вопросы». Завлекалочка удалась — осмелели студенты.

— Расскажите, как вы пишете?

— Об этом долго и сложно рассказывать.

— Ваша общественная работа? Участие в борьбе за мир?

В ответ пожал плечами.

— В ваших книгах нет ни одного хорошего женского образа.

— Это, очевидно, потому, что я женился восемнадцати лет. (Видимо, задело, потому отшутился.)

— Над чем сейчас работаете и когда закончите?

— Векселей не даю, а то наобещаешь, а потом не получится. Есть такая поговорка: скоро робют — слепых родят. Работаю над романом «Они сражались за родину». Роман задуман мной в трех книгах... Затем буду заканчивать вторую, последнюю книгу «Поднятой целины».

— Были ли прототипы для героев «Тихого Дона»?

— Да, были. Но ведь это неважно. Лев Толстой очень удачно сказал о своем Болконском: не имеет значения, был ли он и есть ли на самом деле и какова его действительная фамилия; он есть и важен как Болконский.

— В «Тихом Доне» есть люди (Мишутка и другие), о судьбе которых можно еще рассказать. Не собираетесь ли вы это сделать?

— Была раньше такая писательница Лидия Чарская. У нее в одной книге герой тонет, а во второй снова вынырнет — так она их и вела из книги в книгу. Один критик (неважно — правый или левый) сказал: «У Чарской есть курочка, которая несет золотые яйца». Я не хочу быть куроводом.

— Конец «Тихого Дона» неудачен. Почему герой ни к чему не пришел?

— Такова была действительная судьба более зажиточной части деревни. Если бы я написал иначе — это было бы вопреки моей писательской совести.

— Ваше мнение о творчестве Ильи Эренбурга?

— Во время войны писал действительно нужные вещи, очень ценно это было тогда.

— Насколько правдива книга Федора Панферова «В стране поверженных»?

— Бред.

— Что вы можете сказать о книге Эммануила Казакевича «Весна на Одере»?

— «Звезда» — это хорошо.

— Ваше мнение о книге Николая Шпанова «Поджигатели»?

— Я читал и Ната Пинкертон.

— Как вы оцениваете нашу современную литературу?

— Тянем помаленьку. Но печально, когда наши старые писатели теряют качество. Например, Александр Корнейчук...

Вдруг произнес: «Я никогда не принимал присяги писать только о казаках».

— Ваше мнение об операх Дзержинского «Тихий Дон» и «Поднятая целина»?

— Либретто безграмотно написано братом композитора. Песня «От

края и до края» в «Поднятой целине» — мотив есть, а где слова? Опера «Тихий Дон» написана по роману без знакомства с казачьим песенным творчеством. А у казаков замечательные, в том числе и очень старые, песни, например о речке Камышенке. Затем — это мое личное отношение к оперному искусству — я, например, как услышал, что лирический тенор поет во время исключения Нагульнова из партии: «Положи партбилет!» — встал и ушел потихоньку.

Пришла записка: «Как вы относитесь к псевдонимам?» Зал встрепнулся. Пахнуло жареным. То был явный отклик на совсем недавний, в этом месяце, обмен раскаленными статьями между Шолоховым и любимцем молодежи красавцем Константином Симоновым, поэтом и прозаиком, а также автором пьес, идущих в лучших театрах. От этого обмена мнениями шли искры по всей Москве. Еще бы: заметили антисемитизм у Шолохова!

А все началось со статьи в «Комсомольской правде» «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы» Михаила Бубеннова, тогда модного после Сталинской премии за роман «Белая береза» писателя. Ничего антиеврейского в напечатанном не проглядывалось: Бубеннов назвал не только еврейские фамилии, русскую, три явно украинские и еще одну восточную. Но перлы нелепостей перли из каждого абзаца, из последнего тоже: «Социализм, построенный в нашей стране, окончательно устранил все причины, побуждающие брать псевдонимы».

Симонов возмутился и бросился в атаку со страниц «Литературной газеты», в числе иного и прочего писал: «Аргументы, приводимые Бубенновым, в большинстве смехотворны».

Утром Бубеннов и тот работник «Комсомолки», Федор Шахмагонов, который готовил статью, напросились на встречу с Шолоховым (он оказался в Москве). Пожаловались, что Бубеннову не дают ответить Симонову, ибо был звонок из ЦК: запретили продолжение дискуссии. Шолохов — в рассуждения: «Симонов игрок!.. Я не знаю, что вы хотели выиграть, заговорив о псевдонимах, а вот что он хочет выиграть, видно, не заглядывая в его карты. Ищет популярности у шумливой литературной публики. А тебя, Бубеннов, эта публика будет бить нещадно».

Он сел к столу и вскоре передал газетчику небольшую статейку «С опущенным забралом». Она была напечатана. Запоминались выразительные вопросы: «Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь...»

Симонов с ответным выстрелом в «Литературной газете»: «Я выступил в защиту писателей, пожелавших избрать себе литературные

имена, от облыжных обвинений в хамелеонстве...» Но показалось мало — пошла брага через край — отправил жалобу: «ЦК ВКП(б). Товарищу Маленкову Г. М. В „Комсомольской правде“ за подписью Михаила Шолохова напечатана беспримерная по грубости, проявленной в отношении меня, статья „С опущенным забралом“... Прошу Вас, Георгий Максимильянович, принять меры по этому вопросу, возникновение которого я меньше всего связываю с личностью Шолохова, хотя его подпись, к сожалению, и стоит под статьей...»

Много позже Симонова потянуло на воспоминания о той драчке — рассказывал мне: «В неприятии Шолоховым псевдонима, как поняли люди моего окружения, скрыто было нечто большее, нечто значительное, чем то, что он провозгласил — мол, за псевдонимами прячутся литжучки и делеги... Шолохов, между прочим, попер против Сталина. Сталин... Сталин вел дьявольскую игру... Короче: на заседании комитета по сталинским премиям обсуждаем роман какого-то писателя. Сталин разглядел в официальном представлении на эту кандидатуру, что после псевдонима в скобках стояла подлинная фамилия. Он разразился сердитой тирадой в своей излюбленной манере вопроса и ответа: „Не могу не спросить уважаемых товарищей, зачем, с какой целью пишется двойная фамилия? Читателю достаточно одной — привычной. Разве писатель не имеет права выступать под псевдонимом? Я думаю, что имеет. Хотите подчеркнуть, что он... еврей. Но зачем?“»

Шолохов студенту ответил так: «Есть иногда причины, по которым писатель меняет свою фамилию, берет псевдоним — или фамилия неблагозвучна, или по другой причине. Мы знаем Фадеева как Фадеева, а не Булыгу... Но когда в „Литературной газете“ подписывается Розенблум, а в „Советском искусстве“ Петров, и пишет уже наоборот, в третьей газете Светов, и печатает еще что-нибудь на эту же тему, а все это один человек — то это нечестно и я против таких псевдонимов».

Свою статью Шолохов в собрания сочинений почему-то не включал.

Дополнение. С годами Шолохов все чаще обращался к классике. О ней у него есть высказывания, что не вошли в его собрания сочинений, поэтому приведу некоторые:

— Больше всего мне нравятся из прозаиков Гоголь, Толстой, Чехов, Бунин, не говоря уже о Пушкине. Лесков нравился. Серафимовичем зачитывался, особенно «Городком в степи», что касается «Железного потока», то он слаб. Серафимович сам плавает в этом потоке.

— Горького любил подростком, потом разобрался, что он не работал

над стилем и формой. У Горького я любил «Челкаш». Осталось в памяти, как Горький однажды пригласил меня в комнату, присел к камину и заговорил о книге «Клим Самгин». Спросил, нравится ли она мне. Я высказал ему, что понравилось, что не понравилось, а в целом похвалил. Горький со вниманием выслушивал мои критические замечания, с интересом выясняя мои позиции и похваливая.

— Некоторые страницы толстовских дневников не могу читать без сильного волнения... Особенно, где воспроизводятся ночные разговоры с Софьей Андреевной. Какая бездна разделяет этих двух людей, роднее и ближе которых, кажется, не было на земле... Что с нами делает время! Но при всех расхождении во взглядах (может быть, разности психологических состояний) они оба правы: на ее стороне правота жены, матери, хранительницы домашнего очага, на его — глубина противоречий гения, толстовская — именно толстовская! — философия бытия... Вера, мораль, поэзия, философия — все сплетено в тугой узел и составляет сущность его гения.

«Партком считает...»

Из Москвы, из издательства «Художественная литература», Шолохову пришла верстка переиздания «Тихого Дона». Распаковал пакет и ужаснулся: едва ли не каждая страница в пестроте каких-то вписываний и зачеркиваний. В сопроводительном письме заведующего редакцией пояснения: внештатный редактор — работник «Правды» — усердствует!

Шолохов прочитал верстку и тут же — ответную депешу: «Редактор ни к черту не годится... Нет у него художественного вкуса... В любой его правке Вы увидите весьма посредственного газетчика... Тут я совершил ошибку в выборе редактора...»

Он не зря употребил в письме даже такое выражение — «скопцевские изъятия». Роман и в самом деле оскотен. Дважды!

Для начала редактор взялся «навести порядок» в «политике». Его не устроили два вживленных в роман исторических сюжета. Истинно наглец — в своем послесловии осмелился поучать писателя и научать читателей: «Писатель, однако, в отдельных случаях неясно, а иногда ошибочно осветил некоторые исторические факты». И продолжение — опасное для политической репутации романа и Шолохова: «Автор иногда нечетко, а местами и неверно показывал действительные устремления Корнилова...»

Шолохов в тот же миг припомнил свою самую первую встречу со

Сталиным, при участии Горького, и острый обмен мнениями — каким быть в романе образу генерала Корнилова. Он кое-что тогда смягчил по настоянию Сталина. Зачем же сейчас, через 20 лет, ворошить старое?!

Потом Шолохов уловил, что нечуткое перо нового редактора повычеркивало — во множестве — казачьи речения. Мол, местный диалектизм, вульгаризмы, жаргон, когда-то, дескать, эту увлеченность еще Горький критиковал. Шолохов помнил другое: он тогда многое сам отредактировал. Отчего сейчас возврат к красному — запретительному — карандашу?!

Оказалось, что и это политика. В издательстве знали то, что Шолохов не сразу уразумел. Бульдозерный наезд на шолоховский стиль — это конъюнктурный отклик на недавние труды Сталина по языкознанию. Одна из статей в январском номере «Нового мира» подхалимски вторила державному наставнику в языковедении: «Желание эстетически закрепить диалекты было бы не только нелепым, но и вредным... находятся в непримиримом противоречии с духом и законами языка... обречены на исчезновение...»

Еще задела одна история, которая на этот раз произошла в Ленинградском университете. Тоже — политика. Дочь Светлана оттуда позвонила — она там учится: прими, пожалуйста, одного студента — Юрия Буртина, у него из-за тебя большие неприятности. Этот ее знакомый, студент-второкурсник филологического факультета, впоследствии станет видным литературоведом и либерал-демократом.

Что же произошло? Лучше всего узнать из первых рук — из записок Буртина «Исповедь шестидесятника», изданных уже после его смерти.

«В качестве члена лекторской группы я подготовил лекцию о „Тихом Доне“. Вопреки установившейся трактовке, согласно которой Мелехов — отщепенец, который за свою неспособность твердо встать на сторону большевиков расплачивается моральной деградацией и полным крахом своей жизни, я доказывал, что, напротив, он плоть от плоти народа, он типичен, а его судьба воплощение сложного, извилистого и тернистого пути основной части казачества, да и вообще крестьянства, в революцию. Не историю грехопадения мятущегося одиночки, а великую драму народную видел я в шолоховской эпопее...»

Что же дальше? Буртин продолжает: После просмотра текста руководством лекторской группы мне было сказано, что ввиду спорности моей основной идеи я должен либо от нее отказаться, либо подвергнуть предварительному обсуждению...»

Ему бы беречься, а он, необстрелянный, стал писать — пусть

обсуждают. Его научный руководитель и союзник — аспирант Федор Абрамов, в будущем автор интересной книги о творчестве Шолохова, а с 1960-х годов известный прозаик-деревенщик и защитник автора «Тихого Дона» от обвинений в плагиате. Доклад написан, оба идут на обсуждение и получают приговор: «Написан с бухаринских позиций, он целиком пропитан кулацкой идеологией...»

Все это, напомню, с конца 30-х вписывалось и в послужной — творческий! — список Шолохова.

Горька замета Буртина: «Подобная оценка прямоком подводила 19-летнего злоумышленника под знаменитую 58-ю статью (антисоветчина! — В. О.). И тогда я решился ехать к Шолохову. На поездку в Вёшенскую у меня денег не было. Однако мне помогла Светлана Шолохова, учившаяся на нашем факультете: известила, когда отец был в Москве, и дала его московский адрес... Общение произвело на меня сильнейшее впечатление... Уже сама манера поведения была для меня удивительной и неожиданной. Достаточно сказать, что при второй, основной, встрече с ним он не просто поздоровался, но расцеловался (это повторилось и при прощании), более того, заставил меня взять 150 рублей на обратную дорогу... Да как заставил! Когда я в замешательстве пытаюсь сопротивляться, отвел его руку с деньгами, у него на глазах показались слезы, голос задрожал, и этим дрожащим голосом он проговорил что-то в этом роде: „Ты не имеешь права! Я же старик...“ (кстати, в тот момент он и выглядел стариком, хотя имел всего 47 лет от роду)».

Теперь о главном — поддержал ли Шолохов юного еретика? Буртин засвидетельствовал: «Он согласился с моим пониманием общего смысла романа, правда, с одной оговоркой, важность которой я смог оценить лишь несколько лет спустя. Защищая Григория от обвинений в „отщепенстве“, я в увлечении фантазировал, что если бы рьяные активисты новой власти типа Кошевого не были бы столь мстительны и оставили бы его в покое, то он, как Майданников из „Поднятой целины“, вступил бы в колхоз. Шолохов возразил мне в том смысле, что Григорий был слишком самостоятелен и неординарен для столь идиллического исхода. Время было такое, что человек подобного характера должен был рано или поздно вступить с ним в конфликт и сложить голову...»

Студенту еще кое-что значимое запомнилось из высказываний Шолохова: «Василия Ивановича Чапаева все знают. А о многих других героях Гражданской войны, не менее славных, ваше поколение ничего и не слышало...» Буртин тут же заключил: «Это был прозрачный намек на 37-й год». Или: «Он звонил при мне в Верховный Совет и жестким, властным

тоном выговаривал кому-то за задержку с пересмотром дела капитана, оказавшегося без вины виноватым в том, что его судно было на Севморпути затерто льдами...»

***Дополнение.** Издание «Тихого Дона» 1953 года — вопиющий образец издевательств над Шолоховым. Редактор вытравливал правду драматизма в описании революции. «Поправил», к примеру, сцену, когда Подтелков убил полковника-белогвардейца. В своем послесловии пустился в путаные психологические сентенции, чтобы оправдать и большевика Подтелкова, и себя, редактора, изуродовавшего сцену: «Он зарубил его — это правда. Но это был акт самозащиты: Чернецов выхватил из куртки пистолет и хотел убить Подтелкова, произошла осечка. Что оставалось делать Подтелкову? Ждать второго выстрела? Подставить свою грудь под револьвер злобного карателя?..»*

Он взялся «исправлять» «натурализм» сцен родов Аксины, изнасилования Фрони, «обгуливания» Коршуновым купеческой дочери, проборонил языковые особенности говора Дарьи... И поблек на этих страницах художник Шолохов.

Шолоховед Г. Ермолаев в своей книге «Шолохов: жизнь и творчество» подсчитал, что в этом издании осуществлено «около 400 политических изъятий, три четверти которых пришлось на 2-ю книгу». Он же выявил немало чужеродных вписок, которые «подчеркивали свершения Ленина и Сталина и осуждали белое движение». Ему удалось также обнаружить около 300 пуританских исправлений: «Так увлеклись, что убрали упоминания волос на руках, ногах и груди мужчин».

Шолохов смог восстановить текст романа только в собрании сочинений 1956–1960 годов. И то частично — сопротивление цензуры было сильным. Ермолаев подсчитал: писатель убрал лишь около трех четвертей политических поправок и около девяти десятых стиливых. Он же сообщил, что число невозстановленных политпоправок в изданиях 1928–1980 годов превысило 250.

Суслов — Сталин — Суслов

Не один студент обращается к Шолохову. Приходит, к примеру, толстущий пакет, как засвидетельствовано, от «селькора с многолетним стажем»: рассказ и письмо. Письмо напоминало: вы, дорогой Михаил Александрович, в 1942-м одобрили мой, тогдашнего лейтенанта-

разведчика, очерк во фронтовой газете, так молю — дайте оценку рассказу, хочу заняться литературой. Опять просьба стать донором, но ведь и душевные силы не безбрежны, и времени для своего-то творчества край как недостает. Читает, хотя сразу разглядел — плох сей опус.

Как же ответить побратиму по войне? Можно слукавить и отделаться общими словами. Дает, однако, ответ: «Рассказ требует всесторонней и серьезной доработки. Прежде всего по линии сюжетной. У Вас все предельно упрощено...» И пошли конкретные замечания.

Еще одно участие в судьбе молодого литератора. Критик Михаил Шкерин запросил помощи. Написал статью о творчестве Константина Симонова с критикой. Не понравились строки в его новой поэме: «И родина не там, где ты родился, а там, где помнят о тебе». Главному редактору газеты, где готовилась статья, звонок из ЦК — запретили печатать. Можно понять, чего испугался партаппаратчик: Симонов не просто популярен, он еще и начальство в Союзе писателей, и близок Сталину. Лучше не связываться.

Шолохов за телефон — обратился к Суслову. Кто не знал, как неприятно было общаться с этим убежденным консерватором с великолепной памятью на цитаты из классиков марксизма-ленинизма; кого угодно переговорит. Сейчас он в полном доверии у Сталина — секретарь ЦК и главный редактор «Правды», в будущем станет членом Политбюро и останется главным идеологом при Хрущеве, Брежнев и даже при начинающем карьеру в составе секретариата Горбачеве.

Суслов взял трубку и выслушал просьбу писателя:

— Михаил Андреевич, не очень-то складно писателю ходатайствовать о критике, ну а как развиваться литературе без свободной критики? Речь идет о статье Шкерина о творчестве Константина Симонова. «Комсомольская правда» готова ее публиковать, а из сектора центральной печати запрет. Это по твоей епархии, Михаил Андреевич! Надо бы снять запрет, хватит Симонову ходить в «неприкасаемых».

— Это я посоветовал воздержаться... Что значит имя Шкерина в литературе, чтобы критиковать Симонова? Это несерьезно, товарищ Шолохов!

— А серьезно ли было, — проговорил Шолохов, — когда меня и Леонида Леонова разносили вдребезги вчерашние портняжки и скорняки? Пудами на вес — опубликовано погромных рецензий. Шкерин профессиональный критик, член Союза писателей, у него книги...

— Товарищ Шолохов, — раздалось раздражительно, — я не против критики Симонова, но против, чтобы в этом упражнялись люди, не

причастные к большой литературе. Так и передайте автору. До свидания, товарищ Шолохов!

То ли подогрела норов обида за такой разговор, то ли злость, что не добился справедливости, но Шолохов тут же звонит помощнику Сталина и просит устроить разговор с «хозяином». И он-таки состоялся:

— Здравствуйте, товарищ Сталин! Прошу простить за беспокойство.

— Здравствуйте, товарищ Шолохов! Если бы я не хотел вас услышать, вы бы меня не беспокоили. Я слушаю вас, товарищ Шолохов!

— Я опять к вам с нашими литературными болячками.

— Я сказал бы, с неблагополучием...

— Боюсь, напротив, со слишком самодовольным благополучием. Полное благодушие, ни слова критики.

— О ком речь?

— Литературный критик Шкерин говорит о живом и мертвом в творчестве Константина Симонова, а ЦК запрещает публиковать эту статью.

— Я не знаю о таком запрете, товарищ Шолохов. Вы читали статью?

— Читал!

— Вы считаете нужным ее публиковать?

— Считаю полезной. И Симонову есть чему учиться. Я могу послать вам статью.

— Зачем такой бюрократизм? Завтра я ее прочту. В какой газете?

— В «Комсомольской правде».

— Почему не в «Правде»?

— Комсомольцы проявили настойчивость. Не будем их обижать.

— У вас все, товарищ Шолохов?

— Спасибо за поддержку!

Очень скоро позвонил телефон — от Суслова, он вымолвил как ни в чем не бывало:

— Михаил Александрович, я ознакомился со статьей Шкерина. В «Комсомольскую правду» дано указание — печатать.

Прощаясь с тем журналистом, которому выпало быть свидетелем телефонных переговоров и даже записать их столь подробно, Шолохов сказал: «О моем разговоре со Сталиным — молчок!»

...Кто знает, может, в эти дни, когда по обычаю ночами садился писать, как раз-то выводил для своего военного романа такие беспокойные — в созвучии с беспокойным душевным настроением — строки: «Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжащие осколками черные

фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию обороны...»

«Ареопаг» ведет следствие

1952-й. Шолохову дали возможность с помощью «Правды» поздравить свой народ с новогодним праздником. Назвал статью «Любимая мать-отчизна». Начал помпезно и вяло, закончил запоминающейся метафорой: «С Новым годом, великая труженица, до последнего вздоха родная и любимая мать-отчизна».

Великой труженице объявлено — этот год особый: быть съезду партии, уже девятнадцатому по счету.

Потом Шолохов исполнил просьбу редактора многомиллионной «Пионерской правды» — обратился к детворе. Это небольшое — на четыре абзаца, но емкое напутствие «Ваш верный друг» — о пользе книг и чтения: «Поначалу, как сквозь узкую щель, брезжит из темноты свет знаний в удивленные глаза ребенка, впервые слагающего из отдельных, таинственных пока еще для него букв слова, становящиеся понятными разуму... И не узкая щель перед вашим взором, а широко распахнутые двери...»

Упросили выступить по радио. Сел перед микрофоном, чтобы поделиться размышлениями по теме: писатели — жизнь — читатели. Первой же фразой огорошил — никаких привычно-обязательных зачинов о свершениях: «Советские писатели в большом долгу перед своими читателями». Вторая фраза — о себе: «В ряду должников, но отнюдь не злостных неплательщиков, к моему великому сожалению и внутреннему неудобству, нахожусь и я — автор двух незаконченных романов...» И еще тем заинтересовал, что отверг привычные заклинания идеологов: советский-де писатель обязан идти вровень с жизнью строителей социализма и коммунизма: «Мы всячески поспешаем, но спокойное дыхание нужно сохранить до конца...» Пояснил: «Пока мастер пера тщательно вырисовывает мартовские, нагие ветви дерева и набухшие в предвесеннем томлении почки, — дерево уже выметало первую зеленую и клейкую листву...»

Февраль. Шолохову два звонка — сначала из Союза писателей, затем из ЦК. Те и другие о юбилее француза Виктора Гюго. Поудивлялся, почему его привлекают, но не сопротивлялся. Вскоре вышло постановление Политбюро «О мероприятиях по проведению 150-летия В. Гюго». Создан

юбилейный комитет из числа членов Советского комитета защиты мира и Союза писателей: Фадеев — председатель, Эренбург — заместитель, дальше названо еще десять фамилий. Шолохов, вопреки традиции составлять списки по алфавиту, обозначен первым, Симонов — рядом с ним.

Великий Гюго, разумеется, хорошо, но более его притягивает возведение Цимлянской плотины и строительство канала Волга — Дон. Едва ли не каждый день оттуда сообщения в газетах и по радио. Море в степи будет: Цимлянское! Все сулят: заслон засухе... канал будет... новая транспортная возможность... ускоренное развитие области... Соблазнился побывать там и помчался из Вёшек на машине — единым марш-броском. Уже засыпан проран, уже есть новое русло, и уходят под воду седые от ковылей займища, древние курганы и еще незатянутые под дождями-ветрами недавние траншеи и окопы...

Появился очерк «Первенец великих строек». Он едва ли чем отличался от десятков таких же журналистских заметок, восхищенных замыслом Сталина и деяниями строителей — и все это, мол, для советского человека!

Но зато сколько неповторимых, истинно шолоховских высверков в пейзажах: тонких, изощренно живописных.

Но зато повторима в его публицистике, даже парадно-праздничной, державная озабоченность. Власть не замечала уничтожения бесценного невосполнимого исторического наследия: «Затоплена водой древняя хазарская крепость Саркел, разгромленная еще Святославом. И странное чувство охватывает душу, и почему-то сжимается горло, когда с Кумшатской горы видишь не прежнюю, издавна знакомую узкую ленту Дона, прихотливо извивающуюся в зелени лесов и лугов, а синий морской простор...»

Осень — сентябрь. На стол Маленкову — до партийного съезда месяц — кладут письмо из Ростовской области. Четыре рукописные страницы от некоего бухгалтера. Рассказывает — в подробностях, — как нехорошо вел себя Шолохов: пил в гостинице. Если кто еще читал этот донос, то неминуемо вспоминал нехитрый куплетец из одного модного фильма: «Рюмочка Христова — откуда? Из Ростова...»

Маленков словно ждал письма, а может, и впрямь ждал. Пренебрег давним аппаратным правилом отправлять такого рода письма в архив за ненадобностью. Либо, если уж приспичит, адресовать для проверки достоверности в обком или Союз писателей. Сам решил «принимать меры». Придал письму значимость. Его резолюция выказывает особую всепартийную озабоченность: «Т. т. Пономаренко П. К., Суслову М. А.,

Хрущеву Н. С., Шкирятову. На ознакомление вкруговую. На секретариат ЦК».

Каков же, как выражался Сталин, ареопаг секретарей ЦК! Резолюция не сулит ничего доброго — ее принцип, как сказали бы в народе: лучше перебдеть, чем недобдеть. Но даже с такой резолюцией не решились на что-либо определенное: не отобрали делегатское удостоверение и не объявили выговор. Обсудили и ладно. Шолохову от этого не легче: по Москве и Ростову пошли круги оскорбительных слухов.

Одно к другому складывается против вёшенца в этом месяце: совпадение или так кому-то очень понадобилось? В самый канун съезда ЦК получает еще один сигнал-донос. Сообщение из Союза писателей — опять о неправильной линии «Нового мира». И вновь с фамилией Шолохова: «До сих пор члены редколлегии т. т. Шолохов М. А., Федин К. А. почти не участвуют в работе журнала». А в разгаре борьба с «безыдейщиной» и «безродным космополитизмом» — надо «участвовать».

Октябрь. Открылся съезд ВКП(б), первый после одиннадцати лет забвения уставного требования. Позади годы предвоенных репрессий и мужества народа, пострадавшего во имя созидания великой державы. Позади великая война, выигранная народом, который ничего не пожалел для победы. В надеждах лучше жить восстанавливается невероятными трудами разрушенное войной хозяйство.

Делегаты слушают доклад Маленкова. Он не обошел литературную жизнь. В нем призыв к «решительной борьбе с халтурой» и наказ «беспощадно вытравливать ложь и гниль из произведений литературы и искусства».

Маленков не назвал ни одного произведения. Но поначалу замышлялось. Шолохов не догадывался, что в недрах аппарата готовился иной литературный раздел — в нем одних творцов упоминали, других замалчивали. И в том и в другом качестве должен был фигурировать он. Почитать бы ему многостраничную машинопись «К Отчетному докладу. Художественная литература...». О романе «Они сражались за родину» — ни слова, хотя в разделе «Тема Великой Отечественной войны» помянуты десятки произведений. Еще раздел — пафосно-политизированный, обращенный в заслугу партии. В нем назван «Тихий Дон». Но как губительна для репутации романа формулировка да и соседство некоторых произведений: «Руководствуясь решениями XVIII съезда партии и указаниями ЦК ВКП(б), советские писатели уже в предвоенные годы добились известных успехов, создали ряд полноценных в идейном и художественном отношении произведений. В области советской

литературы: „Хождение по мукам“ — А. Толстого, „Тихий Дон“ — М. Шолохова, „Падение Парижа“ — И. Эренбурга, поэма „Детство вождя“ — Леонидзе...»

Сталин у всех на виду — в президиуме. Шолохов растворен в зале. Высмотрел ли вождь писателя? Если да, то лицезрел совсем недолго.

ЧП на съезде. Сбежал делегат М. А. Шолохов. Не оправдал доверия. Ладно, не дал заявки на выступление, но ведь пренебрег возможностью услышать «историческую» речь И. В. Сталина.

Устроители съезда в переполохе. Скрыть нельзя — за это полагалось серьезное партнаказание. Обратились к Маленкову — на сообщении гриф «Секретно». А минуло ли оно Сталина? В донесении сказано строго и внушительно: «Шолохов, являясь делегатом XIX партсъезда, пропустил несколько заседаний съезда».

Началось расследование. Аппаратчики с вопросом к руководителю делегации. Бедный секретарь обкома — ему нужно сыскать такую причину, чтобы сберечь себя, — оправдывался ценой чести Шолохова. Маленков читает: «По мнению секретаря Ростовского обкома партии т. Киселева, с которым мы беседовали, к т. Шолохову необходимо применить меры принудительного лечения, т. к. меры, принятые обкомом, не оказывают никакого воздействия на писателя...»

...В станице не привыкать — светится по ночам окошко на втором этаже шолоховского дома: писатель пишет.

Мария Петровна заметила: муж отложил военный роман — взялся продолжать «Поднятую целину».

И поди разберись в писательских предпочтениях — отчего такое произошло?

***Дополнение.** Итак, новый сюжет биографии: Шолохов выставаем перед ЦК как безнадежный алкоголик. Недруги писателя начали активно протаскивать в печать эту деликатную для творческой личности тему. Особенно после его кончины. Например, многотиражный в перестройку журнал «Знамя» печатал о Шолохове: «Слом личности». Автор статьи утверждал: «Слом, по свидетельствам, достаточно резкий и внезапный, наглядно выявившийся уже в послевоенные годы, превративший фигуру в советской жизни достаточно могущественную и самостоятельную в нетрезвую (! — В. О.) функцию официальных установок».*

«По свидетельствам» — как звучит-то для «достоверности»! Был ли Шолохов рупором официальных установок? Этому противоречат все факты этой книги. И они, надеюсь, разрушат таковой миф. А теперь о

нетрезвости.

Не верю в чистоту замыслов тех, кто подписывал несколько раз донесения в ЦК с приговором «алкоголик». Речь о той службе, которая лечила представителей высшей власти, — Четвертом Главном управлении при Министерстве здравоохранения.

1. Ни одно министерское письмо об алкоголизме не сопровождалось приложением с конкретным диагнозом.

2. Все эти письма появляются в ЦК — по совпадению или в прямой связи — во время особых политических событий в жизни партии или в ходе ужесточения партруководства писателями. Не то попытка исключить неуступчивую натуру из активной деятельности, не то опорочить: вот он, Шолохов, какой!..

3. Чаще всего донесения о запоях не подтверждаются образом жизни. Например, в 1952-м он написал шесть статей, был делегатом — и выступал — на Всесоюзной конференции сторонников мира, через четыре дня после партсъезда отправил в издательство большое ходатайство об издании литературно-критической книги «О художественном мастерстве» Михаила Шкерина.

4. И едва ли не самое главное. Те, кто писал донесения, те, кто принимал их, те, кто использует оные для очернения писателя, ни разу не задумались, что означал шолоховский ответ Сталину в 1938-м: «От такой жизни запьешь!» Отчего и в самом деле порой случались срывы? Горечь чувств из-за понимания своей постоянной политической зависимости? Реакция на всевозможные притеснения и подозрения? На цензуру? Разрядка от изнурительного труда — ведь пером водит не рука, а сердце?..

Рассказал Светлане Шолоховой о своих находках в партархиве. Слышу в ответ:

— Эти письма... Я их расцениваю... подло было писать о писателе! Если уж хотелось заботиться, так разве так заботятся?! Я эти письма считаю как желание настроить ЦК против неуступчивого, неуправляемого писателя. Это к тому же чиновная перестраховка-подстраховка: если что случится — как с Фадеевым, — мы, мол, своевременно сигнализировали... И грязные преувеличения, чтобы просто опорочить.

Она привела еще один аргумент в защиту чести и достоинства отца:

— Вы от кого-нибудь слышали, чтобы настоящий охотник был алкоголиком? С трясущимися руками? А отец — ах, как он славился метким выстрелом.

Смерть вождя

Шолохов прочитал решения партсъезда и новый Устав КПСС. Был в нем и такой пункт: «Член партии обязан: быть активным бойцом за выполнение партийных решений...»

Страна после съезда стала жить в учащенном ритме. «Правда» только и делала, что призывала к активности.

Обильно публикуются восторженные отклики на выступление Сталина и на решения съезда. Немало их от писателей — фамилии, фамилии, фамилии. Нахожу в газете отклики из Ростова. Шолохова не обнаружил.

...4 марта 1953-го. Радио заставило вздрогнуть: сообщение о болезни вождя.

Он до последнего лицезрел Шолохова. На даче, в большом зале, красовалась целая галерея писательских портретов. Среди них Горький и Шолохов.

Через день объявили о смерти Сталина.

«Правда» выходит с прощальным словом Симонова, Твардовского, Фадеева...

Через три дня и Шолохов попрощался со Сталиным. Появилась его статья в 80 строк «Прощай, отец!». В полтора-два раза больше скорбные статьи Эренбурга, Гладкова, Ольги Берггольц, Ванды Василевской, Корнейчука, француза Луи Арагона, китайца Го Мо-Жо... На целую страницу статья «Гуманизм Сталина» Фадеева. Не счесть траурных стихотворений. Откликнулся засекреченный «отец водородной бомбы» академик Сахаров — в письме тех дней признавался: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности».

Вёшенец ринулся в Москву. Депутатский мандат помог ему прорваться в Колонный зал и постоять в почетном карауле у гроба.

...Ну и месяц выдался для Шолохова. Пришлось помогать старшему сыну и его юной жене выехать в Болгарию. Она — дочь тогдашнего премьера Болгарии. Но даже при таком обстоятельстве пришлось писать самому Суслову о разрешении на выезд: так строги правила зарубежных вояжей.

В смутных раздумьях стала жить страна после траурных мартовских дней 1953 года.

Шолохову тяжело. Все знают, что революция вызволила в нем необычайно рано проявившиеся способности. Сам он знал то, что

партагитпроп четверть века корежил его талант и изо всех сил пытался приспособить к своим политическим нуждам.

Он очень быстро уловил своим обостренным писательским чутьем, что жить стало, как ни странно, сложнее. Читатель строже взыскует правды... Дети выросли, вглядываются в отца, как ответит на народные чаяния...

Неотступен вопрос: куда поплывет теперь огромный корабль-держава? Немного времени понадобилось умудренному опытом писателю, чтобы год от года все более прозревать — корабль-держава пошел в плавание после Сталина без хорошей карты. Понимал: Сталин отдал свой талант выдающегося диктатора неукротимому стремлению превратить державу в великую — любыми средствами!

Новые вожди, из каждой новой смены, все меньше озабочены прокладкой курса так, чтобы с заглядом за горизонт; у них, увы, все больше внимания вахтенному журналу, чтобы выглядел красиво.

Им и в самом деле приятно его перелистывать. В нем много записей об открытиях на неизведанных маршрутах, о победах и успехах, о гудках приветствий и флагах расцветивания со многих встречных и поперечных лайнеров, о кликах зависти и восхищения. И почему бы не возгордиться: и команда дисциплинированная, дружная, и не боится трудиться, сколько попросят, и топлива полно, и топорщатся ракеты, и взлетают спутники, и возводятся новые надстройки, и в кильватере не одно союзное судно...

Все это тешит душу и застит глаза. И нет у них тревоги, что хотя команды с капитанского мостика зычны, и с верхних палуб фейерверки-салюты, и главнокомандующим здравицы, звезды и ордена, а ход не тот. Вдруг развернет против ветра, вдруг брюхом по мели, вдруг у скалистых берегов пробоина, а то и просто не догадываются счищать налипшее-наросшее, а это сбавляет скорость и притормаживает маневр. Не волнует, что наставления устарели, а на тех, кто пытается их осовременить, смотрят с подозрительностью. Реформы на кораблях? Зачем? Ведь консервативные флотоводцы внушили себе и экипажу, что вечна главная их лоция — наука марксизма-ленинизма.

Те, кто в трюмах у машин, задерганы, запутаны. Терпеливы и послушны — не то испытали в прошлом, и все равнодушнее взирают на ветшающий кумач призывов, приветствий и обещаний. И все меньше веры у них в то, что достигнут цели. Нетерпеливым же даже такое приходит в потаенных раздумьях — можно ли при таких адмиралах достигнуть цели по имени коммунизм? Им, сомневающимся или прозорливым, за такие думы — гауптвахта, а то и за борт.

Общество беременело безвременьем и безверием.

Шолохову все это обидно осознавать. Особенно это стало заметно в его статьях и речах с начала 1960-х годов.

ПРИСТРАСТИЯ

Берия: особое мнение из Вёшек. Борьба за Мелехова. «Поднятая целина» и Хрущев в лодке. Шифровка в Париж. Пастернак и Солженицын. Швеция: кланялись ли казаки? Книга под литерой «Д» и заступник из Осло. Литературное завещание М. А. Шолохова*

Глава первая

1954: «СОВСЕКРЕТНО» — КАНДИДАТ В НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Шолохову 48 лет. Новый руководитель партии и страны — Н. С. Хрущев — призвал писателей оставаться «подручными партии», как назвал их.

Но можно ли Шолохова сделать «подручным»? В одном прозревает и взыскует перемен. В другом сохраняет верность своим давним идеалам и мечтам, ведь выстрадал их.

Сенсации: Сергеев-Ценский и Казанова

1954 год. Всяк он для Шолохова: и привычен, ибо старое то и дело оказывается рядом, и необычен своими новинами.

21 января. С грифом «Секретно» Суслову кладут на стол письмо из Союза писателей. Читает с превеликим любопытством — такого еще не было: «Старейший писатель, академик Сергеев-Ценский получил от Нобелевского комитета предложение выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию по литературе...»

Автор письма опытный чинодворец. На всякий случай — как бы не обвинили в отсутствии политбдительности — приписал: «Нет нужды напоминать Вам о том, что Нобелевский Комитет является реакционнейшей организацией...» Но лукав, посему изложил два варианта: «Можно использовать для соответствующей политической акции: или для публичного мотивированного отказа с разоблачением этой организации, или для мотивированного выдвижения кандидатуры одного из писателей как активного борца за мир».

Письму дан ход. Через неделю Суслову передают заключение Отдела науки и культуры: «Считаем целесообразным рекомендовать через т. Сергеева-Ценского воспользоваться предложением...»

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Ему семьдесят шесть. Авторитетен среди писателей не только дореволюционным творчеством и романом «Севастопольская страда». Многие помнят, что он пребывал под политическим подозрением. Шолохов с ним не особенно знаком, но при этом имени теплел взором — читал и посему почитал.

Итак, вновь нобелевские токи. Странно получилось: они воссоединили ортодоксального партийца Суслова и опального творца Сергеева-Ценского.

Все эти премиальные секреты не могли долго — в Москве-то! — оставаться в тайне. Долетели и до Вёшек. Шолохов подумал: не иначе как такие новости сменятся горестями. Как в воду глядел. Отзвуки новых терзаний есть в дневнике многосведующего Корнея Чуковского. Здесь в феврале появляется запись: «Вчера мы с Колей были у Федина. Опять разговор о „гужеедах“, взявших в Союзе верх и называющих „эпоху Пономаренко“ идеологическим нэпом». Речь о его сыне-писателе, об идейном противостоянии среди писателей и о новом министре культуры с его либеральными поползновениями, которые не всем нравились.

Дальше — о двух творцах: «Рассказывал (Федин. — В. О.) о мытарствах Твардовского и Шолохова».

Мытарства! Неужто все начиналось сызнова — политпридирки, политцензура, политкупюры? Так и есть: «Твардовский представил начальству продолжение „За далью даль“ (для III книги „Нового мира“), и там два места сочтены надлежащими удалению».

Шолохов — чем же он не угодил? Чуковский заметил: «У Шолохова была вторая часть „Поднятой целины“ — вся ее история». Невнятна запись, можно однако предполагать появление чего-то нехорошего в «биографии» романа. Возможно, это отзвук того, что главы из второй книги проходят «карантин» сначала в Кремле, потом в «Правде».

И будет это продолжаться долго. Он продолжает писать — глава за главой, — а когда печатать будут? Каково писателю! Ждет, смиряя нетерпеливые авторские чувства и свою независимость.

Но не сломлен. Заботится, чтобы в Китай попала для перевода первая книга «Поднятой целины». Сообщает в журнал «Огонек», что «Правда» под предлогом большого объема не будет печатать новые главы — может, журнал возьмет? Просит знаменитого художника Ореста Верейского иллюстрировать эти главы. Пишет ответ одному уругвайскому писателю — рассказывает о своих творческих планах на ближайшие два года: закончить «Целину» и военный роман... Случилось и такое: он, прозаик, дает доброжелательный отзыв на одну поэтическую книгу.

Но вдруг сразу две сенсации!

Первая — 23 февраля. Секретариат ЦК, несмотря на армейский праздник, в работе. Идет заседание — протокол запечатлевает: «Принять предложение Союза советских писателей о выдвижении в качестве кандидата на Нобелевскую премию писателя Шолохова М. А.».

Союз писателей тут же обращается к Сергееву-Ценскому. Он без

всяких колебаний подписывает письмо в Стокгольм. Вспомнилось ли, как был с Шолоховым соперником на ристалище Сталинской премии. Начал: «Я весьма польщен Вашим любезным предложением. Считаю за честь предложить в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе советского писателя Михаила Александровича Шолохова...» Обосновывает без всякого политиканства: «Это — эпопея о донском казачестве в бурные годы... В превосходных реалистических картинах писатель раскрывает светлые и темные стороны жизни... Любовь и ненависть, радость и страдания героев описываются Шолоховым с большой проникновенностью, знанием жизни и сочувствием к человеку...»

В конце марта ЦК узнает, что Нобелевский комитет откликнулся. Суслову вручен перевод письма: «Уважаемый господин Сергеев-Ценский! Нобелевский Комитет с интересом принял Ваше предложение присудить Нобелевскую премию М. А. Шолохову. Так как предложения должны поступать к нам не позднее 1-го февраля, Ваше предложение дошло до нас слишком поздно, чтобы быть обсуждаемым за нынешний год. Однако Шолохов будет выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию за 1955 год».

Ждать придется 11 лет.

Вторая сенсация — Шолохов задумал новый роман, да какой! Озорной... Но что подтолкнуло к такому невероятному и трудно постижимому помыслу? Не угадать... О нем известно из двух источников. Писатель сообщает одному другу, приправив письмо пряным юмором, — начал с поэтической строки из грузинского поэта Н. Бараташвили, закончил всемирным любовником Казановой: «„И теперь, когда достиг я вершины дней своих“, думаю, что о б...х писать веселее, чем о порядочных женщинах. Ну, какого черта можно написать о порядочной? Пересохнет на лету... Глубоко убежден, что ты — второй номер после покойного Казановы — поделишь мое мнение...» Второе свидетельство — стал заполнять какую-то анкету и вывел: «Могу вам заранее сказать, что этот роман восстановит против меня всех моих читательниц. Но так как к этому времени мне будет под 60, то я смело иду на такой риск и думаю, что не очень много потеряю, утратив благосклонность моих читательниц».

Посмотреть бы на лица ханжей и пуритан из ЦК, когда до них дошел замысел члена партии и лауреата Сталинской премии!

Ортодоксы с иными установками. В «Литературной газете» Шолохов читает статью с установочным заглавием «Священный долг писателя»: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во

всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина».

Хрущеву очень не понравился призыв почитать Сталина. Тот же час пресек крамолу, потребовав снять с работы главного редактора Симонова.

Шолохов не ринулся по подсказке своей профессиональной газеты «запечатлеть» образ Сталина. Не взялся тут же за воспоминания, а ведь было что вспомнить. Не пополнил славословиями восстанавливаемую «Целину» и роман о войне.

Хрущеву нужны были сподвижники. Ему трудно было преодолеть себя во вздыбленных переоценках Сталина и сталинизма, но и обществу нелегко отречься от прошлого.

И до Вёшек долетает, как противоречива обстановка в писательском сообществе. Прощание со Сталиным... Дерзали на пересмотр прошедшего и неминуемо терзали души... Вытапывали конъюнктурные тропки к новому курсу Хрущева и являли свое историческое плоскостопие... Отрекались от Сталина, а как быть со своей жизнью при Сталине? Растерялись: какой же строкой из этой жизни можно — и надо! — гордиться, какую же вымарывать за вредность в прошлом и за ненадобность в будущем? Надо ли все приписывать Сталину — что же тогда остается народу? Быть ли отныне эпохе возрождения или времени вырождения? Проклятые своей обжигающей неотступностью вопросы — и несть им числа.

***Дополнение.** Нобелевская премия... В 1993-м прочитал в журнале «Континент» (№ 76) несправедливые слова: «С каким тщанием на протяжении 12 лет Шолохов был ведом околотературной бюрократией к Нобелевской премии...» Получается, что его талант не самодостаточен.*

На мой взгляд, вели его через тернии, как явствует из уже изложенного. А если подталкивали, то не только советские писатели. К примеру, прославленный своей независимостью французский писатель и философ Жан Поль Сартр много лет добивался этой премии для автора «Тихого Дона». Даже снял свою кандидатуру в знак протеста, что ею никак не удостоят Шолохова. Напечатал: «Достойно сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову... В нынешних условиях Нобелевская премия объективно выглядит как награда либо писателям Запада, либо строптивцам с Востока...»

Приговор для Берии

Шолохов узнает — быть Всесоюзному писательскому съезду. Второй в истории и первый без Сталина. Какие же превеликие надежды питают писатели, что смогут коллективно найти свое достойное место в жизни страны и народа. И ЦК он нужен, чтобы определить место писателей в общественной жизни.

«Правда» стала главным политнаставником для писателей и партрупором для читателей.

3 июня. Старый знакомец — Ермилов — большой ортодокс и любимец ЦК в статье «Советские писатели готовятся к своему второму Всесоюзному съезду» изрекал: «С большой художественной силой воплотила наша литература образ нового героя... Под направляющим руководством Коммунистической партии наша литература успешно... Решения партии по идеологическим вопросам с исчерпывающей полнотой определили задачи советской литературы...»

Перед Шолоховым выбор: поддержать или отвергнуть эти кондовые заклинания.

Пребывание в партии и положение члена президиума правления Союза советских писателей обязывают. При крутых поворотах истории общественность прежде всего обращает взор на великих деятелей культуры — что писали-говорили они прежде, что скажут сейчас.

Шолохов проявил себя в июне — в статье. Его попросили откликнуться на смелое деяние Хрущева — суд над Берией. Хрущеву важны такие отклики в стремлении иметь верное окружение. Боится, что не все проявят партдисциплину. Потребовал от некоторых даже специальные письменные объяснения: мол, был знаком с Берией, как относится теперь... Писали маршалы. Писал редактор «Правды».

Шолохову нечего таить — сразу же выплеснулось: «Имя Берии проклято...»

Мучительно дается статья. Сверяет свои чувства и с приговором суда — он напечатан в «Правде», и с постановлениями Президиума ЦК и партийного пленума — они изложены в передовице. Читает передовицу: «Шпион... саботаж мероприятий партии и правительства... подорвать союз рабочих и крестьян...» Читает приговор: «Антисоветские замыслы... мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем...»

Не получилось у Шолохова услужливого отклика. Не захотел тратить

на палача привычное «враг народа». Писателю достало политического чутья — чувства слова тоже — не возводить Берию в понятие, которое было изобретено во времена Сталина. Назвал диктатором — «безмерная жажда диктаторской власти». Обошелся без слова «шпион». Не написал, что разваливал народное хозяйство.

Хрущеву и другим проницательным читателям было очевидно, что Шолохов искренен в своем гневе, но своеволен в оценке. Да, Берия палач, но выведен — вот главное! — как порождение времени. Этим отличался его отклик от всех других. Писатель оказался прав. В начале 90-х годов прошедшего века признали, что Берия никакой не шпион и не саботажник.

Трудно ищется истина.

До XX съезда партии с установочным докладом Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» надо еще прожить три насыщенных особой политикой года.

У ЦК появились новые заботы — Твардовский закончил поэму «Теркин на том свете». На первой неделе июля Секретариат ЦК ее обсудил и осудил. Хрущев заявил: идейно-порочное и политически вредное произведение — подрыв-де основ советской власти. На судилище были приглашены писатели. Шолохову потом рассказывали, что с резким осуждением поэмы выступили Валентин Катаев, Алексей Сурков, Константин Федин, Александр Фадеев, Константин Симонов.

Еще бы, Твардовский даже такое вывел: «Теркин дальше тянет нить, *Развивая тему*: — А нельзя ли сократить / Данную систему?..»

Что об этом думает Шолохов, член президиума правления Союза писателей? На заседании в ЦК не был. В газетах никакого осуждения от него не последовало. Будет ли защищать? Придет время...

В этом же месяце его оповестили о возможности издать собрание сочинений. Первое! Непростое дело и для писателя, и для издателя. Заново все читать-перечитывать, помечать то, что нуждается в переделках-доработках, и думать, все ли ранние рассказы включать и не потеряла ли злободневности публицистика.

Никто не освобождал его и от депутатских дел. Особенно отягощали жизнь, изматывая душу, письма от избирателей. Почти все с жалобами: то помогите получить жилье, то попал-де в тюрьму по произволу. Таких обращений после смерти Сталина стало очень много. Всем хочется помочь — да трудно прокрутливы заскоружлые механизмы министерств и ведомств.

Вдруг пришло письмо от Левицкой. Как всегда доброе и заботливое. Он усмехнулся ее простодушию, когда в конце прочитал: «Люся на выпускном экзамене писала сочинение на тему „Типы коммунистов по

„Поднятой целине““. Все хорошо, но где-то не поставила запятую!»

Подготовка к писательскому съезду в разгаре. Среди начальствующих писателей раскол и разброд. Арбитр и заступник для них ЦК. Они забрасывают Маленкова, Хрущева, Суслова письмами.

Фадеев... Шолохов почувствовал: едва кончились прежние мытарства, как начинаются новые. Старый ареопаг стал новым штабом партии и страны. И он, этот новый штаб, отказался понять два стратегически важных документа от Фадеева: «О застарелых бюрократических извращениях в деле руководства советским искусством и литературой и способах исправления этих недостатков» и «Об улучшении методов партийного, государственного и общественного руководства литературой и искусством».

Уже заголовки говорят, что Фадеев призывает рвать с прежними порядками в партии.

В одном из этих писем есть о Шолохове: «Нельзя, чтобы Шолоховым руководил Вёшенский райком...» Райком он зря употребил в качестве примера — с ним-то у писателя давно полное согласие. Надо бы вместо райкома ЦК обозначить.

Кто Фадееву подставит плечо и станет союзником? У него в Союзе писателей два заместителя. Они всех настырнее в написании писем в ЦК. По уши в предсъездовской суете: кому поручать доклады и кого выдвигать в литначальство. Кроме того, упрямо добиваются, чтобы не Фадеев готовил главный доклад.

Работники ЦК собрали все доводы-аргументы из присланных писем — и к Суслову с предостережениями: «Фадеев предполагает отметить недостатки в работе Союза писателей и его руководящих органов...»

Шолохов. Ему рассказали, что вокруг его имени начинается возня. Кое-кто из собратьев по перу пишет в ЦК.

Одни, чтобы он не был отстранен от дел Союза писателей: «Представляется целесообразным введение в состав руководства Союза писателей Шолохова М. А. Известно, что Шолохов не имеет склонности к такого рода деятельности, но независимо от этого есть большой смысл...»

Другие против; Федор Гладков, к примеру: «Позвонил мне по телефону и грубо бросил мне фразу, что русские писатели не простят мне выступления на съезде против Шолохова... Очень прошу обратить внимание на этот симптоматичный факт». Этот донос от недруга Шолохова еще с рапповских времен.

Шолохову недосуг встречать в распри. Он по просьбе Союза писателей в качестве члена президиума правления в поездках. С чем же выезжал?

...Сентябрь. В Алма-Ате съезд писателей Казахстана. Гость поднимается на трибуну. Ему внимали по-особенному: он и автор «Тихого Дона», и представитель Москвы.

Я в тот год перешел на последний курс алма-атинского университета. По городу только и было разговоров, что о Шолохове. Необычна его речь на съезде. И по форме — никаких привычных восхвалений «пройденных этапов». И по сути — даже до студента дошло, что он в предощущениях новой жизни бродит новой закваской. Как нынче понимаю, он взял на себя смелость призвать к отказу от партпресса. Это подвиг. Но это, однако, часть правды. Он до конца жизни не расставался в речах и статьях со словами о партийности, ибо верил, что только она залог праведных для литературы понятий идейности и народности.

В президиуме съезда Л. И. Брежнев — будущий, на долгие десятилетия, глава партии и страны. Молод, красив и играет бровями — они у него так густы, что, кажется, шуршат. Он недавний секретарь ЦК компартии Казахстана. Впервые видит Шолохова. Этот оратор ростом невелик, на вельможную жестикуляцию не горазд и говорит-то как непривычно, но разве не опасно для устоев?!

Отказал литературным критикам в незыблемом со времен Сталина праве использовать мощь своих идеологических перьев, как выразился, «не в помощь писателям, а на его уничтожение».

Провозгласил невозможное при Сталине право писателя в случае творческой неудачи на «дружескую помощь», «широкое творческое обсуждение».

Призвал относиться к творческой молодежи не только с «отцовской требовательностью», но и — как непривычно! — с «бережливостью». Сказал: «Не ломать крылья».

С добром назвал имя Мухтара Ауэзова, тогда политически опального у местных партбонз казахского писателя. Его клеймили как «буржуазного националиста». «Правда» несколькими днями раньше дала огромную статью «Абай Кунанбаев», где ни слова об Ауэзове, который главным делом жизни считал свой роман об этом великом казахе.

Защитил казахского писателя Сабита Муканова от политизированной критики в «Литературной газете».

Напомнил «ареопагу», что писательская жизнь состоит не только из общения с музами. Заговорил о том, о чем не принято было распространяться: о благополучии тружеников пера, о гонорах.

Высказался — без единого доброго слова — о повести Ильи Эренбурга «Оттепель». Все жадно читают и в горячке мнений обсуждают эту повесть.

Любимого молодежью Симонова тоже не поддержал. Проехался по нему из-за того, что тот самым первым восхвалительно откликнулся на «Оттепель». Нынче достоинства этой повести подзабыты. Не случайно политэмигрант Андрей Синявский писал: «Почитайте кумиров конца 50-х — 60-х — скажем, „Оттепель“ Эренбурга. Говорить о расцвете литературы на основании этой, да и других вещей, невозможно. Подъем был скорее политический, нежели творческий». Мир тесен — нередко до хруста в костях: жизнь, увы, столкнет на узкой политической дорожке Шолохова и Синявского. Но об этом дальше, когда попадем в 1966 год.

Была и такая шолоховская филиппика: «Когда писатель создает идейно-порочное произведение и под тем или иным предлогом пытается протащить политически вредные народу и партии „идейки“, я за то, что здесь надо критиковать „на уничтожение“. Тут можно не стесняться в выражениях и орудовать пером, как разящим мечом».

От страны скрыли эту речь. «Правда» для репортажа из зала съезда расщедрилась на подвал. Но из речи посланца Москвы осталась всего дюжина слов: «Съезд ваш проходит под знаком острой творческой критики недостатков в работе писателей Казахстана». Шолохов огорчился: все свели только к Казахстану. Цензура!

Он пожаловал к нам в университет. Актовый зал битком... Никакой вступительной речи! Поразил тем, что охотно отвечал на множество вопросов. Не смутился — ведь у взыскующих университетчиков они остры. Эх, я не догадался взять блокнот. Помнится спустя полвека, жаль, немного: язвительность, с какой он перечислял имена писателей плодovitых, но не даровитых, как доказало время. И ведь прав оказался. А тогда многие протестующе бухтели.

Его заманила к нам группа студентов-филологов. Одна из них — Нина Устинова — почти через полвека передала мне свои воспоминания: «Мы проникли к нему в гостиницу... Нет, не оставил он впечатления благости, благополучия и величия классика, наоборот, усталость, раздражение, как бы я сейчас сказала, внутренний дискомфорт... Он ходил по тесной комнате. Явно не в духе, какой-то взъерошенный, в голубой рубахе, без галстука... Запомнился жест: небольшая ладонь не без изящества касалась усов. Угощал нас яблоками, которые стояли в вазе на столе... Наши вопросы типа „над чем сейчас работаете?“ он легко оставлял без ответа. Не вызвало никакой его реакции, что несколько студентов пишут дипломные работы по его творчеству... Прощание (за руку!) сопровождалось его подшучиванием над двумя нашими парнями: „ввиду малочисленности не забудьте, что вы мужчины“».

Писатель перед нами, студентами, никаких обид не обнажал. Днем раньше в «Правде» на два подвала появилась статья с рассуждениями и с примерами к рассуждениям о великих заслугах советской литературы. Шла генеральная строчка: «Эти произведения учат советских читателей...» К ней — реестр имен и произведений: Горький, Маяковский, «Как закалялась сталь», «Педагогическая поэма», «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» и еще, еще. Не было только «Тихого Дона», а «Поднятая целина» — лишь упомянута. Выходило, что писатель-академик главным своим романом в учителя не вышел. Шрам к шраму, и так всю жизнь.

Потом его дорога лежала в Киев — с такой же представительной миссией на такой же писательский съезд. И здесь явил себя еретиком.

Суслов — Хрущев — Суслов

Все новые странички заполняются для новых глав «Целины». С какой легкостью читаются первые строки второй книги, но как тяжело давались они взыскательному перу. Как красивы светлые пейзажные краски и как чернится бумага от зачеркиваний-перечеркиваний после поиска писателем нужных слов... Мария Петровна первой знакомилась с этой манящей живописью: «Земля набухала от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких, болотистых низин вставали туманы...» (Кн. 2, гл. I).

Когда же первые главы из этой книги пойдут в печать?

В «Огоньке» то, что прочитали, понравилось и тут же было запущено в работу; вызвали даже художника. Правдисты тоже стремительно проглотили новое творение. Шолохов для них всегда престижный автор, да и радость для подписчиков. Но перепугались! Видимо, ждали сцен счастливой колхозной жизни, а читают про Якова Лукича с его политическими сомнениями и про двух открытых врагов советской власти Половцеве и Лятевском. И вторая глава с тем же. Даже в третьей главе, где появился Давыдов, все Лушка да Лушка, но ничего о передовиках-ударниках.

Отправили рукопись в ЦК, Маленкову. Он отказался быть судьей. Посоветовал передать рукопись Хрущеву. Тот определил, что право первому читать новые главы — за Сусловым, бессменным после Жданова главным идеологом, а значит, главным цензором. Неделя, другая, третья... Шолохов не выдержал — взялся за телефон, чтобы напомнить о рукописи.

Суслов, которого совсем не зря называли «серым кардиналом», поразил: оказался и непочтительно краток, и неприлично резок. Он нашел хитрый предлог для отказа: общеполитическая газета не может печатать романы. «Забыл», что для «Правды» отрывки из романов Шолохова — давняя, к радости читателей, традиция.

И тут же новая неприятность — «Огонек» отложил публикацию. Можно понять редакционное начальство: былые нравы не искоренены — живут с оглядкой на партначальство.

Но не для Шолохова этот порядок. Восстала душа. Решил, что надо идти за справедливостью к Хрущеву.

Встретились. Какой контраст Сталину! Обаяние выходца из рабочих низов, просторечие, то и дело перчик в выражениях, но волны несдержанности, небрежен в одежде, суетлив в жестах, явная неначитанность, обильные штампованные заверения, что ЦК и классику надо быть вместе. Словом, сердце яро, места мало, расходиться негде.

— Читать главы? Меня и Суслов просил. Вот быть отпуску! И тогда я обязательно рассужу вас и Суслова — не надо вам ссориться.

Спустя время, когда сошлись поближе, Шолохов выслушал поразительные признания и, хочешь не хочешь, стал сравнивать с литературным багажом Сталина:

— Мне столько читать приходится всякого — для художественной литературы нет времени. Не скажу, не хватает, а просто нет. Документы читать — глаза устают, в голове будто кто молотком постукивает. Помощников заставляю читать. Они у меня мастера. Особенно Лебедев. Все лишнее опускают...

Хрущев пооткровенничал, как его знакомили с новым сочинением Шолохова:

— Чтец Лебедев не очень искусный. Не сразу со слуха вникнешь в содержание. Я на него поглядывал. Гляжу, увлекся. Местами, смотрю, едва улыбку сдерживает. А вообще он не из улыбчивых. Читал так, что и меня увлек...

И такую тайну открыл:

— Читал он мне в море. Отплывали от берега на лодке, слегка покачивает на волнах, того гляди, усну. А не уснул. А потом потребовал первую книгу и в два дня прочитал.

Стал давать роману свои политические оценки — и был, как Шолохов убедился, проникателен:

— Ох, Михаил Александрович, лукавый ты человек. Вспомни, как беднота кулацкое имущество делит. Вроде вот тебе сочувствие бедным, а

подумать, так ты заложил все объяснения нашей беды в колхозах. Умелых уничтожали, а неумехам где же страну накормить.

Вернулся к аппаратным игрищам — напомнил: «Вопрос Суслов остро поставил — ни к чему печатать романы Шолохова в газете». Но выказал характер: «„Правде“ не зазорно печатать Шолохова».

Шолохов отомстил Суслову — позвонил и сказал: «Как вы полагаете, Михаил Андреевич, „Правда“ как общеполитическая газета уронила себя?..» Суслов смолчал.

...Месяц оставался до открытия писательского съезда. ЦК без устали руководит подготовкой. Неослабно внимание, и крепок контроль. Шолохов не обделен ни тем ни другим.

Маленкова знакомят с письмом одного писателя — главное в нем: «Многие советские люди, думая о приближающемся съезде писателей, надеются увидеть на его трибуне основным докладчиком самого крупного и любимого писателя нашего времени Михаила Шолохова. Между тем руководство Союза писателей во главе с А. Сурковым даже не обратилось к Шолохову с просьбой сделать основной доклад (или хотя бы доклад о прозе). Впечатление такое, что руководство Союза писателей почему-то отстраняет Михаила Шолохова от руководящей литературно-общественной деятельности».

Автор письма ничего не добился. В резолюции никакого желания что-то предпринять: «Тов. Суслову М. А. Прошу ознакомиться. Г. Маленков». И ясно, по какой причине бояться дать Шолохову программное слово: как был неуправляемым своедумцем, так им и остался.

У «Правды» та же тактика — «не замечать» Шолохова. В конце октября очередная предсъездовская статья — огромная: подвал. Даже заголовок являет собой стратегическое обобщение — «Живые герои советской литературы». Автор Борис Полевой. В статье названы герои Горького, Н. Островского, Фадеева, Ал. Толстого... Нет Шолохова. Он, наверное, отбросил газету и чертыхнулся.

Через день еще подвал: «О главном герое». Какой-то мало известный критик превозносит главных героев книг Фадеева, Горбатова, Василия Ажаева, латыша Упита... Из двух романов Шолохова выдернул одного персонажа — Давыдова; Мелехову — любимцу миллионов — не место в главных; все еще жив приговор: отщепенец.

Те, кому ЦК доверил подготовку докладов, верны тем же суждениям. Секретарь Союза писателей поэт Алексей Сурков передал партначальству тезисы главного доклада: называются лучшие романы, повести, сборники рассказов... Есть и Шолохов. Единожды упомянут в разделе «О

тружениках деревни» — в списке, чохом, в нелепом сочетании прозы и поэзии, больших и малых творцов: «Шолохов, Панферов, Бабаевский, Твардовский, Грибачев, Недогонов...» Симонов тоже представил в ЦК свой доклад «Советская проза»: многословно о творениях Панферова, о Шолохове же проходное упоминание.

1 ноября — очередная статья в «Правде» «Во имя жизни и мира». Похвалы романам многих писателей. Шолохов обойден анализом творчества. Названа лишь фамилия. Экий автор статьи! Видно, чувствует, что ЦК не нацелен славить «Тихий Дон». Все та же стратегия — упрощение строптивого.

На следующий день здесь же выступил тогдашний руководитель Союза писателей поэт Николай Тихонов со статьей «Ближе к жизни». Восхваляет Полевого, Симонова, Шагинян, Горбатов, Кочетова, Гранина, донца Анатолия Калинина... Нет Шолохова. Получается, что его перестали считать «близким к жизни».

10 декабря. Еще один смотр рядов. Некий полковник взялся за анализ военной темы в большой статье. Как в парадном расчете выстроил целый взвод: Фадеев — «Молодая гвардия», Леонов — «Нашествие», Корнейчук — «Фронт», Полевой — «Повесть о настоящем человеке», проза Симонова, Казакевича, стихи Суркова, Алигер... Шолохов в списках не значится. Будто не было в войну рассказа и глав из военного романа.

Дополнение. Работая над второй книгой «Поднятой целины», Шолохов не мог не вспомнить замечаний Сталина по первой: «В беседе со мной обратил внимание на необходимость очищения языка моих произведений от неполноценных, сорных слов. Например, обратил внимание на начало 34-й главы „Поднятой целины“: „Сбочь дороги — могильный курган...“ Что за слово „сбочь“? — говорил товарищ Сталин. — Нет его у нас в русском языке. Есть слово „сбоку“, есть „обочина“».

Дисциплинированные редакторы, как выявил шолоховед Г. Ермолаев, исполнили указание вождя и исключили это слово — полностью в «Целине» и в 30 случаях в «Тихом Доне». После смерти Сталина Шолохов восстановил прежнее изъятие.

Поражение

Новый писательский съезд — старые традиции. Увы, писатели перед съездом разобщены. Зато ЦК монолитен. Он изложил в закрытой директиве

руководителям Союза писателей свои требования четко и ясно: «Съезд должен подчеркнуть особое значение Союза писателей как творческой организации, призванной бороться за проведение политики партии в области литературы, за повышение идейно-художественного уровня творчества, повседневно заниматься идеологическим воспитанием писателей. Съезд призван еще больше объединить и сплотить писателей...»

Заранее скажу: Шолохов отказался поддержать эти директивы в таком политизированном виде — и потерпел на съезде тяжкое поражение.

15 декабря 1954-го «Правда» выходит с шапкой на первой странице: «Сегодня в Москве открывается второй Всесоюзный съезд советских писателей». Здесь же и передовая статья «Литература советского народа» — без Шолохова. Газета пестрит многочисленными приветствиями съезду от писателей — к Шолохову за этим редакция не обратилась. Статьи: Федина на два подвала, Катаева... Нет в них упоминаний Шолохова. Фотографии, фотографии делегатов. Нет Шолохова. 16 декабря. В «Правде» помещены снимки со съезда, президиума тоже. Во втором ряду от стола — скромненько, не сразу и различить — сидит Шолохов. Напечатали изложение доклада. В нем несколько разделов и десятки, десятки — не сосчитать — имен. Раздел «Социалистический реализм — наш метод творчества»: в нем названы произведения Алексея Толстого, Константина Федина, Всеволода Иванова, Валентина Катаева, других. Шолохов представлен Давыдовым из «Поднятой целины». Из творца с мировым именем все сотворяют автора одного произведения.

Шолохов выступает. В газете его речь переложена всего в 22 строках. Кое-кому места доставалось намного больше, например Эренбургу. Пропололи шолоховскую речь в угоду ЦК, и миллионы читателей узнали немногое: «М. Шолохов посвятил свое выступление вопросам повышения писательского мастерства. Основную причину серьезных недостатков он видит в ослаблении требований писателей к своему труду и снижении оценочных критериев, установившихся среди критиков. М. Шолохов сделал ряд критических замечаний о творчестве К. Симонова и И. Эренбурга, а также в адрес „Литературной газеты“ и ее редактора Б. Рюрикова. Писатель сказал, что существующая система литературных премий нуждается в пересмотре. Заканчивая свое выступление, Шолохов заявил: „Каждый из нас пишет по указке своего сердца. А сердце принадлежит партии и родному народу, которому мы служим своим искусством“».

Взбешен оратор. Речь — кроме последних двух фраз — была совсем другой. Он отверг традицию благостных выступлений, вконец

расплюснутых от многолетнего употребления: «Наш съезд протекает прямо-таки величаво, но, на мой взгляд, в нехорошем спокойствии. Бесстрастны лица докладчиков, академически строги доклады, тщательно отполированы выступления большинства...»

Каково выслушивать это «полировщикам» из ЦК, которые заняли привычные для себя места: одни в президиуме, другие в рабочих съездовских комнатах. «Правильные» доклады и речи многих демонстрируют верность отживающим порядкам. Того, кто мог отважиться на «неправильные», укротили еще до съезда. Например Фадеева. На предсъездовских посланиях Фадеева в ЦК «погребальная» резолюция: «ЦК КПСС считает неверной общую пессимистическую оценку, которую дает советскому искусству и литературе т. Фадеев». Шолохов позволил себе не согласиться с мнением ЦК. Он поддержал настроенность Фадеева. Зал услышал:

«...Неужели все вопросы, которые волновали нас в течение двадцати лет, уже решены и нам остается только подбить итоги достижений и наделанных за это время ошибок?..»

И пошли упреки — один за другим — серьезнейшие, позиционные:

«Остается нашим бедствием серый поток бесцветной, посредственной литературы...

Была ли напечатана хоть одна критическая статья, в полную меру, без всяких скидок, оговорок и оглядок выдающая должное какому-либо литературному мэтру за его неудачное произведение? У нас не может и не должно быть литературных сеттльментов и лиц, пользующихся правом неприкосновенности...

Мы обязаны ходатайствовать перед правительством о коренном пересмотре системы присуждения премий работникам искусств и литературы, потому что так продолжаться не может...

„Литературной газете“ нужен руководитель, стоящий вне всяких группировок и группировочек, человек, для которого должна существовать только одна дама сердца — большая советская литература в целом, а не отдельные ее служители, будь то Симонов или Фадеев, Эренбург или Шолохов...»

И еще, еще критика. Потом перечислил, как выразился, «подлинно талантливые произведения». Выделил при этом совсем не схожих своими творческими и политическими устремлениями творцов. Доказал широту своих взглядов: мол, хоть и идейно-творческий табачок врозь, а читать интересно. Это и давний недруг Федор Гладков, но и Леонид Леонов, старая идеологическая заноза для ЦК. Это Александр Твардовский с его

начинающимся противопоставничеством власти и демонстративно аполитичный Константин Паустовский. Это опальный у себя в Казахстане Мухтар Ауэзов и заблиставший своими «Окопами Сталинграда» Виктор Некрасов, будущий политэмигрант. Это весьма ортодоксальный Петр Павленко, Александр Фадеев и проявившийся как писатель после войны украинец Олесь Гончар, старейший поэт из Белоруссии Якуб Колас и латыш Андрей Упит. С особым уважением отозвался о Валентине Овечкине, авторе смелых очерков «Районные будни» о необходимости решительных перемен в руководстве сельским хозяйством.

Сошел с трибуны. По газетному отчету не узнать, снискал ли аплодисменты. Зато перья перестраховщиков рьяно закрипели... Правдисты, как уже знаем, взялись опреснять речь. Работники Отдела науки и культуры ЦК поспешили с донесением начальству. Воссоединили в своей записке два неугодных выступления — Шолохова и Овечкина: «Необоснованно дали отрицательную оценку современной советской литературе. Их критика имела односторонний характер... Отвлекали съезд от серьезного обсуждения важных творческих вопросов...» Каково: отвлекали!

Последний день съезда. Литературное начальство заготовило проект постановления. Он просмотрен в ЦК и, понятное дело, «отполирован».

Обсуждение... Голосование... Шолохов будто и не выступал. Зал послушно голосует за постановление, в котором так много стародавнего: «Инициативная деятельность Союза писателей, который за истекшие два десятилетия полностью оправдал себя... Советскими писателями созданы художественные произведения, отразившие пафос... Величайшим завоеванием художественной культуры...»

Ему отвратительна эта риторика, которая и впрямь залоснилась от длительного употребления. И каково осознавать свою не востребованность. Нелегко сдирать привычную кожу. Год назад написал к 50-летию КПСС умильную, не больше того, статью с умильным же заголовком «Вечно здравствуй, родная партия!». В ней одни восторги. Ничего от присущего Шолохову правдописания — сплошь правописание. Будто не пребывал, и тогда тоже, в мучительных терзаниях.

Увы, ЦК отклонил его желание помочь обновить отношение партии к литературному сообществу.

Шолохова пытаются держать под контролем и после съезда. Не нравится его независимость. Выступает перед избирателями — и едва заговорит о литературе, речь сразу непривычная: «Вот многие торопят — напиши и роман о Ростсельмаше, и пьесу. Недавно получил письмо из

Китая: просят написать очерк о коллективизации, чтобы помочь социалистическому строительству нового народного государства. А я так думаю: лучше, чем сегодня отделаться очерком, — завтра закончить „Поднятую целину“».

Вскоре грянул гром. В ЦК пришло сообщение из Пекина, от советского посла: «В декабре прошлого года М. Шолохов прислал на конкретную просьбу „Женьминь Жибао“ письмо, в котором пишет, что в короткой статье трудно что-либо написать, так как „все в миллиардном движении масс, подобном стихии, — величественно, все ярко, и взятые отдельно краски из могучего полотнища жизни не дадут всей картины“». ЦК не оставил без внимания сигнал посла — в Союз писателей направлено предписание: «Примите меры».

Конец года — в одном из писем Бориса Пастернака появляется фамилия Шолохова в связи с Нобелевской премией: «Люди слышали по ВВС (английское радио Би-би-си. — В. О.) будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласие представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не завершен. Но ведь все это болтовня...»

В декабре вёшенец отчитался перед одним москвичом: «Пользуясь зимней порою, работаю, как волк на овечьем базу: грызу, рву, уничтожаю то, что не по душе, но все-таки продвигаюсь вперед». Добавил: «И довольно успешно».

Некоторые главы второй книги «Поднятой целины» он переписывал по семь и даже десять раз.

Глава вторая

1955: ВЫВОЛОЧКА ЗА ПРИЗЫВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Особое новогодье выявляло себя за новогодним столом. Домашние вспомнили — в этом году грядет мужу и отцу полувек!

Инсульт

Шолохов не очень любил следить за суетами международной жизни. Ныне в ней было слишком много от неугомонного Хрущева. Это и угрозы империализму — не без блефа, чтобы предостеречь от милитаристских замыслов. Это и, чтобы расколоть стан противника, тонко найденный ход — искать союзников в среде международной прогрессивной общественности и в бедных странах.

...Февраль. Депутат Шолохов голосует на сессии Верховного Совета за Декларацию по укреплению международного доверия.

И тут же решил обратиться к деятелям мировой культуры со страниц первого номера нового журнала «Иностранная литература». В письме — призыв к сотрудничеству. США и СССР выделены. Шолохов рискнул предложить непривычное для времени холодной войны: «У писателей всего мира должен быть свой круглый стол. У нас могут быть разные взгляды, но нас объединяет одно: стремление быть полезным человеку».

Как отозвались за границей? Многие поддержали, и в их числе такие в то время известные творцы, как Эрве Базен, Андре Моруа, Альберто Моравиа, Уильям Фолкнер, Франсуа Мориак, Говард Фаст, Рокуэлл Кент...

Как отозвались в ЦК? За спиной Хрущева, но по благословению коснеющего Суслова состряпали попрек главному редактору журнала: «Обратить внимание т. Чаковского на то, что налаживать контакты и сотрудничество с деятелями буржуазной культуры следует без идеологических уступок...»

Шолохову по секрету рассказали об этом предостережении замшелых ортодоксов. Не испугали. Не собирается уходить от тревог и забот времени.

...Получил письмо одного видного тогда литературоведа Корнелия Зелинского. В нем о продолжающемся позорном отлучении Есенина от народа: «Что-то странное... Все делается для того, чтобы замолчать и

забыть поэта... Его стихи фактически запрещены для исполнения по радио... Более чем за четверть века о Есенине не появилось ни одной серьезной статьи...» И попутно рассказал Шолохову, что написал книгу о великом поэте.

Читал с горечью — ведь тоже любил Есенина. Тут же за дело — отправил письмо в издательство «Художественная литература»: «Почему бы не издать книгу о Есенине? Большой русский поэт, и о нем ни слова... На мой взгляд, работа заслуживает внимания». Замечу: быть и далее усилиям Шолохова, чтобы Сергей Есенин занял подобающее место в отечественной культуре.

Середина февраля. Еще одна забота писателя выражена в письме — сообщил детскому писателю Петру Стародумову: «Собрался к Вам в Сибирь и, в частности, на Ангару...» Что же тянет в далекие земли? Явно не только желание попутешествовать. Встревожен, что тогдашняя «великая стройка коммунизма» — Ангарская электростанция с плотиной-гигантом — навредит природе: «Что там наделали с чудесной рекой?» Припомнил опыт такой же «великой стройки» в своих краях: «Неужто и на Ангаре будет действовать, по примеру нашей Цымлы, рыбоподъемник, куда заходят только те осетровые, которые имеют законченное высшее политехническое образование?»

Но вдруг опомнился — не быть этой поездке, потому оправдывается: «Держит за штаны вторая книга „Целины“». Однако же задумал и без поездки что-то, для чего понадобились ему дополнительные сведения: «Не поленитесь и напишите подробнее о всех изменениях, кои происходят на взнуздываемой Ангаре».

Март. Также обжигающие заботы. Занялся реабилитацией — пусть и посмертной — своего друга конструктора-оборонщика, зятя Левицкой. Обратился с письмом в Комиссию партийного контроля при ЦК: «Тов. Клейменова Ивана Терентьевича я знал с 1930 г. В течение восьми лет почти ежегодно он и погибший в Отечественную войну писатель Кудашев В. М. приезжали ко мне в ст. Вёшенскую отдыхать и охотиться. Всех нас связывала большая дружба, и как друзья мы всегда держались запросто, но никогда ни разу за все восемь лет я не слышал от Клейменова антипартийного слова или даже намек на него.

По моему глубочайшему убеждению, Клейменов — безгранично преданный партии и чистый коммунист — стал жертвой происков подлинных врагов народа.

В 1938 году я ходил к Берия по делу Клейменова. Будучи твердо уверенным в том, что арест Клейменова — ошибка, я просил Берия о

тщательном и беспристрастном разборе дела моего арестованного друга. Но Берия при мне, наведя по телефону справки, сказал, что Клейменов вскоре же после ареста расстрелян.

Верю, что ознакомившись с „делом“ Клейменова, Комиссия Партийного контроля при ЦК КПСС посмертно реабилитирует убитого врагами коммуниста Клейменова И. Т.».

Весна выдалась нехорошей во многих смыслах. Это даже отразилось в письме вдове Клейменова, где писал о том, что продолжает бороться за реабилитацию ее мужа: «Стоит у нас дикая, атомная зима. Дон вскрывался за зиму дважды, чего не помнят древние старики. Уже в течение 3-х недель на Дону — непрерывный ледоход. Все речки „играли“ по несколько раз, и мы уже давно отрезаны от внешнего мира. Самолеты почтовые не летали все время из-за дурной погоды...»

Неужто это мрачная стихия накликала беду — негаданную? Инсульт! Удар, как говорили в старину. Первый с таким диагнозом. Но уже второй — военная контузия! — удар по работоспособности. Сильный характер, однако, совладал с этим. Не было никакой паники. Выкарабкался и старался не придавать значения сигналу свыше. Такое настроение отразилось в весточке Левицкой: «Долго и зло хворал. Началось с гриппа, а закончилось осложнением, и я едва не остался калекой (что-то случилось с правой ногой, нечто вроде паралича, но сейчас уже научился ходить, хотя и с трудом)...»

Такое вот перенес, а по-прежнему драчлив в литературных схватках. Вставил в письмо отклик на съезд. Стал пояснять, что не было чего-то «крамольного», как сам написал, в его речи против Федора Гладкова: «Не верьте Гладкову...

В опубликованной стенограмме — все как было, за исключением изъятых мелочей. В частности, я дружески советовал „голому королю“ не обижаться на критику, а „одеться“ поплотнее и не в фасонистую, а в добротную „одежду“, только и всего». Шолохов зря приbedняется — критика перехваленного властью писателя (дважды подряд год за годом лауреат Сталинской премии) получилась край как колючей.

Из Москвы в ответ приободряющая весточка от Левицкой — «давление» Шолохова на Комитет партийного контроля по «Делу Клейменова» возымело действие: «Ваше письмо произвело большое впечатление и двинуло дело вперед».

Добавила: «Вы — настоящий друг».

И читалась эта фраза как указ о присвоении самого высшего у человечества звания.

Дополнение. Любовь Шолохова к Есенину стала известна в семье наследников поэта. Потому-то от его сестры Екатерины придет в Вёшки «деловое» письмо в октябре 1964-го: «Дорогой Михаил Александрович! Издательство „Советская Россия“ готовит к выпуску однотомник С. А. Есенина, в который войдут почти все произведения поэта. Мне поручено составить этот сборник, и я очень бы хотела, чтобы Вы написали предисловие к этому тому. Вам доступно понимать творчество Есенина. Если будет возможность, не откажите. С глубоким уважением, сестра поэта С. А. Есенина».

Как сказала-то — «доступно понимать»!

Юбилей

«Поднятая целина», вторая книга... Пополнилась рукопись монологом Щукаря. Да таким, что цензура долго будет обливаться потом — «пускать или не пускать» этакую усмешливую двусмысленность: «Много я разных брошюр прочитал... после социализма припожалует к нам коммунизм... Тут-то меня и одолевает сомнительность, Кондратушка... В социализм ты входил, слезьми умываючись, а в коммунизм как ты заявишься? Не иначе как по колено в слезах прибредешь, уж это как бог свят!» (Кн. 2, гл. XXII).

И прежняя шолоховская живопись: «Спускался благодатный дождь... Теплые, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в туманной тишине землю, белыми пузырями вспухали на непросохших, пенистых лужах; и так тих и мирен был этот легкий негустой дождь, что даже цветы не склоняли головок, даже курицы по дворам не искали от него укрытия...» (Кн. 2, гл. IV).

Его писательская палитра, несмотря на инсульты, по-прежнему щедра. Рождались новые присловья-поговорки. Для Лушки придумал: «Умный и с дураком умный, а дурак и с умным вечный дурак». Для Аржанова придумал: «У черкесов — сердце, а у русских вместо сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые».

Жаль, что житейская суэта то и дело отвлекает его от писательского стола. Впрочем, эти отвлечения — суть характера.

Принялся защищать одного молодого писателя от обвинений в политической ереси. Но творческими принципами не поступился: «Никакой „крамолы“ в рассказах нет, все это выдумывают досужие „мыслители“». Рассказы просто по-детски беспомощны, только и всего».

Снабдил коллегу советом: «Если хотите посмешить читателя, — не злоупотребляйте юмором и гиперболой... То и другое отпущено Вами в лошадиной дозе. Так нельзя».

Новое чтение — опять присланы рассказы. Остроумен в отзыве: «Сюжет разворачивается, как изношенная пружина...»

Пообщался с вдовой Николая Островского, проведаль!

По-доброму оценил иллюстрации к «Левше» Лескова престарелого художника Николая Кузьмина, будущего лауреата Ленинской премии.

Все это и немало другого приходило к вёшенцу в эти зимние месяцы. Так преодолевал инсульт.

Апрель. ЦК не забывает писателя Шолохова. Памятливость эта, как знаем, через раз с лихом. Ныне принято постановление «О награждении писателя Шолохова М. А. орденом Ленина». Вскоре Президиум Верховного Совета издал следующий указ: «За выдающиеся заслуги в области художественной литературы, в связи с пятидесятилетием со дня рождения наградить писателя Шолохова Михаила Александровича...»

24 мая. «Правда» почтила от имени партии и правительства его юбилей — напечатала указ и разверстала подвалом редакционную статью. Писателя трагедийного дара и светлых художнических чувств превратили в жреца соцреализма и партдогматизма: «Героическая романтика революционной борьбы... Шолохов — глубоко партийный писатель... „Поднятая целина“ стала настольной книгой у тех, кто строит социализм...»

Шолохов в своих даже обычных в писательском общении поздравлениях выражал себя наособицу. В эти дни отослал телеграмму Сергееву-Ценскому: «С истинным наслаждением прочитал „Утренний взрыв“. Дивлюсь и благодарно склоняю голову перед Вашим могучим, нестареющим талантом. Ваш Шолохов».

Время начало отсчитывать второй полувек шолоховской жизни...

Глава третья

1956: ПРОТИВ ОТЖИВШИХ ТРАДИЦИЙ

Подступило для Шолохова время определиться — во всеуслышание — каким он представляет себе после смерти Сталина взаимодействие партии и писателей.

Признания в Киеве

Шолохов в «Правде» поздравил свой цех — деятелей культуры — с вступлением в новый год. И начал необычно: «Не хочется повторять давно уже всем известные истины... Сухая это была бы закуска к новогоднему столу!» И закончил на свой особый шолоховский лад: «Молодым — творческой зрелости, зрелым — молодого задора и упорства в постоянном стремлении к совершенству».

Видимо, не случайно обратился к литературной молодежи. Мэтр из Вёшек готовится поучаствовать в работе Всесоюзного совещания молодых писателей. Его учредители и радители — ЦК ВЛКСМ и Союз писателей. Собрали одаренных литераторов со всей страны. К ним прикрепили лучших творцов. Но намечены не только семинары. В первый день общая встреча — шли наказы-пожелания от устроителей. Шолохов вошел в число главных наставников. Был краток — в отличие от других предстал не назидателем.

Начал не без ехидцы: «Мои друзья из нашего писательского руководства ставят меня иногда в неловкое положение. Дескать, тебе необходимо выступить. А о чем? Ну, о том, что писательский труд не легкий...»

Далее, однако, предостерег от зуда бравурной конъюнктурщины. Тогда в угоду Хрущеву навязывалась одна тема — о целине да о целинниках. Явно вспомнил свою поездку в те места и пошел наперекос требованиям партагитпропа: «У нас вот шарахнулись и пожилые и молодые на целину за темами и сюжетами. И мы видим, результат не так уж хорош, а зачастую просто плачевный».

Продолжил под оживление в зале: «Не оставайтесь в литературе до старости в детских коротких штанишках!» Но тут же добавил: «Хотелось бы вам пожелать, чтобы вы в литературе не остались перестарками.

Известна такая категория девиц, которые долго не выходят замуж. Пусть скорее приходит к вам творческая зрелость. Пусть она радует не только нас, писателей, но и читателя, огромного и требовательного, настоящего читателя, какого, пожалуй, нигде в мире еще нет».

Завершил возвышенным требованием: «Надо приблизить творчество к своему сердцу и горячо любить нашу трудную профессию. Еще раз напоминаю вам: как бы ни было трудно на первых порах, не гонитесь за легким успехом. Вы — наше будущее. За многими из вас уже стоит настоящее, но будущее, будущее писателя, есть у вас всех. Вы — великолепные представители великолепного народа. Желаю вам добра, успехов, больших свершений, дорогие мои друзья!»

Пока был в столице, кто-то из всегда всё знающего литначальства таинственно шепнул: жди, мол, от Хрущева чего-то необычного. И в самом деле, учудил Хрущев. Горазд был на эксцентрику. В конце января Секретариат ЦК принял постановление «О выдвижении кандидатов на Нобелевскую премию мира: Принять предложение Министерства высшего образования (т. Елютин) о выдвижении на Нобелевскую премию мира тт. Скобельцына Д. В. и Шолохова М. А.».

Усмехнулся на это: ЦК уж шибко переоценивает силу своих постановлений — они на мировую общественность не действуют. Никогда и не вспоминал сию тщеславную хрущевскую затею.

Да, не прост Хрущев. То уподоблялся бульдозеристу, то представал сеяльщиком.

24 февраля. Предпоследний день очередного XX партсъезда. Делегат Шолохов на вечернем заседании слушает неожиданный для большинства доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях». Это первая попытка от имени ЦК развенчания роли Сталина в истории великой страны.

Шолохов... Какие же переживания в его душе в это предночье. Лично знал Сталина... Сколько свершений связано с вождем... С его именем народ шел на подвиги в труде, под фашистские пули на войне, на расстрелы в своих — советских — застенках... От него голодомор... При нем коверкали цензурными ножницами его произведения... Но ведь и замечал-ценил... Ни одного доброго слова не услышал от Хрущева о Сталине, а справедливо ли это?.. В недавней поездке в Киев Шолохов сказал среди писателей о том, в чем никогда до этого не признавался публично: «Меня достаточно много били...» Проявил и мужественное прямотушение: «... и достаточно незаслуженно хвалили».

Двумя днями раньше он стоял на этой же трибуне, где сейчас Хрущев.

Он шел тогда держать речь, а встречу ему не только взгляд Хрущева, того, кто готов будет замахнуться на самого Сталина. В президиуме сталинская гвардия — ареопаг! — Молотов, Каганович, Маленков... Давно знают писателя — неуправляем! Вряд ли забыли его острые выступления на партийном съезде в 1939-м и на недавнем писательском съезде.

Он и на этот раз не изменил себе:

— Я обязан сейчас, с глазу на глаз со своей родной партией, говорить о литературе пусть горькую, но правду...

Речь — антисталинистская — не была антисталинской. Не содержала ни призывов к гробокопательству, ни скрытых или явных вздохов-сожалений, что совсем скоро на иконе будет зачернен нимб. Он не унизил себя линькой в одночасье. И не клялся в любви к новому руководителю страны. И не стал осторожничать — для критики избрал не «отдельные недостатки».

Он призвал покончить с порочной традицией вторгаться в творчество:

— Никаких впредь заданий по «валовому» охвату писателей злободневными темами...

Еще фраза, и державных идеологов покорежило, когда услышали, что тормоз для творчества — стародавние порядки, а ответственность на них, на главных партийцах:

— Нет и не будет в ближайшее время добротных книг, если положение в литературе не изменится самым коренным образом, а изменить его может только партия...

Шолохов замахнулся на основополагающую для партии догму: не замечать пагубной для литературы конъюнктурной халтуры. На недавнем писательском съезде отверг то, что восхваляли «полировщики». И на этот раз гнет ту же линию. Под руку подвернулся Сурков. Он с этой же трибуны от имени Союза писателей возвеличивал «достижения» числом книг. Шолохов с отпором:

— Да разве количеством выпущенных книг измеряется рост литературы? Ему надо было сказать о том, что за последние 20 лет у нас вышло умных, хороших книг наперечет, а вот серятины хоть отбавляй!

Вот какой удар нанес Шолохов по 20-летней истории Союза писателей! Но никто не посмеет упрекнуть его в антисталинской конъюнктурщине. Как раз 20 лет тому назад — тоже на съезде — сердито говорил о серятине в присутствии самого Сталина.

Еще замах на запретную тему — призвал прекратить держать писателей в политической зависимости от парттребований «не отставать от жизни»:

«Определенное отставание литературы от жизни вполне закономерно, потому что серьезная литература — не кинохроника...»

Осудил начальственно-бюрократическую систему — выходит, пошел дальше раскритикованных в ЦК записок Фадеева:

«Постепенно Союз писателей из творческой организации, какой он должен бы быть, превращался в организацию административную, и хотя исправно заседали секретариат, секции прозы, поэзии, драматургии и критики, писались протоколы, с полной нагрузкой работал технический аппарат и разъезжали курьеры — книг не было...»

А каково было воспринимать покушение на святая святых со времен создания Сталиным Союза писателей:

«Властолюбие в писательском деле — вещь никчемная. Союз писателей — не воинская часть и уж никак не штрафной батальон, и стоять по стойке „смирно“ никто из писателей не будет...»

Непривычно звучали на партсъезде, среди партийных лидеров, столь категоричные заявления от писателя:

«Надо решительно перестроить всю работу Союза писателей...»

«Творческих работников надо избавить от излишней заседательской суетни, от всего того, что мешает им создавать книги...»

Властолюбие... административность... перестройка. Третий век миновал — и только после смерти Шолохова, к концу 80-х годов, осмелились вслух гвоздить «административно-командную систему» (добавлю: взамен придумали не менее гибельную перестройку даже культуры с ее новой для страны системой повсеместного шоу-бизнеса).

В конце речи все ждали привычной лести докладу и докладчику. А в докладе Хрущев призывал: «В исторически кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны...» Шолохов обошел вниманием сию похвальбу.

Он обратился с похвалами к писателям. Выбрал только тех, кого, как оказалось, и нынче продолжают охотно читать: Пришвина, Вересаева, Алексея Толстого, Шишкова, Ольгу Форш. Начал с Сергеева-Ценского. Не забыл своего крестного — Серафимовича. Правда, зачем-то упомянул и своего давнего недруга Федора Гладкова.

И тут же заметил с озабоченностью: «Большая ответственность лежит на нас за подготовку и рост молодой смены». Уточнил: «Писатели растут медленно, и надо уже всерьез и глубоко думать о том, что будет иметь советская литература не только в шестой пятилетке, но и через 20–25 лет, когда из нынешних ведущих писателей не останется почти никого».

Закончил требованием к ЦК — искать «необходимую форму помощи

своим писателям».

Дополнение. Шолохов и Сталин... Сложна своей многогранностью эта тема. С одной стороны — напомним — нет имени вождя в «Тихом Доне», никаких похвал — в «Поднятой целине» и только критика — в «Они сражались за родину». С другой стороны, такое шолоховское высказывание о Сталине в войну: «Нельзя оглуплять и принижать... Не может победить Армия, руководимая бездарным или просто неспособным Верховным Главнокомандующим». С третьей стороны, еще одно наблюдение писателя: «Каким был Сталин? Разным, но не близким. Всегда несколько отстраненным, даже при самом заинтересованном разговоре». Я попытался обобщить эту тему в статье «Был ли Шолохов сталинистом?» (Сборник «Проблемы изучения творчества М. А. Шолохова. Шолоховские чтения-97. По итогам Международной научно-практической конференции». Ростов н/Д., 1997).

Важно обозначить принципы моего отношения к теме. Стремлюсь отделить персонифицированные оценки Шолоховым роли Сталина в истории, в том числе в создании великой державы, от той политики, которая воцарилась в стране при фактическом попрании идеалов коммунистического гуманизма. Это я именую сталищиной.

Продолжение последовало

На следующий день после съезда Шолохова пригласили встретиться с преподавателями и слушателями Академии бронетанковых войск.

Гость пышет нерастраченным на партсъезде жаром. Как всегда при встречах с читателями, отверг всякие там доклады-вступления. Получилось прямое общение с помощью вопросов и ответов.

— Какие меры считаете необходимыми для исправления деятельности Союза писателей?

— Безусловно, руководство должно быть коллегиальным. Сейчас Союз писателей превратился в бюрократическую организацию. Курьеров много, а дела мало.

— Расскажите о роли Сталина в работе Союза писателей?

— Сталин был все-таки генеральным секретарем партии, а не Союза писателей. О его роли трудно говорить.

Нетрудно заметить, что ушел от необходимости по партконъюнктуре того дня низвергать, но и ни слова хвалебного. Продолжил:

— Подхалимов было много. Были произведения, где описывалась поездка Сталина на фронт...

— *Правда ли, что вам рекомендацию в партию дал Сталин?*

— Нет, такой чести я не был удостоен...

— *Правда ли, что роман «Они сражались за родину» писался по указу Сталина?*

— Это не соответствует действительности.

— *Почему оставили работу над произведением «Они сражались за родину»?*

— Потому, что считал необходимым закончить вторую книгу «Поднятой целины».

— *Почему перерабатывали «Тихий Дон»?*

— Я не перерабатывал, а его утюжил. Исправлял стилистические погрешности. Автор записки спрашивает, как я отношусь к Мелехову. И если бы состоялся суд над ним, помиловал ли бы я его. Он (автор записки. — В. О.) бы его помиловал. Я бы, наверное, тоже помиловал.

— *Как относитесь к Леонову и Федину?*

— Очень хорошо отношусь. Оба талантливые писатели...

— *Как относитесь к Бунину?*

— Как писателя я его очень люблю. Тот же вопрос о Хемингуэе. Я считаю его «Старик и море» удивительно хорошей книгой. Повесть читается с большим интересом.

В записке утверждают, что многие не любят Симонова. А почему не любят? Это дело вкуса. Симонов — несомненно талантливый писатель. А что ему пять раз присуждали Сталинскую премию, то я к этому не имею никакого отношения.

Почему я не отношу Эренбурга к своим друзьям? Я считаю его «Оттепель» клеветнической, клеветой на русский народ.

— *Кто на вас влиял из классиков?*

— Толстой. Может, Чехов, хотя манера письма у нас различная. Как я отношусь к Есенину? Он очень талантливый поэт.

— *Вопрос о платных выступлениях.*

— Для меня этот вопрос встал впервые в Военно-воздушной академии, где мне предложили деньги. Я им сказал, что зарабатываю пером, а не голосом.

— *Правда ли, что вы все свои гонорары отдаете на строительство тех или иных районных или областных учреждений?*

— Как же все отдать? А самому что? Без штанов ходить?

***Дополнение.** Продолжаю тему: Сергей Есенин и Шолохов. Я поразился, когда в архиве ЦК нашел просьбу Шолохова и двух его коллег Михаила Исаковского и прозаика Всеволода Иванова восстановить право наследования для сестер великого поэта.*

Это было тогда, когда власть еще не рассталась с подозрительным отношением к нему. В 1958 году ЦК принял постановление «О неправильном подходе к переизданию сочинений С. Есенина». В нем сначала было критическое определение: плохо, что печатали стихи, «проникнутые упадническими, религиозными настроениями, отражавшими идейную незрелость и растерянность поэта, не понимавшего смысла перестройки страны на социалистических началах». Затем последовал вообще запрет поэзии Есенина: «Считать нецелесообразным выпуск в 1958–1959 гг. новых сборников произведений С. Есенина. Подготовку к выпуску четырехтомного собрания сочинений С. Есенина в издательстве „Советская Россия“ прекратить».

Самоубийство Фадеева и Шолохов

Партсъезд оставил громкую по себе память докладом Хрущева. Его долго еще обсуждали. Речи ораторов тоже. Шолохов не снискал лавров своими призывами к отказу от старой литературной политики. Не только у партначальства. Беда, что оказался непонятым многими в своем «цехе».

Дошли ли до него отзвуки рассуждений многострадального писателя Варлама Шаламова, который недавно вернулся из лагеря на Севере? В письме друзьям гневается на тех, кому выступление Шолохова понравилось, но достается не только вёшенцу: «Шолоховская речь... Мне было стыдно ее читать — как может писатель, большой писатель, понимать свое дело таким удивительным образом. Как странно определены болезни писательского мира. Какие бесподобные рецепты здесь предлагаются...» Рядом строки о Твардовском: «Сейчас по Москве ходит рукописная поэма „Василий Теркин на небесах“ — сатирическая расправа...» Не догадывается, что Шолохов будет причастен к этой поэме.

И Фадеев откликнулся — начертал в одном своем письме: «Что касается выступления М. Шолохова, то главный его недостаток не в оценке той или иной персоны, а в том, что он огульно обвинил большинство». Огульно... Большинство... Загадка — почему не разглядел открытого союзничества. Через день поостыл. В новом письме, хотя и назвал Шолохова «дедом Щукарем», но в некотором роде признал необходимость

его речи. Сопоставил ее с выступлениями всех других писателей-делегатов — не в их пользу: «Выступали не на уровне и не о том говорили, о чем нужно говорить сегодня».

Сергеев-Ценский в эти съездовские дни напечатал статью в «Литературной газете». Шолохов со своим «Тихим Доном» предстал под его авторитетным пером в широком обобщении: «Высота творческого духа... широкие горизонты». Шолохов оценил это единственное доброе слово о нем в те дни.

ЦК узнал о недовольстве речью Шолохова из полученной записки «О некоторых вопросах развития современной советской литературы». В ней среди прочего говорилось: «Руководство СП болезненно восприняло выступление М. Шолохова...» Те, кто писал этот документ, сами не удержались от раздражения: «Заостренная форма...»

Александр Фадеев. Много нехорошего накопилось с 20-х годов в его отношении к Шолохову. И опасные политические упреки в отсутствии «коммунистичности», и противодействие «Тихому Дону», и сопротивление присуждению премии. Даже Сталин разглядел такое отношение и однажды взял да и рассказал Шолохову: «Фадеев выступает против „Тихого Дона“ по причине, что роман содержит „антисоветчину“».

Вёшенец за многие годы не проявил в ответ ни попыток мести, ни желания прервать отношения. Сопrotивлялся, а в конце концов вышло так, что заступился и гневно отверг нечестивый посмертный наговор.

...Май. Погиб Фадеев: самоубийство. Шолохов читает в газетах сначала некролог — странный, вопреки обычаям до неприличия краткий. Потом извещение ЦК о смерти члена ЦК — неблагоприятное. Еще читает опубликованное «Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича». В нем нехорошее, непринятое в нашей стране для траурных публикаций сообщение — об алкоголизме.

Тут-то и проявил себя. Взорвался! Немало писателей осудило решение вывалить покойного в грязи. Кому было не ясно, что не водка причина рокового выстрела?! Но с иском кинулся один — Шолохов. Не принял политического блуда. Попытался переговорить с кем-то из высшего партначальства — хотел образумить. Но разговор случился только с председателем Президиума Верховного Совета страны, со старцем Климом Ворошиловым. Мне Шолохов его так пересказал:

— Зачем, спросил, посмертно унизили писателя, героя Гражданской войны, вместе с делегатами X съезда партии штурмовавшего мятежный Кронштадт, в 21-м году, тяжело раненного в том бою?! — В ответ

Ворошилов своим ноющим голосом сказал: «Фадеев нам страшное письмо оставил, на личности членов Президиума ЦК перешел».

Ворошилов проговорился о существовании какого-то письма. Шолохов полон порывом обнародовать правду о гибели Фадеева:

— Спросил о письме у Хрущева, когда он был здесь, в Вёшенской: «Никита Сергеевич, письмо-то, оно у вас?» Он сказал: «Никакого письма не было». Обманул.

Хрущев и Шолохов... Глава партии понимал величие писателя. Как-то вёшенец снял трубку, чтобы познакомиться с первым секретарем нового Каменского обкома; эту область создали на части ростовских земель: «Здравствуйте, как, мол, у вас дела?» Тот в амбицию: «Как-нибудь справимся с делами, а вы, дорогой Михаил Александрович, не отвлекайтесь, пишите свои романы». — «Мудак!» — сердито сказал Шолохов. Оскорбленный секретарь — с жалобой к Хрущеву. Тот вспылil: «Сколько у нас в Союзе областей? А сколько в стране Шолоховых? Так вот, сегодня же езжай к Михаилу Александровичу и попроси у него извинения за свою бестактность. И будем считать, что вы мне не звонили».

Родилась легенда, что Хрущев не то обаял собой писателя, не то подчинил. Легко поверить: общение, переписка. До сих пор нет-нет да кто-то и ворохнет из 60-х годов нелепую байку, что их жены — сестры.

Писатель в самом деле во многом поддерживал Хрущева, но не во всем. Хрущев искал его расположения, но иной раз отталкивал. Шолохову пришлось по душе новый руководитель — после XX съезда напечатал с одобрением новой политики несколько статей. Но блюдет меру в знакомстве и общении. Совсем не часто вписывает в свою публицистику имя Хрущева. Нарушает традицию. Обошелся без восхвалений даже в речи при вручении ему Ленинской премии. Хрущев, в свою очередь, наверняка самолюбиво надеялся, что именно в годы его верховной деятельности могут появиться два новых шолоховских произведения. Он, как не раз до войны Сталин, удовлетворенно читал в «Правде» обещание писателя поскорее закончить «Поднятую целину» и «вплотную взяться за роман „Они сражались за родину“». А с другой стороны, знал, что писатель мучается поисками и решениями главной линии этого романа — как отобразить Сталина, но не помог искать истину. Он требовал то только черных красок, то вообще не писать о Сталине.

Упрям Шолохов: не стал ни ручным, ни подручным.

Осенью писатель наметил себе дальнюю дорогу — на реку Урал в Западном Казахстане. Договорился с местным начальством о таком путешествии и о том, чтобы пожить здесь. С пребывания семьи в войну

полюбились здешние земли и здешние люди.

С ним напросились Мария Петровна и младший сын, взяли ружья, рыбацкие снасти и пачки чистой бумаги. Всего же записалось в путешественники с Шолоховым девять человек.

Отправились на машинах. Пока ехали несколько долгих дней, цепкий взгляд писателя много чего увидел из деяний людских.

Но сначала другое переполняло душу, что выльется в письме: «Ночевали под Камышином в полынной степи, под стогом сена. Красота! Поэзия!» Новая ночевка, когда переправились через Волгу, и в письме новая краска — Казахстан поднимал по призыву Хрущева целинные земли: «Всю ночь не давали спать мощные тракторы...»

Гостей встретили и посоветовали устроить себе пристанище в самом глухом и дико-красочном месте: могучая река, старица Боброво, тихие озера и лес. Шолохов потом заметит в письме вёшенцам: «Не житье здесь, братцы, а рай... Здесь-то тишина потусторонняя...»

Братанов Яр называлось это место. День обживались, а уже на ночь, выйдя на реку на бударе (так назывались здесь большие лодки), поставили снасти и на заре под крики восхищения выловили осетра-икрянку. Развели самодельный рассол-тузлук — получилась отменная икра, которой, как заявил писатель, он не едал и на кремлевских приемах: серая, крупная и благоухающая свежестью! В километре — озеро. Добыткики вернулись оттуда с сотней карасей и окуней, а еще пробудили тишь пальбой — утки не считаны! И пошли от казана клубящие благоухания: царская уха-то! Уток хватило еще и на копчение. Потом неподалеку развели приманчивые ягодой колючие заросли — ежевика: изобильная, крупная и крепко-сизая от зрелого долгостоя; за полчаса — ведро; то-то наготовили пузатых вареников.

Рыбак Шолохов отметил в письме: «Осетра можно поймать в любое время, но мы не жадные...» Охотник Шолохов заметил: «В ста метрах по лесу и мызгам пасутся дикие кабаны...» Если кто ночью спал чутко — с открытым охотничьим ухом, — так улавливал, как они чмокающе вязко пробираются по грязи, смачно жрут клубни болотных растений, фыркают и чешутся о деревья. Отец порадовался за сына: не поднялась рука — не спустил курок! — на свинью с семью поросятами. Отметил в письме: «Утром сияющий и довольный рассказывал: свинью можно было бить прямо под его сидкой. Пожалел, и правильно, без матки поросята зимой пропали бы». Писатель Шолохов признается в этом письме: «Работать еще не приступал. Скоро начну. К столу уже потягивает...»

...Октябрь. На шолоховском столе несколько густо исписанных

листочков с дописками, вставками, поправками, вписками. На последнем дата: «Начало октября 1956 г.». То целинный очерк «По Западному Казахстану».

Он заканчивал его в конце месяца. Что же получается? Конъюнктура — восславить под праздник революции «всенародный подвиг советской молодежи по призыву Хрущева!»? Так тогда все назойливо восклицали в газетах и на собраниях-митингах. Шолохов предал очерк огню.

Остались от написанного только наброски. Уже начальные строки свидетельствовали — не было никаких завитушечно-праздничных здравниц целинной эпопее и ее вдохновителю: «Конец августа. Блекло-голубое, словно выцветшее за долгие летние дни небо и маленькое неяркое солнце над (степью) сталинградскими степями, покрытыми сизой мглой. Жарко и душно, как перед дождем, но на небе ни облачка. Слабосильный ветерок еле-еле шевелит поникшие от жары (травы) листья деревьев. А пыль на дорогах такая, что не продыхнешь. Она высокой серой стеною встает за машиной и медленно, мягко рушится, клубясь и оседая на обочинах дороги, на придорожных травах (серым пушистым слоем покрывая все вокруг). И уже не разберешь на ходу, где мелькнет полынь, где донник или сурепка, — все одето (серым, пушистым) дымчатым, как козий пух, серым слоем пыли...»

И в концовке тоже никаких примет поддакивания пропагандистской шумихе. Шолоховское перо пошло вслед чувствам: «...А вот на пристани и старое, тоже издавна знакомое: всюду грязь и мусор, валяющиеся с утра объедки пищи, арбузные и дынные корки, а над всем этим неприглядством — мириады мух. Среди ожидающих очереди на переправе — грязные, оборванные (дети) малолетние детишки цыган танцуют, выпрашивая милостыню, и, поощряемые скучающими шоферами, откалывают такие непристойные коленца, что стоящие (неподалеку) вблизи женщины негодуяще отворачиваются. Блюстителей общественного порядка на пристани что-то не видно».

И все же сжег очерк. Внучка Левицкой поведала, как Шолохов читал его у них в семье. Кончил читать и изрек: «Ну, куда я теперь с этим, когда кругом фанфары победы, знамена, ордена, шумиха?» Есть дополнения и от дочерей писателя. Мария Михайловна рассказывала: «Помню, что негодовал, когда рассказывал о бесхозяйственности, о том, что зерно гноили...» Светлана Михайловна уточнила: «Как отец относился к целине? Отказывался поддерживать официальщину».

Сожженный очерк — огненная строка биографии.

Когда вернулись домой, к писателю обратилась редакция

новорожденной газеты «Советская Россия»: ждем напутствия.

Невелико оказалось приветствие, но нашел для него две особые темы. Писал: «Нет, никому не отнять у нас нашей великорусской гордости...» Еще пожелал не только «отражать», как требует партагитпроп, «трудовые достижения», но и видеть «заботы и нужды», «недостатки», «чаяния и сокровенные думы» соотечественников. И явно не без издевки дополнил: «Чего, естественно, не в состоянии сделать союзные газеты, обремененные обилием вопросов всесоюзного и международного характера».

Дополнение. Поднимаемая целина и автор «Поднятой целины»... В Вёшки приехали два корреспондента той целинной газеты в Акмолинске (позже Целиноград, а ныне Астана), где мне пришлось быть первым редактором. Принял, душевно побеседовал, даже посетовал, что никак не соберется в наши степи. Интервью, однако, не дал и никаких побуждений что-либо написать для целинников не выказал, хотя и одарил редакцию автографом: «Работникам „Молодого целинника“ с дружеским приветом. М. Шолохов. 12.07.1962».

Ни посланцам нашей газеты, ни кому другому ни раньше, ни позже не признавался, что в 1956-м пытался взяться за целинную тему.

«Судьба человека»

Вёшенская. Ноябрь. Мария Петровна, как-то заглянув в кабинет, заметила на столе новую стопочку исписанной бумаги. Не очень многолистная... И не новая глава из «Целины» или военного романа. На первой странице выведено: «Рассказ». Рассказ? Спустя столько лет после «Науки ненависти» в 1942-м вернулся к рассказу! Выспрашивать у мужа не было принято — все ждала, когда он сам объявит.

Вдруг собрался в Миллерово. Захватил жену — проветримся-де, хватит киснуть! Сказал, что едут в гости к Баклановым. То были старые добрые знакомые, глава семьи — директор тамошнего завода.

Едва на порог, как, ясное дело, обычное: «С мороза-то — за стол, за стол!» Червячка заморили — одну для «сугрева» пропустили, и тут гость предложил: «Хотите почитаю — из нового...» Надо ли было спрашивать?

И он взялся читать свой новый рассказ — про войну. Начало какое светлое да еще и по всем приметам родное для слушателей: «Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры...»

Но вот заканчивал печально и читал к тому же с усталой хрипотцой и попыхивая уж не счесть какой сигаретой: «С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка...»

Тишина, вздохи, кто-то из женщин всхлипнул. Зашумели: посыпались благодарствия и поздравления и, разумеется, от хозяина соответственный тост вслед неизбежному вопросу: «Когда же и где же появится? В „Правде“, что ли?»

Ответствовал: «А мне не понравилось... Буду еще дорабатывать...» Хозяину тихо-тихо — одному — проговорил: «Это эпизод из жизни. Видишь, какова она бывает. Нет ничего богаче жизни».

Москва. Первая неделя декабря. В Кремле поняли, что далеко не всех писателей удалось сплотить после съезда. Писательский «цех» бурлил, как в перегреве котел, — не иначе быть взрыву. ЦК надумал провести встречу-совещание: вдруг удастся воздействовать — одних привлечь в союзники, других припугнуть. На встрече в президиуме секретари ЦК — Суслов, будущий министр культуры Екатерина Фурцева и недавно возвращенный из Казахстана Брежнев.

Совещание длится пять дней... Критикуют Твардовского за «Теркина на том свете», Эренбурга за «Оттепель», как казалось идеологам, за излишне критическое отношение к советской действительности, Ольгу Берггольц и начинающего поэта Евтушенко. Шолохова с каждым из них судьба уже сводила или еще сведет. В числе «воспитуемых» Владимир Дудинцев, Даниил Гранин...

И он сам в прицеле. По нему стрелял прямой наводкой секретарь правления Союза писателей Борис Полевой. Он в те времена свой в ЦК — активно поставлял туда письма с заверениями об идеологической отмотобилизованности писателей. Полевой осуждал Шолохова за выступление на партсъезде: «Речь Шолохова, по моему твердому убеждению, нанесла существенный вред, и в этом надо отдавать себе отчет».

Какова же махровая партдемагогия: «Самый любимый писатель критиковал советскую литературу...» Крамола! Полевой взялся защитить, как выразился, «руководство партии литературой» от Шолохова. Разложил

шолоховское выступление на несколько тезисов. Так удобнее прицеливаться: тезис от Шолохова — выстрел от Полевого:

«Первый тезис — писатель не связан с массами. Это как раз тот самый тезис, который в течение двадцати лет мотается на страницах самой реакционной печати...

Второй тезис. Наша литература по существу погасла в 30-х годах. Но ведь именно в 30-е годы с особой остротой встает лозунг партийности литературы, именно после роспуска РАППа, именно с 30-х годов партия стала особенно заниматься и руководить литературой... Все наши заклятые „друзья“ на Западе все время говорили, что в 30-х годах литература кончилась...»

Брежнев и предоставил слово Полевому, и слушает наивнимательно. Даже подыгрывает. Вот оратор критикует тех, кто не очень-то горазд сражаться с «идеологическим врагом»: «Мы отстреливаемся пока что из мелкокалиберного оружия...» Будущий генсек тут же ему в поддержку: «Я хотел бы сказать, что выстрелов не слышно».

Шолохова не было на этом расстрельном совещании: то ли не пригласили, то ли нашел возможность не прийти.

Конечно же ему рассказали, как палил по нему секретарь Союза советских писателей, а секретарь ЦК не одернул.

Шолохов появился в Москве чуть позже, на второй неделе декабря. Читал свой новый рассказ в редакции «Правды». Тот самый рассказ про войну, с которым недавно познакомил друзей в Миллерово. Читал по-особенному — замедленно, с длинными паузами, словно здесь, за этим столом еще только замышляя, чему дальше быть. В жестах взмелькивала почему-то одна правая рука — получалось, что он ею себе изредка дирижировал... Вдруг воткнул сигарету в пепельницу, проговорил: «Это то, что успел написать...» И встал из-за стола хмурым, попрощался. Таким здесь его еще никто не видывал.

Он снова появился в редакции 29 декабря. И снова главный редактор созвал членов редколлегии: Шолохов будет читать! Самые проницательные уловили — рассказ предстал доработанным.

Рукопись осталась на столе у главного редактора. Пойдет ли, как говорят газетчики, в набор и на полосы газеты?

Судьба рассказа

В последнем номере «Правды» за 1955 год появилась первая часть

«Судьбы человека», а окончание — в первом номере нового года.

Шолохов нашел в нем такую простоту стиля, чтобы сразу же, без всяких затей представить своих персонажей читателю: «Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: „Здорово, браток!“».

Десять лет минуло после победного 1945 года. Война, однако, не отпускает писателя. Почтил тех, кто ради родины был готов на любые муки, но не стал предателем. Отдал незаметным героям — Соколовым — должное.

Однако же рассказ без всяких фанфар. И начало таковое. И конец этой истории поражал читателя грустно-щемящей неопределенностью: «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди?» Никакого тебе слащавого «соцреализма»!

Видимо, потому партагитпроп и его прислужники из числа официально мыслящих критиков и литературоведов принялись засиропливать рассказ. Они писали о нем только одно и никак иначе: гимн стойкости советского человека. Из этого следовало, что не следует углядывать в этом рассказе ничего иного.

Но у проницательных читателей как раз-то иное прочтение. Один из них — мой в 1957-м первый в журналистике редактор казахстанской молодежной газеты. Доверился со своим, по тем временам запретным, мнением мне, сыну «врага народа»:

— Рассказ Шолохова возносят только за одно: за тему солдатского подвига. Но литературные критики такой трактовкой убивают — безопасно для себя — истинный смысл рассказа. Правда Шолохова шире и не заканчивается победой Соколова в схватке с фашистской машиной. Делают вид, что у рассказа нет продолжения: как большое государство, как большая власть относятся к маленькому человеку, пускай и великому духом. Шолохов выдирает из сердца откровение: смотрите, читатели, как власть относится к человеку — лозунги, лозунги, а какая к черту забота о человеке?!

— Плен, — продолжил он, — искромсал человека. Но он там, в плену, даже искромсанный, остался верен своей стране, а вернулся?.. Никому не нужен! Сирота! А с мальцом две сироты... Песчинки. И ведь не только под военным ураганом. Но Шолохов велик — не соблазнился дешевым

поворотом темы: не стал вкладывать своему герою ни жалостливой мольбы о сочувствии, ни проклятий в адрес Сталина. Разглядел в своем Соколове извечную суть русского человека — терпеливость и стойкость.

Эти его рассуждения не остались без следа. Много позже пришла мысль, что судьба Соколова и Ванюшки — это как бы продолжение судьбы Мелехова и Мишутки. Ведь как надо было Григорию, чтобы не слышать от Кошевого угроз и подозрений, — сына в охапку и... бежать. Правда, некуда было.

То, как оценили новое шолоховское творение солдаты-ветераны и вдовички, первыми узнали почтальоны: отклики, отклики.

Вёшенский музей хранит много таких посланий. Одно письмо пришло с Дальнего Востока, от группы тех, кто освободился из ГУЛАГа: «Прочитали рассказ „Судьба человека“. Ох, как он нам всем помог. Дорогой наш заступник, сняли вы с нас черное пятно общественного презрения. Теперь не устыдятся за нас наши дети. Нас реабилитировали...» Из Праги написали: «Ввиду того, что я сам провел 6 лет в Заксенхаузене, в вашем произведении особенно ценю правдивость описания мучений советских военнопленных в этих застенках...» Из Биробиджана: «Глубокоуважаемый т. Шолохов! Разрешите вам крепко пожать руку за рассказ „Судьба человека“... Я как раз относился к группе „Юде“, о которой речь идет в вашем рассказе...» Из Новочеркасска: «Я плакал, плакала вся моя семья, плакали соседи-слушатели...» Нашелся и истинно брат Соколова — сообщал в письме, как был и в плену, и на фронте, и совершил побег, и усыновил мальчика-сиротинку. Из Киева присылают четыре объемные тетрадки о пребывании в плену: мол, пользуйтесь в своем творчестве. Художник Смольянинов передал папку суровых на правду рисунков с общим названием «Фашистский плен». Шолохов высоко оценил этот подарок.

Хрущев тоже прочитал рассказ. И посчитал его поддержкой тому, что задумал — чтобы ЦК и Совет Министров приняли постановление «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей». В нем предписывалось: «Осудить практику огульного политического недоверия к бывшим советским военнослужащим, находившимся в плену или в окружении противника, как противоречащую интересам Советского государства...» Раньше бы!

Вскоре по рассказу стал сниматься фильм. Не сразу расположился писатель к замечательному кинорежиссеру и актеру на роль Соколова Сергею Бондарчуку: «Поначалу у него было недоверие ко мне, человеку

городскому, он долго всматривался в мои руки и сказал: „У Соколова руки-то другие...“»

Попереживал Бондарчук. Но все-таки смотрины на роль удались: «Позже, уже находясь со съемочной группой в Вёшенской, я, одетый в костюм Соколова, постучал в калитку шолоховского дома, он не сразу узнал меня, а когда узнал, улыбнулся и про руки больше не вспоминал».

Бондарчуку запомнилось и такое откровение Шолохова во время съемок: «Хорошо вам. Вас много, посоветоваться можно, а я один все решаю сам, за каждое слово один в ответе...»

Дополнение. «Судьба человека» собрала похвалы со всего света. Даже от знаменитых Ремарка и Хемингуэя. Вдруг — «иск» из США от эмигранта Александра Солженицына. Заявил в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Мы вынуждены отозваться, что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы...» И далее — три довода. «1. Избран самый некриминальный случай плена — без памяти, чтобы сделать его „бесспорным“, обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством, — что и как тогда?) 2. Главная проблема плена представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова вообще ни слова), и именно это создает безвыходность, а в том, что там среди нас выявлялись предатели... 3. Сочинен фантастически-детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникла обязательная, неуклонная процедура пришедшего из плена: СМЕРШ — Проверочно-фильтрационный лагерь...»

Шолохов и не подумал по гордости воспользоваться своим правом отвергнуть обвинения. Но такие опровержения есть.

1. Рассказ на тему трагических судеб пленных — первый в советской литературе. Так почему Шолохов лишен литературного и нравственного права начинать тему так, а не иначе? И впереди судьба генерала Лукина, что просилась в новый роман...

2. Солженицын попрекает Шолохова, что писал не о тех, кто «сдался» в плен, а о тех, что «попали» или «взяты». Но не учел, что Шолохов иначе не мог:

воспитан на казачьих традициях. Не случайно отстаивал перед Сталиным честь Корнилова на примере его бегства из плена. И в самом деле, русские люди с давних былинных времен прежде всего сочувствуют не тем, кто «сдался», а тем, кто «попадал» в плен по безысходности: ранение, окружение, безоружие, по измене командира или предательству правителей;

первым взял на себя смелость поставить свой авторитет на защиту от политической заклеяемости тех, кто был честен в исполнении своего долга даже в плену.

Может быть, поведение Соколова в плену приукрашено? Нет таких упреков.

Как можно осуждать рассказ за то, чего в нем нет? Еще Пушкин отметал такие судилища. Кто возьмется упрекать самого Солженицына за то, что в его повести «Один день Ивана Денисовича» отсутствует та документальная оснастка и та политическая обобщенность, что проявятся спустя годы, к тому же в эмиграции, в «Архипелаге ГУЛАГ»?

3. Слаб рассказ? Писатель Солженицын не нашел профессиональных доказательств для своих упреков. Да и не положил на другую чашу своих судебных весов вороха благодарных читательских откликов.

Глава четвертая

1957–1958: БОРЕНИЯ ЗА ПРИНЦИПЫ

Итак, снова имя Шолохова в числе создателей новых произведений.

И все пошло своей привычной для него чередой: бурные отклики — одни с восторженными похвалами, другие с ожесточенным неприятием.

Вести из Швеции

1957-й. Январь — вьюжный месяц, и Шолохова не раз ввергают в вихри всяческих страстей.

...Кремль подарил своим политическим противникам на Западе в ходе холодной войны неплохое оружие против себя же — запрещение печатать роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Партагитпроп придал ему уже чрезмерную значимость — антисоветский. На Западе роман перевели и напечатали. Повезло антисоветчикам. Появилась возможность будоражить общественное мнение без всяких особых выдумок — свирепство политцензуры при социализме!

В Италии первыми — уже в январе — напечатали роман. Пошло обсуждение, и без Шолохова не обошлось. Журнал «Контемпоранос» помещает статью своего главного редактора. У нее длинный заголовок, который переходил в еще больший подзаголовок: «Скандалная публикация „Доктора Живаго“ совпала с первым полным итальянским изданием „Тихого Дона“. Это повод для критического сопоставления двух способов суждения об одном историческом периоде и для сравнения двух тенденций в современном искусстве».

Журнал много чего напечатал, но для определения позиции вполне хватало немногословного пассажа: «Пастернак рассматривает события и душевные состояния с позиций мистического индивидуализма, характерного для русских и европейских декадентов. В то же время точка зрения Шолохова в исторических началах... Литературных предшественников Шолохова мы видим в реализме XIX века, литературные истоки Пастернака заключены в символическом искусстве начала XX века». Остальное можно было и не читать.

Статью заметили в ЦК — перевели и изучили, но не образумились. Травля Пастернака продолжалась. Никто не подумал по примеру

итальянского журнала растолковать для советских книголюбителей — что есть плохо и что есть хорошо в «Докторе Живаго»; не было бы никаких скандальных последствий на несколько десятилетий вперед.

Мир бурлит — кому быть выдвинутым на соискание Нобелевской премии: Пастернаку или Шолохову? Запрет «Доктора Живаго» по приказу из ЦК не в пользу «Тихого Дона». Заграничные политики воспользовались этим — и вот еще один залп холодной войны. Творческий мир по исконному призванию поднялся в защиту гонимого.

Тут в ЦК приходит письмо. От секретаря Союза писателей Константина Симонова. С грифом «Секретно»: «В шведском ПЕН-клубе недавно обсуждался вопрос о кандидатурах на Нобелевскую премию по литературе. В числе кандидатов следующие писатели: Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Эзра Паунд (США) и Альберто Моравиа (Италия). Поскольку писатели Швеции высказывались в пользу М. А. Шолохова, но с настроениями писателей далеко не всегда считаются...»

Однако секретарь ЦК Ильичев осведомлен о другом — сообщает высшему эшелону ЦК: «В кругах представителей зарубежной прессы высказывались такие предположения, что Нобелевская премия может быть разделена между Пастернаком и Шолоховым».

Ищется противоядие. В ЦК решили держаться только одной, агрессивной, линии: «Если т. Шолохову М. А. будет присуждена Нобелевская премия наряду с Пастернаком, было бы целесообразно, чтобы в знак протеста т. Шолохов демонстративно отказался от нее и заявил в печати о своем нежелании быть лауреатом, присуждение которой используется в антисоветских целях».

...Перо и чистый лист бумаги, как магнит, — два романа излучают притяжение. В одной из статей упомянул «Целину», но пояснения к задержке оказались с острой приправой: «Не так велика беда, если, к примеру, я задержался с окончанием „Поднятой целины“ на событиях 30-го года, но не дай бог, если бы наше сельское хозяйство и промышленность до сих пор держались на уровне 30-го года...»

Полон творческих планов!

Подписал в печать вступительную статью — свою — к сборнику «Пословицы русского народа» Владимира Даля, «Казака Луганского». Вспомнилось, как Андрей Платонов втягивал его в свой замысел приобщать страну к истокам народной культуры. Шолохов знал, как неприязненно относится ЦК к этой книге, но все же провозглашал во вступлении:

«Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума и знания

жизни радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков...

Вслед за народом-мудрецом и советский человек скажет (пословица к слову молвится): „Белы ручки чужие труды любят“, „Не смеря силы, не поднимай на вилы“, „На чужую работу глядя, сыт не будешь“, „Часом опоздано, годом не поверстаешь“, „Слово не стрела, а ранит“».

ЦК все-таки сказал свое слово — последнее — в истории этой книги: тираж был определен для огромной страны всего-то в 45 тысяч экземпляров. Шолохов был удовлетворен уже этим. Прорыв состоялся. Он понимал: его имя сработало в «давлении» на ЦК. Через четверть века он снова станет участником выпуска этой книги вторым изданием.

Май. Письмо из Японии. От той, что побывала здесь, в Вёшках в 1935-м. Сколько же воды утекло! Это Абе Иосие, музыкантша-арфистка. Она не просто увлеклась талантом Шолохова. Нашла в себе призвание стать его пропагандистом в своей стране. Даже войны — холодная тоже — не помешали. Напомнила о себе письмом и пригласила в гости. Доведется побывать в Японии не скоро, а только через девять лет. Пока же шлет из Вёшек ответное письмо, полное искренности.

Повеличал ее Иосия Иосидзовна — «Как видите, я не забыл по-русски звучащего Вашего имени». Выразил чувства домашних: «Все мы в Вёшенской по-прежнему помним Вас и очень тепло вспоминаем». И это не отписка для этикета: «Даже не верится, что мы виделись 20 лет назад, и оттого, что жизнь так стремительно летит, становится грустно». Далее совсем по-свойски последовал отчет: «Наш Саша давно уже закончил Тимирязевскую академию, женился, работает агрономом в Крыму. У него уже есть дочь 8 лет. Светлана, когда-то маленькая, — тоже давно замужем, мать 12-летнего мальчика, преподавала в Таллине, в университете, а сейчас недалеко от Вас, на Камчатке. Ее муж — молодой капитан военного корабля. Я уже дважды дедушка, и мне пора не только носить усы, но и отращивать бороду. Миша и Маша учатся в Москве, в университете, и дома — мы вдвоем с Марией Петровной». Помянул какую-то японскую кинокартину и тут же: «Думаю побывать в Японии, и тогда, надеюсь, познакомиться, с Вашей любезной помощью, и с Вашей страной, и с японским искусством».

...Сев на Дону к концу. Вечером заглянул первый секретарь райкома, оповестил: завтра собираем партийный актив района. Пригласил с надеждой в голосе: «Может, поприветствуете?» Пришел и выступил, очень сердито. Потом даже молвил секретарю: «Что — пожалел, что

пригласил?!» Главным для критики выбрал то, что пойменные леса завалены после заготовки древесины гниющим сухостоем. Он понимал, что речи в защиту природы удобно вещать с высоких московских трибун или с газетных страниц — не видишь глаз тех, кого критикуешь. Тут же сидели старые знакомцы — директора совхозов и председатели колхозов, бригадиры, парторги... У них иные заботы — не упустить бы ни дня погожего: главное урожай! И все-таки пристыдил-усоветил — летом все очистили.

Свой среди своих... В одном колхозе стал советовать председателю колхоза искать, как тогда говорили, «резервы», а тот ни в какую. Шолохов крепко осерчал (разговор этот запечатлел секретарь райкома Петр Маяцкий): «Стал ему советовать: разводи, Климаныч, индеек. Так он отмахнулся пренебрежительно. Будь они прокляты, сказал. Индюшки страшно капризные и к тому же змей глотают. Но я ему ответил: так ведь наши жены тоже иногда капризными бывают. Но мы же их не бросаем. Приедете домой, соберите стариков...»

Вдруг потянуло в Скандинавию. Купил для себя и жены туристские путевки, и отправились в вояж. Осталась для истории одна лишь, увы, открыточка: «На фотографии стокгольмский порт, куда пристал наш пароход „Регина“. Наше путешествие только началось, но мы уже полны интереснейших впечатлений». Подпись: «Шолоховы». Жаль: писатель и на этот раз остался верен себе — не соблазнился путевыми заметками.

Фильм Герасимова — оценки Бондарчука

Когда домой вернулись, у Шолохова вновь пошла нескончаемая череда больших и малых дел, тревожных забот и нелегких обязанностей.

Из столицы раздался звонок, что в Москве будет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И просьба: поддержите. Не отказал, и вскоре в «Комсомолке» появилось приветствие. Украшением стал абзац: «Желаю весело провести время. Желаю и в веселье не забывать о дружбе и единении всех наций и стран, о том единении, которое поможет человечеству сохранить мир во всем мире». Никакой пропаганды и агитации: ни про молодежь первой страны социализма, ни про империализм, ни про роль и значимость прогрессивной литературы. Вместо всего этого — лукавинка: «Сожалею, что фестиваль собирается в 1957 году, а не в 1927-м: тридцать лет назад и я, пожалуй, мог бы быть на нем в качестве полноправного участника, а не престарелого гостя».

За год пришло к нему более полутора тысяч писем. Читал, и почти каждое надо бы запивать успокоительными каплями. Одному приятелю пояснил: «Большинство писем это не „здорово да прощай“, а просьбы заключенных и обиженных местными властями, словом, такие письма, по которым надо действовать немедленно и промолчать нельзя...» Как-то с огорчением произнес: «Со всех концов страны просят квартиры». Подытожил с мрачным юмором: «Выходит, я всесоюзный квартирьер».

Он заприметил: с начала лета нередко в письмах появлялись просьбы от тех, кто считал себя его друзьями, — пособи, мол, устроить сына или дочь в институт. Злился. На такие письма сам не отвечал — однажды сказал секретарю: «Протекций от меня не будет. Пусть их детки сами поступают... по своему уму».

Но ведь шли еще бесконечно и рукописи от молодых литераторов — умоляли прочесть, дать совет, как лучше писать, или благословить к изданию.

Что и говорить: жизнь по ободок. Пошли поездки в Ростов, Сталинград, Куйбышев, Москву и к сыну в Крым. Однажды вымолвил: «Я с ужасом думаю: когда же возьмусь за перо как писатель?»

Одно письмо задело — от украинских школяров из села с заманчивым названием Белая Церковь. С критикой. Взялся отвечать: «Вы пишете: „Недавно многие из нас подписались на собрание ваших произведений, и мы жалеем только о том, что оно не является полным“». Решил отшутиться: «Но ведь полное собрание сочинений издается только после смерти автора!» Закончил совсем по-свойски: «Вот это удружили! Жалко, что Белая Церковь далеко от Вёшенской, а то бы я...» Каково это многоточие!

Обилие писем заставляло осваивать науку отвечать. Как-то поделился опытом со своим секретарем: «Два дня сочинял. Письма писать надо, чтобы они были короткими, лаконичными и не сухими».

В этом году все чаще в речах или статьях Шолохова появляются размышления об армии. Выступает перед избирателями: «Помнится мне один фронтовой эпизод. Под Харьковом в 1942 году громили итальянскую дивизию... В бою я был с полком. Захватили пленного... Он говорит: „Странный народ вы, русские“. — „Чем?“ — спрашиваю. „Я в него стрелял из пистолета. Три раза стрелял и не попал. Этот парень подбежал ко мне, ударил прикладом автомата, снял краги, встряхнул меня, посадил на завалинку. У меня дрожали руки. Он свернул свой крепкий табак-махорку, послонявил, сунул мне в зубы, потом закурил сам, побежал сражаться опять“». Шолохов восхитился: «Слушайте, это здорово: ударить, снять краги, дать покурить пленному и опять в бой. Вот он русский человек!»

Заклучил так: «Русский солдат. Черт его знает, сумеем ли мы раскрыть его душу?»

Пишет статью к юбилею Армии: «Нам угрожают люди, плохо разбирающиеся в нашей жизни, в характере советских людей. Не мешало бы им, прежде чем бряцать оружием, понять солдатскую песню о родине, написанную поэтом Михаилом Исаковским: „Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду“».

В еще одной статье для армейских читателей выразил исповедное: «В годы Великой Отечественной войны я был с вами, мои родные. И если позовет Родина, я — как старый солдат — буду с вами до последнего дыхания. Обнимаю вас, мои родные». Какова последняя фраза!

Но созревали для новых глав военного романа и такие все еще кровоточащие в памяти строки из довоенного времени; он вложил их в уста вернувшемуся из заключения «врагу народа» Александру Михайловичу: «В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю... Только тяжело доставалась эта наука...» Это ответ на невинный для читателя поначалу вопрос — где он научился сапожничать: оказывается, в лагере.

...Звонок от главного редактора иллюстрированного журнала «Советский Союз», который в основном выпускался для иностранцев. Выслушал — и хоть стой, хоть падай: ЦК принял постановление «Об ошибках в художественном оформлении журнала „Советский Союз“». Оно касалось и его, Шолохова, хотя бульдозером пришлось по фотокорреспонденту: «Опубликованные в журнале иллюстрации В. Руйковича, объединенные под заголовком „У автора „Тихого Дона““, выполнены плохо, в натуралистическом стиле. Фоторепортаж показывает случайные, не характерные для деятельности М. Шолохова эпизоды из жизни, искажающие его образ как выдающегося мастера художественной литературы и видного общественного деятеля». Была и записка Отдела пропаганды для партначальства — она в подробностях уточняла грехи журнала: «В. Руйкович подражал некоторым западным журналам, грубо исказил принципы социалистического реализма... Подражает упадническому искусству Запада». Или: «М. Шолохов снят за чайным столом, где на переднем плане виднеется бутылка... М. Шолохов, обращенный спиной к читателю, несет охотничьи трофеи...»

И все-таки ЦК вынужден был считаться с огромным авторитетом вёшенца. Посему разрешил оставить его в списках кандидатов в депутаты

на выборах в Верховный Совет. В пятый уже раз. Это политическая корысть — его имя украшение, как тогда говорилось и писалось, «блока беспартийных и коммунистов». Избирателям же депутат Шолохов давно люб. Сейчас снова пошли встречи с ними. Выходил на трибуну и сразу же покорял простотой. На одной из них, к примеру, сказал: «Никогда я не был записным оратором, не умею говорить длинно и красиво. Здесь меня все больше хвалили, хвалили так, как хвалят жениха. Но и за женихами всякие грехи бывают. Так что вы не очень верьте... Давайте поговорим о другом...» И призвал превратить Дон в край садов и виноградников.

...Вторая книга «Поднятой целины» готовилась к печати, в сентябре появились отрывки в «Правде». Событие!

...Сергей Герасимов завершил съемки «Тихого Дона»: в трех сериях. Событие! Фильм восторженно встречают по всей стране! Но вот у более молодого актера и кинорежиссера Сергея Бондарчука неприятие одной линии: Герасимов-де излишне возвеличивает Кошевого. И поделился тем, как понимает роман: «Я ни на чьей стороне. Как Шолохов. Ни на стороне красных, ни на стороне белых. Я в центре событий, и в основном в лагере восставших. В лагере народа. Когда убивают Ивана Алексеевича, я ему сочувствую. Когда убивают Штокмана, я ему сочувствую. Но я не сочувствую, как ни странно, Мишке Кошевому. Вот заставь меня, но не могу...»

Интервью в Париже — отклики в Кремле

1958 год Шолохов начал с поездки в Ленинград по своим литературным делам. Договорился с редакцией журнала «Нева» печатать в нем вторую книгу «Поднятой целины».

Главный редактор Сергей Воронин оставил одно поразительное свидетельство: «Михаил Александрович пересказал мне два рассказа. Один про коня и второй из времен гражданской войны. Их невозможно было слушать без волнения...» Слушатель к писателю с горячим вопросом:

— Почему вы их не запишете? Это же готовые рассказы. Их надо печатать!

— Нет. Я опоздал с ними. Теперь надо другое...

Загадочен ответ при видимой ясности. Сколько же насчитывается в его долгой жизни таких творческих потерь?!

Возвращался домой через Москву. Здесь его четырежды взнуздывали. Зазвали на писательский пленум — пришел, но от ораторства отказался. В

перерыве его перехватил директор главного издательства литературы для детей (Детгиз). Разжалобил. В итоге появилось шолоховское письмо Хрущеву о помощи этому издательству — необходимости строительства типографии и выделения нового помещения. Но и такое написал: «Справедливости ради следовало бы также устранить некоторые ненормальности в оплате труда творческих работников издательства и руководящих работников фабрик (полиграфических. — В. О.)». Потом две озабоченности, связанные с тем, что он член Комитета по Ленинским премиям. Походатайствовал за присуждение посмертной премии опальному при Сталине кинодеятелю Довженко. Не держал зла, но помнил, что тот был против присуждения премии «Тихому Дону». И добился: в 1959-м премией был отмечен его сценарий к фильму «Поэма о море». И второе письмо Хрущеву — о том, что против фильма «Тихий Дон» затеяны бюрократические игры в этом же Комитете. Обращение на высокой ноте: «Вы понимаете, что, кроме правды, я ничего не ищу, обращаясь к Вам лично с просьбой: восстановить захороненную ловкачами и проходимцами от искусства справедливость. Помогите Вашим словом людям, которых я глубоко люблю за то, что они сумели талантливо и по-настоящему донести мой роман до нашего кинозрителя!» Вступился за Герасимова; тому все не прощают, что создавал Мелехова по Шолохову — не отщепенцем.

Дома, в Вёшках, его ждало письмо от школьницы из одного адыгейского аула. Она как-то особенно душевно благодарила за «Судьбу человека»: увидела в Соколове судьбу своего дяди. Тут же ответил: «Дорогая Мариет! У тебя, девочка, очень доброе сердце и хорошая душа, если ты так близко воспринимаешь чужое горе. Благодарю тебя за теплое письмо и желаю тебе здоровья и счастья в жизни... Передай привет от меня своим родным — бабушке и дяде...» Закончил так, как едва ли кому-то еще из незнакомцев писал — напросился на продолжение знакомства: «Напиши мне, что ты думаешь делать после окончания десятилетки?» Через несколько лет он получил от нее письмо-отчет. Уже взрослая девушка поведала, что окончила пединститут и учителем в родном ауле.

...Наметилась дорога во Францию. Перед поездкой прошел в ЦК инструктаж. Таков был незыблемый порядок. Сейчас главное предупреждение для каждого отъезжающего: «Вас будут атаковать темой Пастернака. Надо выдерживать линию ЦК...» В тот год советские сановные визитеры смелостью пожиже и авторитетом пониже панически боялись зарубежных журналистов. Глядишь, заклюют вопросами о Пастернаке, поди потом там, дома, отмойся, если что-то нечаянно брякнешь не по-официальному.

Париж. К Шолохову обратились с просьбой принять журналиста. В советском посольстве пояснили: газета влиятельная, но буржуазная — будьте осторожны.

Шолохов не струсил — пригласил интервьюера. Высказался. Газета вышла.

Посольство в панике. Тут же в Москву идет шифровка посла с пометой «Весьма срочно». Это срочное донесение немедленно, как важнейший госдокумент, обретает два грифа: «Совсекретно» и «Всем членам Политбюро». Направлено в КГБ и МИД. Сорок высших деятелей партии и правительства — как будто по сигналу «Тревога!» — приобщены к «делу» Шолохова.

Что же такое случилось в Париже?

Журналист задал Шолохову вопрос про Пастернака: кто запрещает издание романа? Начал отвечать: «Коллективное руководство...» Так по давней традиции именовали только Политбюро и ЦК. Пауза — глянул на переводчика из посольства — и продолжил: «...Союза писателей». У переводчика отлегло: всего-то о литначальстве. Но дальше принялся критиковать это самое «коллективное руководство»: «Потеряло хладнокровие». Шолохов говорил то, что дома каралось по полной мере: «Надо было опубликовать книгу Пастернака „Доктор Живаго“ в Советском Союзе, вместо того чтобы запрещать ее».

Он был искренен. За Пастернака заступился, но в любви не признавался, хотя и назвал блестящим переводчиком. Не скрыл, что равнодушен к «Доктору Живаго». Но говорил это в рамках приличий. Иначе, к примеру, высказался об этом романе Набоков: «Дрянной, слезливый, фальшивый и бездарный».

Интервьюер, возбужденный неожиданной сенсацией, бросился в свою редакцию. Переводчик — перепуганный — к послу. Бдительный посол вызывает шифровальщика и диктует срочную депешу.

ЦК без всякого промедления направляет ответную шифровку послу: «Обратить внимание М. Шолохова на недопустимость подобных заявлений, противоречащих нашим интересам». Показалось мало — еще одно указание: «Примите меры...» Это значило не давать писателю возможности для новых антипартийных высказываний. Послу что оставалось? Установить посильный надзор за непутевым гостем.

«Меры» оказались, увы, нелепыми — стали мешать высказываться, когда встречался с журналистами. Новая шифровка из Парижа сообщала в ЦК: было-де еще одно интервью для газеты «Нувель литерер» — и в приложении перевод. Партначальство прочитало и ехидное замечание

французского журналиста: приставленные к Шолохову работники посольства не давали ему рта раскрыть; как только следовал острый вопрос, так писатель слышал «заботливое»: «Мы опаздываем!»

Но и без темы Пастернака он представал во Франции диковинным. Шолохов не походил на тех энергичных советских писателей, что гулко пропагандируют за границей свою политическую активность и злободневность своих сочинений. Шолохов говорил о другом:

«Я мало участвую в работе Союза Советских Писателей. Мне повезло, что я живу далеко от Москвы, на берегу тихого Дона...

Я, знаете ли, пишу медленно. Это ведь не порок для писателя, не так ли? Поспешность хороша при ловле блох...

Критика в Советском Союзе мне кажется такой же отстающей, как и литература...»

Слышали ли тогда за границей подобное ниспровергательство своего писательского «цеха», которым, как знали на Западе, руководит партия?! К тому же из уст члена ЦК.

Неожиданна эта «пастернаковская» страница в биографии Шолохова.

Октябрь. Пастернак коронован Нобелевской премией. Хрущев — по подзуживанию Суслова — дает команду на усиление травли автора «Доктора Живаго». Травят газеты, эфир, комсомольские собрания... Отрекается редколлегия «Нового мира». Московские писатели принимают осуждающее открытое письмо.

Произнес ли Шолохов теперь хотя бы слово в хулу? Нет! Но и в сочувствующие не устремился — у них и в самом деле были разные идеологические взгляды.

...Непостижим вёшенец своим то и дело поперечным поведением. Он восстанавливает против себя Главное политическое управление Советской Армии, а это, в сущности, отдел ЦК. Суслов читает донос: «Докладываю, что 26 декабря 1958 г. нами была организована встреча личного состава Академии (имени Жуковского. — В. О.) с писателем Шолоховым М. А. При ответах на вопросы тов. Шолохов допускал вольности, граничащие с аполитичностью...»

...Утешение для души, пожалуй, перво-наперво находил в рыбалке и охоте. Земляки многое могут рассказать об этих его пристрастиях.

Один из них, Максим Спиридонович Малахов, вспоминает: «Шолохов заходил в дом, здоровался по-старинному: „Спаси Христос“ и делал леснику предложение в счет рыбалки. Иван-то Михайлович завсегда радый порыбалить, да вот его старуха... Но когда Шолохов так вежливо просит уважить его, то она сама быстрехонько собирала своему Ивану все нужное

и приговаривала: ты, старый, найди Ляксандрычу место удачливое...»

Рассказал и такой случай: «Поехал он с Марией Петровной пострелять уток на озерах в Хоперском займище. Стреляет Шолохов отменно, хучь в недвижимую птицу, хучь взлет. Он и Марию Петровну стрельбе обучил, и детей. Так вот настреляли они утей сколько-то — в энти годы было их по осени тьма. Едут. На дороге встретились им атарщики. Лошадей пасли. Остановились. Разговорились. О лошадях, пастбищах, скачках. Ну и свои скачки затеяли. Шолохов тож будто сготовился скакать, да Мария Петровна, видать, приструнила. Поскакали двое атарщиков, которые помоложе. А где скачки, там и приз должен быть. Шолохов предложил свою шапку. Она была почти новой и доброй: с каракулевыми отворотами и черным кожаным верхом. Согласились... И еще по утке».

Глава пятая

1959–1964: «ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ ТОШНО...»

Писателю, если он член правящей партии, сложно творить, ибо непреложная партийная дисциплина — тормоз для многих творческих намерений. Одно дело исповедовать идеи светлого будущего. Иное дело — повседневный идеологический диктат: творить на потребу дня в духе решений последнего партсъезда или пленума.

Как Шолохов выдерживал при Хрущеве такую ношу — неподъемную для своего независимого характера?

Не вышло даже с абзацем

1959 год отмечен для Шолохова тремя событиями.

Наконец-то появилась для читателей вторая книга «Поднятой целины». Сколько же душевных сил отдал ей! Он же не просто восстанавливал погибший при бомбежке текст по памяти — буква за буквой. Так у писателей не бывает. В середине января пишет об этом Хрущеву — пока еще он у писателя в доверии: «Кончаю „Поднятую целину“ — второй в моей жизни роман — и как всегда к концу многолетнего труда, бессонных ночей и раздумий, — испытываю и большую грусть от грядущего расставания с людьми, которых создал, и малую удовлетворенность содеянным... Некоторым утешением является сознание того, что первая книга сослужила верную службу моей родной партии и народу, которым принадлежу. Такую же службу, надеюсь, будет нести и вторая...»

Посулил вдобавок: «К концу года, осенью, закончу и первую книгу романа „Они сражались за родину“. Осталось дописать всего лишь 6–7 глав». Увы, с военным романом пока не сбылось. И все-таки Мария Петровна находила на столе разлинованную тетрадку, в которой появлялись записи то о Лопахине, то о Звягинцеве.

...Второе событие. В апреле чешская газета «Литературны новины» обнародовала некоторые — отважные и важные! — высказывания Шолохова о том, какими литературными принципами он руководствуется.

Корреспондент задал ему для начала вполне невинный вопрос: «Что такое социалистический реализм?»

Ответил с сарказмом и без всякой оглядки на то, как это могут

расценить в советском посольстве или в ЦК: «Теория — не моя область. Я просто писатель. Но об этом я разговаривал с Александром Фадеевым незадолго до его смерти. „Представь, кто-нибудь спросит тебя, что такое социалистический реализм, что ты ответишь?“ И он сказал: „Если надо было бы ответить со всей откровенностью, то сказал бы просто — а черт его знает“».

Настырным оказался журналист — теперь спросил в лобовую: «Считаете ли себя соцреалистом?»

Ответил, критикуя официальщину, как бы не от своего имени: «Ваш вопрос заставляет меня вспомнить, что марксистские теоретики сперва считали меня кулацким писателем, потом объявляли контрреволюционным писателем, но в последнее время говорят, что я всю жизнь был социалистическим реалистом».

Один мюнхенский публицист (бывший советский дипломат Михаил Коряков), прочитав эти откровения, открыл секрет, ради чего творит великий писатель: «Конечно же Шолохову нет никакого дела ни до соцреализма, ни до марксистских и иных теорий. Потому что знает: теории теориями, а жизнь жизнью...»

Летом Шолохов снова всех удивил независимостью характера. Одна газета, сломив нелюбовь Шолохова к заказным поздравлениям, упростила его обратиться к спортсменам и физкультурникам страны. На свою голову упростила — показал себя критиком-многоборцем. Вот несколько выдержек:

«На мой взгляд, не так уж справедливо делят руководители свое внимание и силы между рядовыми физкультурниками и мастерами. Тем, кто ставит рекорды, привозит призы и медали, — все: и тренеры, и лучшие стадионы. А на долю рядовых самообслуживание да изредка теплые слова в докладах. Нам нужны рекорды и рекордсмены. А все же еще важнее растить миллионы жизнерадостных, бодрых, сильных, ловких парней и девчат...

Не могу понять, почему спортивные деятели не хотят признавать народный опыт и традиции... Даже у нас на Дону состязания в джигитовке или русской борьбе. А уж об играх на льду, штурмах снежных городков молодежь знает только из рассказов своих отцов и дедов...

И уж совсем неясно, почему такие полезные для здоровья дела, как охота, туризм, рыбалка, физкультурные организации перекладывают на плечи других...

О нас, пожилых, и вовсе не вспоминают. Но где же сказано, что физкультура и спорт нужны только молодым?»

И это все высказал далекий от спортивных забот человек!

...Третье событие. В конце августа Никита Сергеевич Хрущев пожаловал в Вёшенскую. Заявил, что его Шолохов пригласил. Так и было — вёшенец его соблазнял в одном письме, помимо всего прочего, рыбалкой. Писал с лукавинкой: «Ваши помощники составляют мощное рыболовецкое звено... Прихватите их с собой. Пусть хоть на денек, после подмосковного бесклевья, они окунут удочки в донскую воду...»

Хрущев появился здесь, когда возвращался из отпуска в Крыму. Это тот самый редкий случай, когда власть имущий посчитал за честь поклониться писателю. Шолохов, замечу, не стал хвастаться этим конечно же лестным для себя гостеванием: никаких интервью, никаких упоминаний в статьях.

Хрущев, хитрец, знал, что военный роман в работе, и будто ненароком пошел вспоминать о своей роли в боях за Украину.

Шолохов потом рассказывал:

— Тогда я ему и сказал: «Вы были представителем Верховной Ставки при окружении наших войск под Харьковом, из военных мемуаров вырисовывается, что вы настояли на опережающем ударе. Как мне писать об этой трагедии?»

Хрущев совладал с собой — деланно улыбнулся и склонился к миротворству:

— Но, Миша, такое может сказать только близкий друг. Отнесем это к шутке.

И еще укол Хрущеву. Он на свою голову начал разговор о том, что народ одобряет его непрекращающуюся череду, как сам выразился, «начинаний» в сельском хозяйстве. Шолохов слушал-слушал да вдруг встал и, достав какую-то книгу, протянул ее Хрущеву:

— Я, Никита Сергеевич, подумал не только о том, что вы рассказали. Примите эту книгу Лескова. Здесь есть интересный рассказ. «Загон» называется. Посмотрите на сон грядущий первую хотя бы главу. Кстати, рассказ высоко оценил Лев Николаевич Толстой.

Книга оказалась в руках державного гостя.

Если взялся хотя бы ее полистать, не мог не наткнуться на эпиграф — ох, Шолохов! — а это библейская мудрость: «За послушание истине — верят лжи и заблуждениям».

Если нашел терпение дойти до второй страницы — ну, Шолохов! — нашел намек на плачевное положение дел в сельском хозяйстве; страна стала закупать зерно на Западе, а тут и попрек от Лескова: «Мы имели твердую уверенность, что у нас „житница Европы“, и вдруг в этом пришлось усомниться...»

После этих двух столкновений наедине оставались мало. Да и дом переполнен — кто-то из свиты Хрущева, кто-то из Ростова, кто-то из своих районных партийцев. Не зря станицу загодя припудривали-причесывали. Хрущев не прятался от станичников. Пешком прошествовал на майданный митинг, в украинской рубашке и простеньком летнем костюме, но со шляпой в руке. На рыбалку времени не оставалось — лишь проехали с женами по Дону на катере. Вечером пожаловал на концерт в Дом культуры и потом даже пригласил артистов прямо в казачьих одеяниях сфотографироваться с ним.

Гость на майдане держал большую речь. Все давно знали его слабость — любил поговорить. Не забыл в ней и Шолохова. Осыпал его множеством не только искренних похвал, но и кондово-высокопарных, из партийного лексикона. Вот он решил высказаться о «Судьбе человека»:

— Этот рассказ о судьбе Андрея Соколова является не только грозным обличением тех, кто вызвал ужасы Второй мировой войны, но и страстным протестом против тех, кто сегодня пытается развязать новую войну, которая угрожает народам еще большими ужасами и страданиями.

Шолохов догадывался, что правитель политизированного общества осознанно придал рассказу идеологизированную окраску. И будто бы не заметил замысла автора: горькая жизнь сильного «малого» человека, которому не судьбой, а политикой определена и чаша зла в чужом плену, и чаша равнодушия на родине...

Потом в речи Хрущев заявил: собираюсь в Америку! Надо добиваться мирного сосуществования двух великих держав! И вдруг: «Мне приятно пригласить с собой в эту поездку Михаила Александровича...»

За вёшенцем — хвост провинностей. Одно интервью в Париже чего стоит. Или такое: взял да зазвал на писательский съезд, ни с кем не посоветовавшись, двух датских писателей; один из них с большой тогда славой — Ханс Шерфиг. Руководители Союза писателей сразу же в ЦК: «Мы затрудняемся принять их...» Шолохов отвечал: «Часть расходов согласен принять на себя».

Итак, в 1959-м впервые путь главы Страны Советов лежит в Америку. Шолохова тоже, но мечтал об этом — напомним — еще в 30-е годы. По возвращении московское телевидение стало показывать документальный фильм. Красивые были кадры: в вагоне у широкого окна с мелькающей позаконной Америкой оживленные Хрущев и Шолохов — друзья да и только.

Поездка по Америке прошла для Хрущева с огромным политическим успехом. Подхалимы подсказали ему идею — написать об этом книгу.

Отчет! Ее авторами стали писатели и журналисты из свиты. Когда книга вышла, все они получили высшую в стране Ленинскую премию по разряду публицистики.

Шолохов не прикоснулся к перу. В ЦК этому подивились: как так — выдающийся писатель не хочет написать о выдающемся политическом деятеле?! В Вёшки послан гонец — инструктор ЦК; ему задание: «Взять хотя бы страничку, ну пусть абзац у Шолохова». Не взял. И позже он никогда ничего не писал о том, что сопровождал Хрущева. Почему? Интересно свидетельство младшей дочери: «Однажды Никита Сергеевич, а потом его жена Нина Петровна всё звали да звали отца к себе на дачу. Как-то слышу, что отец по телефону поблагодарил Нину Петровну за очередное приглашение. А потом, наверное, когда она продолжала настаивать, вдруг в трубку: „Я, говорит, вас и Никиту Сергеевича уважаю. Да знаете, есть такая поговорка: „Служить бы рад, прислуживаться тошно...““»

Его как-то спросили, как, мол, оцениваешь Хрущева. Ответил с усмешкой: «Оценки придут со временем, но то, что он болен, — это так... Серьезная болезнь — понос слов».

Поездка в Америку вошла в память. Министр иностранных дел Громыко кое-что оставил для истории из американских реплик Шолохова:

— Поможет ли поездка в смысле творческих находок? — спросил дипломат писателя в какую-то внезапно свободную минутку.

— Не думаю. Для моей работы она вряд ли пригодится. И ничего в ней не прибавит. Мир моих персонажей — это Дон, мои станицы и города... Но поездка интересна. Посмотреть свет надо...

Министру запомнились и такие шолоховские высказывания:

«У меня создается такое впечатление: большинству на улицах все равно, что происходит вокруг. Кажется, упади я сейчас вот тут на улице — так никто, если не узнает, что я иностранец, не подойдет, не спросит, что случилось...

Это общество создано богачами и для богачей. Оно не может отвечать тем великим идеалам добра, к которым рабочий люд стремится на протяжении многих веков...

В области техники здесь достижения есть, и немалые... А в области культуры пока я видел сплошное развлекательство. Где же та подлинная гуманистическая культура, которая только и должна отвечать интересам народа? Неужели она — это тот канкан, который нам показали в Голливуде?..

Если здесь сидеть у телевизора, то можно одуреть...»

«Не знаю, как в отношении высокой политики, которой занимаетесь

вы, — сказал он министру, — но что касается культуры, то нам у американцев учиться нечему».

В Голливуде кто-то из режиссеров подошел к Шолохову познакомиться:

— Знаете, я читал отрывки из ваших произведений...

— Я вам признателен. Когда ваши постановки дойдут до нас, я обязательно посмотрю отрывки из них!

...В сентябре этого, 1959 года писателя пригласили на студийный просмотр фильма «Судьба человека». То режиссер Сергей Бондарчук осуществил свою мечту. Но кто бы мог подумать, что пропустят ее через многочисленные препоны. Поначалу начал мутить воду «Мосфильм» — режиссеру в ответ на его заявку было сказано кратко и тупо: «Несвоевременно!» Потом выразили недоверие сценаристам — пришлось Шолохову похитрить и на одном из вариантов поставить свою фамилию. Затем топкие обсуждения на художественном совете студии. Выявили «идейную ошибку»: «Мрачноватым получился конец, не устроена судьба солдата». Было от кого-то уж совсем погребальное пожелание: давайте-ка сделаем короткометражку, ибо не получится настоящего фильма из всего-то рассказа.

А Шолохов поверил в возможности Бондарчука и его сподвижников. Ринулся в решительное заступничество — побывал в ЦК у заведующего отделом культуры. Тот тоже набрался отваги, позвонил директору студии и просто приказал делать фильм.

Первый просмотр... Быстро пролетели полтора часа кинодействия. Включили свет. Шолохов к испугу режиссера и сценаристов отказался от беседы и с мрачным лицом молча пошагал к выходу. Ни слова с оценкой.

С ним увязался один из сценаристов. Шли-шли и вдруг Михаил Александрович прервал молчание.

— Да-а, умеет Серега за горло взять, — сказал он о Бондарчуке. — Не продохнешь! Не тяжело ли будет зрителю?

— Уже беспокоятся, что мрачноват будет конец.

— Мрачноват? Какая огромная сила у экрана! Ну а веселиться поводов нема! А ты видел, когда Соколов уходил от Мюллера, как Сергей плечами, движениями лопаток сыграл? И вот с берега пошел, а на плечах невыносимая тяжесть.

— О том и рассказ...

— Рассказ об этом. Только я и сам не ожидал, насколько экран усилит, утяжелит.

Трудно было Шолохову обживаться в киномире прежде всего из-за

начальственных бдительщиков. Накапливались недовольства и обиды. Герасимов ему рассказал, как министр культуры потребовал переделок «Тихого Дона»: «Смягчить антисоветскость Мелехова». Этот же министр и с такими же указаниями о переделках высказался о подросевшем фильме «Поднятая целина». Аргумент один: «Фильм смотрели члены Президиума ЦК, есть большие сомнения...»

...Конец декабря. Шолохов примчался в Москву. «Правда» собралась публиковать заключительную главу второй книги «Поднятой целины». Позвонил нескольким друзьям-писателям — если, мол, хотите, я почитаю.

Когда собрались, он взял со стола типографский оттиск будущей газетной полосы и произнес: «Подвели меня редакторы. Печатают в новогоднем номере. Кто прочтет? Встретят новый год с бокалами, будут отсыпаться...»

Его успокоили.

...29 декабря 1959 года. Домой пора бы, в Вёшки, но держит слово: согласился выступить перед студентами филологического факультета МГУ. Встреча прошла в переполненном зале. И, как всегда, оказалась живо полезной и читателям, и писателю.

Перед отъездом узнал, что у группы киношников есть намерение выдвинуть фильм «Судьба человека» на соискание Ленинской премии. И режиссер ее получит на следующий год — будто подарок к своему сорокалетию.

***Дополнение.** Шолохов был в Америке, когда в печати появились первые главы из второй книги «Поднятой целины». Роман был выдвинут на соискание Ленинской премии. Инициатором выдвижения стало издательство «Молодая гвардия». Официальное письмо в Комитет по премиям начиналось по-комсомольски непосредственно, живо: «С радостью выдвигаем роман „Поднятая целина“...»*

Запад, судя по публикациям, свое увидел в «Поднятой целине»: независимость его создателя. В ЦК, конечно, сразу уразумели: там сталкивают Шолохова с партвластью. Такие статьи в СССР скрывались.

Тут-то произошла схватка Шолохова с американским журналистом Гарри Солсбери. Влиятельный советолог. Немало лет прожил в нашей стране и явно немалое познал. Печатается в авторитетной «Нью-Йорк таймс». Здесь-то и появились две его статьи о романе.

Шолохов в ответ свою статью — отповедную, резкую, колючую, где будто восстает против самого себя. В ней не раз явно противоречит тому, что сам исповедует: «В прошлом году мистер Солсбери выступил в

„Нью-Йорк таймс“ со статьей, в которой, ссылаясь на слухи, писал, будто бы я давно уже закончил „Поднятую целину“, но закончил смертью Давыдова в советской тюрьме, и будто бы именно поэтому книга так долго не печаталась. Появляется новая статья Солсбери под броским заголовком „Герои Шолохова умирают не своей смертью“. Статья новая, но в ней повторяются прежние досужие домыслы, хотя и с некоторыми добавлениями. Так, например, Солсбери пишет: „Давыдов был злонамеренно обвинен советской полицией, арестован и заключен в тюрьму, где, как рассказывают, застрелился“».

Шолохов сердится не на шутку: «Далеко шагает мистер Солсбери, ведомый своей злой, но неумной фантазией, да и дорожку для сенсаций и заработка выбрал он грязную и нечестную... Что мистеру Солсбери до того, что сообщаемое им выглядит явной нелепицей!» Он иронизирует над оплошавшим противником: «Где он видел такую тюрьму, в которой заключенные расхаживали бы с пистолетами и сами чинили бы над собой суд и расправу?»

Но не ради выявления глупости, ясное дело, весь этот огнедышащий ответ. Что же заставило Шолохова опровергать статью или кто? В сущности, прав американец. Проницательно догадывался о том, что вторая книга романа долгие годы — от времен сталинских — не отдавалась в печать по политическим причинам, что главные герои погибают не по прихоти автора, что Шолохов нацелил свою «Поднятую целину» против тех, кто и прежде, и ныне обрекал сельское хозяйство то на долгодействующее прозябание, то на прямые провалы и мало поощрял терпеливого советского крестьянина работать лучше.

«Не слишком ли мы терпимы?..»

Шолохов и Хрущев... То на расстоянии, то рядом, то в споре, то в союзничестве.

...Хрущев. Он и после поездки в Америку не забывал писателя. В Швеции, на приеме в честь главы советской державы, к нему подошла министр культуры:

— Господин Хрущев, хотела бы с вами посоветоваться. Предстоит обсуждение кандидатур на присуждение Нобелевских премий. Обсуждаются кандидатуры и от СССР. Какую кандидатуру следует поддержать по вашему мнению?

— Фамилии, которые, вы мне назвали, это не те, которые в качестве

премированных нашли бы широкий резонанс в нашей стране. У нас есть писатели, которые воспринимаются с глубоким уважением широкими кругами советской общественности, и она почувствовала бы удовлетворение от присуждения именно им Нобелевской премии.

— Кого бы вы назвали?

— Михаила Александровича Шолохова. Если уж выбирать среди наших писателей, то Нобелевская премия, присужденная Шолохову, была бы наиболее приемлемой для нашей общественности.

...Шолохов. Чем он отвечал Хрущеву? Явно придерживался в отношении к нему старинной мудрости: худого не хвали, а хорошего не кори.

Он, к примеру, всем сердцем принял то, что пошло от Хрущева как новое понятие для страны — «реабилитация»! Это слово зазвучало для сотен тысяч словно скрежет разрываемой колючей проволоки.

Речь писателя в этом, 1961 году на XXII партсъезде... Это попытка помощи новой партвласти избавляться от того, что именуется культом личности. Высказал то, что никто до него не рисковал сказать столь жестко и прямо: «Не слишком ли мы терпимы к тем, на чьей совести тысячи погибших верных сынов Родины и партии, тысячи загубленных жизней их близких?» В этой же речи смелая критика министра культуры и одновременно члена Президиума ЦК — за продолжающиеся «валовые» оценки творческих достижений. Проявил недовольство этим еще при Сталине, на XVII съезде.

В это же время начал новую книгу «Целины» взрывчатой темой для Хрущева и его кадров на местах. Один из персонажей обрушился на Давыдова за партийные порядки — но ведь они прижились на все советское время едва ли не по всей стране:

«— Ты норовишь перед районным начальством выслужиться, районное — перед краевым, а мы за вас расплачивайся... А ты думаешь, народ слепой? Он видит, да куда же от вас, таких службистых, денешься! Тебя, к примеру, да и таких других, как ты, мы сместить с должности не можем? Нет! Вот вы и вытворяете, что вам на ум взбредет...» (Кн. 2, гл. XIII).

По стране пошла гулять в разговорах и такая шолоховская «колючка»: «В коммунизм спешим!» Этим откликнулся на затею Хрущева ликвидировать домашнюю скотину — дескать, колхозы должны взять на себя снабжение своих колхозников молоком и мясом.

...Заботы о литературе тем более не уходят из внимания Шолохова. Его беспокоит, что не во всех странах знакомы с новой волной советских

писателей. Пришла мысль попросить у Хрущева разрешения съездить в Скандинавию: «Мне бы хотелось по согласованию с руководством Союза советских писателей захватить с собой несколько хороших книг молодых наших писателей и рекомендовать их к изданию... К моему мнению скандинавские издатели прислушиваются... Я буду просто по-товарищески счастлив...»

Ради этого замысла готов поступиться своими интересами. Узнал, что один шведский издатель заинтересовался его рассказами. Но отказал: «„Донские рассказы“, нечего греха таить, — слабенькая, ученическая книга, и я не вижу разумных оснований со стороны Гидлунга отказываться от издания более зрелых книг теперешних молодых советских писателей».

...Уж сколько лет Сталин в мавзолее, но тем, кто в лагерях, не сразу выпала дорога на свободу. И семьи «врагов народа» всё бедствуют.

Шолохов взвалил на себя участь ходатая. Еще до съезда, который провозгласил возможность оправдания незаслуженно репрессированных, его видят в ЦК, Комитете партконтроля и Главной прокуратуре. Каждый день не без вчерашнего.

Иван Клейменов. Добился восстановления его доброго имени. Однако же и не догадывался, что, ускорив правовую реабилитацию руководителя Реактивного института, ускорял политическую реабилитацию его бывших сотрудников С. П. Королева и В. П. Грушко. Да и оба великих ученых едва ли знали, кто к их судьбе причастен. Королев, к примеру, пытается вступить в партию, а какой-то «бдительный» парткомовец произносит речь, в коей утверждает: вас освободили, но не реабилитировали. Вот как аукнулось даже после смерти Сталина несправедливое осуждение.

Иван Макарьев, критик. Фамилия Шолохова внесена в письмо 1955 года от Фадеева в прокуратуру с просьбой о реабилитации.

Асланбек Шерипов, национальный герой чеченского народа. Шолохов пишет письмо Микояну — просит поддержать идею установки памятника. Это много значило для самосознания народа, который столько лет пребывал в изгнании.

Генерал Михаил Лукин. Дважды жертва: с октября 1941 года по май 1945 года его в плену немцы обрабатывали, затем после освобождения свои взяли. Шолохов явился к главному военному прокурору и в присутствии его заместителя объявил о цели своего визита:

— Буду хлопотать за генерала Лукина да за некоторых других. Вы, наверное, знаете, кто такой Лукин?

Они пожали плечами — дел тьма-тьмущая, всех-де не упомнить.

— Это, — стал пояснять писатель, — бывший командующий сначала

16-й, а потом 19-й армией. Действовали эти армии на Смоленском направлении в самое наисложнейшее время. Фашисты рвались к Москве. Потрепанные войска Лукина создали прочный заслон врагу. Я в то время с Фадеевым и Петровым был на этом направлении как корреспондент «Красной звезды». О Лукине все в один голос говорили нам: стойкий, мужественный, опытный генерал. Так же отзывались о нем Жуков и Конев. В плен захватили Лукина тяжело раненным. Сталин, говорят, не хотел слушать никаких объяснений...

— Мне и Симонову, — продолжил, — после возвращения Лукина из плена удалось повидаться с ним. Что такое плен для преданного родине человека, мы теперь представляем. Не дай бог, как говорится, это испытать и пережить. Но, к сожалению, ко всем, оказавшимся в плену, отношение почти одно — осуждение, недоверие и даже преследования. Лукину намекают, что он встречался с Власовым, вел с ним какие-то переговоры и хотя сам не пошел к нему служить, но других не удержал и так далее. Одним словом, остается Лукин «под подозрением». Как в народе говорят: «Вроде не виноват, но все же...» А как у вас, у юристов, это называется?

— Дело прекращено за недоказанностью, — ответили Шолохову.

— Вот, вот... «За недоказанностью». Так все равно числится у вас под подозрением.

— Ну, это не совсем так, — услышал он возражения. — Это у царя-батюшки в законе было: «Оставить под подозрением». В нашем законодательстве этого нет. А прекращение дела за недоказанностью означает, что невиновен.

— Это все теоретически, — резко парировал Шолохов.

Лукин станет прототипом одного из героев военного романа, генерала Стрельцова. Вспомним, что Сталин когда-то потребовал от Шолохова создать образы полководцев, но «гениальных», в литературу же вошел человек дважды ломанной судьбы.

Ах, Шолохов! Ему уже много лет, а все, как прежде, в порывах заступаться за правду и бороться против неправды. Леонид Леонов... Кто бы мог поверить, что академики не пожелают — дважды! — принять в свои ряды, в Академию, этого на весь мир известного писателя-мыслителя. Один писатель, друг Леонова, рассказал мне: «Леонов стал академиком, и большую роль сыграл Михаил Шолохов. Придя впервые за десятилетия на заседание Академии и, белый весь, бледный, больной вконец, своим присутствием надавил на эту, как он говорит, „...академию“». И у Шолохова вырвалось слово резкое, непочтительное.

Дополнение. Командарм Михаил Федорович Лукин оставил прочный след в биографии Шолохова. Встречались не только в 1941-м, но и в начале 1960-х. Последнее общение длилось несколько дней. Вёшенский музей хранит папку, на обложке которой надпись: «Доклад-стенограмма» и роспись Лукина, она подтверждала точность записи. В самой папке описание сражения за Смоленск с последующим окружением, попытками выйти из него; четыре ранения, потеря сознания — плен.

Шолохов подытожил узнанное от генерала: «Вот трагическая судьба честного генерала. Не так все просто было на войне, как некоторым кажется. Лукин рассказывает здесь о том, как уже самые первые дни войны показали, что учения в мирных, довоенных условиях далеко не соответствовали тому, что поднесла война. И не все и не каждый вели себя одинаково...»

И еще: «Вот Лукин, как он описывает свое возвращение из плена? Попробуйте сгладить его трагедию. У некоторых писателей создается неправильное представление о писательском труде. Хотят, чтобы герои были описаны, словно бы они все время навтыяжку стоят перед писательским взором... Война — это всегда трагедия для народа, а тем более для отдельных людей... Люди обретают себя в подвигах, но подвиги эти бывают разные... О войне нельзя писать походя, слишком все это ответственно...»

Шолохов, гордясь подвигом своего народа, не искал лубочных героев. Вот с каким обобщением вспоминал он первые — самые трагические! — дни войны в одной своей статье: «Любопытные документы остались от той эпохи. Передо мною лежит пожелтевшая от времени американская газета „Вашингтон пост“, в которой с душевным мужским волнением написано: „Дрожишь при одной мысли о том, что могло бы произойти, если бы Красная Армия рухнула под напором наступающих германских войск или если бы русский народ был менее мужественным и неустрашимым...“»

Бои за Давыдова

Абрам Гурвич, критик, литературовед, тоже попал в орбиту шолоховского внимания.

Писатель едва ли мог забыть его. Еще бы: при обсуждении в Комитете по Сталинским премиям «Тихого Дона» этот Гурвич вчинял ему идейные ошибки. Помнил и другое: этот критик стал при Сталине персонажем

партпостановлений как «безродный космополит». В итоге попал под карающую десницу — Маленков дал указание: «Не допускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати». Так и прозябал без права на критическое перо.

Выходит вторая книга «Поднятой целины». Партийная критика принялась прежде всего пропагандировать свой взгляд на Давыдова: это-де безупречный образец для подражаний! Сердечные увлечения? Не обращать внимания! Кто-то из партбонз даже с требованием — кое-что подредактировать:

— Ай-ай-ай, как это ваш Давыдов с Лушкой встречается в степи?

— А где же им еще встречаться? — полюбопытствовал Шолохов.

— Да неудобно как-то читать такое...

— А что делать, когда у них удобных мест не было?..

Вступился за Давыдова «безродный космополит» Гурвич. Написал огромный критико-литературоведческий очерк «Прокрустово ложе». Правда, лестью не кадил автору. Позволил себе такую оценку романа: «Разнокачественность». Взялся в этом своем очерке и за «любовную» тему: «Читателю предлагается расчленить, разорвать цельную личность Давыдова на две части, чтобы одну вышвырнуть как негодную и тем самым поднять другую. Единого и неделимого Давыдова делят на больного и здорового, на постоянного и временного, на главного и случайного. При этом утверждается, что если читатель не проникается к Давыдову неприязнью, то только потому, что главное для него не личная — теневая — сторона жизни героя, а его светлая деятельность как „коммуниста, вожака, организатора, учителя жизни“. Давыдов же, как и всякий живой человек, существует только в органическом слиянии решительно всех движений ума и тела своего...»

Написал очерк, а кто печатать будет идеологического изгоя? Никто не решился. Тогда — в стол.

Умер. Уже поутихли былые страсти с изничтожением «космополитов». Да время ханжества в оценках «Целины» не проходило. Друг Гурвича, писатель и критик Александр Борщаговский, сам в прошлом «безродный», вознамерился издать посмертный сборник его избранных работ. Не получалось уговорить издателей. Нужно заступничество кого-либо из влиятельных в обществе деятелей. У него мелькнула шальная мысль — поможет Шолохов: очерк-то о «Целине».

Чем больше рассуждал, тем больше сомнений: можно ли члену ЦК вступаться за политизгоев, да и забыл ли вёшенец, как Гурвич в переизбытке конъюнктуры ему напакостил? Еще опасение: а примет ли

писатель такую оценку Давыдова — против давно привычных догм? Вдруг нравится вбиваемая в умы официальная трактовка этого персонажа?

Рискнул: «Мне ничего не оставалось, как писать Шолохову и запаковать очерк Гурвича для отправки в Вёшенскую. Издательство и думать не хотело о публикации „Прокрустова ложа“. Я послал рукопись в конце ноября 1965 года. Долго не приходил ответ, надежды таяли. А в конце января 1966 года пришло короткое, писанное от руки письмо...»

И он показал мне это письмо. На бумаге в клеточку десять быстрых, но четко писанных строчек: «Дорогой Александр Михайлович! Прошу прощения за промедление с ответом, но так сложились обстоятельства. Статью покойного Гурвича о „Поднятой целине“ безусловно надо печатать. Она еще послужит свою службу, но чтобы она заставила ханжей мыслить иначе — жестоко сомневаюсь! Желаю Вам всего доброго! М. Шолохов. 24.1.66.».

«Высокие интересы литературы, — присовокупил Борщаговский, — оказались для Шолохова решающими».

Книга вышла и была отослана в Вёшенскую. Оттуда — телеграмма: «Борщаговскому. Получил тчк Спасибо тчк Шолохов».

***Дополнение.** Однажды в интервью Шолохов заявил: «Мы служим идее, а не лично себе...» И тут же высказался о том, что стало незаметно разъедать общество: о блате, кумовстве, коррупции: «Представь, чтобы Толстой пришел в редакцию „Нива“ пристраивать рукопись своего сына. Или Рахманинов просил бы Шаляпина дать своей племяннице возможность петь с ним в „Севильском цирюльнике“. Или, еще лучше, Менделеев основал бы институт и посадил туда директором своего сына... Не улыбайся. Над этим стоит подумать...»*

Обидно, что этот совет остался втуне и исцеление — до сих пор! — не пришло. Давно сказано: нет пророка в своем отечестве.

В этом же интервью очень строго отозвался об «отщепенцах» — диссидентах: «С такими надо бы построже. Известно, паршивая овца заведется — все стадо испортит».

Надо знать и об этом. Одни ругают его за ненависть к тогдашним политическим инакомыслящим. Другие хвалят. Но ни разу не прочитал спокойных рассуждений: что же не удовлетворяло в бунтарских взглядах диссидентов Шолохова, автора Григория Мелехова, самого главного в советской литературе бунтаря.

Освобождение Мелехова

Все минется, одна правда останется...

Из анекдотов 1930-х годов. Однажды заведующий Отделом агитации ЦК Алексей Стецкий стал критиковать Шолохова за то, что его главный герой — Мелехов — настоящая контра. Потом сказал:

— Ты, Шолохов, не отмалчивайся.

— Ответить вам как члену ЦК или лично?

— Лично.

Шолохов подошел и дал ему пощечину. На следующий день позвонил Поскребышев:

— Товарища Сталина интересует: правда ли, что вы ответили на критику пощечиной?

— Правда.

— Товарищ Сталин считает, что вы поступили правильно.

Сталин таким предстал в анекдоте. На самом деле, помнил Шолохов, как вождь самолично руку приложил, чтобы долгие десятилетия Мелехов считался «отщепенцем», то есть врагом.

Школьный учебник 1948 года. Я по нему учился в десятом классе. Жил тогда, между прочим, в одной из станиц по знаменитой казачьей Горькой линии. Эта поистине горькая линия известна по роману Ивана Шухова с тем же названием. У нас тоже были свои Мелеховы... Помню одного деда. Идем из школы, он у хаты на завалянке — ловит зимнее солнышко, а увидел нас и выпятил как будто ненароком отвороток полушубка, а там иконостас: медали. «Это, — стал пояснять он нам, школярам, — газеты надо читать и радио слушать. Разрешено теперь носить старые награды». — «Дедуля, — спрашиваю, — эта медаль за какие подвиги?» Отвечает: «За Русско-японскую». — «А эта?» Отвечает: «За подавление внутреннего врага в первую революцию. А эта за германскую в девятьсот четырнадцатом. А эта, — погладил пальцем шрам-вмятину на лысой голове, — небось, твой отец в Гражданскую припечатал печать от советской власти... Да вы не кривитесь, не кривитесь, мальцы-удальцы, пионеры-комсомольцы. Небось, не враг я. Я себя отмыл-отбелил».

Что же в учебнике? «Мелехов борец не просто со своим народом, но и со своей родиной... За Григорием не стоит, как думали некоторые критики, какая-то определенная группа казачества. Это трагедия индивидуализма в эпоху социализма... Скидок на происхождение ему нельзя делать...»

Коварны последствия от такого приговора Мелехову. За упрощением

героя тянулось укрощение истории — посему читай роман и не взыскуй, читатель, за трагедию в Гражданскую. Тяжкая цепь-взаимосвязь.

Напомню: смерть Сталина позволила Шолохову выбросить насильно впихнутую сцену со Сталиным.

Но Мелехов и при Хрущеве, и далее все еще ходил-мыкался по страницам большинства учебников, статей и монографий с волчьим билетом «отщепенца». Воинственный парткритик Ермилов наставлял: «Мелехов не имеет права на трагедию... Мотивы поступков Григория Мелехова становятся чрезвычайно мелкими для трагического лица... В самом деле, почему Мелехов идет в банду Фомина?.. Да только из-за того, что ему лично „податься некуда“! Это, разумеется, уже не трагическая тема».

Шолохов в 1940 году осмелился снять сталинское клеймо «саботажники» с голодающих земляков. При Хрущеве попытался отменить обвинительный приговор Мелехову. Но далеко не все и не сразу стали прозревать в стане критиков и литературоведов.

Уже в 1977 году были основания у писателя делиться своими недоумениями с молодым ученым из Осло — Гейро Хьетсо (запомним это имя): «Критики полагают, что Григорий виновен в своей трагедии... Критики не учитывают, что были еще и исторические условия, и очень сложная обстановка, и определенная политика. Если бы спросить у тысяч и тысяч казаков и тружеников, служивших белым и открывших свой фронт красным: „Кто из вас виноват, выйди из строя“, то, наверное, никто бы не вышел!.. Пустое это занятие — думать и считать одного Григория виноватым. Какое непонимание противоречий эпохи, казачьей души, сущности Григория Мелехова и народа!»

Так вот и оказались еще долгие годы не вытянутыми из его произведений гвозди ржавых толкований, вбитые сталинщиной по самую шляпку. «Тихий Дон» всегда был опасен — даже с купюрами, с вписками, с наговорами критиков-комментаторов.

Однако же великий роман правдив не только Мелеховым. В нем есть и такой персонаж — Филипп Миронов. Он выписан в совсем не подходящие для вольностей времена — в конце 1930-х годов: последняя часть, глава X. То подвиг писателя. И странно, что не воткнулся в строчку с именем Миронова бдительный карандаш Сталина или Ягоды и Ежова и не вострепнулись во гневе красные маршалы Буденный или Ворошилов.

Этот казак, как и Мелехов, всего себя положил на поиск истины: что даст революция народу? Поразительный характер. Царский офицер — стал красным командиром. Правду искал. Стал красным — не принял неправды

с ее рассказыванием. Отправил Ленину письмо — огромное — с протестом. В нем поднял руку на вдохновителя злой гибели Дона — Троцкого. Ему пришили — «Анархист!» и приговорили к расстрелу. Спас Ленин. Но уберечь не смог. В тюрьме пал от пули часового — говорили, правда, что выстрел был случайным, да не все верили.

С той поры так и тянулось — до времен перестройки — ни одной (!) доброй строки о нем: ни в учебниках, ни в воспоминаниях, ни в исторических монографиях, ни в повестях-романах.

Шолохов осмелился! Смелость остается неотмеченной.

...Война, армия — они по-прежнему не уходят из внимания Шолохова. Решил познакомиться с новым командующим войсками Северо-Кавказского военного округа: Исса Плиев, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Стали часто встречаться. Хорошо, что остались воспоминания этого генерала, даже такая фраза писателя, не без лукавинки: «Мон шер женераль! Когда ты покажешь мне боевое искусство наших чудо-богатырей?»

Дальше в записях читаем: «Учения в Северо-Кавказском военном округе. Он прибыл на командный пункт поздно вечером. На нем ладно сидел костюм цвета хаки, в руках офицерская плащ-накидка... Часа в четыре утра я был уже на ногах, мне не хотелось будить Михаила Александровича так рано. Сел в машину. И вдруг слышу знакомый голос: „Я понимаю, сражения выигрывают полководцы и их войска, но не менее важно, чтобы история и слава этих сражений были запечатлены людьми пишущими“».

Гость запомнился конечно же не только юмором. Был приглашен на учения: «Танки, чуть сбавив скорость, ушли под воду. Шолохов замер. Не отрываясь, вглядывается в широкую гладь реки. Во взгляде чувствуется напряжение. У противоположного берега показываются из-под воды башни. „Прямо как у Пушкина, — облегченно говорит Михаил Александрович. — Помнишь? И очутятся на бреге, в чешуе, как жар, горя, тридцать три богатыря...“»

Или воспоминания писателя Виталия Закруткина: «Однажды глубокой осенью мы ехали из Цымлы в Ростов. Неподалеку от дороги, на забитом скотом клочке толоки белел обнесенный деревянной оградкой памятник — невысокая, сложенная из кирпича, побеленная известью пирамида с жестяной звездой на острой вершине. Набросив на плечи кожаную куртку, Михаил Александрович подошел. На одной из сторон одинокого памятника была зацементирована фотография под стеклом. На ней с трудом можно было рассмотреть лицо молодого человека. Ниже фотографии, на

потрескавшейся от ветров и солнца деревянной доске, видимо, когда-то давно была выведена фамилия, но ее уже нельзя было разобрать. Шолохов долго стоял у памятника, склонив голову, потом вздохнул и сказал тихо: „Жаль хлопца... А сколько их таких...“»

И жалел, и любил, и вдохновлял. Как-то получил письмо из одного дальневосточного гарнизона — отвечал с душевной открытостью: «Если вы писали мне с хорошим волнением, то с не меньшим волнением и я читал... Представляю всю тяжесть, всю сложность вашей службы. И отсюда мое высокое уважение к вам и самые душевные чувства... Поляки говорят: „Как надо — так надо!“ Родине действительно надо, чтобы кто-то из ее надежных и крепких духом и телом сынов был на том месте, и вот вам пришлось „трубить“ в далеком краю, что ж, высокое доверие! Хочешь не хочешь, а оправдывай!»

И начал письмо необычно, и закончил так же: «Крепко обнимаю всех вас вместе и каждого в отдельности и от всего сердца желаю бодрости духа, здоровья, успехов по службе и счастья, независимо от того, когда, как и где оно к вам придет, а в том, что к таким ребятам оно самолично явится, я не сомневаюсь! Вы честью его заслужили!»

«Не тронь живых...»

Январь нового, 1960 года. Из Москвы от одного знакомого с давних молодых лет пришло льстивое сообщение — написал-де очерк о вас, дорогой Михаил Александрович. Очерк был приложен.

В ответ схлопотал негодующее: «Пиши о мертвых и не тронь живых. Я бы воззвал к твоей совести, но думаю, что не имея ее смолоду, едва ли ты нажил ее под старость. Хочу только предупредить тебя: если, несмотря на мои возражения, ты опубликуешь этот очерк в части, живописующей меня, и не столько меня, как самого себя, — тебе крепенько достанется от читателей!»

Автор, решив примазаться к славе классика, в своем опусе принялся «изображать» свое будто бы соучастие в защите Шолохова от клеветы в плагиате.

То, что вёшенец засвидетельствовал в этом своем письме, очень важно для истории: «Клевета о происхождении „Тихого Дона“ исходила не от одного завистника, как пишешь ты... Она была порождением почти всей тогдашней литературной среды...»

Апрель. Ленинская премия за «Поднятую целину»! Первым пожаловал

с поздравлениями совсем теперь старенький учитель Мрыхин, привел с собой школяров. И райком, едва услышал по радио сообщение, возликовал и устроил митинг.

Шолохов пришел на майдан и поблагодарил, да по-шолоховски:

— В числе удостоенных Ленинской премии, как вы слышали, есть и люди труда... А почему бы и вам, труженикам Вёшенского района, с азартом не включиться в соревнование да тоже попытаться получить Ленинскую премию... Благодарю вас за этот митинг. Он хорош прежде всего тем, что был самым коротким из всех митингов...

Когда принимал премию в Кремле — тоже сказал речь:

— Постоянная связь с читателями укрепляет и уверенность в своих силах и способствует успеху в работе. Но с некоторыми из них я нахожусь в отношениях не то что неприязненных, но в отношениях — как бы это одним словом охарактеризовать — в отношениях с холодком...

Такого признания показалось мало — усилил мысль и обобщил то, что всю жизнь мешало творить:

— Требования к писателю предъявляются часто непомерные. Так, например, один читатель после выхода второй книги всерьез упрекает меня в том, что в «Юрии Милославском» автор сохранил героев, а Шолохов убил Нагульнова и Давыдова...

Процитировал этого себе супротивного читателя-ортодокса и ответил для всей страны:

— «Что здесь общего с социалистическим реализмом?» — спрашивает он. «Но слушаться таких советов нельзя. Я и впредь буду писать, как на душу положено».

В Москве нашел время походить по правительственным кабинетам — стал добиваться разрешения построить школу в Каргинской, где родился. Уж такие были тогда времена — стройка в станице без столицы невозможна. Он и так и сяк, а ему в ответ: стройматериалы поднатужимся — выделим, но денег нет, бюджет закрыт.

Вернулся домой и сразу послал телеграмму в Каргинскую — попрощался с премией.

Хуторяне узнали: «Прибыв на родную землю, рад сообщить дорогим станичникам, что строительство новой школы в станице Каргинская по решению Совета Министров РСФСР начнется в этом году».

И завершил послание: «Полученная мною Ленинская премия целиком передана на строительство новой школы взамен той, в которой когда-то давно я учился грамоте. Крепко обнимаю всех каргинцев. Ваш Михаил Шолохов». Интересно, успел ли посоветоваться с Марией Петровной?

В этом же месяце — первый в истории человечества полет в космос: Юрий Гагарин! Из Вёшек тут же летит поздравление для «Правды» — но какое необычное: «Вот это да! И тут уже больше ничего не скажешь, немея от восторга и гордости перед фантастическим успехом отечественной науки». С того дня очень хотел встретиться с первым космонавтом. И космонавт искал такую возможность. Так ведь сбылось! Но об этом позже. Шолохов и не знал, что вокругземный первопроходец, будучи школяром, писал сочинение по «Поднятой целине».

Душа в такой нагрузке, что потребовалась разрядка. Шлет одному старому другу с оказией записочку — давай, мол, порыбалим: «С большой к тебе просьбой: вывяжи два черпака повместительней. Держаки у тебя должны быть, ты ведь запаслив, как настоящий „куркуль“. Шлю тебе не пламенный (как принято говорить и писать), а прохладный рыбацкий привет и прошу не лодырничать и не тунеядничать, а приступить к вязке сегодня же! С совершеннейшим почтением к старому астматику и развалине вечно моложавый М. Шолохов».

...Случай познакомил его в Вёшках с подростком изломанной судьбы — бежал из Комсомольска-на-Амуре. Но Соколова для этого сироты не нашлось. Шолохов — за скорое письмо в далекий горком комсомола: «Обращаюсь к Вам с просьбой. Вовка Бестужев, за которого я ходатайствую, — милый, веснушчатый и скромный парнишка... Надо хлопчика устроить в школу-интернат, чтобы был в комсомольском городе еще один хороший комсомолец». Добавил существенное как бы для контроля: «Черкните вы мне в Вёшенскую, как устроится судьба маленького Бестужева».

...Шолохов внушал своим видом покой и рассудительность. Но о нем всякое припоминают. Есть и такой рассказ уже упомянутого Максима Спиридоновича Малахова: «Через нее, быструю езду то есть, случались у Шолохова не раз происшествия. Вот однажды возил он своих гостей по придонским красотам. Сам с Марией Петровной — впереди на легковушке, гости сзади на другой машине. И вот уж пескам кончаться — речушка на пути встала, ну и лощина, само собой. Речушка узенькая, но местами глубока ее вода до черноты. „Чернью“ речку и зовут. Шолоховская машина спустилась в лощину и с глаз скрылась. Минуты две-три гости ее не видели, а въехали на бугор и ахнули: стоит легковушка сбочь дороги у самой воды, носом к ним... Подъехали. Марь Петровна бледная, а Шолохов дверцу открыл, сигарету выкуривает, улыбается. Оказалось: машина в песке крутанулась и уж на бок свалиться сготовилась, да Шолохов газу дал, руль вывернул. И Мария Петровна не растерялась (она на заднем сиденье

находилась), надавила своим весом на колесо, которое от земли отрывалось. В общем, легковушка подчинилась им, выправилась. Аварии избегли: в глубь Черни не ахнули, в песке не перевернулись...»

Свой среди своих... Один газетчик — местный районщик — рассказывал: «Возвращался Шолохов из какой-то своей поездки. Ехал мимо Хопра через луга. За день до этого пролил дождь, и неподалеку от станции Слащевской в низине образовалась непролазная топь. Стояли, увязнув в этой топи по самый диффер, грузовики с зерном, бензовозы, всякий иной транспорт. Застряла и машина Шолохова. Бились-бились... Разулся тогда Михаил Александрович, закатал повыше брюки и пешком со своим спутником, московским художником, направился в Слащевку. Но встретиться с начальством не удалось. И тогда он с художником выпустил стенную газету „Крокодил“ и вывесили прямо на площади. Художник нарисовал карикатуру на руководителей района, по уши завязших в дорожной грязи, а Шолохов подпись сделал. Так вскоре начали строить дорогу-каменку».

Дополнение. Продолжим знакомство с любимой Шолоховым поэзией. В эти годы к нему попадают стихи скончавшегося московского литературоведа, профессора МГУ Р. Самарина. Вдова прислала. Они ему понравились. Вот их зачин:

Ты, выкорчеванное начисто,
Ты, изведенное под корень,
Былое русское казачество —
Незаживающее горе...

Расстрел в Новочеркасске

1961-й. Летом Шолохов приехал в Грузию. Писатели пригласили. Он их сразу же подивил. Когда согласовывали с ним программу-маршрут знакомства с республикой, оказался с запросами на особицу. Ему предлагают посетить город-новостройку Рустави — промышленный гигант. Он выбрал Вардзию — высеченный в скалах монастырь времен Шота Руставели. Утомительная езда по горным дорогам... Но вышел из машины и без всякого ропота, добровольно сдался на полтора часа в лекционный плен к местному краеведу. Не минул и древней столицы — Мцхета. Побывал даже в небольшом селеньице, где жил один

прославленный на всю Грузию чудаков-цветовод. А с каким удовольствием внимал народным песням. Благо, что почти все застолья от села к селу сопровождалось знаменитым грузинским народным хоровым разноголосьем.

Вернулся на Дон, и уходит телеграмма: «Моим грузинским друзьям. С грустью я покинул вашу чудесную страну. Не так-то уж легко, как вы понимаете, оставлять то, что пришлось к сердцу впритирку. Но, покидая вас, я надеюсь на новую встречу и еще раз обнимаю вас и желаю всего самого доброго. Ваш Михаил Шолохов».

Его и в самом деле тянуло к Грузии. И в этом году зазвал в Вёшки писательскую делегацию, и через несколько лет снова отправился на берега Куры.

Меж тем влез в серьезную драчку. Стал помогать издать запрещенный партидеологами еще в довоенные времена роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Сражался одновременно с двумя ЦК. С главой испанских коммунистов Долорес Ибаррури тоже. Она не принимала роман потому, что в нем не всегда лучшим образом выглядели коммунисты. Свой же ЦК вознамерился наказать руководителей ленинградского журнала «Нева». Политическая ошибка — напечатать крамольный роман!

В августе горе — скончалась Евгения Григорьевна Левицкая. Все в шолоховской семье, глядя на Шолохова и Марию Петровну, притихли. Траурная телеграмма в Москву была столь же по-шолоховски краткой, как по обычаю емкой на чувства: «Вместе с вами делю горе. Дважды осиротевший Михаил».

Многочисленные переиздания «Судьбы человека» несут своим посвящением память об этой женщине, которую он называл даже мамашей.

1962 год вошел тремя событиями в жизнь Шолохова.

Осудил ЦК за кровавое деяние — приказ разогнать огнем, со многими жертвами, демонстрацию рабочих в Новочеркасске. Они вышли с мирным протестом против повышения цен на продовольствие. Эту трагедию скрыли от народа — ни слова в печати. Если кто-то пытался вслух это обсудить — тут же взыскание от партии. В город прибыл второй секретарь ЦК. У него поручение осудить обком и местных партийцев — мол, не смогли справиться без нашего вмешательства. Для этого собрали пленум. Настроение в зале подавленное, а выступающие обязаны были каяться. На трибуне — Шолохов. С чем же он? Словно вспомнил старинную пословицу, что смелость силе атаман. Выступил с уничтожающей критикой верховной власти: «Почему повышаете цены, не посоветовавшись с народом... Как же мы, партия, можем стрелять в народ?..» В президиуме —

оторопь, в зале — оцепенение.

Непредсказуема жизнь на встречи. Спустя четыре года в гости к Шолохову напросился один отставной генерал. Видно, потому открылись для него двери, что сказался — казак родом. Знал бы вояка, что на свою голову напросился. Сидел-сидел он с хозяином да вдруг признался, что командовал полком в Новочеркасске. Отдадим ему должное — потом честно рассказал, что Шолохов прервал встречу и принялся высказывать неостывшее за годы возмущение: «Это невиданное преступление верхов, оказавшихся неспособными воплотить в жизнь благородные, по своей сути и содержанию, идеи социализма».

Из Вёшек идет в Москву телеграмма — председателю Совета Министров России: «Необходимо срочное решение Совмина РСФСР о полном запрете лова рыбы в реке Дон на время нереста. Дон не вышел из берегов и рыбколхозы всеми средствами ведут интенсивное уничтожение не отнерестившейся рыбы. Если не запретить немедленно, Дон будет через месяц окончательно обезрыблен». Потом еще одно послание — для нового, взамен ушедшего, председателя правительства: «Стараниями и усердием руководителей некоторых промпредприятий Воронежской и Липецкой областей на Дону в течение трех лет произошел массовый замор рыбы... Спуск в Дон неочищенных вод, используемых промпредприятиями... Необходимо Совету Министров РСФСР принять решение... По недосмотру облисполкомов (Воронежского и Липецкого. — В. О.), с ведома и дозволения товарища Ишкова (министр рыбного хозяйства. — В. О.) гадят в собственном доме... Неприглядная картина!.. К этому все привыкли, притерпелись, приняхались... Мне думается, что и в других реках страны надо упорядочить отлов рыбы и уж, во всяком случае, наложить категорический запрет на лов во время нереста». Колюч оказался: «В дореволюционное время станичные атаманы на Дону и его притоках строжайше запрещали во время нереста рыбную ловлю всеми орудиями лова и неусыпно следили за соблюдением своего неписаного закона. Неужто мы хозяева хуже атаманов. Что-то обидно от сопоставления не в нашу пользу...»

Итак, еще две главы в шолоховскую Книгу защиты родного Дона! С 1920-х годов творилась она в укор державной власти. И не было никаких попыток выставить себя героем. Эти свои заботы скрывал.

Из Англии с наковальней

Многоколейную жизнь строил себе Шолохов. От берегов Дона — путь к Темзе. Писателя пригласили в Англию. Много чего диковинного сопровождало эту поездку. Его везут на королевские озера. У страстного рыбака аж глаза загорелись, но жаль-то как — снастей не оказалось. Поразился обычаю: члены здешнего элитного рыбацкого клуба рыбу ловят, но это спорт, а не забава с жаревом-варевом; рыбу отпускают обратно в воду, лишь самый крупный экземпляр вручают судье — вдруг «потянет» на приз. «М-да, — промолвил, — интересная эта английская рыбацкая философия...» Может, припомнил свои усилия по спасению Дона.

Оценил побережья: «Отличные места! И, главное, ухожено везде, ни дымящих, ни смердящих промышленных объектов».

В одном городке напросился в магазин технического инвентаря. Обошел прилавки и вдруг остановился — загляделся на кузнечную наковальню. Неожиданно раздалось: «Хочу купить!» Постоял-постоял и выбрал еще замысловатые кузнечные щипцы и три молота особой конфигурации. Все на него смотрят с удивлением, а владелец магазина в восторге — каков писатель! Он же в ответ объяснил: «Это не мне, это в подарок нашему вёшенскому кузнецу...»

В Бирмингеме до усталости бродил по старинным улочкам и площадям, по залам Музея искусств, побывал в кафедральном соборе Святого Филиппа — заинтересовала архитектура барокко. Потом поклонился памятнику горожанам, что пали в двух мировых войнах.

Но приглашен был не ради туризма. Старейший в Англии Сент-Эндрюсский университет присвоил вёшенцу звание почетного доктора права с формулировкой: «Выдающемуся знатоку искусства, жизненной правды и великому летописцу советской эпохи».

Церемонна традиция. Торжественно ввели гостя в зал и усадили в вельможное кресло. Вокруг студенты в красных мантиях, канцлер университета в таком же одеянии, но с золотыми позументами, клерки в ярких камзолах держат реликвии — старинные жезлы и булавы.

Потом звучит его имя и он становится на колени перед кафедрой. Когда поднялся — облачили в докторскую мантию. Но обошлось — по обычаю — без речей. Гость волнуется — кто-то заметил, как он, запутавшись в мантии, пытается отыскать в кармане пиджака пачку «Беломора». Хорошо, что опомнился и обошелся без успокоительной затяжки.

Потом застолье при речах. Один издатели захотел понравиться — и нашел такую тему: «На меня произвела очень глубокое впечатление тема любви Григория и Аксины. Эта любовь вполне может быть сравнима с

великой трагедией Шекспира „Ромео и Джульетта“».

Слово в честь Шолохова произнес и новоиспеченный почетный доктор, знаменитый на весь мир писатель сэр Чарлз Сноу. Чопорный англичанин пошутил: «Может быть, это и не столь почетная степень, как лауреат Нобелевской премии, но я убежден, это важный шаг на пути к ней». Хорошая шутка.

Сноу и его супруга, тоже писательница, пришли по душе Шолохову, и без всяких раздумий он пригласил их погостить в Вёшках. Не отказались. Приехали на следующий год. Понравилось: снова приехали в 1964-м, но в тот раз уж совсем по-свойски — прихватили сына и дочь. Марии Петровне запомнилось высказывание жены англичанина и вопрос — вполне утвердительный — своего мужа:

— Мне понравился ваш сад и ваши сочные яблоки. Одно я увезу с собой и прибавлю к тому толстовскому яблоку, которое везу из Ясной Поляны.

— Здесь, у нас на тихом Дону вы убедились, что не так уж страшен Шолохов-коммунист и его друзья?

Разговоры, разговоры... Как писателям без них. Но как еще старалась Мария Петровна, чтобы остались в памяти не только разговоры. Какой стол! Донские раки по-казачьи и по ее рецепту тушеное мясо, русская икра и колбаса украинского происхождения — с чесночком, стерлядка с Дона, свои, домашние помидоры и малина от соседей со свежими — не покупными — сливками... Ах эти Шолоховы!

Осенью Шолохов приехал в Москву, чтобы познакомиться с новым начальством своего любимого издательства «Молодая гвардия».

Наш директор Юрий Мелентьев придумал превратить визит в значимое для издательства событие. Успел попросить ЦК комсомола подготовить для Шолохова высшую по тому времени комсомольскую награду — значок «За активную работу в комсомоле». Повод отличный — приближался 40-летний юбилей издательства. В ЦК знали, что Шолохов не забывал своего вхождения в литературу с помощью комсомольской печати.

Принимал он свою награду сдержанно и без всяких привычных тогда ответных словоговорений. С того дня я стал убеждаться, как не любил он мусора в разговорах. Скуп и сдержан на излияния. Никаких витийствований, а уж как горады на устные фейерверки, пожалуй, большинство его собратьев по перу.

Тот юбилейный для комсомольского издательства год оставил на память не только нашу с ним фотографию. Его пригласили приехать в Москву именно в день рождения издательства. Пообещал, но, увы, не

приехал. Пришла телеграмма: «Глубоко сожалею, что работа препятствует мне быть на вашем празднике. Вы творите огромной важности дело по воспитанию нашей молодежи и за это мы, старшее поколение пишущих и читающих, вас крепко любим, высоко ценим, глубоко уважаем. Примите от меня каждому и каждой из вас добрые пожелания счастья в жизни и успехов в работе. Ваш туго стареющий молодогвардеец Михаил Шолохов».

Он любил наше издательство. После одной из встреч в Книге почетных гостей осталась такая непринужденно теплая, ничуть не парадная запись: «Всегда с радостью бываю у молодогвардейцев! Даже вроде и сам молодёю. М. Шолохов». Запомнилось, как он взял в руки этот толстый фолиант и отошел от всех нас к маленькому круглому столику для графина с водой. Писал стоя, а почерк все равно четкий и красивый.

С того дня и пошли встречи. Они остались эхом в моих записных книжках, и я некоторые из них использую далее ко времени и по обстоятельствам.

1963 год. В его биографии обозначилось Европейское сообщество писателей. В Вёшки пришел большой конверт при иностранных марках с приглашением пожаловать на сессию этого сообщества в Ленинград 5 августа.

Не проявил особого интереса, уже готов был отказаться от поездки. Но ему вскоре рассказали, что там хотят обсуждать тему — есть ли будущее у романа.

Неужто так? И припомнил, что многие западные авторитеты пророчат — роман-де как жанр умер и посему надо способствовать появлению какого-то там «нового романа» или «антиромана».

За день до открытия сессии его встречали на вокзале.

Зал переполнен. Вёшенца просят открыть сессию. Будет ли, как это принято, славить достижения советской литературы и пропагандировать преимущества соцреализма?

Отринул эту возможность. Не поддался и соблазну передавать свой опыт романиста. Но коллеги и десятки журналистов все-таки ожидали от него, автора классического романа, слова истины. Пришлось выступить:

— Лично для меня вопрос о том, «быть или не быть роману», не стоит, так, как перед крестьянином не может встать вопрос — сеять или не сеять хлеб...

И союзники, и противники заметили простоту непреклонной мысли.

Далее всколыхнул зал необычным срезом размышлений — поставил тему споров с головы на ноги:

— Вопрос может быть поставлен в такой плоскости: «Как сеять и как

вырастить урожай получше»... Точно так же и для меня, как романиста, может возникнуть вопрос: как получше сделать роман, чтобы он с честью послужил моему народу, моим читателям?

...Скромность при осознании своего места в литературе — черта его характера. В этом году обратился с письмом в ЦК, попросил в нем пресечь поползновения некоторых издательств выпускать о нем монографии.

1964-й. Поездка в Германскую Демократическую Республику. Там начал с того, что напросился побывать в сельском кооперативе. Потом в Дрездене захотел посетить Дом Гёте.

В музее Гёте вдруг с взволнованным вопросом: «Все ли книги уцелели во время войны?» Может, вспомнил о своих погибших в Вёшках рукописях и библиотеке при налете фашистских самолетов?

Чувствовал, что немцы его ценят. Поразился, когда узнал, что в этой в общем-то небольшой стране его книги изданы тиражом в миллион с лишком. Еще награда — стал почетным членом сельхозкооператива. От правительства вручили орден «Большая звезда дружбы народов». Журналисты заинтересованно с ним общались. Молодежная газета, к примеру, вышла с таким заголовком: «Великий эпик нашего времени». Однако в Западной Германии нашлась одна газета, которая всю естественную во время войны многогранность чувств писателя втиснула в провокационный примитив: «Великий казак с тихого Дона ненавидит немцев».

...В декабре, отвечая на письмо одного литературоведа, установил этим ответом — как бы мимоходом — важный топографический знак на карте будущей битвы за свое честное имя. Его спросили о донском новеллисте и публицисте Федоре Крюкове, что сгинул в Гражданскую войну от тифа, отступая с остатками белой армии. Сейчас его имя мало кому что говорило. Это только через годы — в 1974-м — Солженицын и одна его единомышленница, Медведева-Томашевская, начнут убеждать, что Шолохов украл у него «Тихий Дон».

Итак, Шолохов и Крюков. Вёшенец в ответном письме — с дважды важным свидетельством: «К стыду моему, не читал Крюкова...»

Далее без всякого предубеждения, очень даже обиходно и явно без ревности, но с заметной утвердительной интонацией вывел: «Дело неплохое — ознакомить широкого читателя с писателями конца прошлого — начала нынешнего веков, в том числе, разумеется, и с Крюковым тоже». Добавил опять же без опаски для своего авторитета: «К сожалению, у нас преданы забвению имена талантливых людей...»

Отчего-то настырные радители темы плагиата такое личное

шолоховское свидетельство предадут забвению и этим греховодничают против научного подхода — использовать все «про» и все «контра».

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Юбилей. Колхозные заботы и гости из Ленинграда. Письмо Брежневу. ЦК о фраке для лауреата. Был ли поклон королю? Откровения перед студентами. «Мысли о деньгах?..» Поцелуй для юной Люсии. Мнение Солженицына

Глава первая

1965: ЖИЗНЬ «НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ»

Шолохову шестьдесят! Этот особый лично для него год был с преизбытком заполнен событиями особой значимости и для всей страны, и для мировой общественности, и для взбудораженных юбилеем недругов тоже.

Будни

Вёшки. Первые дни нового года.

Завтрак в восемь. За столом многолюдно. Гостюют младший сын Михаил с женой Валентиной Исмаиловной и младшая Мария со своим мужем Юрием Павловичем. Глава семьи в хорошем настроении: «Кто рано встает, тому Бог дает. Анютка молоком меня уже попотчевала парным...» У него особые обращения к сидящим вокруг: Миня, Пиня и Ляля. Миня — это жена, давно уже не Маруся-Марусенок. Пиня — вот же какая причуда — это младший сын Михаил. Ляля — невестка. Вместе с ними застолье украшают шесть веточек третьего поколения: три внука и три внучки; три на три — счастливый уравновес.

Ступит хозяин на крыльцо, и тут же к нему, виляя хвостами, бегут надежные, отлично натасканные на охоту, друзья-красавцы — английские сеттеры и пойнтеры.

К обеду или на ужин, глядишь, пожалует с мужем сестра Марии Петровны — Лидия, живут соседями.

На кухне колдует — уже лет тридцать в этой семье — Анна Антоновна, для старших просто Нюся или Анюта.

В полдень почтальон постучится с толстой сумкой на ремне, принесет поболее двух десятков газет и журналов, а еще письма — почти каждый день десятками. Шолохов посмотрит на груду конвертов и скажет с тоской: «Нет ни сил, ни времени на все ответить». Но все-таки читал и надиктовывал секретарю ответы, а то и сам брался за перо. Секретарь ему выделен как депутату. Они не раз менялись. (Один из них — Андрей Зимовнов — проработал с 1965-го с перерывами лет семь и — поклон ему! — выпустил интересную книгу «Шолохов в жизни. Дневниковые записки секретаря». Но мог бы обогатить ее, если бы дал рукопись на просмотр

детям Шолохова.)

Комната, куда уходил на ночной покой, проста, но с писательским отличием. Здесь не только две кровати и у стены трехстворчатый шкаф для одежды, там гардероб Марии Петровны и пристанище для его костюмов и любимых галифе. Меж кроватями обосновался небольшой старинный письменный стол с деревянной балюстрадой в подпорку книгам и бумагам.

Еще одна комнатка как бы охотничья: висели ружья, а на столе гильзы, патроны, пыжи...

...Отправил открыточку поэту Виктору Бокову. Полюбился! Истинно народная лира, даже балалаечник при исполнении некоторых своих песен. Узнал то, что поэт старался скрывать — сидел по наговору много лет в лагерях. Пишет ему: «Дорогой Виктор! (сие означает: Виктор-победитель). Желаю Вам в новом году удачи и успехов...»

...Полистал рукопись книжечки, которую задумал выпустить один местный газетчик — к его юбилею. Привез свою рукопись с таким же предназначением и преподаватель Ростовского университета Марат Мезенцев. Не поддержал ни того ни другого, ибо не любил юбилейщину. Кстати, сей ученый после кончины Шолохова превратится в отъявленного антишолоховца. Говорили, правда, что на смертном одре раскаялся.

...Принял ходяков. Они его попросили обратиться к московской власти, чтобы помогла устроить для района телевидение. Он понимал: если сейчас согласится, то потянутся хлопоты и они тоже будут отвлекать от литературы. Но взялся и уже через полтора года его благодарили — появилось ТВ.

...Шолохову добрая весточка из Токио — в театре народного искусства «Мингуэй» скоро будет премьера «Поднятой целины». Спустя годы узнал, что за удачным началом пошло отличное продолжение: больше 300 спектаклей, и не только в столице.

Иногда днем он заходил в свой «депутатский» кабинет, который ему выделен в райисполкоме. Принимал избирателей, тех, кто не догадался пробиться домой. Жалобщики — вёшенцы, казаки и казачки с недалеких и далеких хуторов — считали самым удобным являться ранним утром.

Сам он вставал и шествовал «на работу», в свой домашний кабинет на втором этаже чаще всего в четыре утра.

В завтрак не обходился без радио — пользовался стареньким ламповым приемником. Он рядом, хотя и с древним, но уютным диваном.

Подворье не очень-то ухожено: заборы стали хилиться, но скрученные проволокой пока держатся, и не сразу догадались дорожку к крыльцу

заасфальтировать. Зато все шесть комнат в доме в теплоте и ухоженности, попробуй иначе при Марии Петровне!

Во владениях Шолохова только то, что нужно в станице для большой семьи и несуетной жизни. Это сад и пять построек: жилой дом, погреб с ледником, сарай с сенником, гараж и домик-баня.

На школьные каникулы пригласил к себе директоров школ своего района. Почувствовал, что в их жизни полно беспокойств. Упрекнул: «Почему молчите — неужели все хорошо?» Кто-то сказал в оправдание: «Не хотели докучать». Он: «Это мои депутатские обязанности». Этим развязал языки. И новая школа нужна. И нет оборудования для учебнометодических кабинетов. И автобус бы надо для перевозки школьников. И для приобщения детворы к труду на пришкольном участке не обойтись без легкого трактора... И ведь помог.

С лета прошлого года — загодя — готовится принимать гостей из Ленинграда — делегацию Кировского завода-гиганта, его еще называли подреволюционному: Путиловский. Затея явно в память о том, что треть века тому назад в «Поднятой целине» проявился Давыдов, слесарь-путиловец. Так, в последнюю неделю января прибыла делегация заводчан. Поездки по колхозам, выступления по клубам, беседы с писателем. Одному из гостей повезло — получил автограф с лукавинкой явно в продолжение каких-то меж ними, рабочим и писателем, свойских разговоров: «Доблестному казаку станицы Вёшенская Савичу Е. Напоминание о том, что Вёшенская еще существует и ждет его, чтобы он приехал ловить рыбу и есть ажиновские арбузы». Гости поддержали идею хозяина — создать всесоюзную книжную серию «История предприятий» и начать ее с истории Путиловского Кировского завода. Шолохов рассказал об этом даже в «Правде»; была в статье такая фраза: «Очень нужны книги о славе и трудовой доблести рабочего класса».

Восьмого февраля — день рождения дражайшей половины. Мария Петровна принимает от него цветы: корзина! Откуда в станице такое, что выдывали лишь в кино? Оказывается, попросил друзей снарядить подарок из Ростова. Когда держал заздравное слово, взволнованно выделил, как она растила детей.

И вдруг ему подарок — он угодил к празднику Советской Армии. Один украинский ветеран прислал «Они сражались за родину» — брошюрочку 1943 года. Растрогал. И сразу же сел за письмо с благодарностью.

Март. Начало. Шолохов отправился в Москву. Его попросили открыть Второй съезд писателей России. При этом высвободил от съезда часа

полтора и съездил в издательство «Молодая гвардия». А еще в эти дни повстречался с офицерами-пограничниками. Здесь, когда случилась заминка с вопросами, всколыхнул заробевших шуткой: «На встрече с Маяковским никто поначалу не задавал ему вопросов. И вдруг тянется какой-то мальчишка. Маяковский обрадовался: „Видите, даже у малыша есть вопрос!“ А тот спросил: „Дяденька, а кино будет?“»

И далее первые месяцы года проходили в круговерти дел. И больших — для страны. И малых — для района. Поучаствовал в собрании районного партактива, выступил на партсобрании в колхозе «Тихий Дон», побывал на культстане первой бригады колхоза имени его, Шолохова. Поздравил с юбилеем издательство «Художественная литература». Зазвал в район знаменитого колхозного агронома-академика с Урала Терентия Мальцева — поучи, мол, наших. Призвал в публичном обращении молодежь страны взять шефство над военными памятниками и могилами. Отправил письмо в Союз писателей — удивился, что не хотят послать его в Югославию по приглашению тамошних писателей, и попросил прислать книгу одного по тем временам видного писателя-сербя. Прочитал запрещенную диссидентскую книгу отставного генерала Александра Горбатого, прошедшего через ГУЛАГ (у Шолохова спросили: «Хорошая книга?» Ответил: «Дело не в хорошем, а страшная. Недаром за эту книгу ухватились за границей»). В какой-то газете прочитал статью о безжалостном отношении к природе — вознегодовал: «Разве это допустимо?! Варварство!» На несколько дней съездил в Финляндию — любил эту страну; в этот раз познакомился там с очень популярным тогда писателем Марти Ларни. Побеседовал с группой донских работников народного образования. В вёшенском Доме пионеров встретился с делегацией сельской молодежи области — главную тему для беседы назвал так: «Земле нужны молодые руки». Не отказал казашке Баджан Жайкеновой в просьбе встретиться — приехала на могилку своего сына-летчика, он был сбит фашистами в боях за Каргинскую. Обратился с приветствием к Всемирному конгрессу сторонников мира. Узнал, что в Алма-Ате самобытный, талантливый в поисках тем и сюжетов скульптор Сэрэнжаб Балдано, бурят по национальности, бедствует без своего жилья в подвальной котельной. Похлопотал за него и осчастливил многолетнего бедолагу. Мне об этом сам скульптор рассказывал в восхищении. Припомнил то, что Мария Петровна письмо ему прислала.

Случилась и беседа с первым секретарем обкома о том, что надо растить не «хозяев земли», а «хозяев на земле».

Еще событие для станицы. Писатель откликнулся на письмо из

Дагестана и принял большую делегацию — 42 школьницы с учительницами: аварки, лезгинки, кумычки, даргинки, лачки... При встрече сразу прервал церемонию торжественных приветствий: «Давайте говорить без предисловий!» Было и такое предостережение в разговоре: «Зарубежным идеологам хотелось бы посеять среди вас, молодежи, чувство неверия, скепсиса, равнодушия... А ведь вам придется отвечать за будущее страны и за все, что добыто старшими поколениями». Еще напутствие: «Независимо от того, махачкалинская ли это школа, песчанокопская, вёшенская или какая-либо другая, воспитывать молодежь нужно всесторонне: тут и кино, литература, театр, и, конечно, основное — это учеба. Огромная страна наша требует рачительных, трудолюбивых, умных хозяев...»

О чем мечтал в канун своего юбилея? Вёшенским комсомольцам заявил: «Мои планы — думаю закончить роман „Они сражались за родину“. После этого думаю попробовать свои силы в драматургии». Сколько уже лет копится у него желание заняться пьесами...

Ничуть не стремится к славе и, кстати заметить, к незаработанным гонорарам: «Те театры, которые думают инсценировать роман „Они сражались за родину“, проявляют, на мой взгляд, излишнюю поспешность, потому что из неоконченного произведения создать что-то единое, цельное в драматургии трудно».

Еще штрих в предъюбилейную картину — направил богучарским dobroxотам письмо с запретом создать в школе, где когда-то учился, мемориальную комнату. Это не значило, что отрекался от тамошнего детства, — посулил найти возможность приехать.

Насыщенно жил!

В мае отправился в Венгрию по личному приглашению главы этой страны и с разрешения своего ЦК. Но условились, что с ним поедут группа вёшенских колхозников и секретарь райкома. Им, заявлял, надо посмотреть, что можно и нужно перенять у тамошних земледельцев-мадьяр. Прилетели. Донцам одно интересно, венграм — другое; для них важен писатель Шолохов. Посему для него особая программа: выступления, выступления. Одна газета выведала у него кое-что на особицу для интервью и снабдила его интригующим подзаголовком «Есть такие оперы, с премьер которых он убегал...». Это такой журналистский прием, чтобы выделить в беседе оперу «Тихий Дон»: «Когда я ее прослушал, то сразу сказал, что в опере нет ни одного мотива казачьих песен. Дзержинский ответил, что Пушкин, наверное, тоже был бы недоволен операми Чайковского. Я ему ответил: это правда, но вы не

Чайковский, а я не Пушкин».

Как только приземлился в Москве после перелета из Будапешта, ему сообщили новость: не уезжайте — ваше 60-летие по указанию ЦК будет праздноваться в столице.

Остался. В день рождения ему награда — высшая — орден Ленина. Вручал председатель Президиума Верховного Совета. Вечером же в Колонном зале Дома союзов — выступления-приветствия и концерт для почти тысячи почитателей писателя в присутствии высокопоставленных представителей от ЦК. Подарили газету «Известия». Узнал из статьи, что тираж его книг только на русском — аж зарябило в глазах от цифр — 37 миллионов 335 тысяч экземпляров да на других 73 языках больше трех миллионов.

Когда вернулся в Вёшки, земляки чествовали его в своем Доме культуры. Заявил, бодрясь: «Что касается моего творчества, скажу прямо — пороховница сухая, порох есть, казачья удаль верная, все, что задумано в литературном плане, будет выполнено...» О своих неизлечимых болячках — начинающийся диабет и последствия военной контузии — ни намека. Некая грустинка проявилась, когда близкие и друзья остались на застолье и он сказал: «Хватит, друзья, говорить обо мне. Шестьдесят лет — это уж не так мило звучит. Если бы двадцать было...»

И все-таки продолжал жить как прежде.

Дополнение. На упомянутой встрече с пограничниками в обширной беседе явно выделил четыре мысли (как жаль, что они остались забытыми, лишь единожды попали в «Литературную газету», в 1986-м, 25 июня):

«Незнание жизни... Писатель призван быть учителем, совестью общества. А как ему быть таким, если его от малейшего ветерка колышет и если жизнь он наблюдает из окошечка своей квартиры? Вспомните, Горький пешком всю Русь исходил. Тяжело больной Чехов ездил на Сахалин. Между прочим, не самолетом летал. А у нас сейчас немало „великих путешественников“ — в пределах Садового кольца...»

Сейчас много говорят и пишут о поэзии молодых. К сожалению, кое-кто из них сильно подвержен моде. Но истинный поэт — не тот, кого мода заморозит может, как та цыганка. Поэзия — это не танец вроде твиста. Главное в литературе разных жанров — четкая идейная позиция и художественное совершенство».

Было и предостережение: «Нещадно их критика стегает, а я думаю, что за творческие ошибки и вывихи их не пороть надо, а воспитывать. И

прежде всего на высоких образцах гражданственности. А когда им клеят ярлыки — они вроде бы в мучеников превращаются и гимназисткам нынешним хочется их по-бабьи пожалеть».

«Премии? Мерка должна быть самой высокой, иначе мы обесценим премии. Вообще-то нам, писателям, надо блистать не медалями, а книгами».

Первые зарницы из Швеции

Стокгольм — будни Нобелевского комитета: подготовлен список главных претендентов на премию; отсеялись 89.

Теперь для завершающего рассмотрения остались Михаил Шолохов и, судя по газетам, явный фаворит 56-летний гватемалец Мигель Анхель Астуриас. И еще, как рассказывали, был в списке Константин Паустовский, замечательный лирический прозаик, уже столько лет тихо живущий в своей калужской Тарусе, но внятный порицатель партийной линии в литературе. Немало членов Комитета высказывались в пользу английского поэта Одена, живущего в США, израильского прозаика Агнона и западногерманской поэтессы Нелли Закс. Сколько же соперников!

Москва. 30 июля 1965 года Шолохов шлет письмо тому, кто год назад сместил Хрущева со всех постов и занял его место, — Л. И. Брежневу. В письме и сдержанность, и скромность, и вера в необходимость партдисциплины:

«Недавно в Москве был вице-президент Нобелевского комитета. В разговоре в Союзе писателей он дал понять, что в этом году Нобелевский комитет, очевидно, будет обсуждать мою кандидатуру.

После отказа Жана Поля Сартра (в прошлом году) получить Нобелевскую премию со ссылкой на то, что Нобелевский комитет необъективен в оценках и что он, этот комитет, в частности, давно должен был присудить Нобелевскую премию Шолохову, приезд вице-президента нельзя расценить иначе как разведку.

На всякий случай мне хотелось бы знать, как Президиум ЦК КПСС отнесется к тому, если эта премия будет (вопреки классовым убеждениям шведского комитета) присуждена мне, и что мой ЦК мне посоветует?

Премии обычно присуждаются в октябре, но уже до этого мне хотелось бы быть в курсе вашего отношения к затронутому вопросу.

В конце августа я поеду месяца на 2–3 в Казахстан и был бы рад иметь весточку до отъезда».

Брежнев запросил мнение отдела культуры. Заведующий не промедлил: «Присуждение Нобелевской премии в области литературы тов. Шолохову М. А. было бы справедливым признанием со стороны Нобелевского комитета мирового значения творчества выдающегося советского писателя. В связи с этим отдел не видит оснований отказываться от премии, если она будет присуждена».

И Брежнев, и члены Политбюро, и секретари ЦК с этим доводом согласились.

Стокгольм. Руководители Комитета уже прочитали «Тихий Дон». Но каким будет мнение взыскательного синклита? Надо ждать, когда соберутся всем составом.

Вёшки. Июль-август. По-прежнему разнообразна и обременительна нагрузка писателя.

Вот только литературные заботы и круг его литературных интересов. Прочитал почти 20 рукописей от тех, кто ждет его благословения на вхождение в литературу. После этого дал поручение секретарю найти возможность отрецензировать лучшие и пояснил с заботой: «Молодежь, подающая надежды, чувствительна... Острые слова рецензента могут затемнить дорогу тем, кто подает надежды...» Высказался в беседе со своими домашними о «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля: «Такой словарь должен быть в каждой семье...» И тут же с критикой: «Сейчас его днем с огнем не найдешь, бумагу жалеют». Читает жене и дочери отрывок из книги Джона Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Получил рукопись переводов Бернса от визитера-переводчика — тот жалуется, что Корней Иванович Чуковский препятствует их выходу. Шолохов вознамерился писать в Москву, в Союз писателей, пока же устно высказал свое недоумение: «Конечно, перегибает с рифмами, с переносом английской образности на русскую, но и Чуковский поступает неправильно, молодому переводчику устроил разгром...» Наказ дал тем, кто задумал о нем документальный фильм, — отринул идею восхвалительно-сладенького сценария: «Надо показать, что я вместе с героями жил, и самым трудным было переживать то, что переживали они».

Стокгольм. Вершители судеб премий Нобеля выбрали конечно же самого достойного победителя. Потом, когда придет черед обнародовать на весь мир свои чувства, не постеснялись самых восторженных слов.

«„Тихий Дон“ явился огромным триумфом творчества Шолохова, триумфом правды... И правда эта проникает далеко за пределы его родины... Величайший исторический роман после „Войны и мира“» — это

оценка секретаря Комитета.

«Могущественное произведение... Присуждается ему поздно, но, к счастью, не слишком поздно, пополняя список лауреатов именем одного из самых выдающихся писателей современности...» — это слова председателя Комитета.

...Братановский Яр, берега Урала. В конце первой недели сентября добрались сюда Шолоховы на собственных машинах, преодолев путь в тысячу километров с мечтой о рыбалке и охоте и свободном творческом труде.

Вёшки: 14 октября в покинутом хозяином и хозяйкой доме шли обычные в канун зимы занятия оставшихся домочадцев. Убирали сад, закрывали виноград, проверяли котлы для отопления, ремонтировали водопровод, укрепляли забор...

Стук в калитку: к Шолохову иностранец, журналист из Швеции. Расстроился, когда узнал от секретаря, что писателя нет, а все равно с вопросами. Пояснил: «Мне поручено интервью в связи с тем, что завтра в полдень будет объявлено о присуждении Нобелевской премии господину Шолохову...»

На следующий день от этого самого журналиста телефонный звонок: «Не вернулся ли еще домой лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов? О-о, как жаль, что не вернулся! Но передайте ему текст решения Нобелевского комитета: „Комитет Академии Искусств Швеции присуждает Нобелевскую премию 1965 года Михаилу Александровичу Шолохову за художественную силу и честность, с которыми он создал историческую часть жизни русского народа в своем „Тихом Доне““».

Поздравления стали приходить на следующий день. Была даже такая телеграмма: «Приезжайте к нам на охоту и рыбалку на Крайнем Севере...»

Некоторые не хотелось читать. Борис Полевой кланялся — запамätовал, как ровно десять лет тому назад распинал Шолохова за измену партийным догмам. Была одна злобная телеграмма: «Награду, наконец, Вам дали... Хотя силюсь — не могу понять: за то ль, что некогда писали, за то ль, что бросили писать». Кое у кого пробудилась корысть — начали выпрашивать деньги. Секретарь потом подсчитал: такие вымогательства «тянули» на 1 миллион 250 тысяч рублей, а это больше, чем вся премия.

Глава вторая

СТОКГОЛЬМ, ДЕКАБРЬ

Это только кажется, что все так просто было с вручением высшей в мире премии: постановили — пригласили — вручили — речи-банкеты и по домам в счастливом настроении со славой наперегонки.

Дорога к премии

Братановский Яр, 15 октября. Шолохов проснулся очень рано — и с рассветом принялся за свой военный роман. Выписывал строки о приезде к Николаю Стрельцову его брата-генерала, прототипом которого был реальный генерал с многотрудной судьбой Лукин.

Через несколько часов так измочалился, что с радостью подумал о рыбалке. Вышел звать добровольцев вдохнуть уже студеного воздуха и позябнуть на берегу или в лодке.

Вдруг вдали углядел мчащуюся с серо-пыльным шлейфом машину. Кто-то из местных признал — едет секретарь райкома. С чего бы это? Тот подкатил к домику и, задыхаясь от волнения, оповестил об извещении Нобелевского комитета.

Шолохов слушал решение Королевской академии в своем рыбацко-охотничьем одеянии — ватник и старая шапчонка. В глазах райкомовца всемирный лауреат походил на простого колхозника. Первых поздравителей всего-то несколько человек.

Обком посылает самолетик — вылетайте, надо выходить на связь с Москвой. С ним прилетел телевизионщик. Лауреат уже готов к отлету, при параде: теплая куртка, серого цвета офицерские галифе, пыжиковая шапка и яловые сапоги.

Уральск. Шолохова препровождают в кабинет первого секретаря обкома. Поздоровался, принял поздравления и взялся за ручку — набросать телеграмму в Нобелевский комитет. Соединился с Москвой — попросил передать ее в Стокгольм и продиктовал: «Сердечно благодарю за высокую оценку моего литературного творчества и присуждение Нобелевской премии. Также с благодарностью принимаю ваше любезное приглашение прибыть в Стокгольм на Нобелевские праздники. Михаил Шолохов».

Закончил и будто мимолетно проговорил: «С опозданием присудили...

Лет бы этак на двадцать пять...»

Из «Правды» звонок по правительственному телефону от главного редактора. Шолохов ему будто бы в шутку:

— Говорят, что не хотите дать интервью со мной, а я здесь всем отказываю — первое за «Правдой».

— Мы не знали, примете ли премию...

— Это же было обусловлено.

— Мы не знали... Если не возражаете, к вам прилетит Юрий Лукин... «Правде» очень нужно интервью нобелевского лауреата.

— Пусть летит самолетом, который идет на Гурьев. Здесь его встретят.

Устроили чаепитие для приуставшего с дороги гостя. Все разговоры вертятся вокруг премии, а Шолохов вдруг хозяину кабинета, главе обкома, совсем о другом: «Дорогой мой Коспанов, я убедительно прошу тебя обратить внимание на ваши Камыш-Самарские озера. Браконьеры губят их былую охотничью славу. И с воздуха, и с земли, и с воды бьют... Есть там ваш рыбопункт, он, по-моему, одними алкашами укомплектован... С вертолетов бьют сайгу — она у вас за границу ушла... Ходатайствуйте перед правительством об открытии на этих озерах заповедника...»

Добавил, припомнив свою недавнюю поездку в Финляндию: «У финнов в озерах, где вода не замерзает из-за текучих вод, утки зимуют, их подкармливают...» Закончил с горечью: «Неужели не научимся по-людски к природе относиться?!»

Вышел и оказался в осаде у журналистов, но держался твердо: «Первое слово для „Правды“». Один из газетчиков задумал поинтриговать:

— У меня из-за вас пропали командировочные.

— Почему пропали?

— Я же не взял интервью...

Шолохов под смех:

— Я отдам эти деньги, только не осаждайте сейчас меня!

Все-таки прилетел с правдинскими полномочиями старинный друг Юрий Лукин, тот, кто был с конца 30-х лучшим редактором у Шолохова. Началось надиктовывание интервью: «Разумеется, я доволен присуждением... Но прошу понять меня правильно: это — не самодовольство индивидуума, профессионала-писателя... Тут преобладает чувство, что я хоть в какой-то мере способствую прославлению своей родины и партии... И, конечно, родной советской литературы...»

Из Уральска вернулся с правдистом в свое глухое стойбище — надо собираться в Москву. Последняя охота и селезень к ногам Марии Петровны: быть полевой лапше!

Пока казан вскипал, Шолохов сочинил для Лукина шутивную пародию на охотничьи дневники Хемингуэя; ведь гость по страшной близорукости никакой не стрелок.

27 октября в Вёшках раздался по телефону голос Шолохова — сказал секретарю: «Прилетел вчера в Москву. Наши с Братановского выедут сегодня или завтра утром. Кабанятину дикую будешь есть? Жди через день...» Трубку, однако, не положил: «Протопите дом-то...»

Помолчал и с вопросом, странным для совсем не тщеславного человека: «Из ЦК приветствие есть от кого или нет?»

Не было — услышал в ответ. Телеграфное поздравление от ЦК и Совета Министров пришло только 30 октября.

На Дон прибыл через два дня. На станции в Миллерово ахнул — сколько ликующего народа встречает. Дома в Вёшках только скользнул взглядом по гряде поздравлений. Перебирать их в этот день не стал.

Пригласил секретаря райкома. Когда выслушивал поздравления, проговорил с горькой усмешкой: «Запоздалая невеста».

Его затребовали в Ростов на пресс-конференцию. Зря потратил время — не состоялась из-за отсутствия столичных журналистов; нелетная погода для московских рейсов.

Возвращался на самолете с происшествием — незадолго до посадки «забарахлил» мотор. Почетный пассажир заметил сбой, но виду не подал.

Отобедали с любимым яблочным пирогом, и тут-то наконец взялся листать поздравления; вдруг хохотнул: «В Восточной Германии живут 18 миллионов немцев и ни одной просьбы, а одна русская оказалась среди них и запросила 400 рублей. Смех смехом, а это дурное воспитание — не от бедности просит».

Вечером уселся за ответные телеграммы.

«Сердечное спасибо виноградарям и виноделам Грузии, работникам „Самтреста“, тебе, дорогой друг, за добрый подарок. Ваше вино впитало в себя из многих чудесных качеств грузинского народа три отличных: крепость, нежность, стойкость. Кланяюсь земле грузинской» — это редактору сельской газеты Грузии.

«Прошу передать в адрес Шведской Королевской Академии господину Карлу Ригнару Гирову следующее: благодарю за приглашение на завтрак девятого и за возможность выступить с лекцией одиннадцатого. Все будет исполнено» — это для посольства Швеции.

С середины ноября зачастили гости из Швеции — журналисты-интервьюеры. Первой группе повезло. Хозяин захватил ее с собой на остров Островной порыбалить. Была ли рыбалка успешной, неизвестно, но

то, что никто не замерз, благодаря предусмотрительно-горячительным стараниям Шолохова, — это точно. Второй группе повезло не меньше — так ухитрились обольстить хозяина, что он при всей своей нелюбви к интервью ответил на 47 вопросов. Среди ответов были такие, что и спустя десятилетия интересны:

- *Были ли сомнения в получении премии?*
- Нет.
- *Были ли мысли о деньгах?*
- Важно признание, а не деньги.
- *Чувствуете ли вы себя стариком?*
- В присутствии дам не скажу. Я бы сказал «нет», еще молод.
- *Что вы можете сказать о модернизме в литературе?*
- Литература должна обновляться эволюционно.
- *Учились ли западные литераторы у русских, и наоборот?*
- Толстой говорил, что учился у Стендаля. Русская литература не возникала из ничего. Также и Пушкин. И наоборот, творчество Толстого и Достоевского обогащало западную литературу.
- *Какие качества должен иметь хороший роман?*
- Художественную силу и честность, как сказано в решении Нобелевского комитета.
- *Основное в работе писателя?*
- Ум и труд.
- *В чем прелесть охоты и рыбалки?*
- В этом возможность отдохнуть на природе. А мысль продолжается все время.
- *Многие думают, что западный и восточный мир сближаются?*
- Это, признаться, не моя область знаний.
- *Мы ждем критический роман о Советском Союзе тридцатых годов.*
- За других сказать трудно, что у других писателей в портфеле. Я занят романом о войне.
- *Какие лучшие качества русского народа?*
- Они давно известны, их нечего повторять.
- *В чем отличие русского народа от советского?*
- Нет разницы. Я интернационалист.
- *Почему вы не стали лириком?*
- Видимо, талант у меня такого направления. Поэзию я люблю, но в ней совершенно бездарен.
- *Как чувствуете себя, когда видите свой успех?*

— Когда легко пишется, я бросаю писать, так как это подозрительно...

Было еще одно интервью. И в нем тоже встречается то, чего раньше писатель не высказывал. Увы, советские читатели этого не читали:

— *Вы связаны с методом социалистического реализма?*

— Что об этом думать, читайте, что я написал.

— *Какую тему вам хотелось бы раскрыть в новом романе?*

— Хотелось бы написать и о любви.

— *У писателей всего мира должен быть «Круглый стол». Как вы себе его представляете?*

— Идея «Круглого стола» не получила своего развития. «Круглый стол» — это регулярные встречи...

С горечью ответ, видимо, припомнилось, как ЦК прищипнул на него, когда в 1956-м через журнал «Иностранная литература» высказал идею постоянных писательских общений.

— *Ваше отношение к творчеству Солженицына?*

— Не всякую мемуарную литературу можно отнести к художественной.

...Сборы в лауреатскую дорогу. Строптив станичник. Не хочет просить ничего лишнего.

Нужны деньги. Союз писателей запрашивает их в ЦК. На письме появляется помета после звонка в Вёшки: «Выделения дополнительных средств СП СССР не требуется, т. к. проезд оплачивается т. Шолоховым».

Нужен фрак — без него, оказывается, никак нельзя. Лауреат узнал об этом, кажется, всего за сутки до отъезда. С пометой «Весьма срочно» в ЦК идет записка из Союза писателей: «В связи с тем, что по существующему ритуалу тов. Шолохов при вручении премии должен быть одет в специальный фрак, а в наших условиях пошить установленный фрак в оставшиеся сроки не представляется возможным, тов. Шолохов просит выдать ему на приобретение в г. Хельсинки фрака и экипировки сопровождающих его лиц 3 тыс. американских долларов с последующим возвратом из Нобелевской премии...»

На второй день декабря Шолоховы — Мария Петровна и дети — выехали в Стокгольм через Хельсинки. С ними Юрий Лукин и тогдашний директор «Молодой гвардии» Юрий Мелентьев. Их в ЦК потребовал Шолохов.

По дороге лауреата стали знакомить с сообщениями прессы разных стран. Выслушал по абзацу из четырех газет.

«Уже давно было совершенно ясно, что Шолохов должен получить премию... Академия только исправила свою ошибку...» — это голос из

Швеции.

«Решение Шведского жюри опоздало на 20 лет...» — это мнение из Италии.

«Величайший русский роман...» — это отклик из Англии.

«Идеальный лауреат...» — это эхо из США.

Он произнес: «Хвалят — это хорошо, а „облаивают“ ли?» Его не хотели огорчать. Он настаивал. Тогда раскрыли папку и взялись переводить.

«С таким же успехом премию можно было присудить секретарю КПСС...» — это шведская «Дагенс Нюхетер».

«Если шведские академики ставили задачу выдать политическое вознаграждение, то их выбор является идеальным...» — это «Вашингтон пост».

«Позорно... Шолохов — ярый советский коммунистический романист...» — это «Нью-Йорк геральд трибюн».

Прокомментировал, жалеючи слова: «Гм-гм. Занятно...»

На третий день декабря высадились в Хельсинки. Три дня прошли здесь в главной заботе — взять напрокат фрак. Он примерил новую для себя «спецодежду»:

— Ну, официант!

— У тех черная бабочка — у вас белая...

Мария Петровна с дочерьми тоже стали, как пошутили, «обмундировываться». Когда вернулись из магазинов, давай дефилировать перед лауреатом в роскошных платьях. Его Мария Петровна предстала истинной королевой: красива и величественна в новых нарядах.

Потом на небольшом автобусе, который выделил наш посол, помчались в портовый городок Або. Долго еще помнилось, как пели по дороге русские песни, казачьи тоже.

Потом погрузились на корабль «Свеа Ярл» и под мерные у борта всплески, по счастью, тихого моря устремились в столицу всемирного признания.

«Кзаки не кланяются даже перед царями»

7 декабря. Шолохова встречали на причале советский посол, представители Комитета и туча журналистов. Повезли в лучшую гостиницу — Гранд-отель. Уже в полдень — пресс-конференция. Вечером вдруг стал надиктовывать телеграмму в Каргинскую (с чего бы это вспомнилась?): «99

процентов уверенность в том, что новая школа будет — есть. Остальное — мои хлопоты на месте. Жму руку. Ваш Шолохов».

Каждый день расписан по минутам. На следующий день два ключевых пункта в программе: завтрак — его устроила Королевская академия, и обед от издателя. Повезло издателю — не скрыл радости: спрос на роман Шолохова стремительно подскочил, а это отличный барыш.

Когда с трудом выкраивали из протокола хотя бы полчаса свободных, то — устали или не устали — прогуливались по красивым улицам и площадям. Манили витрины магазинов — книжных тоже: видели там большие фотографии Шолохова и рисунки Аксиньи с Григорием на переплетах совсем свежих изданий.

День коронации — 10 декабря. Новоиспеченные лауреаты с семьями усаживаются в роскошные лимузины... Их везут к стокгольмской ратуше... Сзади — машина посла СССР с флажком... Вводят в Большой Концертный зал — здесь будет главное действо... Посол сопровождает... Чопорная аристократия... Вёшенец меж ними ничуть не теряется — многим даст фору: строен, гордая посадка головы, высокий лоб, нос с горбинкой, белая изящная кисть руки на черном фоне фрака... Элита берет другим — орденами и драгоценностями... Семья Шолохова на почетных местах... Подошел распорядитель, и лауреатов куда-то увели...

В четыре часа тридцать минут — точь-в-точь — появляются король и вельможная свита. Зал встает. Поклон от монаршей семьи и все садятся. Пауза — король достает текст своей речи: читает в благоговейной тишине. По окончании возносятся звуки фанфар.

Это сигнал для двурядного шествия. Четыре студента в белых корпоративных шапочках и с чересплечной лентой цветов шведского флага чинно ведут за собой семерых триумфаторов — писателя и ученых.

Зал выслушивает представителей Нобелевских комитетов — какими достижениями славен каждый новый лауреат.

Затем все по очереди подходят к королю. Он вручает диплом и золотую медаль.

Через каждые десять минут оркестр играет музыку финна Сибелиуса или австрийца Моцарта.

Шолохова представляет председатель Нобелевского комитета Шведской Академии наук.

Теперь его черед идти — под аплодисменты — к королю.

Перед началом торжества он узнал о строгом церемониале. Обязателен поклон Его Величеству. (Шолохову на следующее утро прочитали в нашем посольстве репортаж американского агентства «Ассошиэтед Пресс»:

«Казаки не кланяются, они никогда не делали этого и перед царями...» «Так ли было?» — как-то спросил я у Шолохова. Он ответил с лукавой усмешкой: «Да нет же, был поклон. Был! Мне протокол ни к чему было нарушать. Я ничего такого не замышлял. У меня просто, наверное, другого выхода не было. Король в росте на голову меня превосходил. Ему кланяться можно... А мне как? Мне несподручно. Мне пришлось голову подымать — надо же ему в глаза взглянуть, а уже потом опускать».)

Король величественно исполняет свои обязанности: вручает медаль и диплом и жмет руку. Зал встает с новой волной рукоплесканий.

Вечером банкет-прием в Золотом зале все той же ратуши: 850 гостей. И вновь монарх произносит речь. И снова приветствия каждому увенчанному премией. Шолохову «досталась» речь секретаря Комитета (понравилось, что чопорный швед был не лишен остроумия): «Господин Шолохов, когда вам присудили Нобелевскую премию, вы занимались охотой на Урале и, по сообщению московской газеты, именно в день присуждения подстрелили одним выстрелом двух диких гусей... Но если мы прославляем вас сегодня как сверхметкого стрелка среди нобелевских лауреатов текущего года, то это от того, что разговор о таких метких попаданиях имеет отношение к вашему творчеству...»

Марии Петровне, небось, тут же припомнилась вкуснейшая лапша от этого последнего выстрела на озере Жалтыркуль, правда, не гуси были, а один селезень, ну да ладно — охотничьи байки для красного словца никто не отменял.

Речь продолжалась. Оратор отметил, как Шолохов воссоединил «огромный размах» и «величественный поток эпизодов и фигур» с «острым взглядом на каждую деталь». Дальше подытожил, да так, что сдержанный зал оживился: «Соединение же обеих возможностей является приметой гения, вашего гения. Это бывает столь же нечасто, как две птицы на линии прицела. Вы подстрелили обеих одним выстрелом...»

Закончил столь же изящно: «Ваше искусство переходит все границы, и мы принимаем его к нашему сердцу с глубокой благодарностью».

Шолохов произнес ответное слово, надев тонкие очки. Это обязательная для всех лауреатов нобелевская лекция — на восемь минут.

Потом всех пригласили к трапезе. Шолоховым было чему поражаться. В зал вошли 15 поваров в высоких колпаках, чтобы прошествовать меж столов с подносами благоухающих яств. Ужин был обставлен с истинно королевским изыском...

Утром — визит в Дом Нобеля, здесь располагался Нобелевский фонд. Лауреату вручили чек на 282 тысячи крон, а это, как пересчитали знающие

люди в посольстве, равнялось 54 тысячам долларов.

Потом состоялся обед в королевском дворце. Столы были накрыты в зале с поэтическим названием «Белое море».

Напряженная программа продолжалась. Следующий день был отдан Обществу дружбы «Швеция — СССР»: осмотр выставки, речь лауреата, речи взволнованных активистов, Шолохова попросили поздравить двух победительниц конкурса и вручить им путевки для путешествия в Москву.

Лауреат и здесь пожинает почести — для него всем залом исполняется песня. Под мелодию песни о Стеньке Разине пели «про сына степей», про его «замечательные книги» — названия романов были зарифмованы — про то, что его страна «освободила мир от нацизма». И закончили при мерцании свечей на каждом столике хоровой здравицей ему. Как не растрогаться!

Новым днем, с утра, ему дорога в городок Упсала. Здешний университет славится своим факультетом славистики. Собралось 800 студентов и профессоров. Едва представили, заявил:

— Я думаю, что форма вопросов-ответов — это наиболее живая форма, а читать вам лекцию и не имею возможностей, да и считаю, что вы и без меня уже достаточно ученые.

Раздался смех — растопил аудиторию. Показал и то, что не боится неожиданностей от лихих на каверзы студентов, и то, что сам готов к импровизации, даже Лукина втянул в ответы.

Открыт был. Без утайки рассказал о том, что в «Тихом Доне» использовал мемуары генералов Деникина, Краснова, Лукомского и архивы; как же иначе писать роман с такой исторической панорамой. Столь же открыто признал, что пришлось исправлять некую — «курьезную» — фактическую ошибку с названием одного военного корабля. И даже позволил заглянуть в тайны своей творческой лаборатории. Его, к примеру, спросили о реальной основе «Судьбы человека»:

— Есть ли такой человек в действительности и мальчик такой?

Ответ был обстоятелен:

— В свое время, когда Льву Николаевичу Толстому княгиня Волконская написала письмо и спросила у него, кто является прототипом князя Болконского, Толстой ей ответил, что он не фотограф, что он не обязан придерживаться протокольной правды, что он свободный художник и он волен, взяв какой-либо прототип, формировать его по своему усмотрению. Примерно так же можно ответить на этот вопрос. Мне встретился скиталец с мальчиком, биография его почти во всем схожа с биографией Соколова...

Мог бы на этом и закончить, но вдруг признался:

— Мне хотелось проверить себя — не разучился ли я писать короткие рассказы...

Были и такие вопросы, которые раздражали (виду, правда, не подавал): может ли советский писатель критиковать советские порядки, не является ли Союз писателей коллективным членом КПСС, издается ли в СССР порнография?..

...Нобелевскому лауреату с берегов Дона неожиданно довелось увидеть языческое действо. Его попросили участвовать в выборах Люсии — королевы света. Рассказали: в Швеции, как и некоторых других странах, жив обычай еще с древних времен. В хмурые зимние дни почитают светоносное начало. В каждом городе-городке-селеньице с песнями, шутками, за чашечками кофе выбирают своих сиятельнейших королев. Вот его — почетнейшего гостя — и просят короновать избранную Люсию.

Привезли в ратушу. Участники расселись. Раздалась итальянская песенка «Санта-Лючия». Неожиданно погас свет, а потом, когда снова вспыхнул, под звуки фанфар появилась перед русским гостем очаровательная дочь рыбака, вся в белом, с красным пояском — королева, если, правда, этого пожелает высокий гость. Он взял с алой бархатной подушки корону — со свечами — и венчал Люсию. Она была подготовлена к встрече с русским Его Превосходительством. Шолохов растрогался, когда она произнесла на русском с милым акцентом: «Я очень рада и благодарна вам за доброе внимание! Спасибо!»

Он ее чмокнул в щечку, и зал восторженно захлопал.

...14 декабря Шолоховы попрощались со Швецией.

В Москве они задержались на несколько дней — их ждал правительственный прием. Там обычно сдержанный Шолохов поразил всех необычным проявлением юмора. Когда к нему подошел с поздравлениями некто высоченного роста, лауреат вдруг взял стул, встал на него и уравнился для объятий.

За неделю до Нового года все Шолоховы возвратились в Вёшки. И начался прием гостей.

Во Дворце культуры, в клубах по хуторам и станицам стали показывать популярную тогда кинохронику «Новости дня» с репортажем о нобелевских торжествах. Вёшенцы лицезрели своего Шолохова и его семью во всем блеске всемирной славы и сожалели, что их великий земляк и его сыновья не выходят на вёшенские улицы прогуляться во фраках.

Новый год Шолохова уговорили встречать не дома. Столы с настоящей донской щедростью были накрыты в зале заседаний райкома. И тосты

произносили с искренним почтением, и кричали по старому обычаю: «Обмыть! Обмыть медаль!» — и угощались от души, и пели в охотку свое донское, и в круг входили с лихими донскими плясками, и жарко лобызались с лауреатом — всё по-казацки. Станичники, пусть и высокопоставленные, после четвертой-пятой не очень-то блюдут всякие там райкомовские церемонии. Расходились по домам после многих «стремянных» и «забугорных» под утро. Хорошо на душе, когда от мороза под ногами хрусткий снег и наичистейший звончатый воздух.

Вскоре из Москвы подоспела подборка из откликов зарубежной прессы на лауреатство. Секретарь поверх всех выложил перевод из сенегальской газеты — поразил экзотикой: «Его герои, как и многие африканцы, живут в полном единении с природой — землей и небом, русской саванной (степью), домашними животными... При чтении возникают ассоциации — от станицы в русской степи к спящим под звездным небом деревням Подора Ндиума, от воинов Эль Омара к героям донского казачества. Нигер, Конго, Замбези, Нил...»

Постепенно до Вёшек стали доноситься слухи, что кое-кто из московской писательской братии недоброжелательно встретил факт присуждения премии. Особенно пристрастен Солженицын. Неужто взревновал и это чувство возобладало? Позже, в своей книге «Бодался теленок с дубом», он выскажется, что Шолохов «давно уже не писатель», и попутно очень плохо отзовется о Нобелевском комитете — мол, не разобрался в личности Шолохова. Спустя годы подивит и много настрадавшийся по тюрьмам и лагерям Варлам Шаламов — напишет сразу обо всех российских лауреатах, прихватив и Солженицына, так: «Нобелевский комитет ведет арьергардные бои, защищая русскую прозу Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына. У этих четырех авторов есть единство, и это единство не делает чести Нобелевскому комитету. Из этих четырех лауреатов только Пастернак, кажется, тут на месте, но и ему мантия дана за „Доктора Живаго“, а не за его стихи».

Дополнение. В нобелевской лекции Шолохова много интересного — вот некоторые извлечения из нее:

«Многие молодые течения в искусстве отвергают реализм... На мой взгляд, подлинным авангардом являются те художники, которые в своих произведениях раскрывают новое содержание, определяющее черты жизни нашего века. И реализм в целом, и реалистический роман опираются на художественный опыт великих мастеров прошлого. Но в своем развитии приобрели существенно новые, глубоко современные

черты...

Я говорю о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки ее на благо человека...

Мы живем на земле, подчиняясь земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра...

Говорить с читателем честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную...

Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив...»

И еще одно дополнение. Не зря я перерассказал свидетельство Шолохова об использовании воспоминаний и архивов как обычного приема для романиста с исторической темой. Спустя почти три десятилетия два антишолоховца опубликовали такое «сенсационное исследование»: Шолохов использовал в «Тихом Доне» мемуары — вот-де доказательство плагиата!

СКЛОНЫ ЛЕТ — ВЕРШИНЫ ИСКАНИЙ

*Непенсионный пенсионер. Диссиденты. Учиться у Японии.
Неравнобедренный треугольник: Шолохов — Твардовский —
Солженицын. Юрий Гагарин в Вёшках. Плагиат:
неопровержимая электроника. Политбюро против Шолохова.
Признания Василия Шукшина. Сохранился ли военный роман?*

Глава первая

1966: ЕРЕТИК В КРИТИКЕ

Минули юбилейные торжества и нобелевские празднества. Шолохову шел 61-й год от роду. Ему вручили книжку пенсионера. Он ее брал с испугом. Не для него пенсионное состояние.

...Разбушуются страсти в этом году, да какие!

Запоздалые подарки от Брежнева

Первый день нового года. У Марии Петровны и у всего женского состава шолоховского дома с утра не послепраздничная нега. Хозяин дома устраивает обед для друзей-районщиков и двух директоров школ: и чтобы с женами!

Почтальон перед застольем принес кипу газет и телеграмм на новогодних бланках. Развернул «Правду» — есть его слово к согражданам, поздравительное. С обязательством на весь мир: «А себе желаю — закончить в наступающем году, как уже обещал читателям, первый том „Они сражались за родину“. Конец этой работы еще не будет делу венец. Пора уже приступать к продолжению».

Сбудется ли?

Вскоре подтянулась истинно рота дорогих гостей — больше тридцати. Едва ли не каждый с пылким тостом. Ясное дело, чаще всего за то, чтобы сбылось у хозяина им самим задуманное. Только Мария Петровна знала про подступающий диабет и с возрастом снова дающие о себе знать последствия контузии, да и insult не забыт. Как скажется на творчестве?

Через день звонок из ЦК: принимайте в середине месяца делегацию профессоров из ГДР — вы удостоены диплома почетного доктора философии Лейпцигского университета.

Усмехнулся и предрек церемонию с речами и облачением в мантию с шапочкой. Так и случилось 15 января в Доме культуры. Однако и гости, и станичники остались премного довольными. Речь самого Шолохова ничем особым не блистала. Но он уловил настроения земляков и закончил поклоном в зал: «Спасибо всем, кто пришел сюда почтить меня в этот торжественный для меня день».

Писательские будни... Мария Петровна все чаще затаенно вздыхает.

Болезни взламывают привычный для мужа творческий распорядок.

Однако ретивости в иных делах он терять не собирался. В конце месяца явился в Ростовский обком с неожиданным вразумлением: «Начинаете подготовку к 50-летию Советской власти? Так лучшим подарком будет, если построим клубы, библиотеки, больницы, школы...» Это он прознал, что значительные деньги собираются вбухать в памятники, фильмы, торжественные заседания с концертами. Еретик!

Его предупредили, что в ЦК зреет мысль видеть его во главе Союза писателей. Вспомнил: уже подступались с этим при Сталине. Тогда отказал. И сейчас с отказом. Кое-что на этот счет доверил жене и секретарю: «Если дать согласие, то как быть с писательскими планами? Я же не смогу созерцать — надо будет работать с отпущенными удилами. Но не хочу ломать свои творческие планы...»

В марте уехал в Москву. Здесь его видят в кабинетах министров — ходатай! И добился-таки строительства в своем районе и школы, и телеретранслятора, и расширения телефонной станции. Уж такие все еще оставались порядки: без столицы ничего серьезного не построить в станице. Он подумал: что же это за стиль планирования, если в социалистической экономике нужны «выбивалы»? Еретик!

Вдруг звонит в Вёшенскую — ждите, возвращаюсь. Мария Петровна с вопросом:

— Чего вдруг? Ведь хотел дожидаться съезда партии...

— Решил выступить на съезде. Так буду готовиться дома. Здесь не дадут.

Приехал. Под любопытствующими приглядками всех домашних стал распаковывать чемодан и что-то увесистое в армейском чехле. Приговаривал: «Это московские гостинцы вам. Это мне юбилейные подарки — годовало-запоздалые — от Брежнева». И извлек из чехла охотничий карабин с оптическим прицелом. Всем бросилось в глаза — на прикладе табличка с гравировкой: «Другу М. А. Шолохову. Л. Брежнев. Март 1965 г.». Но тут же недоумение — в мае же прошел юбилей! Еще подарок: ящичек с копией советского вымпела, заброшенного на Венеру. Дарственный текст точь-в-точь как на карабине.

Шолохов тихо проговорил, будто сам себе, с колючей усмешкой: «Хрущев называл меня другом. Брежнев дарит, тоже другу...» Он помнил, что познакомился с полковником Брежневым в войну.

...Готовит речь для съезда. Начал с того, что несколько дней листал те письма, что увесистыми кипами приходили к нему в Вёшки. Явно хотел прочувствовать, что беспокоит его читателей и его избирателей. Некоторые

комментировал секретарю.

— Черт его знает, какие есть люди, мщения требуют. Незачем это делать, да и копаться в грязи прошлого не время.

Это он прочитал письмо, автор которого требовал возмездия для тех, кто изничтожал «врагов народа». Он этого тоже требовал на XXII партсъезде в 1961 году. Но сейчас Шолохов, оказывается, думал иначе.

«Это письмо для съезда!» — сказал он, выделив обширное послание одного ростовского профессора с превеликой озабоченностью: «Пишу Вам как делегату на XXIII съезд КПСС. Поднимите свой голос в защиту родных нам Азовского моря и реки Дон. Они катастрофически гибнут как богатейшие когда-то рыбные водоемы...»

«И это в съездовскую папку!» В письме ученых Лимнологического института на Байкале прочитал: «Мы просим Вас принять участие в спасении великого и неповторимого озера...»

Размышлял и над тем, что узнал в Москве, — там то и дело среди писателей возникают разговоры о двух литераторах: Андрее Синявском и Юлии Даниэле. Они под псевдонимами печатали свои произведения с критикой советской власти на Западе. Над ними готовился суд. Примерил ситуацию на себя. Он-то в самые куда как более страшные времена 1930-х годов — террорные — иначе сражался с кривдой. Он-то напрямую — без всякого псевдонима — схватился с истинными врагами своего народа и не струсил обратиться к самому, к Сталину.

Перед отъездом на съезд высказал дома то, что полагал путеводным для себя: «Готов размолотить в порошок руководителей ЦК и Совета Министров... Но, видимо, резкое выступление не в пользу пойдет. Руководство можно поссорить с народом. Вызвать недоверие народа. А это сослужит не на пользу, а во вред».

Сборы в Москву. За семейным ужином заговорили про подступающую весну — на дворе-то уже конец марта. Кто-то про сад — мол, запустили, деревья обрезать надо. Он вдруг резко: «Не надо обрезать!» Ему про агрономию — он на своем.

...Как-то ему стали внушать — пишите, дескать, биографическую книгу. Даже предложили услуги стенографиста: диктуйте... Не загорелся.

Непрощеная речь

Партийный съезд. Делегат Шолохов взошел на трибуну...

Среди партбонз негодование — унизил их острой критикой: прилюдно

сказал — лучше-де работать надо!

У нарождающейся среди интеллигенции оппозиции партии — тоже негодование. По Москве ходит из рук в руки — потаенно — «Открытое письмо Шолохову» от дочери Чуковского — Лидии Корнеевны.

Но это не отклик на россыпь еретических заявлений в его речи. Открытое письмо винит его, Шолохова, за то, что на съезде призвал руководствоваться «революционным правосознанием» по отношению к тем писателям, которых осудили за «идеологическую диверсию». И в самом деле весомо пригрозил.

Недовольство слева — недовольство справа.

О чем же Шолохов говорил в своей речи?

...Дал отпор бахвальщине, что десятилетиями идет от ЦК и от литначальников — про литературные достижения: «Должен с горечью сказать о том, что успехи у нас, литераторов, не так велики...»

...Поиздевался — едко — над партийной традицией чрезмерных восхвалений: «Не разделяю оптимизма того тульского секретаря из анекдота, который на вопрос, как обстоят дела с ростом литературных кадров, ответил: „Нормально, даже хорошо! Если раньше в Тульской губернии был лишь один писатель — Лев Толстой, то сейчас у нас двадцать три члена Тульского отделения Союза писателей“».

...Обличал — остро — систему госпланирования и долгоиграющие посулы достичь изобилия продукции сельского хозяйства: «Вообще-то я за планирование, но и за изобилие тоже... Я за такое планирование, чтобы министр сельского хозяйства тов. Мацкевич сам предложил тракторы, чтобы мы не посылали областных работников добывать их всеми правдами и неправдами...» О своем личном опыте «добывания» тоже поведал со жгучей крапивностью: «Товарищ министр, дайте, пожалуйста, три тысячи листов шифера для колхозных коровников и телятников». А министр отвечает: «Ты же понимаешь, что у нас плановое хозяйство! По плану вы уже все получили, что вам полагается». Я ему говорю: «Я-то понимаю, но коровы, не говоря уже о телятах, не понимают, почему они должны осенью мокнуть под дождем, а зимой мерзнуть».

...Заступился — одним из самых первых в стране — за уничтожаемую природу: «Давайте решать проблему Байкала!.. Не получится ли на Байкале так же, как и на Волге? А может быть, мы найдем в себе мужество и откажемся от вырубки лесов вокруг Байкала, от строительства там целлюлозных предприятий, а взамен их построим такие, которые не будут угрожать сокровищнице русской природы — Байкалу? Во всяком случае, надо принять все необходимые меры, чтобы спасти Байкал. Боюсь, что не

простят нам потомки, если мы не сохраним „славное море, священный Байкал!“».

...Продолжал защищать Азовское море и Дон: «Ежегодно промышленные предприятия сбрасывают...» С перчиком — про министра рыбного хозяйства, который ничего не делает для спасения рыбных богатств: «Хай вин живе и пасется... на тюльке!»

...Отметил многолетнюю борьбу писателя Леонида Леонова «за сохранение красоты и богатств нашей природы — лесов».

Но был раздел и про Синявского и Даниэля. Фамилий не назвал, но в зале тут же догадались.

Начал так: «Сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: „С кем вы, „мастера культуры“?“» Закончил: «Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое святое для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытается взять их под защиту, чем бы эта защита ни мотивировалась».

Корней Чуковский в те дни внес в дневник: «Подлая речь Шолохова в ответ на наше ходатайство взять на поруки Синявского... Черная сотня сплотилась и выработала программу избиения и удушения интеллигенции...»

Шолохову обидно было узнавать про такую критику. Отчего же забыто, что на весах справедливости две чаши: на одной — речь про диссидентов; на другой — его отчаянно смелые порывы с 30-х годов спасать и защищать и середняков, коих записывали в «кулаки», и «саботажников», умиравших с голода, и «врагов народа» из числа честных коммунистов и писателей, и честных воинов, попавших в плен, и «безыдейщиков», и «безродных космополитов»...

Приехал из Москвы и поделился впечатлениями: «Большинство выступлений на съезде были трафаретными: самоотчеты и бахвальство. Нет еще разговора начистоту, по душам, с товарищеской критикой и самокритикой».

О Брежнев и его команде высказался так: «Ребята, избранные в Политбюро, подобрались неплохие, конечно, гениев нет. Дело за тем, сумеют ли быстро перестроиться и повести за собой. Но доверие им оказывать надо...»

Письма — от избирателей и от читателей — добавляли неудовлетворения и лишали надежд на быстрые перемены. Однажды взорвался. Подвернулся под руку новый начальник областного управления внутренних дел. Начал припоминать для него, о чем чаще всего пишут ему, Шолохову. Секретарь и Мария Петровна стали свидетелями монолога,

пронизанного раздражением и какой-то безысходной тоской:

— Сколько в год писем? До десяти тысяч! И о чем чаще всего? Жалобы на судей, на прокуроров, на следователей... Эпидемия недовольств! Ненормально что-то в органах законности и порядка... Бездушные! С Сахалина жалоба — дали двум молодцам десять лет тюрьмы за кражу. А что случилось? Опаздывали на самолет — были подвыпивши — схватили коня и верхами... Так неужто такой срок справедлив?!

Еще привел огорчивший его случай:

— Пришли ко мне шесть баб из станицы Слащевская. Сыновей осудили за кражу... с десятков арбузов! Написал генпрокурору, что я тоже любил арбузы воровать — они слаще своих.

Но и такое рассказал милиционерскому генералу:

— Ко мне обратился за защитой один убийца — убийца бабки, старухи. Так выяснил, что это было не просто преднамеренное, спланированное убийство. Этот тип еще и оговорил безвинного человека. Откликнулся я так: за злонамеренное убийство прощения нет!

Зло отозвался на то, что вооружили милицию дубинками:

— Позор-то!

Подметил, о чем все чаще стали сообщать ему из союзных республик:

— Заметно проявляется байство и ханство... Безмерно обогащаются и даже соревнуются в этом. Взятки много — для московских чиновников. Смушки да каракуль в Москве свет застят... Чиновный аппарат губит все дело!

И тут же снова о взятках:

— Из Сибири таскают для министерских песцов. Из Грузии — коньяк и вино. С Дона — рыбцов и раков. Из Уральска — черную икру. С Дальнего Востока — красную...

По-прежнему бредила ему душу вползающая в нашу страну драма гибнущей природы:

— Никак в Москве не поймут: отсутствие охраны природы — это всенародная беда. Скоро в городах людей в обморок будет бросать от газов. Куда там выдюжить человеку, если от химии дубы гибнут... Я на свой риск и страх запретил нашему лесхозу опылять лес химпрепаратами.

...В конце мая Шолохов со всей семьей отправился в Японию. Давно сюда его зазывали почитатели. И она его манила.

Путешествие запомнилось. Сначала девятичасовой перелет — добрались до Хабаровска. Сколько впечатлений: величавый Амур, беседа с тигроловом, встреча с местными писателями, дикий подарок — женьшень, горестные рассказы о том, что плохо берегут природу... Отсюда

поездом в портовый городок Находку, чтобы погрузиться на теплоход «Байкал».

Плыли не скучно. То штормик зацепил. То вблизи Японии американский военный самолет стал облетывать их близкими нахальными кружениями. Тогда несколько веселых пассажиров улеглись на верхней палубе буквой «Т» — посадочный знак. Самолет тут же ушел восвояси.

Еще и берег далеко, а несколько катеров с журналистами подвалило к борту. Один из них поддел Шолохова: «Мы слышали, что вы не любите журналистов». Ответил: «Миф. Я сам в молодости был журналистом».

Почти месяц пробыли в этой стране. Шумный Токио, и этим схожий с Нью-Йорком, неповторимые своим тщательно сохраняемым средневековым Киото и Нара, промышленный гигант Осака, необычные для русского погляда деревушки... Встреча в скромном сельском клубе с писателем Сибуйя — основоположником новой литературы с темами крестьянской жизни; рассказал, что свою первую книгу писал под влиянием Тараса Шевченко. Встреча с престарелым писателем Гоинти Масимо в Киото. Старик своей завидной энергией «замучил» гостей экскурсией и по пригородным горным тропкам, и по улочкам с древними храмами. Шолохов сказал ему на прощание: «Масимо-сан, ваш Киото самый красивый город...» Как же он расплылся в ответной благодарности, и были его прощальные поклоны не чопорной традицией. В Гийфу видели ночной праздник на ладьях по реке, которая так заманчиво отражала по-японски изысканный фейерверк. В каком-то городке дали гостям возможность свободно побродить по длинным рядам сувенирных лавочек — народное искусство! Поразила одна продавщица. Узнала, кто приценивается к какой-то там игрушке, и попросила разрешения отлучиться. Через минутку появилась с книгой Шолохова на японском — попросила автограф. Он узнал, что в Токио запустили в просмотр советский фильм «Поднятая целина». С интересом пошел в театр знакомиться с труппой, которая поставила пьесу с переложением его романа о коллективизации. И в книжных магазинах полно шолоховских изданий с иероглифами. Пояснили ему: с весны продается «Тихий Дон» в новом переводе. Ему даже такое рассказали: его сочинения готовятся для слепых — со шрифтами Брайля.

Кто бы подсчитал, сколько случилось новых знакомств — политики, дипломаты, писатели, издатели, литературоведы, переводчики, студенты...

Журналисты-обозреватели выделили из десятков интервью с Шолоховым несколько высказываний:

«Я глубокий сторонник общения, культурного обмена... К японскому

народу у нас очень доброе отношение...» Выходит, он против «железного занавеса».

«Мне думается, что японская литература сейчас на подъеме. Это очень радует не только меня... Радует также рост молодых японских литераторов, литературной смены».

«Задача писателей способствовать облагораживанию человеческих душ...» Знать, уловил, как набирает свою тупую антидуховную мощь наглая масскультура.

Когда вернулся домой, поделился наиважным: «Японцы — эстеты во всем, видны большой труд и высокое чувство прекрасного... Надо учиться у них организации труда, дисциплине и порядку на производстве... К Советскому Союзу народ Японии относится хорошо, настроен против войны. Самурайский дух с волчьим порывом к захватам чужих земель сменился национальным патриотизмом».

Ему особенно запомнилось, как в одном маленьком городке девочка-школьница пять часов ждала у храма его, иностранца, чтобы получить автограф на книге.

...Побывал в Ростове и там не увернулся от интервью одному журналисту, на этот раз из Америки. Беседа напоминала сражение опытных фехтовальщиков. Вот кое-что из нее.

— *Ваш взгляд на события во Вьетнаме?*

Шолохов знал о несправедливой агрессии США против этой страны:

— Мой взгляд мало чем отличается от официального... Американцам пора убираться...

— *Ваши впечатления о Японии?*

— Японцы хорошо работают.

— *Какие зарубежные писатели производят на вас большое впечатление?*

— Мне нравится Хемингуэй.

— *Кто лучше из поэтов, Вознесенский или Евтушенко?*

— Я не задумывался.

— *Перед кем больше писатель ответственен, перед искусством или обществом?*

— Перед обществом. Он служит обществу.

Через несколько дней выехал с Марией Петровной в дальнюю дорогу — неукротимо манил Братанов Яр с его вольно-раздольными рыбалкой и охотой. Но вернулись на удивление быстро. Признался: «Жара и комары замучили». Раньше о такой капитуляции он и подумать не смог бы.

Снова поехали туда в августе. Ему кто-то на дорогу охотничье

пожелание: «Ни пуха ни пера!» Он: «Еду работать над „Они сражались за родину“».

...Стол для работы и весельная будара для отдохновений.

...Строка за строкой и одновременно вожделенные лещи, окуни, красноперки и сапа; о сазане мечтать не могли — жители уверяли, что начисто исчез.

Местный люд скоро убедился — писатель мастак на рыбарство. Блюл даже заповедь, что в этом увлечении без «подначек» нельзя. Однажды он оставил домашних на берегу с удочками, а сам уплыл. Прошло время, смотрят — возвращается. Гребет не часто, но мастеровито. Научен беречь силы. Подплыл, усмотрели его добычу — всего-то десяток с небольшим окуньков, а у них-то в садках полно! И началось подтрунивание. Он в ответ:

— Я таких, как вы наловили, выбрасывал...

— Так ваши окуни не крупнее наших.

— Ну, я этих придержал на всякий случай: вдруг вы ничего не поймаете, останемся без ухи.

Через время всех обставил — взял сазана почти пуд весом. Знатоки ахнули. Для Приуралья такой трофеей сказочное везение.

***Дополнение.** Острая тема затронута в этой главе: Шолохов и два писателя — Ю. Даниэль и А. Синявский. Она не забыта и используется недругами для осуждения вёшенца. Известный поэт Евг. Евтушенко много всякого — бездоказательно плохого — напечатал о Шолохове (после его кончины). Правда, в 2004-м попросил через «Литературную газету» «не шить ему шолоховоненавистничества». Но все-таки оставил за собой право «не уважать» вёшенца за то, что он призывал, по выражению поэта, «к расправе» над диссидентами.*

Для всестороннего разбора этой темы не обойтись без одного важного вопроса: по каким соображениям писатель их осуждал? Не для оправдания, но для пояснения.

Перед кончиной он открыл сыну причину того, почему не поддержал «инакомыслящих»: «Ну, завоевал кто-то популярность в узком круге своих единомышленников... И начинает ему казаться, что еще немного, и все люди принесут к его ногам в жертву все, что им в этой жизни дорого; все свои привязанности, традиционно сложившиеся обычаи, ценности... Людям, берущимся быть судьями, учителями и вождями народа, ох, как не мешало бы подумать, что поведут-то они за собой народ не безлюдной пустыней, а дорогой, которая у жизни одна...» Добавил: «Пусть жизнь

идет своим чередом. И все новое должно „встроиться“ в ее ход. Борьба борьбой, но она не должна ломать общее направление жизни. Не против, не лоб в лоб. У нас же борьба похожа на два состава, пущенные друг против друга...»

Можно принимать или отвергать такие соображения, но знать их надо, чтобы не упрощать сложную тему. При этом для более полного понимания его позиций полезно проследить последующее осмысление в обществе роли диссидентства в истории.

В моем «шолоховском досье» первым значится высказывание (1990 г.) адвоката Дины Каминской. Она прославилась тем, что добровольно стала защитником в суде целой группы диссидентов. Со знанием дела размышляла: «Мне казалось, что некоторых из них слишком увлекает сам азарт политической борьбы... Они недостаточно терпимы к мнениям и убеждениям других... Помню, как после одной такой беседы я, вернувшись домой, сказала мужу: „Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, — мне этого не захотелось“» (Знамя. 1990. № 8. С. 100).

Ей вторила из эмиграции Мария Розанова, замечательная публицистка. Высказывалась так о Даниэле и Синявском: «Узок был круг этих революционеров и страшно далеки они от народа...» (Новый мир. 2003. № 8. С. 212–213).

Потом высказался писатель Владимир Максимов, редактор эмигрантского антисоветского журнала «Континент». Он воссоединил свое мнение с позицией другого эмигранта, Александра Зиновьева — известного философа и писателя, и заявил в 1994 году: «Лучше всех сказал Александр Зиновьев: „Метили в коммунизм, попали в Россию“. Я вынужден пересмотреть свою собственную диссидентскую деятельность, по-иному смотрю и на издание журнала...» (Литературная газета. 2005. № 11).

Прошло 14 лет с начала перестройки — эпоха! Авторитетный литератор Игорь Золотусский обнародовал свои размышления об ответственности либеральной интеллигенции за извращения реформ: «Сегодня элита жестко сосредоточилась на собственных нуждах, далеких от нужд большинства. Мы сделали свидетелями свирепого эгоизма „избранных“». И вынес приговор тем, кто попустительствовал беде: «Каин, Каин, что же ты сделал с братом своим?» (Литературная газета. 2005. № 32–33).

В 2005 году, к 20-летию перестройки, фонд, который возглавляет первый и последний президент СССР М. С. Горбачев, обнародовал доклад.

В нем важный пассаж — как он оценивал итог деятельности тех диссидентов, которые стали перестройщиками: «Авантюристическое крыло демократического движения внедряло в общественное движение тезис о том, что государство в России и Советском Союзе — по определению враг демократического процесса. В результате сложилась ситуация, когда нарушение законов становилось нормой, а реальное влияние в экономике стали оказывать мафиозные группировки, заинтересованные в криминальном разделе государственной собственности» (Российская газета. 2005. № 40).

Кому-то не понравится эта стыковка цитат. Но этот мой замысел не для того, чтобы хулить порывы диссидентов. Важно показать, что никуда не деться от неумолимых законов политики: вздымая руку с тяжелым молотом, предугадай — во благо или на погибель, на строительство направлен твой удар или на разрушение.

Глава вторая

СТРАННЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ТРЕХ ТВОРЦОВ

Шолохов — Твардовский — Солженицын... Они жили и творили в очень сложное — политически — время. Говорят: как поживешь, так и прослывешь. Но очень часто слыло одно, а на деле было другое.

В поэме Твардовского «Теркин на том свете» — о ней дальше в зачин пойдет речь — есть и такие строки, словно для этой главы: «— Странный, знаете, сюжет. — Да, не говорите. — Ни в какие ворота. — Тут не без расчета... — Подоплека не проста. — То-то и оно-то...»

Признания Александра Твардовского

Великий прозаик — великий поэт... Их давно, как всем кажется, мало что связывает. Но вот Хрущев в 1963 году пригласил к себе на дачу, в Абхазии, большую группу именитых писателей, иностранцев, деятелей Европейского сообщества писателей тоже.

Было у него намерение произвести впечатление на литературную элиту, мол, партия за единение с вашим братом.

Но и такое планировалось — послушать запрещенную поэму «Теркин на том свете» из уст самого автора. Никто не забыл, как изничтожали ее по воле ЦК в 1954 году, когда высказали приговорное: «Пасквиль на советскую действительность».

Минуло восемь лет. Хрущев пытается стать покровителем Твардовского. Сперва хотел устроить действо чтения в присутствии только Шолохова и тогдашнего руководителя Союза писателей Федина. Но затем по-хрущевски своенравно передумал — всех творцов приглашу!

...По-прежнему в обществе раскол в оценках поэмы. Среди собравшихся тоже. Ее антисталинистская направленность тому причина. Ни нежный рокот моря и пальмы с птичками, ни непринужденность встречи с главой страны и партии, ни щедрые яства под звон бокалов не склонили противопоставников к примирению.

Сорок минут шла декламация. Хорошо, что остались воспоминания, как Шолохов воспринимал в этот вечер поэму. Сам он ничего не написал, но стал героем трех записей.

Солженицын: «Иностранцы ушами хлопали. Хрущев смеялся, ну,

значит, и разрешено... Изворотливый Аджубей (редактор „Известий“ — В. О.) первый же и напечатал, но с таким изумлением: как эту поэму красиво слушал Шолохов (?!)».

Твардовский: «Одобрения поэмы от Никиты Сергеевича не было... Никак не реагировало на поэму и общество, там находившееся. Вообще я чувствовал себя там с первой минуты так, будто зря туда попал, что я там чужой человек. Видно, так же себя чувствовал и Шолохов. И несмотря на нашу недружбу в последнее время, мне там самым близким оказался он. Мы и сидели вдвоем на задней скамеечке с краю... Я не надеялся, что встречу тут одобрение у слушателей... Все же с первых же строк чтения я увидел, что есть тут один человек, который не равнодушен к этому. С чем-то он мог быть и не согласен, но слушал всей душой, и я увидел, что написал эту поэму не зря. Более того, в этом зале будто никого и не было, кроме нас двоих, — один читает, другой слушает. Теперь я видел только Шолохова и следил за Хрущевым. Но один замер, будто его и не было со мной рядом, а другой, не обращая внимания ни на кого, от души смеялся там, где было смешно...»

Аджубей, главный редактор «Известий» и зять Хрущева, напечатал в своей газете по горячим следам: «Мне запомнилось особенно, как слушал Михаил Александрович Шолохов. Я, естественно, не могу предварять его мнение о поэме, но слушал он очень красиво, по-своему. Так и казалось, что он судит-рядит с Теркиным о его необычном путешествии, посмеивается вместе с ним и с хитроватой дальнорзоркой повадкой, по-писательски, для себя оживляет картины поэмы».

...До войны начиналось знакомство Твардовского и Шолохова. Тогда автор «Страны Муравии» с добром высказался о «Поднятой целине».

После войны вполне нормальные отношения продолжились. Дочери поэта вспоминали для меня, как Шолохов позванивал отцу домой. Было что обсуждать. Например, член редколлегии «Нового мира» Шолохов разделит ответственность редактора журнала Твардовского за обнародование очерков «Районные будни» Валентина Овечкина. Сколько же боев шло и за них, и против них! Как же иначе: они взрывали отжившие традиции руководства сельским хозяйством. Есть и постановление ЦК 1956 года «О статье В. Овечкина „Писатели и читатели“». В нем немало критики. Шолохова это не испугало. И раньше, и позже поддерживал этого автора «Нового мира». Овечкин с благодарностью вспоминал это. Было и такое, что ЦК осудил союзнические речи Шолохова и Овечкина. Сохранилась фотография: Шолохов, Твардовский и Овечкин — доброжелательные, оживленные...

1964-й. Твардовский обсуждает на редколлегии своего «Нового мира» роман Солженицына «В круге первом».

Сам автор тоже здесь; запомнилось, что все говоренное запечатлевал на бумаге, писал без полей, мелко-мелко, буква к букве.

Интересно, записал ли то, что неожиданно высказал Твардовский — не очень при первом усвоении внятно, но все-таки с явным чувством противопоставления Шолохова Солженицыну, в пользу Шолохова.

— Роман трагический, — сказал о романе Солженицына, — сложный по миру идей, — но что же? Григорий Мелехов в «Тихом Доне» тоже «не герой» в условном понимании. А смысл романа Шолохова — какой ценой куплена революция, не велика ли цена? И у Шолохова читается ответ: цена, быть может, и велика, но и событие значимо.

Каково Солженицыну выслушивать... Ревнив. Впрочем, не был ему нужен пронзительный Твардовский. Он и без него осознал свое призвание — разрушать идеалы революции и советской власти.

1965-й. Журналу «Новый мир» 40 лет. Первый январский номер открывается статьей главного редактора Твардовского «По случаю юбилея». Программная статья. Латиняне говорили: «История — наставник жизни!» Твардовский углубляется в историю, чтобы утвердить свои идейные взгляды в современности. Это неспроста — журнал бьют. Не только ЦК. Некоторые близкие Шолохову писатели тоже усердствуют. И у него самого далеко не все вызывает одобрение.

Отношения Шолохова и Твардовского конечно же не для засахаренных толкований. Один далеко не во всем признает программу «Нового мира». В том числе то, что чаще всего журнал рассматривает историю страны времен Сталина через обличительное стекло и редко-скупое печатает то, что возвеличивало бы лучшие качества советского человека. Второй не жаловал ту публицистику вёшенца, которая провозглашала не вообще чувство правды в литературе и жизни, а необходимость правды в замесе народности и патриотичности. Пылу-жару добавляло то, что «Новый мир» обругивал те журналы, которые возглавляли близкие Шолохову писатели, — «Огонек» и «Молодую гвардию». И подчас эта критика была не очень-то продуманной. Как, впрочем, и ответная.

Итак, у Шолохова в руках юбилейный номер и он начинает читать в статье Твардовского самое, пожалуй, интригующее: «Очень много пишут о том, каким должен быть современный герой советской культуры».

Подумал — вряд ли дальше может быть про Мелехова, издавна «отщепенца».

Однако далее-то абзац именно о Мелехове. Твардовский провозгласил,

кого в литературе считает своим союзником в пору после Сталина, которую нарекли «оттепелью». Из возможного множества он отметил одного лишь Шолохова! Написал: «Герою „Тихого Дона“ Григорию Мелехову его „заурядная“ казачья натура, чуждая всяких претензий на титаничность характера, не помешала стать в ряду мировых литературных образов». Твардовский не расстается и с добрыми оценками «Поднятой целины»: «И у шолоховского Давыдова, коммуниста из рабочих, опять же нет никаких черт исключительности. И тем не менее он благодаря правдивости, жизненности изображения приобретает куда более надежную долговечность, чем, скажем, Кирилл Ждаркин или позднейшие Кораблев, Морев и многие другие их сверстники в литературе с приданными им чертами „сильных личностей“». Отмечу: панферовские персонажи! Наверное, Твардовский знал, с каких давних лет — с 1934-го — тянется противничество Шолохова и Панферова.

Закончил тем, что ясно выразил: «Трагизм эпопей Шолохова противостоял идеологии культа личности».

Дополнение. Обязан отметить, что ни один антишолоховец не хочет — или не решается? — вспоминать проницательно верное понимание Твардовским творчества Шолохова. Не цитируют. Не комментируют. И все потому, что оценки одного великого творца не укладываются в прокрустово ложе однозначно-примитивного отношения к другому великому творцу.

Признания Александра Солженицына

Солженицын знает: Шолохов для газет-журналов никогда ничего о писателе-бунтаре Солженицыне не писал — ни похвального, ни осудительного. Но вовсе не потому, что нечего было сказать.

Шолохов знает: перо Солженицына — напротив — изрядно против него поработало. Однако началось все с восторженной телеграммы 1962 года в Вёшенскую. Продолжилось — недоброжелательностью — в «Архипелаге ГУЛАГ» и бесчисленными выпадами в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом», а еще в статье-предисловии к одной постыдной книге, которая вся, от первой до последней строки, отдана теме, что «Тихий Дон» — это плагиаторский роман: «Стремя „Тихого Дона“». Загадки романа», автор — Д*.

Движение мысли-то каково — от объяснений в любви к осуждению

гения. Отчего это? То явно каток времени не пощадил памяти Солженицына. Не зря родилось присловье: не то мудрено, что переговорено, а то, что недоговорено.

Что же недоговорено?

Скрывает Солженицын, что его непростое вхождение в литературу не обошлось без поддержки Шолохова. Но кто он был для вёшенца? Никому не известный начинающийся писатель, да к тому же не с лучшей по тем временам лагерной биографией. И все-таки Шолохов отдал свой авторитет в поддержку решения Твардовского печатать в «Новом мире» солженицынскую повесть «Один день Ивана Денисовича» с запретной в ту пору лагерной темой.

Это значило, что шел наперекор не только мнению многих своих ортодоксальных знакомых. Перечил всемогущему партидеологу Суслову. Хрущев образно запечатлел в своих воспоминаниях, как этот коснеющий партиец сопротивлялся напечатанию повести: «Суслов раскричался... „Этого нельзя делать! — заявил он. — Вот и все. Как это поймет народ?“»

Скромнен Шолохов — никогда обо всем этом не вспоминал. Хорошо, что сам Твардовский рассказал об отважном его поступке в двух своих письмах тогдашнему главе Союза писателей Константину Федину (изданы после смерти Шолохова):

«...(среди) тепло или восторженно встретивших первую повесть нового писателя назову два имени: Ваше, Константин Александрович, и М. А. Шолохова...»

«Шолохов в свое время с большим одобрением отзывался об „Иване Денисовиче“ и просил меня передать поцелуй автору повести...»

Второе дополнение. Читаю в автобиографической книге «Бодался теленок с дубом» о встрече Солженицына с Шолоховым, когда Хрущев собрал деятелей культуры: «Хрущев миновал его стороной, а мне предстояло идти прямо на Шолохова, никак иначе. Я шагнул, и так состоялось рукопожатие. Ссориться на первых порах было ни к чему. Но и — тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного.

— Земляки? — улыбался он под малыми усами, растерянный, и указывая путь сближения.

— Донцы! — подтвердил я холодно и несколько угрожающе».

Все это легло на бумагу спустя десятилетие. В те же дни телеграмма Солженицына в Вёшки запечатлела противоположное: «Глубокоуважаемый Михаил Александрович! Я очень сожалею, что вся обстановка встречи 17 декабря, совершенно для меня необычная, и то обстоятельство, что как раз перед Вами я был представлен Никите Сергеевичу, — помешали мне

выразить Вам тогда мое неизменное чувство, как высоко я ценю автора бессмертного „Тихого Дона“. От души хочется пожелать Вам успешного труда, а для того прежде всего — здоровья! Ваш Солженицын».

В телеграмме — елей, в мемории густые от снаряжаемой взрывчатки запахи: «Ссориться на первых порах было ни к чему».

Последующий этап обозначился в «Архипелаге ГУЛАГ». Отсюда шли подкопы под авторитет вёшенца: «В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей, растерзанных и арестованных, поехал получать Нобелевскую премию, я искал, как уйти от шпигов в укывище и выиграть время для моего потаенного запыхавшегося пера...»

Дополнение третье. В «Теленке» написано: «Встретились мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги: „Есть фольклор, что Шолохов на подмосковной даче со 140 помощниками приготовил речь против Солженицына“. А я еще был самоуверен, да и наивен, говорю: „Побоится быть смешным в исторической перспективе“. Твардовский охнул: „Да кто там думает об исторической перспективе! Только о сегодняшнем дне“». Это Солженицын подумал, что Шолохов готовится громить его какой-то речью. На самом деле фольклор так и остался оным — не было никакой речи.

Еще строки Твардовского: «Говорят, вёшенский старец готовится к разгрому Солженицына, но как это согласовать с тем, что он просил меня передать Солженицыну свой привет и поздравления, я не знаю...»

Еще дополнения. Ушла в 1967 году в Вёшки телеграмма из Союза писателей: «Дорогой Михаил Александрович. Заседание секретариата по обсуждению заявления Солженицына созывается 23 сентября утром. Ваше присутствие очень желательно».

Это по указанию ЦК готовилось судилище — хотели исключить Солженицына из членов Союза писателей. Ничего из его требований-просьб удовлетворять не собирались: хотел, чтобы его антисоветские сочинения были напечатаны без купюр. Шолохов, нетрудно догадаться, нужен с одной целью — освятить своим высоким присутствием неизбежный приговор.

Он не ринулся в столицу для участия в этом заседании.

Эх, страсти-запалы! Сколько их — напрасных — подбрасывали Солженицыну. Он и закусил удила. Взял да и обнародовал без всякой проверки: «Деятели искусств — те, которые окружали Кочетова и Шолохова, впрочем вперемежку с партийным подсадом, стали дружно кричать: — Позор!.. Гражданский позор!.. „Новый мир“!..»

На самом деле Шолохов не разделял многих позиций журнала, но и не

позволил себе опуститься до крикливо-погромных поступков. Подтверждает это в своих воспоминаниях заместитель Твардовского А. И. Кондратович: «Говорят, что отказался подписать статью Шолохов, к которому специально ездили. Я спросил А. Т. (Твардовского. — В. О.), и он подтвердил: „Да, это известно, он отказался подписать“». Напомню: речь идет о статье против «Нового мира», которую напечатал «Огонек» от имени группы своих авторов.

Дополнение четвертое. В «Теленке» миллионы читают, как Солженицын урезонивает какого-то чиновника: «Таланты есть, да только вы их сдерживаете... поэтому абсолютно нечем уравновесить меня, увы, даже Шолоховым. Мое произведение прочтут, а „уравновеса“ не прочтут...» Но ведь почему-то не сообщает то, что было и есть на самом деле. В 1930-е годы, например, был опрос читателей: на первом месте — «Тихий Дон». Только потом «Евгений Онегин», «Мать» Горького, «Чапаев» Фурманова. Затем — выделю — «Поднятая целина». Далее «Анна Каренина», «Цемент» Гладкова, «Разгром» Фадеева, «Петр Первый» А. Толстого, «Железный поток» Серафимовича. В середине 1980-х, к примеру, одно только издательство «Художественная литература», вслед за «Поднятой целиной» — тираж пятьсот тысяч и «Тихим Доном» — один миллион, выпускает собрание сочинений (посмертное) миллионным тиражом. Но разве хватило? Сводный тираж книг М. Шолохова в советское время — более 130 миллионов экземпляров. И это при вечном недостатке бумаги.

Дополнение пятое. Внимают неискушенные читатели написанному в книге «Бодался теленок...» с доверием, потому и не разгадать им, что кто-то недобрый толкает Солженицына частенько под руку... Вот он приводит выступление Хрущева на приеме: «Весною 1933 года Шолохов, мол, поднял голос против насилия на Дону». Ударила как током эта уничижительная вписка «мол». Как же она не соответствует тому, что было на самом деле!

Или все читают там же: «Невзрачный Шолохов... Стоял малоросток Шолохов и глупо улыбался... На возвышенной трибуне выглядел он еще более ничтожнее...»

А он красив был. Недаром влюбил в себя красавицу-казачку. Вспоминаю его как раз в ту пору, когда Солженицын представлял его невзрачным. Нос с горбинкой. Лоб высокий и широкий — для мудрых. Глаза — живые: вот доверчиво распахиваются, вот подминаются верхней припухлостью век, вот становятся прищуристыми то от злой мысли, то от мрачной едкости, то от озорства-лукавинки; несколько раз видел, как они

заволакиваются тоскою... Подбородок упрям, но без раздвоинки, которая от жестокости. Не тонкогуб — значит, не злой. Строй скул и губ все-таки больше для улыбки. Линии лица своей овальностью добры. Ростом действительно не велик, но возвышает крепкая постановка головы на гордой шее... Руки запомнились: ладони широкие, пальцы длинные, но толстоваты и мосласты, ногти обрезаны до упора; чапыжные руки — не скрипач, однако легкие на пожатие. Благороден облик!

...Как-то, когда Солженицын уже был в Америке, я услышал от Шолохова, да где — в больнице! — тихий, спокойный вопрос: «Что там Солженицын?..»

Я не уловил в голосе никакой каверзной предвзятости. Но не выглядит ли он под моим пером беспринципным пацифистом?!

Не хочу прослыть биографом-дальтоном. Есть такое высказывание Шолохова: «Я не призываю к всепрощению и к всеобщему лобзанию. Дружба дружбой, но есть в нашем литературном, в нашем идеологическом деле такие принципы, отступление от которых нельзя прощать никому...»

И таким делился: «Страсти разгораются. Каждый имеет право высказывать свое мнение — как сердитые молодые люди, так и писатели, успевшие завоевать определенное положение. Такую свободу совести я считаю подлинной свободой искусства. Во всяком случае, будущее покажет, чьи произведения останутся, сохранят свои ценности, а чьи отойдут вместе с модой. Эта борьба умов напоминает мне старую притчу о двух спорщиках, которые до того спорили, что подрались. Судья, рассудив их, сказал, что оба правы. И тогда спорщики признали, что судья тоже прав».

То и другое он обнародовал в середине 1960-х годов, как раз в ту пору, когда пошло размежевание меж ним и Солженицыным.

Сентябрь 1967-го — Шолохов высказал секретариату Союза писателей свое отношение к двум произведениям Солженицына. Но не напечатал! Кто знает: может, не хотел подбрасывать дровишек в костер проработки Солженицына. Сообщал же следующее: «Прочитал Солженицына „Пир победителей“ и в „Круге первом“. Поражает — если так можно сказать — какое-то болезненное бесстыдство автора». В чем же увидел его? Пояснил: тенденция указывать «со злостью и остервенением на все ошибки, все промахи, допущенные партией и Советской властью...». Не принял персонажей пьесы: «Все командиры, русские и украинцы, либо законченные подлецы, либо колеблющиеся и ни во что не верящие люди... Почему в батарее из „Пира победителей“ все, кроме Нержина и „демонической“ Галины, никчемные, никудышные люди? Почему осмеяны

русские („солдаты-поварята“) и солдаты-татары? Почему власовцы — изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, — прославляются как выразители чаяний русского народа?»

Меж двумя творцами и в самом деле пропасть — политическая. Солженицын против советской власти и идей коммунизма — Шолохов надеялся, что страну облагородит само по себе стремление к светлому будущему. Один служил разрушению — второй мечтал о созидании.

...Дома, в Вёшках, находил душевное отдохновение от всех столичных ожесточений. Даже домашняя живность тому способствовала. Выйдет на крыльцо и в миг в окружении верных охотничьих собак. Одну выделял. Младшая дочь в Москве на помойке ее увидела: грязная до невероятности, но обходительная; к дому сопровождала, в лифт вошла и незнамо каким чутьем подвела к дверям. Отец с ехидцей: «Для полного комфорта нам не хватает только этой псины с помойки!» Она: «Да посмотри в глаза ей...» На него смотрели глаза, взывающие к сочувствию. Отмыли — и предстала красавицей в белоснежной шубке при черных запятнашках. Им показалось, что это финская лайка. Назвали Дамкой. Совсем скоро преподнесла подарок — девять щенят. Поражала верностью. В Вёшках стала тенью хозяина. Если уезжал — Дамку дома не найти: забьется в унынии во дворе в кустах. Всех радовала редкой сообразительностью — скажут: «Дамка, где это у нас Мария Петровна?» — тут же бежит и тащит за подол... У нее был природный дар — очень тонкий охотничий нюх. Ее не только на уток брали, ходила даже на кабана. От одной схватки с вепрем остался шрам. Умерла за два месяца до кончины своего хозяина.

А еще в дальнем огороженном углу двора кудахчут куры, побрякивают утки и забавно попискивает их желторотая детвора.

А еще умиротворяющая страсть — рыбалка. Если на пруду, то можно помечтать о сазане, как любил приговаривать: «Так, по килограмму...» Если на Дону — предел желаний — остроносая стерлядка.

Однако вся эта тишь да благодать то и дело пронизывалась токами высокого напряжения. Одни письма чего стоят — едва ли не в каждом конверте: помогите, помогите, помогите! И десятилетиями в основном одно и то же. То освободите из тюрьмы, то негде жить, то начальство поедом ест, то страну губят бюрократы, то слепцы в верхах и низах губят природу. Как раз в этом месяце приехал с Урала один старый знакомец и стал свидетелем, как вёшенец запереживал, когда вскрыл конверт с Кубани: на Азове гибнет рыба!

Дополнение. Трудно мне понять истоки, причины или поводы столь

неправедного отношения А. И. Солженицына к коллеге. Встретиться с ним не удавалось. В 1996 году, 15 апреля, я решил поговорить с ним по устроенной «Комсомольской правдой» «Прямой линии». Дозвониться из-за перегруженности было трудно, дали мне эту возможность последнему, предупредив, чтобы был предельно краток. Тут и случилось, что не успел представиться, и разговор как-то помимо моей воли вывернулся на анонимность. Вот дословная запись (пропускаю первые общие фразы):

— В книге Осипова «Тайная жизнь Михаила Шолохова...» говорится о тех фактических ошибках, которые стали для вас основой, фундаментом резко критического отношения к Шолохову...

— Нет у меня никаких фактических ошибок! — перебил он.

— Есть. И это плохо для вас же, ибо будете готовить собрание сочинений, переиздавать...

— Это вы о предисловии к книжке о плагиате? — снова перебил он меня. — Я не думаю включать его в собрание сочинений.

— Есть ошибки и в книге «Бодался теленок с дубом».

— Нет никаких ошибок! А Шолохов плохо отзывался обо мне в печати!

— Не отзывался! Но я прошу, перечитайте книгу Осипова. И тогда вы сами убедитесь, есть фактические ошибки или нет.

— Некогда. Мне каждый день приносят по две-три книги, чтобы читал.

— И тем не менее прочтите, ведь речь идет о фактических ошибках в оценках Шолохова. Найдите время, книга вам передавалась почти год назад...

— Некогда!

После паузы в голосе появляется пафосная значительность:

— О России надо думать!

— Уважаемый Александр Исаевич, все-таки попросите книгу и спокойно разберитесь...

— Некогда! И давайте кончать разговор!

Обманы под литерой «Д*»

Солженицын благословил своим предисловием и послесловием главную для антишолоховцев книгу — «Стремя „Тихого Дона“. Загадки романа».

Она вышла в Париже в 1974-м на русском языке, как уже упомянул,

под псевдонимом Д*. Лишь в пору перестройки авторство было установлено за Ириной Медведевой-Томашевской.

Эта небольшая книжечка благодаря авторитету автора предисловия и послесловия и усилиям ее восхищенных пропагандистов в прессе и на ТВ стала неким «священным писанием» в ниспровержении Шолохова. Ее не раз переиздавали. Еще бы: ученая будто бы доказала, что советский классик плагиатор.

Только почему-то скрыли от читателей четыре обстоятельства — наисущественные.

Первое. Автор — не шолоховед, а пушкиновед. Потому, видимо, и не был собран надлежащий материал для научных выводов. Смешно сказать: библиография включает лишь одну (!) шолоховедческую книгу (подробный разбор труда Медведевой-Томашевской я изложил в своей книге «Тайная жизнь Михаила Шолохова... Документальная хроника без легенд» в главе «Недокованное стремя»).

Второе. Сей труд нельзя считать научным, ибо он просто не успел стать таковым. Едва начат. В предисловии обещаны три главы. Однако написана была только первая — в недоработанном виде, вторая глава имеет один раздел вместо трех обещанных, третьей главы вовсе нет.

Третье. Отброшен такой непреложный закон науки, как обязательность сопоставления разных точек зрения. В книге, к примеру, «запамятовали» упомянуть предостережение парижского издателя «Стремени» Никиты Струве: «Это только гипотеза. Тезисы заимствования основных линий романа у Крюкова можно оспаривать. Окончательных доказательств в принципе нет».

Четвертое обстоятельство. Забвение научной этики — боязнь споров и возражений. Солженицын умалчивает при переизданиях своего предисловия, что каждое антишолоховское утверждение давно опровергнуто. В том числе моим обращением к нему на полутора газетных страницах с названием «Открытое письмо Александру Солженицыну. С 25 уточнениями, дополнениями и опровержениями. Эмоции или факты. Многодесятилетнее ниспровержение Михаила Шолохова — есть ли основания?» (Независимая газета. 2000. 15 янв.).

...Предисловие вводит в заблуждение неискушенного читателя, ибо содержит множество ошибок и искажений, чтобы внушить — нет творца Шолохова. Опровергну хотя бы главные.

Опровержение 1. Читаю у Солженицына: «Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе. Двадцатитрехлетний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем его

жизненный опыт и его уровень образования».

— Не был новичком-дебютантом: выпустил книги рассказов, повесть и показал себя как романист в нескольких главах «Донщины».

— Возраст. Неумело сосчитаны годы, ушедшие на роман: он был закончен через 15 (!) лет, в тридцать пять годов от роду.

— Образование. Не имел начального образования Диккенс, никаких дипломов — Горький и Маяковский, не закончил университета Л. Толстой... Не удержусь и сошлюсь на мнение одной из ближайших сподвижниц Солженицына — внучки Леонида Андреева — О. Карлайл: «Из разговора Шолохова стало ясно, что он начитан, особенно в области русской литературы».

Опровержение 2. Читаю в предисловии: «Последующей 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп».

— Не одинакова творческая судьба у тех, кто, как Шолохов, брался за многотомные эпопеи. У одних плодovitая: Бальзак, Золя или, к примеру, сам Солженицын со своим «Красным колесом». У других иначе: Сервантес или Лев Толстой многокнижия одного произведения не повторили.

— Высота. Кому какая видится. Ромен Роллан, к примеру, очень высоко ценил «Поднятую целину». Вл. Максимов, поначалу единомышленник Солженицына, писатель-эмигрант, антикоммунист, то же о «Целине»: «Дай-то Бог большинству нынешних знатоков советской деревни такого знания предмета и такого уровня письма!»

— Темп. Упрек в малой плодovitости отпадает, если знать, сколько лет похищено — лучших лет! — издевательствами редакций и партагитпропа: требования переделок, политкупюр, длительные задержки (однажды — на три года), придирки. А еще пять довоенных лет, когда отбивался от провокаций и наговоров, от преследований — грозил арест. А тяжкая контузия в войну?! А диабет, инсульты, рак?! Он обычно писал быстро — в темпе! — если не мешали. Как стремительно, например, писалась «Целина».

Опровержение 3. Читаю: «Сам непререкаемый Сталин назвал Шолохова „знаменитым писателем нашего времени“. Не поспоришь...»

Однако же Солженицын зачем-то «не заметил», что далее шло, как уже знает читатель этой книги, сугубо приговорное — о грубейших ошибках. Не случайно, когда сталинский отзыв был напечатан, так сразу остановили переиздание и потребовали переделок.

Опровержение 4. Читаю: «Удивляет, что Шолохов давал в течение лет согласие на многочисленные беспринципные правки „Тихого Дона“ —

политические, фактические, сюжетные, стилистические».

Но как же можно забыть постоянные надругательства партийных и литературных цензоров над рукописью и автором? И зачем утаивать причины обоснованного саморедактирования: поубавил диалектизм и того, о чем однажды сказал мне: «Подрастали мои дочери, и я внезапно подумал: как читать им слишком вольные сцены».

Опровержение 5. Солженицын пишет: «Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось 14 лет».

— Но разве сам Солженицын не писал об этой войне? А опыт Лермонтова («Бородино»), или Льва Толстого («Война и мир»), и сотен, сотен других творцов!

Мог бы продолжить опровержения (в полном виде они в упомянутой газете), но уже ясно: по саже хоть гладь, хоть нет — все черно.

Впрочем, на крепкий сук всегда найдется острый топор. И на «антишолоховиану» Солженицына с Медведевой нашелся. Да такой острый и увесистый, что от развесистых обвинений в плагиате ничего и не осталось.

Речь о книге «Кто написал „Тихий Дон“ (Проблема авторства „Тихого Дона“)». Ее создатели — группа шведско-норвежских ученых (филологи и программисты-электронщики) по идее и под руководством Гейро Хьетсо.

...Шолохов узнал, что некоему норвежскому слависту советский МИД не дает визу. Спросил — отчего? Ответили просто, в расчете на то, что он как член ЦК разделит праведность позиции ЦК:

— Он там влез в споры и этим подогревает тему плагиата. Разве для науки тема плагиата актуальна?

— А с кем спорит? — спросил Шолохов.

— Да с этим самым Солженицыным. Но кому это надо провокацию раздувать?!

В Осло ушла телеграмма. Хьетсо разбирал латинские буквы русского текста: «Буду рад видеть вас вешенской добро пожаловат михаил шолохов».

Вот она, виза!

Но еще и пропуск понадобился, чтобы пробиться через внезапно закрытый хитроуанами въезд в Вёшки. Хьетсо прилетел в Москву и в своей гостинице хотел заказать билет на Дон. Ему в ответ — Шолохов болен. Упрям, однако. Нашел сподвижника, тот — за телефон. Вёшенец без всяких оговорок подтвердил желание повидаться. Любил настырных.

20 декабря 1977 года в послеобеденный час Хьетсо уже кланялся

Шолохову. Тот в ответ по-норвежски: «Добро пожаловать!» Мария Петровна появилась и пригласила отобедать. Ждали, выходит, рассчитав, сколько понадобится на дорогу из Миллерово.

Писатель спросил у него, этого атамана научного коллектива:

— А что, мистер Хьетсо, разве без электронно-вычислительной машины ученым-литературоведам не видно разницы в стиле моих произведений и произведений Крюкова?

— Видно. Но ЭВМ авторитетнее. Ученые могут проявить симпатии и даже предвзятость, а ЭВМ — нет!

Писатель поудивлялся изобретательности иностранцев. Они первыми взялись за тот метод, который единственно обещал результат. Они придумали искать отцовство романа «по крови». У филологов, оказывается, есть такой прием — он еще никогда никого не подводил. Это потому, что любой писатель всю свою жизнь несет в общем-то единые приметы стилистики и словофонда. И впрямь как группа крови. Было бы что сравнивать... Они решили: коли нет никакого романа у Федора Крюкова (кандидатура на авторство «Тихого Дона» Медведевой и Солженицына), так надо изучить все его творчество со всеми повестями и рассказами.

Хьетсо все рассказывал и рассказывал. Соавторы, оказывается, взяли для сопоставительного разбора-анализа у Крюкова три книги, у него, Шолохова, две первые книги рассказов, обе книги «Поднятой целины» и «Тихий Дон» с книгами I, II, IV.

Обогатиться дополнительным чтением пришлось... И впрямь велика научная оснастка. Использовали 113 статей, книг и извлечений из иных трудов, в том числе 26 советских.

В книге «Кто написал „Тихий Дон“» четыре главы, 186 страниц. На этом поле, как узнал писатель, весьма глубокая пахота. Искались единство или различие, к примеру, в словарном фонде: насыщенность, совпадения, повторяемость, разновидность... Сопоставляли особенности написанного — средняя длина предложений и у Крюкова, и у Шолохова, распределение частей речи, частота применяемых союзов... Все это по 150 таблицам, графикам и формулам с мудренными названиями: «Различительный анализ с использованием...», «Корреляция длины фраз с длиной слов», «Словарный профиль», «Коэффициент типичности знаков», «Дистрибуция частотности»... Авторы не включили в книгу — не хотели перегружать — разделы исследования ритмики прозы, распределения классов слов.

Так вот и определялась «группа крови», а точнее, вычленялись литературные гены. Хьетсо пояснил Шолоховым не без гордости, что несколько лет ушло на сбор материала, на создание программ, собрали

даже словарь на 61 тысячу единиц с описанием. Затем пришел черед беспристрастных ЭВМ.

Слово за словом электроника сравнила 150 тысяч слов в двенадцати тысячах предложений.

Хьетсо признался, что книга не для массового читателя, ее трудно читать. Это так: нелегко продираться сквозь тернии цифири и частолес таблиц. Правда, подстегиваешь себя жадным любопытством — каков же рождается приговор? Без публицистики! Без страстей!

Гость нашел для своих слушателей в самом конце книги одну страницу и, на ходу переводя, прочитал: «Применение математической статистики позволяет нам исключить возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как авторство Шолохова исключить невозможно».

Хьетсо заключил:

— Для Д*, Солженицына и их пропагандистов доказано не только то, что Крюков не мог быть автором «Тихого Дона». Пожалуй, — выделил ученый, — важнее второе доказательство, что един автор у рассказов, повести и двух романов. Стало быть, нет места и для всех иных кандидатов в гении.

Он оказался прав. Скандинавы свой труд делали, оказывается, «на вырост». Это позже выяснилось, когда вместо битой карты с Крюковым появилась дюжина новых кандидатов в Шолоховы. Однако же появился надежный стоп-сигнал. Хотите выставить кого-либо на соискание звания гения? Так надо по меньшей мере доказать, что и рассказы, и «Поднятая целина» писаны этим вашим соискателем.

Интересно повел себя в гостях норвежец. Напрасно считают, что скандинавы сдержанны. Горяч оказался в спорах. Ему один ростовский филолог за столом сказал: «Шолохов начинался под влиянием „Тараса Бульбы“ Гоголя и „Казаков“ Толстого». Он в контратаку:

— Влияние, может, и было, но более ощутимо для начинающего автора влияние литературных поветрий 20-х годов: Пильняк, Бабель...

Шолохов встрепенулся. Филолог — в негодование. Но гость гнет свое:

— Известно, что тогда ваша литература обрела так называемую «рубленную прозу».

Он достал из портфеля карточку на плотной бумаге (ученые используют такие для справочных картотек) и прочитал из «Тихого Дона»: «Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье».

— Так вот то, что господин Шолохов в начале своего романного творчества использовал этот прием стилистики, тоже довод против

обвинений в плагиате. Крюков был лишен возможности освоить этот литературный язык, он возник после его смерти...

Никто в СССР не узнал о книге скандинавов. Небывалый случай! Это потому, что ЦК по традиции оберегал народ от антисоветчины, и посему — ни слова ни о тех, кто клеветает на Шолохова, ни о тех, кто его защищает. Этакая глушилка, набили руку на глушении западных радиостанций. Ниспровергатели авторства Шолохова в свою очередь тоже стали замалчивать книгу. Это потому, что не смогли ее оспорить и решили не пропагандировать даже критикой. Ее и перевели-то для нашей страны спустя пять лет после выхода в Осло в 1984-м. Да и то не по инициативе издателей или ученых, а по указанию влиятельного тогда государственного деятеля В. К. Егорова. Заметили книгу, если не ошибаюсь, всего-то две-три газеты, один из откликов был мой.

Г. Хьетсо... С ним я познакомился на литературном вечере памяти Шолохова, когда норвежец приехал в Москву. Он выступил, но по скромности или сдержанности почти ничего не рассказал о себе. Уединились и только тогда удалось хоть что-то о нем узнать.

— Вообще-то я не был специалистом по Шолохову. До 1975 года занимался дореволюционной литературой России.

— Как так?

— Случайно прочитал книжечку Д*. Сразу почувствовал особую ее значимость по наличию предисловия Солженицына. Читаю и... какое-то неудовлетворение: замысел у Д* — ученого, а аргументы, однако, публициста. Слишком бездоказательно. Рассчитано, чтобы поверили на слово... Гипотеза, не больше! Это в основном только у вас в стране почитают «Стремя „Тихого Дона“» как научно обоснованный труд.

— Почему же вы, не шолоховед, стали шолоховедом?

— Захотелось доказательств. Таков образ мышления ученого. Когда я принялся за поиск доказательств, то ничуть не думал принимать позиции «за Шолохова» или «против Шолохова». Главное — хотел вооружиться фактами. Я готов принять любую сторону — нашлись бы основания. Научные! Я только о таких...

Итак, полное поражение потерпел А. И. Солженицын в своем сражении против Шолохова. Но — странно — отказался от почетной капитуляции. Это к тому, что в начале кампании, освятив книгу Д* своим именем, заявил: «Предлагаю советской прессе и советским ученым ответить на эти аргументы, а не ругаться».

Однако же, когда ему стали отвечать, отказался от обещания обсудить возражения. Попросту промолчал, когда появились от разных

исследователей не ругливые, а сугубо научные аргументы. В том числе и мое уже упомянутое «Открытое письмо».

Дополнение. Не только я подмечал, что перо Солженицына, когда он нацеливает его на Шолохова, — не точено на правду. Например: «Я читал книгу литературоведа Д* „Стремя „Тихого Дона““ и, как юрист по образованию, не могу признать, что он мне доказал, будто это не Шолохов». Это Владимир Максимов. Или Александр Зиновьев, философ-эмигрант: «По поводу сомнений в авторстве Шолохова... У меня никаких сомнений нет. А если подходить так, как кому-то хочется, я берусь доказать, что „Войну и мир“ написали 20 писателей, а Толстой скомпилировал их».

Глава третья

СОЖЖЕННЫЙ РОМАН

Середина 1960-х... В двухэтажном доме, из которого виден раздольный Дон, или в охотничьем домике на реке Урал, в котором работается без всяких суетных отвлечений-соблазнов, просятся на свет божий новые главы военного романа.

Величаво начинается новорожденный текст — сразу увлекает к чтению: «Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний поток...»

Может быть, так и пойдет далее в безмятежье — человек и мирная природа?

Издательства

Почему же нет полного романа «Они сражались за родину» — только главы?

Трагична — поистине — судьба Шолохова как писателя и человека. Сколько же она рождает вопросов.

Не успел завершить роман? Теперь мы знаем, как мешали. И не только тем, что не допустили к архиву Генштаба, но и придирками, подозрением, критикой и унижительными процедурами недоброжелательного чтения в ЦК. А еще болезни и преклонные годы.

Не захотел завершать? И такие порывы уже были в его жизни — когда столкнулся с «перегибами» в коллективизации и притормозил «Поднятую целину».

Завершил, но схоронил, упрятал, не передал в печать? Именно такое случилось при жизни Сталина с продолжением «Целины»...

До сих пор боюсь верить тому, что услышал от двух близких Шолохову людей — еще при его жизни, но всего за восемь месяцев до кончины: уничтожен роман.

...Историю гибели романа можно обозначать с того дня, когда папка с машинописью новых глав появилась на столе у главного редактора «Правды». Светлана Михайловна Шолохова рассказала мне:

— Главный редактор «Правды» попросил у отца отрывок из новых глав. К 7 ноября. В праздничный номер. Сначала отец отказал ему, но после

настойчивых просьб послал этот отрывок, где речь идет о Сталине и репрессиях. Редактор не решился напечатать это без разрешения «сверху». Уговаривал отца сделать поправки, «смягчить» или вообще выбросить некоторые острые места. Отец после очень резкого разговора отказался что-то поправлять и выбрасывать...

Тут-то рукопись и отправили в ЦК, в верховный кабинет.

Так началось противостояние: Брежнев против Шолохова. Все это скрывалось — государственная тайна.

Шолохов тоже смолчал; видимо, не захотел уподобляться диссидентам. Не напомнил обществу, что нет ни одного его романа, который бы не подвергался державным притеснениям.

Как я начал узнавать об этом? Сначала кое-что услышал от него самого еще в 1969 году, 2 июля. То было в Ростове. Он прилетел сюда из Вёшенской, чтобы встретиться с группой молодых писателей из тогдашних братских социалистических стран.

До чего же интересно проходила встреча! Повезло мне — попал сюда в качестве главного редактора издательства «Молодая гвардия». Он беседовал с молодыми коллегами просто, непринужденно, подымливая частыми сигаретами, был щедр на улыбку и усмешку, говорил живо и образно, доброжелательно. Но ведь приехал с раной на сердце, которую нанес Брежнев. Говорил с гостями на тему ответственности писателя перед временем, обществом и готовности ради всего этого идти на творческие жертвы. И вдруг заявил:

— Я пишу сейчас... О крутых временах в нашей жизни пишу. Чтобы проверить себя, послал главы в ЦК... Со многими замечаниями согласился. Они вроде бы на первый взгляд снижают драматизм. Но я пойду на это, чтобы не навредить родной своей партии. Надо быть вместе с ней, вместе с народом. Нельзя поступать так, как это, помните, у Куприна, когда поручик шагнул не в ногу...

Эти его слова оказались лишь завязкой трагической истории романа. То, что я дальше узнавал — по-прежнему от него, — с трудом увязывается с впервые услышанным. Не подтвердится, что он соглашался со «многими замечаниями». Почему-то не назвал имя Брежнева. Главное же — скрыл драматизм того, что произошло. Почему? Может, подчинился тогдашнему политэтикету: при общении с иностранцами не откровенничать. Может, поберегся расстраивать себя напоминанием.

Полностью я узнал о беде через несколько лет. Отмечу: он доверился мне на условиях «не для печати»:

— Послал я Брежневу рукопись романа... Там несколько страниц о

Сталине. Подумал, что посоветоваться не помешает. Жду неделю, жду месяц, жду третий... Сталин за две ночи прочитал «Поднятую целину». Наконец посыльный из ЦК — передает мне папку с романом. Я скорее раскрывать, а там — что? — письма нет, а по рукописи на полях три вопросительных знака. И все. Совсем без каких-либо пояснений и разъяснений...

Я не удержался и, перебив, спросил, что же за вопросы поставил этот кремлевский читатель. Услышал: «Один вопрос стоял там, где у меня шло о Сталине. Критически шло... Второй вопрос — где у меня герои проходились по союзникам; тянули союзники с открытием второго фронта. Третий — на тех страницах, где шло продолжение о Сталине».

— Что же мне делать? — продолжил он. — Вот, думаю, посоветовался. Ну, посчитал, проясню у Кириленко. Он был тогда, помните, вторым секретарем ЦК. Звоню — тут же соединили. Рассказываю, а он в ответ: «Это, дорогой Михаил Александрович, недоразумение. Это, дорогой Михаил Александрович, ошибка чья-то, но не Леонида Ильича. Я сегодня же, говорит, все проясню у Леонида Ильича. Вы через два-три дня позвоните. А сейчас я пошлю за вашей рукописью — вы верните ее». Приехали за рукописью очень быстро. Я, конечно, отдал. Звоню через три дня. Звоню всю неделю. Еще месяца два-три звоню. Нет и нет Кириленко. Так ни разу и не соединили: то, говорят, проводит секретариат, то на заседании Политбюро, то в командировке... Наконец нарочный доставляет пакет с рукописью. Я папку раскрыл — все в прежнем виде, ни письма, ни на полях ничего нового... Все те, прежние, три вопроса.

Закончил, помолчал, буркнул — едко: «Говорят, Брежнев охотник хороший».

Он, оказывается, не все рассказал. Позже старшая дочь дополнила — существенным:

— Отец очень обиделся на такие увеливания. И отправил письмо. Зол был, но писал и сдерживался. Потому «Дорогой» или «С уважением...». Но в самом конце не удержался. Обратите внимание, с каким непочтением последние строчки протеста.

И передала мне копию письма: «Дорогой Леонид Ильич! Как ты сегодня сказал, вступая в доклад, „по традиции регламент Пленума не меняется“, так и у меня тоже по неписаной традиции не менялись отношения с „Правдой“: и „Тихий Дон“, и „Поднятая целина“, и „Они сражались за родину“ почти полностью прошли через „Правду“.

Не изменяя этой традиции, я передал туда новый отрывок из романа, который вот уже более трех недель находится у тебя.

С вопросом его использования нельзя дальше тянуть, — и я очень прошу решить его поскорее, — по следующим причинам:

1) я пока не работаю, ожидая твоего решения. Не то настроение, чтобы писать...

2) о существовании этого отрывка и о том, что он находится в „Правде“, широко известно в Москве, и мне вовсе не улыбается, если где-нибудь в „Нью-Йорк таймс“ или в какой-либо другой влиятельной газете появится сообщение о том, что „вот, мол, уже и Шолохова не печатают“, а потом нагородят вокруг этого еще с три короба...

Обещанный тобою разговор 7 октября не состоялся не по моей вине, и я еще раз прошу решить вопрос с отрывком поскорее. Если у тебя не найдется для меня на этот раз времени для разговора (хотя бы самого короткого), поручи кому сочтешь нужным поговорить со мною, чтобы и дело не стояло и чтобы оградить меня от весьма возможных домыслов со стороны буржуазной прессы, чего и побаиваюсь, и, естественно, не хочу.

Найди 2 минуты, чтобы ответить мне любым, удобным для тебя способом по существу вопроса. Я — на Пленуме. Улетаю в субботу, 2/XI. Срок достаточный для того, чтобы ответить мне даже не из чувства товарищества, а из элементарной вежливости...

Обнимаю! М. Шолохов. 30 октября 1968 г., г. Москва».

Генеральный секретарь не снизошел до ответа!

Шолохов снова с письмом — 12 декабря. И уже в первых строках проявился характер: «Дорогой Леонид Ильич! Третий месяц вопрос с печатанием отрывка остается открытым. Надо с этим кончать...» К концу, в расчете на аппаратную дисциплину и не без ехидцы вывел фамилию того, кто тоже перетрусил в оценках романа, но скрывал: «Зная о твоей исключительной занятости, прошу перепоручить решение вопроса об отрывке т. Кириленко А. П. Тем паче, что он прочитал отрывок, и мы сумеем договориться». Заключил явно в отчаянии от безысходности: «Сообщи, как ты относишься к моему предложению, хотя бы в двух словах. Ведь это не так уж трудно!»

Трудным оказалось общение Брежнева с Шолоховым.

«Что делали? — Ждали. — А что выждали? — Жданки». Такая по этому случаю вспомнилась старинная пословица.

Дочь кое-что пояснила:

— Конечно, отец ничего не боялся — никаких публикаций за рубежом. Он рассчитывал, что Брежнев, заstraщенный оглаской в иностранной прессе, займет какую-нибудь определенную позицию. Брежнев так и не ответил. Пришлось отцу ни с чем возвращаться в Вёшенскую. Оттуда

послал телеграмму с требованием вернуть рукопись... Ждет, ждет... Кстати говоря: или отец что-то не то сказал о количестве вопросительных знаков на полях рукописи, или вы не так его записали. Купюр-то множество! Искорежили роман.

Она продолжила:

— И вдруг в «Правде» появляется отрывок из романа, изуродованный «правкой» кого-то из «редакторской команды» Брежнева. Возмущенному отцу ответили, что не все можно печатать в газете, не пришло время, а вот в книге все можно будет восстановить. Но, увы, даже в книге ничего не восстановлено, а сколько с той поры было переизданий...

Добавила:

— Спорить было бесполезно и работать над романом дальше невозможно. А каково носить в себе этот груз? Еще горше! Время... Оно работало тогда против отца, и тут ничего не поделаешь. Ему, как писателю, как человеку, оставалось надеяться на перемены. Он понимал, что дальше так жить нельзя, но эти перемены пришли для него слишком поздно. Так литература недосчиталась романа о великой войне, о великих страданиях и подвигах нашего народа.

...В конце года много всякого-разного входило в жизнь вёшенца.

Вот радуется, что поставили ему в дом — наконец-то догадались! — водогрейный котел, чтобы по трубам гнать тепло во все комнаты.

Вот гневается: узнал, что московский журнал «Огонек» подготовил к 50-летию его творческой деятельности сборник воспоминаний. Ему прислали состав. И тут же отсылает письмо редактору журнала, своему старому доброму приятелю Анатолию Софронову: «Сборник надо решительно сократить, отбросив все мелкое и нестоящее. Статья... (шла фамилия автора. — В. О.) — слюни и патока. Прочитаешь — и хочется помыть руки. Нельзя же так писать... Дай посмотреть весь сборник человеку требовательному. В таком виде печатать нельзя. Я сам себе не враг...»

Вот с Марией Петровной наогорчались, что кто-то там попросил руки младшенькой, Маши. Благо, что она сама это сватовство отвергла.

Вот написал к 100-летию великого сына Индии Ганди заметки «Величие души». Особо отметил, упомянув здесь же Льва Толстого, то, что явно и ему присуще: «Протест против угнетения, умение чувствовать боль и страдание своего народа и другого народа — вот что лежало в основе их исканий, вот что сближало обоих титанов: самозабвенного борца за освобождение Индии и великого русского писателя-человеколюбца».

Вот приятное событие. Встретился с большой группой французов —

победителей конкурса на лучшее знание героев его, Шолохова, сочинений. Он и на этот раз по живости чувств приоткрыл для визитеров что-то новое в себе.

— Надеюсь, не попрекнете меня тем, что я — донской казак и что донские казаки были в Париже...

После интригующей паузы сошел с тропы «милитаризма»:

— Казаки привезли из Франции саженцы шампанского винограда. Эти саженцы прижились...

Его тут же перебили вопросом: «А коньяк французский пробовали?»

— Мне 62 года — имею большой опыт. Пробовал... Коньяк прелестный...

Снова пауза, и вдруг будто уловил по молодым глазам игривый вопрос, опередил с лукавым прищуром:

— Но прошу не задавать мне «провокационных» вопросов о красоте французских женщин...

Потом посерьезнел:

— Я во Франции был раз шесть-семь. Великолепный народ. С чувством признательности вспоминаю сейчас то гостеприимство, которое мне было оказано...

Гости многим интересовались.

— Кого из французских писателей ценю? Трудно ответить... Великая русская литература росла от огромного общения с вашей. Взаимное обогащение... Толстой и Стендаль неразделимы...

И вдруг: «Нас многое объединяет. И первая война с Германией. И последняя война, с той кровью, что пролита французскими и советскими людьми». Вспомнил, что встречался с де Голлем.

В этом же интервью не скрыл своего мнения об «отщепенцах», то есть о диссидентах: «С такими надо бы построже. Известно, паршивая овца заведется — все стадо испортит».

Надо знать и об этом. Эта тема волновала Шолохова с 1966 года.

***Дополнение.** Долгие годы партийная цензура скрывала от читателей истинное отношение великого творца к Сталину, которое отразилось в военном романе. Горжусь: вместе со Светланой Михайловной Шолоховой мы выпустили в 1995 году «Они сражались за родину» с восстановленными купюрами, о коих была речь выше. И еще увеличили число читателей — в качестве заметок дочери писателя тогда же обнародовал эти купюры сотысячным тиражом в «Альманахе исторических сенсаций», который выпускал в своем издательстве*

«Раритет».

Еще одно — на этот раз невольное — купирование. Заметки памяти Ганди почему-то не были включены в посмертное собрание сочинений писателя и потому забыты, не вошли даже в научный оборот. Но это эссе все-таки можно прочитать благодаря издательству «Молодая гвардия» — оно было включено с согласия Шолохова в его сборник публицистики «По велению души» (1970 г.).

Возвращение к Сталину

Итак, человечество лишилось свидетельств писателя-очевидца о войне.

Кто-нибудь скажет: для истории важна не живописная кисть романиста, а строгое перо историка-ученого. Убежден: будущему беспристрастному батальному полотну, с портретом Сталина, не останется мазка пристрастной кисти именно Шолохова.

...При Хрущеве будоражили Москву слухи, что Шолохов пишет продолжение военного романа и быть в нем Сталину. Уже одно это кипятило страсти. Никогда не забуду свою издательскую жизнь в те годы. По хрущевской анафеме вождю не только цензоры, но и наш брат издатель при имени Сталина — в стойку. Его можно было только критиковать. Потому и строг спрос: кто такой литературный персонаж, чтобы давать ему право произносить имя Сталина; во имя чего, с какими целями будет это написано, а последствия каковы? Лучше не связываться.

Шолохов знал — прежде всего у читателей нет никакого единства во взглядах на Сталина. Тысячи писем приходят в газеты, в издательства. Одни клянут вождя за неисчислимые беды, а заодно и все прожитые десятилетия. Другие клянутся, что не дадут его в обиду, с ним-де связаны многочисленные победы...

Кто бы из видных писателей — не конъюнктурщиков — свое слово сказал? Но одни писатели — и историки тоже — не хотели рисковать: ЦК и цензура подчинялись курсу Хрущева и не поощряли эту тему. Другие просто робели братья за нее: не по плечу. Третьи не имели доступа к достоверному материалу — не всем доверяли архивы.

Кто-то в разговорах уверял, что роман пишется во славу Сталина, ибо Шолохов-де отъявленный сталинист. Некоторые, узнавая о таком, пожимали плечами и говорили, что писатель — опытный политик — будет осторожен: если в романе и будет Сталин, то только с одной возможностью

— появиться, но не проявиться.

И в самом деле, велика ответственность. Шолохов тогда в Москву, к Хрущеву: решил посоветоваться. Слышит в ответ краткое заключение: «Еще не пришло время писать о Сталине и о 37-м. ЦК уже все высказал...»

При Брежневе продолжили. Один из секретарей ЦК — идеолог — уговаривает: «Михаил Александрович, не сыпь темой разоблачения Сталина соль на незажившие раны...»

Итак, установка — лучше Сталина не поминать. Не для Шолохова все эти препоны. Слухи, что он никого не слушает, не напрасны. Сталин и в самом деле появляется в романе — писатель торопит перо: диалог за диалогом, сцена за сценой... Он взял на себя ответственность — и ЦК теперь не указ.

Как же представлен в романе Сталин?

...Писатель выводит взволнованный монолог одного из главных персонажей, Александра Михайловича, — того, кто успел побывать в тюремной робе «врага народа»:

«— На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно. Мы с ним не на равных условиях: если я к нему отношусь с неприязнью, то ему на это наплевать. Ему от этого ни холодно, ни жарко, а вот он отнесся ко мне неприязненно, так мне от этого и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже...»

Еще сцена. Среди командиров РККА в присутствии вождя спор — каким был генерал Корнилов. Сцена навеяна шолоховской памятью об обеде в 1931 году, когда Сталин в присутствии Горького учинил допрос.

Отличная память — потому и появились: «У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком...»

Оценки 1937-го. Шолохов не мог поддерживать политику репрессий. Но для некоторых — памятливых — оставалась заноза: не забывали его речь на довоенном партсъезде. Там он произносит слова о врагах и шпионах, пусть без единой фамилии и не оголтело-вождеденно, как остальные. Теперь — 20 лет спустя — писатель вернулся к теме и вложил в уста Александра Михайловича целый монолог. Напомню, что в нем осуждение того, как обескровливали командирский состав арестами и «допросами с пристрастием».

Новые «сталинские» строчки. В них отношение к тем спорам, что все кипят и кипят вокруг: «„Предвзятость — плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он (Сталин. — В. О.) надолго останется неразгаданным не только для меня...“ — продолжал говорить Александр

Михайлович».

После этого он стал вспоминать, как Сталин под Царицыном спас раненого казачьего офицера.

Рассказ о счастливой судьбе казачьего офицера краток, а споры о Сталине в романе никак не остынут. Стрельцов и директор МТС схватываются, когда обсуждают, почему освобожден брат Стрельцова, Александр Михайлович:

«— А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.

— Ну, знаешь ли. Что же он, с закрытыми глазами страной правит?

— Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.

— Степаныч! Побойся Бога! Что мы с тобой видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?

— Бывает и такое в жизни...

— Я в чудеса не верю».

Еще о Сталине — это по воле автора говорит вернувшийся из заключения Александр Михайлович: «Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они не враги... Я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все!.. Как он мог такое допустить?! Но я вступил в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он — признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустриализацию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии такой тяжелый урон».

Еще о Сталине: «Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшным образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова...»

Шолохову в тот год, когда писалось продолжение романа, не дано было знать, что вождь лично оставил следы своего приговорно-карательного карандаша на многих списках жертв или то, что участвовал в очных ставках-допросах. Это стало известно только после 1985 года. Но верен своему приему — дал возможность высказаться о дезинформации, мистификации и Ежове, и только затем прозвучало итоговое: «Если это может в какой-то мере служить ему оправданием...»

Это отзвуки той веры, что-де Сталин стал смягчать репрессии. Однако у писателя иное мнение: «Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича. Надо с ним потолковать. Если несколько человек освободили,

это не значит, что всех подряд будут освобождать».

Он еще не раз — обличительно! — вернется к разговору о нравах в ту пору. В том числе о том, как они порождали самое омерзительное — доноительство: «Вкус заимели один другого сажать...»

И все-таки — «Надолго неразгаданный...» И ведь не ошибся в этом утверждении. Прошли десятилетия: дважды, и после 1956 года, и после 1985 года, появлялась возможность легко и свободно соскребать Сталина со скрижалей истории. Одним махом побивахом! Но до сих пор так и нет полной правды о том, кто с 1924 года правил страной и оказывал влияние на весь мир. То вдруг Сталин становится фигурой умолчания — какой-нибудь незадачливый автор рассказывает о времени, когда правил всемогущий вождь, а имени его нет. То прописывается в безликом перечислении, например в общем списке полководцев (однажды даже по алфавиту). Это смазывает роль диктатора в огромном государстве. То в ЦК придумывали вычеркивать его имя из воспоминаний западных деятелей — от таких купюр они представляли нелепыми. То его фотография появлялась у лихих шоферов на передних стеклах — вызов! В перестройку Сталина живописали и в облике молодого кавказского уголовника, и к старости параноиком и алкоголиком. Но кто присягнет, что каждая из названных позиций единственная правда, к тому же — полная?

Шолохов знал: избирательно подобранными фактами не только история, но и биография одного человека не пишется. Разве небольшим набором хулительных слов — пусть и обоснованных — объяснить, как мог великий народ прийти к великой трагедии, именуемой сталинщиной, долгое время веря в сталинизм, чтобы отдать себя рождению великой страны под великую мечту о коммунизме?

Писатель, историк, политик

Он знал, чего ждут от него в военном романе соотечественники. Не только лучезарного повествования про подвиги и героев. Таких книг тьма тьмущая. И не только описаний тягот войны — молодые коллеги Шолохова уже начали пренебрегать запретительными на этот счет партустановками. С 1960-х годов появилась, удивляя мир суровой правдой, проза Михаила Алексеева, Анатолия Ананьева, Виктора Астафьева, Григория Бакланова, Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Евгения Носова... Одни называли ее «лейтенантской», другие — «окопной правдой». В ЦК долгие годы пугливо воспринимали такие повести и

романы.

Ему же хотелось использовать свой авторитет, чтобы дать возможность народу прочитать и про героев, и про пережитые тяготы одновременно с тем, как воевали советские люди, еще не успокоившиеся от войны против «врагов народа». Потому и впустил в роман немало запретного.

...О палаче Берии один персонаж говорит: «Ехать надо в колхоз имени Берии, а как я поеду? Стыдно... Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берии назвали!.. А колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, и едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает...»

...О том, что подступающую войну ждали с опаской: «Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет... Побьем и на этот раз! Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос станет — быть или не быть, — о цене не говорят и не спрашивают...»

...Как мобилизация и формирование армии проходили: «Прибыло пополнение... Казаков определили к нам в пехоту... ремесленников из Ростова воткнули в кавалерию...»

...Как в народе оценивали отступление: «Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружье брать да оборонять вас от немца?.. Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил?..»

...Прорывается в рассказе с поля боя и запретное при всеобщем атеизме слово от писателя-коммуниста: «Когда еще учился в сельской церковно-приходской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда не беспокоил Бога, перезабыл все до одной молитвы — и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: „Господи, спаси! Не дай меня в трату, Господи!..“»

Отметим: наконец-то вроде бы исполнил поручение Сталина — назвал в романе выдающихся полководцев. Вывел имя Георгия Константиновича Жукова. Затем имена тех, кого почитал за то, что начинали в войну свою стремительную карьеру с малых чинов: Кирилл Мерецков, Николай Воронов, Родион Малиновский, Павел Батов, Николай Ляшенко, Александр Родимцев... Поименовал их орлами.

...Однажды Шолохов с таким монологом:

— Вроде бы приятно внимание от партии... И любят, и благодарствуют, и надежду выражают, что я сдам в печать «Они сражались за родину». А кто подумал о наших зигзагах в оценках войны после Сталина? Эта война еще не стала подлинной историей... Хрущев нашел

дорогу в Вёшки, возил меня в Америку. А цель? Оценить его заслуги, как он, будучи представителем Верховной Ставки, просрал Харьковскую операцию? С историей надо обращаться осторожней, по правде исследовать и писать. Не так, как с Малоземельной историей...

Это писатель говорит о воспоминаниях Брежнева, в коих тот уж очень беззастенчиво преувеличивал свою полковничью в политорганах роль в войне на Малой Земле.

Так и становился художник в своем романе и историком, и политиком.

Против него поднялись партцензоры. Их карающие перья искорежили главу, которая начиналась так: «Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему» (в ней рассказывается о том, как Николай Стрельцов воспринимал время предвоенных репрессий). Военная правда писателя вызвала атаки цензоров:

Во фразе «да еще пострадавший» читатель не прочитал: «от советской власти».

Из текста исчезло: «Многих потеряли. Лучших из лучших полководцев постреляли, имена их знает весь мир. Многих упрятали в лагеря. Такой метлой прошли по армейским порядкам, что даже подумать страшно! Сажали, начиная с крупнейшего военачальника и кончая иной раз командиром роты. Армию, по сути, обезглавили и, употребляя военную терминологию, обескровили без боев и сражений».

Цензурному аресту подвергся драматический монолог еще одного персонажа, Ивана Степановича: «Так вот, Микола, я тебе об этом никогда не говорил, не было подходящего случая, а сейчас скажу, как через свои нервы в тюрьму попал: в тридцать седьмом я работал заведующим райземотделом в соседнем районе, был членом бюро райкома. И вот объявили тогда сразу трех членов бюро, в числе их и первого секретаря, врагами народа и тут же арестовали. На закрытом партсобрании начали на этих ребят всякую грязь лить. Слушал я, слушал, терпел, терпел и стало мне тошно, нервы не выдержали, встал и говорю: „Да что же вы, сукины сыны, такие бесхребетные? Вчера эти трое были для нас дорогие товарищи и друзья, а нынче они же врагами стали? А где факты их вражеской работы? Нету у вас таких фактов! А то, что вы тут грязь месите, — так это со страху и от подлости, какая у вас, как пережиток капитализма, еще не убитая окончательно и шевелится, как змея, перееханный колесом брочки. Что это за порядки у вас пошли?“ Встал и ушел с этого пакостного собрания. А на другой день вечером приехали и за мной...

На первом же допросе следователь говорит мне: „Обвиняемый Дьяченко, а ну, становись в двух метрах от меня и раскалывайся. Значит, не

нравятся тебе наши советско-партийные порядки? Капиталистических захотелось тебе, чертова контра?!“ Я отвечаю, что мне не нравятся такие порядки, когда без вины честных коммунистов врагами народа делают, и что, мол, какая же я контра, если с восемнадцатого года я во второй конной армии у товарища Думенко пулеметчиком на тачанке был, с Корниловым сражался и в том же году в партию вступил. А он мне: „Брешешь ты, хохол, сучье вымя, ты — петлюровец и самый махровый украинский националист! Желто-блаkitная сволочь ты!“ Еще когда он меня контрой обозвал, чую, начинают мои нервы расшатываться и радикулит вступает в свои права, а как только он меня петлюровцем обозвал, — я побледнел весь с ног до головы и говорю ему: „Ты сам великодержавный кацап! Какое ты имеешь право меня, коммуниста с восемнадцатого года, петлюровцем называть?“ И ты понимаешь, Микола, с детства я не говорил по-украински, а тут как прорвало — сразу от великой обиды ридну мову вспомнил: „Який же я, кажу, петлюровец, колы я и на Украине ни разу не був? Я ж на Ставропольщине родился и усю жизнь там прожив“. Он и привязался: „Ага, говорит, заговорил на мамином языке! Раскалывайся дальше!“ Обдумался я и говорю опять же на украинском: „У Петлюры я не був, а ще гирше зи мною было дило...“ Он весь перегнулся ко мне, пытается: „Какое? Говори!“ Я глаза рукавом тру и техесенько кажу: „Був я тоди архиереем у Житомири и пан гетман Скоропадський мине пид ручку до стола водыв“. Ах, как он взвился! Аж глаза позеленели. „Ты что же это вздумал, издеваться над следственными органами?“ Откуда ни возьмись появились еще двое добрых молодцев, и стали они с меня кулаками архиерейский сан снимать... Часа два трудились надо мной! Обольют водой и опять за меня берутся. Ты что, Микола, морду воротишь? Смеешься? Ты бы там посмеялся, на моем месте, а мне тогда не до смеха было. За восемь месяцев кем я только не был: и петлюровцем, и троцкистом, и бухаринцем, и вообще контрой и вредителем сельского хозяйства... На людей первое время не мог глядеть, стыдился за свою советскую власть, — как же это она меня, до гроба верного сына, в тюрьму законопатила?»

***Дополнение.** Даже в незавершенном романе «Они сражались за родину» впечатлительна профессиональная палитра.*

Шолоховед Е. Панасенко, к примеру, исследовала тему эпитетов. И ее поразило их разнообразие при описании боев: вой (ревуций, низкий, тягучий, нарастающий); визг (короткий, замирающий, нарастающий); грохот (дьявольский, обвальный, тяжелый, давящий, неумолчный, всенарастающий); свист (буревой, отвратительный); земля

(вздыбившаяся, мертвая, опаленная, спекшаяся, истерзанная) и т. д.

Или тема колоризма (цветовой гаммы). Шолоховед Ю. Гвоздарев подсчитал, что в романе Шолохова 300 цветowych прилагательных. Нередко романист-новатор рисковал воссоединять для большей выразительности, казалось бы, несочетаемое. К примеру, холодный цвет с теплым: «иссиня-желтый». Необычны батальные краски: «пелена взвихрившейся пыли», «бледно-зеленые столбы воды» или «желтые гнезда окопов».

Глава четвертая

1967–1969: САМОЛЕТ ГАГАРИНА

Как стал жить пенсионер в своей станице, далеко от бурной на литературные страсти столицы?

Шолохов, помимо всего прочего, когда был избран секретарем Союза писателей, согласился помогать работе с молодыми писателями.

Герой труда

1967 год выделялся двумя событиями. Какие там тихие пенсионные годы...

Однажды телефонный звонок — утренний, из ЦК. Изумленно слушает — вам присвоено звание Героя Социалистического Труда! Читайте сегодняшнюю «Правду». И совет: надо бы поблагодарить Леонида Ильича Брежнева.

Не стал звонить в Кремль.

Май. Еще разговор с Москвой — с первым секретарем ЦК комсомола. Упрашивает принять группу молодых писателей. Дал согласие.

И скоро в Вёшенской уже едва ли не полусотня молодых гениев, жаждущих общения с классиком. Свой брат, прозаики, поэты тоже, несколько зарубежных гостей — посланцы молодежных организаций социалистических стран, начальство из московских комсомольских изданий, из «Молодой гвардии» тоже, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, один из секретарей Союза писателей. И Юрий Гагарин!

Зачем сидеть в душных помещениях? Шолохов скомандовал: «На природу!» В дубовой пристаничной роще началась беседа.

Потом пригласил на Дон, подальше от станичных любопытников. Ехали автобусами через хутор Елань. Шолохов с Гагариным в открытом для солнца, ветра и пыли газике. Гость вызвался «порулить». Шолохов ему: «Ну что, космонавт, поехали! Трогай...» Поехали — дорогу только успевай показывать. На хуторском майдане он притормозил — их встречали. Машину окружили. Первой подала голос старушка — обратилась к Шолохову: «Михалыч, говорят приедет Гагарин. С утра ждем...» Шофер отозвался: «Так это же я, мамаша». И в самом деле: поди, угадай, если он в простеньком «штатском» одеянии — даже куртка нараспашку.

Первый день — первые напутствия. Начал так:

— Будем заботливы и доброжелательны, строги, требовательны и откровенны друг с другом. Литература не терпит похлопывания по плечу. Я не буду говорить, что вы талантливы и что с вами надо нянчиться... Со мной никто не нянчился...

Вдруг обратился к Гагарину:

— Хорошо бы послушать Юрия Алексеевича.

Тот по внезапности засмутился:

— Мне, рядовому читателю, хотелось бы послушать специалистов.

— Видали его, — с лукавинкой не отступался Шолохов, — попади такому «рядовому» на зубок... Рядовой... Земной шар в шарик превратил.

— Да нет... Это я серьезно, Михаил Александрович. Так вот, скажу как читатель. Я хочу, чтобы в литературе было больше свежих мыслей. Скучно читать, если написано заскорузло и несмело... Бескрылые книги рождаются легко, почти по инкубаторскому способу. Слов много, а смысла нет. В таких книгах не увидишь нашей современной жизни... Я люблю читать. Люблю книги, которые вызывают раздумья, будоражат разум и сердце...

Всем — Шолохову тоже — понравилось, что почетный гость говорил не по-протоальному.

Перед обедом молодые гении разбрелись по побережью. Шолохов подходил то к одним, то к другим.

Вдруг переполох на берегу — хозяин едва ли не бегом туда. Из Дона на берег ковылял космонавт с окровавленной ногой — кинулся за футбольным мячом в реку и располосовал пятку об острую ракушку.

— Ну, Юрий, не можешь не отметить...

— А как же, Михаил Александрович, Дон! Нельзя не отметить!

С утра в Вёшках продолжение. Хозяин делился воспоминаниями, как работал над концовкой «Тихого Дона», как складывалась вторая книга «Целины», как возник замысел военного романа. И такие темы распаковывал: моральный облик художника, злободневность в литературе, какая у кого творческая лаборатория.

Ему вспомнилось к случаю:

— Была у нас в молодости хорошая традиция. Собирались близкие мне люди, но люди разных профессий. Писатели, критики, инженеры, драматурги, военные. Просиживали до третьих петухов — спорили о том, что написано. Я читал первые главы «Поднятой целины». Они высказывались. Дружеская и острая критика помогала...

Ему вдруг такой вопрос: «Что есть свобода творчества?» Что же

ответит тот, кто сохранил ее — пусть и в шрамах — вопреки единовластному партийному руководству при помощи госцензуры?

— Высшая свобода — это ничем не стесненная свобода служить трудовому народу, коммунизму. Свобода писать — и у молодых, и старых — одна: это свобода внутренней совести. Писатель сам должен решать, что написать.

Еретик! Будто не знал, что ЦК на всех съездах — партийных и писательских — неотступно призывал продолжать традицию исполнения социального заказа.

Но было продолжение — политизированное:

— Надо помнить народную мудрость: если враг тебя хвалит, значит, ты наделал много глупостей. Надо писать так, чтобы хвалили не враги, а свой народ...

...Гагарин и Шолохов. Участник встречи молодой тогда поэт Геннадий Серебряков рассказывал мне:

— С первого дня они были вместе... И поздними вечерами они подолгу стояли на крутояре, где под луной светилась, как казачий клинок, отливая черным серебром, излучина Дона.

Космонавту предстоял отъезд на станичный аэродромчик: вызвали в Москву. Шолохов подошел:

— Ты уж побереги себя, Юра... Помни — ты нам очень нужен... Всем нужен.

Космонавт — в машину, чтобы на аэродром, Шолохов с гостями — за работу.

И вдруг над домом самолетик «Морава». Взрывающийся крутой круг-вираж, один, второй, третий. Все, кто был у Шолохова, высыпали на крыльцо. И хозяин тоже. Самолетик покачал крыльями и ушел в синеву. Кто-то признался: «Гагарин, когда прощался, пообещал такой привет Шолохову — мол, уговорю летчиков допустить к штурвалу».

— Это был прощальный автограф, оставленный Гагариным в донском небе, — заключил Серебряков.

Никто из них — ни творец, ни космонавт — не забыл этой встречи.

«Я теперь уж просто не представляю, — говорил Шолохов, — что первым в космосе мог бы быть кто-то иной. Знания. Убеждения. Исторический человек! И при этом очень милый, обаятельный парень... Очень любит юмор... России повезло на такого человека! Ему повезло на такую родину...»

«Шолохов полон сердечности и дружелюбия, — говорил Гагарин. — Он располагает к себе с первой же фразы. Слушать его — огромная

радость. Слова у него свои, шолоховские, я бы сказал, всегда свежие, будто никогда их до этого ты не слышал. Я видел, как он беседовал с молодыми писателями. То с русскими. То с украинскими. То с киргизами. То с поляками... Уважительно беседовал. Слушаешь его и исчезает грань между Шолоховым и его книгами...»

...Если кому-то из молодых гостей посчастливилось заглянуть в рабочий кабинет хозяина, наверняка он запомнился. У окна массивный светло-коричневый стол и деревянное кресло — просторное, но простое, с чуть изогнутыми подлокотниками. На столе сразу бросается в глаза чернильный прибор с часами. Здесь же размещались пепельница, перекидной календарь, сигаретница в круглой банке, узорчатая болгарская шкатулка (тоже для сигарет), а еще в стальных доспехах рыцарь с закрытым забралом. Рядом круглый столик и два мягких кресла — для гостей-собеседников. На подоконнике живые цветы в глиняных горшочках. Камин с сувенирами. Два книжных шкафа.

***Дополнение.** Шолохова и в старости беспокоило — каким должен быть современный писатель. Приведу три свидетельства из многих.*

Как-то у него спросили:

— Что нужно сделать, чтобы остановить серый поток литературы, чтобы вкусы читателей воспитывала не малохудожественная, скажем, детективная литература?

— Джинн, похоже, выпущен из бутылки. И серьезным писателям придется немало поработать, чтобы посадить джинна на место. Всякий уважающий себя литератор обязан думать не о сиюминутном личном успехе...

Из письма: «Должен тебя огорчить. Две твоих последних книги производят гнетущее впечатление. Нельзя так писать! Печешь ты их, как исправная баба блины. Ну, деньгу шибаешь в угоду своей рачительной хозяйки, а дальше? Литературе-то что от этого прибавится? По моему мнению, разговор о творчестве молодых назревает и будет жесток и беспощаден...»

Из высказываний: «Лев Толстой создал „Войну и мир“ значительно позже после того, как произошла Отечественная война. У меня есть надежда, что новые писатели, которые придут после нас, еще вернутся к этой теме — теме минувшей войны. И создадут подлинно эпохальные произведения...»

Высказался с укоризной: «Молодые писатели... Порой не хотят или не умеют на свою работу посмотреть с высот народных судеб... Нужно

характеры соразмерять с эпохой, с жизнью народа... Больше гражданского мужества, смелости...»

Снова молодые: о Стейнбеке

1969 год. Он для молодых писателей выдался щедрым на подарки от Шолохова. Дважды им представилась возможность для обширных общений с человеком, который уже при жизни стал классиком.

30 марта: открытие очередного — пятого — Всесоюзного совещания молодых писателей. Появилась после войны такая славная традиция — собирать в Москве талантливо заявивших о себе молодых поэтов, прозаиков, драматургов из каждой республики. Для участия в семинарах, которыми руководили лучшие писатели. И в то же время для общения друг с другом и для знакомства с редакциями газет, журналов, с издателями. Тем, кто получил доброе напутствие, открывались и двери для приема в Союз писателей, и издательские врата (прежде всего молодогвардейские: поначалу выпускался коллективный сборник, затем и самостоятельные издания).

Открытие совещания... Вся писательская гвардия приглашена. Шолохова, однако, нет. Разнеслось, что в Москве, но приболел. Вдруг из штаба совещания донесся слух — звонил и приглашал к себе на московскую квартиру небольшую группу. Захожу в этот самый штаб. Подтвердился слух. Шолохов позвал — любопытная примета — и трех издателей: Ю. Мелентьева, хотя он уже перешел на другую работу, нового директора «Молодой гвардии» и меня.

Поначалу гости выглядели изрядно оробевшими. Хозяин, однако, быстро расположил всех к непринужденному разговору. Как ему это удалось? Уверен, что расположил неподдельной открытостью, а еще тем, что при всей его сдержанности не очень-то скрывал удовлетворения от прихода такой многоцветной делегации. У него в гостиной за столом собрались и москвичи, и красавица-таджичка, и сахалинец, и уральцы, и калининградец. На память ему подарили таджикскую тубетейку и самобытные меховые рукоделия с Дальнего Востока.

Только вся эта подарочная церемония никак не сказалась на его отношении к главному в общении. Как все сразу уловили, он не собирался устраивать чествований и не заигрывал с молодежью. Был строг в оценках, но без жесткости и без глумления. И никакой наставительности. Мэтром не выглядел. После знакомства без всяких зряшных предисловий произнес:

— Мне говорили о том, что на совещании спорят о ранней профессионализации молодых — хорошо это или плохо. Бросать ли свою основную работу после появления в печати первого рассказа и стихов и надеяться жить на гонорар, или нет?..

Дальше интересно получилось — стал делиться, как показалось, совсем иным:

— Знаю одного журналиста, который наплодил три или четыре книжки. Но... плохих! Он над собой совсем не работал. Я знаю многих таких писателей, особенно в провинции. Это трагедия. Такой писатель за заработком спешит... Но в таком случае в литературе получиться при всем желании ничего не может. В местном издательстве такой писатель свой человек — отчего ему не порадеть. Да, гляди, и редактор плохой попадется.

Уход от темы привел, оказывается, к разговору об истинном служении литературе. Говорил не по говоренному-отрепетированному, а будто здесь — в общении — развивал тему.

Вспомнил Чехова: «Вы, догадываюсь, любите Чехова. Как же его не ценить?! Так напомним, только не наизусть, его признание: „Медицина моя жена, литература — любовница“».

Дальше рассказал о вхождении в писательство одного давнего своего знакомого:

— Не забуду, как Горький, Всеволод Иванов, Бабель много правили, редактировали его рукописи. Потом Горький сказал ему: «До каких пор вас править будут?! Сколько еще можно ездить на чужом горбу?!»

Еще записи из моего блокнота:

— Я не привержен одной стилевой манере. Одним стилем писались рассказы, другим «Тихий Дон». Повествование широкое, оно потребовало другого стиля. Хотя, понятно, много общего.

— Писатель должен болеть своим делом — литературой. Если болен ею — значит, талантлив.

— Надо быть самостоятельным во взглядах. Пойдешь в зятя, кошку «на вы» называть будешь.

— Я, будучи в Швеции, познакомился со Стейнбеком. Ему передали мое приглашение зайти в гости. Но он, как мне рассказали, постеснялся зайти. Я тогда к нему пришел. В разговоре среди иного прочего спросил у него: «Знаком с Хемингуэем?» Отвечает: «Знаком». Еще спросил: «Встречаешься с ним?» — «Нет, — говорит, — один только раз».

— Может, мы у себя в стране и слишком часто встречаемся на всяких там писательских совещаниях. Но и совсем не встречаться плохо. Без общения нельзя.

— У меня часто спрашивают: «Почему не пишете о своих зарубежных поездках?» Отвечаю так: «Это мне ни к чему. Чтобы написать такую книгу, надо жить в этой стране, много знать о ней». Да, только что приехал из Финляндии. Но ничего писать не буду. Пусть Геннадий Фиш пишет, ему и карты в руки (автор книг о Финляндии. — В. О.).

— Я в претензии на Евгения Евтушенко за тот стих, где он рассказал о забитых окнах в брошенной деревне. Нет, не потому, что нет таких деревень и нет такого явления. Это и у нас, на Дону, происходит. Однако ж он не уловил разницы в положении крестьянина у нас и в буржуазных странах.

— В наши литературные дела очень любят влезать без спроса зарубежные советчики. Эти непрошеные «доброжелатели» хватаются за любое произведение, было бы оно с душком. Таким нельзя давать палец в рот — откусят по локоть. Заигрывать с такими непрошеными «друзьями» — это все равно что снять с орудия замок и сбежать с передовой...

Высказался о том, как понимает тему «писатель и время». Так сказал — зло — о быстрых сочинителях-конъюнктурщиках: «Новая домна — новая книга!»

Почти два часа длилась встреча. В конце ему передали Памятную книгу совещания и попросили что-нибудь написать. Он уважил, хотя написал на первый взгляд совсем не многое: «Рад успеху совещания! Как всегда желаю молодым свершений, дерзаний и — успеха неизмеримо большего, чем на этом совещании». Только дома, после того как перечитал свои записи, уразумел, как емко сверхкраткое пожелание. Он не стал возносить совещание — преодолел неизбежно праздничное настроение. Ушел от похвал гостям, преодолевая опять же праздничную предрасположенность возвеличивать всего-то первые шаги в литературе. Он «вколотил» в молодое сознание мысль: это только будущая работа — в дерзаниях! — определит успех. Так я понял — пространно — суть всего двух строк шолоховского напутствия. И не было оно высокопарным — не для декламаций на всяких там литературных торжествах.

Еще одну просьбу он выполнил. Подписал свои книги как подарок библиотеке одной дальневосточной, на границе с Китаем, погранзаставе. Многие маститые писатели откликнулись на призыв совещания собрать для нее книги. Непокойно там было в тот год: стреляли и гибли люди.

Когда уже прощались, я заметил на диване раскрытую книгу — записки Пржевальского.

...Осенью непреодолим для Шолохова зов скрыться от «цивилизации» на Урале. Зовет, зовет Братанов Яр. Старый приятель Шолоховых —

писатель из тех казахстанских мест — Николай Корсунов приметлив оказался на то, как жилось здесь гостю.

Приехал поприветствовать, а Шолоховых — нет. Где? На реке. Увидел в подплывающей бударе писателя за веслами со скрипучими уключинами, а Марию Петровну рулевой на корме. Довольнехоньки — с добычей возвращались, на днище, в плескающейся воде, бились хвостами с десятков крупных окуней.

Но была и другая «добыча» — исцеляющие душу впечатления от дикой природы.

— Сидим мы с Марией Петровной в лодке, а на берегу гусиное семейство. Купается... Взрослые и дюжина гусят. Столько шума, брызг, ныряния! Потом вылезли на бережок и буквально легли все на солнце. До того укупались, что и крылышки, и лапки, и головы — все вразброс, уснули до единого. Ну прямо, как ребятишки, — рассказал он гостю и беззаботно засмеялся.

Мемуарист вспоминал — комарье неистовствовало. Кто-то, измаявшись, давай искать отпугивающую мазь. Шолохов вмешался:

— Не люблю мазаться. От мази лицо жирное — дотронуться противно. Пржевальский писал, что от комаров одно средство — терпение.

Увлёкся и отвлекся от комаров:

— Интересный был человек. Третий раз с удовольствием перечитываю. Всю жизнь путешествовал, искал и почти в пятьдесят лет нашел себе даму сердца и... умер. Жизнь такая штука.

Подумал, подумал, и пошли краткие профессиональные сопутствия:

— Сложная штука — писать просто...

— Профессия у нас такая: писать и переделывать...

Его уговорили приехать в областной центр для встречи с читателями. Как всегда, забросали записками. Корсунов сохранил некоторые. Чего только в них не было! Даже такое: «Какую рыбалку предпочитаете: удочками или неводом?», «Как Вы стали писателем? У Ньютона было яблоко. А у Вас?», «Что Вы больше любите: футбол или кино? За какую команду болеете?»

Одну записку — каверзную — выделил и прокомментировал всего двумя словами так, что вызвал у слушателей неописуемый всплеск чувств:

— Здесь мне пишут: «Как вы относитесь к образу Лушки? Мой учитель по литературе говорит, что Лушку надо принимать с отвращением. А мне она нравится». Мне — тоже!

Дополнение. В Китае ретивые маоисты занялись определением

места Шолохова в литературе.

1966 год. Жена Мао Цзэдуна провозгласила: «Борьба с иностранным ревизионизмом в области литературы и искусств... Надо взяться за крупные фигуры, за Шолохова, надо смело схватываться с ним. Он зачинатель ревизионистской литературы...» Главная партийная газета «Женьминь Жибао» дает статью «Разоблачим контрреволюционное лицо Шолохова».

Чем же не устраивал? Оказывается, он «смертельный враг диктатуры пролетариата... Верный последователь Бухарина... Предатель народной революционной войны...».

Отмечу: нынешний Китай вновь почитает Шолохова — много переиздается его произведений, вышло даже собрание сочинений, выпускают российские книги о Шолохове. Там вышла и моя «Тайная жизнь Михаила Шолохова... Документальная хроника без легенд».

Глава пятая

1970-е: «РАЗЪЯСНИТЬ Т. ШОЛОХОВУ...»

Снова Шолохову дан повод — задуматься над участием творца в сложной системе взаимоотношений верхушки партии с деятелями культуры.

Входило в жизнь новое десятилетие — 70-е годы. Писатель в нем и новый, и прежний.

Отважное интервью

Усложнилась жизнь: сказываются два инсульта (по счастью, умеренные) и обнаружился диабет (ничуть не сладкая болезнь). Но идет, идет череда самых разных забот.

...В начале года письмо из Вёшек секретарю парткома «Правды»: «В „Правде“ более 25 лет работал Потапов К. В. Сейчас он тяжело болен. Лежит дома один, „позабыт и позаброшен“. Надо бы как-то позаботиться о нем...»

Это он хлопочет о том, кто после войны изуродовал «Тихий Дон».

Вспомнились казахстанские друзья. В феврале шлет весточку: «Мы с Марией Петровной успели в январе отлежать месяц в больнице, прошли „текущий ремонт“ и теперь готовы на охотничьи и рыбальские подвиги. Но предварительно готовы принять у себя дорогих гостей-уральцев...» Новое им письмо — все уговаривает погостевать: «Поживете у нас недельку без суеты и шума...»

Однажды утром сказал Марии Петровне:

— Знаешь, я видел сон. Молодость... Целую тебя, Маруся, а щеки твои такие сладкие...

Домашние заметили что-то необычное в его поведении — стал он заходить в те две комнаты, где вырастали дети. Но что влекло — ведь не рассматривать же простые деревянные кровати для девочек и мальчишечью железную, как он говаривал, двухспалку или школярские столы в чернильных кляксах.

По весне уступил нажиму работника «Комсомольской правды» Арсения Ларионова и дал большое интервью. Журналист подготовил многие острые для того времени вопросы. Шолохов не отверг их, хотя, как

понял Ларионов, не мог быть откровенным до конца.

«И новые молодые люди романтики! Дайте только подуть на них ветру борьбы, и улетает пепел обыденности...» Это из ответа на вопрос о современной молодежи.

«Помню первые станичные проводы на фронт... Помню слезы... Первый митинг... Родина в опасности — есть ли чувство более тревожное?! И помню станичников, собиравшихся на войну без суеты, по-крестьянски деловито. Вот она — одна из лучших черт русского народа: всегдашняя и скорая готовность к защите родины...» Это из ответа на вопрос, помнил ли свой первый военный репортаж.

«Мне, безусловно, придется хотя бы вскользь касаться работы Ставки. Я полностью придерживаюсь точки зрения на этот вопрос маршала Жукова. Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина...» Это на вопрос, будет ли в новом романе писать о большой стратегии. Возмущался потом, что редакционное начальство вычеркнуло коренное в этой теме утверждение: «Не может победить Армия, руководимая бездарным или просто неспособным Верховным Главнокомандующим».

«Горький заразил нас, молодых писателей, мыслью создать литературу, которая станет частью общепролетарского дела. И мы самозабвенно, до жестоких споров между собой искали новые пути в литературе, новые формы...» Вспомнил и о том, как Горький «бранил нас за „плохие писания“». Это на вопрос о первых своих шагах в литературе.

Пошла речь о современной литературе. На вопрос о писательской молодежи ответил: «Люблю и понимаю ее излишнюю подчас горячность, заносчивость... Смотрю на молодежь с надеждой, как на яблоню в цвету, когда ждешь первых плодов... Что же касается критики молодых писателей, то тут должны быть проявлены и отцовская требовательность, и заботливость, чтобы не подмять новый росток, дать ему взойти, вызреть».

Посоветовал и партвласти, и литначальству, и журналистам, как надо бы относиться к молодым писателям: «Надо бы поостроже... Без натяжек и неоправданного желания во что бы то ни стало и среди ныне живущих обязательно разыскивать классика».

«Не могу похвастаться особенно дружественными отношениями, — отвечал он на вопрос об отношении к литературной критике. — Но правило у меня одно и давнее. Если критика не предвзята, не подчинена какой-либо групповой цели, — кто же против нее будет возражать».

«Не вижу оснований к тому, чтобы снижать требовательность к себе или другим — и молодым, и молодящимся... Прежнее мое желание, — чтобы меньше было претенциозности, зазнайства...»

Не мог не коснуться и злобы дня: «Русский народ от богатств, что ли, своих был всегда недостаточно внимателен к бережному сохранению лесов, морей, рек... Мы привыкли, что у нас всего много. Видно, забыли, что не все вечно. Но вот наступили времена, когда кое-где начинает исчезать рыба, мелеют и загрязняются реки, есть уже такие, что в них искупаться летом опасно...» Дальше прямое предостережение: «Очевидно, настала пора остановиться».

Почему-то забыто, что он был в числе самых первых, кто разглядел опаснейшее сползание страны в эту всеобщую беду.

1971 год — XXIV съезд партии. Здесь последнее его адресное выступление для партии. Предъявил счет тем, кто отвечает за бумажную промышленность: «Бумаги нам дайте больше! Бумаги! Сверх плана... и качеством получше».

Уж никто, верно, и не помнил, как он выступал с тем же еще в 1939 году, на первом для себя партсъезде, в присутствии Сталина.

Не воспользовались вожди советами писателя. Сколько же времени упущено!

Брежнев — Шолохов... Писатель относился к генсеку без особого почтения: то отправит письмо с поддержкой, то выскажется пренебрежительно, а то и уничтожительно.

...Знакомлю Шолохова с приятелем-издателем Десятериком, по имени и отчеству Владимир Ильич. Писатель тут же в лукавинку — и не сробел, что перед ним незнакомец: «Смени имя на Леонида... если хочешь звезду на грудь». Вот как он поддел руководителя партии и страны, который обильно украшал свою грудь орденами, звездами Героя Труда и лауреатскими медалями.

Или такой прелюбопытный шолоховский рассказ, в коем сполна отразился строптивый характер: «Звонок междугородный — Москва. Мне говорят: „Сейчас с вами будет говорить Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев!“ После такого вступления стало во мне что-то закипать... Через секунду-другую слышу в трубке: „Михаил Александрович, здравствуйте! Я решил заехать к вам, в Вёшенскую. Побывать у вас в гостях. Вы не будете возражать?“ А мне как можно возражать?! Попробуй возразить... Я и говорю очень вежливо: „Дорогой Леонид Ильич, как же вы к нам приедете, если у нас в этом году с урожаем на Дону не вышло. Нет у нас урожая“. Слышу — молчит. Потом говорит: „До свидания, Михаил Александрович...“» Шолохов каверзно улыбнулся. Ему явно приятно вспомнить об опасном поединке. Он сощурился и произнес: «Так ведь и не приехал».

Брежнев частенько становился шлагбаумом на жизненном пути Шолохова. Даже в таком простом сюжете, когда дочь премьера правительства Косыгина обратилась к Марии Петровне: «Уговорите Михаила Александровича поехать с моим отцом на отдых. Папа мечтает о таком общении. С ним он хоть душу отведет после смерти мамы. Он очень хотел приехать в отпуск в Вёшенскую, но врачи не разрешают — здесь жара. Ему лучше всего в Прибалтике».

Шолохов со скорым ответом: «Не получится отдыхать — мне надо писать». Мария Петровна с попреком: «Но что о тебе могут подумать? Зазнался!» Он давай разъяснять — обстоятельно:

— Косыгин не знает, что я отказал Брежневу в приезде. Это могут расценить, что от предложения Брежнева отказался, а с Косыгиным на отдых поехал. Чего доброго, какой-нибудь сговор припишут.

Все чаще стал высказывать недовольство Брежневым. И за то, что тщеславен, позволяя безудержные похвалы своей персоне. И за то, что поощряет культ бахвальств. В мае у депутата Шолохова — очередная встреча с избирателями. Перед самым выходом в зал вдруг разразился гневным монологом среди большой группы районного партначальства:

— Чинопочитание и непогрешимость старшего по чину стало нормой: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Тянут друг друга по карьерной лестнице и не замечают, что народ не с ними. Заседают, совещаются, друг друга учат, накачивают... А до того, что люди говорят, им дела нет... Шумиха от начальства одна за другой: взяли повышенные обязательства — мол, мой район, моя область даст хлеба, мяса... А на тех, кто на самом деле дает, — внимания не обращают.

Подытожил: «Ко мне идут жалобы со всех концов страны».

Однако на трибуну с этим не пошел. По дороге домой оправдывался:

— Надо знать, где и что говорить. Критиковать за глаза — не в моей манере. Это не съезд партии. Выскажу все это наболевшее Брежневу.

Жизнь наполнилась не только кипением политических страстей. В июле московский художник Борис Щербаков вознамерился показать Шолохову свои вёшенские пейзажи. Начитался Шолохова и влюбился в эти места. Вёшенец, не очень-то настроенный на просмотр, взглянул на одну картину, другую и в конце благодарственно пожал руку и неожиданно сказал: «Впервые глазами художника я увидел свою донскую природу...» Художник было принялся что-то комментировать, но писатель прервал: «Ты все уже сказал, когда показал свои десять картин».

...Ему подарили чучело головы сохатого с огромно-размашистыми рогами-лопастями. Кто-то спросил: «Ваша добыча?» Ответил: «Нет. Не мог

бы завалить такого большого, красивого... Это уже не охота, а... вроде как в корову выстрелить».

Совет Брежнева и исповедь Шукшина

1974-й. Год-то как начинался — 11 января золотая свадьба. Юбиляры-«молодожены» решили отпраздновать ее почему-то в Москве, на своей московской квартире. Шолохов по своим депутатским делам зашел в ЦК и вдруг случился разговор:

— Что же это вы, Михаил Александрович, Леонида Ильича Брежнева не пригласите?

— Хотели семейно отметить...

— Леонид Ильич о юбилее знает и ждет приглашения. Позвоните — он сейчас дома.

Пришлось звонить. Прелюбопытный состоялся разговор:

— Алло! Дорогой полковник, здравствуй! Не в худой час Шолохов...

— Слышу и знаю, что ты меня иначе и не называешь.

— Для кого ты генерал и генсек, а для меня дороже полковника нет...

— Ну, что же молчишь, приглашать на свадьбу будешь?

— У меня в квартире стол вроде того фронтового...

— Много гостей будет?

— Своих человек шестнадцать, а всего, видимо, двадцать пять.

— Берите зал. Управление делами ЦК поможет. Там лучше будет. Там искусные повара, официанты, все обойдется без домашних забот.

— Тронут вниманием. И прошу принять приглашение ко мне с супругой.

— Кого еще пригласишь?

— Своих и из вашего аппарата думаю человек шесть... Косыгина с домочадцами.

— Компания подходящая. Приглашение принимаю. Но тебе говорили, что я под эгидой врачей? Попробую их уговорить.

Шолохов тут же к Марии Петровне:

— Дело принимает глобальный размах!

Брежнев не приехал. Вместо него прибыли гонцы с цветами, папкой с приветствием и с подарками: ему — золотые часы с цепочкой, а Марии Петровне — с золотым браслетом. Шолохов сетовал: «Я из-за него не всех пригласил». И тут же уточнил: «Он нас бы сковывал...»

...Давний побратим по двум фильмам Сергей Бондарчук взялся

экранизировать «Они сражались за родину» — давняя мечта.

Для этого истинно гвардейскую роту призвал в свои ряды — лучшие артисты того времени: Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Василий Шукшин... Даже на эпизодические роли дали согласие знаменитости — Ангелина Степанова (Шолохов помнил ее супругой Фадеева), Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Лидия Федосеева, Николай Губенко, Георгий Бурков, Иннокентий Смоктуновский (он так увлекся Шолоховым, что спустя годы прочитал по радио всю «Поднятую целину»). Сочинять музыку к фильму взялся совсем молодой композитор Вячеслав Овчинников — Бондарчук рассказывал: «Я давно поверил в него. Он симфонист и тонко чувствует литературную эпiku. Мы с ним работали над фильмами „Война и мир“ и „Степью“ Чехова». Шолохов недоумевал, почему был приглашен клоун-циркач Никулин. Но успокоился, когда узнал, что тот уже попробовал себя в драматической роли. Еще выделил, что медсестрой в фильме стала школьница.

Шолохов доверял Бондарчуку. Подарил ему «Тихий Дон» с драгоценным посвящением: «Всеобъемлющему Бондарчуку. Сереже дай Боже...»

В мае кинодесант высадился на Дону. Жили на теплоходе «Дунай» — до осени. Рядом станица Клетская. И степь, степь... Режиссер, настраивая себя и оператора, читал из романа: «Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянувшей полыни будил неосознанную грусть...» Рылись для съемок окопчики... Станичники не сразу привыкали к взрывам... Ревели «всамделишные» танки...

Шолохов напросился приехать на «театр кино-военных действий» — посмотреть на съемки. Насмотрелся и в предчувствии предстоящих сложностей — цензурных! — заявил:

— Вас там могут сбивать разного рода консультанты, особенно военные. Будут «окультуривать». Не поддавайтесь. Если уж кто будет давить на вас, разрешаю обращаться — звонком, письмом, а то приезжайте. Помогу.

Выделил Шукшина — ведь коллега-писатель и уже прочно увлек страну своими истинно русскими рассказами и повестями. Знал и то, что для него это далеко не первый фильм, и то, что талантлив не только как актер. В титрах отличных фильмов уже не раз значился как сценарист и режиссер.

Кто-то из киношников запечатлел на пленке, как писатель и артист расцеловались.

Через месяц Бондарчук убедился, что нужна новая встреча с писателем

для творческой подзарядки его самого и заглавных артистов.

Пришли в восемь утра. Шолохов увидел Никулина и даже хмыкнул — артист пожаловал в киношной гимнастерке. И тут же доказал, что нет ему равных как анекдотчику. Шолохов потом вспоминал о нем: «Веселый мужик, общительный».

Режиссер давай показывать фотографии со съемок.

Писатель, однако, о другом:

— В фильме должно быть поменьше разговоров. Больше действий. И таких, чтобы они заставляли зрителя почувствовать, понять величайшую народную трагедию. Вместе с тем вселять полную уверенность, что советского солдата, народ никому никогда не победить. Тяжкая картина отступления, но вместе с тем победа.

Убеждал:

— Недостаточно одного правдивого показа войны... Идея, ради которой сражались. Воюют не просто народы, армии, солдаты и генералы. Сражаются идеи...

И тут же вопрос: сумеют ли артисты донести горькую правду до зрителя?

Бондарчук ответил:

— Сумеют. Вживаются в героев глубоко и проникновенно.

Еще реплика: «Не допустите фальши!»

Еще пожелание: «Солдат в окопе — так крупным планом. Со всеми деталями фронтового быта... Вот что нужно...»

О Бондарчуке в роли Звягинцева высказался: «Подходит».

Пришел час обеда. Шукшин присоседился к хозяину. У всех отличное настроение — вроде бы почувствовали себя побратимами. И пошли всеобщие разговоры. Только Шукшин молчал. Это все потом отмечали. И ни разу не потянулся к рюмке — не соблазнился ни французским коньяком, ни домашней малиновой настойкой.

Когда гости покинули дом, Шолохов живо отозвался о Шукшине: «Хорош будет в роли Лопахина! Чалдон, настоящий чалдон...»

Не зря «чалдон» молчал. Поразил вёшенец его тонкую душу. Встреча отзовется большим разговором о Шолохове в сентябре, когда до остановки сердца Шукшина на донской же земле — там еще шли съемки — останется меньше месяца. Много чего неожиданного надиктовал Шукшин одному московскому журналисту — очень возбужденно и, видно, потому не стеснялся внезапных исповедных чувств. Вот несколько отрывков:

— Как я вижу Шолохова теперь? Я тут сказал бы про свое собственное, что ли, открытие Шолохова. Я его немножко упрощал, из

Москвы глядя. Скажем так: упрощение шло из устной информации, которая исходила с разных сторон. А при личном общении я еще раз убедился, что это — явление...

— Для меня нарисовался облик летописца...

— Когда я вышел от него, прежде всего, в чем я поклялся, это: надо работать. Работать надо в десять раз больше...

— Вот еще что, пожалуй, я вынес: не проиграй — жизнь-то одна. Смотри, не заигрывайся...

— Я просто заразился образом жизни Шолохова. Ей-богу, мне так это понравилось: сидит в станице и мыслит.

Потом поделился своим профессиональным восприятием прозы Шолохова:

— Она очень жизненная, правдивая. Отсюда ее легко играть, произносить, читать. А как актер я знаю, что такое произносить не свои, чужие слова. Чем они искусственнее, тем несправедливее и нежизненнее...

— Проза Шолохова — это проза Шолохова. Ее всегда легко работать. Может быть, я сейчас не так сказал... Есть, появляется радость от общения с правдой. У Шолохова все по-народному точно.

— Вот солдат Лопухин... Очень народный характер. Он ведь, хотя и должен подставлять грудь и спину железу, падающему с неба, остается, пока жив, живым человеком. Случилась бабенка на пути, попытался ее приобнять. И так далее...

В этой беседе 45-летний Шукшин впервые высказал публично, что под влиянием Шолохова к нему пришла необходимость решительного выбора: или кино, или литература. Сказал, что — литература.

Смерть Василия Шукшина потрясла всю страну. Но тут потребовался и авторитет Шолохова. Писатель Василий Белов отправил в Вёшенскую отчаянную телеграмму — предпохоронную: «На московской земле не нашлось места для Шукшина. Необходимо Ваше вмешательство». Это о том, что московская власть поначалу отказала всенародному любимцу в упокоении на Новодевичьем кладбище. Странно, но факт — телеграмму Шолохову не доставили.

К авторитету Шолохова вынужден был прибегнуть и режиссер Бондарчук. В его воспоминаниях можно прочитать: «После окончания фильма была его приемка. В Генштабе, где смотрели и обсуждали фильм под председательством маршала Гречко (к тому же министра обороны. — В. О.). Мне досталось. Я был в предынфарктном состоянии. Картину не приняли. Позже все наладилось. Во многом помог Михаил Александрович Шолохов».

О врагах — речь к юбилею

Особый год подступал — 1975-й. Он напоминал о грядущем 70-летию писателя.

...Семейное новогоднее застолье. Хозяин с тостом. Он вычислил интересную дату:

— Год, в который мы вступаем, несет нам тридцатую годовщину мирного труда без войны. Такой паузы между войнами Россия еще никогда не имела.

Все чаще в райкоме идут разговоры, что надо готовиться к юбилею своего знатного земляка. Первый секретарь райкома признался ему — мол, требуют дать о вас статью для одной газеты и еще одну для другой. Он в ответ со своей не исчезнувшей с годами лукавинкой:

— Для подхалимства один раз можно выступить, и не больше.

Привел «аргумент»:

— Поздравительная и всякая иная хвалебная трескотня вокруг Брежнева везде и всеми не укрепляет его достоинство, а умаляет в глазах советского человека и вызывает ехидное хихиканье за рубежом, дает ненужную пищу антикоммунистам и антисоветчикам всех мастей.

Видать, был подогрет письмами от избирателей и читателей с этой трагикомической тогда темой.

Прочитал подаренную книгу о попавшем со времен Сталина в полное забвение партийном и государственном деятеле Николае Вознесенском. И с осуждением сказал о партцензуре:

— Концовки нет. Вознесенского посадили и расстреляли, а тут об этом ни слова. Боятся правды!

Жизнь шла своей шолоховской чередой.

Вот к нему с предложением — к юбилею провести ремонт дома. Воспротивился. Правда, позже все-таки сдался — но на условиях почетной капитуляции: «Уж если так пристаёте, делайте снаружи и на первом этаже. Наверху ничего не трогайте!»

Вот 27 января письмо председателю Совета Министров РСФСР Соломенцеву: «Дорогой Михаил Сергеевич! Строительство моста через Дон перенесено на неопределенный срок. Весной сообщение с внешним миром чрезвычайно осложняется тем, что аэродром, как ты, вероятно, помнишь, находится на Базковском бугре. Нам крайне необходим аэродром на левой стороне Дона. Пожалуйста, помоги нам. Как бывшие твои земляки, надеемся и верим в твое доброе отношение к нам».

Вот истинно скандал! Агентство печати «Новости» прислало своего полномочного гонца с заданием получить разрешение на фильм к юбилею — по заказу Финляндии и Западной Германии. Но последовал отказ да без права на обжалование:

— Эти страны уважаю. Но позировать не буду. Все съемки осточертели! Кого они из меня хотят сделать?! Я им не...

Явно был взвинчен только что узанным: «Тут один журналист, причем известный, прислал очерк с воспоминаниями обо мне. Все на свете переврал».

Издали сборник статей, очерков и воспоминаний «Шолохов». Он дал сборнику остроумную оценку в письме старому приятелю Анатолию Софронову: «Что касается последнего (выпуска книги. — В. О.), — то ты можешь с полным правом сказать, как твой предшественник Денис Давыдов: „Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова“. Сие для знающих означало — юбилейный сборник получился засушенно-официальным и слишком уж „правильным“».

...Шолоховы едут в Москву. В ЦК решено провести торжества в Большом театре. Уезжали с нелегким сердцем — скончался муж родной сестры Марии Петровны.

Потом еще два удара обрушились в самый канун юбилея.

17 мая Шолохов раздобыл и прочитал книгу «Бодался теленок с дубом» Солженицына, изданную в Париже; сколько же там грязи про него...

19 мая — микроинсульт головного мозга.

Счастье, что Мария Петровна вовремя заметила, как он неуверенно стал садиться на кровать.

— Что случилось?

— Ничего... не... случилось...

— Как не случилось?! Ты слова не выговариваешь и рот перекосило. Ложись, пожалуйста, полежи, перестань думать о своей писанине.

Счастье, что сразу подоспели врачи.

На следующий день все вздохнули с облегчением — речь почти нормальная, рука окрепла и лицо снова без видимых искажений.

24 мая. ЦК сдержал слово — проведен юбилейный вечер. Величаво-державный президиум, доклад, пылкие речи-приветствия, пышный концерт...

Без Шолохова праздновали. Его увезли в больницу. Снова стало плохо. Он жаловался:

— Неважное дело — врачи запретили писать и читать. На черта мне

такая жизнь нужна! Надо ехать домой. Там все свои — здесь как в тюрьме.

Дела пошли на поправку, и «тюрьму» сменили как бы на «лагерь». Шолоховых перевозят в подмосковный правительственный санаторий. Мария Петровна неразлучна с мужем.

В конце месяца умирает сестра Марии Петровны. Вёшенцы решили скрыть от Шолоховых случившееся.

И вот, наконец, супругов выписывают из санатория и уже заказаны билеты. Дон ждет! Но снова давление у него подскочило до невероятного уровня. Врачи непреклонны — или больница, или хотя бы возврат в санаторий: «Надо наблюдаться!» Они выбрали санаторий.

...Подлечился. Возвращение. Звуки и запахи родного дома... Дети и внуки... Никакой озабоченности в глазах всех, кто встречал (предупреждены!) По-доброму огорошил секретарь — выложил 1250 юбилейных писем и телеграмм.

Хорошо дома-то. Да неожиданная беда — он не может подниматься на свой второй этаж, где кабинет и спальня, но и вниз переселяться не хочет. На носилки смотреть не мог — стыдился.

Стали встраивать лифт-подъемник. Несколько недель ушло. Когда его подключили, Шолохов придумал шуточный церемониал — почему бы не разрезать красную ленточку?

Только в конце октября он смог выходить из дому. Даже нашел силы встретиться с вёшенцами в Доме культуры. Они настойчиво пожелали — как же это не отметить «сообща» юбилей любимому одностаничнику!

...Изменился — очень. Писать нельзя — читать стал больше. Мария Петровна в роли библиотекаря поставляла ему то Пушкина, то Тютчева, то Гоголя, то Гюго и Мопассана, то Короленко... Все время рядом записки путешественника Пржевальского. Домашние приметили — втянулся в телепередачу «Клуб кинопутешественников»; остальное на телевидении не очень-то жаловал.

И читает-перечитывает мемуары маршала Жукова и немецкого генштабиста генерала Типпельскирха. Наверняка не оставляет мысль продолжать военный роман. Это почувствовалось даже в сердитом монологе, когда начитался газет и журналов в преддверии очередного Дня Победы:

— Нельзя замалчивать Сталина. Надо писать все: положительное и отрицательное. Там, где нужно сказать с добром, так с добром, а где и поругать. Сталин правил страной тридцать лет, и выбросить его из истории — это кощунство. Пусть в сложной его биографии разбираются наши потомки.

Однажды всех привел в изумление — предрек новую революцию. Его секретарь Андрей Афанасьевич Зимовнов с недоуменным вопросом:

— Как это может быть при социализме?

Домашние услышали в ответ:

— Социализм начали строить по Ленину. Потом сбились в спешке к коммунизму — через пень-колоду. Хвост вынут — нос воткнут. Посмотрите, что делается — производственные мощности строят, а не осваивают десятилетиями. Половина площадей не задействована, а лезут вширь — гигантомания одолела. Загубили общество...

Продолжил о державной власти:

— Ленина второго нет, а наши деятели думают, что умнее их на свете нет. Всеми и вся командуют... Народное терпение скоро кончится. Революцию начнут умные люди. Они у нас есть. И много.

Через несколько месяцев здоровье, как показалось врачам, окончательно восстановилось. Радости-то для всех!

Тут и приехал к нему в Вёшки давний добрый знакомец, финский писатель Марти Ларни. Шолохов полюбил его остроумный сатирический роман «Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле».

...Только после смерти отца младший сын узнал, что он готовился выступить на своем юбилейном вечере. Ах, если бы не болезнь! Это была бы во многом обвинительная речь. С обличением тех, кто породил клевету о плагиате. Но речь не прокурора, а творца с израненной душой.

У сына сохранилась одна страничка этой произнесенной речи. Он ее пока обнародовал лишь в малотиражных изданиях — потому перепечатаваю почти полностью, с незначительными сокращениями (отточия показывают это).

«Пришла пора подводить предварительные итоги творческой деятельности. Но за меня это уже сделали в своих статьях родные братья-писатели и дальние родственники, скажем, троюродные братья-критики. Так что за мною остается только слово от автора.

За 50 лет писательской жизни я нажил множество друзей-читателей и изрядное количество врагов.

Что же сказать о врагах? У них в арсенале старое, заржавленное оружие: клевета, ложь, злобные вымыслы. Бороться с ними трудно, да и стоит ли? Старая восточная поговорка гласит: „Собаки лают, а всадник едет своим путем“.

Как это выглядит в жизни, расскажу. Однажды, в далекой юности, по делам службы мне пришлось ехать верхом в одну из станиц Верхне-Донского округа. По пути лежала станица, которую надо было проехать. Я

припозднился и подъехал к ней в глухую полночь.

В степи была тишина. Только перепелиный бой да скрипучие голоса коростелей в низинах. А как только въехал на станичную улицу, из первой же подворотни выскочила собачонка и с лаем запрыгала вокруг коня. Из соседнего двора появилась вторая. С противоположной стороны улицы, из зажиточного поместья, махнули через забор сразу три лютых кобеля. Пока я проехал квартал, вокруг коня бесновались с разноголосым лаем уже штук двадцать собак...

Не думал я в ту ночь, что история с собаками повторится через несколько лет, только в другом варианте. В 1928 году, как только вышла первая книга „Тихого Дона“, послышался первый клеветнический взбред, а потом и пошло».

На этом непроизнесенная речь обрывалась — окончания не было. Но сын запечатлел некое продолжение. Через много лет он записал отцовы воспоминания, которые родились эхом от без него прошедшего юбилейного вечера.

Начал как будто без всякой связи с тем, ради чего заговорил:

— Помню, на открытии какого-то очередного, как теперь говорят, «форума» входят в зал Сталин, члены Политбюро. Зал, разумеется, встает и — «бурные, продолжительные...». Те неторопко проходят за стол президиума, но не садятся, тоже стоят все, хлопают. Они хлопают, мы хлопаем. Сталин уже и так и сяк, ручками эдак, заканчивать предлагает, приглашает садиться. А мы усердствуем. Ведь это же кому-то первому надо сесть. А как ты сядешь, когда все стоят. Надо — как все...

Продолжил с полным откровением:

— До сих пор ну до того же гадко вспоминать. Честное слово, недругу не пожелаешь в такое дурацкое положение попадать. Не знаю, сколько уж это продолжалось, мне показалось — вечность.

В этом месте стрелку на путях воспоминаний перекинул на себя:

— Так и в случае со мной. Один брехнет, другой, третий... Всяк подумает: а вступаться за него или лучше подождать, посмотреть, «как все».

Здесь и открылся:

— На меня ведь каких только чертей не валили. И белячок, дескать, Шолохов. И идеолог белого подполья на Дону. И не пролетарский-то он, и не крестьянский даже — певец сытого, зажиточного казачества, подкулачник. Купеческий сынок, на дочке бывшего атамана женат... А это тогда не просто так воспринималось. Когда о человеке хоть что-то похожее говорить начинали, ему, брат, в Петровку зябко, в Крещение жарко

становилось. Такого человека не то что защищать, а и подходить к нему чересчур близко не каждый отваживался.

Дальше, после такого мрачного путешествия в прошлое, — оправдавшееся предвидение:

— Надоело меня в белогвардейщине обвинять, стали — в кулачестве. Надоело в кулачестве — плагиат придумали. Надоест и плагиат, полезут в постель, бельишко ворошить...

***Дополнение.** Заключительные признания отца сыну, увы, и в самом деле пророческие. Мне довелось говорить об этом в своем докладе «О некоторых рецидивах рапповщины в шолоховедении» на научной конференции «Шолохов и русская литература» (2003): «В последние три года после обнаружения рукописи „Тихого Дона“ антишолоховщина мимикрировала. Не вышло с темой плагиата, так стали очернять Шолохова как личность. В СМИ идет девятый вал дискредитации его биографии. Есть стимул. Впереди 100-летие классика — так надо попытаться сбросить его с корабля современности». Далее привел немалый свод выдуманных «фактов».*

Письмо в защиту верующих

Однажды Шолохов в качестве депутата получил письмо-мольбу группы верующих с одного казачьего хутора — помогите открыть храм! Но избирательный округ не его, и посему был вынужден переслать это обращение избирателей своему старинному товарищу по литературе и тогда депутату Верховного Совета РСФСР Анатолию Калинину.

Мог бы просто вложить жалобу в конверт с казенной просьбой, учитывая антицерковный дух времени: прошу-де рассмотреть и ответить. Но в своем сопроводительном письме взял на себя ответственность — снабдил укоризной, пусть с юморком, но без экивоков: «Что же это Вы плохо работаете в области религиозной и почему Ваши избиратели обращаются ко мне? Почему до сих пор не открыли храм св. Иоанна Богослова?» Приметна своеобразная приписка на прощание: «Обнимаю Вас! Старый церковник и не менее старый Ваш друг М. Шолохов».

Однако же отчего вдруг именно такое обращение избирателей к Шолохову в пору полного пренебрежения к нуждам верующих?

...Шолохов и церковь. Если внимательнейше перечитать и «Тихий Дон», и «Поднятую целину», и военный рассказ «Судьба человека», можно

убедиться: Шолохов чист совестью своей перед православием. Домашние говорили мне, что он не был верующим. Однако же отринул призывы партии для пишущих — утверждать безбожие. Не согнулся под ударами двух оголтелых волн антирелигиозной политики — при Сталине, вплоть до конца 30-х годов, и во времена необузданного в атеизме Хрущева. Но ведь сколько писателей сочли во благо подчиниться.

...«Тихий Дон». Православная тема здесь в развитии. Первые краски — свадьба Мелехова: «Проводила к попу... Гундосый отец Виссарион... Угарно завоняло чадом потушенных свечей...» Еще штрих к теме — глава XV первой книги: «Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивающих тихонько девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории». Шолохову едва минуло 20 лет — он сотрудник комсомольских газет.

Но уже скоро начинает понимать — не для него богоборчество. Потому-то меняет палитру. Это заметно с тех страниц, где принялся живописать войну с германцами. По его, авторскому, велению мобилизованные казаки выслушивают от деда-ветерана: «Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйти — надо человеческую правду блюсть». И он — но ведь это тоже Шолохов-автор — достает тексты молитв. Кто-то подтрунил. Ему отклик от деда — от автора все-таки: «Ты, молодец, не веруешь, так молчи! — строго перебил его дед. — Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!» (Кн. 3, ч. 6, гл. XXXIX).

Гражданская война в романе... Романист — повзрослевший — осмелился завершить сцену казни Валета белыми столь скорбными выражениями, что получилось истинно стихотворение в прозе. Это в уже упоминаемой сцене, где старик-казак построил над его могилой часовенку и написал на карнизе навеса:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Но разве эта тонкая новелла не политическая крамола? Она читалась — явно — вызовом не только рапповцам, в рядах которых числился пока еще этот писатель удалого комсомольского возраста. Ясное дело: Шолохов отрекся от горячительных установок на классовую непримиримость и

воинственный атеизм.

Расказачивание на крови-расправах... Не ретуширует. Потому читателю западает в душу при чтении обличительная писательская образность. Она не обходится без примет попираемой религии. О святотатце Малкине сказ от одного казака: «Малкин на улице зазывает к себе: „Откуда? Как по фамилии?“ — и иржет. Ишь, говорит, бороду распустил, как лисовин хвостяку! Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, говорит, из тебя, из толстого борова, мыла наварим!..»

И еще необычное. Он рискнул писать о том, что обрекало партийцев — твердокаменных большевиков! — на возможное исключение из партии. Как же иначе — вот Бунчук прощается с матерью: «Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, — целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник... „Носи, Илюша. Это от святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один у меня...“ — шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами».

Или Кошевой уступает Дуняшке и Ильиничне в венчании. Но романист не ограничился этим самым по себе острым сюжетом. Он позволил высказаться священнику: «Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать — предали огню, а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодезь, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой».

1930-е годы. Создается «Поднятая целина». Ее автор вступает в партию, а она все еще рушит храмы, пополняет священниками лагеря, призывает к активности «Союз безбожников» воедино с пионерией и комсомолом. Но Шолохов не подчинился агитпроповским наставлениям. Дал возможность матери Островного высказаться: «Церкви позакрывали, попов окулачили...» Этого показалось мало. Назвал виновников — «коммунисты». Однако мог бы, оберегая себя, смягчить приговор — вспомнил бы только «Союз безбожников». Нет, автор, член ВКП(б), добавил: «Без спросу закрывают». Выходит, не одобрял, а уж как газетчики живописали поддержку таковым деяниям. Журнал «Антирелигиозник» сразу все это «неположенное» выявил и в острастку в рецензии хлестнул по Шолохову: «Отсутствие глубокого анализа отмирания религии в сознании людей...»

Конец 1930-х — к концу работа над «Тихим Доном». В это время церкви вновь венец страданий. На этот раз от ежовщины. Шолохов предчувствует, что войны с Германией не миновать, и если это так, то народ

просто обязан стать единым перед лицом опасности. Не потому ли в романе появляется взволнованное предупреждение — в непростом разговоре с участием Мелехова:

«— Замиряться-то с советской властью скоро будете?

— Не знаю, дед. Пока ничего не видно.

— Как это не видно?.. Бог-милостивец, он все видит, он всем это не простит, помяни мое слово! Ну, мыслимое ли это дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету...»

Писателя можно было бы в некотором роде называть миссионером. Приобщает к таинствам церкви. Опасное, однако, дело по тем временам. То перепечатывает в романе молитвы, то — строки из Священного Писания с присказом для Григория от деда Гришатки: «Это ли не про наши смутные времена Библия гласит?..»

Почти тысяча персонажей в «Тихом Доне». Среди них нашлось место архиепископу Аксайскому Гермогену, благочинному Панкратию из Татарского, отцу Виссариону, попутчику Листницкого — безымянному священнику и священнику в госпитале, казаку-староверу, даже извращенцу в верованиях Чубатому и Григорию Распутину.

Середина 1950-х годов — время рождения «Судьбы человека». Хрущев навязывает стране воинственные богоборческие установки. Грозное постановление появилось за год до рассказа: «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». Попробуй пренебречь! Парторганы бдительны. Цензура на страже. Журналисты дисциплинированы. Писатели — одни в раже и поспешили с разоблачительными сочинениями в журнал «Наука и религия», другие сочли во благо отмолчаться, переждать.

Шолохов отказался участвовать в кампании пропаганды этого бездумного постановления. Ничего — ни в речах, ни в статьях. Он против издевательств над верой и церковью. И переживать, когда улягутся цензурные препоны, не стал. Он создает в «Судьбе человека» небывалый для советской литературы персонаж — мученика за веру.

Пленный солдат со своими братьями по несчастью загнан немцами на ночеву в церковь. И предстает истинным страстотерпцем. Из-за своих православных убеждений идет под чужеземную пулю. Писатель выразительно вычертил его характер — кратким действием и смелым словом: «Не могу... осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин!..» Автор истинный драматург! Вписал в монолог Соколова многогранье увиденного — все тут по правде тогдашней жизни: «А наши знаешь какой народ. Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие

шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас...» Но тут же строки с отрезвлением: «Дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь и богомольца этого убил...»

Свое отношение к православию в 1960-е годы он выразил не только в книгах. В Хельсинки случилась встреча и беседа писателя и патриарха Пимена.

В один из дней работы Всемирного Совета сторонников мира советское посольство устроило прием в честь патриарха из России. Есть отличный повод собрать видных борцов за мир. Патриарх к послу с просьбой — не забыть бы пригласить Шолохова.

После кратких речей в просторном зале раздолье для общения совсем разных по убеждениям соратников-миролюбов. Кого-то, по его авторитету, тут же окружили, кто-то сам ищет окружения, одни с рукопожатиями — давно не виделись, другие протягивают руку для знакомства... И разноцветье какое: и строгие одеяния делегатов из СССР, и вольные творческие деятели — кто в шейных платках, кто в пестрых пиджаках, здесь и сутаны, и тюрбаны, и клобуки с камилавками, и яркие африканские шапочки, и чопорные официанты с бокалами советского шампанского...

Мало кто заметил, как уединились в каком-то укромном уголке Шолохов и патриарх, ненадолго к ним присоединился и президент страны, Урхо Кекконен. Беседа шла непринужденно — кто-то даже позаботился скоренько водрузить на журнальный столик нечто не только для души: бокалы и какие-то фуршетные яства. Когда прощались, Шолохов произнес:

— Рад встрече. Рад беседе. Не так часто коммунисту удастся поговорить с патриархом, да так интересно...

— Что ж, здесь беседовали два патриарха. Я — патриарх от церкви. Вы — патриарх от литературы.

...Светло осознание, что Шолохов, в отличие от многих своих коллег по писательскому «цеху», не глумился над чувствами верующих и не вострил перо против православия.

«Найдите других...»

Часто применял к Шолохову старинную пословицу: «Его ласка не коляска — не сядешь, да и не поедешь».

...11 июля 1973 года звоню в Вёшки. Прошу написать приветствие для какого-то особого комсомольского деяния. Говорю, что выполняю просьбу ЦК комсомола. Сам в приподнятом настроении, как всегда при общении с

ним.

В телефонной трубке ответ: «Не смогу я...» Голос добрый, поприветствовал по имени. Добродушная интонация вводит в заблуждение — еще раз прошу. Голос становится строже: «Не проси. Найдите других. Я... не свадебный генерал!» Однако, разогнавшись, не притормозил и продолжаю просить. Решаюсь даже на такую фразу: «Умоляю вас, дорогой Михаил...» Он резко переламывает тираду с полной пагубой для моей ретивости, к тому же внезапно официальным тоном: «Нечего умолять друг друга, товарищ Осипов! У нас не те отношения!» Разговор был, ясное дело, закончен. Смекаю, что он походил в те минуты на закипающего гневом Мелехова. Я счел за благо немедленно попрощаться.

Еще неудача. Осенью того же года ушло ему письмо. Я рассказал, что затеваем ежегодник «Мастерская» — для молодых писателей, и попросил ответить на вопросы анкеты. Перечислю их, ибо чувствую, что они причина непредугаданного отношения вёшенца к просьбе: «1. Мастерство писателя. В чем оно? 2. Важнейшая проблема Вашей творческой лаборатории? Не смогли бы Вы поделиться с молодыми литераторами „секретами“ ее решения? 3. Какие произведения молодых писателей последних 3–5 лет Вы считаете наиболее удачными и почему? 4. Ваши советы молодым литераторам?»

Не ответил. Тогда я очень обиделся. Сегодня понимаю, что Шолохов разумно пренебрег наивно-ученическими вопрошаниями, пускай и сочинялись они с благими намерениями и в расчете на то, что он был в Союзе писателей ответственным за работу с литературной молодежью.

Однако было и такое. 1968 год — сообщаю ему по телефону о затеваемом ЦК комсомола и Союзом писателей совещании молодых писателей в Севастополе. Собираем-де тех, для кого главная линия творчества — военно-патриотическая. Естественно, прошу прислать приветствие-пожелание. Сказал, что подумает. Откликнется ли? Откликнулся. В Севастополе читали: «Сердечно желаю успехов вашей работе тчк Не забывайте о том зпт что ваши книги очень нужны молодежи особенно теперь тчк Не только молодежи зпт но и читателям повзрослей тчк Нам многое дано и многое спросится зпт а потому тире хорошего ветра держащим зпт чтобы паруса творчества стали тугими и упругими тчк Ваш Михаил Шолохов».

...У него сложилось особое отношение к работникам «Молодой гвардии». Уважительное. Характерно одно его письмо 1973 года новому директору. Ответил на две просьбы: разрешить выпустить книгу его рассказов и дать совет, как лучше издать ее. Мы не случайно обратились с

таким вопросом. Непростое дело выпустить книгу в таком виде, чтобы писатель считал ее своей уже с переплета. Ответ директору В. Н. Ганичеву гласил: «Что касается издания „Донских рассказов“ в 75 г., то я хотел бы спросить: можно ли мне положиться на вкус и опыт Ганичева и Осипова? Ты, наверное, скажешь, что можно. Ну, тогда я так и делаю... Обнимаю, поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всего самого доброго!»

Но — повторюсь — всяко случалось. Храню телеграмму 1974-го: «Принять Осипова не могу зпт болен тчк Шолохов».

Отказ от встречи! Не буду скрывать, что в первые мгновения аж озяб от нахлынувшей обиды: конечно же «болезнь» пустая отговорка. Постепенно, однако, приходило понимание: не в моей персоне заковыка. Я набивался в Вёшенскую за год до 70-летия Шолохова с желанием напечатать в журнале «Знамя» (там тогда работал заместителем редактора) подборку писем, но не писателя, как всегда было принято, а к писателю: о чем пишут, чем делятся, что просят... Да кто бы мог предвидеть, что он распознает по письму замысел режиссировать юбилей и откажется участвовать в такой затее.

Но и на эту историю с отказом есть другая — с согласием. Она одарила меня двумя шолоховскими автографами. Один ознаменовал подступы к теме, коей я загорелся, второй — завершение:

«Центральный Государственный архив литературы и искусств СССР. Разрешаю Валентину Осиповичу Осипову ознакомиться с моими письмами А. С. Серафимовичу и в журнал „Знамя“. М. Шолохов. 17 марта 1975 г.». Это отклик на мою просьбу познакомиться с его фондом.

«Дорогому Валентину Осипову. В память старой дружбы. М. Шолохов. 23.12.78». Это его отклик на выход моей книжицы «Дополнения к трем биографиям» — автограф шел по ее титульному листу. Каково!

Это я тогда взялся за очерк о Шолохове с целью, которую до поры до времени скрывал. Захотелось приоткрыть то, как начинали в конце 20-х злую кампанию обвинений в литворовстве «Тихого Дона». Скрывал потому, что друзья предупредили: запрет на тему плагиата. ЦК напуган теми волнами, что пошли от шумно обвинительных усилий Солженицына. Я же рассуждал: если нынче власть оставила творца один на один с наговором, так надо обнародовать материалы о том, как общественное мнение раньше поднималось на защиту Шолохова.

Однако же нужен архив. Его директор остудил порыв: «Архивные фонды живущих писателей выдаются только по их разрешению — письменному». Я к Шолохову с письмом: «Боюсь отрывать Вас от дел, но все-таки обращаюсь с просьбой разрешить ознакомиться...» Он разрешил

— потому и появился первый автограф.

Вышла книжечка, и я несколько экземпляров отправил в Вёшенскую. С того дня жил с трепетом душевным: понравится или нет. Месяц жду, полгода минуло, год позади...

И вдруг бандероль. Вскрыл — моя же книжка! Неужто возврат за ненадобностью?! Есть ли письмо с оценками? Нет. Странно. Но по какому-то наитию приоткрыл книжицу — гляжу: знакомый почерк! Такова история появления второго автографа.

Все раздумывал: отчего такой — нешаблонный — отклик от классика? Много ли достоинств в книжице начинающего биографа? Но он, видно, уловил в ней солидарность и поддержку тогда, когда остальные по запрету ЦК помалкивали. Не скрою: для меня его автограф — что высший орден!

Дополнение. Шолохов посчитал для себя неразумным опуститься до опровержений Солженицына и его подопечной Д. Полагал, что это забота ученых. Г. Хьетсо пишет в своей книге: «Во время беседы 9 декабря 1977 года известный исследователь творчества Шолохова А. Хватов сказал мне, что Шолохов очень задет книгой Д*... Однако специалисты по творчеству Шолохова решили воздержаться...» И в самом деле, не ученые, а писатель Ан. Калинин ринулся в бой, как я уже рассказывал.*

Больница

1976 год. Не было и на старости лет спокойной жизни у автора уже давным-давно вышедшего «Тихого Дона». Он узнал в своих Вёшках, что один литературовед, в должности заведующего влиятельной кафедрой теории литературы и критики влиятельнейшей Академии общественных наук при ЦК КПСС, Л. Якименко, выступил среди писателей и настойчиво утверждал уже как старое верование, еще от Сталина: Мелехов — отщепенец!

Правда, встретил отпор от профессора Литературного института Федора Бирюкова. Но силы во влиянии на общественное мнение не равны — академия тщила быть монополистом.

Эхо произошедшего — в шолоховском письме Бирюкову. Высказался резко о выступлении воинственного ортодокса: «Показатель утраты им чувства реальности. Это не делает чести ни ему, ни Академии, которую он представляет. Время показало, что приснопамятная его „концепция“ отщепенства Григория Мелехова потерпела крах. Верю, что теперь ему не

помогут ни высокие трибуны, с коих он клеветает, ни его дилетантские поучения, печатающиеся под рубрикой „Вопросы теории“».

...1977-й. Правительственная больница на Воробьевых горах. 20 мая я пришел к Шолохову вместе с коллегой, тогдашним директором «Молодой гвардии». Через три дня у писателя день рождения. Подошли к дверям палаты — они почему-то нараспашку. Входим. Запомнилось: по-весеннему яркое солнце залило всю обитель больного писателя. Здравуемся — молчание. Только через секунду-две женский голос: «А это вы... От солнца не видно, кто вошел».

Он на кровати — голые ноги свесил, сидит, молчит. Подле него Мария Петровна и младшая дочь-красавица Мария.

Таким еще ни разу не видел его. Изможден до крайности — краше в гроб кладут: худ до костлявости, странно неподвижный, усохшемаленький, с неестественно блестящими — будто застекленными — глазами (от этого они выглядели выпуклыми). Смотрит на нас замедленным взглядом, а кажется, что глядит пролетно, мимо. Пришла страшная мысль, что в прострации — нас не узнает, ничего не помнит, ничего не может сказать.

Но отлегло, когда он через мгновение, хотя и вяло, но поздоровался и даже пригласил выйти в холл: «На перекур». Слова выдавливал из себя непривычно: «Вот... как раз... собрался...» Шел — мы его поддерживали под руки — осторожно-медленными, ненадежными, шаркающими шажками, молча, хотя тут же успел на ходу вышарить в кармане больничной куртки-пижамы мундштук и пачку сигарет. Я пододвинул к нему кресло, Мария Петровна показала на соседнее: «Нет, ему в это кресло. Тут пепельница ближе...»

Усадили. Его тело будто провалилось меж подлокотниками. Впрочем, вижу, что сидит ничуть не согбенно — голова поднята гордо и спина пряма. Обманул внешний вид: как только устроился в кресле и пыхнул сигаретой, так вмиг выстрелил на услышанное от моего приятеля, что меня назначили директором самого большого тогда в стране издательства «Художественная литература»: «Не пропьешь?»

Выходит, помнил, что я по тогдашней своей язвенной хвори не мог даже и принохиваться к спиртному.

Ах, эта шолоховская лукавинка в разговоре. Это когда всё продолжает говориться вполне серьезно, да вдруг непредугаданно она, усмешливая, и выстреливает: то добродушная, а то и с ехидцей.

Тут же посерьезнел и стал расспрашивать о главном редакторе моего нового издательства и еще об одном ветеране-худлитовце; каждого

повеличал по имени-отчеству. Я не решился омрачить больничную жизнь и скрыл, что этот самый ветеран давно уже в лучшем мире.

Нетрудно было почувствовать, что рад Шолохов гостям. Истомился без общения с «уличными» людьми.

Все ему стало интересно. Совсем не длительным было наше свидание, но выслушал сообщение о том, что комсомолы нашей страны и Болгарии начинают издавать совместный литературный журнал. Узнал и порадовался — ведь его избрали почетным членом этого интернационального клуба творческой молодежи. Тут же, однако, пытался поумерить наши оценки его роли в становлении необычайного в международной жизни творческого сообщества. Потом стал расспрашивать, что пишут те молодые писатели, кого он знал-читал ранее. Ему еще рассказали, что «Молодая гвардия» провела встречу авторов первой книги с Леонидом Леоновым. Заинтересовался. Очень внимательно слушал о Валентине Распутине — внезапно появившемся и ярко при этом проявившемся молодом прозаике. И я добавил свои наблюдения — о его скромности, сдержанности, подлинной воспитанности и уважительном отношении к старшим; уж очень редко все это наблюдается у не очень-то церемонной литературной молодежи.

— А он не старообрядец? Их в Сибири много.

— Да нет. Распутин может и рюмочку поднять...

Шолохов — ответно — с усмешечкой: «Ну, тогда не старообрядец».

Запомнилось: он не роптал на болезнь и не изливался в сетованиях на врачей, как это частенько водится за недужными стариками.

В моем блокноте есть еще записи. Я: «Вы слишком много курите». Он: «Уже пятьдесят лет». Я: «Вас по фотографиям привыкли видеть с трубкой. Когда же расстались с трубкой?» Он: «До войны курил трубку».

Письмо из «Особой папки»

1978-й. В тот год роились в Москве слухи-разговоры о каком-то ужасном шолоховском письме Брежневу. Оно-де опасно не то по своей особой политической праведности, не то по особой антипартийной направленности.

...14 марта легло это письмо под властную руку Брежнева. Он прочитал и начертал: «Секретариату ЦК. Прошу рассмотреть с последующим рассмотрением на ПБ», то есть на заседании Политбюро.

Сначала его изучил секретарь по идеологии. В итоге через неделю он предложил создать специальную комиссию. Такое предложение — о

коллективном разуме — одобрил второй секретарь ЦК. В нее вошли два секретаря и три заведующих отделами ЦК (науки, пропаганды, культуры), министр культуры СССР, заместитель председателя Совета Министров РСФСР и первый секретарь Союза писателей. Вот такая на одну писательскую душу специально назначенная комиссия. Спецназ — горько пошутилось.

Что же обеспокоило этот «спецназ»? Приведу несколько извлечений из огромного письма.

Зачин таков: «Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству».

Дальше Шолохов выражал вполне конкретные озабоченности:

«До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются запретными...

Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы...

Несмотря на правительственные постановления, продолжается уничтожение русских архитектурных памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ведется крайне медленно...

Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвященного проблемам национальной русской культуры („Русская культура“). Подобные журналы издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР...

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта...»

Вчитываются державные старцы... Если уж испугались просьбы о выставках и журнале, то как не прийти в ужас от такого без всякой оглядки на дипломатический протокол утверждения: «Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм...» Потом разъяснил: «Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру».

Обобщающее предложение: «В свете всего сказанного становится очевидной необходимость еще раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в печати,

кино и телевидении, раскрытия ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства».

Читают последние строки: «Для более широкого и детального рассмотрения всего комплекса вопросов русской культуры следовало бы, как представляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из видных деятелей русской культуры, писателей, художников, архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры Российской Федерации, ученых — историков, филологов, философов, экономистов, социологов, которая должна разработать соответствующие рекомендации и план конкретной работы, рассчитанной на ряд лет».

Письмо и вправду не втискивается ни в какие привычные каноны. Оно как выброс лавы. Все в нем обжигающими струями в общий поток: боль оскорбленного русского сердца и надежды на проницательность генерального секретаря, пристрастия и прекраснодушие...

То, что высшее партначальство думало об авторе письма, а также контраргументы ему запечатлены в пространных документах, их называли в обиходе записками. Одна за подписью идеологического секретаря ЦК. Вторая, от спецназовской комиссии, за подписью восьмерых ее членов.

Вот некоторые характерные извлечения:

«В свете итогов деятельности нашей партии и народа по осуществлению культурной революции в СССР, по развитию материального и духовного потенциала русского и других народов...

Деятельность советской творческой интеллигенции, начиная с русской, за последние годы проникнута духом все возрастающего сплочения вокруг партии...

В среде творческой интеллигенции огромный положительный резонанс получила постановка товарищем Л. И. Брежневым проблем культуры на XXV съезде КПСС. Единодушное одобрение...

Мы по праву гордимся тем, что советская культура прочно занимает передовые позиции и по идейному, духовному и эстетическому содержанию своему превосходит культуру любой из стран...»

Мало показалось. Стали вбивать в Шолохова — как, мол, посмел не знать-ведать — убаюкивающие себя цифры и факты:

«Русская классическая литература повсеместно изучается в школах, высших учебных заведениях, ее произведения издаются многомиллионными тиражами... В репертуаре драматических театров... Ведущее место в советских театрах оперы и балета... Проведена подписка... С полным основанием можно говорить о ведущей роли художников РСФСР...»

В этих «разъяснениях» появилось и то, что напоминало полвека назад битому-перебитому писателю речи и газеты из 1937-го: «Надо полагать, что тов. Шолохов понимает это, но тем не менее... Следует всегда, а в настоящий момент в особенности, проявлять высокую политическую зоркость, идейную непримиримость... Возможно, т. Шолохов оказался в этом плане под каким-то, отнюдь не позитивным влиянием... Записка тов. Шолохова, продиктованная заботой о культуре, отличается, к сожалению, односторонностью и субъективностью... Именно такой трактовки вопроса хотелось бы нашим классовым врагам, пытающимся сколотить, а если не сколотить, то изобразить наличие в стране политической оппозиции. Идейные противники только радовались бы этому...»

Каково было писателю узнать, что генеральный секретарь партии со всем своим идеологическим синклитом отмахнулся от его встревоженных размышлений. Чрезмерен?.. Зря замахивается обличать чуженациональное и чужестранное влияние?.. Но в ответ старцы не нашли ничего более путного, чем гневливо «разъяснять» писателю свои закостенелые догмы. Не понимали они, что уже не победны давно приевшиеся лозунги дружбы, единства, единодушия... И еще не догадывались, что самоубийственно запрещать размышлять над тем, что ими постановлено считать запретным.

Непредусмотрительное Политбюро изрекло: письмо Шолохова — идейно-политическая ошибка.

Он же просил «широкого и детального рассмотрения». Не хотел становиться — в единственном числе — ни пророком, ни судьей, ни прокурором, ни даже врачом. Он подталкивал озаботиться тем, что ЦК все не разглядит болезни с симптомами разложения достоинства великой нации.

Эту проблему и сейчас не умеют обсуждать так, чтобы не допускать расползания тлетворных бацилл и лечить болезнь без хирурга-ампутатора.

Гангрена обозначит себя через историческую эпоху — спустя 20 лет. То конец перестройки: общество раскололось не только на победивших либерал-демократов и побежденных партократов, на реформаторов и консерваторов, но и на патриотов и западников.

Старцы все-таки чуют, что Шолохов их загнал в угол — признаются кое в чем: «В среде творческой интеллигенции высказываются суждения, что недостаточно внимания уделяется отдельным периодам истории России, тем или иным литературным памятникам, таким, как „Слово о полку Игореве“, просветительной роли таких деятелей, как Сергей Радонежский... В СССР боятся упоминать о церкви, о панславизме, либерализме...»

И все-таки пропустили мимо ушей идею собрать лучшие умы и обсудить проблему сообща. Проголосовали за секретное постановление. Оно начиналось так: «1. Разъяснить т. Шолохову действительное положение дел с развитием культуры в стране и в Российской Федерации, необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших интересах русского и советского народа. Никаких открытых дискуссий по поставленному им вопросу о русской культуре не открывать...»

Словно школьнику: «Разъяснить... Более глубоко...» Таков закостенелый образ мышления.

***Дополнение.** Деятели партии боялись Шолохова не только из-за речей и писем. А. А. Громыко, главный дипломат страны и член Политбюро того времени, оставил в воспоминаниях свое истолкование романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака в сравнении с «Тихим Доном»: «Я должен высказать свое мнение о „Докторе Живаго“... Главный персонаж произведения — герой, не заслуживающий похвал. Но так ли уж он далек от идейного образа Григория Мелехова, долго не понимающего, как может донское казачество принять новую жизнь, условия которой созданы революцией?» И такое обобщение: «В финале книги мы имеем основания верить в прозрение героя, в его будущее, которое, однако, писатель не развернул перед читателем. Шолохов пытается освободить Григория от груза социальных напластований прошлого, осевших в сознании донского казака. Но так и не сумел до конца это сделать...»*

Шолохов умел дать сдачи таким догматикам. Характерен случай с председателем Верховного Совета СССР Подгорным, который приехал в Ростов и выступил с речью перед партийным активом. Шолохов вдруг слышит прилюдное обращение к себе: «Не обижайтесь, но плохи дела у нас и в литературе. Нет среди вас Горького, нет и порядка». Шолохов ему в ответ без всякого политеса: «Вы тоже не обижайтесь. Среди вас в правительстве нет Ленина, поэтому и дела в стране в очень большом беспорядке...» Такого еще не было. Зал в одно мгновение сковала тишина. Высокопоставленному визитеру стало плохо — вывели в боковую комнату.

Беседы в больнице

К концу 1978 год: 23 декабря. Узнаю, что Шолохов в Москве. Увы, все чаще свидания происходят в больнице.

Напрашиваюсь на встречу не из праздности. Готовим к выпуску «Тихий Дон» и, следовательно, надо обязательно подписать договор.

Едва вошел в палату, почуял густой запах пряного табачного дыма: на столе мундштук, несколько еще непечатых сигаретных пачек и пепельница, битком набитая окурками и сожженными спичками. Бросилось в глаза — по тогдашним временам редкость из Франции — сигареты «Голуаз». Истязает себя таким злым удовольствием. Курит много. За час общения выдымил пять-шесть сигарет. Он, по счастью, совсем не такой, как в прошлый раз. Свеж обличьем и бодр поведением, говорит легко, без всякой натужности и передыхов, движения рук четки и плавны.

На столе книги. И на тумбочке у кровати том Ивана Гончарова. На подоконнике стопы газет, журналов, тоже какая-то книга и кофеварка заграничного изготовления.

Начинаю с шутки, кивнув на кофеварку: «Уж не самогонный ли аппарат?»

Ответствовал с лукавой усмешечкой одним словом, но выразительно — с многозначительной протяжечкой: «Кончило-о-сь...»

Далее в моем блокноте такие записи: «Что же это, Михаил Александрович, снова в больнице?» — «Ничего особенного. Больше для профилактики». — «Режим-то строгий?» — «Да нет. Посетителей пускают. И есть все дают...» — «А уколы?» — «Колят, мно-о-о-го. Внутривенно». — «Больно, небось?» — «Да нет, не очень. Привык...» Я невольно перевел взгляд на руки — вены лилово-сине-свинцового цвета, словно сплетка проводочков в каком-нибудь электронном механизме.

Отмечу: он быстро пресек пасмурные больничные вопросы. Сам стал спрашивать. И, к чему я уже привык, начал: «Как там Александр Иванович Пузиков?» Это он о главном редакторе издательства. Рассказываю, что этот его многолетний добрый соратник стал лауреатом Государственной премии. «За какие заслуги?» Отвечаю, что за главное участие в подготовке и выпуске «Библиотеки всемирной литературы». (Эта 200-томная библиотека с огромным тиражом — 60 миллионов экземпляров — стала в те годы предметом всеобщей гордости, а не только издательства. И в самом деле, невиданное в мире по своему масштабу просветительское деяние.)

Выслушал и последовал новый вопрос — негаданный: «А что, Ширяев умер?» Я в оторопь, ибо тут же вспомнилось прошлое свидание. Тогда он спросил об этом ветеране издательства, а я обманул — не решался сказать о смерти. Шолохов был в тот день в жутком состоянии. Но, выходит, все помнил, хотя прошло почти восемь месяцев. Он цепко держал в памяти этого редактора — рассказывал всякие о нем смешные истории.

Вечер. Ему вкатывают тележку с ужином. Надо прощаться. Он пригласил снова прийти — назначил через три дня. Скучает в больничном одиночестве.

Воспользовался приглашением. Приехал в назначенный день. На этот раз не один, а с новоиспеченным директором «Молодой гвардии» В. И. Десятериком.

Шолохов умел начинать разговор даже с незнакомым человеком. Вел его с изыском. То наводил на очень серьезное. То направлял его так, что иначе и не назовешь — «погутарили», вроде бы о пустяках, об обыденном. Но это только на первый взгляд, ибо душа писателя раскрывается и в таких разговорах.

Заинтересованно повернулся к гостю, когда узнал, что его родители живут в селе на Украине. И начал расспросы о том, какая у них живность, какая хата, какие заработки, как оценивают порядки и власть... Запомнились его глаза: в те минуты казалось, что он слушал глазами. Были они у него доверчивые и соскучившиеся по той жизни, которая была отгорожена опостылевшей больницей. Когда услышал, что у стариков при хате собака, произнес без всякой связки: «Надо возвращаться домой...» У меня тут же догадка: «Таков живой ход писательского мышления — ассоциативное».

Потом помолчал-помолчал и стал памятно излагать, как приехал в один хутор и за приметил у куреня на завалинке дремучего по старости деда:

— Сидит у открытой калитки и перебирает фасоль. Как увидит, кто мимо, так, если на машине, фасольку в одну сторону, а кто пешком, так фасольку в другую сторону.

Я: «Старик при деле и на людях». Ему такой оборот понравился — повторил.

Он в эти два больничных дня, которые были столь счастливо приоткрыты для меня, не замыкался на себе, тем более на своей болезни. Сожалел о смерти композитора Дмитрия Покрасса, он прославился своей песней о буденновской конной армии. Вспомнил знакомство с легендарным летчиком Валерием Чкаловым — восхищался его удалью. Живописно рассказывал (мне тех красок не переложить), как Чкалов после встречи депутатов Верховного Совета с писателями усадил его, Шолохова, в свою легковую машину — редкость по тем временам — и прикатил на аэродром. На поле стоял маленький самолетик — на два места. Они уселись и взмыли: вираж за виражом, а один раз летели даже вниз головами... Шолохов не скрыл, как страшно было.

Завели разговор о новой поэме в то время очень популярного молодого поэта. Я рассказал, как один из тех, кто едва ли не жестче остальных на обсуждении критиковал поэму в отсутствие поэта, потом в ресторане пил со своей жертвой и лобызался. Шолохов произнес с наждачной укоризной:

— Азиатчина какая-то. Критикует и пьет... Двуличие! Разве можно так?!

Рассказываю об идее Госкомиздата и своего издательства развернуть подлинно массовый выпуск классики. Стал пояснять: для этого задумали «Библиотеку классики» громадными тиражами — в один миллион экземпляров. У него тут же вопросы. Не допрашивал — расспрашивал, хотя в записи читается почти что допросно: «Советские классики будут?» — «Да». — «Горький? Фадеев?» — «Да». — «А Леонов?» — «Да». — «А Федин?» — «Да».

О себе ни слова. Я говорю ему о том, что хотим включить «Тихий Дон» в эту библиотеку. Он: «Издали бы без картинок». Пришлось пояснить, что библиотека задумана иллюстрированной. Произнес: «Из-за меня менять нельзя».

Еще рассказываю, что новое собрание сочинений Льва Толстого для массового читателя — в двадцати двух томах — станет по инициативе издательства выходить миллионным тиражом. Одобрил: «Хорошо!» После паузы усилил похвалу: «Очень хорошо!» Поинтересовался однако: «Хватит ли бумаги?» Добавил: «Если не очень пока густо с бумагой, издавайте-ка только самых лучших писателей...» Он знал, что опыт издания классики такими тиражами при хроническом в нашей стране безбумажье только-только нащупывался.

Спросил о Константине Симонове. Вопрос, не скрою, был с пристрастием: «Что, все рвется к власти в Союзе писателей?» Замечу, что отношения у них были непростые — то перепалки-схватки, даже ЦК вмешивался, то Симонов, к примеру, в заступничестве за Шолохова дал отпор Солженицыну — не поддержал обвинения в плагиате, да где — в западногерманском журнале «Шпигель» (1974. № 49).

Потом о Леониде Леонове: «Что-то не слышно, не видно. Зря он прячется, отмалчивается». Знаю — давно знакомы. Особой дружбы не было, а уважение друг к другу проявляли.

Поблагодарил за новое издание «Поднятой целины» — это я ему принес сигнальный экземпляр нового переиздания. Но спросил: «Почему не начали с „Тихого Дона“? „Тихий Дон“ больше читают...»

И неожиданно: «Когда роман вышел, Семен Михайлович Буденный обиделся, что мало рассказано о Первой конной...»

В ответ я припомнил, подхватив тему критики от книголюбцев, одно читательское письмо с фразой: «В „Тихом Доне“ ничего ни убавить, ни прибавить». Услышал ответное: «Убавить есть что...» Я давно усвоил: он доброе слово принимал, а похвалу на лесть обрывал. Но цену себе и своему роману знал. Вспомнил для меня, как во время войны получил письмо, в котором читатель поведал, что читал и перечитывал роман да все ждал счастливого для Мелехова конца. «А разве надо было писать так, „со счастьем“?» — проговорил с характерной шолоховской усмешкой-лукавинкой.

Спрашиваю: «Действительно ли, что за „Тихий Дон“ пришлось вступаться Серафимовичу и Горькому?» Ответил: «И Сталину тоже».

Когда он выложил мне свои нелегкие помыслы о том, как Сталин вмешивался в судьбу романа, разговор как-то незаметно развернулся к теме молодой литературы. Интересуюсь: «Как понимаете причины того, что в последние десятилетия прозаики чаще всего формируются после тридцати лет, а то и позже? Вот вы „Тихий Дон“ уже в двадцать два года...» Он перебил: «Начал в двадцать два, а закончил много позже». Добавил: «Время было тогда другим. Тогда время писателей подгоняло». Я осмелился спросить, уточняя: «Вы, наверное, подразумеваете, что трудно жилось? Вы, как известно, впроголодь жили в Москве, что и заставило, видно, писать побольше и скорее...» Он перебил: «Уж не предлагаешь ли, чтобы и нынче молодым такое доставалось?» Снял ехидинку и продолжил:

— Нет, я совсем о другом... Познание, изучение жизни, накопление жизненного опыта шло само по себе с самых молодых лет. Это потому, что нам, молодым, все или почти все приходилось «пощупать» своими руками... Я это вовсе не к тому, чтобы укорять молодых. Но у них, пойми, годы уходят на школы, институты. Только после этого прикасаются к серьезной, самостоятельной жизни... Хотя, скажу, дерзают все-таки не на полную катушку! Писать умеют, да кое-кто о пустяках пишет.

— Кстати, Михаил Александрович, когда вы закончили «Тихий Дон», вам всего тридцать пять было. Как раз по нынешним временам участвовать во всесоюзных совещаниях молодых писателей.

Это я ему напомнил о том установившемся возрастном цензе, который позволял числиться молодым литератором и участвовать в таких совещаниях.

Шутку вроде бы принял, но отвечал без улыбки: «Эх, попасть бы... Хорошо бы пообщаться... Погужевать вместе. Писателю без этого нельзя».

Был в отличном настроении. Расхохотался, когда я рассказал ему о неудачной попытке «дотянуться» до него своей телеграммой. В ответ

пришло по почте «Служебное уведомление»: «Телеграмма не вручена — адресат выбыл, неизвестно куда».

На прощание он спросил, как мне показалось, проявляя светскость в разговоре: «Как погода?» Я ответил: «Хорошо — морозно». Тут он приоткрылся. Оказывается, спрашивал о погоде, явно соскучившись по дому и Дону: «Мне сегодня звонили — в Вёшенской было двадцать пять мороза. Но снега мало. У нас еще поля хоть как-то прикрыло, а у соседей поля голые; озимые могут померзнуть».

...Книги Шолохова, естественно, вышли в упомянутой серии «Библиотека классики». Отправил ему телеграмму: «Дорогого Михаила Александровича сердечно поздравляю выходом „Тихого Дона“ в „Библиотеке классики“ тиражом один миллион экземпляров. Считаем это первым залпом в честь предстоящего юбилея. Горды постоянной дружбой...» Так начали готовиться к его 75-летию.

***Дополнение.** Встречи с Л. М. Леоновым помогли мне обрести необычный автограф Шолохова.*

Однажды Леонов доверил мне полистать фолиант особой ценности — рукописную банианину. Год за годом, многие десятилетия, он упрасивал премногое число своих выдающихся современников — 294 — оставить автографы с шутивными и не очень оценками русской бани: Горький, М. Булгаков, Шостакович, С. Прокофьев, Пастернак, Пикассо, Кукрыниксы, Андре Жид, Карл Радек... Последним стал космонавт Севастьянов. Были здесь даже две нотные записи — гимны бане — на слова самого Леонова. Какова коллекция!

Страница за страницей... и вдруг знакомый почерк Шолохова: «Как русский человек люблю не только баню, но и тех, кто умеет попариться самозабвенно, жестоко, до помрачения в глазах. Шолохов. 25 августа 1948».

«С уважением к Вам, осужденный...»

Работая над этой книгой, подумал: стоит обнародовать то, что уже столько времени держу в своих домашних архивных закромах: несколько писем Шолохову. Они тоже составная его биографии. Не удержалось только в памяти, по каким причинам копии этих писем осели у меня. Точно помню, что два из них Шолохов дал почитать, отчего-то решив посоветоваться, как отвечать. Привожу их, но по вполне понятным

причинам не сообщая фамилии и адреса.

Письмо 1981 года: «Здравствуйте, Михаил Александрович. Вас, наверное, завалили письмами, просьбами, интервью и тому подобными вещами. Я тоже решила вам написать. Может быть, вы смогли бы мне помочь.

Я воспитываю одна трех детей: 4, 8 и 10-летних возрастов. Мне 33 года. Живу на одну зарплату, которая не велика — 80–85 руб. Так сложилось у меня, что алиментов на детей я не получаю. Отец детей погиб. Я сирота, выросла в детском доме. Живу в однокомнатной квартире. Жить страшно тяжело — я имею в виду материальную сторону. В магазинах голо, а на базаре цены растут. Зарплата не повышается. Концы с концами не могу свести.

Очень хочу переехать жить в сельскую местность. В селе мне было бы легче прокормить детей. Город не люблю, но приходится жить, так как не знаю, куда уехать.

Я русская, живу на Западной Украине. Местные жители „кацапам“ на селе жить не дают. Не любят здесь русских.

Вот как бы попасть в такое село, чтобы председатель был честным, справедливым, добрым к людям — одним словом, в такое село, чтобы там хотелось жить и работать и остаться навсегда.

Михаил Александрович, подскажите, посодействуйте. Помогите мне перебраться в деревню или село в РСФСР. Подскажите, куда я могла бы написать, в какой совхоз.

С уважением к Вам...»

Второе письмо — 1982 года: «Дорогой Михаил Александрович! Мы с женой живем в доме престарелых и инвалидов, где нет условий для творческого роста. Контингент здесь тяжелый, шумно, а у нас бывают гипертонические кризы.

Мой дядя и родители погибли в годы Великой Отечественной войны. Отец мой работал председателем сельсовета. Я инвалид 1-й группы, поэт, 22 года за мной ухаживает жена, она — член Всесоюзного общества слепых.

16-й год стоим в очереди на получение квартиры. Совсем тяжело, но 30 лет занимаюсь литературной работой. У меня есть три книги на родном языке, стихи мои публиковались в журналах, альманахах, учебниках. Пишу и на русском языке.

Помогите, пожалуйста, скорее получить однокомнатную квартиру на первом этаже. Решается вопрос нашей жизни. Уповаю на Вас. С уважением!»

Третье письмо этого же года: «Уважаемый Михаил Александрович! Здравствуйте! Вы берете в руки письмо из места заключения, не так уж отдаленного. Я вынужден обращаться к Вам за таким обращением не с целью оправдать себя, нет, я прекрасно понимаю и пришел к выводу, что именно через Вас, через Ваше содействие мое уголовное дело будет направлено на новое, правильное решение, чтобы пришло к торжеству справедливости не на словах, а на деле.

Пока я не видел такой справедливости. Есть еще среди нас люди, которые, прикрываясь партийным билетом, совершают свои гнусные, антипартийные, антинародные дела.

Нечего скрывать. Уже устал от таких людей. Потому и решил обратиться к Вам. Прилагаю Жалобу.

Оставайтесь крепким, бодрым, здоровым! Не уставайте! С уважением к Вам, осужденный...»

Четвертое письмо — 1983 года: «Дорогой Михаил Александрович! Я прошу проникнуться всей безысходностью моей, когда невинные люди преследуются, а инстанции своим молчанием и бездействием только поощряют расправу над невинными людьми, доводят их до крайности.

Шолохов у нас один на планете. Он поможет мне, т. к. написал волнующий рассказ „Судьба человека“, а моя судьба так же щедра на испытания, как у Соколова, только в советской действительности. Вы заступились за Соколова. Так заступитесь и за меня, которого преследуют уже много лет за критику нашего начальства, которое хочет выглядеть красиво, а сами гробят наше производство, не принимают критику к руководству действием.

Такая советская действительность означает деградацию и угодничество. Подобные явления необратимо ведут к развалу социалистического общества, к потере его авторитета...

А теперь изложу суть дела... (пять страниц. — В. О.) Не откажите в просьбе разобраться и напечатать на всю страну, чтобы знали, что нельзя позволять гробить завод и издеваться над тем, кто хочет лучше работать».

Надо ли сопровождать эти послания какими-либо послесловиями-комментариями про великодушное доверие совсем разных людей к писателю?

В ПЛЕНУ ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЗНЕЙ

*Песня и слеза. Притча о волчице. Две последние статьи.
«Бездарные ученики мы у истории...». О «живом» колодце.
Кончина. Обыск? Тираж 1 000 000*

Глава первая

1980–1983: ЗАВЕЩАНИЯ

Предсмертная жизнь Михаила Шолохова... Он никого из посторонних не впустил в нее. Не писал писем с предчувствиями. Не созывал друзей-соратников, чтобы высказать напутствие. Нельзя было и представить, что пригласит журналиста для интервью.

Так уж получилось, что пока не воссоздать полной картины последних лет жизни, которые отпустила Шолохову судьба. Лишь некая мозаика.

Полынь к пьедесталу

1980 год. ЦК решил отметить 75-летие Шолохова присвоением ему второго звания Героя Социалистического Труда.

У него спросили, когда исполняли протокольную обязанность — устанавливали в станице бюст дважды героя: «Какие цветы лучше посадить у подножия?» Ответил с лукавой усмешечкой: «Полынь!»

Он пожелал увидеть в день своего рождения гостей.

— Сколько приглашать?

— Не больше того, сколько усядется в нашей столовой...

И мне выпала честь быть приглашенным в Вёшки.

Сам юбиляр по сильной слабости от недавней болезни в станичный Дворец культуры прийти не смог. Но не остался в одиночестве. Все его личные гости были предупреждены, что после официальных торжеств надо пожаловать на обед. Большим оказалось застолье: и домашние — Мария Петровна, все дочери и сыновья с семьями, и гости — соратники из писателей, партийных работников, дочь тогдашнего председателя правительства А. Н. Косыгина, еще близкие ему люди.

...Московский поэт Егор Исаев, когда пришло ему время для поздравления, в подарок юбиляру стал читать отрывок из своей поэмы «Суд памяти». Читал мастерски, по обыкновению проникновенно, захватывающе, звучно вкладывая каждый слог своего чтения в чувства.

Вдруг вижу — сопереживающие поэту глаза Шолохова начинают увлажняться. Ему от этого на многолюдье, как догадываюсь, становится неловко. Он пытается унять наворачивающиеся слезы и хватается за сигарету. Но, как понимаю, растроганное состояние не утишается...

Те, кто сидел с ним рядом, тоже уловили эту нарастающую напряженность — она могла стать опасной для еще не оправившегося от болезни старого человека. За его спиной знаками они дают понять Исаеву, чтобы перестал читать.

Поэт мгновенно уловил, что нужна разрядка, и, найдя первую возможность, оборвал чтение. Тут же поднимается донской писатель Виталий Александрович Закруткин. И оба, едва успев перешепнуться, заводят на два голоса песню — старинную песню донских казаков. Знать, не впервой пели. Слаженно выводили, особенно когда дошли до слов о Доне-батюшке:

Я по батюшке плачу, я горюю.
Я по родному плачу, я горюю.
Ой, по родной стороне грущу...

Мне и теперь, спустя много лет, все никак не сыскать выражений, чтобы точно описать, как слушал он песню — умиротворенно, что ли? Одно скажу: всем было видно, что оттаивал под ее звуки.

Когда спели, в тишине прозвучало, вконец разряжая напряженность, благодарствие, по-шолоховски неожиданное:

— Песельникам чарку!

Произнес это, настраивая на усмешливость, таким тоном, будто атаман перед строем казачьего воинства ухарски выкликнул команду. Вот только улыбнулся не по-командирски — по-шолоховски.

Жизнь шла своим чередом.

...1981-й. Лето. Принял гостей из тех казахстанских мест, где много раз гостевал с Марией Петровной.

Осень. Встречался с объединенной делегацией Клубов школьных следопытов из Курска, Белгорода и Куйбышева.

...1982-й. Москва. Журнал «Новый мир» напомнил о 50-летию «Поднятой целины» восторженным обращением к читателям. В станице и книголюбы, и райкомовцы с теми же чувствами наведались к Шолохову. Рассказывал им о том, как задумывал роман и писал его.

Последнее лето

3 июля 1983 года я со своим товарищем по издательскому «цеху» Валерием Ганичевым приехал в Вёшенскую. То было последнее для

Шолохова лето. Приехали за двумя статьями, которые я заказал раньше, по телефону. Получилось, что это было последнее прикосновение шолоховского пера к бумаге.

Уже при первом взгляде на Шолохова улавливалось, как ему непомерно тяжело от своей смертной болезни — рак горла! Тело стало немощным, истерзанным. Да и преклонный возраст — 78-й год пошел с мая — тоже сказывался. Но могучий ум не сдавался.

Два дня мы провели в Вёшках. Писатель поражал незамутненностью памяти, жадным любопытством ко всему, что происходило за стенами дома, строгостью безошибочных суждений и оценок, прежним своим образным словом, хотя — что скрывать — была заметна замедленность жестов и речи.

Когда вошли, сразу спросил: «Ну, что нового в Москве?» Видимо, начинал догадываться, что быть переменам в стране. Я давно почувствовал, что и он тоже устал от засилья в Кремле тщеславных стариков. Колко, с сарказмом отзывался о них.

Чаепитие — с тортом от Марии Петровны и с рюмочкой французского коньяка от хозяина. Вручил мне две статьи — исполнил заказ и моего издательства, и моего болгарского собрата из софийского издательства «Народная культура».

Перед тем как передать их, внимательно перечитал. Где-то останавливал взгляд надолго, чуть ли не насупленно, но в основном читал быстро, порой похмыкивал — не то одобрительно, не то как бы с укором.

«Читателям библиотеки „Родные нивы“» — это его вступительная статья к готовящемуся шеститомнику лучших повестей, рассказов и поэзии дореволюционных и советских творцов о крестьянстве. Последняя строка все не уходит из памяти: «Поклон вам низкий, люди земли, люди сельского труда!» Выходит, попрощался.

«Обращение к болгарским читателям» — вступительная статья для своего же собрания сочинений на болгарском. В ней напутствие, что стало, убежден, истинно духовным завещанием. Но писал его, как чувствую, не только для иностранцев. Начал так: «Есть еще охотники разрушить связь времен. Забыть о светлых традициях в жизни народа...» Продолжил: «Давайте порассуждаем вместе — прошлое, настоящее и будущее совсем не взаимоисключающие друг друга или обособленные измерения жизни человека и человечества. Только их тесная взаимосвязь ради служения Родине, ради осуществления истинных народных чаяний, то есть и ради будущего, делает талантливое литературное произведение актуальным независимо от того, когда оно создано — пятьдесят, сто или, скажем,

двести и более лет назад...»

Был щедр на общение. Когда получили статьи, то подумали: пора и честь знать. Но не отпустил. Сказал, чтобы и на завтра не уезжали. Командировка стала гостеванием.

И в первый день, и во второй сидел за столом в медицинском кресле на колесах. Вдруг признался, что подкладывает под себя плоскую подушечку с просом — послушался-де совета одного деда-станичника. Это чтобы не случилось по тогдашней жаре пропотелостей и пролежней. Пошутил — да с каким перчиком: вот, мол, стал на старости лет «жопорушкой». Это он обыграл обиходное у селян слово «просорушка». Хохоту-то было!

Без Сталина не обошлось в разговорах. Он говорил о нем спокойно. Ни преувеличенных восторгов, даже когда шла речь о хорошем во взаимоотношениях, ни огульного, так скажу, отрицания-негодования, когда вспоминал о мрачном, о трагическом. Не уподобился изобильным тогда перелиньщикам и переупряжникам.

Упомянул о едва ли не аскетизме Сталина в быту. Вспомнил, как однажды был приглашен отобедать на подмосковной даче: около вседержавного хозяина стояла бутылка грузинского вина, а из яств — лишь тарелка по-грузински приготовленного холодного мяса и какая-то кавказская зелень.

Я спросил: «Когда в 1938-м готовили ваш арест, в чем обвиняли?» Ответствовал немногословно: «Во всем. Даже за то, что я высказывался о бесхозяйственности — колхозные комбайны зимуют под открытым небом». Добавил с горькой усмешкой: «До сих пор ведь в половине колхозов, думаю, так стоят». Мой товарищ ему — к слову — сообщил: «В печати идет спор, хорош ли новый ростовский комбайн». Вновь с горечью: «Спорят... А комбайн от этого лучше не становится».

Стал вспоминать о страшной поре раскулачивания. Ему вопрос: «Много ли из них, раскулаченных, вернулось?» Ответил: «Совсем мало. Мне рассказывали, что в Архангельской области много казаков, из раскулаченных... Хаты побелены. Как у нас, на Дону». Добавил с гордостью: «Говорят, два казака, из архангельских, стали в войну Героями Советского Союза».

Потом внезапно начал рассказ о секретаре крайкома довоенной поры: «Он до революции экспроприатором был. Деньги отбивал... Анархист! Человек, скажу, храбрый. Четыре ордена... Жил у меня дома четыре дня. Спросил у него, когда начал чувствовать на себе внимание органов: „Почему из всех членов бюро райкома одного не посадили — меня?“ Он ответил: „Когда к дубу хотят добраться, по дороге к нему молодняк валят“.

Он в разговорах отрицал, что в тюрьмах пытки. Я его потом в Москве, когда секретаря райкома спасал, в НКВД увидел — глаз выбит, кровоточит... Сам попал в то, что копал».

О многом говорилось в те два дня. Звучали имена Долорес Ибаррури, Молотова, Ильи Эренбурга, скульптора Коненкова, Леонида Леонова... Кое-кого вспоминал с горечью, с обидой. О Солженицыне высказался с неприязнью, причины того, однако, прояснять не стал. Заговорил — с уважением — о Василии Шукшине. Не забыл встречу в давние дни съемок фильма «Они сражались за родину». Растроганно подметил его скромность. Мария Петровна тоже к разговору присоединилась: «Он ничего не ел, не пил. Все смотрел на Михаила Александровича...» Шолохов подумал, подумал и продолжил: «Я что-то почувствовал во взгляде... Эх, умер».

Не знаю, уместно ли в рассказе о беседах с Шолоховым выражение «разговор о будничном». Но и такой то и дело возникал непринужденно. О всяком гутарили, выражаясь «тиходонским» языком. Например, помянули одного писателя, который напечатал книгу с обозначением «роман-эссе». В ответ слышали: «Ну-ну». Такую с ехидцей стрелку он метнул в нелепое поименование жанра. Или: будет — не будет урожай. О мосте через Дон у станицы, который строили благодаря хлопотам Шолохова («Давно было пора сменить неудобные разводные понтоны»). О недавней рыбалке. Он стеснялся рассказывать о ней. Это, как понял, потому, что из-за болезни его возили не на Дон, а на пруд («Ну, какая там рыбалка на пруду. Так себе... мелочь... я ее обратно...»). Когда об охоте черед пришел поговорить, так глаза и его, и Марии Петровны зажглись неподдельным азартом. Она: «Я заядлая охотница. Могу дуплетом по гусям...» Он: «Я больше по перу...» Пожалуй, что скаламбурил: дуплетно. Я рассказал о доброжелательных проводниках в поезде «Тихий Дон», которые рискнули взять меня без билета (вскочил в вагон, по спешке оставив билет дома). Он: «Казачки же!» Хозяева поделились, что в субботу собираются праздновать свадьбу внука: «Вот готовимся...» Ганичев передал Шолохову подарок — портрет по металлу словацкого художника-скульптора Яна Кулиха с надписью «Великому писателю».

Война, разумеется, тоже проявилась в разговорах. Началось с того, что Шолохов высказал свое мнение — высокое — о маршале Жукове. Потом поделился предположениями, почему Сталин и Хрущев допустили грубое недоброжелательство к всенародному любимцу. Сказал: «То была не только ревность к славе, но политическая боязнь. Не верю, что Жуков затевал заговор против Сталина. Едва ли такое могло быть. Сталин заговора

Жукова мог не бояться...» Мария Петровна добавила: «Михаил Александрович очень Жукова любит». Ганичев припомнил, как вручал незаслуженно отставленному от дел маршалу подарочное издание «Тихого Дона» и тот выразил свою любовь к роману. Шолохов посетовал: «Жаль, что ни разу с ним не встретился».

Углядев на его столе том воспоминаний маршала Рокоссовского, я спросил: «Читаете?» — «Перечитываю!» И в голосе усмешливая, как почувствовал, укоризна. Дескать, разве он мог позволить себе не прочитать эту книгу раньше. Добавлю: в последующее свидание, уже в больнице, тоже углядел то, что он читал — «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова.

Тут Мария Петровна стала рассказывать, как на кремлевском приеме в 1945-м в честь окончания войны Рокоссовский выделил ее среди женщин и одарил букетом роз. Сразу востроилось сердце мужа и талант писателя. Сказал кратко, но живописно: «Как журавель подлетел!» И в самом деле журавель, если припомнить по фотографиям этого высокого красивого человека, когда он, длинноногий, в галифе.

Война... Он вспомнил о своей матери, о ее гибели. Мария Петровна отметила такую ее черту характера, как упрямство. Ганичев сказал Шолохову: «Вас ведь тоже трудно переубедить. Вы тоже упрямый...» Ответил: «Нет». И усмехнулся: «Если кто меня переубеждает, я сдаюсь, подчиняюсь».

Рассказали ему об одном новом в «Роман-газете» документальном произведении, пояснив, что оно о тяжелых невзгодах начала войны на Южном направлении. Отозвался: «А где тогда тяжело не было?»

Дополнение. Читал маршала Жукова и его воспоминания. Как-то заявил: «Жуков был великим полководцем суворовской школы. Он понимал, что на плечи солдата легла самая нелегкая часть ратного подвига. Думаю, потому его воспоминания и пользуются такой любовью. Писателям-профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой литературой. Это свидетельство очевидца...»

«Они сражались...» и Брежнев

Разговоры, разговоры... Велик иску́с узнать судьбу военного романа. Это мы, гости, в первый день подогреты откровением — почти шепотом — секретаря Шолохова. Он сослался на свидетельство младшего сына

писателя: роман в полном своем виде оказался в огне. Это ошеломило.

Нам рассказывали, как он сидел на корточках перед огнем...

Порыв отчаяния или хладнокровный расчет?

Признание в поражении или протест?..

Трагедией обернулся порыв Шолохова отослать роман «Они сражались за родину» Брежневу.

Что это было? Наивная доверчивость или привитая десятилетиями привычка партдисциплины, что писатель обязан советоваться с политиком?

У нас была возможность после услышанного встретиться еще раз — наутро — с писателем. Шли из гостиницы к нему и все думали: как спросить о судьбе романа?

Как и в первый день, проходим на второй этаж — в его, Шолохова, рабочий кабинет. Окна, окна, окна — просторно заоконным взглядам... Вновь он в кресле-каталке. Вновь Мария Петровна рядом. Как и вчера, Шолохов совсем плох. Жестокая болезнь изнуряюще держала его в своих цепких клешнях. Худ, бледен, кожа истончена до прозрачности и какой-то неживой хрупкости, глаза поблеклые, взгляд от боли беспомощен. Всегда не славился многословием, а тут по вынужденности молчит чаще, чем что-то говорит нам... Страшно.

Да вот, как и вчера, минута за минутой, постепенно, а совладал характер с немощью. Стал шутить — то колко, то с мягкой лукавинкой. По всему видно, что силен на все-таки незамутненную лекарствами и старостью память. Жадно любопытен к тому, что происходит там, на воле, в Москве, где уже многое назревало с появлением у власти Юрия Андропова.

Говорим, говорим, а не наберемся смелости выпрашивать о романе безнадежно больного человека. В лобовую, понятно, не полюбопытствуешь — жив, не жив роман? Но как узнать? Первым Ганичев не утерпел. Проявил замысловатую дипломатичность — спросил эдак невинно да к тому же рукой перевел наши взгляды от письменного стола к книжным шкафам:

— Михаил Александрович, а где вы храните здесь полную рукопись романа?

У меня мелькнуло: «Ну, вот петелька для ответа». Жду — вдруг не подтвердит, что бросил рукопись в огонь, что скажет: «Да где же ей быть, как не в столе...» Он, однако, собрался и дал резкую отваду нашим хитростям.

— Здесь ее нет! — сказал неподступно, твердо, как ударил палицей. Мы уже знали последствия такой жесткой интонации. Новые — неугодные

ему — вопросы мог перебить, а то и вовсе прекратить встречу.

Так мы остались без прояснения этой загадки — почти гоголевской! — в жизни Шолохова. Ни словом, ни намеком ни он, ни Мария Петровна не выдали нам, отсутствует ли рукопись только здесь — в кабинете, или — не дай Бог — ее вообще нет.

Утром на поезд. На память увозили несколько фотографий. Одну из них выделяю: Шолохов за столом, ворот вольно расстегнут, в одной руке — листы статьи, в другой — сигарета, рядом — стакан чаю... Будто вернулась творческая молодость.

Диктовки сыну

Поклон младшему сыну, Михаилу Михайловичу, что добросовестно перелагал на бумагу диктовки своего великого, но уже безнадежно больного отца. То сам что-то спросит. То отец попросит посидеть рядом, видимо, чтобы выговориться.

Сын как-то спросил: «Почему стал возможным культ Сталина?» Ответ (ради краткости привожу из записи сына главное) был таким:

— Да вдумайтесь сами: а что же еще у нас могло после революции получиться? Вот, скажем: «Вся власть Советам». А кого в Советы? Думаешь, кто-то знал ответ? «Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» — вот и все. Но это, милый мой, на плакатах хорошо... А ты с этим в хутор приди, к живым людям. Рабочие там, понятно, не водились. Крестьяне? Крестьяне — пожалуйста, сколько хочешь, все — крестьяне. Кто же будет от них депутатом?.. Да уж, конечно, не дед Щукарь. И не Макар с Разметновым, которые и семьи-то собственной сложить не могут, в собственных курнях порядка не наведут... Казаки им так и скажут, вы, мол, братцы, двум свиньям жрать не разделите, потому что больше одной у вас сроду и не бывало, какие же вы для нас советчики? А яковов лукичей да титков — нельзя. Советы и создавались, чтобы их как класс... Вот и оказались самыми подходящими — «солдатские». Кто с оружием в руках завоевал эту власть, тому и властвовать. А они что же... Агитаторы и рубаки, как правило, неплохие. И вообще, может быть, «хорошие ребята», как у Ивана Дзержинского в опере поется. Но чтобы жизнь по-новому переделать, мало быть хорошими ребятами... И вот расселись эти герои революции по руководящим креслам... Знаний-то фактически никаких. Только и оставили войны умение одно — получать приказы да отдавать. И летит хуторской комиссар сломя голову к станичному за приказом. А тот,

такой же умелец, как он сам, только званием, может, повыше, — в область. А тому куда? Тут уж хочешь не хочешь, а должен где-то на самом верху появиться вождь. Именно вождь. Верховный главнокомандующий. Человек, способный взять на себя смелость принимать окончательные, верховные решения... Для всех. Сверху донизу и от Москвы до самых до окраин...

Пространен монолог на страницах этой книги. Но он сверхкраток, если сравнивать с тем, что у других в многостраничном изложении стало появляться в печати после 1985 года. Приоритет Шолохова в том, что он, пожалуй, первым стал говорить не об особенностях личного характера Сталина, тем более клинических, как это стало модно в перестроечных баталиях на темы советской истории, а более масштабно.

— Вообрази себе на минутку то время. Окинь его одним взглядом с высоты птичьего полета, как говорится... Революция. Гражданская война. Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем пакостна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает...

— У тетки моей, у твоей бабки двоюродной, Ольги Михайловны, — четыре сына: Иван, Валентин, Александр и Владимир. Трое — бойцы Добровольческой армии, а Валентин — красный... Выбьют красные белых с хутора, Валентин заскакивает домой, воды попил, не раздеваясь: «Ничего, мать, не горюй! Сейчас всыпем этой контре, заживем по-новому!» На коня — и ходу! А мать в слезы, — волосы на себе рвет... А через день таким же макарон Иван влетает: «Был Валька, подлюка? Ну, попадетса он мне! Ничего, погоди, мать, немного, выбьем вот сволоту эту с нашего Дона, заживем по-старому!» А мать уже об печь головой бьется... И так ведь не раз, не два.

— Избрали хуторскую советскую власть. Не хуторяне, конечно. Станичная власть ее избрала... И вот сидит эта новоизбранная власть в атаманской правленческой избе или в экспроприированной хате какого-нибудь «хуторского богача». А за окном-то неуютно... Через окно, бывает, и постреливают. Будешь ты ждать, когда тебе пулю в лоб влепят? А то и просто вилами в подходящем месте? Никакой настоящий мужик ждать этого не будет. Повесит он наган на бок, чтоб всем видно было, и пойдет сам врагов искать. И как его определишь, врага-то, когда на тебя чуть не каждый второй чертом глядит? За ведьмами так когда-то гонялись... Час от часу подозренье растет; подозрение растет — страх все сильнее; страх подрос, а подозрение, глядь, уже и в уверенность выросло. Остается лишь в «дела» оформить эту подозрительную уверенность, которую тебе нашептала твоя «революционная бдительность»...

Шолохов не потрафил и другой стороне:

— А те, кто не при власти оставались, думаешь, сидели, молчали? Нет, брат, тоже и брыкались, и бодались, и блеяли, кто как мог. Вот и разберись тут, кто виноват...

Он нашел в себе силы подняться до высот стратегически смелых обобщений:

— Когда там по вашим учебникам гражданская закончилась? В 20-м? Нет, милый мой, она и сейчас еще идет. Средства только иные. И не думай, что скоро кончится. Потому что до сих пор у нас что ни мероприятие — то по команде, что ни команда — то для людей, мягко сказать, обиды...

Еще обобщения:

— Паршивые, бездарные ученики мы у истории — вот что плохо. А у нее одно, веселенькое такое, правило есть. Все, что для предков правым было, для потомков чаще всего неправым оказывается. И далеко ходить не надо. Все, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на штыки подняли. Но и все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто восторгается, скорее всего уже наши внуки проклянут. А мы все продолжаем думать, что нас минет чаша сия. Гомером надо быть, чтобы суда уже ближайших потомков избежать. А мы что же? Временщики. «И каждому довлеет доля его». Не способны мы и на шаг от «злобы дня» отойти. Ни от «злобы дня», ни от «злобы» групп. Думаем, что наше сиюминутное — это и есть то, что устроит всех во веки веков.

Разве все это не истинно Политическое завещание писателя?!

Сказы сыну про колодцы

Страшные боли. День за днем невыносимые страдания. Рядом с Михаилом Александровичем с утра и до ночи то врач, то медицинская сестра, то дети и всегда жена.

Он старался — изо всех сил! — жить. И, думаю, поддерживал себя не только лекарствами.

Из воспоминаний сына о разговоре с отцом одним осенним днем 1983 года.

«— Налей мне водички, сын, — тихо попросил он.

Я налил воды в стоящую перед ним на столе чашечку и с мукой смотрел, как он замедленными, словно в кино, движениями взял ее в свои слабые, высушенные болезнью и ставшие детски-маленькими руки. (Даже чашечку мы тогда ставили ему кофейную — поить себя он никому и ни за

что не позволял, а удержать в руках обычную чайную чашку порой уже не мог.)

Отец уже поднес было чашку ко рту, но пить не стал. Опустив ее до уровня груди, задумался, слегка повернув голову и глядя в окно.

— А ты помнишь, какая вода была в колодце сразу за Ольховым Рогом на горе? — неожиданно спросил он. — Остался он, живой еще, не знаешь?

— Да что ты! Ничего не осталось, даже и места не найдешь...

— А у Поповки, у мостика, помнишь?

— Помню, конечно...

— Тоже не остался?

— Нет. И его уже нет...

— Да-а, — медленно протянул отец. — Деды, черти их носили по буграм да по ярам, — родники чистили, срубам не давали обвалиться. Банки, склянки, кружки оставляли, чтоб посудинка какая-нибудь у колодца была. Попить прохожему-проезжему...

Он опять потянулся к чашке и опять не стал пить.

— А у Моховского, недалеко от моста, у речки, помнишь, тоже какая замечательная вода была? У Еланской мельницы. Тоже, наверное, ничего не осталось?

Он несколько раз подносил чашку ко рту и всякий раз, не притронувшись к ней, возвращал.

— Раньше-то люди все больше пешком ходили. Или на быках, на лошадях — им тоже пить надо. Вот он, колодец, и нужен был... Какая благодать-то после дорожной жары в тенечке посидеть, попить, перекусить, покурить-поговорить, а то вздремнуть, пока быки или лошади кормятся и отдыхают. А теперь что? Пролетел на машине от места до места — и байдюже.

— Теплая, — поморщившись, сказал он, осторожно возвращая чашечку на стол.

— Да пока ты собирался, — попытался я изобразить „бодрость духа“, — она и теплится могла. Давай я пойду из колонки холодненькой принесу.

— Не надо. Расхотелось. Пойди лучше узнай, почта не пришла?»

Последняя больница

1984 год, 9 января. Новая у меня встреча с писателем. И снова, увы, в больнице, все в той же, неподалеку от Москвы-реки, от того места, где

когда-то клялись в дружбе Герцен и Огарев.

Встрече предшествовало мое письмо. В нем сообщал Шолохову: «Мечтаем начать в новой пятилетке Ваше очередное собрание сочинений. Но встретился с А. В. Софроновым, гл. редактором „Огонька“, который сказал, что Вы хотели бы видеть свое собрание сочинений, изданным приложением к журналу. Так ли это?..»

И вот звонок. Мне передают, что писатель хотел бы поговорить о судьбе своего издания.

Вхожу в палату. Уже вечер. Он в кресле на колесах у письменного стола: простенькая пижама, из-под нее на груди виднелся треугольник белой нижней рубахи. На столе книга, газеты, склянки лекарств и две пепельницы. Одна из них давно запомнилась мне своей занятой конструкцией — с крышкой-вертушкой, как у детского волчка. Неужто и здесь курит — при своей-то болезни?

Ушла красота. Иссох-худ до непостижимости. Поредел вихор над высоким лбом и почти не разглядеть усов. Когда рука подымалась и рукав вздергивался и обнажал предплечье, виднелся багрово-лиловый кровоподтек от неисчислимых, как понял, уколов, вторая рука перевязана пониже локтя, наверное, по той же причине.

Но пуще всего привел в отчаяние голос. Начинал говорить хорошо, а потом все чаще с передыхом, с бульканьем, с хрипами и с изнуряющими пароксизмами скрипучего кашля. Поизгалялась над ним болезнь! А по-прежнему, смотрю, курит свои махорочно-крепкие французские сигареты, истинно горлодер. Не бережет себя — и начал разговор по надобности, и отвечал, хотя и через силу, но охотно, и умолкал по необходимости мысли, а не от боли.

Могучий ум не хотел сдаваться. Умиравший писатель последние дни или недели своей жизни, а он это понимал, решил отдать хлопотам о посмертном издании. Благородные заботы! Не суетные, не пугливые, чистые перед ликом смерти.

Застал при нем Марию Петровну и дочерей: Светлану и Марию. У стены весь вечер безмолвно сидела на стуле молоденькая медсестра. Ох, не зря здесь эта сестричка... Почувствовал, что все готовы к самому плохому. Ощуцаю это по глазам, что наполнены предупредительностью, по бесшумным движениям-хождениям, по щадяще-сдержанному за его спиной шепоту.

Поздоровался. Меня усадили рядом с его коляской. И уже через минуту-другую пошел разговор по той теме, ради которой приглашен.

Мария Петровна: «Мы хотели бы просить издать собрание сочинений

в Гослите к юбилею...»

Он: «Да, да... (умолк: кашель, хрипы) это... (пауза) самое... (пауза) хорошее издательство...»

Я: «А как быть с обещанием „Огоньку“?»

Он: «Хочу... у вас... в Гослите...»

Мария Петровна: «Он добрый. Никому не отказывает, вот и пообещал летом».

Я: «Могу ли я считать наш разговор официальной просьбой?»

Он: «Да... да...» (по-прежнему натужно выкашливая-выхрипывая каждое по отдельности слово, даже эти вот краткие).

Я спросил: «Надо ли готовить иллюстрации?»

Хорошо, что спросил: спор пошел. Жена и дочери — за, а он: «Не хочется...» Они настаивают. Он: «Не хочу... Не надо... Не нравится...»

Вдруг — может, чтобы остудить страсти и прекратить спор: «Давайте-ка... угостите... гостей...»

Для меня-то какая радость. Закрепляем его согласие издаться именно в Гослите, как по привычке именовали «Художественную литературу», по казачьему обычаю рюмочкой. Сам он не потянулся к ней — кивком велел передать дочери.

То и дело мелькала мысль: не утомить бы чрезмерным присутствием. Он углядел порыв подняться и велел не уходить. Как и все прошлые разы. Я догадывался: Шолохов плохо чувствовал себя в больницах еще и потому, что недоставало и новостей, и живого общения с вольными людьми.

Взглянул на мою лишь чуть-чуть початую рюмку: «У нас... пьют... до дна... Закусывай... Закусывай...»

Слово за слово и пошел разговор, да не по компасу, а по настроению. И чтобы стало понятно, как он непринужденно складывался, скажу, что я отважился — сказала, видно, рюмочка! — даже на песню, на казачью, из тех мест в Казахстане, где прошло мое детство. Это после того как в разговоре упомянули Ивана Шухова и его некогда знаменитый казачий роман «Горькая линия» о тех казаках, что жили по Иртышу, а это и моя когда-то река.

Он стал силиться что-то вспомнить о каком-то рассказе Бунина. Но сипы и приступ кашля не дали ничего разобрать. До сих пор терзаюсь, что ушло в невозвратимое ничто прощание Шолохова со своим собратом по перу и по Нобелевской премии — кого и читал, и укорял.

Успокоился и отчего-то сообщил, что в Ростове идет судебный процесс над крупным жульем. И вдруг: «Не национальность... определяет... судят разных... русские... евреи... армяне... греки...»

Приметно было, что когда кашель-лиходей заставлял умолкать, то глаз не опускал, а как раз-то обращал свой долгий взгляд на того, с кем говорил. И был тот взгляд не пристальный, не в упор — было бы неприятно, — а мягкий и грустный, извиняющийся.

По какому-то поводу произнес: «Праздник у нас... через два дня... свадьба... шестьдесят лет... вот когда-а поженились...» И улыбнулся, преодолевая боль.

Стали гадать, как называть такую свадьбу — золотая ли, бриллиантовая.

— Стальная! — переименовала младшая дочь безо всяких красивостей и сразу, одним этим простым словом, обозначила, как прочно прожиты совместные десятилетия.

— Из нержавеющей, — без промедления уточнил он совсем уже тихим голосом, но придал ему свою, уж сколько раз мною помянутую, шолоховскую лукавинку.

И показалось, что всего-то этих двух слов хватило, чтобы неизлечимая хвороба пожалела его и отступила — глаза заблестели: оживленные, молодые. Напоминал он мне сейчас Суворова из старого довоенного фильма — маленький, сухонький, с седым завитком на огромном лбу и озорной усмешкой.

— Как же начинали совместную жизнь? — спросил я.

Он отмолчался. Мария Петровна ответила — вспомнила суровую после Гражданской войны Москву, с ее голодными и холодными лишениями. Уточнила:

— Трудно приходилось, когда начинали. Иной раз на целую неделю одна селедка да несколько картошек в чугушке. Гонорары у него еще в тот год были редкие да маленькие.

Шолохов внимал, не перебивая, безотрывно глядя на нее и никого, казалось, вокруг не замечая. Глаза у него в те минуты не только слушали — они говорили.

Счастье было видеть это его влюбленное состояние.

Случилось, оказывается, продолжение всего того, что услышал в тот день о верном в десятилетиях содружестве-супружестве. И светлое от бывшего счастья, и скорбное из-за неотвратимо наступающей беды это продолжение. Но, слившись, воспринималось как возвышенные порывы редкостных в наш суховатый век чувств верного на любовь и благодарного за любовь 79-летнего человека.

11 января. Прямо в больничной палате супруги Шолоховы праздновали юбилей. Гостей, понятно, было немного. Маша, младшая дочь,

рассказала мне на другой день, как радовался отец гостям и поздравлениям в телеграммах и по телефону, как выделил приветствие из нашего издательства, которое оформили в виде шутливой плаката.

Но вернусь к нашим разговорам 9 января. Передаю Шолохову слова участливого приветия Леонида Леонова, с которым довелось переговорить перед самым посещением больницы.

Ответил заботливо: «Как... он... там?.. Спасибо... ему... доброе...»

В прошлую встречу, вспоминая, тоже заинтересованно расспрашивал о Леонове, о том, в частности, пишет ли, работает ли? Задумчиво — так запомнилось — воспринял мой рассказ, что Леонов в каждый том своего переиздаваемого собрания сочинений вносит значительнейшие поправки и вставки.

Оживился — это я принялся рассказывать, что перечитал его, шолоховскую, публицистику военных лет и, напоминая, переложил сюжет одного из очерков.

Прежде чем привести следующую запись — небольшое отступление. Летом 1983-го, после того как наслушался от Шолоховых охотничьих рассказов, осмелился перерассказать ему как-то услышанные слова Сергея Тимофеевича Коненкова об охотничьем увлечении писателя с укоризной. Старый скульптор так выразился: «Шолохов он наш Толстой, а не одобряю его этой страсти. Зачем он убивает уток и гусей?..»

Потом, чего скрывать, я пожалел о сказанном. Мне показалось, что Шолохов обиделся. Ведь все знают, какой он давний и страстный охотник. Потому-то теперь, уловив момент, так прямо и сказал: «Мне показалось, что вы тогда обиделись...»

Ответ был из трех фраз. Первая:

— С годами... всё меняется...

После мучительной передышки, что усугубилась еще и приступами кашля, продолжил слабым голосом:

— У нас... в районе... этой зимою... последнюю волчицу... убили...

И напоследок, как бы заканчивая объяснения с братом по искусству, произнес совсем короткую фразу. Она и неоконченная не оставляла никаких сомнений в том, что мог бы дальше высказать:

— Всякий... зверь... красивый...

Переглядываемся с дочерью и — невольно, не сговариваясь, — вслух повторяем это поразившее своей мудрой простотой изречение. Он кивнул, как бы еще раз удостоверяя высказанное.

Мария Михайловна вышла меня проводить до лифта. Проговорила:

— Брат мой, Саша — старший — тоже здесь. Рак... Тоже. Его

положили в другое отделение. Разве можно им встречаться? Папа не выдержит, если узнает.

Представил, каково семье переживать одновременно два столь страшных горя, осознавать единую судьбу мужа-отца и сына-брата — скорую смерть.

...Я увозил из больницы письмо. Вот оно полностью: «Юрию Петровичу Реброву. Получил свой портрет, работу которую Вы создали. Большое спасибо, дорогой Юрий Петрович! Хорошо помню, как Вы работали над „Тихим Доном“. М. Шолохов. 18 января 1984 года».

Не обойтись без пояснений. Художник-график Юрий Ребров начал иллюстрировать роман в 1963 году. То было в сущности начало его творческого пути. Важно знать, что не сразу привыкал Шолохов к мысли о новых иллюстрациях неизвестного ему художника. До нашего директора Юрия Мелентьева и до меня доходили слухи, что писатель откажет издательству в праве оформить роман работами Реброва: когда-то писателю не понравились его иллюстрации к военному роману. Случилось даже такое: не принял его дома, когда тот приехал на Дон «за натурой», как говорят художники. К тому же нам рассказывали, что в выборе художников Шолохов страшно пристрастен — однолюб и в этом упрям. Все знали его давнюю слабость к довоенным иллюстрациям Королькова.

Мы, в особенности художник, очень болезненно переживали такие слухи и предостережения.

Меж тем художник так верил в себя, что все-таки закончил иллюстрирование романа.

Пришло время показывать иллюстрации Шолохову. Продумали некий сценарий. Сначала директор зазвал друзей Шолохова. Им понравилось. Потом пригласили его самого.

Приехал... Замысел — наивный — Мелентьева был в том, чтобы до последнего, как бы по случайности, не называть имени художника, чтобы заранее не подтолкнуть к отказу.

Смотрины состоялись в моем кабинете. Художника, понятное дело, с нами не было: он сидел тайком в соседнем кабинете. Каково же ему было ждать приговора?!

Шолохов внимательно рассматривал каждый лист графики — кажется, почти два часа принимал экзамен от издательства. Переходил от одного к другому листу — они были разложены прямо по полу — молча, без всяких оценок-комментариев. Последняя иллюстрация... Директор спрашивает: «Что скажете, Михаил Александрович?» Крутнул головой и ответил кратко и не очень-то внятно, чтобы понять — понравилось или нет: «Ну, сукин

сын!»

Только через какие-то секунды дошло до всех, что произнес это весело: не в осуждение, а, напротив, с явным восхищением.

И вдруг вопрос: «Кто же художник? Что не говорите?»

Я тут, с домашней, как выражаются шахматисты, заготовкой, как бы в нетерпении, перебиваю Мелентьева и спрашиваю невинным голосом: «А вы знаете, „Известия“ просят опубликовать что-либо из рисунков, если вам понравится. Можно ли дать им?»

Он разгадал — несомненно — хитрованство: публично, следовательно, невозвратно увековечить одобрение художнических творений. Кинул быстрый взгляд, как обжег. Но не отказал: «Ну, если разве просят...»

Мелентьев тут же подоспел с ответом и раскрыл имя художника.

С 1965 года графика Ю. Реброва к «Тихому Дону» часто переиздается, она удостоена медали Академии художеств.

Последний договор

С утра следующего дня начал заниматься главной просьбой писателя. Обсуждали в издательстве и в Комитете по печати, как побыстрее приступить к подготовке собрания сочинений. Многие помогали, ибо многое надо было заранее предусмотреть: и сколько томов, и каким тиражом, а с бумагой все еще страшно плохо, и каким должно быть предисловие, и еще, еще.

Понимали, что времени у нас ничтожно мало. Дни? Недели? Хотелось хоть бы чем-нибудь засвидетельствовать умирающему писателю, что подготовка началась и идет работа.

Меня и Юрия Николаевича Верченко, секретаря Союза писателей, приглашают в ЦК, к секретарю, который ведает идеологией и культурой. Он просит ускорить подготовку договора — сказал, что сообщения врачей малоутешительны.

19 января. Вместе с Верченко привозим в больницу издательский договор — на подпись. Знаю, что не случайно в ЦК поручили навестить умирающего именно Верченко — они давным-давно по-доброму знакомы, и знакомство это начиналось в «Молодой гвардии».

Застали Михаила Александровича все в той же коляске и даже в той же позе у стола — спиной к двери.

В палате с ним Мария Петровна и старшая дочь.

Вглядываюсь. В уголках губ бурые пятнышки — нам потом пояснили, что незадолго до нас у него шла горлом кровь. По правую руку на столе книга: воспоминания маршала Жукова.

Рассказываю ему об условиях договора и прошу подписать. Он взял ручку, бегло охватил взглядом бланк договора и — твердо, четко — подписал. Заметил полагающуюся на этом документе роспись главного редактора и передал ему привет. Уважал его.

Верченко рассказал, что секретариат Союза писателей постановил созвать осенью пленум по случаю 50-летия создания писательской организации. Слушал почти что безразлично. Встрепенулся — да как заметно — когда я «заявил»:

— А разве Шолохова можно приглашать?!

И держу паузу: нарочитую. Прием сработал — Шолохов весь внимание. Я продолжил по неожиданно втемяшившемуся сценарию, чтобы как-то разжечь ушедшего в боль человека, но обратился будто бы не к Шолохову:

— Он же раскритикует всех... Помните, как он в своих речах критиковал Фурцеву, Эренбурга, Симонова... Он же с шашкой наголо придет на пленум...

Сценарий удался — он оживился.

И вдруг о тех, кого я упомянул:

— Они... же... все... умерли...

Кому по силам разгадать, что он вложил в эту фразу.

Когда прощались, его глаза увлажнились.

...Собрание сочинений вышло миллионным тиражом.

Никогда не забуду — письма и книготорговцев, и читателей — все требовали и требовали увеличить тираж.

Но тогда, когда пришла скорбная весть из Вёшек о кончине Михаила Александровича, а книга все еще готовится, как же было тягостно сознавать, что Шолохов так и не увидел этого своего издания. Не удалось ему взглянуть на сигнальный экземпляр, вдохнуть запах — особый, неповторимый — бумаги и краски, и провести по обычаю ладонью по переплету, и выловить в выходных данных, каков же тираж.

Глава вторая

УДАРЫ ВИСОКОСНОГО ГОДА

Михаил Александрович Шолохов мужественно жил и столь же мужественно умирал.

В заботах о литературе, в тревогах за будущее своей страны и в любви к жене.

Последние требования и желания

Вдруг Шолохов потребовал вернуть себя домой, в Вёшки. Мария Петровна и дети в отчаянии — там же не будет таких врачей.

Врачи же этой главной кремлевской лечебницы справедливо сказали: «Не надо перечить... Если ему хочется... Вдруг возвращение станет чудом...»

Но вылет все откладывали — нелетная погода. Вёшенец каждое утро обращал взгляд — в нетерпении — в окно: какое небо?..

Летели небольшим самолетом — обком партии побеспокоился и выделил «Як-40».

Дома ему разрешали многое. Сначала все шло у него как прежде при какой-нибудь обычной болезни: с утра — газеты, потом подписывал депутатские ходатайства — «по начальствам», читал книги...

Но дикая боль брала свое. Врач поражена: он отверг наркотики — никаких уколов с обезболивающим.

Он уходил в дрему или в прерывистый ночной сон, только если рядом была рука Марии Петровны.

Чувствовал неловкость, что с ним даже после окончания рабочего дня просиживали врач и сестра. Пытался урезонивать их — идите, идите же по домам, со мной ничего не случится...

Тяготился и тогда, когда сам уже не мог взять в руки кружку с чаем или когда ему меняли рубашку. Возненавидел свое все более проявляющееся бессилие.

Курить не перестал.

Он знал о своей безнадежной болезни. И все-таки силился жить. Вдруг вспомнил — обещал какой-то сельской библиотеке книгу «Тихий Дон» с автографом. Вдруг попросил секретаря сходить в райком и заплатить

партийные взносы. Тот, не подумав, произнес: «Есть еще время». Мол, середина месяца, а платить надо в конце. В ответ — какой-то новый, особый взгляд — он явно был полон непонимания: неужто не ясно, что для жизни каждый миг значим. Вдруг всплыли в памяти обязательства перед издательством.

Тут-то и пришло в середине февраля мне письмо. Вскрыл конверт — знакомая подпись, дата — 9 февраля 1984 года. Это, наверное, было самое последнее письмо Шолохова, связанное с литературными заботами. В нем всего шесть строк. Все они — без всяких лишних слов — подчинены одному: подготовке собрания сочинений. Назвал составителя предстоящего издания. Выбрал младшую дочь Марию Михайловну.

Немедленно отправляю ответную телеграмму: «Госкомиздатом СССР принято решение об издании Вашего собрания сочинений в предложенном Вами объеме. Выполнена Ваша просьба о привлечении Марии Михайловны Шолоховой-Манохиной в качестве составителя сочинений. Приступаем к работе. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким».

И еще выпало мне прикоснуться к его творческому завещанию. Это Мария Михайловна вошла в обязанность составителя и передала важнейший документ — отцов наказ восстановить в «Тихом Доне» в числе нескольких фамилий прежде всего Троцкого.

Такое указание Шолохова — особая строка его творческой биографии. Он на пороге смерти решил побороться за полную историческую правду в теме рассказывания. Речь о том, что ни Сталин, ни последующие вожди не могли никому позволить обнародовать даже в художественном произведении, что именно партия и власть развернули ликвидацию казачества. Троцкий в Гражданскую всячески поощрял эту изуверскую кампанию, — и его нельзя было упоминать, ибо — посланец Центра. Явный, казалось бы, парадокс: Троцкий давно уже лютый враг и Кремля, и лично Сталина, и уже убит в эмиграции, но не дают права Шолохову назвать его в числе виновников трагедии. Такова непреложная логика у партагитпропа. И вот автор решается восстановить правду. Теперь все становилось на свои места — ведь без имени Троцкого получалось, что виновники рассказывания только-то и были местные перегибщики.

Вот как Шолохов завершал свой давний спор с ЦК.

На всякий случай я счел за благо ничего не рассказывать о велении Шолохова ни в ЦК, ни в Главлите, ни в Госкомпечати. Так и прошло. Никто и предположить не мог, что в романе можно что-то отреставрировать.

ЦК... Однажды в забытии он заметался с приговоркой, которая всех устрашила своей загадочностью: «А где мой цека? Где мой цека?» Так

никто и не уразумел — о чем это.

Увы, болезнь не смилостивилась и не отпустила даже в родных Вёшках.

Мария Петровна потом кое-что рассказала мне из самых последних дней его жизни:

— 18 февраля. Проснулся и заговорил: «Мы с тобой уже так стали похожи друг на друга, что мне даже и сон приснился. Как для обоих подседлали одну лошадь... зеленую».

— 20 февраля. «В одиннадцать, но, может быть, и в двенадцать ночи, за час-два до кончины, позвал, взял мои руки, и все их к себе, к себе притягивает, и тянется к ним, тянется... Уж сил совсем не было, а потянулся. Я сразу и не догадалась, что тянулся поцеловать...» То была последняя ночь.

Вспомнилась из некогда читанных дневников С. А. Толстой примерно такая фраза: «Как тяжело быть женой гения...»

Сколько же довелось пережить за долгую-предолгую общую жизнь Марии Петровне Шолоховой!

Как мы мало знаем о ней. Биография писателя заслонила ее. И я, взявшись за книгу о нем, увы, мало рассказал о его верной, стойкой и красивой жене. Так хотя бы сейчас кое-что дополню.

...В ее родительском — атаманском — доме властвовал трудовой быт. Ни она, ни сестры, ни братья никогда не оставались без работы на пашне, на сенокосе, со скотиной, уж не говоря о заботах девочки и девушки по дому и на кухне.

...До старости сохранила многие знания, полученные в епархиальном училище. Даже читала стихи по-французски. Успела поучительствовать.

...Держала огромный дом в уюте и слаженности. И радовалась, что муж не отдалялся от общих забот. Рассказывала:

— До конца дней любил, когда в дом съезжались дети, внуки. Летом у нас тут как дом отдыха. Кстати, Михаил Александрович один только раз ездил по путевке в санаторий. Он был хорошим отцом. Когда дети были маленькими, очень часто бывал в школе. Чуть что: «Мать, я в школу схожу». — «А что случилось?» — спрашиваю. «Ничего не случилось, — говорит, — схожу, посмотрю». Пойдет, выступит в классе. Детвора его любила. У нас их во дворе было, как грачат. Вы знаете, мне кажется, наши дети, пока учились, не до конца сознавали, что Шолохов, которого они изучают в школе, это их отец. Он никогда не говорил: «Я писатель». Тем более: «Как здорово я написал». Всякое хвастовство презирал. Был строг, но пальцем не тронул никого из детей.

Еще из ее рассказов:

— Я в молодости спокойная была, тихая да необидчивая...

— Миша веселый был, улыбчивый. Его потому и любили — все у него с шуткой...

— На меня поначалу вроде бы не смотрел. Даже обидно было.

Кое-что из признаний о ее жизни в пору долгого замужества:

— Он любил, когда я была рядом. И отдыхали всегда вместе... Охота, рыбалка... Из Англии ружья привез — себе, мне и сыновьям. Я стреляла не хуже его. А вот рыбалка... Он все шутил: «Не женское это дело — рыбалить. Сидела бы дома да мужу носки штопала».

— Землю любил. Часто в саду или огороде зовет меня — будто что произошло. Я подойду, а он радостный: «Посмотри, как выросло!»

О том, как переживала последние месяцы мужа:

— Болел он тяжело, но держался стойко. Иногда шел в кабинет — брался за ручку. Но чаще всего написанное уничтожал, рвал. Я ему: «Пусть бы полежало, может, понравится». Он: «Нет, Маруся, плохо».

— Любил, чтобы я была дома. Пойду куда-нибудь к знакомым на часок какой-то, так он спрашивается: «А где это наша мать? Любит шлаться». — «Да она же только ушла», — говорят ему. В последние годы старалась почти никуда не выходить. Сяду у кровати, начинаем читать, вспоминать. Теперь проснусь ночью, лежу и думаю: неужели правда, что его нет?..

Однажды журналист сказал ей о ее заслугах перед литературой. Она в ответ:

— Ну какая моя заслуга... Мы просто понимали друг друга. Он как-то сказал: «Как хорошо, Маруся, что мы одинаковые». А в шутку на золотой свадьбе предложил тост: «Учитесь, дорогие друзья, пятьдесят лет прожили мы с Марией Петровной и ни разу не разводились».

— Совсем не было ссор, обид?

— Почему же, были и обиды. Но надо сказать, что у него был хотя и твердый, но отходчивый характер. Вот что-нибудь произойдет, скроется у себя наверху, в кабинете, а минут через пять, слышу, спускается по лестнице рыться в книжных шкафах, потом зовет: «Маруся, ты не знаешь, где эта книга?» Подхожу и вижу, что она у него перед глазами. «Вот же», — говорю. «Ты смотри, молодец». Ну, можно ли после этого обижаться?

Холмик у Дона

Скончался Михаил Александрович Шолохов 21 февраля 1984 года

глубокой ночью у себя дома, на втором этаже. Секретарь остановил маятник часов в час и сорок минут. Стоял лютый мороз, и заявлял о себе ударами по окнам свирепый степной ветер.

В столице начали готовиться к прощанию.

Уже по первым двум абзацам официального некролога можно понять, каким видела Шолохова верховная власть:

«Советская литература понесла тяжелую утрату... скончался великий писатель нашего времени, дважды Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, лауреат Нобелевской премии, действительный член Академии наук СССР, секретарь правления Союза писателей СССР Михаил Александрович Шолохов.

Вся жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова — летописца советской эпохи — были отданы беззаветному служению советскому народу, делу коммунизма. Произведения Михаила Шолохова, покоряющие силой художественной правды, повествующие о революционном обновлении мира, оказали огромное влияние на судьбы всей прогрессивной культуры человечества...»

Создана комиссия по похоронам. Ее возглавил секретарь ЦК, тот самый, который пресек когда-то издание книги с разоблачением клеветы о плагиате. Установлен был церемониал прощания, утвержден список тех, кто будет выступать, а еще тех, кому разрешена поездка в Вёшки для прощания (далеко не всем, даже из числа близких соратников).

Министерство обороны приказало командованию Округа выделить комендантский взвод — не забыли, что классик имел с 60-х годов звание генерала.

Солдаты копали могилу неподалеку от дома — у Дона — между четырех берез. Шолохов сам их когда-то посадил и сам же недавно распорядился здесь себя схоронить от суетного мира. Вкапывались очень старательно — не по команде, а по желанию добраться до первозданного песочка: белый, как сахар, и рассыпчатый, будто провеянный.

23 февраля. Прощание было проведено по высшему партийно-государственному чину. Так распорядилась власть по постановлению ЦК.

Траурный митинг во Дворце культуры. Музыка Чайковского. Почетный караул. Тело усопшего везли оттуда к площади для траурного митинга на артиллерийском лафете.

Тяжело было видеть его в гробу маленьким, иссохнувшим. Но высокий лоб и беркутиный нос держали образ прежним: величавым и гордым.

Семь скорбных выступлений перед станичниками заранее

подготовившихся ораторов, вёшенцев было двое. Речи высокопоставленных гостей были преисполнены величественной патетики.

Станица прощалась с великим земляком на свой народный лад. Райком этому ничуть не мешал. Доступ пришедшим попрощаться не ограничивали. Впереди, казалось, нескончаемой ленты станичников и колхозников с близких и дальних хуторов шли бородатые старики-казаки с издали обнаженными — пускай стужа! — головами. Пока шествовали по этому морозу, могли кое-чем без всякого зазора и согреться. Было полно ребятни. У дома Шолохова горькие разговоры стихали и только слышались то всхлипывания женщин, то мужские вздохи.

Холмик запомнился — белый от песка. Он приподнялся еще выше от венков и цветов.

У могилы после прощальных речей — залп. Вздогнули люди и взмыли птицы.

Сын Михаил раньше всех вернулся домой — надо было встретить еле живую маму и озябших гостей. И наткнулся на двух неизвестных — они торопливо просматривали какие-то отцовы бумаги. Сын с обидой к ним: «Зачем обыскиваете?! Ведь пойдет слух, что был обыск. Опозорите отца и себя». Ему ответили: «Мы из хороших побуждений. Вдруг в каком-нибудь пришедшем письме что-то может скомпрометировать великого советского писателя. Надо ли это допускать?»

На поминках по старому доброму обычаю много светлого вспоминалось о покойном.

— Он не отбился от родного гнездовья и прежнего своего характера не потерял. С молодости был понятливым к людской нужде...

— Всею свету известны Вёшки. А вот нашу станицу, Букановскую то есть, мало кто знает. А в ней сознательная жизнь начиналась... В этот год огромные уродились тыквы, неподъемные. Так вот, Михайло Ляксандрыч одну из них под стол приладил, другую под сиденье. На тыквах и писал. Чудной, ей-бо. Постель ему застелили в горнице, по-городскому, а он в сеннике устроился, там и ночевал все сухие ночушки...

— Уж сколько годов Шолоховы вместе и было любо взглянуть на их семью. Дружно жили и счастливо. Четырех деток вырастили. С внуками в другой раз замолодились. У всех бы так...

— Он любил рыбачить в артели. Чтоб весело. С казаном ухи. И рассказы, прибаутки. Слушает. И сам мастак. Подвернет чтой-то — по песку катаются. Артельный он, свойский...

— Песни любил. Слушал он как! И подтянуть может, будь уверен...

— Смелость природная влюбила его в быструю езду. Молодым ишшо

он верхи скакал отчаянно. Падал с коня, даже ногу сламывал. А посла пондравился ему автомобиль. Выучился править и лихо ездил окрест. Как заправский гонец. Даже любимец народа Юрий Гагарин, когда гостил в Вёшках и прокатил Шолохова по-космонавтски, сказывал, что очень отчаянный автопассажир...

— Нет, сказать, что были приятелями, не могу. Просто хорошие знакомые. Зайдет, бывало: «Игнат Семенович, лодку дашь?» — «Конечно, берите». Порыбачит, вечером поставит, зайдет попрощаться, поблагодарит, дает деньги. Я не беру. А он: «Возьми на папиросы»...

— Наш бригадир выписывал наряд на чтение «Тихого Дона» по вечерам у бригадного костра прямо в поле... Тишина была какая!

...В Москве тоже многие ходили в горе. Леонид Леонов позвонил в редакцию «Известий» и продиктовал короткое, но значимое слово прощания: «Вместе с миллионами читателей глубоко скорблю о безвременном уходе из жизни...» Затем так обозначил величие его творчества: «Подарил стране самую замечательную книгу нашей эпохи».

...В Америке на смерть русского писателя откликнулся давний его недруг Гаррисон Солсбери: «При всех наших идеологических расхождениях я искренне считаю Михаила Шолохова поистине великим писателем... Будучи полемическим оппонентом политических убеждений Шолохова, я тем не менее отдаю дань уважения его писательскому мастерству и его вкладу в сокровищницу мировой литературы».

Над могилой стоит памятник — простая глыба камня с одной строкой по стесу: «Шолохов».

Рядом покоится Мария Петровна, верная в долгой совместной жизни Маруся-Марусенок.

Выражаю искреннюю признательность за содействие в написании книги семье писателя, работникам Государственного Музея-заповедника им. М. А. Шолохова (ГМЗШ) в станице Вёшенской, Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива новейшей истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

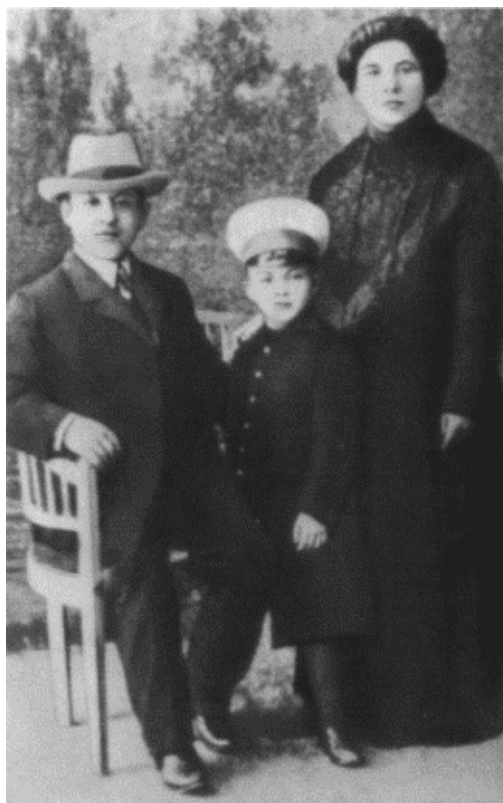
Книга не была бы написана без использования ценнейших изысканий Ф. Абрамова, Ф. Бирюкова, Вл. Васильева, В. Воронова, Ю. Дворяшина, В. Гуры, Н. Глушкова, Г. Ермолаева, И. Жукова, А. Журавлевой, Л. Колодного, Н. Корниенко, Н. Корсунова, В. Котовского, Н. Котовчихиной, В. Кожина, Ф. Кузнецова, О. Круглова, А. Ларионова, В. Литвинова, П. Палиевского, В. Петелина, К. Приимы, С. Семеновой, Т. Смирновой, Г. Сиволобова, Н.

Федя, В. Чалмаева. С интересными открытиями многих других ученых и мемуаристов я познакомился в сборниках Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова, Ростовского государственного университета и ГМЗШ («Вёшенский вестник»), в журналах «Дон», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Слово», в газетах «Тихий Дон» (Вёшенская) и «Молот» (Ростов-на-Дону).

Благодарю за помощь в компьютерной обработке материала Елену Кафарену и Дениса Минаева.

ИЛЮСТРАЦИИ





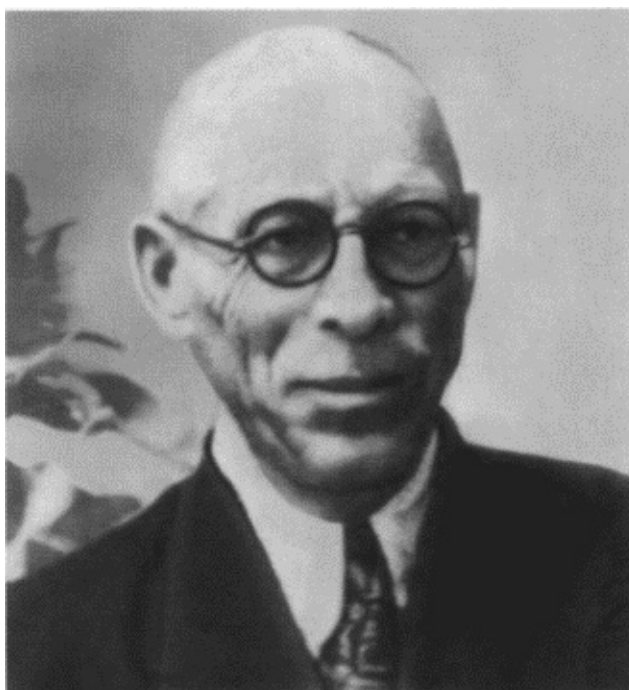
Миша Шолохов с родителями — Александром Михайловичем и Анастасией Даниловной.



Дом, где родился Михаил Шолохов. Хутор Кружилин.



Школа, где учился будущий писатель. *Хутор Каргинский.*



Тимофей Тимофеевич Мрыхин — учитель Миши Шолохова.



Белое казачество.



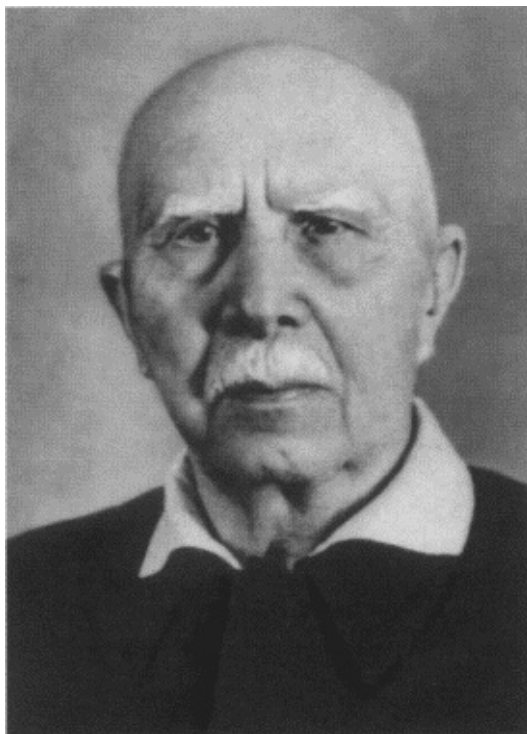
Красное казачество.



Михаил Александрович Шолохов с женой Марией Петровной. 1924.



Станица Вёшенская. Начало 1930-х гг.



Писатель Александр Серафимович.



Молодые писатели: Михаил Шолохов, Александр Афиногенов, Иван Молчанов. 1925.



Издание второй книги «Тихого Дона» в «Роман-газете».



А. Солдатова. В ее доме М. Шолохов начал писать «Тихий Дон».



Шолохов читает отрывок из «Тихого Дона» в клубе фабрики «Красный богатырь». 1929.



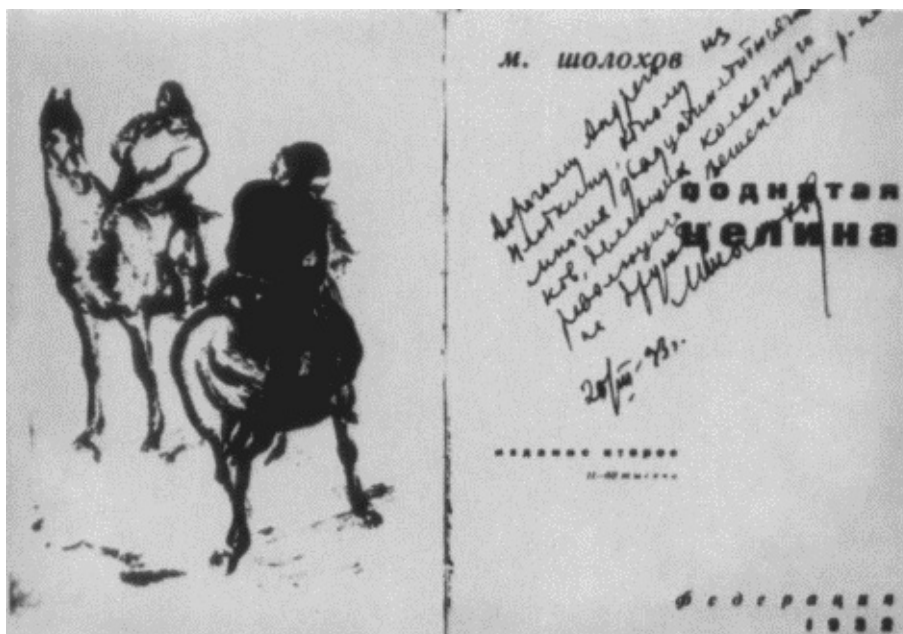
Шолохов (в центре) с земляками. *Начало 1930-х гг.*



Писатель Александр Фадеев.



Встреча в Ростове. Слева направо: Владимир Ставский, Михаил Светлов, Михаил Шолохов, Григорий Кац, Александр Бусыгин. 1928.



Издание «Поднятой целины» с дарственной надписью «одному из многих двадцатипятидесяти тысячников» Андрею Плоткину. 1932.



Беседа с колхозниками. Ростовская область. 1938.



Михаил Шолохов (второй справа) с родными. *Вёшенская*. 1930-е гг.



Сход на майдане во время коллективизации.



Максим Горький и Иосиф Сталин.



Открытие Первого съезда советских писателей. Москва. 1934.



Дом Шолоховых в станице Вёшенской. 1936.



Михаил Шолохов (слева) на охоте у реки Хопёр. 1935.



Делегаты XVIII съезда ВКП(б): Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Георгий Байдуков, Александр Прокофьев, Михаил Водопьянов. 1939.



В номере гостиницы «Националь». Москва. 1936.



За работой в своем кабинете. *Вёшенская. 1940.*



Алексей Толстой и Михаил Шолохов. *Конец 1930-х гг.*



Михаил Александрович и Мария Петровна Шолоховы с детьми: Михаилом, Светланой (вверху), Александром, Марией (внизу). 1940.



На балконе своего дома. Вид на Дон. Вёшенская. 1936. Фото В. Темина.



Михаил Шолохов в 1950-е годы. *Вёшенская.*



Полковой комиссар Михаил Шолохов. 1941.



Военный корреспондент Михаил Шолохов с красноармейцами. 1941.



Михаил Шолохов в конце войны.



Писатель среди бойцов и командиров.



Полковник Михаил Шолохов с дочерью Машей и сыном Мишей. 1946.



С дочерью Марией у себя дома. Вёшенская. 1955.



Режиссер Сергей Герасимов и Михаил Шолохов. *Вёшенская*. 1958.



Автор «Тихого Дона» с двумя Аксиньями: актрисы Эмма Цесарская (слева) и Элина Быстрицкая.



М. А. Шолохов выступает в Голливуде на торжественном завтраке в честь советской делегации во главе с Н. С. Хрущевым. 1959.



Михаил Шолохов и Никита Хрущев на митинге в Вёшенской. 1959.



Шолохов — почетный доктор прав Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Апрель 1962 г.



В Копенгагене у рекламы советского фильма «Судьба человека». 1960.



Английский писатель Чарлз Перси Сноу с женой, писательницей Памелой Хенсфорд Джонсон, в гостях у Михаила Шолохова. *Вёшенская. 1963.*



Михаил Шолохов с писателем Валентином Овечкиным и поэтом Александром Твардовским. *Начало 1960-х гг.*



Станичник Спиридон Никифорович Выпряжкин в гостях у писателя.
Вёшенская. 1950-е гг.



С колхозниками-земляками. 1960-е гг.



Медаль нобелевского лауреата.



Вручение Нобелевской премии. *Стокгольм. 1965.*



Встреча с молодыми писателями. В первом ряду: поэт В. Фирсов, М. Шолохов, поэт Ф. Чуев, Ю. Гагарин, поэтесса Л. Васильева; во втором ряду: поэт Г. Серебряков, В. Ганичев. *Вёшенская. 1967.*



В гостях у М. Шолохова в его московской квартире молодые писатели и издатели. *1970-е гг.*



Михаил Шолохов беседует с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и президентом Финляндии Урхо Кекконеном во время Всемирного конгресса сторонников мира. *Хельсинки. 1974.*



Михаил Александрович и Мария Петровна Шолоховы в окрестностях Вёшенской. *Начало 1970-х гг.*



Шолохов-охотник.



В гостях у писателя съемочная группа фильма «Они сражались за родину». Слева направо: В. Шукшин, С. Бондарчук, Ю. Никулин, В. Досталь, М. А. и М. П. Шолоховы, В. И. и М. М. Шолоховы. *Вёшенская. 1974.*



Михаил Шолохов с писателем-земляком Анатолием Калининым.



Супруги Шолоховы дома за вечерним чаем.



На официальном приеме.



В этом кабинете рождались великие строки.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. А. ШОЛОХОВА

1905, 24 мая — на хуторе Кружилин станицы Вёшенской области Войска Донского (ныне Вёшенская Ростовской области) у Александра Михайловича Шолохова и Анастасии Даниловны Кузнецовой (фамилия по первому мужу; в девичестве Черникова) родился сын Михаил. Отец — из купцов, родом с Рязанщины, из города Зарайска; мать — родом с Черниговщины, служила горничной в барском доме. Родители состояли в гражданском браке.

1910 — Александр Михайлович с Анастасией Даниловной и сыном Мишей переезжают в хутор Каргинский.

1912 — Миша принят в Каргинское мужское приходское училище по второму году обучения.

1913 — А. М. Шолохов и А. Д. Кузнецова обвенчались (после кончины ее официального мужа, казака-атаманца). Миша «усыновлен» собственным отцом и записан как «сын мещанина».

1914 — из-за болезни глаз А. М. Шолохов увозит сына в Москву в глазную клинику доктора Снегирева. В столице Михаила определяют в частную гимназию имени Г. Шелапутина.

1915 — отец переводит сына в Богучарскую мужскую гимназию в Воронежской губернии.

1918, июнь — немецкие войска подошли к Богучару, отец забирает сына из гимназии.

Осень — отдает сына в Вёшенскую гимназию.

1919, март — июнь — в Вёшенской вспыхивает Верхне-Донское контрреволюционное казачье восстание. Семья Шолоховых вновь переселяется в станицу Каргинскую, где в январе устанавливается советская власть.

1920 — будущий писатель работает учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, делопроизводителем в Каргинском станичном исполкоме. Играет в спектаклях Каргинского народного театра, пишет для него пьесы.

1921 — Михаил зачислен помощником бухгалтера Каргинской заготконторы.

1922, февраль — распоряжением Доноблпродкома Михаил Шолохов

командирован в Ростов на продкурсы.

Май — после окончания курсов направлен на продовольственную работу в станицу Букановскую.

Октябрь — Михаил уезжает в Москву, чтобы продолжить образование. Поступить на рабфак не удастся — не был комсомольцем и не имел комсомольской путевки. Работает в столице грузчиком, с артелью каменщиков мостит дороги, служит счетоводом, пробует свои силы в литературном творчестве.

1923 — начал посещать литературное объединение при журнале «Молодая гвардия» в литобъединении журнала «Молодая гвардия».

Сентябрь — первая публикация в газете «Юношеская правда»: фельетон «Испытание».

1924, *январь* — возвращается на Дон, в станицу Букановскую, женится на Марии Петровне Громославской, дочери бывшего станичного атамана, букановской учительнице. Молодые венчаются в церкви. Уезжают в Москву, где живут некоторое время.

Декабрь — в газете «Молодой ленинец» опубликован рассказ Шолохова «Родинка».

1925 — умер отец писателя. Знакомство с А. Серафимовичем, перешедшее в творческое содружество. В комсомольской периодике выходят рассказы Шолохова «Бахчевник», «Пастух», «Нахаленок» и др.

1926 — выходит первый сборник Шолохова «Донские рассказы», затем — «Лазоревая степь» с напутственным словом Серафимовича. Семья Шолоховых навсегда поселяется в станице Вёшенской. Писатель приступает к созданию романа «Тихий Дон».

1928, *январь* — журнал «Октябрь» при поддержке Серафимовича начинает публиковать первую книгу «Тихого Дона» (№ 1–4); в этом же году там печатается вторая книга романа (№ 5–10).

1929 — начало публикации третьей книги «Тихого Дона». Распространяются слухи о плагиате. Шолохов представляет черновики романа для ознакомления специальной комиссии.

Апрель — газеты «Рабочая трибуна» (24 апр.) и «Правда» (29 апр.) публикуют заявление комиссии, что слухи являются ложью и клеветой на Шолохова. Приостановлена публикация третьей книги романа — вожди РАППа обвинили писателя в оправдании Верхне-Донского восстания; на предлагаемые сокращения и исправления писатель не пошел.

1930 — Шолохов получает приглашение Горького посетить его в Сорренто. Выезжает вместе с Артемом Веселым и В. Кудашовым. Не дождавшись визы в Берлине, возвращается в Вёшенскую.

1931, январь — Шолохов посылает письмо Сталину о злодеяниях на Дону в ходе коллективизации.

Июнь — встреча Шолохова со Сталиным при посредничестве Горького, на которой положительно решилась судьба дальнейшей публикации третьей книги «Тихого Дона».

Запрещение первого фильма «Тихий Дон» по идейным соображениям.

1932, январь — завершается публикация третьей книги «Тихого Дона». Журнал «Новый мир» начинает печатать первую книгу романа «Поднятая целина».

Шолохов вступает в ВКП(б), принимает участие в борьбе с грубыми нарушениями в колхозном строительстве на Дону, обращается с письмом к Сталину, требуя расследовать дела тех, кто «издевался над колхозниками и над советской властью», и тех, кто направлял эти действия.

1933 — голод на Дону. В стремлении спасти земляков от гибели Шолохов шлет письма Сталину с просьбой о помощи.

1934, сентябрь — как делегат участвует в первом съезде Союза советских писателей, избран членом правления.

Поездка в Швецию, Данию, Англию и Францию.

1936, март — в Большом театре премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон» (либретто редактировал М. Булгаков). Критика Сталиным формализма в постановке.

1937, октябрь — Шолохов шлет письма Сталину с обличением репрессий на Дону.

Ноябрь — «Новый мир» начинает публиковать седьмую часть четвертой книги «Тихого Дона» (завершит в марте следующего года).

1938, октябрь — новое письмо Сталину с протестом против репрессий.

Шолохов включен в бюро Международной ассоциации писателей в защиту культуры. Избран депутатом Верховного Совета СССР.

1939, март — на XVIII съезде партии Шолохов в речи высказал несогласие с установками власти на оправдание репрессий.

Декабрь — Шолохов избран действительным членом Академии наук СССР.

1940, январь — писатель завершает «Тихий Дон».

Февраль-март — последние главы романа публикуются в «Новом мире».

1941 — Шолохову присуждается Сталинская премия за «Тихий Дон» вопреки несогласию многих членов Комитета по премии.

Июнь — на второй день Великой Отечественной войны писатель

перечисляет премию в Фонд обороны страны.

Июль — полковой комиссар запаса М. А. Шолохов становится военным корреспондентом газеты «Красная звезда».

Сотрудничал с «Правдой» и Совинформбюро.

1942 — Шолохов получает контузию при аварии самолета; многомесячное лечение.

Июнь — публикует рассказ «Наука ненависти».

Июль — при бомбежке Вёшенской погибла мать писателя; почти полностью утрачен архив (часть рукописей двух романов и письма).

1943, май — Шолохов начинает печатать в «Правде» главы из романа «Они сражались за родину».

1944, февраль — продолжение публикации романа.

1945 — Шолохов заканчивает войну в Восточной Пруссии. В мае выходят две его статьи: «Обращение к советской молодежи» и «Победа, которой не знала история».

1946 — отказывается от предложения Сталина возглавить Союз писателей. Избран депутатом Верховного Совета СССР. В Швеции выходит статья с предложением выдвинуть Шолохова на соискание Нобелевской премии.

1949 — обнародовано письмо Сталина 1929 года с критикой некоторых положений при описании Гражданской войны в «Тихом Доне», что повлекло за собой ряд насильственных переделок романа при переиздании, с которыми автор согласиться не смог.

1954, декабрь — как делегат второго Всесоюзного съезда советских писателей Шолохов выступает с программной речью об улучшении деятельности Союза писателей.

1956, январь — участвует в работе Всесоюзного совещания молодых писателей.

Февраль — речь на XX съезде партии с критикой отживших традиций в деятельности Союза писателей.

Начинают издаваться собрания сочинений Шолохова в «Молодой гвардии» и Гослитиздате. Выходит рассказ «Судьба человека».

1957 — на экраны выходит фильм «Тихий Дон» режиссера С. Герасимова.

1958, сентябрь — Шолохов начинает печатать в «Правде» главы из второй книги романа «Поднятая целина».

1959, сентябрь — поездка в США в составе делегации, сопровождавшей Н. С. Хрущева; отказ что-либо написать для сборника по итогам поездки. Выходит фильм «Судьба человека» режиссера С.

Бондарчука.

1960 — в начале года отдельным изданием выпущена вторая книга «Поднятой целины». За роман Шолохову присуждена Ленинская премия.

1961, октябрь — речь Шолохова на XXII партийном съезде с острыми критическими замечаниями. Избран членом ЦК КПСС.

1962–1963 — Шолохов поддержал публикации лагерной повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и поэмы А. Твардовского «Теркин на том свете».

1965, декабрь — присуждение Шолохову Нобелевской премии за роман «Тихий Дон»; вручена в Стокгольме 11 декабря.

1967, июль — принимает в Вёшенской большую группу молодых писателей вместе с первым космонавтом Ю. Гагариным.

Писателю присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1968, октябрь — направил Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу письмо с просьбой не задерживать по цензурным соображениям публикацию новых глав романа «Они сражались за родину».

1974, лето — встреча со съемочной группой фильма «Они сражались за родину»: режиссером С. Бондарчуком, исполнителями главных ролей В. Шукшиным, Ю. Никулиным, В. Тихоновым и др.

А. Солженицын разворачивает за рубежом кампанию по обвинению Шолохова в плагиате.

1975, май — торжественный вечер в Большом театре в Москве в честь 70-летия М. А. Шолохова; юбиляр отсутствует — инсульт.

1978, март — письмо Л. И. Брежневу с критикой положения дел в культуре; комиссия ЦК партии резко осудила это обращение.

1980 — присвоение Шолохову второго звания Героя Социалистического Труда.

1981–1982 — писатель ведет активную общественную деятельность, не оставляет мечты о создании военной трилогии. Ухудшение здоровья.

1983, июль — несмотря на тяжелую болезнь, завершает публицистические статьи и литературные заметки: «Читателям библиотеки „Родные нивы“» и «Обращение к болгарским читателям».

Сентябрь — последняя прижизненная публикация: обращение к писателям мира «Защитим жизнь пока не поздно!», опубликованное в журнале «Иностранная литература».

1984, январь — писатель находится в московской больнице с диагнозом «рак». Здесь же дает «добро» на издание собрания сочинений в издательстве «Художественная литература».

Февраль — возвращается домой в Вёшенскую. Отсылает в

издательство телеграмму о назначении составителем издания младшей дочери М. М. Шолоховой-Манохиной с полномочиями восстановления некоторых политических купюр в «Тихом Доне».

21 февраля — ночью, в один час сорок минут, великий русский писатель ушел из жизни.

23 февраля — Михаил Александрович Шолохов погребен в саду у своего дома, на высоком берегу воспетого им Дона.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Шолохов М. А. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Терра-книжный клуб, 2001.

Шолохов М. А. Тихий Дон. М.: Синергия: Московские учебники, 2001.

Шолохов М. А. Поднятая целина. М.: Синергия: Московские учебники, 2003.

Шолохов М. А. Они сражались за родину. Рассказы. М.: Раритет, 1995.

Шолохов М. А. Письма. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

Шолохов М. А. Письма: 1924–1984. М.: Советский писатель, 2003.

Писатель и вождь. Переписка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. М.: Раритет, 1997.

Бирюков Ф. Г. Шолохов. М., 2000.

Воронов В. Гений России: Страницы биографии. Ростов н/Д., 1995.

Гура В. В. Как создавался «Тихий Дон». М.: Советский писатель, 1980.

Ермолаев Г. С. Михаил Шолохов и его творчество. СПб., 2000.

Калинин А. В. Время «Тихого Дона». М.: Советская Россия, 1975.

Колодный Л. Е. Кто написал «Тихий Дон»? М.: Голос, 1995.

Колодный Л. Е. Как я нашел «Тихий Дон». М.: Голос, 2002.

Кузнецов Ф. Ф. «Тихий Дон»: Судьба и правда великого романа. М.: ИМЛИ РАН, 2005.

Наш Шолохов: Сборник. Ростов н/Д., 1975.

Новое о Михаиле Шолохове. Исследования и материалы: Сборник. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

Осипов В. О. Тайная жизнь Михаила Шолохова...: Документальная хроника без легенд. М.: Либерия: Раритет, 1995.

Осипов В. О. Михаил Шолохов. О светлом и черном: Свидетельства очевидца. Из воспоминаний и дневников. М.: Раритет, 2003.

Правда и ложь о М. А. Шолохове: Сборник. Ростов н/Д., 2002.

Петелин В. В. Михаил Шолохов. М., 2002.

Сиволобов Г. Михаил Шолохов. Ростов н/Д., 1995.

Федь Н. Парадокс гения. М.: Советский писатель, 1998.

Хьетсо Г. и др. Кто написал «Тихий Дон»? М.: Книга, 1989.

Шолохов М. М. Об отце. М.: Советский писатель, 2004.

Шолохов и русское зарубежье: Сборник. М.: Алгоритм, 2003.